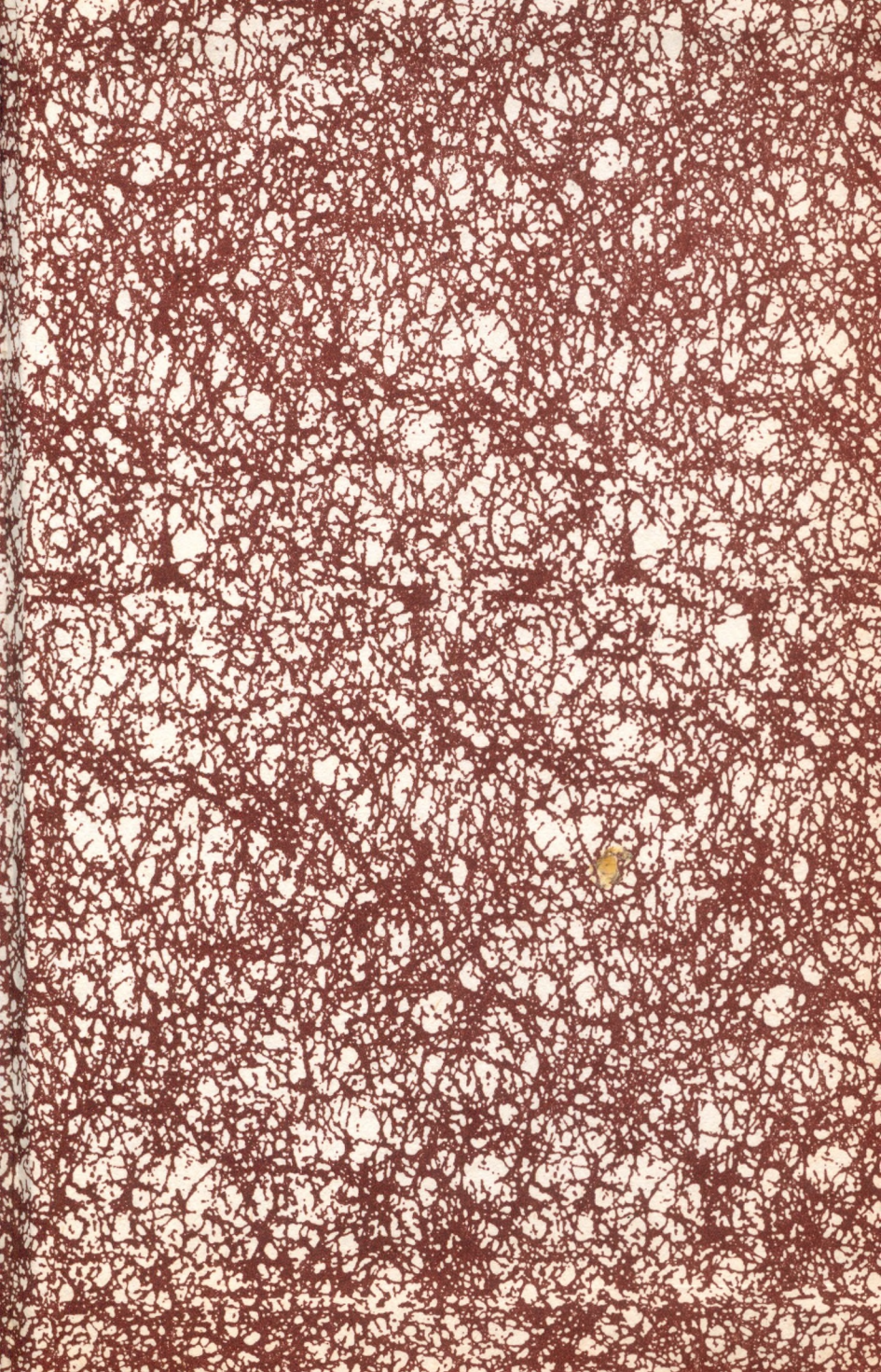




Витязь Конецкий

В. КОНЕЦКИЙ

ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ
СОЛЕННЫЙ ЛЕД



БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ
СОЛЕННЫЙ ЛЕД

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1980

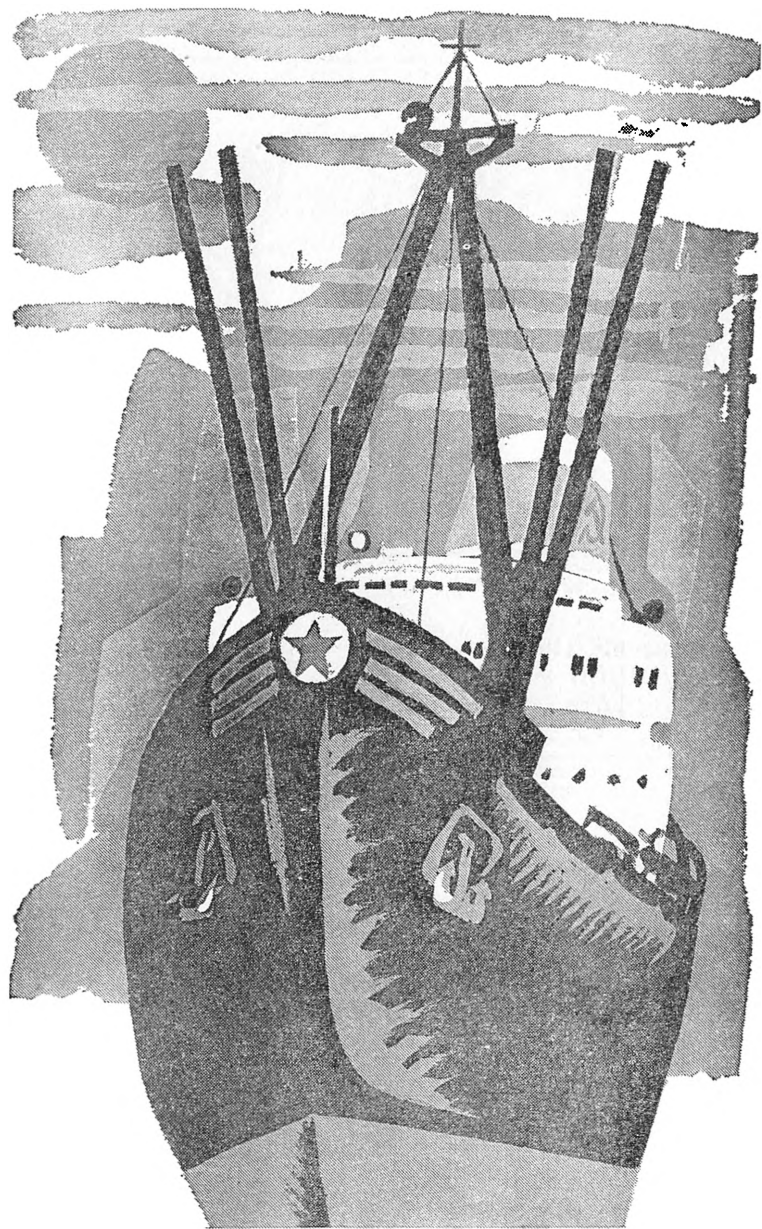
P2
K64

Художник И. БРОННИКОВ

70302—031
074(02)—80 К 324—80 подписное



Винни
Котлепуш



ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ

(ПОВЕСТЬ-СТРАНСТВИЕ)

ЧЕТЫРЕ СТРАНИЦЫ ОТ АВТОРА

О названии. Предполагалось, что назову повесть «СЕГОДНЯШНИЕ ЗАБОТЫ». Дело в том, что за двадцать лет до описываемого здесь арктического рейса мне пришлось первый раз капитаном пройти по той же дороге. А за двадцать лет до опубликования этой рукописи я написал свою первую повесть на арктическом дневниковом материале, назвав ее «Завтрашние заботы», потому что был молод и все еще казалось «в завтра», в будущем. Название нынешней должно было переключиться с названием первой, но отражать день сегодняшний и меня сегодняшнего.

Работа над рукописью затянулась, и за время работы я уже опять стал каким-то иным и понял, что название «ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ» более соответствует смыслу и ритму написавшегося. И мы, и жизнь изменяемся все стремительнее. А значит, и флот. И главные герои этой повести для сегодняшнего флота в значительной степени рудименты. Уже другие совсем люди сейчас ведут в морях суда. Это не ради красного словца говорю, это правда.

О жанре. Литературные теоретики не способны пока разобраться в том, какими жанрами написаны многие

прозаические произведения в последней четверти двадцатого века.

И сами прозаики не знают.

Я определил жанр этого сочинения — как «повесть-странствие». Мне по ряду причин надо в данном вопросе серьезно застраховаться. Потому прошу набрать крупно и жирно: **«ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ» ЕСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКОЕ**. Ниже я еще много раз буду возвращаться к проблеме жанра и подчеркивать, что в повести нет документальной летописи какого-то определенного арктического рейса на определенном судне, хотя есть описания подлинных событий и встреч с известными на флоте людьми, с литераторами.

Об эпиграфах. Ими я в первую очередь хотел подчеркнуть «производственный» характер повести. Она о труде. Читательская инерция очень сильна. От произведений, написанных на морском материале, традиционно ждут приключенческой романтики. Ее нет. Флот — это производство; каждое судно — огромный движущийся цех, в котором работают инженеры, техники, высококвалифицированные рабочие, то есть мотористы и матросы. Эти люди любят море и свою профессию, но любят ее совсем иначе, нежели еще тридцать лет назад. Моряки стали производственниками в полном смысле этого достаточно неуклюжего слова. И пора настала не ожидать от морских книг развлекательного, приключенческого чтива.

Несколько слов о сложностях писательства для профессиональных моряков.

Великий Данте жил в расцвет парусного мореплавания и глубоко чтит высокое искусство парусного маневрирования.

«Он был учеником этого наиболее уклончивого и пластического спорта — идти против ветра, идя по нему» — так написал Мандельштам. И еще заметил, что Данте не любил прямых ответов и прятался за спину или маску Вергилия.

Понятие «лавировать» в человеческих отношениях имеет налет несимпатичный. Такой же налет имеет «сменить галс», когда дело идет о линии человеческого поведения.

Моряки же знают, что в этих понятиях, которые являются синонимами, нет ничего плохого.

Думаю, что нелюбовь Данте к прямым ответам, если

она была, никак не может являться следствием его увлечения парусом и вообще мореплаванием. Море требует прямых вопросов и прямых ответов. Способность к быстрым решениям — одно из основных качеств хорошего судоводителя. Характерным в большинстве случаев на море является еще то, что результат решения, его следствие, бывает наглядным и наступает быстро.

Моряки — плохие философы. Если рефлектирующий Гамлет уйдет в океан, он перестанет мучиться проблемой «быть или не быть».

Может, Гамлет будет слишком ждать возвращения к конкретной земле, чтобы заниматься отвлеченными вопросами?..

Почему морские рассказы так легко превращаются в «травлю» и так легко забываются? Вероятно, потому, что в «травле» чересчур много выдумки, то есть лжи. А откуда она? Ведь основная штурманская, судоводительская заповедь: «Пиши, что наблюдаешь!» И эта заповедь въедается в морское нутро: никогда не писать в журнал того, чего не наблюдаешь; всегда писать даже то, что кажется невероятным, если это невероятное наблюдается. (Случаи заведомой «липы» не рассматриваются.)

Писание, как и судовождение, тоже серия решений, но процесс медлительный, результат его всегда остается за горизонтом, и о быстрой проверке правильности посылок не может быть и речи, как показывает мне собственный опыт. Необходимость для писательской и морской профессии прямо противоположных черт характера является, может быть, причиной того, что пишут моряки чертовски много, но значительных писателей из этой среды вышло мало.

Однако это не значит, что судно, корабль не культивирует в человеке черт, необходимых художнику. И парус, и железо требуют от экипажа тщательных, аккуратных, монотонных, предусмотрительных забот — иначе всех ждет гибель. Длительные заботы мы способны вынести только в том случае, если привязаны к предмету забот не за страх, а за совесть и любим его взыскательно.

Черты характера людей моря наглядно отразились в облике портовых городов. В сложном искусстве архитектуры, где гармония поверяется не только алгеброй, но и геометрией, дух людей моря проявляется отчетливо. От мачт и рей — строгость ленинградских проспектов и набережных.

Даже высота потолков имеет истоки в судовой архитектуре. Петр, например, был моряком и привык к низким потолкам кают. На земле ему хотелось или привычно низкого подволока, или очень большой, небесной свободы над головой.

Любое мореплавание — и парусное, и нынешнее — древнейшая профессия и древнейшее искусство. Оно умрет еще не скоро, но оно стареет уже давно. Все стареющие профессии и искусства, как уводимые на переплавку пароходы, хранят в себе нечто приподнимающее наш дух над буднями. Но передать это словами — безнадежная затея. Такая же, как попытка спеть лебединую песню морской профессии, не поэтизируя ее старины, хотя старина эта полна ограниченности и жестокости. Моряк слушает не «голос моря», а шум воды в фановой магистрали своего судна. Судоводитель обязан думать и думает о нормальном, безаварийном возвращении, и эти мысли занимают в его мозгу то место, которое способно философствовать.

Психика же некоторых читателей и критиков устроена так, что поверить в возможность для писателя неписательской, но профессиональной работы на каком-нибудь современном производстве они ни под каким соусом не могут. И если писатель в море работает всю свою жизнь, они все равно считают, что он там путешествует. И сравнивают его писания с «Римом, Неаполем и Флоренцией» Стендаля или «Бродячей жизнью» Мопассана. От такого сравнения бедняге остается один путь — за борт. А кто же в таком случае за утопленника будет вахту стоять?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Труд моряков относится к категории тяжелого.

«Инструкция по психогигиене для капитанов и старших помощников судов морского флота СССР»

ПО СТАРОЙ ДОРОЖКЕ

18.07.15.00.

Восьмизначные цифры будут обозначать: первые две — сутки, вторые — месяц, третьи — часы, четвертые — минуты. Иногда они будут фиксировать момент события, иногда — момент записи события.

Итак, 18 июля 1975 года в пятнадцать часов ноль-ноль минут я получил предписание на теплоход «Державино».

22 июля надлежало вылететь в порт Мурманск, куда судно шло из Ленинграда вокруг Скандинавии.

Дальнейшая ротация, то есть порядок заходов судна в порты, предполагалась следующая: Мурманск — Певек — Игарка — Мурманск — один из портов ГДР.

Теплоход «Державино» — лесовоз, построен в 1968 году в Раума, Финляндия. Скорость 13,5 узла, район плавания неограниченный, автономность 24 суток, длина 102,27 метра, осадка в грузу 6,00 метров, водоизмещение 5580 тонн, мощность двигателя 2900 индикаторных лошадиных сил.

Мое состояние в момент получения предписания — некоторое недоумение. Около полутора лет я отплавал на Европу и сделал два круга на США. Круг — это

когда берешь груз на порты США из европейских портов, а из США — на Европу. И домой, в Ленинград, между кругами не попадаешь.

Беличье колесо.

Но при всем при этом нормальные рейсы. И если бы мне предложили еще такой, то я бы постарался увильнуть. Но увильнуть от невыгодного, тяжелого и нудного плавания в Арктику я не хотел и не стал.

Политическая обстановка на этот момент в мире.

Некоторая оттепель. Заголовки газет: «Рукопожатие в космосе», «Стыковка кораблей «Союз-19» и «Аполлон» осуществлена». Фотомонтаж: вверху американские и наши солдаты встречаются на Эльбе, в середине стыкуются космические корабли, внизу обнялись пять космических братьев.

Но в Лиссабоне дела идут паршиво, положение на Ближнем Востоке, по словам Вальдхайма, «серьезное и продолжающее оставаться опасным».

Хорошо хоть то, что я отправляюсь не на Ближний, а на Дальний Восток...

Положение на спортивной арене. «Овации Ольге Корбут». Студентка из Гродно в блестящей спортивной форме. За нее можно не волноваться.

15.30. Четырехзначные цифры будут в дальнейшем обозначать время внутри очередных суток: первые две — часы, вторые — минуты.

Итак, по-сухопутному говоря, в половине четвертого дня замначальника пароходства по мореплаванию обрисовывает мне арктическую ситуацию.

Я слушаю плохо, ибо боюсь назвать его «Шейхом» — это подпольная кличка Наримана Тахаутдиновича Шайхутдинова. Я же подпольно влюблен в Шейха, но он, увы, влюблен в Омара Хайяма.

— Да-а, уйти в море может и дурак,— задумчиво говорит Нариман Тахаутдинович, разглядывая огромную карту Арктики.— А вот вернуться... тут уж нужен отнюдь не дурак.

— Если я что-нибудь напишу о предстоящем рейсе, то разрешите поставить эти бессмертные слова эпиграфом?

— Бога ради! Пожалуйста! — широко дарит эпиграф Шейх.

Под финал разговора узнаю, что нынче особо жестко требуют соблюдать «Положение о назначении в арктические рейсы дублеров капитанов».

На ледоколах этот институт привился давно, а нашему пароходству сложно находить людей. Потому-то, очевидно, и нашли меня.

Суть «Положения» в том, что на мостике во льдах обязательно должен быть капитан. Раньше суда подолгу лежали в дрейфах, их капитаны зачастую сами выбирали оптимальные пути и могли выкроить несколько часов для сна. Нынче техника заставляет находиться в движении во льду практически девяносто процентов рейсового времени, но никакой моряк, даже если он годится для выделки гвоздей, выстоять такое на мостике не в состоянии.

Получив традиционное «Счастливого плавания» и печатную инструкцию, уже иду к порогу. Шейх останавливает:

— Вы с Фомичевым знакомы?

— Нет. Но слышал много.

— Н-да,— загадочно ухмыляется Шейх.— Еретик. И знаменитый драйвер. Вам полезно будет с ним поплавать. Потом расскажете впечатления. Мне для дела надо.

— Есть.

«Драйверами» называли когда-то самых отчаянных капитанов чайных клиперов. Драйверы и в ураганный ветер не спускали парусов и не брали рифов, а когда мачты уже готовы были улететь к чертовой матери, стреляли в парус из пистолета. Дырочку от пули ураганный ветер за десятые доли секунды превращал в огромные дыры, и парус обвисал лохмотьями. А мачты оставались на местах.

Спрашиваю:

— Нариман Тахаутдинович, вы имеете в виду то, что мне предстоит работать с капитаном отчаянного мужества?

— Не только это,— со вздохом говорит Шейх.— Плоховато вы знаете английский, Виктор Викторович. Англичане странная нация. У них одно слово обозначает разом сто пятьдесят смыслов и понятий. Я всегда восхищаюсь такой плюшкинской скупостью великобританцев на слова. И как они книги пишут?.. Н-да, придете домой — посмотрите словарь на «драйвер».

— Есть, Нариман Тахаутдинович!

Дома смотрю англо-русский словарь и прихожу к выводу, что мне предстоит встретиться с достаточно сложным человеком. Ибо слово «драйвер» работает у англичан в диапазоне от «гонщик» и «преследователь» до «надсмотрщик за рабами» и от мирного «кучер» до мрачного «доводящий до отчаяния». На американском сленге «драйв» — продажа товаров по дешевке с целью конкуренции, в горном деле «драйвер» — обыкновенный коногон, в сельском — погонщик скота, в медицинском «ту драйв мед» — сводить с ума. Еще это слово обозначает хозяина-эксплуататора, бизань-мачту, вождение автомобиля и... писательский труд («ту драйв э пен» — «гонять перо» в буквальном переводе).

И вот я назначен дублером драйвера Фомы Фомича Фомичева.

Посмотрим инструкцию.

«Должностная инструкция дублеров капитанов судов на время плавания в арктических водах:

1. Дублер капитана назначается приказом начальника пароходства из числа наиболее подготовленных старших помощников, имеющих опыт работы во льдах в условиях арктического плавания, для усиления вахтенной службы и обеспечения безопасности мореплавания.

2. Дублер капитана относится к старшему комсоставу судна, подчиняется непосредственно капитану и отвечает за безопасность мореплавания во время несения своей вахты.

3. В процессе подготовки и погрузки арктического груза дублер капитана оказывает помощь капитану в организации грузовых операций.

4. Дублер капитана своим опытом, знаниями, всеми средствами содействует быстрейшему завершению арктической навигации.

5. На время плавания на трассе СМП капитан своим приказом назначает конкретные часы, в течение которых дублер обеспечивает безопасность мореплавания, непосредственно осуществляет управление и маневрирование судном при самостоятельном плавании во льдах и в караванах за ледоколом. Вахтенные младшие помощники несут вахту в соответствии с уставом и выполняют свои уставные обязанности.

6. В борьбе за живучесть судна дублер капитана по

указанию капитана находится в месте наибольшей опасности и непосредственно руководит работами в соответствии с НБЖС-70.

Зам. нач. БМП по мореплаванию
Н. Шайхутдинов.

22.07.13.30.

Прощаюсь с живой природой перед ледяной Арктикой.

Отошел от муравейника аэропорта Пулково метров на триста.

Присел на предельно загрязненную травку под чистыми березками, гляжу на серенькие кашки, говорю кашкам о любви. Они молчат. Нужна им моя любовь!

Рядом траншея — копают канализацию. Пахнет свежей землей.

Солнце. Тени от березок ласкаются к кашкам. А в трехстах метрах пятитрубный аэропорт стоит на мертвом якоре, битком набитый человечеством.

Июль. Мягкость ветерка. Зелень лета.

Прощай, зелень.

Рейс № 8698. Взлетели точно.

Когда пролетаем Имандру, начинает тянуть на воспоминания.

Красивое озеро Имандра. Из-за его красоты я и погорел в ранней юности.

...Эшелон тянется от берегов Баренцева моря в Питер. Конец августа пятьдесят первого года, около девятнадцати часов. Мы где-то между Хибинами и Апатитами. Я — часовой. Обязанности просты. На очередной остановке вылезает и ходишь вокруг да около концевой вагона с винтовкой наперевес.

Политическая обстановка в мире — пик холодной войны. Но мы знаем холодную войну как теплую, а то и чуть-чуть не горяченькую. И все мы — воины — вместе с газетами поднимаемся на штурм Марра, наступаем на теорию относительности, крепим оборону против морганистов...

Суровое время. Но впереди отпуск. И ты влюблен первой и прекрасной любовью. И такой сногшибательный закат над Имандрой: склоны гор алые, ели на их фоне черные, возле полотна по склонам насыпи цветут лиловые пышные цветы, между прибрежными валунами вода нежная, и каждое самое легкое облачко отражается

в темнеющем штилевом зеркале озера. А тебя овевает ветерок, пахнувший елями, соснами и близкой свободой, ибо ты сидишь на полу теплушки, свесив ноги через порог, ждешь очередной остановки эшелона и поешь с коллегам «Прощайте, скалистые горы...».

Тепловоз гудит предупреждающими гудками: сейчас застрянем на каком-нибудь полустаночке, освобождая место пассажирскому нормальному поезду. Пора кончать лирику и брать винторез. У меня он поставлен в уютном местечке — у противоположной двери теплушки в уголке между дверью и стенкой, но...

Винтовки в ее уютном гнездышке нет.

— Ребята, хватит шутки шутить! Куда винторез запрятали?

Никто не признается, а эшелон уже едва ползет. Согласно инструкции, часовому пора выпрыгивать, чтобы осмотреться и войти в боевую форму для охраны товарищей и народного имущества от всевозможных опасностей.

Теплушка обыкновенная, стандартная — нары в два ряда по бокам, пятачок в середине свободен, пирамид для оружия нет. Винтовку получаешь перед заступлением в караул в штабном вагоне. Потому в инструкции сказано, что часовой с ней не растается и в промежутках между остановками эшелона. Но перегоны на Кольском полуострове иногда очень длинные...

— Ребята, кончай разыгрывать!

Шурую под сениками-матрацами на нарах, лезу под сами нары, дергаю за ноги спящих. Мат-перемат из четырех десятков глоток. Потом боевые товарищи начинают кое-что соображать. Часть их включается в лихорадочный и бессмысленный поиск (знаете, исчезнет у вас из ванной комнаты мочалка, и вы ловите себя на том, что ищите ее и в столовой, и под комодом, и еще черт те где, хотя абсолютно ясно, что в столовую или в почтовый ящик попасть она никак не могла). Так вот, часть ребят включилась в такие поиски, а кое-кто начал уже удаляться от моей персоны, создавая знаменитый «круг безопасности», — время, повторяю, было суровое. И от потенциального каторжника логично держаться подальше, чтобы каким-нибудь макарон не быть замешану в историю.

Кто-то, самый умный, догадался, как дело происходило. Дверь теплушки, как у всякого телячьего вагона,

откатывается в сторону по направляющим на колесиках. Изнутри стопорилась она деревянным клином. Клин от вибрации ослабел, между дверью и стенкой образовалась щель, винтовка в нее выпала; затем кому-то в щель стало на ныры сквозить, он встал, накатил дверь обратно и опять запер на клин.

Вот и все дела, браток. Закрыватель двери вспоминать этот момент не считал нужным. А может, «заспал» и действительно забыл. Мне же все важно было знать. Последний перегон был около сорока километров. Когда: в начале, середине, в конце перегона это случилось?..

Эшелон уже стоит, мне давно пора выскакивать на стражу. А в голове: «Часовой на посту утерять боевое оружие с боевыми патронами — трибунал? пять лет? десять? спишут в матросы?..»

Начальник эшелона — заместитель адмирала по строевой части полковник Соколов, уставник до мозга костей: на парадах и торжественных проходах по городским улицам он впереди, весь в золоте и владеет таким парадным шагом, что Павел Первый ему бы при жизни памятник поставил. А меня полгода назад разжаловали из старшин второй статьи — за длинный язык — в рядовые. Полковник Соколов обставил процедуру торжественно: был и барабанный бой, и срезание старшинских лычек, и отрывание козырька у старшинской фуражки прямо на плацу перед строем училища. Помнит меня полковник как облупленного...

Вот эта строевая машина — начальник эшелона, отвечающий за курсантов Высшего военно-морского училища, за будущих офицеров флота, — расхаживала у штабной теплушки, ясное дело, парадным шагом. И так он это проделывал, что дерзко-задиристые и хамоватые кольские смазчики букс шмыгали носами, утирались промасленными рукавами ватников и проскакивали мимо полковника бочком и молчком, хотя никакого отношения к строевому механизму не имели и спокойно могли ругаться от души и размахивать молотками безо всяких яких.

Все, Витя, вылезай, потому что приехали.

И:

— Разрешите обратиться, товарищ полковник?

— Что у вас, товарищ курсант?

— Докладывает часовой концевой вагона. Мною на последнем перегоне утеряна винтовка.

— Старшина Рысев!

— Слушаю, товарищ полковник!

— Взять под стражу! Поедет дальше в штабном вагоне!

— Лезь сюда! — это Рысев говорит. Он мне лычки срезал.

— Товарищ полковник!.. Я... разрешите остаться!

— Старшина, проследите, чтобы снял ремень, и обыщите!

— Есть, товарищ полковник!.. Тебе сказано: лезь сюда!

Я влез, расстегнул бляху, снял ремень и вывернул карманы. Ничего в них, кроме носового платка и махорки, не было. Рысев посадил в угол и еще отгородил от свободы скамейкой.

«Часовой на посту утерять оружие — трибунал и десять лет, как одна копейка, а для примера могут и еще что-нибудь пострашнее выдать».

Строчная машина поднялась в вагон.

— Доложите, что и как. Старшина, записывайте.

Я доложил. И закончил мольбой: оставьте, мол, здесь, я побегу обратно и найду винтовку, я ее из-под земли выкопаю, я...

— А не найдешь — башку с отчаяния под поезд? Или по молодой глупости дезертируешь? И мне за тебя трибунал?

Дежурный по полустанку заглянул в вагон и доложил, что эшелон отправляется через пять минут.

«По вагонам!.. По вагонам!.. По вагонам!..» — покатилось вдоль и вдаль.

— Нет! Товарищ полковник, нет! Честное слово! Не найду — вернусь!

— Товарищ полковник, здесь четверо лихих людей в тайге шатаются, — вклинился с дурацким напоминанием старшина Рысев. — Как бы они его не пришили.

— Молчать! Вас не спрашивают! — рубанула строчная машина.

И пошла шагать из угла в угол штабного вагона, а вместе с ней шли секунды и минуты, складываясь в десять лет. И главное даже не в тюрьме было, а в матери. Я знал: не переживет. Но также знал и понимал все то, что творилось сейчас в душе и мозгу строчной маши-

ны. Оставить меня — нарушить законы, и каноны, и уставы, и кодексы. И ответственность взвалить себе на погоны,— а семья? а служба? а карьера, в конце концов?.. И так просто — оставить здесь пять человек, дать сопроводилровку, сообщить железнодорожному начальству, а разиня пусть катит за решетку. Конечно, и при таком варианте взыскание влепят и ему, полковнику Соколову, но всего на уровне выговора. А если мальчишка сдрейфит и ударит в бега? Конец тогда Соколову. Вот какой вопрос на уровне «быть или не быть?» решала строевая машина. Время, еще раз повторяю, суровое шагало, катилось, текло и по стране и по планете.

— Старшина!

— Есть, товарищ полковник!

— Отдай ему ремень!

— Есть!

— А ты — бегом за бушлатом! И сразу сюда! Марш!

Я кубарем вылетел из вагона и помчался за бушлатом, еще не понимая толком, что означает ремень, что — бушлат и зачем бегом обратно.

Тепловоз визгливо гуднул, когда я подбежал к штабному вагону с бушлатом.

— На поиски сутки,— сказала строевая машина.— Сейчас,— взглянула она на часы,— двадцать сорок восемь. Этот перегон был тридцать шесть километров. Через сутки при любом результате поисков догоняете эшелон на любом поезде. Все ясно?

— Так точно! Спасибо, товарищ полковник!

Эшелон дернулся. И в каком-то беззвучии покатали теплушки в свой вечный, тупой, безропотный путь. Я даже лязга буферов не услышал — немое кино. Но человеческий голос в сознание проник:

— Эй! Старшина! Брось ему хлеба!

— Не надо! Не надо! — крикнул я.

— Рысев! Кому приказано?! — прорычала строевая машина, и из проема дверей штабного вагона вылетела буханка.

Ребятишки пялили зенки, пока эшелон тянулся мимо — теплушка за теплушкой.

Кое-кто из них меня любил, кое-кто наоборот, но все пялились с испуганным любопытством.

Через минуту на безымянном кольском полустанке никого не осталось, кроме меня и буханки черного хлеба. Я ее не поднял. Не до нее было, дураку.

На мне была белая брезентовая роба, бушлат, бескозырка и яловые ботинки — «гады» на курсантском языке.

Вы когда-нибудь бегали по железнодорожным путям? Если бежать по шпалам, то надо или прыгать через две на третью, или частить по одной. И то и другое невозможное дело, если надо действительно бежать, а не кое-как передвигаться. Конечно, можете попробовать бежать обочь путей, но там был гравий, он осыпался под «гадами», от него невозможно было толкаться для настоящего бега. А надо было именно бежать. Я не так опасался того, что винтовку найдут лихие люди, как того, что ее сопрет какой-нибудь стрелочник. В таежной глухомани Хибин, во глубине Кольского полуострова винторез с полной обоймой боевых патронов для стрелочника был бы таким сюрпризом, что он никогда и никому его не отдал бы ни за мольбы, ни за слезы, ни за деньги, ни даже за коврижки.

Вы когда-нибудь пробовали начинать забег на тридцатишестикилометровую дистанцию после того, как месяц почти не двигались, сидя в отсеках подводной лодки?

Уже через несколько минут так заболело под ложечкой, что я сошел с дистанции и сел на рельсу, скрючившись в три погибели.

Сумерки перетекали в кромешную ночь. С одной стороны насыпи шумела тайга, с другой — довольно далеко внизу — чуть плюхало в камень Хибин Имандра. Глухо было вокруг. И сквозь боль я ощутил одиночество. Первый накат одиночества в ту ночь, еще слабый накат — как бы пленка одиночества.

Я, как всякий, кто служил в армии или на флоте, был не один раз гоняем в кроссы с полной выкладкой. И знал, что боль под ложечкой можно преодолеть только тем, что будешь продолжать бежать дальше, сквозь нее.

И я побежал, то прыгая через шпалы, то по осыпающемуся гравию. Но мне ведь не просто бежать надо было. Мне надо было смотреть во все глаза, чтобы не проташиться мимо винтореза. А как он упал? Куда закатился по инерции? Надежда обнаружить винторез сохранялась только потому, что выпал он не в сторону откоса насыпи к Имандре, а в противоположную сторону — между путями.

Километра через два я скинул бушлат и даже не оглянулся на него. Боль под ложечкой слабела, но черт бы

побрал брезент робы! Этот жесткий морской брезент не для сухопутных кроссов. Он начал сдирать кожу на коленях. А широкая рубаха робы, которую я выпростал из-под ремня (взмок от пота), сильно парусила. И где-то на пятом километре я скинул и ее. К этому моменту я, ясное дело, уже не бежал, а брел и пучил глаза во тьму.

Тьма возле самой земли была какая-то более светлая, чем окружающий мир. Быть может, озеро собирало в линзу штилевых вод свет звезд и отбрасывало под ноги.

Кажется, не думал ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Сил хватало только на то, чтобы гнать и гнать себя вперед. Брезент содрал кожу на коленях до ощущения мокроты, но расстаться со штанами я не решился. Тем более, что главная боль спустилась ниже. Морские «гады» носятся не с портянками, как сапоги в презренной пехоте, а с носками. Железная яловость ботинок не амортизировалась носками и терзала щиколотки почище брезента робы.

На двенадцатом километре я понял, что наступает каюк, что надо отлежаться, спуститься к озеру и попить. До этого запрещал себе думать о воде, потому что знал: пить нельзя.

И вот когда я остановился, чтобы собраться с силами и съехать с насыпи к Имандре, то увидел винтовку.

Боевая подруга торчала из кучи запасного гравия прикладом вверх, на треть воткнувшись в кучу стволом. До винтовки было шагов десять. Я не стал их делать. Я съехал на задку с насыпи, подполз к урезу воды и опустил башку в чуть колыхающуюся волну. Потом расшнуровал и снял «гады». Носки были сочными от крови. Стаскивать их я не стал — было больно. Я сунул ноги в Имандру, которая спасла меня привиденческим светом своих вод. Но в первую очередь-то спас меня, ясное дело, полковник Соколов.

Кажется, я заплакал, потому что после напряжения сразу наступил спад и я ослабел физически и духовно.

Штиль был над озером. Черное зеркало. Но вода все-таки чуть колыхалась. И шорох время от времени прокатывался вдоль берега. И мощные деревья за насыпью тоже пошевеливали черными вершинами с древесным шумом.

Я первый раз в жизни был ночью в тайге.

Из черного зеркала озера торчали под берегом белые глыбы. Казалось, они тоже шевелились. От жути и одиночества или просто остывая после кросса, я затрясся мелкой дрожью. Ведь, кроме мокрой от пота тельняшки, на мне ничего не было. И вообще, следовало начинать обратное движение — еще двенадцать километров по шпалам, по шпалам.

Более истертую ногу я обмотал носовым платком, штаны засучил выше колен и выбрался на насыпь. Вытащил и обтер рукавом тельника винтовку, пару раз щелкнул затвором, убедился, что все с затвором в порядке, загнал патрон в патронник на всякий пожарный случай и сразу почувствовал себя не таким уж и одиноким в ночи Кольского полуострова. И тогда вспомнил о наличии махры в кармане. Это было замечательно — сесть на рельсу, свернуть закрутку и закурить горячую махру, когда между стертых коленок зажата винтовка.

За все это время мимо не прошел ни один поезд, а тут рельса под мной начала подрагивать и я увидел в чуть уже сереющей тьме свет фары. Катил тепловоз, но без состава.

Мне продолжало везти!

Я вскочил, поднял над головой винтовку, и принялся отплясывать на путях индейский танец, и, конечно, орал что-то. Кто мои оранья мог услышать? Но дикую фигуру в засученных штанах, в тельняшке и с винторезом над башкой машинисты заметили. И остановили тепловоз, и взяли на борт. Когда я полез по ступенькам-лопаткам в будку, кто-то решил бедолаге помочь и схватился за штык, подтягивая вверх. И я чуть обратно не спрыгнул, ибо в измученном сознании это представилось покушением на винтовку.

Да и патрон был в патроннике, а свернуть курок на стопор я от возбуждения и удачи забыл. Ствол же смотрел прямо в лоб моему чумазому помощателю.

Оказалось, что по селектору было сообщено кому положено на перегоне между станциями Хибины и Апатиты, что где-то там болтается не беглый каторжник, а военнослужащий, выполняющий спецзадание. Это полковник Соколов предусмотрел. Очень мудро. Потому что только на борту тепловоза, который развозил по линии смену железнодорожных работников, я понял, что, кроме щепотки махры, в карманах у меня ничего, включая

хоть одну копейку, не было. Зачем военнослужащему деньги?

Ребят с тепловоза не запомнил. Даже где я там сидел, не помню. Зато отлично помню, как ныл про брошенные где-то бушлат и рубаху и про то, что с меня за казенное обмундирование высчитают всю отпускную получку. И бушлат ребята обнаружили, и притормозили, и кто-то за ним слазил.

...И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге,—
Страны любимой он оплот
В часы ее тревоги...

Рубаха осталась в тайге на радость путевому обходчику.

В Апатитах дежурный по станции посадил в первый же пассажирский поезд в общий вагон на третью полку. Жрать хотелось мучительно. Буханка, оставшаяся на земле, так и торчала перед глазами. Но я быстро вырубился, обняв винтовку и застегнув поверх нее бушлат на все пуговицы.

В Кандалакше милицейский патруль наконец-то обнаружил одного подозрительного беглого, да еще с винтовкой и на третьей, безбилетной полке.

Проснулся я от света фонарика, направленного в физиономию, и довольно крепкого тумака. И конечно, кто-то из патрульных ухватился за винторез. Вероятно, это были тренированные самбисты, регбисты и боксеры, но я плохо соображал после пережитого и принялся лягаться и отбиваться с такой беззаветной и неукротимой энергией, что они отступились, и тогда проводник объяснил им что к чему.

И я поехал дальше.

И догнал эшелон еще до Ленинграда — продолжало везти. Вернее, сперва я его еще и обогнал. Эшелон стоял на полустанке Валя, а пассажирский поезд там не остановился.

...Легким именем девичьим Валя
Почему-то станцию назвали...

В этой книге впереди еще достаточно невероятных встреч и совпадений, потому скажу только, что на полустанке Валя в августе сорок первого, то есть ровно за десять лет до того, число в число, наш поезд, следовав-

ший в Ленинград, разбомбили и в упор расстреляли немецкие самолеты. Брат был ранен осколком бомбы, а я и мать отделались смертным ужасом.

Двадцать четвертого августа пятьдесят первого года я промчался мимо полустанка Валя и полковника Соколова, радостно-торжествующе размахивая бескозыркой из открытого окна.

Во Мге вылез, и часа через два подошел час расплаты.

Я поднялся в штабной вагон и по всей форме, но сияя полной луной, доложил, что курсант такой-то винтовку нашел и прибыл для дальнейшего продолжения караульной службы.

Строевая машина, которая только что поставила ради меня судьбу на кон, взяла винтовку, вытащила обойму, с облегченным вздохом подкинула ее на ладони — все патроны были целенькие. А в те времена и утрата одного-единственного патрона считалась преступлением.

— Молодец! Теперь чепухой отделаешься, — сказал полковник Соколов. — Двадцать суток простого ареста после прибытия в училище. Можете идти!

— Есть двадцать суток ареста! — сказал я, переставая излучать лунное сияние.

Единственный в году отпуск предстояло провести на гарнизонной гауптвахте в некотором удалении от мамы и любимой. А я-то, догоняя эшелон, думал, что полковник преподнесет мне конфетку на блюдечке за героизм и самоотверженность при выполнении столь боевого задания!

В части мой «подвиг» докатился до ушей адмирала Никитина — начальника училища. И я первый раз в жизни сподобился разговаривать с адмиралом. И даже в его кабинете.

Не знаю, как в армии, а на флоте рядовые знают о высшем начальстве только то, что успевают сами пронаблюдать. Никаких биографических справок рядовым об адмиралах не сообщают. Где он служил, чем занимался, когда и где родился — тьма над Имандрой. Быть может, в целях конспирации и секретности, а может, из традиции скромности...

Про адмирала Никитина я ровным счетом ничего не знал. И видел-то начальника только из строя в щель между впереди торчащими стриженными затылками.

Непроницаемое, тяжелое лицо, по-монгольски желтоватое. Лицо сфинкса перед Академией художеств. Небольшого роста, но плотный и широкий туловищем.

Через много лет я наткнулся в книге моториста 1-й Краснознаменной, ордена Нахимова I степени бригады торпедных катеров Валентина Сергеевича Камаева на такие слова:

«23 февраля 1937 года командир дивизиона капитан 3-го ранга Борис Викторович Никитин сообщил, что мы будем служить в особом дивизионе торпедных катеров, оснащенных новейшей военной техникой, позволяющей атаковать корабли противника, не имея на борту людей, а выводить катера в атаку будут специальные самолеты, с которых им будут выдаваться команды по радио. Очень часто место оператора в самолете-водителе занимал сам командир дивизиона Борис Викторович Никитин — удивительный энтузиаст новейшей военно-морской техники...»

Вот перед лицом этого энтузиаста мы с полковником Соколовым вместе и предстали, ибо были вызваны к нему «на ковер».

Разговор получился короткий:

— Полковник, как вы этого фокусника накажете?

— Двадцать суток простого ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте, товарищ адмирал!

— Вместо отпуска, получается?

— Так точно, товарищ адмирал!

— Куда ты собирался ехать в отпуск?

— Никуда, товарищ адмирал, я здешний, ленинградец.

— Мать жива?

— Так точно, товарищ адмирал!

— Десять суток, полковник. Пусть мать повидает.

— Есть десять суток, товарищ адмирал! — сказал полковник Соколов, и мы с ним повернулись налево кругом и парадным шагом выкатились из парадного адмиральского кабинета.

Борис Викторович Никитин прошел всю войну на самом отчаянном и дерзком — на торпедных катерах. Затем же с управлением катерами по радио — заводка двигателей, их реверс, маневрирование, торпедный залп, постановка дымзавесы при отходе — в боях проверена не

была. Но не потому, что аппаратура и отработка применения ее были плохи. Просто господство в воздухе принадлежало длительное время противнику, и он сбивал летающие лодки типа МБР-2 (морской ближний разведчик, модель вторая), с борта которых должно было осуществляться управление катерами. Не в этих деталях, однако, суть дела и суть адмирала Никитина. Ведь в основе идеи лежит главный закон лучших русских флотоводцев — победа малой кровью! Сохранить родные души, уберечь матросов и лейтенантов от любого лишнего риска.

Как все это сочетается с: «Мать жива? Десять суток, полковник...»!

Процедура посадки на губу, оформление ее, была весьма бюрократически занудна. Поглядите, сколько надо было собрать резолюций и отметок на «Записке об арестовании»:

«29 августа 1951 года. Номер роты — Первая. Звание и должность — курсант. Кем арестован — командиром курса. Причина ареста — нарушение Устава гарнизонной караульной службы. На какой срок и вид ареста — 10 суток простого».

Наискосок: «По состоянию здоровья может отбывать наказание на гауптвахте. Майор...»

«Принят на ГГВ 29 августа в 16.15. Подлежит освобождению 8 сентября в 16.15. Горячую пищу давать — ежедневно».

«Приложение: Справка о мыльном довольствии. Арестованный удовлетворен мыльным довольствием за август 1951 года. На мытье в бане — 120 гр. На стирку белья — нет. На туалетные надобности — 400 гр...»

Куда мы девали такую массу мыла?..

Продавали мешочникам возле Балтийского вокзала.

На обороте: «В бане был 28.08.51. На арестованном состоят вещи: лента ВМС — 1, тельняшка — 2, кальсоны — 1, трусы — 1, ремень с бляхой — 1, ботинки яловые — 1, носки — 2...» и т. д. и т. п.

...Чтобы оформить справки и резолюции и дожидаться оказии в баню, пришлось потратить двое суток. А отпуск-то летит, ребята разъехались, и ты валяешься в пустом кубрике.

В город арестованного даже добряк Дон-Кихот не вы-

пустит. И маме уже отписал, что среди лучших из лучших отправлен в секретную командировку за границу и мама должна гордиться замечательным сыном и его боевыми успехами.

Ленинградская гауптвахта в те годы находилась на Садовой улице впритык к площади Искусств. Здание губы не дотянуло сотни метров до того, чтобы вылезти на эту замечательную площадь фасадом.

Приятно, сидя на губе, сознавать, что рядом стоит вдохновенный Пушкин, рядом оперетта, Русский музей, Филармония и шикарный отель «Европейская». Или нет, Пушкина тогда еще не было...

Хорошее место для размышлений о соотношении искусства и жизни, красоты и решеток галерей внутреннего двора гауптвахты! Эти галереи тянутся вдоль каждого этажа, и путь в коридор, из которого ты уже попадаешь в камеру, обязательно пролегает по ним.

Ты идешь без ремня и без шнурков на «гадах» — очень эстетичный вид. Позади, грёмя связкой ключей, следует мичман-надзиратель.

Морда у него зверская, но, как помню, он был даже добродушен. Во всяком случае, не злобен, а вернее всего — индифферентен.

Мичман-надзиратель — штатный работник исправительного заведения, ему уже все надоело, и он уже видел все и вся на этом свете, кроме Русского музея и Филармонии. Он видел настоящие и поддельные истерики, хамство смелых и наглую трусость, и трусость слезливую, и слышал смертные угрозы и жалкие заискивания — всего не перечислишь.

А вот караул сменяется каждые сутки.

Я и сам бывал на карауле гарнизонной гауптвахты раньше. Караул назначается из воинских частей города по очереди. С тем, чтобы возможно большее число воинов воочию ощутило то, что такое гауптвахта и как там весело. Чаще в караул назначают курсантов — будущих офицеров.

Выводить арестованных по нужде, или делать «шмон», то есть обыскивать камеры в поисках махорки и спичек, или осуществлять подъем воинов в пять утра, выдергивая из-под упрямых и бесстрашных матросов «самолеты», — не очень-то приятное дело. («Самолет» — пляжного типа лежак, но на ножках. Ног две и только на хвостовом конце фюзеляжа. Головной торец укладывается

на узенькую, в две ладони, скамью, которая идет по периметру камеры. Скамья сделана узкой, чтобы ты на ней не засиживался. «Самолеты» же после сигнала побудки уносятся из камер.) Служить на гауптвахте нештатно, то есть стоять там суточный караул, на мой вкус, еще хуже, нежели там нормально сидеть. Ведь к профессии, не исключая тюремщика, надо привыкнуть, а разве за сутки привыкнешь обыскивать, например, людей? Попробуйте сделать это хотя бы в шутку с приятелем. Потому наиглавнейшее, о чем думаешь, когда прутья и переплетения стальной решетки галереи мелькают слева по борту, а по корме звенят ключи мичмана-надзирателя, это простой вопрос: с кем окажешься в камере? Набьют тебе коллеги рожу для начала или пронесет? А побить могут, если в камере окажется хронический шалун-матросик, от которого ты отбирал папиросу полгода или год назад, когда был выводящим.

Но мне продолжало везти.

В камере оказались двое старшин второй статьи. Они продемонстрировали отличную строевую выучку и выправку, когда вокочили и стали по стойке «смирно» при появлении в дверях мичманюги со зверской мордой. Они сделали стойку получше медалированного овчара на собачьей выставке.

Как только дверь захлопнулась и замок щелкнул, старшины уселись на пол камеры и продолжили прерванную мичманским вторжением игру. Они даже не заинтересовались, протасил ли я курево или спички.

Скоро выяснилось, что арестанты имели то и другое в изобилии, потому и не заинтересовались.

А я, используя опыт караульного и выводящего, зашил в штаны — суконные второго срока, то есть в уже вытертые и выношенные, как мои коленки, штаны, — спички, обломок чиркалки и курево. Не будем уточнять, куда и как я это запрятал, — вдруг новичок-надзиратель прочитает.

Играли старшины в занятную и самобытную игру. Увы, мало кому ныне она доступна. Для игры необходим дощатый пол, а у вас паркет.

Два игрока садятся на одну и ту же половую доску в разных концах камеры на максимальном удалении друг от друга, широко раскинув ноги в стороны.

Игровой инвентарь — тяжелый шар, слепленный из хорошо пережеванного черного хлеба низшего сорта.

Шар закаменел и будет, пожалуй, потяжелее бильярдного.

Характер игры военный. Надо поразить наиболее уязвимое место партнера. При этом вы не имеете права бросать шар. Он должен катиться по доске, ни разу не подскочив на ней.

Для определения точности попадания не нужно ни видеотелемонитора, ни другой сложной финишной современной техники. Если попадание точное, то партнер в автоматическом режиме, без всякого участия подлого и лживого сознания, восклицает: «Ой!!!» Потом он некоторое время матерится, с неподдельной опять же злобой и азартом перебрасывая шар из руки в руку и прицеливаясь для обратного отомстительного броска.

Продолжительность игры ограничена только крепостью нервов партнеров и их, так необходимой на флоте, выдержкой.

Вопросы генетической наследственности в те времена еще не мучили наши умы и не мешали спать по ночам, ибо гены еще были зловещим бредом мировой буржуазии и космических космополитов. Потому я и принял участие в игре.

Без шуток: очень сложная и азартная игра! Надо обладать большим опытом, чтобы пустить шар строго по доске, ибо если шар чуть захватит стык с соседней доской и при этом попадет противнику в ногу, то партнер получает право на двойной бросок. Тут даже не только опыт нужен, но и талант, и искусство. Я вышел из игры довольно быстро. Потому что у меня не оказалось ни первого, ни второго, ни третьего.

В силу этого я на следующие сутки попросился на работу. Не знаю, как ныне, а в сентябре пятьдесят первого года арестованные простым арестом могли работать, а могли и не работать — по собственному желанию.

Мои коллеги пачкать руки грязной тачкой не хотели, а я каждое утро отправлялся к Красненькому кладбищу — мы строили трамвайную линию на Стрельну.

В шесть утра на Садовой улице возле губы останавливался грузовой трамвай с двумя прицепами-платформами. Мы залезали на платформы и гроыхали через пустынный еще и спящий город в Автово. Утреннее путешествие мне даже нравилось. Но вот вечернее — нет. Любопытный прохожий мог увидеть меня на открытой трамвайной платформе, а известно, что Ленинград отличается от всех

городов планеты еще и тем, что каким-то чудом среди трех миллионов жителей на каждом перекрестке встречаешь знакомого, даже если знакомых у тебя жалкая дюжина. И я боялся: до матери докатится, что ее сын не в спецзагранкомандировке, а просто-напросто копается в земле и костях возле Красненького кладбища — трамвайная линия прихватила край сровненного с пустырем многие годы назад захоронения. И экскаваторы иногда выбрасывали на свет божий останки наших предков. А мы разравнивали грунт лопатами и укладывали на подготовленное полотно шпалы.

Первые дни сентября, чудесная погода, листья только-только начинают облетать с деревьев, загородный воздух, ветерок с залива, запах смолы от свежих шпал, шорох камышей в придорожных болотах и иван-чай на пригородных свалках, и добрые женщины — дорожные работницы, с которыми мы таскали шпалы в одной упряжке.

Они по русской древней традиции жалели арестованных матросиков и, хотя сами существовали впроголодь, делились то молоком, то хлебом.

...И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге...

Кто мог из арестованных матросиков, платили им по наличному счету в кустах ивняка и среди могил Красненького кладбища. Вероятно, вы понимаете, чего даже больше хлеба хотелось женщинам-работягам в послевоенные времена.

Часовые в таких случаях не замечали исчезновения должника с зоны. Самые отчаянные из ребят этим пользовались и даже срывались в самоволку в город на часок-другой. Круговая порука действовала безотказно, и норму должников и самовольщиков дорабатывали менее отчаянные, проклиная при этом и себя, и самовольщиков.

Начали снижение. Быстро нынче летают воздушные лайнеры...

Самое тягостное на гауптвахте — воскресенья, когда не возят на работу. Тогда в обязательном порядке положена прогулка. Она в том, что вас выводят из камер на зарешеченную галерею и стоишь по стойке «вольно», но заложив руки за спину, с полчасика.

Если из шеренги кто-нибудь вякнет чего-нибудь надзирателю, то мичманюга командует: «Кру-гом! Два шага вперед! Марш!» И шеренга оказывается в положении «носом в стенку». И «гуляет» до самого конца уже в такой позиции.

Симпатичное на губе для моряков то, что утром дают не только хлеб и чай, как испокон веку завтракает флот, но, например, пару картошек с кусочком соленой трески — по сухопутно-солдатскому обычаю.

МУРМАНСК

17.00. Аэродром Мурмашей.

Плюс шесть градусов.

Низкие тучи над согбенными сопками.

Ключья снега у вершин.

Барак-аэровокзал без изменений. Одноэтажное синее деревянное сарайное сооружение. Тошно его видеть.

Автобус зато шикарный. Едем быстро.

Старые знакомцы валуны. Опившаяся болотной водой трава и девонский плавун-папоротник.

Опившаяся болотной водой трава — ядовито-зеленая. Это последний вскрик зелени перед тем, как она начнет исчезать. Это как румянец чахоточного.

Низкорослые деревца. Лиловые доски снегозадерживающих щитов. Лиловые столбы древних линий электропередач. Лиловые горбы сопки, лиловые тучи над ними.

Лиловое и ядовито-зеленое — красивое сочетание, но это та красота, которую оцениваешь, а не любишь. Намек на любовь может мелькнуть, если думаешь о том, как записать пейзаж. Но когда просто смотришь на него, душа молчит.

18.00. Вырываемся из кручения между сопки к берегу Кольского залива.

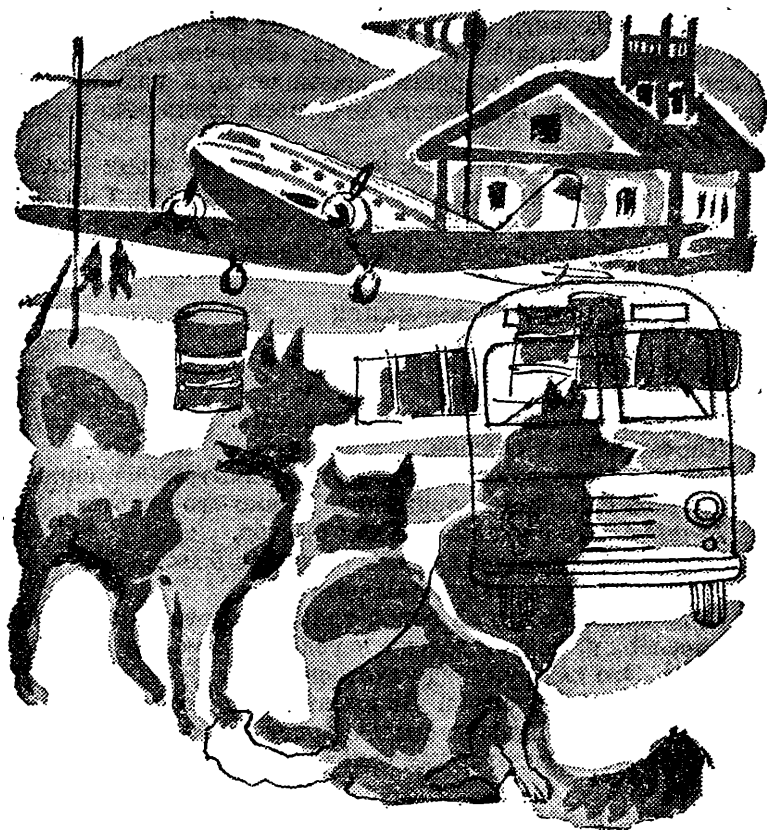
Прибрежный поселок. Автобус тормозит. Кого-то высаживаем.

Ничего не узнаю вокруг. Щемящее настроение.

Отсюда первый раз по тревоге ушел на спасательную операцию. Здесь первый раз спустился под воду.

Возле автобуса крутятся собаки.

Тогда, на приходе со спасения, полярной ночью, в пур-

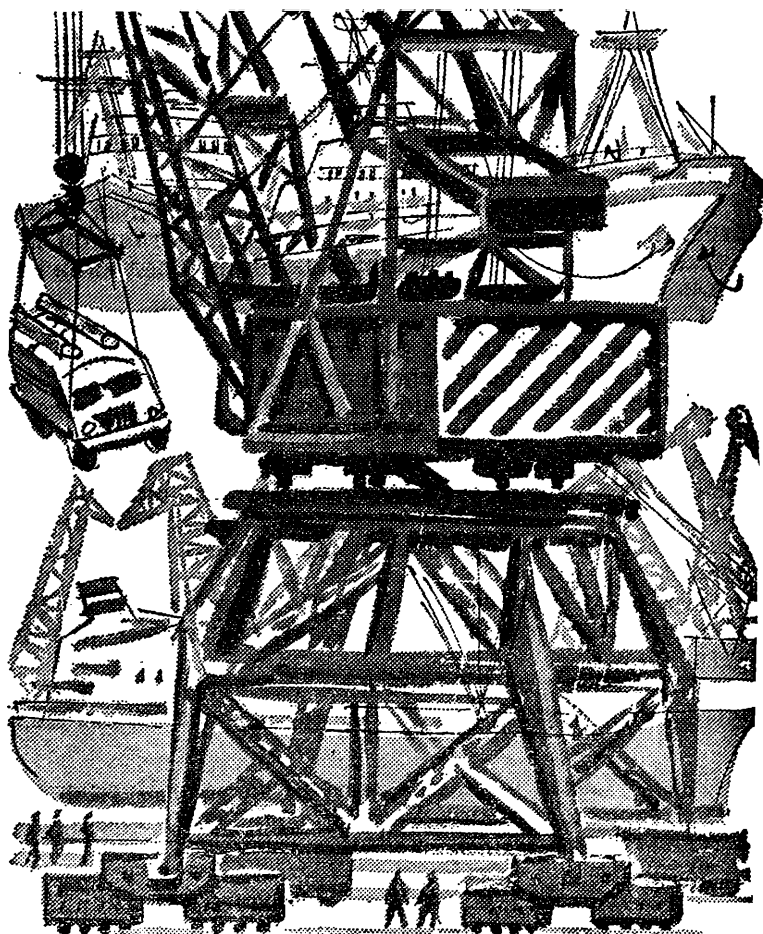


гу, на причале нас тоже встречали собаки. Женщины не приходили встречать. Или им запрещалось, или они ко всему привыкли. Только жена старшего лейтенанта Ханнанова иногда встречала.

Близко не подходила. Ханнанов стыдился сантиментов жены. Она работала зубным врачом.

Ее силуэт в ночной пурге, пробитой мощным лучом прожектора, и силуэт часового на причале, и собаки — прыгают, радуются, знают, что мы их скоро покормим...

18.30. Исковерканная новостройками земля и холодная грязь Мурманска.



Высадка у железнодорожного вокзала. Очередь на такси, но небольшая. Занимаю очередь.

Выпиваю кружку прекрасного кваса и звоню из автомата диспетчеру «Трансфлота». Автомат нормально срабатывает с первой попытки.

«Державино» на подходе. Отдает якорь около двадцати часов.

Еду в такси к морскому вокзалу. Таксист шипит и презирает за маленькое расстояние поездки. Проезжаем под носом «Вацлава Воровского». «Значит, ночевка для

меня обеспечена», — на всякий случай отмечаю я, ибо пока твое родное судно не станет на якорь в натуре, с ним все может случиться: имею в виду задержку лесовоза «Державино» на орбите вокруг Скандинавии.

19.00. Сдаю вещи в камеру хранения.

Сажу на скамеечке на пассажирском причале прямо перед носом белоснежного лайнера. Он в отличном порядке. Только клюзы ободраны якорями, и под ними наклеена ржавчина.

Солнце вспыхивает в просвете между тучами и дилловыми сопками западного берега Кольского залива. Прямо мне в лицо. Хорошо, когда солнце. Штук пять голубей шатаются вокруг скамейки. И какой-то сильно пьяненький гражданин плюхается рядом, просит закурить.

К пьяненькому подходит элегантно, по-заграничному одетая дама и энергично бьет его по голове опять же заграничным зонтиком, приговаривая: «Хрясь! Хрясь!»

Гражданин не сопротивляется, только закрывается руками.

И я вдруг решаю не пить весь арктический рейс. Уж больно тяжкая сцена разыгрывается в самом начале пути.

Иду в буфет морвокзала и ем холодную котлету, пью тепловатый кофе. Трезвость. Ни тебе аванса, ни пивной...

21.00. Поехал рейсовым катером на рейд Мурманска. Судов скопилось много. Улитками впились в штилевую, летнюю гладь Кольского залива.

Отлив.

И запах отлива, осыхающего морского дна.

«Державино» выглядит замызганно. Но морда у кобылки славная, доверчивая и добродушная. Шпангоуты кое-где уже обмяты. Увы, скоро они будут обмяты куда рельефнее.

Вся палуба в контейнерах, на контейнерах переходные мостики к баку и два красных пожарных автомобиля. Скоро мрачно-монотонные улицы чукотского Певека украсятся ярко-веселыми машинами... Интересно, радуются современные мальчишки пожарам, и вою пожарных машин, и их боевому, тревожному пролету сквозь перекрестки?.. Ничего-то я не знаю о современных мальчишках...

Первый человек на борту «Державино» — девица, остро, заметно пригоженькая. Сидит верхом на чемодане возле траповой площадки. В джинсах. Рядом саксофон. Или какая-то другая труба.

— Где вахтенный матрос?

— Сейчас придет. Я подменяю. Катер скоро вернется?

— Минут через двадцать. Кто из штурманов на вахте?

— Старший помощник.

— Позовите его, пожалуйста. Я дублер капитана на время Арктики.

Она нажала тангетку звонка, но не встала с чемодана.

— Может, вы представитесь?

— Буфетчица. Соня. Списываюсь.

Это и так ясно было, что она списывается. И еще мне было ясно, что я ретроград. Ибо поймал себя на том, что, как человек в футляре, не одобряю позу женщин «верхом» — будь это на чемодане, велосипеде или лошади и будь они в джинсах или даже в ватных штанах.

— Как звать старпома?

— Спирос Хетович.

Спиро... в «Листригонах» Куприна есть Спиро. Греческое имя...

— Он грек?

— Нет, албанец. Простите, я волнуюсь перед разлукой и потому все спутала. Капитан у нас албанец. А он русак, заяц-русак. Вон идет, — кивнула она кудрявой головкой на высокого, вернее, длинного и сутулого человека, который не так шел, как плелся по палубе. Ему было далеко за пятьдесят.

Девица, глядя на зайца-русака, начала безмолвно гримасничать. Ее личико передернула судорога, тик, пляска святого Витта, беззвучный сардонический смех.

— Приветствую вас, Спиро Хетович, — сказал я и представился.

— Она вам так меня назвала? — спросил старший помощник, старательно отводя глаза в сторону от бывшей буфетчицы. — Пошлая шутка. Меня зовут Арнольд Тимофеевич Федоров.

— Простите, — сказал я.

Девица прыснула. А я наконец догадался, что «Спиро Хетович» происходит от спирохеты.

— Чтобы хулиганить под занавес, не надо муже-

ства,— строго сказал я девице. Мелькнул в ней сквозь красивую внешность легкий цинизм. Впрочем, и роза покажется циничной, если ее засунут в неподходящий букет.

— Для вас приготовлена каюта помполита,— сказал старпом, когда мы пошли в надстройку.— Его не будет.

— Первые помощники перед ближним каботажом часто прихварывают,— сказал я.

Арнольд Тимофеевич явно не одобрил мое замечание. А дело в том, что Арктика ныне в век НТР совсем не то, что в век «Челюскина». И потому помполиты считают, что раз тут не заграница, то и без них обойтись вполне можно.

— Ключ у стармеха,— сказал Арнольд Тимофеевич.— Иван Андриянович. Вы с ним плавали. Капитан на берегу. Супругу встречает. Она с нами поплывет. По специальному разрешению кадров. По персональному разрешению,— последнее он подчеркнул с гордостью за капитана.

Вслед нам от трапа донесся звонкий и дерзкий девичий голосок:

— Ведь командор повесить уже хочет Фрондозо на зубцах высокой башни! Без права! Без допроса! Без суда! И вас здесь та же участь злая ждет!

Я посчитал эту декламацию предупреждением в свой адрес. И неожиданно ощутил сожаление оттого, что эта Соня не идет в рейс. Даже нечто такое, как ощущаешь в юности, когда чужой и неприятный парень на танцах уводит вальсировать твою избранницу.

Встреча с Андриянычем оказалась теплой. А когда-то не ладили. Я только начинал становиться торговым моряком, работал вторым помощником, ошибался много, вероятно, испытывал комплекс неполноценности, а такой комплекс мешает не только самому, но и соплывателям.

Андриянычу пятьдесят восемь.

Хорошенький получается средний возраст старшего командного состава на «Державино»! Я оказываюсь самым молодым.

Андрияныч открывает апартаменты. Дурацкая каюта — койка возле дверей и нет столика у изголовья. Значит, пепельницу и предсонную книгу — на стул. Но стулья на качке улетают к чертовой матери. Вспоминаю, что де-

вяносто процентов рейса пройдет во льдах. Там качать не будет. Тогда бог с ним, со столиком у изголовья. Зато каюта просторная. Ходить из угла в угол будет можно.

Андряныч приглашает на чай. И отправляется его готовить.

Незаметно мы уже перешли на «ты».

Вспоминаю его прозвище: «Ушастик» — за большие оттопыренные уши при маленьком росте и чрезмерном любопытстве к личной жизни окружающих. Моряк и механик отличный.

Осматриваюсь.

На полках в шкафчиках, в рундуках, в диване — тысячи политических, профсоюзных, комсомольских брошюр.

Близко за окном каюты виден грузовой контейнер. На торце контейнера марка иностранной фирмы — голенькая женщина с кругленькими бедрами сидит на фоне моря с факелом в руке, у ног дамочки петух в боевой позе, на горизонте — парусник, внизу крупными буквами «ВЕРИТАС». Очевидно, «истина» — так я, во всяком случае, считаю, ибо есть «ин вино веритас» и есть старинная страховая компания с таким названием.

Дамочка, петух и парусник будут попутчиками до самой Чукотки.

Пью чай с вкусными гостинцами у Андряныча. Семейство провожает его в море соленьями и вареньями. Вспоминаем, естественно, совместные подвиги в прошлом.

Главный подвиг — чисто мифологический.

Дело в том, что Андряныч в конце какого-то долгого рейса решил продуть фановую магистраль. И попал с этим мероприятием в конфуз.

Согласно спецположению, эксплуатация магистрали — старпомовское дело, но заведует им четвертый механик, а отвечает в целом за все «машина», то есть «дед».

Технология прочистки магистрали проста. Надо перекрыть гальюны — это дело палубы. И дать в магистраль давление — это дело «машины». Тогда дрянь, застоявшаяся в трубах, будет вышвырнута за борт на радость рыбам.

Старпом возражал против мероприятия, ссылаясь на отсутствие схем магистрали. И Иван Андрянович принял всю ответственность. Он не сомневался в успехе.

На каждый галльон выделяется человек, который на всякий случай следит за поведением стульчака. Иван Андриянович обошел судно и убедился в том, что на страже бодрствуют моряки, которым такое занятие, вообще-то, было куда более приятно, нежели мазать кисточкой ржавый борт. Андрияныч не заглянул только в свой персональный каютный санузел. По принципу: сапожник без сапог. Удовлетворенный проверкой, он спустился в машину, чтобы лично руководить продувкой.

Когда все это дело продули, я как раз направлялся на ужин в столовую. И теперь могу сказать, что видел, вослед за Гераклом, Авгиевы конюшни. Они находились в каюте старшего механика. Причем густая жидкость затопила и рундук, где хранился рулон гипюра, купленно-го в Сингапуре в подарок любимой супруге.

— Викторыч! — проревел Иван Андриянович, заметив мою старательно сочувствующую, гнусную рожу (нос я зажимал в горсти правой руки со всей возможной силой — как жмут резиновый эспандер).

— Виктор Викторович! — ревел стармех, хотя обычно он говорит тонким дискантом.— Если вы об этом в газету напишете, я вас жизни лишу!

Он имел в виду стенгазету «Альбатрос», которую я с омерзением редактировал.

— В газету не буду, Иван Андриянович,— уклончиво прогнусавил я и подло хихикнул, намекая на то, что использую эпизод большим тиражом.

Конечно, и наши женщины, и дедовские мотористы предложили (правда, без чрезмерного энтузиазма) помощь Ивану Андрияновичу. Но у него был морской характер.

— Сам, маслопупый дурак, виноват, сам расхлебывать буду,— сказал он, разделся до трусов и полез в конюшню.

Когда все лишние зрители убрались в столовую команды на кинофильм «Я шагаю по Москве», я тоже разделся до трусов и пошагал к деду.

Мы вычистили конюшню в четыре руки...

Любое прошлое сближает людей. А тем более воспоминания о подобном происшествии, с которого мы начали беседу.

На «Державино» у Ивана Андрияновича в спальной каюте по диагонали натянуты были проволоки. Я удивился: зачем? Оказалось, он заразился у капитана лю-

бовью к вязанью и плетет замысловатые, оригинальные авоськи из морских веревочек-каболок. На проволоках он распинает их в начальном этапе производства.

— Супруга в магазин с такой соленой авоськой пойдет, меня лишний разок вспомнит,— объяснил Андрияныч.

Он явно недоволен, что драйверу Фомичеву разрешили взять жену в арктический рейс, а ему нет. Ушастик знает Фому Фомича как облупленного. Тем более и дачи у них в Лахте рядом. И очень тянуло Ушастика выложить мне про Фому пикантные сведения, но пока только предупредил, чтобы я не заговаривал с капитаном об автомобилях, шоферах, особенно пьяных шоферах, и трубах большого диаметра. 1) Около года назад Фомичев попал в автомобильную катастрофу и разбил свои «Жигули». 2) Около пяти лет назад пьяный шофер с трубовоза предложил Фомичеву двенадцать труб диаметром девяносто сантиметров и длиной двенадцать метров — весь груз — в обмен на четвертинку водки. Фомичев знать не знал, зачем ему эти гиганты, куда их применить, но погнался поп за дешевизной. И вот пять лет половину дачного участка Фомичева занимают эти мастодонты, наполовину уже вдавившись в лахтинскую почву.

Андрияныч произвел подсчет (на то он и механик) средств, необходимых для эвакуации труб в ближайший овраг: автокран, тракторные сани, тягач, рабочая сила. Вышло около тысячи рублей.

Результаты вычислений Ушастик доложил капитану. Фома Фомич вычисления механика тщательно проверил и заявил, что он скорее закопает своих мастодонтов вертикально, чем потратит на их эвакуацию такую космическую сумму.

Затем я попросил Ивана Андрияновича сообщить какие-нибудь нюансы о списавшейся буфетчице, ибо она тревожила мое живое воображение (нюанс — любимое словечко Андрияныча).

Сонька, оказалось, появилась, когда стояли в ремонте. С музыкальной трубой. Трубу купила после того, как посмотрела фильм «Дорога». На ремонте было много свободных помещений, и Сонькины гаммы никого не тревожили. Когда вышли в рейс, соседи по каюте вынудили Джульетту Мазину искать для репетиций какое-нибудь удаленное помещение.

Она отправилась на самый нос судна — под полубак,

устроилась под трапом, высунула трубу за борт и отдалась искусству.

«Тут такой нюанс: шли, ясное дело, в тумане. Зундом. Фомич и Спиро, то есть Арнольд Тимофеевич, ясное дело, были на мостике. Слышат туманные сигналы встречного судна прямо по носу. А на радаре, ясное дело, никаких отметок — чисто все впереди: Сонька-то радиоволны не отражает... Застопорили ход, потом дали «задний» и удерживаются на месте — все по правилам. Встречное продолжает дудеть в опасной близости.

Вызвали опытного маркони, чтобы он объяснил им такой странный нюанс: рядом гудит встречный, а на экране чисто. Начальник радиции крутил-вертел радар, потом говорит, что встречное не видно, так как оно в мертвой зоне, — это и ежу должно быть понятно, а не только капитану со старшим штурманом.

Тогда Фомич говорит, что они уже полчаса на «стопе» стоят и любой другой олух должен был мимо проплыть, и из мертвой зоны выйти, и пропечататься на экране радара, если мозги у радиста есть, а радар в порядке.

«А может, говорит начальник радиции, на другом-то судне, на том, которое гудит, так вот на том, говорю, судне, быть может, такие же, как мы, олухи на «стопе» стоят! Как они тогда могут из мертвой зоны выйти?» И они так вот обсуждали этот вопрос, пока Сонька спать не пошла...

Потом все выяснилось и трубу от Соньки отобрали. А она перешла на художественный свист. И еще все время пела «Замучен тяжелой неволей». А тут такой нюанс: дед Соньки у Котовского заместителем был по политчасти. И Сонька свистит, и все!..»

Если в чем нынешние моряки еще суеверны, чего не любят и не терпят на судах, так это свиста (свистом раньше призывали ветер в заштилевшие паруса, он вообще обозначает ветер). И вот Сонька усекала этот факт и свистела и днем и ночью во всю ивановскую, и доводила Фому Фомича и Арнольда Тимофеевича до полуобморочного состояния. Перед Мурманском старпом не только ходил по противоположному от Соньки борту, но и бегал от нее вокруг трюмов — и тут такой нюанс: впервые в жизни потерял сон. А капитан Фома Фомич Фомичев как-то осторожно заметил, что «таким, значить, обслуживающим персонам из женского персонала нельзя

санпаспорт выдавать», на что он, Иван Андриянович, между прочим, сказал, что это они сами девку до такого свиста и вообще безобразия довели...

К концу нашего с дедом чаепития вернулся с берега капитан.

Жену Фома Фомич Фомичев не встретил.

На лбу шрам после автомобильной аварии.

Первые слова: «Рад очень, значить. Вдвоем-то полегче будет. Давно в Арктике не работали. Избаловались. Это я про супругу с дочкой — они избаловались. Дочка, Катька моя, на курорт рвется, значить, на Азовское море. Не пушу. Как бы из этого курорта, значить, не вышло бы аборта...»

Роста Фомич чуть ниже среднего. Одна треть Фомича — ноги, а две трети — тулово. Ежели он в приспущенных штанах и в тапочках, то нижние конечности не превышают одной четверти всей его длины. Тулово сбито крепко: недаром у англичан драйвер обозначает и копогона.

Полночь. Конец первых путевых суток. Вернее, я нахожусь в пути на этот момент десять часов тридцать минут. А кажется — уже неделя прошла.

До двух ночи просматривал грузовой план и другие документы по грузу. Потом заснул мертвым сном.

Утром отбываем на катере за спецпособиями.

У морвокзала встречаем жену Фомы Фомича. Приехала не тем поездом, или напутали с телеграммой. Сидела на той же скамеечке, где я вчера ожидал подхода «Державино». Зовут Галина Петровна. Глаза грустные.

Фома Фомич отправляется с ней обратно на судно. А я — в Службу мореплавания Мурманского пароходства на обязательный инструктаж.

Комедия. Показывают кальку ледовой аэроразведки района к норду от Новой Земли — вот и вся информация. Нет. Еще вручают список фамилий, имен, отчеств капитанов линейных ледоколов и их дублеров.

Ясно одно — Карские Ворота и Ю-Шар забиты льдом наглухо и мы должны идти в Карское море, огибая мыс Желания с севера...

Деликатно напоминают, что балтийским судам разрешается пребывать в Мурманске не больше восьми часов. Оригинальное и достаточно суровое разрешение.

Суть: уже в Ленинграде должен быть полностью готов к Арктике, и потому нечего тебе выклянчивать у мурманчан зимние шапки и водолазов для осмотра винтов...

Да, никого из старых товарищей я не успею встретить здесь.

Трансфлотовский шофер высаживает на улице Ленина. Перехожу ее и начинаю восхождение на крутую сопку к «Дому книги». Сразу за асфальтом улицы начинается пересеченная местность.

Сердце бьется и хвост трясется, когда одолеваю сопку и вхожу в огромный, абсолютно пустынный, современный «Дом книги». Пустынный не только потому, что покупателей нет ни одного, но и книг нет.

Вдруг — под слоем некосмической пыли сборник — «Судьбы романа».

Уношу его с собой. Среди авторов сборника Мишель Бютор, Колдуэлл, Клод Прево. И стенограмма дискуссии о судьбах романа в Ленинграде в августе шестьдесят третьего года. Я там был и мед-пиво пил. Правда, не потому, что меня туда пригласили. Меня с великолепной наглостью проводил и на заседания, и под конец на банкет один мой друг. Вероятно, из-за того, что ехал я в симпозиуме зайцем, ничего хорошего не запомнил. А от банкета осталось: итальянский романист (фамилия неизвестна) в «Астории», сильно под мухой, на спор прыгает через двадцать лестничных ступенек, прыгает удачно и потом пьет фужер водки за свою победу.

Мне такое итальянское беспутство нравится, и я аплодирую. Рядом Вера Федоровна Панова. Говорит, стро-го поджимая губы:

— Мне кажется, Виктор Викторович, вы забыли нашу первую встречу.

И я прекращаю аплодировать, ибо первую встречу не забыл. Ужасная была встреча. Вера Федоровна звала на беседу, после того как я попросил ее прочитать мой очередной опус.

— Во-первых, сядьте поплотнее, а то вы свалитесь, — сказала Вера Федоровна, когда я, потный от страха, притулился на краешке стула.

И вот я уселся поплотнее. Вера Федоровна неторопливо и тщательно надела очки и уставилась в мой опус:

— Во-вторых. Это вы написали, здесь вот, страница шестнадцать: «Корова, которую купил отец, вернувшись с фронта, сохла»? Вы это написали?

— Да,— сказал я и прыснул, ибо в молодости был смешлив. И ясно вдруг представил, что моя корова обороняла Москву и дошла до Берлина, а вернувшись с фронта, бедолага, сдохла. Вообще-то, мы с рождения знаем, что смех дело заразное, и, когда один хохочет, другие начинают улыбаться. Но Панова не улыбнулась. Она была полна строгости, суровости и только еще больше поджала губы.

Никакого юмора, если дело идет о святом! Правильно это или неправильно — вопрос спорный, вообще-то. Но не для Пановой. Что ж, человек не может быть одинаков всегда. Ведь сама Вера Федоровна призналась в последней книге, что отдавала должное живительной силе уличного-трамвайного анекдота.

На симпозиумном банкете Вера Федоровна тоже сказала мне ядовитую штуку:

— Вы сильнее всего там, где не стараетесь быть обаятельным, то есть не кокетничаете.

Выйдя из книжного мемориала на мурманской сопке, я не удержался и прямо под открытым небом посмотрел именной указатель в «Судьбах романа». Начал, как вы понимаете, с «К». Меня там не оказалось. Джозеф Конрад есть, а меня забыли! Безобразие! Опять завистники — вот и все! Или меня не помянули, ибо я на симпозиуме зайцем ехал? Смотрю на «П». Панферов Федор есть. Пановой — нет. И я утешился.

Сползаю с сопки, досматриваю по дороге к порту киоски «Союзпечати». В одном среди уцененной макулатуры обнаруживаю Щедрина: «Пошехонские рассказы», «Недоконченные беседы». Трачу рубль и две копейки за три здоровенных тома. Нельзя сказать, что Салтыков у нас дорогое удовольствие. Наконец-то я его прочитаю. Пока знаю великого сатирика только через мужика, который прокормил двух генералов.

Добавляю к томам сатирика четыре плитки шоколада «Сказки Пушкина». Пушкиным торгует мороженщица одновременно с эскимо.

Впереди в очереди стоит мальчишка лет пятнадцати, просит прикурить. Чиркаю зажигалкой. Он дымит и пропускает меня перед собой, говорит ломающимся баском, солидно: «Бери вперед, отец!»

Отвратительно, что оценка твоего возраста с внешней стороны и внутреннее самоощущение не совпадают. И потому следует старательно талдычить себе: «Не глазами

на эту девушку. Она считает тебя старой переносицей...»

Теперь следовало навестить парикмахерскую — и я готов к арктической навигации.

К сожалению, полубокс не получается, ибо в парикмахерской у морвокзала обеденный перерыв.

Рейсовым катером на «Державино». Там кавардак. Путаница со сменой экипажа. Приезжают люди с разных судов. У троих не пройдена медкомиссия, у четырех нет справки по КИПам (кислородно-изолирующим приборам), нет печати на санпаспорте у четвертого механика... А приказ отойти до полуночи — кровяца из ушей, но исчезнуть из Мурманска этими, так быстро текущими сутками.

Фома Фомич Фомичев нервничает, трепыхается и все время повторяет, ища у меня моральной поддержки: «Мы, значить, не почту возим! Куда лететь-то, голову, значить, сломав?..»

Его супруга легла спать после дорожных потрясений.

На борту нет доктора. Забурился где-то в городе. Появляется под мухой. К моменту оформления отходных документов выясняется, что:

а) доктор первый раз в жизни на пароходе; б) первый раз идет в море; в) доктор сам не проходил комиссии в Ленинграде и вообще не имеет санпаспорта.

За полстакана спирта на него оформляется пассажирская судовая роль.

Получены вода, овчинный тулуп, бункер, пять шапок, пять теплых роб и две куртки на вате...

Фома Фомич показывает мне отходную диспетчерскую РДО для штаба на Диксоне. Там он указывает, что ужасно слабым местом судна (по устным данным прежнего капитана) является район борта справа у машинного отделения. Отговариваю давать такую РДО: не следует с места в карьер раздражать штаб сообщениями о слабости какого-то борта, у какого-то «Державино», по данным какого-то капитана и еще до того, как мы увидели хоть одну льдинку, — в штабе ледовых проводок на Диксоне сейчас кутерьма куда больше и серьезнее нашей судовой; товарищи там сразу подумают о явной перестраховке и начнут потом относиться к «Державино» с подозрением и уничтожением.

Андряныч держится на отходе с олимпийским спокойствием. И мы опять чаевничаем, теперь в моей каю-

те. Конечно, и того и другого дергают по всяким делишкам, но это не мешает Андриянычу рассказать об отце Андрея Рублева, нашего матроса из Архангельска. Отец Рублева прославился еще с довоенных времен великолепным упрямством. В сороковом он служил действительную в северных краях. Мороз был сорок. Объявили форму одежды номер шесть: шапка обязательно с опущенными ушами. Папа нынешнего Рублева заявил, что ни один помор в такую тропическую жару опускать уши казенной из веревочного меха шляпы не станет, и отгулял увольнение не по форме. Прибыл из увольнения уже не в часть, а в госпиталь, с огромными пузырями вместо звукоприемников.

Погиб в войну еще глупее, но с каким-то чисто поморским, космическим спокойствием. Был матросом на транспорте. Шли с Исландии. Торпеда. Транспорт затонул за две минуты. Сосед архангелоса (так Ушастик зовет всех уроженцев Архангельска) по кубрику утверждал, что от взрыва Рублев номер один умудрился не проснуться. И сосед шестьдесят секунд потратил на то, чтобы его все-таки добудиться. Но признать факт потопления своего родного судна архангелос отказался, перевернулся на другой бок, обматерил соседа, закрыл голову одеялом — погиб вместе с судном. Легенда или быль — не знаю. Но хорошо, что сын чудака плывет с нами и мы будем делить с ним не одну ночь и не одну ледовую перемышку. Андрияныч утверждает, что наш Рублев Андрей в точности повторяет своим космическим упрямством папу.

Под соусом всей этой травли стармех мне подсунул «Правила технической эксплуатации дизелей при плавании во льду». И ввернул о том, что при работе на мелководье, в шторм, с буксиром и на буксире судовые дизеля ведут себя особенно. Намек я понял. И поблагодарил за предупреждение...

Прибывают лоцман и портнадзор. Шорох с ними и стенания обеих сторон. С помощью некоторой подмазки договариваемся, что наш отход они оформят двадцать третьим июля, а на самом деле отходим уже 24.07.01.00.

НАЧАЛО ВЫЯСНЕНИЯ ОТНОШЕНИИ

В Кольском заливе штиль.

Солнце опускается только за самые верхушки сопок. Три колена в Кольском заливе. И три раза псевдо-

закатная солнечная кутерьма переходит с борта на борт.

По свинцу вод — розовые размытости. Гористо-сопочные берега на фоне закатных полыханий угольно-черные.

Знакомые мысы и названия. Тяжесть утесов. Нигде не чувствуешь так вес Земли, как при виде береговых гранитов, обрывающихся в воду. Ругань лоцмана — капитан порта изобрел для близкого родственника должность «лоцмана по загрязнению окружающей среды», но залив от этого не стал чище.

Лоцман о литературе:

— Чепуха. Нет хороших книг. Пишут те, кто не хочет работать. Легкие деньги — вот и пишут.

Проходим Ваенгу и остров Сальный, Полярный и Большой Олений. И над открывшимся морем Баренца видим низкое свободное солнце. Солнце в три часа ночи. По синему морю Баренца течет бело-холодное мерцание полночного светила. И я вспоминаю Ломоносова.

Ложимся на сорок шесть градусов — один длинный курс через все Баренцево море — на мыс Желания.

Растаял в тумане Рыбачий... Прощайте, скалистые горы...

Проходим Кильдин. Гляжу в бинокль на камни Сундуки. Страшные минуты пережиты там. Обидно, что куда-то запропастились документы, которые хранил после окончания следствия по делу о спасении нами СРТ-188.

...Искореженная сталь логгера, сползая с каменной подводной террасы, на которую он выскочил с полного хода в тумане, стонала и скрипела. Стоны и скрежет отдавались в пустых помещениях таким жутким эхом, что сразу вышибали из мозгов мысли о второй половине двадцатого, технического века, о международных конференциях по спасению человеческих жизней на море и таких гениальных придумках, как надувные жилеты, которые были тогда на вооружении.

Вокруг была тьма, волны, пена. Судно уходило в мокрую могилу кормой вперед; мы карабкались по уступам надстройки. И оказалось, что нужны только воля каждого, сила духа, владение дыханием, хладнокровие, расчет, умение превозмочь дурноту и тошноту и другие рожденные страхом ощущения; превозмочь их, оставаясь все время человеком, то есть заботясь о более слабом; отступить, только убедившись, что позади не осталось ни-

кого; веруя в исполненный до конца долг и непрерывно ощущая приближение страшного, но чем-то уже знакомого, виденного, пережитого уже, быть может в кошмарном сне, то есть ощущая приближение смерти. И крик внутри: «О, так это и бывает? Нет! Только не со мной! Я еще буду рассказывать обо всем этом! Еще буду вспоминать все это! Нет, я-то не поскользнусь, нет! Кто угодно поскользнется и сорвется, но не я! На мне резиновые бахилы с нарезной подошвой! Я молодец, что не надел валенки! Резина, если давишь ею сильно и прямо, не скользит, и я не поскользнусь! Я еще буду все это вспоминать!» Но не всегда можно ступить прямо и сильно, когда лезешь по внешней стенке ходовой рубки и видишь, как волна первый раз хлестнула в дымовую трубу ниже тебя. Но видишь плохо, потому что ресницы смерзаются, руки коченеют, одна варежка потеряна, а сердце все чаще дает перебои, легкие в груди сдавлены страхом и усилием мышц, теснящих ребра. Легкие не могут вздохнуть, сердце зашкаливает, тогда слабнут ноги, им не помогает резина, скользит подошва по мокрой, обледенелой стали, гложет бессмысленный крик, пухнет череп, пальцы еще несколько мгновений цепляются за что-то, а дальше ты уже ничего не помнишь.

На мой рассказ о гибели СРТ-188 стармех Иван Андриянович выкладывает свою новеллу. И делает это без традиционного в таких случаях запоздалого юмора.

На буксире в Северном море обеспечивали перегон трофейного немецкого дока: «На поворотах слону хвост в нужную сторону заносили, нетактичная работа...»

Зима, тяжелый шторм, сқисла машина, вода в МО (машинном отделении). Капитан неосторожно сказал при молодом матросе, что при крене в тридцать градусов на такой волне и при таких нюансах судно теряет остойчивость. Из-за этих неосторожных слов тот матросик сошел с ума.

Они все время смотрели на кренометр и ждали конца. А стрелку кренометра иногда заносит по инерции и за сорок градусов. Рехнувшийся маниакально стал стремиться убить старпома — бросился с пожарным топором. Трижды вязали и запирали в каюте, и трижды он вылезал, хватал топор и находил старпома — «шпиона и вредителя». Сдали в клинику в Ростове. А он выпрыгнул со второго этажа ночью, нашел судно и опять бросился на старпома. Тот стал заикаться.

Первый раз в спасательной новелле я слышу настоящий ужас правды. О таком и так моряки говорят редко.

Когда в разгар шторма у Андрияныча один из цилиндров двигателя начал цеплять металл юбки и кромсать его, то дед оттягивал и придерживал юбку цилиндра обыкновенной веревкой, а судно несло на камни, где уже разбилась землечерпалка и погибло двенадцать человек.

В Баренцевом море пока мертвый штиль.

И если судно и покачивается, то это как бы не на всей толще вод, а только на коже океана.

И, возможно, поэтому наш драйвер, наш капитан Фома Фомич Фомичев, молчаливо выслушав наши жуткие воспоминания и тщательно обдумав их, неожиданно сказал:

— Эт все что! А вот у меня, значить, когда на моего «Жигуленка» автопогрузчик наехал и его на клыки взял и нас на крышу поставил, и не поставил, а, врать не буду, так, значить, и шмякнул в бетон,— так пока я без сознания пребывал, то кто-то из портовой охраны из багажника портфель упер: замечательный портфель, настоящей кожи, а там у меня рубашка лежала, в портфеле этом, мать его... Настоящая рубашка там хранилась — полотняная, не нерлон-перлон! Я б ему, суке! Я б ему, кабы он мне в руки попался, охранник этот!!

И здесь лицо Фомы Фомича сделалось здорово похожим на противотанковый надолб.

— Не так «Жигуленка» жаль,— продолжал Фома Фомич, потирая затылок,— как рубашку эту... Ну, тут, значить, вру: автомобиль, конечно, больше жаль. Однако за «Жигуленка» возмещение рано-поздно получу, а за рубашку что? Кукиш!

Самое странное, что если совсем честно признаться, то мне после гибели логгера, то есть среднего рыболовного траулера номер сто восемьдесят восемь, не так было жаль судна, как погибшего с ним вместе нашего аварийно-спасательного имущества: «галоши-слон — восемь пар, мотопомпа шестьсот — две штуки, вельбот спасательный — один, ракетный пистолет «Верн» — один» и т. д. Правда, я так за это имущество переживал еще и потому, что чуть было за него статью не получил...

РДО: «АМДЕРМЫ 54645 1115 ТХ ДЕРЖАВИНО
КОПИЯ ДИКСОН НМ КАШИЦКОМУ СЛЕДУЙТЕ
ОБЫЧНЫМИ НАВИГАЦИОННЫМИ КУРСАМИ РАЙ-
ОН МЫСА ЖЕЛАНИЯ ТОЧКУ 7710/7130 ЛОЖИТЕСЬ
ДРЕЙФ ОЖИДАНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ
СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ ВАШЕ СУДНО НЕ БЫЛО ОБЛО-
ЖЕНО ТЯЖЕЛЫМИ ЛЕДЯНЫМИ ПОЛЯМИ РАЙОН
ОЧЕНЬ ДИНАМИЧЕН ТЧК ПОДТВЕРДИТЕ = 24/66
КНМ ВАКУЛА».

Среди синего моря отдыхает под полуночным солнцем рыжий от ржавчины двухмачтовый рыбацок. Вокруг него правильным кольцом кружатся чайки — как белая граммофонная пластинка.

Рыбаки, верно, не слышат чаячьих криков, подумалось мне, оглохли от них, привыкли и теперь не слышат, не замечают... И я давным-давно не слышал чаячьего крика — сидишь в рубке, отделенный от вод, небес и морских птиц сталью и стеклом... Когда я последний раз слышал чайку, вернее, дал себе отчет, что слышу ее крики? И не вспомнить...

Ничего, полярные чайки отличаются повышенной крикливостью и меньшей пугливостью. И скоро я их услышу, и их гуано украсит иллюминаторы моей каюты...

25.07.19.00.

Вышли на видимость полуострова Адмиралтейства.
Солнце. Синь. Свежесть.

Как соединить нежную прозрачность с суровой тяжестью, свирель с грохотом горного обвала, акварель со сталью? Вот если можно соединить такие несоединимости, то получится впечатление от северных берегов Новой Земли.

Зализанные плавности ледников, сползающих с вершин гор, и обрывистые вопли береговых круч. Бесследно растворяющиеся в нежной голубизне вершины и четкость берегового уреза. И розоватость неуловимой дымки.

Ветер южный, три-четыре балла.

Весь день изучал инструкции по плаванию в Аркти-

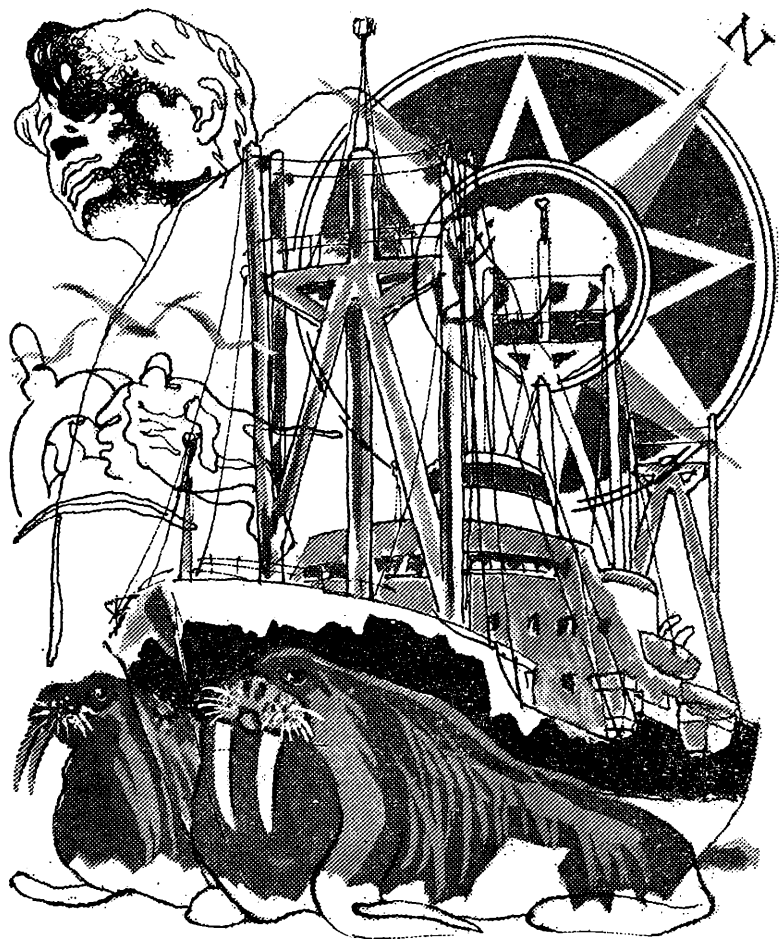


ке, по борьбе за живучесть, по связи. Чем больше читаешь таких штук, тем страшнее. В этом и есть один из их смыслов: не забывай, парень, о серьезности дела, тебе порученного.

Позор, но я забыл многие обозначения, необходимые для быстрого чтения ледовых карт и кáлек авиаразведок. Остальные «нюансы», как говорит Андрияныч, вспоминаются легко и укладываются на нужные полочки в черепе аккуратно.

Боцман принес зимнюю шапку, чтобы содержимое черепа не простыло. Отличная шапка.

Ожидание приближения схватки со льдом. И, как все-



гда, хочется, чтобы опасное произошло скорее. Ход — тринадцать узлов.

«Приказ по т/х «Державино»

На основании должностной инструкции дублеров капитанов судов на время плавания в Арктических водах, утвержденной нач. пароходства 11.07.74 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

На время плавания на трассе Северного морского пути дублер капитана Конецкий В. В. обеспечивает безопасность плавания, непосредственно осуществляет управление и маневрирование судном

при самостоятельном плавании во льдах и в караванах за ледоколом с 00.00 до 06.00 и с 12.00 до 18.00.

Капитан (Фомичев)

С приказом ознакомлен:

Дублер капитана (Конецкий)

24.07.75».

Собачье время стояния — с полночи до утра — я предложил ему сам: он старше меня, плывет с супругой, переживает автокатастрофу и т. д.

Овчинный тулуп нам с ним положен один на двоих. Ну что ж, значит, в уже нагретый влезать будем, будем не только друг другу вахту сдавать, но и своим теплом обмениваться.

21.00 — НАВИП — два айсберга на курсе нашего следования в назначенную точку ожидания. Оба в четырех милях к северу от северной оконечности Новой Земли — от островов Большие и Малые Оранские.

Пока же только розовые от низких лучей солнца чайки качаются на ультрамариновой слабой волне.

В открытом море взгляд привыкает главным образом к горизонтальным линиям. Горизонталь горизонта, горизонтальное глобальное движение волн, горизонтальности облаков и слоев тумана, даже полет морских птиц обычно сугубо горизонтален. И потому с особенной силой обнаруживается мощь и особая суть земли. Твердь организуется вертикалями: морщины горных ущелий, сползание ледников, обрывы и прибрежные камни — все сечет привычность горизонтальности и тем с огромной силой увеличивает эмоциональность прибрежно-морского пейзажа.

РДО: «БОРТА 04 178 СК46 26 1405 ВЕСЬМА СРОЧНО ВСЕМ СУДАМ СЛЕДУЮЩИМ ЗАПАДА НА ВОСТОК ВЫХОДИТЬ ТОЧКУ 7630/7230 ЭТОЙ ТОЧКЕ ЛЕД 2/4 БАЛЛА ДАЛЕЕ ДОСТУПНЫМ ГЛУБИНАМ ОБХОДИТЬ РАЙОН МЫСА ЖЕЛАНИЯ СЛЕДУЙТЕ НАЗНАЧЕНИЮ ТЧК ВСЕМ ПУТИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЛЬДИНЫ ТУМАНЕ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ = КНМ ВАКУЛА».

Неужели всего трое с половиной суток назад я сидел на травке возле аэропорта?..

Все РДО (радиограммы), начинающиеся словом «борт», означают, что поступают к нам с небес, с самолетов ледовой разведки. «КНМ» в конце означает «капитан-наставник».

Фамилия летающего в небесах капитана-наставника настойчиво вызывает в памяти гоголевского кузнеца Вакулу.

Солнце над Новой Землей. Оно совсем белое, а берега бредут на его фоне понурыми призраками. —

За утренним чаем разговор о роли возраста для капитанской удачи. Я шел Северным морским путем на восток первый раз в 1953 году штурманом. В 1955-м — ровно двадцать лет назад — капитаном малого рыболовного сейнера.

Андрьяныч утверждает, что у молодых меньше аварий. И действительно, тогда прошли на Камчатку все малюсенькие суда — около трех десятков, а среди капитанов не было никого старше двадцати семи лет.

Фома Фомич свою точку зрения утаивает.

Самый северный мыс Новой Земли не мыс Желания, а мыс Карлсена.

Обидная дутая популярность мыса Доброй Надежды (ибо самый южный в Африке — мыс Игольный) повторяется на Крайнем Севере. Бедный скромный Карлсен...

Спросил у старпома про приборку в каюте на минуту раньше, нежели увидел, что приборку уже делает дневальная. Позвал электромеханика чинить выключатель настольной лампочки, а она оказалась исправной. Два случая недостаточной выдержки.

Близко идет «Урюпинск».

Попутное или встречное судно в штилевом безбрежье океана кажется бесплотным мотыльком.

Получили первые факсимильные карты ледовой обстановки по данным аэроразведки. Эти карты так пропитаны йодом или какой-то другой химией, что нельзя потом трогать глаза.

Читал «Толкование Правил по предупреждению столкновения судов» А. Н. Коккрофта. Перевод с английского капитанов дальнего плавания Брызгина, Володина, Факторовича под редакцией Николая Яковлевича Брызгина.

Есть такое замечание:

«Все лица, которые имели непосредственное отношение к любой аварии на море, должны помнить о том, что их могут вызвать в качестве свидетелей в суд, который может состояться спустя несколько лет после происшествия. Они могут подвергаться перекрестному допросу, и если не смогут припомнить многое из того, что произошло, то окажутся в глупом положении. Поэтому при первой возможности следует сделать подробную запись. Следует принимать во внимание, что личная запись, представленная свидетелем в суд, может быть использована как доказательство любой из участвующих сторон...»

«Лорд Хэршелл в 1893 году заявил... Виконт Финлэй в 1921 году заявил...» — занятно встречать такие обзоры.

Занятно и то, что и путевые записки, даже если автор привирает в них, через десяток лет уже становятся доказательствами для любых сторон истории, ибо даже ложь есть истина исторического момента.

12.00—18.00. Как раз все мои шесть часов ушли на форсирование первой перемычки.

Густой черный туман при солнце и штиле. Лед толщиной до двух метров, три-четыре балла, большие поля старого льда. В самый напряженный момент прилетел самолет, и мы вышли на связь с ним на первом канале «Акации» и мило побеседовали с товарищем капитаном-наставником по ледовой проводке Виктором Семеновичем Вакулой. Он прилетел к нам из Амдермы, оглядел поле боя и дал координаты точки, куда мы и последовали, тыкаясь в поля и выворачиваясь между ними.

Бежевые, толстые, брюхатые, теплые нерпы или тюлени плюхались со льдин в малахитовую воду при нашем чухающем приближении. Разнообразные птички ныряли и прыгали в штилевой водичке.

И все было привычно и мило.

Кроме двух минут, когда мы не смогли вывернуться и дали «полный назад», но все равно пхнули черное ледяное поле в поддых, и оно сразу дало нам сдачи. Но мы не обиделись, ибо все так и положено.

Итак, пусть маленькая и слабая, но первая перемычка позади.

Это, конечно, не настоящий лед — как бы обнюхивание, но бабки подбить следует.

Начнем с «Державино»

Крутится отлично, чуткая лошадка и добросовестная. Плох обзор. Он плох даже с крыла мостика, не говоря о том, что с центрального окна ходовой рубки вообще ничего вперед не видно. Мощная мачта и две мощные к ней подпорки плюс мощная стрела для тяжеловесных грузов — все это вместе не дает возможности рулевому видеть прямо по курсу ровным счетом ничего.

Да и нам тяжело. Когда шофер управляет автомобилем, сидя слева или справа от оси симметрии, то это на маленьком автомобиле и на земле. Управлять стометровой (высота Исаакия с крестом вместе) лайбой, вертеться среди льдин и имея возможность глядеть вперед только с краешка мостика, не очень-то удобно.

Немного привыкнем, как привыкает шофер, пересевший с малолитражки за баранку КРАЗа. Но до конца, до полного удобства и уверенности тут не привыкнешь. И некоторые крепкие слова в адрес корабелов-проектировщиков на языке крутятся.

Тетя Аня (Анна Саввишна) — наша буфетчица

Колорит в чистом виде: «Ране дефки юпки насили, а коли в бабы выйде, так сарахван, а ноне?»

Очень добрая и славная. Ей только-только пятьдесят, но считает себя этойкой погибшей уже для вселенной и человечества девой.

Главный бзик тети Ани в том, что панически боится насилия. Широко известно, что на судах, где она работала, ее якобы пытались изнасиловать, но пока она выходила сухой из этой ужасной воды.

Имеет кота Ваську, кастрата. Раскормленный, черно-белый, как гусеница. К коту испытывает симпатию Арнольд Тимофеевич Федоров. Ей-богу, у старпома особое отношение и к хозяйке. И это интимно-особое он переносит и на кастрированную гусеницу.

Давно существует отличительный признак для определения начала сумасшествия моряка — он стучит в дверь собственной каюты, прежде чем в нее войти. Мне кажется, что на почве застарелой девственности тетя Аня иногда близка к этому состоянию.

Ее рефрен: «Надо сало кушать — организму очищает!»

Бессребреница. Обязанности, дела и всю посуду приняла у Соньки за пять минут, ничего не считая и не пересчитывая.

Ребята утверждают, что Сонька возрыдала и сама выдала тайны нехваток: и сколько простыней рваных, и сколько графинов разбито.

Внешняя повадка такая. Переступить порог кают-компании не может прямо и по-человечески. И с миской супа и без миски Анна Саввишна переступает порог, широко качнув над порогом бедрами, как старомодный пилот на «У-2» крыльями; одновременно она еще вздергивает голову высоко и своенравно — мол, вы! которые здесь сидите! я вам, бездельники и дармоеды, насильники и фулиганы, дам прикурить!

Короче говоря, в момент пересечения порога кают-компании тетя Аня смахивает на клодтовских коней с моста ее имени в Ленинграде (имею в виду Аничков мост). И каждому командиру, сидящему за столом, становится ясно, что если он полезет ее насиловать, то тетя Аня при первом удобном случае выльет претензионщику за шиворот миску горячих кислых щей. И не миновать ему этой кары, как и сковородки затем в аду.

Начало насильнической мании тети Ани, по данным Ушастика, таково. Любому флотскому человеку известна мазь «слоанс». Это жутчайшей жгучести и ядовитости мазь. Существует «слоанс» и в виде жидкости. На флаконах и на картонной упаковке изображен один и тот же мужчина с мощными черными усами. Моряки считают его изобретателем и зовут Трейд Марк. На инструкции к мази изображен во весь рост еще и голый мужчина. В том полном смысле слова «голый», что на нем и кожи нет — только мышцы. И к каждой мышце нарисована стрелка и название болезни. Чтобы вы, узнав название своей хвори, знали, куда «слоанс» втирать. Если, например, эта жуткая мазь попадает вам в глаз, то считайте, что вы его больше не увидите. Излечивает мазь от массы безнадежных болезней, ибо через минуту после начала втирания ее вы начисто забываете обо всех болях, кроме одной — от мази.

Еще на заре морской карьеры наша тетя Аня приняла попытку вылечить легкую поясничную невралгию «слоансом». Обладая, как я уже говорил, врожденной широтой натуры, молоденькая Анечка подливки не пожалела и плеснула на поясницу с русским размахом.

Дело было поздним вечером в океане, а жила Анечка в каюте одна. Потому обратиться за экстренной помощью, когда снадобье подтекло ниже ватерлинии, не могла ни к кому.

Да и вообще положение Анны Саввишны было, по образному выражению Ивана Андрияновича, «пикантный нюанс».

Пометавшись по каюте, поподвывав, смочив всякие места водой из умывальника, тетя Аня открыла иллюминатор, влезла на стул и высунула обнаженную корму на ветер, полагая, что час поздний и никого на ботдеке, куда выходил ее иллюминатор, не будет, а океанский ветер хоть немного облегчит борьбу с адски жгучими усами мистера Марка.

На ту беду, лиса близехонько бежала... Была это, правда, не лиса, а капитан. И никуда он не бежал, а прогуливался по ботдеку, так как страдал весьма закономерной для моряков болезнью, имеющей причиной малоподвижность. И капитан преодолевал болезнь променадом. Он, конечно, знал, что экипаж все про все знает, включая его хворь. Именно поэтому картинка в иллюминаторе подействовала на капитанскую психику особенно угнетающе. Он усмотрел в ней гнусный и подлый намек. И шлепнул по картинке с полного размаха.

Именно с тех пор, утверждает Иван Андриянович, тетя Аня никогда не плавала на судах, где у капитана есть усы. Тут такой нюанс: у того капитана, как и у мистера Трейда Марка, были могучие черные усы. И именно после того прискорбного случая, как утверждает Иван Андриянович, у нее и началась мужебоязнь.

Не следует забывать, что все анекдоты смешны только уже после того, как мы их переживем,— это заметила мадам Тэффи, кормилица Михаила Михайловича Зощенко (по его собственному признанию). И потому ни я, ни Иван Андриянович не смеялись, когда обменивались информацией и наблюдениями по поводу тети Ани.

Рублев, сын Рублева

Матрос первого класса. Год рождения 1944-й — отец зачал его перед уходом в последний рейс. Учится заочно в средней мореходке в Ленинграде. Великолепный рулевой и вообще моряк, но упрям и своенравен — и тем опасен.

Можно ожидать, что, заорав: «Больше право!», ты вдруг увидишь, что судно забирает больше лево, ибо архангелос с тобой не согласен и считает, что ему, как рулевому, лучше знать, куда ехать, и вообще он один понимает «Державино» до глубин лесовозной души.

Кажется, Фома Фомич так обрадовался тому, что я сам предложил стоять с ноля до шести не из-за того, что может спокойно ночь спать, а потому, что с архангелосом не будет иметь контактов.

Рублев сделал в памяти Фомы Фомича прободную язву.

Делал он ее так. Стояли они однажды на якоре далеко от берега. Там сильные приливо-отливные течения. Рублев на шлюпке с подвесным мотором шел с берега, куда был послан за кинофильмом. Уже близко от судна заглох мотор. Фомич, который наблюдал за мореплавателем с мостика, заорал, чтобы, значить, Рублев разобрал весла и догребал к борту старинным и испытанным способом. Рублев, сын Рублева, категорически отказался в разгар научно-технической революции пачкать руки веслами. И принялся копать в моторе. Пока он пачкал руки машинным маслом, нашел туман, и течением шлюпку унесло. Связались с берегом, объявили поиск. В море вышли катер, буксир и большой охотник. Три часа ищут, четыре, пять — нет Рублева. Ветерок, конечно, крепчает и все такое — по всем подлым морским законам. Ясное дело: перевернулась шлюпочка. Или — такое предположение тоже было — попал под браконьеров и они его пришили, как нежелательного свидетеля.

Ночь Фома Фомич метался по мостику, терзаемый мыслью: сообщать в пароходство или еще, значить, пододать?

Под утро — стук мотора — идет из-за мыса Рублев. Ему на пересечку бросается большой охотник, палит от радости в небеса из тридцатисемимиллиметровки, подает Рублеву буксирную веревку. Тот категорически от помощи отказывается, ибо знает международное морское право: «Если бы я тогда у них буксир принял, то за спасение в открытом море платить бы пришлось, а так — фиг им: «Без спасения — нет вознаграждения»...» (Закавыченные слова когда-то даже стояли эпитафией к «Договору о спасении», и все это действительно так, но никто

ничего, конечно, за спасение Рублева брат бы не стал, и все это полная чушь, то есть характер...)

Оказалось, с мотором шлюпочки был порядок, а полетела шпонка, крепящая винт; Рублева течением унесло в тумане к чертовой бабушке, аж за Третий остров, но до весел он все равно не дотронулся. Там, у чертовой бабушки, на Третьем острове, упрямый трескоед нашел охотничью избушку, в избушке кусок стальной проволоки, заменил шпонку, расклепал ее каким-то чудом, закрепил винт и своим ходом вернулся на родное судно.

Меня удивил тем, что часто и к месту цитирует майора Горбылева, то есть читал (и крепко читал!) Щедрина, которого я купил за рупь в Мурманске и только начинаю изучать на старости лет.

Во всех несчастьях своих и мира винит тещу. Теща из глухой рязанской деревни. Отца тещи зарубили на деревенской свадьбе. Мать тещи сошла с ума от горя, задушила сына и погналась за шестилетней тещей Рублева. Та удрала. И Рублев все жалеет и жалеет об этом факте, ибо этот факт для него прискорбный. Еще Андрей утверждает, что именно его теща развязала первую мировую войну.

У него удивительный талант имитатора. А может, это называется чревоуещательством. Он говорит голосом любого члена экипажа и орет воплем любого зверя.

Когда мы пихнули льдину в перемычке, раздалось плачущее причитание тети Ани:

— Ах, тошенька! Ах, лиханька! Раз молодые што папала тварят, так и старые бесяца!

— А вы что тут, черт побери, делаете?! — заорал я на тетю Аню, носясь с крыла на крыло мостика.— Брысь отсюда!

Но она не убралась, ибо через минуту опять запричитала:

— Самалет ляти! Впряди прямо! Ах, лиханька! Ах, тошенька!

Действительно, впереди вынырнул из туч самолет с кузнецом нашего счастья Виктором Семеновичем Вакулой. И только тогда, оглядевшись, я понял, что тети Ани нет, а есть этот подлец имитатор, который стоял на руле с совершенно бесстрастной физиономией и наглухо закрытым ртом.

Второй помощник Дмитрий Александрович Строганов

Младше меня лет на пять. По диплому — капитан дальнего плавания, работал старшим помощником на крупных судах, включая пассажиров. Где-то у него удрал — дезертировал с судна — боцман. И Саныча «смайнали», как говорится на морском языке о тех, кого понизили в должности.

Работать в паре с таким моряком спокойно и приятно: за битого двух небитых дают! Он с сильной сединой, высокий и красивый. Мне кажется, что мы встречались. И это «кажется» мучает, как застрявшее в зубах волокно говяжьей жилы, когда нет ни зубочистки, ни спички...

— Трудно после старпома опять грузовым помощником работать? — спросил я его. Дело не о психологии шло, а о самой работе.

— Нет, — сказал он. — У меня хорошая память. Не мозг в голове, а запоминающее устройство. Хотите, скажу цены в Дакаре на семидесятый год? Пятьдесят американских долларов — шестнадцать тысяч местных франков. Это заработок крестьянина за год. Бутылка импортного датского пива — полтора американских доллара. Сто грамм арахиса — двадцать франков.

— Почему именно эти цифры назвали?

— Не могу видеть голодных. Скажите, как может прожить крестьянин на пятьдесят долларов в год? Знаете, тот, кто в Сенегале имеет барана, по-нашему имеет как бы «Москвича» последней модели...

Старший помощник Арнольд Тимофеевич Федоров, он же Спиро Хетович, он же Степан Разин

Из шести вахтенных часов два я провожу с ним.

Ловлю себя на том, что боюсь писать внешность Арнольда Тимофеевича. Рука не поднимается. Боюсь, не смогу быть отстраненным при описании, объективным.

Есть мужчины, у которых плечевой пояс, сама спина, поясница и зад представляют одну плоскость, а от этой идеальной вертикальной плоскости отходит под определенным углом к горизонту длинная шея, а на шею висит голова с редкими волосами сивого цвета. У подобных мужчин нижняя половина тела напоминает четырехугольную арку Колизея, ибо ноги втыкаются в тулово

на значительном — сантиметров в пять — расстоянии одна от другой. Сократить это расстояние никакой фасон и покрой брюк и никакой портной не в состоянии.

Коллизеевскую арку имеет и Тимофеич.

При обострении ледовой обстановки моментально уюривает с мостика в штурманскую рубку.

Когда ситуация разряжается, возвращается и деловым тоном докладывает: «Прошли шесть миль!» (Это он рассчитывал среднюю скорость.) Или: «Нанес по «Известиям мореплавателям» новую глубину в проливе Матиссена у островков Скалистых. Четыре метра глубинка, а ее только обнаружили! Вот и работай тут!»

Я: «На кой ляд вы носитесь с глубинами возле островков Скалистых, если мы там и близко не будем? Не знаете, что корректура карт — дело третьего помощника? Еще раз убедительно прошу не покидать мостик и следить за льдом с правого крыла».

Отскакивает от него. Страх? Но страх чего? Ответственности? Или глубинный, всепричинный, поедаящий душу, возрастной?

Кроме «Спиро Хетовича» по судну бродит и еще одна данная ему кличка: «Разин». Эта дана ему на контрапункте. Ничего бессмысленного морячки на языки не пускают, хотя внешне иногда кажется, что в их трепе полная чушь... Что прямо противоположно Степану Тимофеевичу Разину? Трус. И здесь за Арнольдом Тимофеевичем надо глядеть в четыре глаза — не по Московскому водохранилищу плывем...

Пятьдесят семь лет. Бывший военный, давно получает пенсию капитан-лейтенанта. Служил в гидрографии на Севере в промерных партиях. Вероятно, отсюда недоверие к любой глубине на карте. «Я знаю, как их меряют!» — говорит Арнольд Тимофеевич с многозначительностью посвященного человека. И ясно делается, что сам он мерил глубины отвратительно. И потому не верит ни одной на карте.

Главнейшее удовольствие для Арнольда Тимофеевича — посеять сомнение и поднять переполох. А на море существует закон, по которому каждый судоводитель обязан прислушиваться и как-то реагировать на высканное другим сомнение и опасение в чем угодно.

И вот про такой закон Арнольд Тимофеевич сладострастно помнит. Ну вот, к примеру, везут автокраны

на палубе, и в море автокраны покачиваются, ибо они, естественно, на рессорах. И тут старпом замечает, что у автокранов есть четыре штатных домкрата, но эти домкраты не опущены. И сразу он подсовывает сомнение капитану в том, что качания автокрана опасны и надо обязательно опустить домкраты. И вот выгоняются на палубу люди, и начинают изучать устройство автокрановых домкратов, и пытаются опустить их, но машины стоят тесно, и домкраты мешают друг другу опуститься. И тогда начинают вырубать чурки и вбивать их на упор под краны и т. д. ... А ведь автокран для того и существует, чтобы качаться на своих рессорах по самой ужасной проселочной дороге. И крану и судну от качаний автокрана ничего не будет, но... а вдруг? И люди уродуются, а Тимофеич счастлив — он заметил значительное, он проявил знание и предусмотрительность, он — на месте! И вот, чтобы доказать самому себе и другим, что он на месте, Арнольд Тимофеевич ищет, ищет, ищет, где бы высказать опасение, посеять сомнение,— и наслаждается, если найдет.

Жена старпома Арнольда Тимофеевича (Разина, Спиро Хетовича) давно неврастеничка и психопатка. На берегу в родном порту он домой не ходит. Имеет сына, с которым в «политическом» конфликте. Имеет внука, которого, конечно, любит.

Стармех Иван Андриянович старпома терпеть не может. Их каюты рядом, и каждый щелчок ключа в дверях Разина бьет по ушам стармеху, а я уже говорил, что человек он ушастый,— иногда напоминает мне слоненка: сам маленький, а уши большие. Старпом же щелкает ключом непрерывно, ибо запирает каюту, даже выходя к третьему штурману за кнопкой или скрепкой.

Второй механик Родниченко Петр Иванович

Кое-какую информацию получил о нем от своего друга Ниточкина. Они когда-то вместе плавали.

«Вполне созревший фрукт научно-технической революции,— сообщил мне Ниточкин, когда прослышал, что я получил назначение на «Державино».— Знает дело и современный мир. Был стопроцентным технократом, уже когда плавал у меня четвертым механиком. Усвоил, что подделка наукообразности под диалектику легко вводит окружающих в нужное тебе заблуждение. Помню, отво-

зили мы наследников в пионерлагерь. И возвращались из Рождествено на Сиверскую, уставшие конечно, в дачном автобусе-трясучке. Успели забраться первыми и уселись на отдельном заднем сиденье. А вокруг набилось с полсотни дачных женщин с авоськами, бидонами и мешками. Положение стало пиковым: сидеть — морально тяжело, а физически — опасно. И вот он, друг-блондин, вдруг хватает меня за рукав и орет: «Коллега, если смещать магнитный пучок по оси ординат и взять интеграл от плюс до минус бесконечности, то можно добиться смещения географического полюса, как по «а», так и по «це»! Если же дифференцировать, введя постоянную Больцмана... Ты меня понял?» Вот так он орал, мой второй механик, и тряс меня за плечо.

Вокруг мрачно и угрожающе дергались и качались полсотни дачных женщин, и ничего не оставалось, как заорать в ответ: «Нет, коллега! Нет! Ты не прав! Надо повернуть постоянную Больцмана по оси абсцисс!» — «Тупица! — заорал он мне — капитану! — и понесся дальше: — Девиация мягкого железа, измеренная на уровне малой воды методом Ландау, дает возможность обойтись без закона Бойля и Мариотта, смещая постоянную Больцмана на «це квадрат»...»

Минут через десять самая вредная и дошлая баба все-таки поставила ему на плешь бидон с молоком, но он этого как бы и не заметил и продолжал сомнамбулически орать свое. Еще через пару минут другая дамочка все-таки рушится на повороте мне на колени. И ничего не остается, как с обновленной силой взвыть: «Ты прав, старик! Из уравнения Пуассона и кривой Гаусса логически вытекает вакуум Нобиле, а если разложить их всех в ряд, то можно обойтись и без дифференцирования...»

Так мы проехали около часа и вылезли живыми, но я психически не совсем здоровым, потому что давным-давно выдохся и бормотал какую-то элементарщину, что, мол, достаточно извлечь кубический корень из Метагалактики — и все в мире станет на место... Да, Витус, народ науку уважает, хотя и знать не знает, куда она его ведет. Главное — она ведет».

Окромя вышеизложенной информации про второго механика Родниченко мне известно, что он спас кота тети Ани. Судно поставили на фумигацию, то есть накачали в какой-то зерно-семенной груз смертельного газа, и экипаж покинул пароход. И вдруг выяснилось, что Васья

не эвакуировался. И перезревший плод НТР нацепил противогаз, облазил судовые закоулки с ручным фонариком, нашел Ваську и выволок на свет божий. На мой вопрос, что было в этой операции самым отвратительным, Петр Иванович сказал, что самое отвратительное — невозможность и бессмысленность ругаться, когда на тебе намордник...

Ну, а теперь о главном герое и нашего рейса, и моего повествования. О капитане «Державино» Фоме Фомиче Фомичеве.

Ему придется посвятить всю следующую главу. Она представляет собой, говоря научным языком, контаминацию. Слово это латинское. Обозначает оно смешение двух или нескольких событий при рассказе, вкрапливание одного события или литературного произведения в другое. Для лингвиста же слово это обозначает возникновение нового выражения из двух частей или нескольких выражений. Например, неправильное выражение «пожать удел» есть контаминация двух выражений «получить в удел» и «пожать плоды».

Ядовитая девица Соня Деткина придумала для некоторых героев из экипажа теплохода «Державино» определение — «нудаки». Это есть контаминация двух слов: «нуда» и «дурак». Такой контаминации и сам Щедрин бы позавидовал.

Вообще-то, я всей этой книге хотел дать название «КОНТАМИНАЦИЯ». Отговорили. Литературно, мол, манерно, претенциозно, выкаблучивание; не очень образованные читатели с «компиляцией» будут путать, и так далее.

Начать же книгу хотел как раз с той главы, которая сейчас последует. Опять отсоветовали. Легкомысленно для начала, пустой треп и не без безвкусицы; будет отпугивать утонченного читателя грубостью некоторых выражений. А по мне: пусть отпугивается...

Но, с другой стороны, вся книга дневниковая. Почему и зачем? А потому, что Чехов сказал: «Нужно, чтобы для читателя... было ясно, что он имеет дело со знающим писателем».

Вот мне и приходится еще раз предупредить вас, читатель, что масса истинных деталек, и черточек, и происшествий, которые на самом деле были и случались, зало-

женная в книгу, превращается уже в так называемое в логике СОБИРАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ, то есть в совокупность, которую следует рассматривать как такое целое, которое имеет уже совсем свои особые свойства, во все даже иногда отличные от свойств составляющих элементов. Потому утверждения и угадывания, относящиеся к совокупности, не могут быть отнесены к этим документальным деталям, черточкам и происшествиям.

ФОМА ФОМИЧ В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ

1

Фоме Фомичу Фомичеву снился оптимистический сон. Назвать сновидение можно было бы «Куда я еду?». Снизлась ему дочка Катенька в трехлетнем возрасте. Как она впервые села на трехколесный велосипед. И поехала, но, как рулить, не знает и не понимает. И вот едет Катенька прямо в стенку дома и кричит: «Куда я еду?!» Но все крутит и крутит ножками. Вполне бессмысленно крутит, но крутит и — бац — в стенку.

Фома Фомич во сне рассмеялся, разбудил смехом жену Галину Петровну, она разбудила его, он хотел рассказать супруге про сон, но она слушать не стала и выгнала его досыпать на веранду.

Проснувшись утром на веранде от птичьего гомона, Фома Фомич с приятностью вспомнил ночной сон, а затем точно установил, что вчера утром шею мыл. Поэтому принял решение нынче ее не мыть. И по всем этим причинам день для Фомы Фомича начался безоблачно.

Только не посчитайте Фому Фомича нечистоплотным человеком. Он, к примеру, глубоко уважал общественную баню.

Кто-то из великих наших мыслителей заметил, что обычай русской бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция, ибо идея равенства удивительно в ней, в нашей бане, выдержана. Так вот, Фома Фомич умел баню любить и что такое «легкий пар» понимал со всеми тонкостями, являясь, таким образом, демократом мирового класса.

Но ванну и холодную воду (на даче не было теплой) Фома Фомич недолюбливал. Нелюбовь эта проистекала

от одного из геройских поступков Фомы Фомича, о котором рассказано будет ниже.

Возможно, давнее героическое происшествие обусловило и еще одну странность Фомы Фомича — во все времена года он носил кальсоны. Но последняя странность может быть объяснена и строгостью таможенной службы. Лет двадцать назад таможня свирепо пресекала ввоз в СССР гаруса и мохера клубками, то есть такого мохера, который продавали в инпортах на вес. И вот для того, чтобы обойти таможню по кривой, Фома Фомич научился вязать. И вязал из гаруса и мохера (в свободное от вахт и политзанятий время) нижнее теплое белье, то есть кальсоны, трусы, плавки и фуфайки.

В порту прибытия он спокойно, с совершенно чистой душой, надевал три пары собственноручно связанных кальсон и всего другого, затем без всякой нервотрепки проходил досмотр и покидал территорию порта.

Дома, на твердой суше, Галина Петровна распускала кальсоны на их составляющие, сматывала обратно в клубки и реализовывала среди знакомых дам.

И вот так — совсем незаметно для самого себя — Фома Фомич втянулся уже и в постоянное ношение кальсон.

Любуясь с веранды видом осеннего цветника, буйствующего после недавнего доброго дождя, Фома Фомич машинально и уже в который раз отметил про себя, что лупинусы растут здесь даром, а у метро в городе их продают по двадцать копеек штука. Эта мысль тоже была приятна. И приятно было привычное легкое щекотание гарусных, собственноручно связанных кальсон, когда Фома Фомич их натягивал на крепкие белые ноги.

В ближайшем будущем ноги должны были покрыться стойким загаром — Фома Фомич загорал на курортных пляжах густо.

И только змей-горыныч на правой ляжке неприятно кольнул хозяина напоминанием, что нынче он едет в Институт красоты, где ему придется навеки расстаться:

1. С когтистым орлом (правый бицепс).

2. Со спасательным кругом, на котором в весьма неприличной позе висела головой вниз и задом вперед то ли нимфа, то ли русалка (грудная клетка — от соска до сска и от сосков до пупка).

3. Со змеем-горынычем, который уже сорок один год пытался дотянуться раздвоенным жалом до коленной чашечки правой ноги.

4. И с разной чепуховой мелочью — якорьки там и сердца, пронзенные кинжалами.

Все это были глупости тяжелого и далекого отрочества. К картинкам Фома Фомич давно привык, не обращал на них внимания, так же как и его жена, дочь и медперсонал бассейновой поликлиники, где Фома Фомич ежегодно проходил медкомиссию.

И вот...

...Господи, до чего одинаковые словечки говорят молодые хорошенькие дочки состоятельных отцов, когда начинают капризничать!

— Гутен морген, папуля! Какой ты сегодня красивый! Прямо Эдуард Хиль!.. Папульчик, я тебя люблю безмерно, но... Ты меня прости, но... Папуль, я буду говорить прямо... Там, в Сочи... возможно... ну, будет один молодой человек, и, прости, папуль, я не хочу, чтобы он видел твою эту, ну, на груди, которая в круге... Мы будем на пляже, и... ты меня понял, папульчик ты мой чудесный!..

Фома Фомич вышел в капитаны из семейства железнодорожного рабочего со станции Бологое Октябрьской, а в прошлом Николаевской железной дороги. Он был фезушником в сорок втором, солдатом в сорок третьем, ефрейтором в сорок четвертом, сержантом на крайнем северном фланге в сорок пятом и сорок шестом. Затем он преодолел среднюю мореходку, вечерний университет марксизма-ленинизма, курсы повышения квалификации командного состава торгового флота, еще один университет и еще одни курсы.

Кто из молодого, длинноволосого поколения думает, что преодолеть все это — раз плюнуть, пусть сам попробует!

Отпустить дочь в первый ее бархатный сезон на курорт одну или с подругой (Галина Петровна жару не переносила по причине гипертонии) Фома Фомич и помыслить не мог.

— Поедет, значить, на курорт, а привезет усложнение ситуации во всей нашей династии,— сказал Фома Фомич в минуту откровенности супруге.

На просьбу дочери о сведении на нет татуировок Фома Фомич ответил не сразу. Он никогда не торопился с ответами и решениями.

— А где это, ну, значить, русалочку мою ликвидировать? — спросил он дочь через недельку.

— Что «ну», папуля? — рассеянно переспросила дочь, примеряя перед зеркалом мини-юбочку, которую Фома Фомич своими руками вынужден был привезти ей из вольного города Гамбурга.

— Тебя ясно спрашивают! — рявкнул Фома Фомич, раздраженный зрелищем мини-юбки на своей Катеньке (на других молодых особах они его раздражали меньше). — Где теперь с этой пошлой пакостью борются?! — заорал Фома Фомич, употребив и несколько крепких слов.

Катенька — интеллигентка, так сказать, уже во втором поколении, сдающая на пятерки экзамены за первый курс Текстильного института (за что ей и был обещан бархатный курорт), — заткнула пальчиками ушки и закрыла глазки. Папулина стрельба тяжелыми снарядами ее не пугала, но шокировала.

— Перестань, папка, права качать! — сказала интеллигентка второго поколения. — Поедешь в Институт красоты. Это на бульваре Профсоюзов, возле площади Труда, — и с пленительной улыбкой открыла глазки и вынула из ушек пальчики.

И от этой пленительной дочерней улыбки по лицу Фомы Фомича скользнула этакая двусмысленная ухмылка. Дочь напомнила ему супругу в юном виде в первый по-слесвадебный год.

Да, было в такой ухмылке Фомы Фомича что-то от сатира.

Тем более что и некоторыми постоянными чертами лица он смахивал на Сократа. Кроме, конечно, лба.

Известно, что Сократ был из простых людей, имел лицо крестьянское, нос картошкой, а по свидетельству вечно пьяного Алкивиада, похож был то на Силена, то на сатира Марсия. Так вот, если обрить с Сократа бороду и усы да приплюснуть ему лоб до среднечеловеческого уровня, оставив нечто от Силена и сатира, то очень близко получится к Фоме Фомичу Фомичеву: был в нем сатир, был!

Вы, конечно, понимаете, что никакой Сократ даже в ранней юности не стал бы выкалывать себе от сосков до

пупка нимфу, а тем более не стал бы ее, на старость глядя, уничтожать; но на какие только сравнения и параллели современный писатель не отважится, чтобы точнее и зримее донести до читателя образ и облик любимого своего героя!

2

Одевшись в темный костюм (сразу после завтрака он решил ехать в город в Институт красоты), Фома Фомич навестил интимный уголок дачного участка. И там, под росным кустом уже отцветающей калины, минут пять обдумывал все детали предстоящего дела. Например: стоит или не стоит сунуть докторше пачку жевательной резинки «Нейви татто»? Жвачка, вообще-то, была бы в жилу. Она американского производства, и ежели наслюнить ее обложку и прижать к телу, то отпечатается вроде как татуировка — пошлый, ненастоящий орел или фрегат под всеми парусами. А ежели потом плюнуть на тело и потереть платком, то вся пошлость легко исчезает.

На завтрак супруга подала отварной картошки со сметаной. И Фома Фомич покушал завтрак с удовольствием и аппетитом.

Катка, конечно, к завтраку опоздала; вышла, зевая и потягиваясь, сказала: «Гутен морген, предки!»

По радио передавали что-то о спорте и Гренобле.

Дочка уселась в качалку, взяла яблоко и спросила: — Папуль, а Гренобль красивый город?

Фома Фомич сказал, что Гренобль город небольшой, даже просто маленький.

— А у тебя окна в отеле куда были? На Альпы? — спросила дочка.

— А я и не помню, — признался Фома Фомич, подумав при этом, что самый замечательный гальюн в ихних отелях хуже его будки под калиной.

Поблагодарив супругу за завтрак, Фома Фомич отправился по росной траве в гараж.

Автомобиль он приобрел давно, но в силу мокрой профессии ездил мало. С одной стороны, это было хорошо, потому что «Жигули» выглядели новенькими. С другой стороны, это было плохо, потому что Фома Фомич ездил неуверенно и даже иногда с большими страхами.

Но все коллеги вокруг, имеющие дачки и дочек в Лахте, автомобилями обзавелись и сами на них ездили. И Катюша доталдычила его — благомысленного отца семейства — до таких чертиков, что...

Первым препятствием был выезд из гаража — очень узкий, по причине окружающих гараж труб большого диаметра. Затем ворота, которые в этот раз Фома Фомич миновал удачно и даже в сравнительно короткий срок — минуты за три-четыре.

Створку ворот придерживала дочка, вся такая свеженькая — прямо бутон розовый, и Фоме Фомичу захотелось ее поцеловать, хотя обычно он к таким нежностям расположения не имел.

— Запомнил, папуль? — сказала дочка. — Бульвар Профсоюзов. Рядом ограда такая высокая, а на ней бюсты-скульптуры негров. По ним и ориентируйся.

— Все будет гутен-морген! — сказал Фома Фомич и покатил в город.

Вопросы эстетики Фому Фомича никогда в жизни не волновали. И потому само название заведения, куда он ехал — «Институт красоты», — маячило ему всю дорогу как-то странновато, отчужденно и несколько тревожно. И он старался затушевать его радиоприемником, введя на полную мощность «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина.

Под «Тореадор! Тореадор, смелее в бой!» Фома Фомич миновал дом с бюстами негров на бульваре Профсоюзов и с облегчением убедился в том, что «Института красоты» рядом нет. Есть обыкновенная «84-я косметическая поликлиника».

А когда в подвальном гардеробе он увидел привычные кумачовые лозунги и сообразительства: «Выполнить производственно-финансовый план 1974 года к 25 декабря! И на отдельных участках отделений план двух лет к 17 ноября!» — то и вовсе успокоился (на морском языке «вошел в меридиан»).

Выяснилось, что в этом учреждении положено платить наличными и закон о бесплатной медицинской помощи в мире социализма — в мире эстетики уже не действует. «Сколько сдерут?» — полюбопытствовал в уме Фома Фомич, приглядываясь к обстановке, вникая в нее неторопливо, тщательно и осторожно.

В гардеробе-подвале сновало взад-вперед порядочно народу. И не только женщины, чего Фома Фомич тоже по дороге опасался, но и мужчины, и даже военные.

Гардеробщик сидел в пустом гардеробе, скучая и томясь: погода была еще теплая.

Фома Фомич просмотрел указатель помещений, одновременно краем глаза наблюдая гардеробщика.

В первом этаже поликлиники располагались: «Подводный массаж» — нечто профессионально близкое Фоме Фомичу, затем «Кишечные промывания» и «Грязехранилище» — довольно далекие от его опыта заведения. И, чтобы зря не путаться, Фома Фомич пошел к гардеробщику. Он всегда начинал со швейцара, ибо гордыней отнюдь не страдал.

— Значить, в медицине работаем? — так начал Фома Фомич. — Из фельдшеров небось? К старости-то фельдшерская работа и не под силу стала, угадал небось?

Гардеробщик, который выше медбрата в психиатрической клинике не поднимался даже в свои звездные часы, сразу оживился. А Фома Фомич еще подмазал его сигаретой «Пелл-мелл». Сам-то не курил, но иногда баловался. И на всякий — такой вот — случай пачечку иностранных сигарет при себе имел.

— Очень роскошное помещение у вас тут, — намеренно коверкая и те слова, которые он мог бы произнести правильно, продолжал Фома Фомич, восхищенно оглядывая старинную лепку на стенах.

— Особняк купца Родоканаки, турок из Одессы, — объяснил гардеробщик. — Богато жил. На широкую ногу. В процедурных кабинетах у нас на потолках всевозможные старинные украшения — и с голыми бабами и ангелами.

— А вот люблю людей расспрашивать, — сказал Фома Фомич. И не солгал. Он действительно любил с людьми пообщаться. Даже уголовников всегда старался разговаривать, когда сводила его с ними судьба на восточных окраинах страны.

Через пять минут Фома Фомич уже знал: 1) Косметологи происходят из венерологов. 2) Все они женщины, но если профессора, то уже мужчины. 3) Татуировки выжигают электротоком, кусками десять на десять сантиметров, и все это без бюллетня. 4) Когда в операционный день много выжигают пациентов, то даже здесь, в подвале, ужасно воняет жареным человеческим мясом. 5) И даже человеческим жареным жиром воняет, ежели рисунок углубился в кожу глубоко, а пациент толстомясый.

Все эти детали гардеробщик сообщил Фоме Фомичу с бодринкой в голосе, чтобы поддержать дух, помочь новичку решиться на мероприятие. Но результат пока получался противоположный.

— Дома после сеанса голый будешь ходить,— продолжал информацию гардеробщик.— Так зарастает скорее. И смазываться будешь по живому пятипроцентным раствором марганцовки — самодезинфекция называется. В ей, в марганцовке, кислород заключается, но болеть будет сильно. Сперва-то они тебя заморозят, да и электричество боль убивает, а дома уже прихватит. Температура подскочит — не боле как до тридцати восьми. Пирамидону купи. Четвертинку засади. Но не боле. А через десять дней следующий кусок жажнут. Теперя так. Если у тебя украшения эти очень замечательные, то иди прямо сейчас в шестой кабинет. Там такая Валентина Адамова. Она для диссертации самые уникамы в альбом собирает. Ежели твои заинтригуют, так и без очереди пропихнет, а сама наблюдать будет и все такое, но сперва зафотографирует на цветную пленку. У ты цветные картинки или монотонные?

— Монотонные,— слегка крякнув, сказал Фома Фомич.

— Монотонные-то подлые — потому как старинные. А раньше-то, сам знаешь, добротнее делали, на всю глубину. Теперешние цветные вовсе просто выводить. А с монотонными в пятницу летчик-испытатель, герой настоящий, так он не только в обморок брякнулся, но, прости, друг, по секрету скажу: описался! — восклицательным шепотом закончил информацию гардеробщик.— Полчаса отмачивали!

Фома Фомич обдумал информацию, слегка шевеля при этом губами и почесывая за ухом. Он, вообще-то, предполагал, что в век космоса и НТР процедура уничтожения змея-горыныча и русалочки будет проще. То есть настроен он был, как немцы перед блицкригом и «дранг нах остен». И некоторое неприятное неожиданное переживал приблизительно так же, как немцы после разгрома под Москвой. Но духом не упал. И сказал гардеробщику:

— Я очень, значить, извиняюсь, но, кореш мой драгоценный, не описаюсь! Не на того напали. И ты, значить, тут пациентов не запугивай, ты их вдохновлять должен, а ты...

Гардеробщик обиделся и даже растоптал недокуренную «Пелл-мелл».

— Я очень, значить, извиняюсь,— еще раз повторил Фома Фомич, а про себя подумал: «Ну и черт с тобой, ну и обижайся, а за эту... как ее?.. Валентину Адамовну (он имена и отчества всегда хорошо запоминал, если для дела надо)... за эту ценную информацию — спасибо. Теперь курс прямо на шестой кабинет держать надо».

Валентина Адамовна — толстомылая, лет сорока, вся в золотых украшениях и в тапочках на босу ногу,— как только Фома Фомич закатал рубашку на животе, так сразу засуетилась, помолодела лет на десять, зарумянилась даже от возбуждения и восхищения. А когда Фома Фомич совсем обнажился, то... то все организационные вопросы оказались решенными моментально: вне всякой очереди, сегодня же начнут; все, что товарищ где-то и от кого-то слышал про ужасы (Фома Фомич, конечно, на гардеробщика не ссылался: еще тот, значить, и пригодиться может, незачем его закладывать), безобразно преувеличено; конечно, запах неприятный, но она-то сама его всю жизнь нюхает, а ей молоко за вредность не выдают; от жира, действительно, другой запах, но это как раз и хорошо — это как бы сигнал для врача, что пора остановиться (по-морскому «давать полный стоп»); в обморок, действительно, мужчины падают, но это для них типично: а) потому что к боли непривычны, ибо никогда не рожают, а женщины — рожают; б) в обморок падают мужчины не от боли, а те, кто плохо новокаин переносят или вообще уколов боятся (Фому Фомича за морскую жизнь столько кололи от тропических лихорадок, холер, разных чум и тифов, что он хотя и терпеть уколы не мог, но к ним привык); в) кое-где его изображения можно будет и не сплошь выжигать, а только по рисунку, что вовсе не больно; г) через полчаса его покажут невропатологу для консультации и одновременно невропатолог, друг Валентины Адамовны, его сфотографирует, но без головы: все врачи дают клятву Гиппократу и тайны хранят свято.

Медкарту Валентина Адамовна заполнила на Фому Фомича собственноручно. А затем попросила посидеть четверть часика. Но сидеть не у процедурного кабинета, а где-нибудь поблизости: его потом проведут без очереди, но надо так это сделать, чтобы очередь не разволпелась.

«Вот вам, значить, голубчики, и гутен-морген,— подумал Фома Фомич, проходя мимо обыкновенных записанных в очередь, имеющих рядовые, пошлые татуировки или не догадавшихся покурить с гардеробщиком в подвале пациентов.— С черного хода, значить, всегда тактичнее заходить, а вы тут и кукуйте до петухов...»

Беззлобно и благожелательно подумав так, он нашел свободное местечко в уголке под стендом с заголовком «О вреде самолечения» и засел, отирая пот с лысины,— в стрессовые моменты он иногда потел обильно. Ничего в этом хорошего, конечно, не было, ибо приходилось тратить валюту в инпортах на противопотные жидкости. Кроме того, из массы специальных инструкций, в том числе и «О поведении в спасательной шлюпке», Фома Фомич знал вред потоотделения (с потом уходит из организма соль, и вот именно из-за обессоливания люди и отдают концы, а вовсе даже и не от жажды).

Когда Фома Фомич обильно потел, то невольно вспоминал эту инструкцию и испытывал сожаление по той соли, с которой расставался.

— По вопросу потливости, папаша, в пятый кабинет,— хрипловато сказала Фоме Фомичу девица, которая сидела рядом. Ее бесстыдные коленки он, ясное дело, видел отлично, но глаз на девицу не поднимал — еще не до конца оклемался в мире эстетики. А тут уж пришлось поднять. Рожа у девицы оказалась такой же бесстыжей, как и коленки. По роже тянулся от уголка левого глаза до середины щеки шрам. Шрам, ясное дело, был заштукатурен всякими пудрами. «Из приклатненных»,— сразу засек Фома Фомич.

— Где ж это тебя, пригожая, значить, подпортили? — ласково поинтересовался он.— И каким это, значить, перышком?

— А вот, папаша, и не перышком,— так же хрипло и высокомерно сказала девица,— обыкновенный коготь.

— Ишь ты,— сказал Фома Фомич,— чуть без глаза, значить, не осталась. Коготь-то чистый был аль наманикюренный?

— Разбираешься, папаша,— одобрила знания Фомы Фомича девица и в виде награды поддернула двадцатисантиметровую набедренную повязку к самой, простите, талии. И у Фомы Фомича даже в голове зашумело, как шумит от первой рюмки после длительного сухого периода.

— Не фулигань,— хрипло, но по-отцовски тепло попросил Фома Фомич.— Расскажи лучше, как дело было,— и подмигнул по-приятельски.

Девушка хохотнула и приспустила пояс стыдливости на пару дюймов.

— Седина в бороду — бес в ребро,— неодобрительно заметила дама, которая сидела напротив в шляпке с вуалью. Вуаль была такая непроницаемая, что напоминала паранджу.

— Лысина в голову — бес в ребро! — строго поправила девушка завуалированную даму, самым тоном давая понять, что их разговор с Фомой Фомичом их личное дело и она не допустит непосвященных в круг их интима.

«Ну, лысина у меня еще не стопроцентная,— подумал Фома Фомич,— а корни еще такие ядерные, что мне бы вас двух и на один вечер не хватило, кабы я себя из рук выпустил...»

И это не были пустые мыслительные похвальбы, а абсолютная истина — корни у Фомича еще ядрились на полный ход. Но в данный момент он почему-то чувствовал необходимость и пользу держать себя с ободранной когтем девицей таким папашей. Какой-то инстинкт подсказывал ему такую форму поведения. Этот «какой-то инстинкт» в Фоме Фомиче был звериной силы и спасал его всю жизнь от лишних неприятностей.

Иногда спросит сосед по самолету или по купе: «Вы кто по профессии?» А Фомич вдруг: «Счетоводом я, мил человек, в совхозе». И сам не знает, почему он в данном разе не похвастался и не сказал: «Капитан я, мил человек, дальнего плавания!» И вот потом оказывается, что сосед-то собирался его на какую-нибудь роскошную провокацию дернуть — на очко или преферанс,— а как услышал «счетовод из совхоза», так сразу и пересел к другому пассажиру, который с двумя институтскими значками на пиджаке в талию.

Этот звериной силы инстинкт или внутренний голос опять же роднил Фомича с Сократом. С той загадочной особенностью великого философа, которая в сократической литературе обозначается термином «демонион» (то есть демон). К демониону Сократ, как и Фомич, имел обыкновение прислушиваться еще с детства, и демонион даже в маловажных случаях удерживал его от неправильных поступков, никогда (что в случае Фомы Фомича Фомичева особенно важно), однако, не склоняя

философа к чему-либо совсем уж определенному. В частности, как всем известно, внутренний голос воспрещал Сократу заниматься политической деятельностью. В последнем случае мы опять видим схожесть Фомы Фомича с Сократом, ибо капитану Фомичеву тоже хватало ума не залезать далеко даже в пароходскую политику.

Фома Фомич пошел делать этакого «папашу» именно потому, что сидел в нем сатир, но сидел в глубоком подполье, загнанный в погреб социальными установками и служебным положением. Девушка же сильно действовала прелестями — произошло какое-то прямое попадание ее коленок в сатирический центр Фомича — вот инстинкт-то, демонион, и сработал, уберегая от неприятностей.

Ведь за сатирическую приятность мужчине обязательно надо платить неприятностью.

Ободранная когтем подружки девушка бесила в Фоме Фомиче беса, но в силу вышеизложенного (и свеженькой гардеробной информации о происхождении косметологов от венерологов) он пошлого беса намертво придавил. Однако коленки и прочие прелести соседки вызвали такое возбуждение, что он вдруг понес ей, как возил через моря-океаны абсолютно все. Даже жирафов. И вот уж кто плюется всегда не ко времени, так это не верблюды, а как раз жирафы. Но еще хуже возить подсолнечные семечки. Вот везли три трюма семечек из Архангельска в Одессу, так экипаж заплывал пароход до такой нетактичной степени, что и не сказать. Не было, нет и не будет больше такого заплыванного парохода нигде и никогда...

— А что самое страшное в плаваниях видели? — заинтригованная рассказами Фомы Фомича, спросила дама с паранджой.

— Негра он видел, — ответила за него приклатненная девушка. — Негра, с которого шкура слезала, потому что он в Архангельске на солнце обгорел, ясно? Вот и вам бородавки надо солнцем выводить! Только не в Архангельске, а в тропиках!

— Не груби, дочка, — по-отцовски заметил Фома Фомич. — Чего на культурных людей бросаешься?

— Привычка, — пожалала плечами девушка и поправила бретельку на плече под прозрачным маркизетиком. — И на тебя брошусь, папаша, если себя к культурным относишь. Культурный! На когти погляди! Да они

у тебя пленкой, как глаза у дохлой курицы, заросли!

— Что ж, вы от старого морского волка еще и педикюр потребуете? — спросила дама из-под вуалетки.

— С такими обгрызенными ногтями человек обязательно кого-нибудь в жизни подсидит! Подсидел кого, морской волк? — спросила девица.

Фома Фомич подумал, что никого в жизни не подсиживал, а если и подсиживал, то случайно, без черных замыслов. Однако обрывать девицу и злиться на нее не стал.

На почве врожденной рассудительности и жизненного опыта он каждого встречного и так и сяк поворачивал и обязательно обнаруживал самые неожиданные качества: и полезные для него, Фомы Фомича, и бесполезные. Потому портить отношения с девицей по пустякам не стал и на пошлый выпад промолчал.

— Молодежь! Кошмар теперь, а не молодежь! — вздохнула дама. — Вот товарищ, — она даже чуть поклонилась Фоме Фомичу, — сразу видно, воспитанный человек и либерального духа, никогда без причины хамить не станет. У таких бы сегодняшней молодежи учиться!..

Здесь приходится объяснить, что в словарном богатстве Фомы Фомича обнаруживались иногда аномалии. На официальном языке, то есть на суконном, он вполне терпимо говорил. Рассказчик, когда можно было употреблять не совсем цензурные и жаргонные словечки, был даже неплохой. Отдельные слова, которые входят в «Словарь иностранных слов», тоже способен был употребить к месту — достаточно наскочил через языковые барьеры с лоцманами и в сикспенсах (заграничных универмагах). Но случались и досадные провалы.

Например, в недавнем рейсе плыл с ним в качестве пассажира на международную морскую конференцию знаменитый морской юрист и начальник из Москвы.

Третий штурман на отходе чуть тяпнул сухонького. И московский начальник говорит: «Вы бы, молодой человек, поменьше языком в рубке болтали, а то товарищ Фомичев уже вот-вот с цепи сорвется!»

Фома Фомич задумался минут на двадцать, решая вопрос: реагировать на оскорбление со стороны начальника или нет? И на двадцать первой минуте решил тактично все-таки выяснить: почему тот обозвал его собакой на

глазах всего экипажа и при исполнении им, капитаном Фомичевым, служебных обязанностей?

Несчастный начальник даже смутился и битый час объяснял Фоме Фомичу, что существует выражение «держаться себя в руках», оно аналогично выражению «держаться себя на цепи», и так далее, и тому подобное...

В косметической поликлинике № 84 Фома Фомич очередной раз завалился в языковую пропасть.

— Что это вы, значить, имеете в виду под «либеральным духом»? — спросил он не без мореного дуба в го- лосе.

— А то, что ты, папаша, оппортунист, — дерзко объяснила (вместо дамы с вуалью) вульгарная девица.

Фома Фомич насторожился и так глубоко задумался, что лик его уже перестал смахивать на Сократа. И чем-то напоминал царя Додона.

Про оппортунистов Фома Фомич был наслышан достаточно и в таком политическом заявлении дамы усмотрел прямую провокацию.

— А вы, мадам, — наконец сказал Фома Фомич, — в таком случае, гм... обыкновенный недобитый петлюровец!..

И бог знает, чем бы все это кончилось, если бы в коридоре не запахло жареным человеческим мясом, а из процедурной не донесся бы нечеловеческий вопль.

Дама с вуалеткой заткнула уши пальчиками (точь-в-точь, как Катюша давеча), вскочила со стула и бросилась на выход.

— Слабонервная, — прокомментировала ей вслед приклатненная девица. — Такие и в гроб все в бородавках ложатся. За красоту, либерал, и муки принимать надо. Я вот третий раз штопать буду. Уже в стационаре лежала. Обещают так залакировать, что комар носа не подточит... Расскажи, папаша, чего еще. Вот в Париже бывал?

Нельзя сказать, что запах и вопль произвели на Фому Фомича успокаивающее впечатление, но ему перед девицей невозможно было это показать. И он рассказал, что недавно ездил в Париж. И даже в поезде. Как один из самых перспективных капитанов в пароходстве был отправлен в командировку на специальный французский тренажер. И все это правда была, но девица не поверила, хохотала от души, весело и от избытка чувств щипала Фому Фомича за пиджак на плече.

— Тише ты, тише! — урезонивал Фома Фомич девуцу. — Люди оборачиваются! Знаешь, дочка, кого мне напоминаешь? — задумчиво спросил он, когда девица успокоилась. — Плавает у меня буфетчица. Сонькой зовут, — начал он новую историю, зажав руки между колен (любимая поза в отпускные домашние вечера у телевизора). — Плавает, значить, буфетчица. Сонька, по фамилии Деткина. А матросы ее «Сонька Протезная Титька» кличут. Хотя и никаких протезов там, значить, и не числится: жаром от ее титек на милою полыхает. Но язва девка. Одно и есть положительное — рыбу готовит замечательно. Ежели где рыбки добудем, так она повара всегда замещает. Только Соньке доверяю рыбку. Охочий до нее. Да. До рыбки охочий, значить...

— Почему «протезной» прозвали? — с большим интересом спросила девица.

— А не дает никому проверить — вот они и прозвали, — объяснил Фома Фомич. — Коварная и языкатая. Старпома зовут Арнольдом Тимофеевичем, а она его Степаном Тимофеевичем — Разиным, значить. Он возмущается, кричит на весь пароход: «Арнольд я! Арнольд! А не Степан!» — «Вы, — она ему объясняет, — такой смелый, как Степан Разин или даже Котовский, вот и путаю...» А Тимофеич-то мой, чего греха таить, трусоват, но документацию ведет замечательно...

— Сколько ей, Соньке? — спросила девица.

— Двадцать исполнилось.

— И ни разу хахаля не было?

— Чуть было один не определился. В Триполи стояли. И у Соньки хахаль определился — журналист из морской газеты с нами плывал. Ну, из Триполи в Вавилон помполиты всегда экскурсии устраивают. Автобус заказали. Перед отъездом Сонька опять Тимофеича Котовским или Разиным обозвала. Он — в бутылку, прихватил ее на крюк, она тоже шерсть подняла, да. Ну, задробил старпом ей экскурсию. И тогда, гляжу, хахаль тоже не едет — любовь, значить, и круговая порука. Ладно. Поплыли в Англию. Кто-то пикантно мне намекает, что, значить, желтеет Сонька.

Вызываю на тет-тет.

Так и сяк, говорю, голубушка моя любезная. Тактично интересуюсь: ты, мол, не беременна, ядрить ты в корень?

Может, думаю, ее на аборт придется, так мне потом

от валютных сложностей и неприятностей не очухаешься. Нашим-то судовым врачам запрещено.

— А она чего? — с нетерпением спросила приклатненная девица.

— А она: «Как смеете про меня так пошло думать?!» — «А чего, говорю, желтеешь? Мне-то, значить, из поддувала слухи доходят, что тебя и на соленое потянуло. Я, говорю, заботу проявляю, по-отцовски, а ты все мне подлости хочешь,— травим, значить, здесь тебя, а я по-отцовски переживаю, у меня, значить, дочка как раз такая...»

— Товарищ Фомичев! В десятый кабинет! — раздалось под высокими сводами особняка одесского турка Родоканакки.

И приклатненная девица так и осталась в неведении о дальнейшей судьбе Соньки Деткиной, ибо на обратном пути, как мы увидим, Фома Фомич ни с кем уже беседовать был не в состоянии.

3

Валентина Адамовна и старик невропатолог попросили Фому Фомича раздеться до трусов.

Он смог раздеться только до кальсон.

— Ничего, не переживайте,— сказала Валентина Адамовна.— Мы здесь и не такие гоголь-моголь видели. Засучите кальсончики на той конечности, где у вас змея, а где нет, там можете не засучивать.

Затем старик невропатолог поставил уникама в конус света рефлекторной лампы возле откидного хирургического кресла. И пошел-поехал щелкать фотоаппаратом. Оптическая насадка на аппарате напоминала трубу ротного миномета — специальная насадка для крупномасштабного фотографирования.

— Личность-то не попадет? — на всякий случай еще раз поинтересовался Фома Фомич.

— Нет, нет! Обязательно без головы выйдете, то есть будете,— мимоходом успокоил пациента невропатолог-фотограф.— Но, должен заметить, Валентина Адамовна, пациент уже в возрасте. И с нервешками не все в порядке. Обратите внимание, как он на щелчки спускового механизма реагирует. Думаю, он у вас при сильном болевом шоке приступ стенокардии закатит. Такая древняя наскальная живопись — это вам не банальные оспенные следы или бородавки...

— Да,— легко согласилась Валентина Адамовна.— А мы вот Эммочку попросим с ним заняться. Она молоденькая, нервы хорошие...

— Рыжая? В брюках? Практиканточка? — спросил старик невропатолог, отвинчивая с фотоаппарата минометную трубу.

— Нет. Брюнетка. Вторую неделю тренируется, и рука у нее твердая,— сказала Валентина Адамовна.

Беседовали медики так, как нынче у них и принято, то есть не замечая пациента.

Сегодняшняя наука установила, что чем больше наш брат будет, например, знать о своем раке, тем сильнее будет ему сопротивляться, а внутреннее, духовное, психологическое сопротивление и аутотренинг играют в безнадежных случаях огромную роль в деле улучшения духовного настроения бедолаги.

— Я очень, значить, извиняюсь, но...— начал было Фома Фомич, испытывая нарастающее опасение за близкое будущее. Он хотел со смешком сказать несколько слов на тему практикантов (на них вдоволь нагляделся: в каждый рейс какого-нибудь практиканта подсовывают, а тот и нос от кормы отличить не может). Затем собирался попросить Валентину Адамовну самолично начать процедуру, но она после фотосеанса абсолютно утратила к уникаму интерес, перевела свет рефлектора на кресло и велела пациенту туда садиться. Сами же невропатолог и косметолог покинули кабинет.

Фома Фомич сел в холодное кресло и убедился в том, что и правая (со змеем-горынычем) ляжка, и левая (без украшений) мелко и противно вздрагивают. Вздрагивали и колени. А из подмышек запахло мышьиной норой.

«Использовала, сука, и продала»,— с горечью на людскую пошлую натуру подумал Фома Фомич, по телевизионной привычке засовывая кисти рук между коленок и судорожно сжимая последние.

Было тихо.

За окном кабинета качались верхушки бульварных лип. На старинном мраморном подоконнике, намертво в него вделанная, стояла буржуйская мраморная ваза с золотым антуражем в виде лир. А на потолке — прав был гардеробщик — резвились вовсе почти обнаженные ангелы, а может быть, и амуры.

«Все Катька придумала! — вдруг мелькнуло у Фомы Фомича.— А сама к отцу как? Только и поцелует да при-

жметя, коли ей заграничную тряпку приволочешь, а так и нет никакого беспокойства и переживания за отца... Супруга тоже хороша... Раньше-то ревновала, волновалась, значить, а нынче что? Успокоилась. И в рейс проводить не придет — гипертонии да мерцания разные... Они на пару меня и сюда загнали, а потом и в гроб, значить, загонят...»

Влетела чернявая шустренькая практиканточка Эмочка.

— Ну-с, как мы себя чувствуем? Отлично мы себя чувствуем! Действительно уникальные изображения! Ну-с, соскй пока трогать не будем, — запела-заговорила Эмочка. — Корвалольчик приготовим на всякий пожарный... А вы откидывайтесь, откидывайтесь, не стесняйтесь...

— Как бы, значить, копыта не откинуть, — пошутил Фома Фомич, не решаясь откинуться на спинку и наблюдая, как Эмочка готовит шприц и громыхает всякими другими жутковатыми металлическими причиндалами.

— Отлично мы себя чувствуем! Отлично! — пела-говорила Эмочка. — Молодцом мы сидим! Молодцом! Все бы так!.. Где же моя сестричка запропастилась?.. Ладно, черт с ней, и без нее вначале обойдемся... Небось за мороженым помчалась... А мы мороженое любим? Любим мы мороженое, любим!.. Головку-то запрокиньте, зачем вам на иглу глаза пялить, укол как укол — обыкновенный новокаинчик... Вот мы с хвоста и начнем русалочку ликвидировать... Она у нас вся сплошь штриховая, русалочка наша, с нее и начнем... Ну вот, укольчик-то уже и позади! Отлично мы себя чувствуем! Отлично! Сразу видно, что алкоголем мы не злоупотребляем... Да запрокиньте вы голову, черт возьми! Кому сказано?! Сейчас вам в нос такое ударит, а вы его туда сами суετε!.. Уникум, просто уникам! Первый раз вижу, чтобы у мужчины так мало шерстки на груди было! Красота — брить не надо! А отдельные волосики мы поштучно щипчиками и повыдергиваем! Быстрее будет... Вот мы их повыщипываем, потом спиртиком протрем и приступим... А чего это мы побледнели-позеленели? Ай-ай-ай! Такие мы уникамы, такие мы герои! И вдруг посинели...

«Вот те и гутен-морген», — подумал Фома Фомич, откидываясь вместе с креслом куда-то в космос.

И это было его последней мыслью, если такое абстра-

гированное, мимолетное мелькание можно назвать мыслю.

Пещерные рисунки остались в полной неприкосновенности.

А через полчаса благоухающий спиртом, корвалолом и валерианой с ландышем Фома Фомич покинул особняк одесского турка Родоканакки.

Почему-то вынесло его из 84-й косметической поликлиники через черный ход — туда сильнее сквозило.

По дороге к черному ходу он угодил в грязехранилище и еще куда-то, а затем уже очутился в милом и тихом дворе с скверике.

Автомобиля Фомы Фомича в скверике, естественно, не было, так как оставил он «Жигули» на бульваре Профсоюзов возле дома с бюстами негров.

Негритянских бюстов Фома Фомич тоже не обнаружил.

Голова у него кружилась, и сильно тошнило. Но на свежем воздухе минут через пять уникум взял себя в руки, или посадил на цепь, и нашел дворовую арку, через которую окончательно выбрался из мира эстетики на бульвар Профсоюзов, прищепывая по своей давней привычке: «Это, значит, вам не почту возить!»

Забравшись в автомобиль, Фома Фомич обнаружил, что из поля зрения исчез сегмент окружающего пространства: спидометр он на приборной доске видел, а часы, которые рядом со спидометром, не видел. Или липу на бульваре отлично видел, а фонарь рядом напрочь не замечал.

Но такое с глазами Фомы Фомича уже случалось от сильного испуга. Бывало и похуже: вместо натурального одного встречного танкера прутся сразу два кажущихся...

В машине Фоме Фомичу нестерпимо захотелось зевнуть — во всю ширь, со смаком, — но зевок как-то так не получался, сидел внутри, наружу не вылезал. А без зевка не удавалось вздохнуть на полную глубину. И Фома Фомич с полминуты сидел, лоя воздух ртом и пытаясь зевнуть, вернее, вспомнить движение челюстей при зевании и насильственно совершить этот акт, но не получалось. И он уже начал задыхаться и пугаться задыхания, когда наконец зевнулось.

И он сразу опять спазматически и с наслаждением зевнул, и слеза блаженно покатила по щеке. И он, най-

— дя, вспомня способ, который помогал вызывать зевок, все зевал и зевал и плакал негорючими, бессмысленными, неуправляемыми слезами — это выходило из Фомы Фомича давеча пережитое страшное.

«Я те дам курорт! Я те такой бархат выдам, сукина дочь! Я те такого молодого человека пропишу! Я те... Ты у меня картошку весь бархат будешь носом копать! Вот те и будет гутен-морген!»

К такому выводу пришел Фома Фомич, заводя мотор и отшвартовываясь от поребрика. Ему надо было еще заскочить в порт, чтобы выдавить из капитана, принявшего судно, сто девятнадцатую записку-расписку за несуществующую или ненайденную документацию.

В том, что он такую расписку-записку выжмет, Фома Фомич не сомневался, так как капитан-приемщик был из интеллигентов уже третьего поколения и вообще, значить, порядочный дурак и слабак.

И когда Фома Фомич представил, как он будет обводить вокруг пальца молодого карьериста-специалиста, настроение улучшилось. И даже невтерпеж стало скорее добраться до судна и развеять кошмар давеча пережитого привычно-обыденным.

Но все произошло вовсе даже не привычно и не обыденно, потому что на контейнерном терминале Фома Фомич со скоростью шестьдесят километров насадил свои «Жигули» на клыки автопогрузчика. Или (что, по принципу относительности, то же самое) автопогрузчик всадил могучие полутораметровые клыки в борт «Жигулей».

Причинами происшедшего можно считать: а) недавно пережитый Фомой Фомичом стресс; б) нарушение правил движения автотранспорта на территории морского порта, которое последовало вследствие движения с недозволённой скоростью других четырехсот «Жигулей», отправляемых на экспорт в порт Гулль на борту теплохода типа «ро-ро» (скорость экспортных автомобилей по аппарели судов типа «ро-ро» должна быть равна пяти километрам в час, но ни один шофер при такой скорости не выполнил бы план, почему все шоферы-загонщики автомобилей носятся между контейнерами и по аппарели с космическими скоростями или уж, если не гиперболизировать, со скоростью молодых леопардов).

Фома Фомич попал в круговерть молодых леопардов и понесся куда глаза глядят, а не к своему пароходу. При попытке свернуть из круговерти за угол очередного

штабеля контейнеров он и насадился на клыки автопогрузчика.

Водитель автопогрузчика был опытным портовым работником, но никогда в подобные переплеты не попадал. Когда прямо перед его глазами возникла (в кошмарной близости) физиономия Фомы Фомича — а физиономия последнего в этот момент заинтересовала бы даже мастера фильмов ужасов Хичкока, — то, вместо того чтобы бережно извлечь клыки из «Жигулей» при помощи заднего хода, водитель дернул что-то не то, а сам выпрыгнул для оказания экстренной помощи Фоме Фомичу.

В результате этих недоразумений клыки погрузчика поползли по направляющим вверх, а «Жигули» начали подниматься над плоскостью истинного горизонта со скоростью метр за двадцать секунд.

Пока водитель залезал обратно в будку и дергал рычаг в обратном направлении, Фома Фомич достиг пика.

Его взору вдруг открылась вся необъятная территория родного порта, ибо «Жигули» и драйвер оказались выше всех контейнерных штабелей вокруг.

И в этот пиковый момент произошло еще два события, хотя хватило бы для полной катастрофы и одного: 1) у автопогрузчика обломался клык; 2) железо «Жигулей» над другим клыком порвалось с легким шелестом папиросной бумаги.

Автомобиль, совершив в воздухе кульбит, упал на крышу.

Фома Фомич — на голову, то есть стал на попа.

Осенние облака, грязные и понурые, которые толпились над портом, как алкоголики у закрытого пивного ларька, наблюдали за катастрофой вполне индифферентно.

От портовой воды возле терминала пахло мокрой бочкой и половой тряпкой.

Но прибывшие представители ГАИ и портовой охраны, склонившись над потерявшим сознание Фомой Фомичом, обнаружили один запах — спирта. Легкий добавочек валерианового запаха еще больше прояснил для представителей власти общую картину, ибо давным-давно наивные русские пьяницы стараются перешибить запах алкоголя пошлой валерианой...

ДЕНЬ ВМФ НА ДИКСОНЕ

РДО: «ПРОВОДКА СЛЕДУЮЩЕГО КАРАВАНА ВОСТОК НАЧНЕТСЯ НЕ РАНЕЕ 28/29 ИЮЛЯ ОДНИМ А/Л ЛЕНИН ТЧК МЕСТО ВХОДА ПРИПАЙ ПЛАНИРУЕМ СЕВЕРНЕЕ БАНКИ ЕРМАКА ТЧК ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕДУЕТ Д/П ПОНОМАРЕВ Т/Х КОМИЛЕС ОСТАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ТЧК СТОЯНКА РАЙОНЕ БАНКИ ЕРМАКА НЕСПОКОЙНАЯ ПОЭТОМУ ВСЕМ НАДЛЕЖИТ СЛЕДОВАТЬ ДИКСОН ТЧК ИСПОЛНЕНИЕ ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ».

Любимые очки Фомы Фомича давно треснули вдоль и поперек. Работать в них мучительно. Однако он, как и большинство нас, грешных, испытывает к старой вещи слабость, своего рода влечение, несмотря на наличие двух запасных новеньких пар.

Процесс чтения радиogramмы начинается у Фомича с нацепления на нос треснувших очков. Уже в этот момент его губы начинают шевелиться, хотя он еще и не начал складывать буквы в слоги, а слоги в слова.

Затем следует первичный этап обследования текста, при котором Фомич еще ничего ровным счетом не понимает по существу вопроса. Он как бы производит техническое обследование текста.

На этом этапе Фомич любит исправить описку радиоста, крупно перечеркнув неверную букву и водрузив над ней угрожающий вопросительный знак. Он органически не способен оставить на бумаге неисправленным «Телешаво», если какое-то судно называется «Телешаво». Он исправит это проклятое «х» на «ш» даже в том случае, если от скорости прочтения радиogramмы будет зависеть жизнь его дочери, а не только парохода со всем экипажем.

Затем в его череп начинают проникать отдельные слова-сигналы: «генеральный курс»... «самостоятельно»... «следовать»... и так далее. И начиная с этой микросекунды в нервной системе (я намеренно не употребляю слово «душа», ибо пока не знаю, есть ли у Фомича душа), в нервной системе Фомича пробуждается ощущение недоумения, там прямо-таки целый букет недоумений расцветает, переходя в устойчивое ощущение подозрения в адрес отправителя радиogramмы.

Фомич всей шкурой так и начинает понимать, что от-правитель только и думает, как бы переложить на его, Фомича, плечи бремя ответственности, спихнуть на него планету и даже Вселенную...

27.07.11.00.

Стали на якорь на рейде Диксона. Рейд пустой.

Штиль. Охра берегов. Коричневая запятая могилы Тессема (традиционный поклон ему). Полмили от Угольного причала (не самые хорошие ассоциации — шторм взасос и ободранный планширь на моем МРС-823). Прямо по носу хижина, где жили разделщицы белух (с которыми в пятьдесят третьем году я танцевал падекатр).

Вдруг лень стало писать, думать, мечтать. Последнее особенно плохо. Да, если раньше здесь поддерживали необыкновенные мечты, то ныне поймал себя на их отсутствии. И что оказывается? То оказывается, что и без них жить можно! Вот обедать пойду, потом вздремнуть лягу или Нагибина почитаю...

А когда-то читал здесь «Обыкновенную Арктику» — и так, помню, захотелось сообщить Горбатову свой буйный романтический восторг! Вероятно, не следует перечитывать «Обыкновенную Арктику». Пусть остается прежнее ощущение от книги.

Сегодня же считаю, что романтическому автору кажется, что он уловил, ощутил, отразил поэтическую истину. И от находки поэтической истины художник-романтик делается пьян в сосиску, в стельку, в драбадан. А тому, кто действительно приближается к поэтической истине, не дано опьяняться ею. Сойти с ума, как Ван-Гог, он может, но это с трезвого ума сходят, а не с пьяного. Это уже не романтизм, а высокий реализм, то есть максимальное приближение к красоте и ужасу правды.

От дурного настроения подначил Фому Фомича на устройство судового праздника. Коллективный ужин с выпивкой — запрещено специальным приказом министра, но пускай приказ министр проводит в жизнь на акватории министерства в Москве. А на судне, где экипаж с бору да с сосенки, перед ледовым плаванием следует людей сблизить и теснее перезнакомить, пообщать за праздни-

ным столом. Все в меру, конечно. И повод должен быть — для оправданий (в случае чего).

Повод нашелся — День ВМФ.

Неожиданно Фома Фомич на мероприятие согласился легко и просто.

Насторожился только тогда, когда я сказал, что в арктических рейсах с некоторых пор не пью ни капли алкогольного и что беру на себя ответственность за вахту, связь и наблюдение во время ужина. Так я хотел его успокоить. Но...

На сократовском лице Фомы Фомича так и отпечатался демонион: «Дублер, значить, сам пить не будет, а на меня телегу за коллективную пьянку?..»

И вот очередной букет недоумений и подозрений расцвел на его физиономии.

— Как так, значить, «не пью»?

— А вот так. Слаб на вино. Если начну, то загужу,— продолжал я разыгрывать его.— Мне или ни капли, или все, что у вас есть в холодильнике.

— Я, значить, извиняюсь, но это... алкоголик, значить?

...Конечно, графа Меттерниха Фомич, пожалуй, не смог бы подсидеть, кабы вступил на дипломатическое поприще, но какого-нибудь Керзона обошел бы на первом повороте. Огромный дипломатический талант зарыт в этом самородке.

И я без шуток: разговор происходил в присутствии третьего лица — радиста.

Радист, как я успел заметить, был в микрогруппе капитана и старпома. Иметь алкоголический козырь против меня Фомичу было очень важно.

— Да. Алкоголик,— сказал я, чтобы сдать Фомичу козырь и ослабить его подозрения в какой-либо злокозненности своей трезвости.

— Все, кто книжки выдумывают,— алкоголики. Вот Есенина взять...— авторитетно начал радист.

— Алкоголизм хорошо лечить триппером,— перебил его Фома Фомич с сочувственным в мой адрес вздохом; добро и задушевно сказал.— У меня, значить, братан старший. У него дочь. Так ее первый муж через это, значить, дело пить насмерть бросил...

И на этом принципиальное обсуждение вопроса праздничного ужина закончилось. Были вызваны артельный и

старпом, уточнены запасы в артелке, остатки денежных средств из культфонда и прочие практические детали.

Вечер получился. Многие из нас как бы впервые и заметили друг друга (вахты и сон в разное время суток на судне иногда не дают возможности толком познакомиться и с соседом по каюте).

Ребята хорошо пели. И хором, и соло. Столы выглядели красиво. Тетя Аня и дневальная Клава постарались. Повар сварил отличный студень. Радист обеспечил музыкальное сопровождение. Никто не перепил.

А мой напарник — второй помощник Дмитрий Александрович — пел арию Воряжского гостя из «Садко» и — по требованию самых молодых — «Бригантину». Просто прекрасно пел! Оказывается, когда-то мечтал о ВГИКе, но умерла мать, отец спился, есть было нечего — пошел на казенные харчи в мореходку... Знакомая дорожка...

От песен Фома Фомич растрогался. И так, что отправил супругу за интимно-заветной бутылочкой. Очко в пользу капитана «Державино»!

Хоть по капельке добавки досталось ребятам, но она капитанская была, а это вам не понюх табаку!

Силу песни ценят моряки любых национальностей. У американского моряка-матроса и знаменитого писателя прошлого века Дана есть такие строки: «Песня стоит десяти человек, и это знают все, кто выхаживал якорь вымбовками».

Фома Фомич выхаживал якорь вымбовками, то есть вручную. И потому вырвал из сердца заветную бутылочку и угостил матросов. «Молодец!» — мысленно отметил я, и тут же Фома Фомич допустил гафу. Он... он назвал любимого старпома Степаном Тимофеевичем!

Брякнул — остолбенел.

И мы — почетные заседатели главного стола — остолбенели.

Ибо благоразумие и благоволение к верному партнеру всегда преобладаю у Фомы Фомича над злопыхательством. И вырвался у него «Степан Тимофеевич» опять же по известному закону ассоциативности. Он как раз спорил с Иваном Андрияновичем о том, что видел фильм о Разине, и видел даже, как тот швырял за фальшборт ладьи иранскую княжну, и как принцесса цеплялась за

бегущий и стоячий такелаж, чтобы, значить, не сразу булькнуть. А стармех утверждал, что такого нюанса вообще не было. И потому ничего Фома Фомич не видел.

Слушая спор, я отмечаю: старпом Арнольд Тимофеевич нервничает, и разговор про вождя крестьянского восстания ему не в жилу, а сам раздумываю о великой зримости образного слова, о том, что и я как бы видел сцену швыряния княжны за борт, хотя даже у Сурикова такого нет.

Стармех Иван Андриянович спорил аргументированно, говорил, что, может быть, в двадцатые годы и сняли фильм о Разине, но видеть тот фильм Фомич не мог, а про новый фильм только шли разговоры, потому что его Шукшин собирался ставить, да вот помер... Фомич обратился ко мне за поддержкой, я склонился к точке зрения стармеха. Тогда Фомич и бросился за помощью к верному помощнику и — бряк!

— Степан,— говорит,— Тимофеевич, ты с тридцать девятого года, значить, все помнишь... так...

Вот тут-то и произошло остолбенение.

Арнольд Тимофеевич не тот человек, который способен делать веселую рожу при плохой игре. Он ткнул вилкой в студень, подцепил кусок и нормально уронил по пути к своей тарелке в чай Галины Петровны. Галина Петровна, несмотря на гипертонию и мерцания, рюмочку пропустила и потому стесняться не стала и высказала разом и в адрес супруга, и в адрес его верного помощника одно только соображение:

— Старые вы уже, дурачье такое, а все о ерунде спорите!

— Вот, значить, и хорошо, что старые,— выходя из остолбенения, заметил Фома Фомич.— Правильно я, Арнольд Тимофеевич, говорю? Чем старше, значить, тем осторожнее плавать будем! А перестраховочка-то на море-океане еще никому не повредила, значить.

— Да-а! — многозначительно заметила супруга.— А кто новую машину разбил? Кто на крышу поставил? Ты! А с какой перестраховочкой-то ездил! Смотреть противно было!

Фома Фомич потер красный шрам на лбу и по своей привычке задумался. А мой старый соплаватель Иван Андриянович дернул себя за слоновое ухо, и что-то такое мелькнуло в его маленьких глазках, что меня вдруг оза-

рило: весь разговор про кино и Разина возник за праздничным столом не самотеком, а с заранее обдуманными намерениями хитрого Ушастика.

— Эт как так: на крышу поставил? — строго спросил Фома Фомич супругу. — Сама она на крышу, значить, способилась трахнуть! И ты тут не к месту вопросы поднимаешь, значить! Цыты!

Сдаваться капитан «Державино» не собирался. Полнейшую власть над супругой Фома Фомич демонстрирует трижды в сутки — в завтрак, в обед и за ужином. Каждый раз в дверь кают-компании, широко ее распахнув, входит первым наш Фомич, а за ним супруга. Чтобы, значить, экипаж знал, что супруга капитана знает свое место и что Фома Фомичев семейственности и всяких поблажек близким родственникам не допустит. По любому трапу он спускается и поднимается первым, а сзади, как падишахша за падишахом, на приличествующей случаю дистанции следует Галина Петровна.

Она мне нравится тем, что явно стесняется тети Ани — того, что той приходится подавать ей еду. И я сам видел, как Галина Петровна в начале рейса сунулась было в буфетную, чтобы помочь мыть посуду, но Анна Саввишна вытурила ее оттуда с цианистой, то есть женской ядовитостью, заявив, что для работы в буфетной надо иметь специальное свидетельство на предмет «чистоты и медицинского здоровья».

...Истинную расстановку сил в семействе Фомичевых, ясное дело, давным-давно обрисовал мне Ушастик на дачном материале. «Баба Фомича не под каблуком, а под шлепанцем держит! Придет к нему товарищ-приятель на дачку, он: «Поддай, Галина Петровна, стакан и закуску!» Она — нуль: сидит на веранде и на природу смотрит. Он приятелю: «Супруга, значить, отдыхать легла, сам соображу!» А она-то на виду на веранде сидит и на природу смотрит! Ну, а Катька ихняя — тут такой нюанс: на всех чихать хотела. Наедут к ней с магнитофонами и залезут молодые и лохматые на крышу загорать — как будто на земле места мало, мать их! Крыша-то в бунгало тонкая, прогибается, а Фома с Петровной головы под крыло прячут и терпят! Страх перед молодым поколением ужасный! Где тут, скажи мне, Викторыч, здравый народный смысл? Ведь вот как бывает-то, в кино смотришь про Чичикова или там «Ревизора» и думаешь: литература, мол, все это, выдумки, а в натуре — иное! Нет! Все именно

так! Стоит на Арнольда посмотреть, да и на Фомича, прости господи! Ну вылитые они из Гоголя!..»

Однако на «Державино», на службе своего супруга, Галина Петровна обычно выказывает ему положенное по штату уважение и почтение. Так что некоторый боевой наскок на Фому Фомича за праздничным столом можно объяснить только рюмочкой, которую она приняла в честь Дня Военно-Морского Флота СССР при тосте: «За тех, значить, защитников наших, которые сейчас в море, на вахте и гауптвахте!»

К концу пиршества я, как непьющий, решил подняться на мостик и подменить вахтенного третьего штурмана, чтобы тот мог принять участие в общем веселье.

Со мной на мостике остался матрос первого класса Рублев.

После застольного шума и духоты особенно чисто, и свежо, и просторно было наверху.

Белое полуночное солнце катилось слева направо над согбенными сопками материкового берега бухты.

Штиль был полный, и тишина была полная.

И бесшумно, черным дневным привидением, скользил-входил в бухту Диксона теплоход «Павел Пономарев».

На его носу изображен белый медведь с агатовым зверским глазом, обозначая принадлежность «Пономарева» к судам арктического братства.

Назван теплоход в честь старого полярного капитана, с которым я когда-то был шапочно, но знаком.

Павел Акимович — первый атомный капитан. Он принимал атомоход «Ленин».

Был час ночи, но солнце пронизывало рубку, и все, что может сверкать под солнцем, сверкало в ней.

Рублев, сын Рублева, явно принял рюмку, не дожидаясь подмены, но такой мир и безопасность царили вокруг, что я сделал вид, что не замечаю этого неуставного нюанса.

Мы смотрели, как бесшумно и спокойно швартовался «Пономарев» к Угольному причалу. И только грохот якорной цепи нарушил и еще больше подчеркнул тишину, — они швартовались с отдачей правого якоря.

Северная тишина! Она особенная, как тишина гор.

Второй после якоря «Пономарева» тишину нарушила

тетя Аня: принесла нам в рубку кофе. По своей инициативе принесла. Значит, есть в ней врожденное морское — заботиться о ночной вахте. Плюс тете Ане!

Третьим тишину нарушил Рублев:

— Входить, родима матушка, пожалуй к нам на пир-беседу! — приветствовал он буфетчицу ее голосом. — Не боишша, что снасильничаем тебя, бабуля?

— Янот ты бясхвостный! Тебе кофю приволокла, чтоб не локтем закусывал и командирам сивушным духом не дышал, а он... — совершила четвертое нарушение северной тишины, обидевшись на Рублева, тетя Аня. И, заложив имитатора, ушла.

И мне ничего не осталось, как нарушить тишину в пятый раз:

— Что же вы, Рублев? Часик подождать не могли?

Он вздохнул сокрушенно и поклялся памятью отца, что это первый и последний раз. Я с Андреем как-то говорил о его отце, интересовался тем, насколько правдивы легенды. Вот имитатор и даванул на мою психику — так мне сперва показалось. Но Рублев, сын Рублева, вдруг поведал, что День ВМФ у них в семье особый, что в море погибли в войну все мужчины семьи, что сам он отбухал на крейсере три года в посту управления планшетистом и что в такой День ему пить вместе со всеми как раз и не хочется, а хочется приголубить стопаря именно в одиночку; с такой искренностью он это поведал, что пришлось отпустить ему грех.

ДОБРОХОТЫ ЖИЗНЕВЕРИЯ

«Дорогой товарищ! Ты, верно, уже седеешь. Но, прости старика, для меня ты навсегда останешься мальчишкой. Пишу тебе и твоим товарищам, покинувшим, в силу разных причин, наш славный Военно-Морской Флот, и боюсь по-стариковски ослезиться.

Для меня ты навсегда останешься подростком, как и все твои однокашники. Вы все для меня подростки, сироты или наполовину сироты, опаленные пожаром Великой Отечественной войны. Вы для меня славные сыны полков и кораблей, юнги и воспитанники детских домов, куда попадали по причине гибели отцов и матерей, или они сражались на фронтах, ваши родители. И вот партия и правительство проявили о вас заботу, создали Суворовские и Нахимовские училища, а для ребят старше пят-

надцати лет было создано Ленинградское военно-морское подготовительное училище. Здание, которое отвели под это училище, было все разбито бомбами и снарядами, и там ничего, кроме искореженных взрывами железных коек, не было, и вы ютились вроде как под открытым небом. И вот тогда начальник училища, капитан первого ранга, участник гражданской и Отечественной войн Николай Юльевич Авраамов, вечный ему покой, обратился ко мне, чтобы на время разместить ребят на моем корабле. Когда вас привели, то мы смотрели, как вы поднимаетесь по трапу, и немало удивлялись. Кто был в лохмотьях, кто в военной форме и даже с медалями и орденами, но вы были такие голодные, что кулаки наши сжимались от ненависти к врагу. И с тех пор я с особенным вниманием слежу за вашей судьбой. Из вас вышли Герои Советского Союза, покорители и магелланы морских глубин, адмиралы и ученые, и преподаватели, и даже писатели — такие известные, как, например, Валентин Пикуль. Но даже те, кто давно не носит морские погоны, по-прежнему в строю. И, как прежде, всех вас объединяет крепкая морская дружба. Нам стоило трудов разыскать вас и собрать ныне здесь. Мы — ветераны флота — обращаемся к вам с просьбой. Включайтесь в работу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту не формально, душой.

Адмирал Макаров завещал: «ПОМНИ ВОЙНУ».

Т. Савенков, бывший командир учебного корабля «Комсомолец», капитан I ранга в отставке».

Это трогательное письмо было приложено к официальной повестке с приглашением явиться туда-то и тогда-то на симпозиум общественных активистов-инструкторов ДОСААФа. Симпозиум должен был состояться под девизом «Навстречу 40-й годовщине шефства ВЛКСМ над ВМФ».

Честно говоря, никуда бы я не явился, кабы не было приложенного письма от старого моряка в отставке. Увлекать от всякого рода подобных мероприятий мы замечательно научились именно в силу специфики нашего отрочества, то есть специфики наших военно-морских биографий.

Но... но на «Комсомольце» я первый раз пошел в заграничное плавание и, кроме того, еще умудрился неожиданно

встретиться на нем с родным братом. У входа в Ирбенский пролив «Комсомолец», его командир Савенков, я, брат и другие курсанты попали в тяжелый шторм; изношенные паровые машины старика «Комсомольца» не тянули (корабль-старикан под названием «ОКЕАНЪ» участвовал еще в Цусиме). И тогда я впервые увидел, как происходит потеря якоря, то есть рвется якорная цепь, когда огромный корабль в отчаянии пытается зацепиться за скалистый грунт при наличии мощного дрейфа и малых глубин.

Вот мне и не хватило духа сачкануть от мероприятия.

Нас, активистов ДОСААФа (на жаргоне — «доброхотов»), собрали в Военно-морском училище в историческом зале, стены которого были увешаны трафаретными для всех училищ, знакомыми с отрочества картинами старинных морских баталий, прославивших в веках наш флот. Полотна эти имеют обычно огромные размеры: почти один к одному с натурой. Разорванные ядрами паруса, перебитые мачты, летящие с рей в кипящие волны вражеские матросы, развевающиеся победные флаги и вымпелы окружали нас, вводя в соответствующее настроение.

Пиджаки, куртки и свитеры выглядели на воинственном фоне кургузо.

Старшим в группе был назначен бывший командир дизельной лодки, а в то время лоцман в Выборге, по фамилии Ямкин — сумеречный мужчина, тяжелый в плечах, голубоглазый и молчаливый. Он получил кличку «Старик».

«Ящиком» прозвали холеного очкастого джентльмена с двумя значками высших учебных заведений на заграничном пиджаке. Джентльмен часто повторял: «Интересно отметить, товарищи, что мы угодим в до-о-лгий ящик». В прошлом он служил штурманом на подводной лодке, потом стал крупным ученым в таинственных околофизических областях.

«Психом» прозвали социального психолога, прошедшего путь от минера до заведующего лабораторией проблем стабильности производственного коллектива.

Я получил обидное прозвище «Сосуд Вedo».

— Ну, подводные асы,— сказал здоровенный лысый тип, последним присоединяясь к группе,— если без китайских церемоний, то прошлое у меня тоже таинственное, а ныне я специалист по Древнему Китаю. Ба! — про-

должил он, взглядевшись в мою физиономию.— Здорово, Сосуд Вedo! Помнишь меня?

— Вы меня с кем-то путаете,— сказал я.

— Это я путаю?! — возмутился лысый тип.— Да знаешь ли ты, какая память должна быть у китаевода?

— И знать не хочу,— сказал я, начиная припоминать несимпатичное.

— В Корсакове! На Сахалине! В пятьдесят третьем! Ты тральщик сдавал, а я у тебя в каюте ночевал! Не помнишь? — орал тип.— «Сосуд ведо» у них пропал. Весь пароход вверх дном поставили, сосуд искали, сдаточный акт подписать не могли, идиоты!

И он выложил, к удовольствию слушателей, историю, которую я старательно забыл.

Итак, я сдавал тральщик. До меня во всех приемо-сдаточных актах значился «сосуд ведо». Мой приемщик оказался дотошным и потребовал представить сосуд для личного обозрения. Я знать не знал, что это за штука, но, как и все мои предшественники, по морской глупости не мог признаться в этом. Я предполагал, что это что-нибудь связанное с определением солености морской воды. И вот тип, которого я пригрел в своей каюте на далеком Сахалине, утверждал, будто первым догадался, что в слове «ведо» просто-напросто пропущено «р» и дело идет о ведре.

Конечно, я стал «Сосудом». Типа прозвали «Китайцем». Без клички остался только Петя Ниточкин. Мой друг никогда кадровым офицером не служил, но, как капитан дальнего плавания, а в прошлом матрос-подводник и старшина рулевых на эскадренном миноносце, теоретически был годен и для досаафовской деятельности по разряду подводников.

Вот и все действующие лица. Вокруг этих лиц топталось по залу еще около сотни корешков, но они в прошлом принадлежали к иным видам и специальностям военно-морских сил. В едином потоке мы должны были прослушать только вводный курс.

— Товарищи офицеры! — прогремел молодой румяный капитан второго ранга, обреченный руководить нами. И две сотни рук опустились в поисках швов, хотя мы несколько и удивились такому к нам обращению-команде.

В высоком и широком дверном проеме показался контр-адмирал. Он медленно поплыл между нами, как авианосец среди джонок в Малаккском проливе. Тяже-

лым взглядом адмирал обводил каждого из нас. Мы явно ему не понравились.

— Флотоводец наверху не зависит от неба, внизу не зависит от земли, посередине не зависит от человека,— прошептал Китаец.— Сунь Цзы, трактат о военном искусстве...

— Это Беркут,— шепнул мне Петя.— Это с ним меня шарахнуло гранатой...

Суровое лицо флотоводца озарилось ласковой и чуть насмешливой улыбкой, когда его взгляд наткнулся на моего друга.

— Петр Иванович! Рад! Очень рад! Как твоя корма?

— Зажила, давно и думать забыл, Федор Сидорович,— сказал Петя.

— Ну, здесь я тебе не Федор Сидорович.

— Простите, товарищ адмирал!

— А к непогоде задница не болит? — поинтересовался адмирал.

— Нет, а ваша пятка? — спросил Петя.

— Прихрамываю, как видишь. Говори телефон! Быстро! — приказал адмирал.— Позвоню на неделе, прошлое рюмкой смочим.

— Не могу дать телефон, товарищ адмирал! Новую квартиру на Гражданке купил!

— АТС еще нет?

— Так точно!

Адмирал Беркут вытащил визитную карточку, сунул Пете в карман тужурки.

— Звони завтра же! Что-нибудь придумаем.

— Есть!

Активисты ДОСААФа слушали этот диалог с некоторым удивлением и заинтригованностью.

Адмирал дал ход и с небольшим постоянным креном на левый борт — из-за хромоты — миновал узкость, то есть двери в коридор.

— Следуйте за мной! — бросил он хмуро.

И мы тронулись за адмиралом бесформенной массой.

— Отставить! — рявкнул Беркут.— Построиться! Товарищ капитан второго ранга, командуйте, леший вас раздери! На кой черт вас назначили сюда?

Адмирал сразу давал нам понять, что мы пришли не в детский сад. И что уж если мы попали ему в руки, то его мало интересует наш общественный статус или заслу-

ги на гражданском поприще. Здесь мы для него подчиненные — и все.

Молодой румяный кавторанг построил нас в две шеренги. И, шагая попарно, как детсадовские детишки, переходящие улицу, мы проследовали в клубный зал по пустынным коридорам под темными ликами великих морских людей прошлого.

Адмирал стал на якорь посередине рейда, то есть клубной сцены. Мрамор и величие колонн, бесконечно высокий потолок старинного зала, густой свет люстр заменяли ему береговые мысы, небеса и светило.

— Товарищи бывшие офицеры, деятели нашего славного ДОСААФа! — начал адмирал. — Я приветствую и поздравляю вас с началом нашего симпозиума!

Какой-то подхалим в зале захлопал.

— Вы уже многие годы живете и работаете на гражданке и, как все советские люди, боретесь за мир, — продолжал Беркут. — За эти годы к нам и нашим супостатам пришли электроника, ракетное оружие, атомные движители и ядерные боеголовки. Сегодня вы познакомитесь с оружием, принятым на вооружение в сравнительно недавние времена. Затем будет лекция по сухопутному стрелковому оружию — обзорная. Затем вы посмотрите кинофильмы. Вопросы есть?

Это адмирал рыкнул так, что наши давно штатские языки оказались приваренными к гортаням намертво.

— Я почему так строго говорю? — спросил тишину или самого себя адмирал Беркут. И сам себе ответил через добрых тридцать секунд вопросительной паузы: — Потому что здесь специфический народ собрали. Здесь те, кому в сорок пятом шестнадцать исполнилось. Вы все на фронт рвались, да не успели. Все потом училища пооканчивали, а в мирные дни служить вам, стало быть, скучно показалось. И с флота отчалили. Однако кое-что повидать успели. Стало быть, о себе высокого мнения. Так вот, любые формы недисциплинированности будут наказываться беспощадно — путем отправки соответствующих сигналов по месту работы. Приступайте к занятиям!

Да, Беркут умел брать быка за рога совсем иным, нежели командир «Комсомольца», приемом. Старшины вытаскивали на сцену подставки-вешалки и рулоны схем. Румяный кавторанг поднялся на кафедру.

И мы туго, со скрипом начали вникать в законы самоотталкивания. Кавторанг сыпал в zákрома наших чере-

пов формулы, как горох в суп. Он их не разжевывал. Ему надо было заставить нас полностью осознать наше малознание, чтобы мы почувствовали себя первоклассниками и прониклись почтением к предмету.

Когда он добился своего, то есть увидел выражение сонной одури на абсолютном большинстве физиономий, то перешел на беллетристику: коснулся вопроса традиций.

— Товарищи, вы должны понять, что тот флот, который вы знали, и тот, который существует сейчас, качественно различны. Качественно! Обычно там, где традиции очень сильны, вырабатывается иммунитет к радикальным нововведениям. Даже если новое на флоте одерживало раньше ту или иную победу, оно, это новое, облекалось в традиционную оболочку и приобретало весьма неожиданные черты и свойства, которые во многом изменяли первоначальный облик нововведения, а то и просто выхолащивали его суть. Мы имеем дело с качественно новым видом оружия, требующим иного, нового военно-морского мышления... Вы понимаете, о чем я говорю?

— Разрешите вопрос? — скрипуче спросил Ящик.

— Пожалуйста.

— Бывший капитан-лейтенант, ныне активист ДОСААФа местного масштаба Желтинский. Вторая слева схема изображает блок «Б» не той штуки, с которой вы нас знакомили, а несколько иной, — сказал Ящик, протирая очки.

Молодой кавторанг оглянулся на схемы.

— Простите. Лаборанты напутали, — сказал он и приказал старшинам заменить схему.

— Я попросил бы не заменять некоторое время, — скрипучим голосом сказал Ящик, надевая очки. — Мне кажется интересным отметить, что в блоке управления гироскопы расположены не традиционно и составляющая их прецессий являет собой радикальное нововведение, так как указывает не на истинный норд, а, интересно отметить, на плавучий ресторан «Чайка» или, в лучшем случае, на сухопутный ресторан «Садко».

Молодой кавторанг стал еще румяней и впился глазами в схему «Б».

— Активист местного масштаба Желтинский, ты, слушаем, не шеф-поваром в «Садко» работаешь? — спросил из задних рядов явно уже давно сиплый бас.

— Интересно отметить, — проскрипел Ящик, — что ав-

тор схемы, перерисовывая ее с соответствующего пособия, уже забыл азы, то есть векторную алгебру.

Кавторанг погрузился в схему, отсчитывая и проигрывая в своем мозгу вариант за вариантом, чтобы найти ошибку, в которую его совал носом шпак в очках. И чем дольше ему не удавалось найти ошибку, тем веселее казалось ему близкое будущее, когда он поставит шпака на место.

И тогда Ящик повел игру кошки с мышкой. Мы ничего не понимали в том, что говорили два специалиста по существу вопроса, но отлично видели, что кот то прилапливает, то отпускает жертву, дает ей обнадежиться, маленько метнуться и опять когтистой и беспощадной лапой хватает за загривок.

Закончилось представление с честью для кавторанга, ибо он не стал выкручиваться и лгать и использовать власть или даже пытаться ее использовать.

— Товарищи деятели ДОСААФа! — обратился он к нам уже с несколько большим почтением. — В схеме есть ошибки, которые я пропустил. Я благодарен капитан-лейтенанту Желтинскому за науку. Капитан-лейтенант знает гироскопические и инерционные схемы не хуже моего начальника кафедры.

— Лучше! — громко, но флегматично заявил Псих. Зал принялся обсуждать спорный вопрос.

— Прекратить! — сказал кавторанг. — Не на базаре!

— У Желтинского прямо на лбу написано, что он эту адскую машину сам выдумал, — сказал Псих. — Не местного он масштаба, а всесоюзного. Ящик, прав я или нет?

— Это уже нас не касается! — сказал кавторанг, начиная слезать с кафедры. — Вопросов больше нет? Тогда...

— Есть! — сказал Китаец. — Разрешите?

— Да, — без большого воодушевления разрешил кавторанг.

Зал опять насторожил уши.

— Интересно отметить, товарищ преподаватель, — сказал Китаец, — что изучение ошибочного, а также использование удивительных приспособлений и необычных орудий, не говоря уже о гадании по черепашим панцирям, в Древнем Китае каралось смертной казнью через удушение. Я имею в виду то, что вы заставляете нас изучать ошибочно блок «Б», этого удивительного и необыч-

ного оружия. А мы в свою очередь будем неверно информировать молодое поколение будущих воинов.

— Хватит,— сказал Псих.— Каждый может запомнить или запутаться. Человек работает, и уважайте его работу!

— А знаешь ли ты,— сказал Китаец Психу,— что страсть спорить при помощи лицемерных речей в Древнем Китае наказывалась смертной казнью через отрубание головы? Я сейчас имею в виду то, что ты там не существовал бы и пяти минут!

— Мне кажется, что ты относишься к породе ужасных нахалов,— спокойно сказал Псих.— А чужое нахальство вредно для окружающих. Оно вызывает стрессовые срывы. Именно из-за таких типов я и завязал с морем.

— Во! — восхитился Китаец.— Нашел причину!

Псих встал и внимательно посмотрел на Китайца.

— Могу с уверенностью сообщить, товарищи,— обратился он к залу,— что у этого типа, судя по степени оттопыренности ушей, было пять-шесть жен. А сейчас он вгоняет в гроб очередную, но она туда не лезет и...

— Прекратите посторонние разговоры! — попросил кавторанг.

Китаец его не слышал. Он вскочил с места и потянулся через спинку стула к Психу.

— Если без китайских церемоний,— шипел Китаец,— я вот тебе сейчас дам по шее...

— Стоп дизеля! — сказал старшина нашей группы Старик-Ямкин.— Сядь.

Весомо у него получилось.

Китаец вздохнул и сел.

— Теперь заведи кольчужный пластырь себе на ротовое отверстие,— посоветовал Старик.

— Есть! — без китайских церемоний согласился Китаец.

— Товарищ капитан второго ранга, лишних вопросов не будет! — заверил преподавателя Старик.

— Вы, товарищи, думаете, что мне самому охота здесь с вами топтаться в субботний вечер? — спросил кавторанг и улыбнулся обаятельной улыбкой адмирала Беркута.— Ладно. До перерыва тридцать минут. Проведем переключку, и травите потом баланду до звонка... Ананьев!..

— Есть! — ответил знакомый сиплый бас.

— Кому всегда везет — так это Ананьевым! — совер-

шенно неожиданно нарушил воинскую дисциплину и порядок сам Старик.— Черт бы их побрал!

— Почему? — часто моргая, спросил капитан второго ранга.

— Я — Ямкин! И вся жизнь из-за этой проклятой последней буквы в алфавите пошла вкривь... Простите! — спохватился он и дальше молчал, как стопроцентная рыба.

— Букин!

— Есты!

— Вертопрахов!..

— Есть!

— Говядин!

Здесь пауза затянулась. И тогда раздался писклявый голосок близко от меня: «Есть!»

За легкомысленного Говядина ответил Китаец. Он еще раз пять отвечал за отсутствующих, постепенно наглей и даже переставая менять голос.

Наконец капитан второго ранга не выдержал.

— Вы что,— спросил он аудиторию.— Думаете, я до сотни считать не умею, если с блоком напугал?

— А кто вас знает,— угрюмо засомневался из аудитории сиплый бас.

— Как вы пришли, вас всех отметили,— объяснил кавторанг.— И сосчитали. У меня по списку окажутся все, а у начальства? Фитиль получать? Сами не служили? Дюжину покрою, остальных — кровь из носа — не могу!

— Если без китайских церемоний,— с трогательной искренностью сказал Китаец и встал,— вы правы. Они в баре сидят, а я здесь за них мяукай! В Древнем Китае групповое пьянство, например, каралось смертной казнью. Цитирую из источника «Шан-шу», том четвертый, страница пятьсот третья, глава называется «Предписание об употреблении алкоголя...»

— Кто там поближе! Заткните этому Шан-шу-дуну пасть! Давно бы уже отпроверялись и курить пошли! — раздалось из аудитории.

— Вас как величать? — спросил капитан второго ранга Китайца.

— Рядовой доброхот,— заскромничал, уклоняясь от прямого ответа, Китаец.

— Продолжайте! Мне самому интересно про «Шан-шу», — сказал наш учитель.

— Цитирую: «Если кто-то донесет тебе и скажет: собираются сборищем и выпивают, ты не растеряйся, схвати их всех и приведи в столицу Джоу, где я их казню!» Здесь, товарищи по симпозиуму,— сказал Китаец,— кавычки закрываются.

Переключка закончилась тяжелым вздохом, с которым бывший капитан третьего ранга Ямкин выговорил короткое «Есть!».

Старшины на сцене скатывали в рулоны и уносили схемы блоков. Когда уносили блок «Б», Ящик обратился ко мне:

— Чем дольше я наблюдаю окружающих, тем более знакомыми мне все кажутся. Вот ты, например, был на практике на одном из фортов году в сорок шестом?

— Кажется, был.

— Голодуху помнишь?

— Конечно.

— Так вот, мы с тобой ловили как-то колюшку тельняшками: надеялись на уху наловить.

— Только это, пожалуй, сорок седьмой.

— Возможно.

Загремел звонок на перерыв, напомнив нам колокола громкого боя и на том форту и на линкоре «Октябрьская Революция».

И мы пошли курить по длинным коридорам под портретами знаменитых флотских людей. Когда миновали создателя толкового словаря русского языка Владимира Ивановича Даля, Псих сказал:

— Флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для некоторых людей определенного вида дарования, выталкивая их из себя, успевал, однако, дать нечто такое, что потом помогало им стать заметными на другом поприще.

— Только отчаливать с флота надо в точно определенный момент,— сказал я.

— Да,— согласился Ящик.— Тут как в фотографии: передержка гибельна.

Мы миновали угрюмый лик отца русской авиации, который под треск штормовых парусов у мыса Горн выдумывал самолет, и набились в шикарное место общественного пользования — кафель, фаянс, эмаль, зеркала, никель цепочек. Место соответствовало ракетно-ядерному веку. Однако выйти из него в зал с недокуренной

сигаретой оказалось невозможно. У дверей встречал дежурный досаафовец.

— Товарищи, прошу извинения,— почтительно, но непреклонно говорил он,— курить в зале не разрешается. Только в гальюне.

— Где курительная? — грозно вопрошали бывшие юнги и воспитанники, которым (для сохранения их здоровья) до шестнадцати лет не выдавали табачное довольствие вообще, а после шестнадцати и до восемнадцати выдавали вместо махорки ленд-лизковский шоколад, но которые курили лет с двенадцати-тринадцати.

— Прошу извинения. Недоразумение: уборщица не знала, что в субботу здесь состоится симпозиум, и унесла ключ от курительной комнаты.

— Где запасные комплекты?..

— А если в курительной пожар, ключи найдутся?..

— Ну и порядок!..

— Где курительная? Сами откроем. Вася, у тебя отмычка с собой?..

Грозный ропот на дежурного не действовал. Превосходство несущего пост над бывшими служаками укрепляло его дух. Он надежно укрывался за броню: «Не могу знать!», «Никак нет!», «Так точно, нет!».

Короче говоря, все курящие задымили в шикарном заведении. Облака дыма, имеющего отвратительный запах,— никотин, вероятно, реагирует с дезинфицирующими веществами,— сгущались с каждой секундой перерыва. И уже через пять минут заведение напоминало местечко на Венере, атмосфера которой, как известно, ядовитой и плотной пеленой укрывает планету утренней зари от глаз астрономов.

Мы кашляли, плевались, но продолжали смолить на полный ход. Загнать в легкие, то есть в кровь, максимум отравы между занятиями совершенно обязательно для занимающихся. При возможности ты загоняешь в себя две или даже три сигареты. И еще одна вещь типична для поведения бывших офицеров в перерывах. Хотя ты только что долго сидел и тебе предстоит впереди опять сидеть, но в перерыве ты тоже хочешь сесть. Просто ужасно хочешь сесть. Принцип «в ногах правды нет» так и вертится в твоей голове. Прошлые россияне, отстаивая церковные службы, отшлифовали эту простую истину до мучительного блеска. И даже самые изумительные фанатики клонули на удочку коленопоклонения. Ведь

опускание на колени есть одна из форм облегчения кано́на стояния во время бесконечных церковных служб. С каким ясным и облегченным вздохом толпа верующих бухается на колени, когда к тому подается сигнал или представляется любая другая возможность! И сразу вместо двух точек опоры появляется целых шесть, ибо начинают работать и руки, упираясь в пол. И, таким образом, правда, которая не в ногах, чувствует себя отлично во всем теле коленопреклоненного.

Звонка с перерыва все не давали.

— Скажите, ребятки,— задал общий вопрос Псих,— почему величественные статуи украшали именно форштевни старинных парусников? Ведь статуя может очень даже красиво выглядеть и на корме. Кто первый?

— Интересно отметить,— заскрипел Ящик,— что статуи прикрывали высоким искусством обыкновенный сортир. А находился он в носу фрегатов, чтобы грязные брызги ветер сносил вперед по курсу, а не в физиономию судоводителям. Море всегда учило людей соединять утилитарное с прекрасным.

— Ты кандидат или доктор? — спросил Ящика Псих.— Подожди отвечать! Товарищи, что говорит опытному психологу манера человека поворачивать голову влево или вправо при ответе на вопрос?

— А если он ее никуда не поворачивает? — поинтересовался Китаец.

— В девяти из десяти случаев поворачивает, когда вопрос требует хотя бы незначительного размышления,— заявил Псих.— Левосмотрящие, по мнению ученых Мичиганского университета, более общительны, музыкальны, имеют более живое воображение, легче поддаются гипнозу и быстрее пишут...

— Я какой? — живо спросил Ящик.

— А я? — спросил Китаец.

— А я? — спросил я.

— А я? — спросил даже Старик-Ямкин.

И все мы завертели головами в венерианском дыму, пытаясь вспомнить, куда поворачивается наш нос в момент тягостного вопроса.

— Я присваиваю Ящику доктора наук,— сказал Псих.— Он правосморящий. Такие меньше спят и чаще специализируются в математике. Среди них встречаются

люди с нервными тиками и подергиваниями. Ящик, ты когда-нибудь дергался?

И, к нашему восхищению, лицо Ящика вдруг неуловимо вздрогнуло и кожа над его правым веком запулысировала.

— Мигрени частые? — старательно соболезнуя, спросил Псих.

Ящик кивнул и взялся за затылок. При этом безмолвном ответе голова его повернулась вправо!

— А меня всегда и всюду тянет влево! — заявил Китаец, с грохотом опустил крышку ближайшего стульчака, удобно уселся, поддернул брюки и даже закинул ногу на ногу.

Нам стало завидно, но не так-то просто было последовать его примеру.

— Типичный случай распада интеллекта, — проскрипел Ящик в адрес Китайца.

— Да, примитивные формы духовной коммуникации все еще играют доминирующую роль в поведении некоторых человекообразных, — сказал Псих.

— Уши вянут от вашего наукобезобразного языка, — сказал Китаец. — Все очень просто, если смотреть в корень. И в век научно-технической революции подобное мероприятие должно начинаться в суровой и грубой обстановке. Здесь мудрый резон. Вот мы сейчас уже связаны между собой какой-то круговой порукой. Каждый из нас уже забыл про то, что в его ранце спрятан маршальский жезл. Между нами начинается чисто мужская дружба. Уборщица случайно унесла ключ от курительной, и мы случайно застряли именно здесь, но во всех этих случайностях есть закономерность...

— Товарищи бывшие офицеры! Перерыв закончился! — доложил дежурный. — Вас просят построятся!

Оказалось, что звонка не было так долго потому, что он испортился — обычная неравномерность в развитии НТР.

Лекцию о стрелковом оружии читал пожилой гвардии майор. Орденские планки, значки и все другие виды отличий покрывали его грудь броней, рядом с которой новгородские кольчуги показались бы женскими рубашечками.

Двое пожилых старшин-сверхсрочников вытащили на сцену и установили на столе образец какого-то стрелко-

вого вооружения. Оно выглядело ужасно. Неясно было даже, где у него начало, а где конец.

Майор с удовлетворением оглядел зал, из которого тянулись к ужасному оружию любопытствующие шеи.

— Есть тут товарищи, которые знакомы с этим оружием? — спросил майор.

Мы молчали.

— Я знаю, — сказал майор, — что многие сейчас думают: а зачем мне стрелковое оружие, если я, мол, моряк и служил на подводной лодке? Думаете так?

— Думаем, — согласился Ящик и протер очки.

— А есть такие, кто возьмется разобрать этот образец? — спросил майор. — Нет? То-то!

— Разрешите, я попробую? — спросил Китаец и встал.

— Пожалуйста, сюда, — пригласил майор Китайца на сцену.

Китаец неторопливо вылез из рядов, громко приговаривая:

— Проходя между сидящими, не поворачивайся к ним задом — так учили в Древнем Китае.

— А голову за это не отрубали? — спросил я.

— Нет, Сосуд, только нос, — успел ответить он и пошел на лобное место к ужасному оружию.

— Много болтаете, — заметил майор.

— Разрешите ваш носовой платок, товарищ майор, — сказал Китаец, поднявшись на сцену.

Зал, привыкший к его выходкам, сдержанно заржал.

— Мы не в цирке, товарищ, а я не Кио! Марш на место!

— Если без китайских церемоний, — сказал Китаец, — я разберу и соберу эту игрушку за пять минут с завязанными глазами.

— Вы не сделаете этого и за десять с открытыми, — сказал майор, покрываясь пятнами.

— Прошу завязать мне глаза! — сказал Китаец. — Есть у вас платок или нет?

— Долго вы собираетесь дурака валять? — спросил майор.

Китаец махнул рукой, шагнул к столу и замер, глядя на оружие. Загорелая физиономия Китайца начала стремительно бледнеть. И аудитория затаила дыхание. И майор замолк. И старшины-сверхсрочники, которые уже готовы были ринуться на помощь преподавателю,

тоже окаменели. Китаец медленно, как змея, гипнотизирующая кролика, склонился к оружию, потом схватил его, зажмурился и прошипел:

— Засекай время, ребята!

И майор, и старшины, и все мы глянули на свои часы.

В космической тишине то масляно и глухо, то громко и звонко заговорила вороненая сталь, застонали взводные пружины, защелкали зацепы и туго заскрипели штыри.

Китаец разобрал оружие и разложил детали на столе. Затем опустил руки вниз, как водолаз, который собирается нырнуть в рубаху, и хрипло сказал:

— Эй! Кто тут из рядовых-необученных! Снимите с меня пиджак, не видите: старлею жарко?

Пожилые старшины торопливо стащили с него пиджак.

И опять то масляно, то звонко заговорила сталь, застонали сжимаемые пружины, защелкали зацепы, заскрипели нарезные части.

На четвертой минуте Китаец уронил какую-то деталь на пол и прошипел:

— Старшины! Поднимите пламегаситель! Не видите, он упал?

Старшины бросились под стол разом с обеих сторон и столкнулись лбами над пламегасителем. Это было сокрушительное столкновение, но никто в зале не засмеялся. Только Ящик мечтательно пробормотал:

— Абсолютный вакуум!

— Где? — недоуменно прошептал Псих.

— Неважно, не будем уточнять, — сказал Ящик рассеянно, погружаясь в ученое раздумье. — Второй год пытаюсь посадить гироскоп в вакуум высокой степени, и никак не получается...

На Ящика зашикали.

Китаец блеснул от пота и тратил секунды на смахивание капель со лба, испачкав оружием маслом толстую физиономию.

В половине пятой минуты майор робко пробормотал:

— Осталось тридцать секунд.

Из аудитории прохрипел сильный бас:

— Не мешай, отец!

Его поддержали:

— А вы, товарищ преподаватель, тренируйтесь пока!

— Сейчас на вас смотреть будем!..

В начале седьмой минуты Китаец вскинул оружие в боевое положение, направил в живот майора и яростно застрочил языком: «Тра-та-та!»

— Молодец! — вырвалось из майора помимо его уставной воли. — Где это вы так научились?

— Если без китайских церемоний, товарищ преподаватель, — сказал Китаец, надевая пиджак, — то... это военная тайна. Еще вопросы будут?

Не хвастаться и не торжествовать самым открытым образом было не в его характере. Проходя на место, он добил майора:

— Интересно отметить, товарищи доброхоты, что нас опять обманывают. У этой штуки давно борода и усы выросли, а ее за последний крик моды выдают!

Аудитория бурно аплодировала.

Но майор нам попался крепкий. Он быстро нас утихомирил. Все-таки хотя участники симпозиума и были в пиджаках, но помнили кое-что из дисциплинарного прошлого.

И до конца занятия мы послушно и внимательно слушали «те-те-де», вникали в схемыдвигающихся частей и в принципы боевого использования этого, действительно, как признался в конце концов майор, уже устаревшего в некоторой степени оружия.

В перерыве преподаватель демократически пошел курить вместе с нами. Опять заговорили о традициях.

— Воздействие традиции на современность — весьма сложный процесс, товарищи по оружию, — начал Ниточкин, залезая на подоконник. — Я осознал это вместе с адмиралом Беркутом на боевом мостике крейсера среди моря электроники и радиолокации, получив два осколка старомодной сухопутной ручной гранаты «лимонка» в правую ягодицу. Адмирал получил один в пятку. Он, вероятно, первый и последний адмирал в мире, раненный таким ахиллесовым образом...

— Интересно отметить, — перебил моего друга Ящик своим скрипучим голосом, — что Беркуту могут хотя бы позавидовать все прошлые и будущие адмиралы, а у вас нет даже этой компенсации, если, конечно, все это вы не врете. Я человек науки и верю только фактам. Для начала покажите шрам.

Петя вынужден был слезть с подоконника. Рассупониваясь, он сказал Ящику:

— Никакого странного мистического света вы там не увидите, коллега.

— Товарищ гвардии майор,— попросил Ящик,— судя по орденским планкам на вашей груди, вы, вероятно, понимаете в этих делах толк. Я попросил бы вас о небольшой экспертизе...

— Я, если без китайских церемоний, тоже кое-что понимаю,— заявил Китаец.

Да, здесь были мужчины, которые знали толк в старых шрамах. Им нельзя было всучить след от флегмоны вместо пулевого ранения, как делал некогда я, пытаюсь подточить женское упрямство фактами героической биографии.

Вокруг Петиного зада собралась порядочная кучка ветеранов. Несколько секунд раздавалось: «А может, противопехотная?» — «Нет, тут и эр-ге-де может, если метрах в тридцати...» — «Слабо задело...» — «На излете, дураку ясно...» — «Лимонка в пятнадцати метрах — зуб даю...».

— Не врет, не врет! — таково было решение жюри.

— А давность? Давность определите! — дотошничал человек науки.— Может, он в детские и отроческие годы по прифронтовым свалкам лазал и от врожденного любопытства незнакомые металлические предметы трогал?

— Ну, дорогой товарищ,— с каким-то даже сожалением к Ящику сказал гвардии майор.— Давность два года — максимум! И без биноклей видно,— не удержался и съехидничал старый рубака.

— Так вот,— продолжал Петя, приводя форму в порядок.— Нужно уважительно относиться к сухопутному оружию, даже если вы моряки до мозга костей. Все вы нынче видели адмирала Беркута. Это мужчина, который не бросает слов на ветер...

— Грубоват. Лихой моряк, но грубоват,— вклинился в Петин рассказ из открытых дверей какой-то некурящий. Физиономия его была покрыта флером мрачного юмора.

— Есть немного,— согласился мой друг.— Я был с ним на флагманском крейсере. Отрабатывали проводку конвоев. Не знаю почему, но в свободное время адмирал выбирал меня в собеседники. Рассказывал о детстве. Как жил в сухопутном подмосковном пригороде — коммунальные бараки и масса тараканов. Были у них черные тараканы, прусаки и темно-красные, именуемые по науке «американцами».

— «Мы пруссаков не боимся!..» — запел на мотив Мальбрука доктор наук, идеи которого лежали в основе многих сложных видов оружия.

Глядя на Ящика, я еще раз убедился в одной бесспорной, но странной истине. Если мужчин оставить без надзора в коллективе, они немедленно опускаются до возраста самого молодого и начинают озорничать и безобразничать на его уровне. Но и этого мало: безнадзорный мужской коллектив характерен тем, что опускается еще ниже — до уровня мальчишек.

Быть может, я поэтому и люблю безнадзорные мужские коллективы.

— Путь в океаны Беркут начинал в ржавом тазу на полу барачной кухни, — продолжал Ниточкин с угрюмым вздохом (мой друг не любит, когда его прерывают). — Делали они с соседским пацаном бумажные кораблики, сажали в них прусаков и американцев — получался морской бой. Не знаю почему, но слушать детские воспоминания сурового адмирала мне было приятно. И я, как говорят, прикипел к нему душой. И потому болезненно переживал его неприятности и разочарования. А они были. Итак, отрабатывали мы проводку конвоя. Флагман шел, как положено, в охранении эсминцев. По плану к флагману должны были прорываться подлодки...

— Заливает! — мрачно сказал из дверей некурящий. — В том-то и дело, что мы должны были атаковать торговые суда, а Заика решил показать класс и прорваться к флагману...

— Спускайся в центральный пост. Что ты через люк орешь? — приказал Старик. — Какой Заика?

Некурящий спустился в центральный пост, то есть переступил порог галюна. По его физиономии скользнул светлый луч, как у театрального статиста, когда ему вдруг разрешают сказать пару слов у рампы.

— В том-то и дело, корешок! — еще раз укорил он Петю. — А почему Заика лез на флагмана? Потому что он из кожи вон хотел вылезти — вот чего хотел Заика! А почему он из кожи хотел вылезти? Потому что он заикался, а Беркут об этом не знал. А в результате что? Я здесь с вами пузыри пускаю.

— Уточни позицию! — скупно приказал Ямкин, хотя и ему и всем нам ясно было, что некурящий принадлежит к тем морячкам, которые при подобной травле играют

роль подсадной утки, как в цирке подыгрывают клоуну со зрительского места специальные ребята.

— Да я вахтенным офицером был, когда мы рубку под самым носом этого крейсера высунули, я! — с полной достоверностью врал некурящий. — Знаете, как Заика «срочное погружение» командовал? Двадцать секунд: «Сро-сро-сро-сро...» Десять секунд: «Оч-оч-оч-оч...» И еще секунд сорок на остальные звуки — вот так! При таком командире мы не только рубку могли из воды высунуть, но и над волнами подняться, как нормальная летучая рыба!

— Насколько я понимаю, — сказал гвардии майор, — они и нырнуть могли глубоко? Глубже, во всяком случае, чем окунь, а?

— Вполне! — серьезно сказал бывший командир дизельной подлодки Ямкин, потому что спектакль разыгрывался главным образом для сухопутного майора.

— Заика черепаху сварил, — гениально импровизировал некурящий, — живьем. Я сам видел. Зачем он черепаху сварил? Чтобы пепельницу сделать из панциря. Сварить-то он ее сварил, а вареное мясо сам вытаскивать не смог — нервы оказались слабые. И он эту операцию заставил старшину трюмных производить...

— Да, запузырить ракету в белый свет как в копеечку — это одно, а вот мясо из черепахи вытащить — другое... — вздохнул Ящик.

— При чем тут черепаха? — спросил Старик у некурящего. — Продуй носовую! Ну, удифферентовался? Поплыли дальше. Так, значит, Беркут Заику командиром сделал?

— Ага. Прибыл в дивизию, посмотрел в списки, спрашивает комдива: «Почему у вас десять лет ходит в старпомах капитан третьего ранга Заикин? Имеет он отличные показатели по всем статьям?» Комдив: «Разрешите доложить, товарищ адмирал...» Беркут: «Не разрешаю!» Комдив: «Но, товарищ адмирал, разрешите все-таки...» Беркут: «Никаких «все-таки»! Вы начальство разучились слушать?! Так вас и так! Вызвать этого десятилетнего старпома и швырнуть его на торпедный стенд, и пусть выводит лодку в атаку, а я посмотрю, как вы, так вас и так, не умеете подбирать кадры!..»

— Между прочим, — сказал Псих. — Извини, что перебыю, но это всех касается. Недавно я ознакомился с диссертацией директора донецкой шахты Владимира Се-

реды. На основании научного анализа он доказал: плохое настроение рабочего, обиженного грубым словом начальника, снижает производительность ручного труда на шестьдесят процентов; обруганный шахтер, занятый на механизированных операциях, работает ниже возможностей на двадцать процентов; и даже автомат, товарищи по оружию, обслуживаемый обиженным человеком, выполняет автоматическое дело на четыре-пять процентов хуже, а вы здесь выражаетесь, как обыкновенные сапожники...

— Получается так,— сказал Ящик,— если боеготовность флота, которым командовал Беркут, находилась на должном уровне, то это означает, что потенциально флот имел запас боеготовности процентов на тридцать. Ведь адмирал мог в любой нужный момент увеличить мощь флота на тридцать процентов, заговорив с подчиненными сладеньким голоском. Да ему надо памятник при жизни ставить, а ты его порочишь!

Некурящий вполне натурально изобразил растерянность, ошалело заморгал глазами. Он как бы не мог найти, что ответить, если отвечать без крепких слов. Потом безнадежно махнул рукой, опять ругнулся и продолжал:

— Ну, швырнули Заику на стенд. А на стенде говорить надо? Нет! Решай себе торпедный треугольник. Он в атаку отлично вышел. Беркут торжествует, комдив молчит. Дальше на автомате через все комиссии: «Беркут лично приказал!.. Беркут лично дал указание!..» Вот почему потом Заика из кожи все время и вылезал. Пролопушило нас охранение — прекрасно! Стреляй тогда! Нет, Заика дальше лезет. Мы, говорит, е-е-е-е-е-е-му п-п-п-п-прямо в мидель в-в-в-впилим! Вот нас и выкинуло в кабельтове от крейсера, а они «полным» жарят! Каким чудом провалиться успели — до сих пор не знаю.

— Ясно,— сказал Ямкин.— Теперь ложись на грунт и прекрати всякий шум в отсеках!

— Перерыв кончился! — уже пятый раз почтительно доложил в центральный пост дежурный.

— Обожди! — отмахнулся майор.— У симпозииков кино по программе, успеем,— объяснил он дежурному.— Что на крейсере-то происходило?

— На мостике из начальства был Беркут, командир крейсера, ну и всякая мелкотня, включая меня,— продолжил рассказ мой друг Петя Ниточкин.— Когда пря-

мо по носу выкинуло лодку, Беркут от злости чуть не лопнул. Неслись мы «самым полным», и определить сторону движения лодки — влево она смотрит или вправо — времени не было. Беркут только успел рявкнуть: «Стоп машины!» И все мы, кто на мостике, сжались, съежились, кое-кто лицо руками закрыл, кое-кто спиной по ходу повернулся, кое-кто просто остолбенел. И ждали все ужасного этого мягкого удара, когда лодка под киль скользнет, а за кормой из кильватерной струи постельные принадлежности начнут вылетать, спасательные жилеты, и пилотки, и бессмертные бескозырки... Еще остолбенение не прошло, как адмирал заорал на командира крейсера: «Шары где, так тебя и так?! Кто «Шары на стоп!» командовать будет?! Ждешь, когда тебе эсминец в хвост влепит?!» Тут поняли мы, что проскочили над лодкой, что жива она, голубушка. Командир крейсера промяукал: «Шары на стоп!» — и понес вахтенного офицера-лейтенантика — прыщавенького, но с золотым перстнем на пальце — в пух и перья за эти шары. А Беркут ногами топает и требует немедленного всплытия подлодки. Ну-с, сигнал срочного всплытия — три взрыва ручных гранат за бортом с минутным или там двухминутным временным интервалом.

Гранаты эти на мостик принесли быстро — три «лимонки». Командир боевой части номер два взял гранаты у старшины и задумался. Беркут у него спрашивает: «Вы чего на них так уставились? Лодка-то уходит! Не тяните резину — они взрывов не услышат!» Командир крейсера поддерживает адмирала: «Что ты на них смотришь, как козел на вход в кинотеатр?» — это командир спрашивает у своего управляющего всеми крейсерскими ракетами, которыми любую столицу можно в дачный поселок или даже в райский хутор превратить за тридцать три секунды.

Вероятно, в ажиотаже сухопутной атаки или в оборонительном окопе ракетный управляющий и нашел бы в «лимонках» нужную дырку, и даже засунул бы туда запал, и зубами чеку бы вырвал, но вокруг крутились радары ближнего и дальнего обнаружения, под ногами считали для ракет траектории электронные машины, и в такой обстановке каптри нашел единственный и традиционный выход — перепихнуть сложное дело на подопечного: вручил гранаты вахтенному лейтенантику. И попали они в ручки с золотым перстнем. Этому прыщу при-

знать бы, что он «лимонка» даже в кино не видел! Нет!

«Ваше приказание понял! Разрешите исполнять?»

«Исполняйте!»

«Есть!»

И с этого момента судьбы тех, кто толкался на мостике, попали в прямую зависимость от современного молодого человека с высшим инженерным образованием.

А в Беркуте от вида сухопутного оружия ближнего боя пробудились опять воспоминания, и он мне рычит: «Я всегда уважал пехоту! Батя у меня в пехоте погиб». — «В пехоте что-то есть!» — поддакивает командир крейсера, а сам с лейтенантика глаз не спускает.

Тот к борту отошел и колдует над гранатами. Башковитый, надо признаться, оказался. Две штуки удачно снарядил и удачно выбросил.

Хлопнули они в волнах за бортом, и у всех на мостике начали проясняться лики. Ведь всем нам, идиотам, ясно было, что следует оставить лейтенантика наедине с его совестью. Но сработала традиционность: не бросай товарища в беде, и те-де, и те-пе. Короче, уронил лейтенантик третью «лимонку» на палубу, прыгнул от нее кенгуриным прыжком, заорал: «Спасайся, кто может!» — и посыпался по трапу с мостика. А ведь по традиции лейтенантик должен был плюхнуться на гранату, принять удар в свое жалкое пузо, защитить адмирала и корабль куриной грудью. Ан нет! Ссыпался он по трапу и был таков! Из его поведения можно сделать вывод, что даже очень крепкие традиции иногда терпят поражение и отходят на второй план, уступая место новым явлениям и структурам. Старая же структура — я сейчас про «лимонку» — здесь вышла победительницей. Она нормально катилась по кренящейся палубе в самую гущу офицеров — под действием традиционной силы тяжести.

Мы повели себя разнообразно. Я, например, столкнулся лоб в лоб с ракетным начальником за тумбой выносного индикатора кругового обзора. Мы с ним вышибли друг из друга искры на манер того, как сегодня это сделали старшины над пламегасителем. Потом мы с ракетным начальником рухнули за тумбой на корточки. В результате чего на свободе остались наши зады.

А Беркут — не знаю, какой он флотоводец, но он единственный, кто не совершал кенгуриных прыжков, ни с кем не сталкивался лбом и никуда со своего боевого поста не

побежал. Он только повернулся к гранате спиной и аистом согнул и поднял левую ногу. При этом адмирал накануне неминуемой гибели изрыгал кощунственную ругань.

Директор донецкой шахты Владимир Вторник, или как его, конечно, не написал в диссертации, что настоящие моряки обычно умирают не от той соленой и холодной воды, которая затапливает их легкие, а захлебываются в собственной ругани. И Беркут не изменил традиции прошлых моряков.

Вероятно, по причине оглушительной ругани я вообще не услышал взрыва. Я только вдруг почувствовал, что какой-то шутник повернул меня вокруг оси на триста шестьдесят градусов. И очутился я в ватервейсе на спине, как князь Болконский в канаве на Аустерлицком поле. И начал я глядеть в зенит на радарные антенны и думать художественной прозой: «Вот оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче...»

И здесь швырнуло взрывной волной на меня Беркута. Взрывная волна, как выяснили потом специалисты, долго плутала по мостику среди сложной аппаратуры, прежде чем найти адмирала и пихнуть его поверх меня в ватервейс. А масса адмирала килограммов сто. Умножьте массу на скорость его полета в квадрате, и вы поймете, почему высокое небо надо мной почернело и даже вовсе исчезло. Адмирал выбил из меня дух вместе с сознанием. И вернулся в меня дух только в перевязочной, где мы лежали с адмиралом рядом и оба на животах,— закончил Петя, машинально потирая левую ягодицу.

— И все-таки самое смешное было потом, под водой,—с загробной мрачностью сказал некурящий.— Потому что взрыв только двух гранат означает приказ сверху: «Лечь на грунт!» И мы легли и лежали там, как олухи. Лежали и лежали, пока от углекислоты глаза на лоб не полезли — хуже, чем здесь от вашего дыма. Только тогда Заика решился всплывать...

— В медпункте мы с Беркутом окончательно и подружались,—сказал Петя.— Ничто так не сближает мужчин, как совместное лежание на животах.

— Или на грунте,—заметил бывший командир дизельной лодки Ямкин.

— Совместное ползание на животах, если, конечно, без китайских церемоний, тоже сближает,—заметил Ки-

таец, покидая стульчак и одушевляясь. Его распирало желание привести пример из автобиографии. Но майор использовал преимущество старшего по званию:

—Точно! Сближает! Вот у нас на Втором Украинском, когда готовили форсирование... Отставить, гвардия! — вдруг приказал сам себе майор, из последних сил давя на горло собственной песне.— Все покурили? Выходи строиться!

И мне подумалось о том, что даже наш досаафовский симпозиум сближает мужчин, хотя нам не приходится вместе ползать на животах и лежать на них рядом в перевязочной. И что прав Китаец: будничное курение в венецианской атмосфере уже способствует созданию атмосферы круговой поруки и коллективному художественному творчеству. Ибо если когда-то и был какой-то конфуз на флоте, связанный со взрывом ручной гранаты в неподобающем месте, то неудержимое фантазирование Пети и гениальная, с актерской точки зрения, импровизация некурящего товарища увели всех нас далеко от реализма, в чудесный мир домыслов и гипербол, в мир мужской моряцкой травли — ведь флот стоит одной ногой на воде, другой на юморе.

Но после просмотра нескольких нехудожественных фильмов мы утратили способность к травле и покинули мероприятие в молчании.

Без всяких шуток мы спустились в гардероб. И без всяких глупостей оделись.

Смерть только что корчила нам рожи из грибовидных атомных облаков. Смерть с величественной неторопливостью взлетала из океанских глубин. Смерть шла на цель по вертикали из стратосферы. Подопытные верблюды и свиньи страшно завершали свое существование среди льдов, степных песков и на палубах боевых кораблей.

Я тогда впервые не только понял, но и почувствовал, что мир в нашем мире обеими ногами стоит на грани глобальной смерти. И удивился своей способности осознавать простые истины с огромным запозданием. Ведь серьезные люди изрекают умные вещи, начиная с отрочества. А я в глубокой зрелости размышляю с полной серьезностью о том, что, например, произойдет, если ссыпать и слить все лекарства какой-нибудь аптеки в одну цистер-

ну. И мне все еще иногда кажется, что в таком случае из цистерны выскочит нормальная обезьяна.

Дождь выбивал из темной невской волны серые пузыри.

О гранит набережной терлись теплоходы варианта «река — море».

Буксир тащил против течения баркентину «Сириус». Ей суждено было превратиться в плавресторан. А в юности многие из нас карабкались по вантам этой баркентины, и отползали по жидким пертам к нокам ее рей, и травили с низкого борта в балтийские волны.

— Лучше бы ее на дрова пустили! — сказал я. — Кабак сделают, а?

— Брось, Витус, — сказал Петя Ниточкин. — Зачем гнилые дрова, если она еще может служить? На ней «Ленресторантрест» еще встречный план выполнит.

Бронзовый Крузенштерн глядел на нас с противоположной стороны набережной. Он стоял чуть ссутулясь, прихватив себя за локти, кортик навечно прикипел к его левому бедру, дождь навел блеск на старые, позеленелые в непогодах эполеты.

Девушка в туфельках на каблуках шла через лужи набережной и смеялась.

— Вам не на Охту? — крикнул ей Ящик, забираясь в шикарную «Волгу». — Могу подвезти!

— Катись, папаша! — безо всякого сердца ответила ему девушка.

— Интересно отметить, что это уже старость, — с непритворным вздохом проскрипел Ящик. — Кому на Охту, ребята?

На Охту никому не было надо.

— Я знаю, в чем наше главное несчастье! — заорал Китаец на всю набережную. — Много думать стали, товарищи доброхоты! Этот вон, — он кивнул вслед «Волге», — с флота удрал, чтобы в физику погрузиться. Ты, — он пихнул Психа кулаком, — в души с психологическим мылом залезаешь! А этот дохлый, — и Китаец заботливо поднял мне воротник плаща, — литературные книжки сочиняет! Надо, если без китайских церемоний говорить, меньше думать, но много знать. Тогда и только тогда сможешь хорошо водить корабли и хорошо воевать. Пра-

вильно я говорю, Ямкин? Тебе, как последней букве в алфавите, последнее слово.

— Пива выпьешь с нами? — флегматично спросил Старик Китайца, подсчитывая на ходу мелочь. На философию ему наплевать было.

— Нет, ребята, каким образом Псих угадал, что у меня жена уже четвертая по списку, не знаю, но это факт. И факт, что люблю первый раз. И сердце у нее прихватывает... В аптеку бегу. Привет, товарищи офицеры! — И он нарезал к остановке, завидев свой трамвай.

— Чертов командос! Чего молчал?! — крикнул ему вслед Псих. — У меня знакомых врачей навалом!

Чертов командос возле трамвая поскользнулся, чуть не шлепнулся и пролез в двери без всякой лихости.

— Интересно отметить, что он прав на сто процентов, если говорить без китайских... тьфу! Вот ведь! Теперь привяжется! — засмеялся Петя Ниточкин. И мы все засмеялись, ибо нет ничего более дурацкого, нежели повторять чужие отработанные словечки и уподобляться, таким образом, попугаю.

— Удивительная судьба у нашего поколения, — сказал Псих, борясь с импортным зонтиком, который распахнулся в обратную сторону. — Мы начали бурно дряхлеть, так и не повзрослев: морщины на лбах, пальцы на автоматических кнопках, а все шуточки да прибауточки...

— Какое это поколение ты имеешь в виду? — спросил я.

— То, о котором командир «Комсомольца» писал. Военных мальчишек, — сказал психолог.

ДИКСОН — МЫС ЧЕЛЮСКИНА

28. 07. 19. 00.

Съездил в поселок, чтобы подстричься и купить для личных нужд чай и кофе.

Полубокс (без одеколona) — 74 копейки. С «Шипром» — 158 копеек. Интересно на Диксоне вспомнить, что «Шипр» происходит с Кипра.

Парикмахерша хвалила местную милицию.

Полярники Диксона решили подарить атомоходу «Арктика» белого медвежонка (атомоход первым должен был прийти сюда и открыть навигацию). И в ожи-

дании прихода чуда двадцатого века медвежонок жил в милиции: «Отсидел в холодной»,— сказала парикмахерша. И отказалась от чаевых, которые я совал взамен одеколонной надбавки (не люблю и никогда не любил одеколоны всех марок, кроме «Тройного»).

«Тройного» не оказалось. Не удалось потом купить чаю и кофе — нет.

Закончил дела на берегу за час, а рейсовый катер должен был отходить только через три.

Сидел и грелся на полярном солнышке, ел апельсиновые вафли и решал вопрос: идти шестьсот метров до могилы Тессема или не идти. И не пошел,— чтобы не лгать самому себе, что, мол, мне идти туда охота.

В ковше между Угольным причалом и берегом торчали из-под воды надстройки затонувшего буксира. Тихо было. На базальте прибрежных скал красовались похабные надписи мореплавателей, имена их судов и даты посещения.

Увы и ах, но там сохранились и мои инициалы, намаленные свинцовым суриком в 1953 году!

А из цензурных надписей я обнаружил такое стихотворение:

Голодный бич — свирепей волка,
А сытый бич — милей овцы.
Но, не добившись в кадрах толка,
Последний бич отдал концы!

«Бич» — от «бичкамер» — безработный моряк. Слово исчезло уже давно. Потому, вероятно, старомодному сочинителю ответил современный:

Я в нос плевал тому поэту,
Кто пишет здесь, а не в газету!

На следующее утро поехали в штаб Западного сектора на инструктаж. На южных берегах острова Диксон кое-где снег.

Вылезли на остров.

Фома Фомич:

— А земля-то в прогалинах темная, нормальная.

Капитан «Софьи Перовской»:

— Да, чернозем.

Фомич:

— Вчера ходили в магазин, так она, земля, прямо теплая,

Я:

— Это угольная пыль, Фома Фомич. Здесь ледоколы бункеровались от самого дня их рождения.

Идем дальше по мосткам тесовым. Травка в щелях между досок — не пропадает зеленое-то в Арктике! Торчит — живучая природа...

Фома Фомич:

— Трава! А? Козу нормально можно вырастить, а?

Капитан «Перовской» (молодой, сдержанный, замкнутый):

— И козла. Чтобы козе не скучно было.

В штабе Анатолий Матвеевич Кашицкий — начальник Западного сектора.

Лет шестьдесят, широкая и узкая полоса на погончиках, не курит, ни разу не надевал очки.

Солнце просвечивает комнату с картами трассы на стенах. Цветные кальки шелестят под карандашами младших сотрудников.

Обстановка. Тяжелая впереди обстановка. Сутки чистой воды до кромки. Потом мощная перемычка в проливе Вилькицкого, потом — черный ящик: в Восточном секторе за 125-й параллелью стеной еще стоит лед.

У кромки встретит «Капитан Воронин», и будем болтаться в полыньях до конца августа.

Следовало выходить из Ленинграда на месяц позже, но у Ленинграда задача — выпихнуть суда в арктический рейс. У Мурманска — выпихнуть из Мурманска. У штаба Западного сектора — выпихнуть из своего сектора. Об этом и говорим в кабинете Кашицкого, когда ждем обратный катер. Фомич нудит о слабости правого борта в районе машинного отделения. Рассказывает о встрече в Дрогденском канале с бывшим капитаном «Державино» Шониным («Самый знаменитый архангельский капитан!» — это Фомич путает морского Шонина с космонавтом). И как Шонин предупредил в Дрогденском канале по радиотелефону о слабости борта. И как он, капитан Фомичев, хотел из Мурманска дать предупредительную РДО, но потом не дал, так как дублер (я) его отговорил, но теперь, ввиду тяжелой ледовой обстановки, он считает долгом — как бы чего...

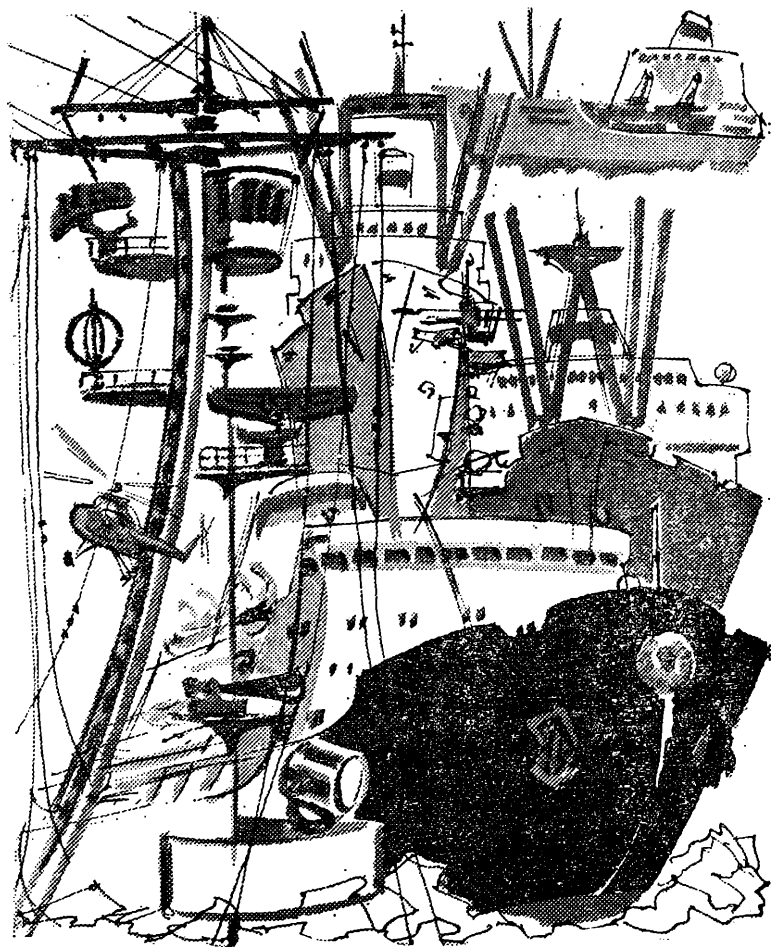
Кашицкий скучает, но терпит привычно. Наконец тихо говорит, что если попал в зубы ледоколу, то как к кроко-



дилу. О том, была или не была водотечность, ледокол спросит; про винто-рулевую группу — тоже; а вот уж если, не дай бог, что-нибудь с «Державино» случится, тогда уж ледокол будет индивидуальностью вашего бор-та интересоваться персонально.

Еще Кашицкий объясняет, что лед тает приблизительно по три сантиметра в сутки. Значит, метровая льдина, которая сегодня означает для нас пробоину, через десять суток превратится в семидесятисантиметровую — совсем иной нарзан, то есть качество: будет разваливаться под форштевнем...

— А все-таки я вам, очень извиняюсь, Анатолий Матвеевич, бумажку оставляю, значить, о нашем борти-



ке... Заготовил тут... схемку... покумекал на досуге...— говорит Фома Фомич ласково.

По лицу капитана «Перовской» вижу, как ему стыдно за коллегу.

Кашицкий берет бумагу. Не читая, пишет синим карандашом что-то наискосок.

Фома Фомич продолжает бормотать, быстро моргая, вкрадчивым голосом:

— ...Рейсовое задание... ваши интересы не затронуты... мне большая неприятность... акт только для нашего

диспетчера... я очень вынужден просить... я признаю... я понимаю... опыт подсказывает...

Кашицкий зачитывает резолюцию: «С документом ознакомлен и глубоко изучил».

Фома Фомич прячет бумажку в портфель.

Уничжение паче гордости.

— Благодарю, Анатолий Матвеевич, очень извиняюсь, значить, и благодарю от души! Пойду катерок на воздухе подожду...— И уходит, кланяясь. А в душе-то его на самом деле светится снисходительная даже какая-то радость: этого-то — с широкими шевронами, седого — он, Фомич, обдурил как мальчишку. И вот рейс, «Державино» и капитан Фомичев начинают обкладываться, обеспечиваться, обвешиваться нужными бумажками, как портовый буксир — кранцами из автомобильных покрывшек...

— Думаю, неправильно, что маленькие трехтысячники идут в Арктику первыми караванами, — говорит старый ледовый капитан Кашицкий. — Но мы не знаем смысл приказов в общеминистерском или в общесоюзном масштабе. Возможно, любые затраты на проводку вас первыми оправданы неизвестными нам причинами. Не след об этом забывать. И объясните это своим людям.

Он провожает нас с капитаном «Софьи Перовской» до дверей домика-штаба, жмет руки, желает счастливого плавания.

Да, когда старый моряк желает «счастливого плавания», это звучит не пустым звуком. Впереди тяжелая работа. Под занавес приглашает зайти в гости, если на обратном пути занесет сюда.

Долго ощущаю тепло и крепость рукопожатия...

«ТЬфу-тьфу!» — думаю, не обойтись кому-нибудь из нас без приключений...

На причальнике красно от красных курток — ребята из экспедиции «Комсомольской правды» с рюкзаками и грузом. Они который уже год ищут останки Русанова. Перед отлетом из Ленинграда видел по телевизору интервью Юрия Сенкевича с их начальником. А теперь вижу парня в натуре. Знакомимся.

Нас жарят из кино- и фотооружия со всех точек его коллеги. Еще бы: историческая встреча — морской писатель и молодые землепроходцы, искатели останков былых

героев. Искатели без шапок, волосы вьются над покрасневшими от холодного ветра физиономиями. Трое из них поедут пассажирами на «Державино» до ледовой кромки и встречи с ледаколами, затем вертолеты ледаколов перебросят их на Северную Землю.

Пролезаем в узенькую щель между островом и материком. За нами отчаянная революционерка «Софья Петровская».

Солнце. Ясно. Устойчивый ветер с севера. Поплыли всерьез.

Отношу в сушилку выстиранные свитер и фуфайку. А вчера подстригся и час отплескался в ванне Фомы Фомича — готов теперь по всем швам к свиданию со льдами.

Так как с детства я говорю и пишу правду, всю правду и только правду, то придется признаться, что вскоре после отхода с Диксона Спиро Хетович посадил меня в лужу! И как позорно посадил!

На стоянке он на берег не съезжал. И, отправляясь в парикмахерскую, я предложил старпому купить ему что надо из мелочей. Оказалось, Арнольду Тимофеевичу нужен один значок с полярным колоритом и один конверт. Я купил ему пять значков и десять конвертов с жирными штампами «ДИКСОН» и силуэтами ледаколов в сумасшедших льдах. Он полчаса ходил за мной и спрашивал: «Хау мени?» («Сколько стоит?» — Сколько он мне должен?) — и настойчиво пытался всучить мне рупь. Я не взял. И он заметно потеплел ко мне и принес электрочайник. Чайник я клянчил начиная с Мурманска, но он его зажимал, ссылаясь на отсутствие свободных. Здесь, вероятно, не паршивый рупь, роль сыграл, а обычно-человеческое — услуга за услугу. Я ему значки для внука, он мне электроприбор. И я обеспечил себе на весь рейс чай в каюте в любое время дня и ночи — хитрый я лис и психолог.

В результате потепления наших отношений я притупил бдительность и нормально сел в шляпу.

Дело происходило следующим образом.

Наличие у нас на борту ребят из экспедиции «Комсомольской правды» оживило интерес к прошлому Арктики. Русанов заставил вспомнить других трагически погибших здесь путешественников. А оказалось, что, в отличие

от Фомы Фомича, Арнольд Тимофеевич кое-какие книж-ки читал. И вот на этом я и погорел.

Еще в пятьдесят третьем году, когда первый раз шел на восток Северным морским путем, я интересовался Русановым. И прочитал про него все, что мог достать. Заинтриговала в первую очередь женщина, француженка Жюльетта Жан. Русанов познакомился с ней в Париже, там они стали женихом и невестой. Предсвадебное путешествие Жюльетте Русанов предложил своеобразное — на слабеньком судне в роли врача через всю Арктику. И сам замысел идти на восток был, если говорить правду и только правду, и всю правду, авантюрой. И взять с собой на верную смерть девушку, студентку Сорбонны, на роль судового врача тоже как-то странно выглядит. И даже название судна «Геркулес», когда мощность его керосинового мотора была тридцать лошадиных сил, звучало или юмористически, или...

Погибли они где-то здесь, возле Таймыра.

Вот запись, которой больше двадцати лет: «12.08. 1955 г. Борт МРС-823. 20 ч. 00 м.— время местное. Проходим шхеры Минина, остров Попова-Чухчина. Здесь нашли остатки лагеря русановцев. Где ты, Жюльетта Жан? Какими были твои последние минуты?.. Штормит. Тучи мрачные... Обязательно сделать рассказ, как где-то во Франции мать ждала Жюльетту... 13.08. 1955 г. 23 ч.— время местное. Стали на якорь в проливе Фрама, измученные качкой, мокрые и грязные. Холодно. Низкий берег острова Нансена. Хлюпает вода. Нет шланга брать топливо. Читал Тихонова «Кавалькаду». Эстафета чужих вдохновений:

...Окончен труд дневных забот...
Вечерним выстрелам внимаю...

Надо писать Жюльетту!»

Не родился рассказ. Но нынче на «Державино», конечно же, я считал, что лучше меня историю Арктики никто ведать не ведает.

Ах и эх — эта привычка высказываться о вещах, которые только чуть понюхал! Я, например, часто обсуждаю кинофильмы, посмотрев афиши на заборах. И самое интересное, что абсолютно уверен в праве судить на основании заборных афиш.

И вот черт дернул говорить со старпомом о Джордже де-Лонге. Я был так уверен, что Арнольд Тимофеевич ни-

чего об этом несчастном американце не знает! И в разговоре небрежно-безапелляционно брякнул, что могила американца — в устье Индигирки.

Тимофеевич сказал, что это не так:

— Я с киндеров помню, когда и где погиб Лонг. В устье Лены он погиб. Вы разрешите вниз спуститься на пять минут? Я этот пошлый энциклопедический словарь принесу.

— Идите,— сказал я. А что оставалось делать? Хотя я уже понял, что путаю место могилы Лонга.

И он приволок словарь, и ткнул меня в него носом, и на глазах всей вахты торжественно и оглушительно повторил:

— Такие вещи, Виктор Викторович, моряк с киндеров должен знать!

И понес, и понес топтать меня. А шли в тумане, туман летел за дверью рубки, как выхлоп автомобиля в крещенский мороз. И хотелось сосредоточиться на окружающем мире: курс на остров Уединения, траверз острова Свердруп — мы повторяем пока точь-в-точь маршрут «Геркулеса».

Ребята из экспедиции «Комсомольской правды» ото-спались и сделали экипажу доклад о целях и смысле мероприятия.

Один парень — радиоинженер, альпинист. Второй — аспирант пищевого института. Третий профессию утаил, зато с бородой.

Попутно они испытывают пищевые продукты, свою психическую совместимость, должны собрать плавник на террасах острова Большевик на высоте ста метров. Если на террасах плавник есть, тогда будет доказано, что Северная Земля последние тысячелетия стремительно поднимается из моря. Ребята везут специальные пластинки, которые будут укреплять в памятных местах Арктики.

Очень обозлили нашего радиста, когда заявили, что у них есть радиостанция весом всего в два килограмма, и они с ее помощью держат связь в микрофонном варианте из Арктики с Москвой и вообще со всем миром.

Наш начальник рации прямо весь взбаламутился. Он тратит на связь с Москвой черт знает сколько сил и времени.

Арнольд Тимофеевич:

— А вот товарищ адмирал Головкин, командующий Северным флотом, уже в тридцать девятом году разговаривал с Москвой из любой своей точки...

07.40. Начали лавировать между ледяных полей, слышен голос «Ленина», он зовет «Комилес» — значит, они уже совсем близко.

Поморы-зверобои кромку льда называют рычара.

Есть в этом слове нечто грозно-рычащее, настоораживающее, приказывающее собраться.

А когда караван входит в настоящий лед, то минута эта и торжественна, и одновременно напоминает мгновение, когда двери зубного врача уже распахнулись перед вами и навстречу — никелевый блеск инструментов.

Свинцовое Карское море, свинцовое карское небо, на нем оловянные длинные отблески ледяных полей.

Три черные черточки на горизонте — атомоход «Ленин», ледокол «Мурманск», лесовоз «Комилес». Они лежали в дрейфе в полынье за разряженной перемычкой плавучих льдин кромки.

Мы с ходу разобрались и без задержки в передней дантиста вошли в дверь его кабинета, и навстречу нам зажужжали миллионы бормашин. Дистанция — пять кабельтовых. Мы — за «Лениным» первыми. И сразу туман. И сразу пробки из огромных обломков в канале. «Ленин» тяжело переваливается с боку на бок в сплоченном льду. Его передняя мачта исчезает в сиреновом тумане. А минут через десять исчезают в тумане и три мощных, направленных в корму, прожектора атомохода.

Не очень приятное занятие следовать в густом тумане за ледоколом, чьи огромные винты выворачивают ледяные глыбы, каждой из которых достаточно для проделывания в твоём брюхе прободной язвы.

Мы шли, еще не привыкшие к сотрясениям, еще болезненно относящиеся к каждому корабельному кряхтению и оху, еще слишком настоороженные и натянутые.

И на тридцать третьей минуте «Державино» намертво заклинивается. И здесь виноват я, ибо сдали нервы и я в пандан им сбавил ход, а этого не следовало делать: нельзя утрачивать инерцию.

— Добавьте! — сказал одно слово Дмитрий Александрович, но уже поздно сказал. Деликатность в нем

сработала. Мы еще не привыкли друг к другу. Это нам еще предстоит.

Для успокоения моей совести еще через четыре минуты заклинивается в полосе торошения сам «Ленин» — в «ставке», как говорят ледокольщики, то есть в полосе сторошенных, многолетних льдин.

Лежим в приятной тишине.

«Мурманск» выкатывается из строя и дважды обкалывает «Ленина». Тот получает возможность движения назад и начинает приближаться к нам, чтобы получить впереди пространство для разгона. Потоки воды от его винтов, когда атомоход начинает разбег вперед, жмут нам в нос, давят льдинами, и мы получаем заметное движение назад: самое отвратительное, ибо это грозит перу руля и нашим винтам...

Со скрежетом зубовным даю ход вперед, хотя под кормой битком набито тяжелого льда. Продолжаем движение. Генеральный курс от острова Кирова на остров Садко, что в островах Цивильки архипелага Норденшельда.

«Ленин» оказывается вежливым лидером. Когда сотрясения от ледяного потока, обтекающего нас, делаются совсем уж трудно переносимыми, я вызываю ледокол по радиотелефону и говорю бесстрастным — так положено по неписаным традициям — голосом:

— «Ленин» — «Державино»! Сотрясения сильные!

— Ясно, «Державино»! Уменьшаю ход! — отвечает лидер, но, черт побери, не очень-то уменьшает.

И течет, течет из глубины к нашему форштевню и вдоль бортов зелено-белый, громыхающий, булькающий, перекрученный поток ледяной лавы с глыбами зеленого ледяного гранита...

Из-за всяких профессиональных сложностей забыл, что мы уже повстречались с медведями.

Итак, вначале было целых два медведя, оба разозлились на нарушителя их покоя — атомоход «Ленин», оба рычали и долго бежали впереди каравана, как зайцы перед авто, каждую секунду оборачиваясь черными носами и пренебрежительно стряхивая ледовую пыль и снежный прах со своих лап в нашу сторону.

Лапы у натуральных медведей вроде бы вовсе бескостные и ватные, как у мишек из детского универмага. И соображают они долго и туго: только минут через двадцать галопирования наперегонки с атомоходом наконец

доперли, что следует отбежать немного в сторону и пропустить мимо себя это огромное существо. А потом, передохнув, драпать возможно дальше.

Когда мишки удрали, то таким поворотом событий очень обрадовали тюленей, ибо тюлени получили возможность вылезать на лед вдоль извилистой дорожки, оставшейся среди ледяных полей от прошлых проходов ледоколов. А может быть, это и не тюлени, а нерпы. Никто у нас не знает, чем они отличаются. Все эти звери издали очень смахивают на улиток, а иногда на одну кавычку — то есть на половину кавычки.

Саныч, обнаружив очередную нерпу-улитку, обычно с сожалением бормочет: «Вон еще одна моя несбывшаяся шапка-мечта валяется!»

А Фомича больше всего терзает «Перовская», ибо они держатся за нами в кильватер в трех-четыре кабельтовых, а задана дистанция — пять-семь. «Ну, если мы в ледокол стукнем, так у него борт толстый, а вот если «Перовская» нам — так у нас-то борт тонкий! Вы уж, пожалуйста, им напоминайте, чтобы они, эт самое, ну, вы понимаете...» И опять про очко — лучше недобрать, значить, и т. д.

Придумываю Фомичу ласковую кличку — Забубенный Бурбон. В Париже-то он побывал! И даже Лувр посетил.

Через три часа делается ясно, что надо брать нас под уздцы.

В 20.20 «Ленин» берет нас, а «Мурманск» — «Перовскую».

Мы опускаем человека за борт на штормтрапе, привязываем к якорям веревки, стрелами затаскиваем якоря на подушку из досок на контейнерах палубного груза.

Ослепшим, безъякорным носом суемся в транец атомохода.

Он сажает корму, ибо наш нос оказывается ниже его ахтерштевня. В результате струя винтов атомохода будет с повышенной силой выбрасывать нам под брюхо утопленные им льдины.

В клюза заводятся стальные буксирные троса, они соединяются на полубаке двадцатью шлагами пенькового. У соединения — бензеля — ставится матрос с топором.

Рядом аналогичную операцию проделывает «Мурманск» с «Перовской».

Я уже раздеваюсь, чтобы свалиться в койку, — ровно восемь часов на мостике позади. И наблюдаю за операцией коллег в иллюминатор каюты. Стоит, конечно, поглядеть, как пятится линейный ледокол к носу маленького лесовоза, а на носу лесовоза качается на штурмтрапе скорченный чертиком боцманюга, привязывая за якорную лапу веревку, — задержались ребятки с уборкой якорей из клюзов. На корме «Мурманска» нахохлился вертолет. Его, было, подняли в воздух, но туман закрыл обзор, и капитаны встревожились, что вертолет потеряется, и срочно посадили его обратно.

Красив и мощен линейный ледокол «Мурманск»! В ледоколах есть та зверски-зверюгская симпатичность, которая есть в белых медведях.

И вот линейный ледокол пятится кормой к маленькому лесовозу, а вдоль бортов у него встают на ребро двухметровые льдины.

В непо потревоженных лужах на удаленных льдинах, в малахитовых студеном окнах отражается кремовая надстройка ледокола, и алыи огонек бортового отличительного, и голубая полоска полуночного неба.

От усталости не уснуть, хотя вставать уже через три с половиной часа.

31.07.00.00.

Солнце низко. Но ниже его — полоса черного тумана. Туман не доходит до судна, кончается в полумиле. И солнечные лучи проходят поверх полосы тумана и упираются в снежицы на льдах. И все эти извилистые, растянувшиеся, неморгающие окна воды блестят ровным потусторонним блеском старого серебра. И на этой непорочной белизне — пять огромных моржей — целое святое семейство.

От монотонности движения на буксире мысли делаются идиотскими. Я, например, иногда представляю себе, что оказался здесь совсем один и вот надо построить ледовый домик для защиты от ветра. И вот выбираешь подходящую льдину для домика, оцениваешь ее живучесть и строишь из ледяных обломков себе домик по эскимосскому образцу, — чистый идиотизм. И еще привязались строчки, навеянные прожекторами ледоколов:

...И три огня в тумане
Над черной полыньей..
...И три огня в тумане
Над черной полыньей..

О СУДОВЫХ ПОЖАРАХ И КАК ФОМА ФОМИЧ ИГРАЕТ В ШАХМАТЫ

1

Мутный, туманный холод над проливом Вилькицкого чем-то напоминает мертвую стылость блокадного Ленинграда.

Чаще всего застреваем там, где льдины имеют песочно-коричневатый оттенок. Вздорны и упрямы такие льдины, как бычки-трехлетки. Рябые льды — покорные, как часто бывают и рябые люди.

Продолжаем следовать на усах за атомоходом, подрабатывая «малым». Поток встречного льда, перемолотого и утопленного винтами и корпусом ледокола, при таком варианте движения проходит под нашим днищем.

Ограничили перекладку руля до пятнадцати, а иногда и до десяти градусов, чтобы лавина встречного льда не свернула баллер. Это приказал Фома Фомич. Я бы забыл. И это уже не перестраховка, а его ОПЫТ.

На всех судах каравана жизнь идет по разным часовым поясам. И потому в обеденное для нас время мы видим, как на «Ленине» кто-то на юте делает утреннюю зарядку. От раздетого до пояса морячка — пар.

15.00. Опять медведь. Но сенсационный. Сперва, пока он бежал кроликом впереди, удирал от атомохода, ничего особенного не наблюдалось. А когда догадался свернуть и, усталый, встал на ропаке, пропуская мимо себя суда каравана, то на шее мишки обнаружено было что-то черное и кольцеобразное — автомобильная покрышка!

Так как Филатов на гастроли в пролив Вилькицкого еще не приезжал, можно предположить, что покрышка или свалилась на лед с какого-нибудь судна (их часто употребляют вместо кранцев), или вмерзла в лед какой-нибудь речки и была вынесена в море. Мишки же (всех национальностей: и гризли, и гималайские, и белые) обожают играть в игрушки. Вот этот и доигрался.

Он стоял на ропаке, как маршал на парадной трибуне. Или как маркиз на старинных европейских портретах, только жабо у него было не белое и кружевное, а черное и резиновое.

Диссертация для ученых-биологов: «Белый медведь и проблемы научно-технической революции».

Мы на меридиане Сибирского отделения АН СССР. Потому и пришли научные ассоциации.

...Молоденький, маленький тюлененок ползет по льдине, тычется в разные стороны. Родители со страху перед медведем и нами нырнули, бросили его на льдине, а он и растерялся; брюшко совсем светлое, спинка уже темная...

Рулевой Рублев докладывает, что ощущается неприятный «химический» запах. Принюхиваемся в три вахтенных носа.

Есть запах: какой-то эссенции. Решаем, что в рубку задувает выхлоп собственного дизеля, так как ветер в корму, а идем медленно.

Начрации носит из рубки охапки негодных радиоламп и выкидывает их за борт, приговаривая: «А ведь все со знаком качества, так их в душу...»

Запах усиливается. На всякий пожарный проверяю станцию пожарной сигнализации. Внешне она в полном порядке.

Звонок из машины, срочно просят спуститься старшего механика. Его нет в рубке. Спрашиваю, почему звонят ему в каюту. В каюте его нет. Больше ничего не спрашиваю у вахтенного механика. Ставлю второго помощника на руль, а Рублева отправляю на поиск деда по судну. Записываю в черновой журнал время обнаружения запаха.

Через минуту из машины звонит дед и просит срочно спустить ему туда два кислородно-изолирующих аппарата.

В машине что-то горит, и дело пахнет жареным. Рублев еще не вернулся. Сам становлюсь на руль. Саныча посылаю за боцманом и прошу приказать тому открывать кладовую кислородно-изолирующих приборов, а Саныча самого спуститься в машину и выяснить обстановку — второй помощник по уставу командир аварийной партии. Санычу полезно посмотреть на ситуацию своими глазами. Знаю, механики не любят, когда судоводители суют нос в их дела, но плюю на это. Иван Анд-

риянович, вообще-то, должен был доложить на мостик подробнее, что там у них и как.

Но знаю, что иногда на доклады нет секунд.

Понимаю и то, что играть пожарную тревогу, если там какая-нибудь тряпка-ветошь загорелась, глупо; особенно глупо при плавании в караване и наличии рядом ледокола — оттуда в случае нужды немедленно окажут мощную помощь, а задержать караван — ЧП. И неприятность для Ивана Андрияновича в первую очередь.

Возвращается Рублев, докладывает, что стармеха нигде нет. Разумеется, нет: он давно в машинном отделении.

Из дверей котельного, открытых обычно, — дым, довольно густой уже. Рублев говорит, что в коридорах надстройки тоже есть дым. Дышит, как уставшая собака.

Пожалуй, пора тревожить Фомича. Конечно, стармеху это тоже будет неприятно, но я обязан это сделать. На судне всегда был, есть и, дай бог, будет один капитан. На «Державино» это Фома Фомич Фомичев, и поэтому решаю его будить.

Звонок из машины — просят застопорить ход. Это можно сделать так, что ледокол и не заметит. Мы держим «малый» только для того, чтобы винт не испытывал желаний самостоятельно возвращаться от напора встречной воды и льда, а не в целях помощи ледоколу.

Стопорю машину и звоню Фомичу. Трубку берет Галина Петровна. Прошу капитана на мостик.

Звонок из машины. Звонит Саныч, докладывает, что горит или чадит — черт их, механиков, разберет — топливо в паровом коллекторе.

Дым показывается уже из светлого люка машинного отделения.

Прошу Саныча возвращаться в рубку и вызываю «Ленин», докладываю ему обстановку, говорю и о том, что застопорили машины. «Ленин» спокойно дает на это «добро» и сообщает, что тоже стопорит, пока мы не разберемся в ситуации. Благодарю. Как приятно, когда ледокол спокоен и в его голосе ни нотки раздражения.

Возвращается Саныч, долго кашляет, глаза слезятся — прихватило ядовитым дымом на верхних решетках.

Тишина. Запах химии. И надрывный кашель второго помощника.

Почему не сработала и не срабатывает пожарная сигнализация, если дым уже в надстройке?

Прибегает Фомич — полуодетый, но ведет себя спокойно. Сам объясняет свое спокойствие:

— Дед, значить, конечно, сплетник, но дело знает. У нас, значить, в дачном поселке дача отставного лоцмана горела, так Андрияныч один ее потушил. Он, значить, с «Моржовца», когда того на иголки резали, все огнетушители к себе перетаскал на дачу, в сарае они у него штабелем наложены...

Является сам дед, ничего толком не докладывает нам, но просит срочно связать его с механиком «Мурманска» — они старые знакомые.

Связываемся. Пока стармех «Мурманска» поднимается в рубку к радиотелефону, пытаемся вытащить из нашего стармеха какую-нибудь информацию — черта с два! И на его ушастой физиономии тоже ничего не прочитаешь, хотя дым уже на трапе в рубку. Вот актер! И темнить умеет замечательно — по этой части у него опыт громадный: такую спецмеханическую лапшу нам вешает на уши, что хоть затыкай их пробками от мерительных трубок.

Ньютон с Фультоном и самим великим Дизелем тоже бы ничего не поняли.

Только при разговоре нашего деда с дедом «Мурманска» кое-что проясняется: слишком долго работали «самым малым», топливо там куда-то не туда забрасывало или отбрасывало, оно попало на раскаленные части и задымило; на ликвидацию неприятности надо полтора часа.

Деда заканчивают консультацию.

Ледокол дает «добро» на полтора часа стоянки, опять очень спокойно и доброжелательно это делает и говорит, что может послать людей оказать любую помощь. Иван Андриянович категорически отказывается и тепло благодарит.

Под занавес дед с ледокола опять берет трубку и рекомендует, если дело будет затягиваться, использовать углекислотное тушение, обещает Андриянычу сразу возместить разряженные баллоны углекислоты.

Дед благодарит и проваливается к себе в низы, как Шаляпин в «Демоне».

У меня все время чешется язык спросить о причине молчания станции пожарной сигнализации, но сейчас это не ко времени.

Пожар на судне — одно из самых безобразных и беспардонных бедствий. Особенно когда нет рядом ледоколов, то есть в автономном океанском плавании. Вода в машинном отделении — игрушки по сравнению с огнем в любом месте судна. Возможности и средства борьбы с пожаром ограничены, а судно имеет сравнительно незначительную площадь, которая еще больше сокращается огнем.

Кроме того, на судах имеются помещения, за которыми не ведется постоянное наблюдение, вследствие чего начавшийся в них пожар не сразу бывает обнаружен. В случае же обнаружения пожара подступы к нему часто бывают ограничены, а помещения, как правило, заполнены дымом или горючими газами. Конструкции судов не исключают открытого распространения огня из одного помещения в другое.

Во время пожара раскаленные металлические части корпуса, палуб, переборок и шахт из-за теплопроводности воспаляют обшивку и теплоизоляцию судна, а также различные горючие материалы и грузы в смежном трюме или помещении.

В период пожара образуются конвенционные потоки, способные быстро разносить продукты горения, огонь быстро перебрасывается с одной части судна на другую.

Развитию пожара на судне могут способствовать взрывы баллонов сжатого воздуха в машинном отделении, баллонов с аммиаком в холодильных установках, танков с топливом и опасных грузов в трюмах.

Пожар, возникший во внутренних помещениях, в большинстве случаев переходит на открытую палубу и надстройку через шахту машинного отделения, световые фонари и люки, выгородки выходов, иллюминаторы, а также через световые фонари надстройки, обеспечивающие усиление тяги и горения.

Краска, которой покрыты деревянные и металлические конструкции судна, является не только горючим материалом, но и распространителем огня. Во время горения краска выделяет едкий дым, затрудняющий действия экипажа в борьбе с огнем.

Судовая вентиляция и система кондиционирования воздуха также являются путями, по которым распространяется пламя.

Тушение пожара часто осложняется состоянием моря,

силой и направлением ветра, временем суток и навигационными условиями.

По данным иностранной статистики, пожары, возникающие в море и в портах, в среднем составляют до 5% от общего числа аварий морских судов.

Вместе с тем судов всех флагов, погибших в результате пожаров или взрывов, насчитывается более 10%, а в отдельные годы около 22% от общего количества погибших судов.

Фома Фомич проявляет очередные черты драйвера теперь в смысле отчаянного мужества — приглашает меня к себе в каюту сыграть в шахматы.

Вообще-то, нам в рубке делать нечего — хватит вахтенного штурмана, тот сразу позвонит, если потребуется. И поведение Фомича мне нравится — никакой лишней суеты с пожаром. Очко в его пользу, но...

Но я бы: 1) вырубил вентиляцию по всему судну; 2) ткнул электромеханика носом в станцию сигнализации; 3) сам обязательно слезал в машину; 4) воспользовался случаем, чтобы собрать свободных от вахты членов аварийно-спасательной партии и потренировал их в задымленном помещении в кислородно-изолирующих аппаратах. Конечно, людей лишний раз дергать неприятно, но я бы дернул. Вероятно, все это я бы проделал, ибо работал на спасателях и аварийные каноны впитались в плоть и кровь.

Или Фомич не полностью отдает себе отчет в происходящем, или он воистину из тех моряков, которые именно в напряженной ситуации обретают полное спокойствие духа.

Играем в шахматы. Галина Петровна угощает конфетами и кофе. Она гостеприимная и славная женщина. Приятно сидеть на мягком диванчике, слушать песни из Москвы, да и запах хорошего кофе — это не чад горящего топлива.

Выясняется, что Фома Фомич любит играть в шахматы только черными. Я люблю как раз белыми. Так что и разгадывать, кому какие, — не надо. Мир. Благолепие.

Галина Петровна извиняется и уходит спать — приняла снотворное, не может привыкнуть к частому изменению судового времени и полуночному солнцу.

После первых пяти ходов понимаю, что Фомич играет вовсе плохо. Быстро вжариваю ему мат. Он ничуть не расстраивается и расставляет фигуры для новой партии. При этом слегка прощупывает мое отношение к стармеху. Я уже давно заметил, что ему не нравится микрогруппа: я, дед, второй помощник. И вот Фомич слегка катит на деда бочку. Мол, тот редко пишет ему докладные бумаги по всяким неприятным случаям. Нельзя было отказать Фоме Фомичу в образности речи, когда он рассуждал о машинных делах, расставляя шахматы:

— Я ить капитан, значить, должи́н всегда знать, что у парохода в брюхе, что в голове, что в ногах; а они, значить, темнят — сидят в своем темном нутре и темнят, думают, раз в машине ни одного иллюминатора нет, так я ничего и не вижу! Значить, я им реверансы-нюансы бросать не буду больше! Мне из поддувала после каждого случая своя информация идет... Почему они горят? Перестраховка у деда! Вовсе маленькие обороты давали — думали, так повыгоднее, а, значить, топливо-то и загорелось! Все, значить, прикрыться хотят, а я их заставлю бумажки написать по каждому случаю, да к рапорту приложу. Тогда на будущий год сюда в Арктику «Державино», значить, и не пошлют. В возрасте пароход, поломки частые, деформации корпуса... А дед мне бумажки не пишет...

Вжариваю ему еще одну партию. Хотя в финале чуть было не проиграл. Играет он плохо, но страшно цепко и непреклонно. При ощущении близкого выигрыша тягуче зевает, а руки зажимает между колен.

Я спасся во второй партии только тем, что заметил: если даже у Фомича каким-то чудом получается атака, то лишить его этой атаки просто. Следует подставить под удар самую захудалую пешку в самом дальнем от атаки месте доски. И Фомич немедленно харчит эту несчастную пешку. Не взять пешку, которая находится под боем, совершенно для него невозможно. И он радостно уводит из атаки ферзя, приговаривая:

— А вот мы, значить, сперва пешечку съедим! Пешечки не орешечки! И я очень, значить, извиняюсь, но ее съем...

Упорство прямо рублевское. Плюс безмятежная задумчивость, когда, например, против его одинокого короля и парочки пешек у противника появлялось уже три ферзя, тура и целая упряжка коней.

В такой ситуации (я потом часто наблюдал подобное) Фомич думал над неизбежным матом, не обращая никакого внимания на противника, и четверть, и полчаса. Но не сдавался. Я ни разу не слышал из его непреклонных уст слова «сдаюсь». Нет, Фомич мыслил до конца.

Вы могли ему говорить, что мат неизбежен, и все вокруг это видели с отчетливостью прямо-таки сверхреальной, но Фомич не сдавался.

Противник, которого отделял от апофеоза один ход плюс временная бесконечность Фомичовых раздумий, вместо положительных победных эмоций начинал испытывать какое-то угнетенное, подавленное и даже уже беззлое ощущение безнадеги...

Третью партию я ему проиграл. Обычное дело, когда зазнаешься и перестаешь относиться к любой игре серьезно.

В утешение Фома Фомич сказал мне, что в момент начала катавасии в машине спал очень крепко и супруга не могла его долго добудиться, потому что перед сном он начал читать мою книгу «Среди мифов и рифов». И так сразу — на четвертой странице — вырубился, что, значить, и вовсе теперь не помнит, с чего моя книга начинается.

Действует на Фомича моя проза посильнее, чем ноксирон с люминалом на его супругу: из спальной каюты доносился ее ровный и солидный, гостеприимный храп.

Смешно, но я расстроился и оттого, что проиграл, и оттого, что Фомичу скучно читать мою книгу.

Воздействие печатного текста на физиологию Фомы Фомича, как я смог потом заметить, было всегда определенным. Если, к примеру, в руки ему каким-нибудь чудом попадала книга классика, то уже через четверть печатной страницы Фома Фомич полностью отрывался от действительности и на добрых семь часов погружался в глубокий, ничем не замутненный сон. Видимо, слишком велика была нагрузка на мозг от классики. Добиться такого результата с помощью современной советской прозы Фоме Фомичу удавалось только на второй или даже третьей печатной странице.

Вообще, с самого детства буквы оказывали Фоме Фо-

мичу яростное и тягучее сопротивление в те моменты, когда он начинал складывать из них слово. Но с еще более яростным, прямо-таки сталинградским ожесточением сражались за свою полную автономию и самостоятельность именно уже слова, когда Фома Фомич начинал складывать их в предложение. Чтобы связать слова какого-нибудь всемирного классика по рукам и ногам, заткнуть им глотки и уложить в штабель предложения, Фоме Фомичу приходилось напрягать бицепсы и даже брюшной пресс.

При всем при том за жизнь у Фомича было всего два ляпа и один выговор в приказе, ныне снятый. Это он сам мне сказал. А я Фомичу верю. Без большой нужды он не врет. Темнить может, конечно, замечательно, не хуже Ушастика, но по натуре не лгун.

Ляп № 1. В Роне пятнадцать лет назад наехал на баржу-грязнуху. Конечно, были всякие разбирательства, но даже до суда дело не дошло, ибо на грязнухе не горели огни и плыла она на приливном течении без управления. Оборвалась якорь-цепь, когда шкипер спал. Грязнуха и поплыла. Фомич очень смешно рассказал, как прилетел наш сухопутный представитель из консульства и все путал понятия «смычка якорь-цепи» и «смычка между городом и деревней». Рыльце у Фомича, вообще-то, было в пушку, потому что долбанул он грязнуху на левой стороне фарватера. «Однако я, значить, всегда помню, что курс к сердцу солдата лежит через его брюхо, как сказал Иван Грозный, то есть, прошу извинения, не Иван Грозный, а ихний Бисмарк. И напоил я шкипера с грязнухи так, что он и название моего парохода забыл скорей всего навсегда...»

Ляп № 2. В Англии. Не хватило при контрольном пересчете содержимого какого-то разбитого ящика семи будильников. Фомич тогда грузовым помощником плавал. И все это дело скрыл. Британские капиталисты прислали в коммерческий отдел пароходства вульгарные претензии и кляузы. Коммерческий отдел с яростью принялся отрицать претензии, так как не имел никаких с судна сообщений на данную нехватку. Тем временем Фомич и весь экипаж судна, как это и положено, получил премии за безрекламационную сдачу груза. И вот на этом нюансе Фомич и погорел. И влетел в приказ начальника пароходства, потому что обе стороны — английские буржуи и наши коммерческие специалисты — потратили на

переписку из-за семи будильников добрую тысячу фунтов, и еще две тысячи отечественных рублей пошли на премию.

За давностью времен выговор с Фомича снят. И чист он перед богом и сатаной даже и не как чайчьи лапки, а как новорожденный теленок.

2

...И два гудка в тумане
Над черной полыньей...

Траверз острова Фирнлея в двадцати милях. Курс на острова Гейберга. На этих островах четырнадцать лет назад радист Камушкин нашел деревянный кораблик.

Чересполосица грязных льдов и ослепительно блистающих на солнце снежниц. Невысокие горбики островов Гейберга, адски черные. И куда с них снег сдуло? Виден гидрографический знак. Стамухи — севшие на мель большие льдины — торчат застывшими разрушенными корабликами-привидениями.

Выходим в полынью, отдаем буксир с ледокола.

Мы первые и пока единственные. Остальной караван застрял в перемычке.

«Мурманск» уходит его выкалывать.

Веду «Державино» к противоположной стороне полыньи, врубаю нос в рычару, получается курс около ста градусов. Так и стоим, подрабатывая вперед «малым», — чтобы не остывал дизель.

Вода в полынье прозрачна, изумрудна и независима. Она кажется обнаженной. И не стыдится наготы.

Перед тем как расстаться с ледоколом, высадили на него ребят-«краснорубашечников» из экспедиции. Страшно было смотреть, как они тащили по мосткам через баррикады палубного груза на бак рюкзаки, каждый по сорок семь килограммов. С нашего носа они перелезали на корму ледокола по штормтрапу.

Заходили на мостик прощаться. Пожелал им найти Жюльетту Жан и: «Бог в помощь». Они: «К черту! К черту!» — на то ребята и комсомольские правдисты.

Потом нашел в каюте сюрприз — огромное фото героев на Новосибирских островах, 1974 год.

Черные очки на глазах и лбах — от снежной болезни. Все на лыжах и одинаково бодро, жизнеутверждающе лыбятся.

Фото испещрено автографами и: «Карское море, т/х «Державино», 1975 год. Мы найдем Жюльетту!»

04.30. Отхожу от кромки полыньи и ложусь за «Лениным». Старпом является на вахту и спрашивает, где экспедиция. Я говорю, что высадили на ледокол.

— А деньги вы у них взяли за питание?

— А почему это я у них брать должен был?

— Кто за них теперь будет платить?

— Сегодня дам вам десятку, а пока управляйте судном!

Он ходит взад-вперед по рубке и считает полупросебя шепотом:

— По рупь девяносто с двадцать девятого, трое...

— Будете вы управлять судном?

Он посылает матроса искать второго помощника и сам становится на руль.

Дмитрий Александрович денег с ребят тоже не брал, ибо это не его дело и не в его характере.

Арнольд Тимофеевич звонит куда-то по телефону.

Судно входит в тяжелую перемышку, туман, видимость три-четыре кабельтовых, впереди всплывают из-под «Ленина» злобно-мрачные льдины, зудит вертолет, взлетевший с «Мурманска».

У старпома старчески-испуганные, полные муки глаза, но при этом он старается держать на физии свирепо-напряженное выражение отчаянного мужества и решительности Харитона Лаптева.

Наконец будят третьего штурмана, и выясняется, что ребята деньги за питание отдали еще вчера и третий предупредил старпома. Забыл Арнольд Тимофеевич или под этим соусом уклонялся битый час от ответственности вахты во льду? Скорее последнее.

Проходим мыс Челюскина.

Арнольд Тимофеевич (повеселевший и успокоившийся):

— Вот у нас в тридцать девятом... Тогда еще торжественно отмечали пересечение меридиана Челюскина. И все перепились. Один я трезвый был. Сам капитан заставлял спирту выпить, я отказался. Никогда пошлой гадости не пил...

Со свистящим, вращающимся шумом зигзугит над башкой вертолет, отыскивая проход в перемычке. И каждый раз страшно себя представить на месте вертолетчиков.

Выходим на чистую воду под южным берегом острова Малый Таймыр. Пролив Вилькицкого позади. Впереди море братцев Лаптевых.

Конец второго этапа пути.

Перед сном наносю на обыкновенную, «для домашнего употребления» географическую карту мира точки и даты. Полезно иногда поглядывать на карту всей Земли, а не только в морскую путевую. Глянешь вниз по меридиану — даже нечто похожее на высотное головокружение ощущается. Вся планета где-то под ногами, когда ты в арктических водах. Садись на салазки и... до самого моря Моусона в Антарктиде — к пингвинам в гости.

Сперва по тундре, по тундре, потом встряхнет тебя на медных пиках хребта Удокан, мимо Читы (не забудь снять шапку над могилами декабристов), мимо Улан-Батора и Сурабаи (не забудь вспомнить так старательно забытую песню: «Морями теплыми омытая, лесами деревянными покрытая...»).

Когда после вахты ложишься спать, то под закрытыми веками все продолжает мощными лавинами и струями катиться поток зелено-белого перемолотого льда, среди которого вдруг становятся на попа «кирпичи» (по выражению второго помощника) весом в десятки тонн.

Расставание с ледоколами Западного сектора было довольно будничным, ибо никто друг друга не видел — туман. И не получилось обычно впечатляющего прохождения ледоколов обратно — от головы каравана, мимо всех судов на контркурсе.

Слышались только радиоголоса.

Голос «Ленина» спрашивал претензии к проводке и замечания, другие отвечали, что претензий и замечаний нет, благодарили за проводку и желали спокойного рейса.

Когда-то в такие моменты гудели друг другу. Гудели и на отходе в рейс от причала. Я помню, как на отходе пожилые моряки предупреждали своих маленьких провожающих внучат, чтобы те не испугались, что сейчас пароход заревет, как слон, как носорог, как бегемот...

Теперь это бывает редко. Только уж в самых торжественных случаях. Соблюдение традиции вызывает опа-

сение, как бы в сентиментальности не заподозрили... как бы гудки за «Прошу обратить на меня внимание» не посчитали и нарушение «Правил по предупреждению столкновения» не пришили...

Я спросил у «Ленина», есть ли на мостике капитан. Оказалось, что Владимир Константинович отдыхает. На мостике дублер. Жаль. Хотел поблагодарить за гостеприимство,— когда-то застряли во льду, и я лазал смотреть атомоход. Разговорились об автоматизации судовождения. На атомоходе набито электроники полным-полно. Я сострил, что скоро уже и медведи смогут водить такие суда через океаны: один медведь — на мостике, второй — у реакторов.

Владимир Константинович подумал и сказал, что я не прав. Один будет медведь. И на мостике и в машине будет один и тот же медведь. Я сказал, что это, мол, уже фантастика. А он объяснил: «Второго медведя сократят! Система взаимозаменяемости профессий тоже не стоит на месте! И рано или поздно, но достигнет апогея».

Туман. Туман. Туман.

Градус чистой воды впереди до очередной ледовой перемычки. Следуем самостоятельно в назначенную точку.

И вдруг в особенной, туманной тишине дикий вопль моего верного напарника Дмитрия Александровича. Он вопит где-то в надстройке:

— Я не реаниматор! Не реаниматор я, товарищи! За что ж вы Ваньку-то Морозова?!

И опять тишина.

Это Саныча механики, вероятно, опять попросили заварить щель в кожухе выхлопной трубы. В машине нет дипломированных сварщиков, а Саныч хотя и штурман, но варит железо замечательно и даже имеет диплом. И механики часто просят его продемонстрировать талант.

У меня вопль «не реаниматор я!..» почему-то вызвал в памяти порт Касабланку. И опять ощущение, что в зубах застряла говьяжья жила,— где я уже встречал напарника?

Никогда не бывает так вкусен обыкновенный растворимый кофе, как туманным, зябким, ночным полярным часом в рубке лесовоза.

Расходимся с гидрографическим судном. Все обычно, все так, как было тысячи раз: экран радара, круги дальности, зеленая отметка, бритвенная черточка визира... Два долгих гудка впереди, отсчет секунд, рев своего гудка — тоже два длинных...

Туман на стекле окон в рубке конденсируется в крупные капли. Скорость умеренная, и потому капли не сдувает и не расплющивает встречный ветер...

— От горшка два вершка, а гудит басом,— говорит Рублев о встречном гидрографе. Он говорит детским, сопливым голосом Рины Зеленой.

Арнольд Тимофеевич:

— Мы в тридцать девятом вместо радиолокатора использовали эхо. Идешь у берегов в тумане и гудишь, а сам на мостике с секундомером. Так всю вахту и дышишь на крыле свежим воздухом. Аппетит потом прекрасный. И для легких полезно — я до сих пор не кашляю. С радарами этими пошлыми и не дышит никто свежим воздухом, сигареты только смолите...

Меня настырно тянет увидеть в тумане огни встречного судна. Не нужны они мне, а тянет. И даже определенное усилие над собой делаю, чтобы сказать:

— Еще пятнадцать право!

Существует старая морская приговорка: «Стоп! — себе думаю, а за телеграф не берусь!»

Корявость оборота намеренная. Так звучит по-одесски, смешнее: «себе думаю». Смысл же большой. Человек понимает, что надо остановить движение, чтобы избежать уже очевидной опасности, но не берется за телеграф, не останавливает движения.

Почему?

Огромность массы судового двигателя вызывает и огромные перенапряжения при резкой остановке его и переводе на обратное движение. И ты испытываешь дурацкую стеснительность перед дизелем и перед механиком. И стараешься избежать опасного сближения со встречным судном только изменением курса.

При хорошей видимости и достаточной свободе для маневра это вполне логично.

При плохой видимости и наличии радаров отмечаются случаи парадоксального поведения судоводителей.

Капитан Бухановский исследовал шестнадцать случаев документально зафиксированных судовых аварий-столкновений.

«Создается впечатление,— пишет он,— что некоторые судоводители как бы искали близкой встречи, как будто не существует никакой разницы между условиями расхождения в тумане при радиолокационном наблюдении и при хорошей визуальной видимости и как будто с каждой милей сближения не возрастает риск столкновения. Похоже на то, что субъективность суждения человека делает риск взаимных опасных действий бóльшим при плавании по неограниченному водному пространству, чем при движении в стесненных районах».

Я думаю, что стремление увидеть судовые огни встречного судна и визуально определить его ракурс подсознательно играет главную роль. Жаль, что Бухановский не приводит биографических и психологических данных капитанов, участвовавших в анализируемых столкновениях. Особенно интересен их возраст и продолжительность плавания без радиолокации в какие-то моменты и периоды работы в море.

02.08.12.00.

Пока самая трудная вахта. Шли за атомоходом «Арктика».

Лед, не пропитавшийся еще водой, не тронутый разложением, звонкий и крепкий, как нержавеющая сталь, пронзительно-изумрудный на двухметровых изломах; отдельные торосы земляного оттенка толщиной до четырех-пяти метров.

Мы опять угодили первыми в караване — сразу за атомоходом.

Кучиев предложил такую тактику. Он жарит во всю ивановскую, а мы держим минимальную дистанцию. Но мы боимся огромных, крепких, ядерных льдин, которые иногда взлетают у него из-под винтов посередине канала. Когда такая штука оказывается в ста метрах и ты идешь средним ходом, то затормозить уже не представляется возможным.

Кроме этого.

На малых дистанциях струя от винтов атомохода (их

три) так могуча, что сбрасывает наш нос с курса, с середины канала, и рулевой не способен держать судно. И вот шла война нервов с осетином и с крепчайшим льдом.

Кучиев — ученик Павла Пономарева. Теперь он ведет «Павла Пономарева» в караване. И попутно рычит на меня, то есть на лесовоз «Державино».

А я не боюсь! За Юрием Сергеевичем семьдесят пять тысяч индикаторных лошадиных сил, за мной — дюжина тигров!

Прямо и не знаю, что и как сложилось бы в моей жизни, если б не тигры. Как мир стоит на китах, так я стою на тиграх. Пятнадцать лет они меня выручают из самых запутанных ситуаций.

И сейчас скажи я заветное слово: «Полосатый рейс!» — и дело в шляпе.

Двоюродный брат Кучиева Казбек Михайлович Хетагуров мой брат по тигриной крови.

Капитан «Арктики» когда-то соблазнил двоюродного брата Казбека на авантюристическую морскую профессию. И тот получил полную порцию экзотики и авантюризма, когда на его пароход «Матрос Железняк» посадили дюжину тигров, льва и обезьяну. Казбек Михайлович был капитаном этого несчастного судна. Он первым начал полосатый рейс.

— Нет, Евгению Леонову я не завидую, — говорил Казбек тысячам корреспондентов-альпинистов, которые со всех сторон лезли на него и на «Матроса Железняка». — Нет, товарищи, я артисту не завидую! Правда, и нам, морякам, не сладко. Шутка ли, товарищи корреспонденты, спускаешься в кубрик, а там во всю длину обеденного стола живой тигр лежит! Во всю длину! Или за чем-нибудь высунешь голову в иллюминатор, а перед носом — пасть льва. Клыкастая, товарищи, пасть! Обезьянка, конечно, симпатичная, добренькая — недаром ее Пиратом назвали. Недаром ее, товарищи корреспонденты, назвали Пиратом! То ночью из графина воду на голову стармеху выльет, то мне брюки в узел завяжет...

Ныне Казбек Михайлович Хетагуров работает сдаточным капитаном Балтийского завода. Годика через два поведет на ходовые испытания атомарод «Сибирь», чтобы не отставать от двоюродного брата...

Стоит мне произнести заветное слово, и «Арктика», обвешанная гроздьями корреспондентов, сфотографиро-

ванная во всех ракурсах, обложенная кипами статей и очерков, как новогодняя елка ватой, — первый рейс флага-мана ледокольного флота! — эта «Арктика», это атомное сверхсущество, станет мне родной по крови, ибо нас сбли-зит юмор.

Есть единственное средство против перепутанности и сложности мира — юмор. Не бог, не царь и не герой. Все эти ребята не помогут. Только юмор, лучше безымянный: «Она съела кусок мяса, поп ее убил...»

Юмор — обыкновенная маска, но она помогает пре-одолевать растерянность от сложного и непонятого во-круг. Смущение души реализуется в материи звуковой волны: «хи-хи» или «ха-ха».

В юморе, конечно, есть ложь, но это ложь жизневерия.

Колпак клоуна помогает шуту преодолеть страх и ляпнуть царю из-под стола правду-матку.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ АРКТИКА

1

Три часа сорок пять минут ночи, и в нашей рубке раз-дается абсолютно натуральный, чуть сонный, но уже по-бедительный, вызывающий кукарек петуха — полнейшая иллюзия предутренней деревни, и петух-передовик орет, а потом хлопает крыльями и сваливается с насеста.

Это матрос первого класса Андрей Рублев приветст-вует близкий конец вахты — до сдачи пятнадцать минут. Одновременно крик петуха обозначает просьбу к вахтен-ному штурману стать на руль, а его, Андрея Рублева, от-пустить на парочку минут в низы будить смену.

Хлопанье крыльев он имитирует не примитивным хло-паньем себя по бокам, например, а падение петуха с на-сеста не банальным притоптыванием сапога — нет! До такого примитивизма наш Рублев никогда не опускается. Все изображается только при помощи языка, губ, глотки и черт знает еще чего, но сам «петух» неподвижно за-стыл у рулевого устройства и глядит вперед, ни на се-кунду не ослабляя внимания и даже не смахивая пот со лба.

— Вот зверь! — говорит Дмитрий Александрович не без восхищения, становится сзади и левее «петуха» и с полминутки присматривается к пейзажу впереди по кур-

су с точки зрения рулевого, потом перенимает руль в свои руки.

«Петух» радостно блеет веселенькой козочкой и смаывается с мостика.

Конечно, таланты Рублева врожденные, но проявились они после того, как он некоторое время работал в зоопарке. Отпуск оказался чересчур длинным, деньги он промотал и вместе с дружкой нанялся в зоопарк подработать. Дружок — звериным поваром, а он — его помощиком. Оголодали ребята, вероятно, к этому моменту здорово. Потому что уже в первое утро звериный кок задумался: зачем это крокодилу надо кашу на молоке варить, кроме всякого мяса и рыбьего жира? Кто ему на воле кашу варит? Никто не варит! Ну, кто будет в Африке крокодилу этому кашу варить? Взяли сами и выпили молоко.

В обед выясняется, что белым медведям положены кроме мяса и рыбы еще и яблоки с морковью. Полное хамство! Яблоки — белому медведю! Может, ему и бананы подавать? Сожрали по яблочку сами.

К ужину отхватили от львиного рациона кусочек посочнее и соорудили нормальный шашлык.

Короче говоря, во-первых, надо самому слышать, как Рублев возмущается всем этим звериным баловством; а во-вторых, через неделю дружочков оттуда, ясное дело, с позором выгнали. Но за эту неделю он и обнаружил в себе талант звериного имитатора. Так что наш Рублев вышел из зоосадной истории чем-то даже обогащенный. А дружок его так потом хвастался перед соплавателями отпускным прошлым, что повел целую компанию в Калининграде в зоопарк, был под сильным газом и, перечисляя продукты из рациона белых медведей, положенные полярным существам в условиях жаркого или умеренного климата, свалился в бассейн к медведям. Медведи на него серьезного внимания не обратили, а в отделе кадров — обратили и прихлопнули визу на мертво.

Происшедшее Рублев объясняет так:

— Когда мы львиные шашлыки жрали и нас зоотехник накрыл, мы как раз о происхождении человека спорили. Я утверждал, что мы от ленивых обезьян приходим, типа, например, бабуинов. Корешок уперся, как баран, и твердит, что, мол, от шимпанзе или макака. Вот и допрыгался...

А старпом сегодня рассказал, как был на приемке судна в ФРГ, купил дешевое мужское белье. В гостинице обнаружил, что ему дали дорогой женский комплект. Дойдя до этого места рассказа, он захихикал.

— Чего хихикаете? — поинтересовался Саныч, сдавая ему вахту.— Примерили, что ли? Перед зеркалом?

Здесь я тоже хихикнул, ибо представил фигуру нашего морского мерина, нашего плоскозадого Арнольда Тимофеевича в нежном и пенном женском дорогом белье перед зеркалом в гостинице.

— Зачем примерять? — изумился вопросу Саныча старпом.— Зачем мне такой пошлостью заниматься? Я тогда только подумал, как тот господин, которому мой пакет выдали, жену обрадует. Разворачивает она пакет и... мои кальсоны!

— Так ты не вернул белье? — спросил Саныч. Он очень редко говорит Арнольду Тимофеевичу «ты».

— Дурака нашел! Господин пойдет в магазин, и ему все обратно восстановят. Пускай капиталист страдает,— объяснил Арнольд Тимофеевич.

Дмитрий Александрович умеет владеть собой. И процедил одно:

— Капиталист у девчонки-продавщицы высчитает, которая напутала. Вам с обстановкой все ясно? Я вахту сдал, Виктор Викторович, разрешите вниз?

— Да, пожалуйста.

О, как громко и тоскливо кричат чайки, когда выслушаешь такую исповедь Арнольда Тимофеевича, и при этом еще застрянешь во льду, и на несколько минут затихнет двигатель, и ты выйдешь на крыло — в озноб, стылость и сырость. И сразу услышишь, как тоскливо они кричат...

Чтобы не обижались моряки, уравнишешу Спирос автосудом литературным деятелем, с которым ездил в Польшу.

Начнем с того, что я боялся повесить брюки рядом с его в двухместном купе. Почему я боялся? Я боялся, что мои брюки набьют его брюкам морду! Я-то могу держать себя в руках, думал я; на то я и человек, я даже с этим подонком разговариваю о поэзии, но у моих брюк

такой выдержки нет! И они обязательно набьют морду его брюкам, и получится форменный скандал!

Он вез из Москвы чемодан еды. Когда на второй день пять яиц протухли, то он долго ругал жену за то, что она плохо их сварила, а потом еще часа два мучился вопросом: выкинуть их в мусорную урну или немного подождать?

После просмотра прелестного и игривого французского фильма, когда мы вернулись в гостиницу, он все жаловался мне, что в левой ляжке у него «затвердение».

После того как мы побывали в известном всему миру католическом соборе, он заметил, что собор отремонтирован хорошо, но ему не понравилось, что там много посетителей — и туристов, и прихожан. Я спросил, что лучше: ходить в пивную или в католический музей-храм? Он сказал, что полезнее для нашего дела, чтобы ходили в пивную. Я не шутки сейчас шучу. Я правду говорю.

В Кракове он питался московской колбасой.

На какой-то станции в каком-то старинном городке поезд застрял неподвижно, и поляки предложили нам поездку по интересным местам. И он побоялся оставить чемодан в купе — в закрытом купе, при наличии проводников и прочего. И решил оттащить на время поездки чемодан в камеру хранения. Замечательная получилась сцена. Кладовщик спрашивает у пана, во сколько тысяч тот оценивает вещи. Мой литературный брат: «Пять тысяч злотых!» Кладовщик, выписывая квитанцию: «Прощу, панове, тридцать злотых!» Это за хранение, как вы понимаете. Мой литературный брат схватил чемодан и поволок обратно в купе. Но прежде чем он его схватил и поволок, сцена была чисто клиническая: выпученные глаза, спазм, сердечный приступ и т. д.

В конце поездки я обнаружил, что от ненависти к этому человеку и от необходимости при этом долгого на него глядения на хрусталиках моих глаз образовались мозоли — такие, как на его ногах...

Остров Русский при низком солнце.

Остров напоминал католическую монашенку — черное, белое, розовое и опять черное при отчаянном желании взбрыкнуть ногой.

Почему вообще возможно писательство и актерство? А потому, что в каждом из нас есть *все* бывшие, сущие и будущие люди, со всеми чертами их характеров, только в разной степени их развития.

РДО: «СЛЕДУЙТЕ СОВМЕСТНО ТОЧКУ ВСТРЕЧИ Л/К 7500 13035 ГДЕ НЕ ВХОДЯ В СПЛОЧЕННЫЙ ЛЕД ЖДИТЕ УКАЗАНИЙ КМ АБРОСИМОВА ЗПТ ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОДОЖДАТЬ ПОЭТОМУ НЕ ОЧЕНЬ ТОРОПИТЕСЬ ЗПТ ДО ПРИХОДА УКАЗАННУЮ ТОЧКУ ВОЗМОЖНЫ ВСТРЕЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ТЯЖЕЛОГО ЛЬДА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ».

Кроме этой служебной пришла частная радиограмма в адрес Фомы Фомича. Радист принес ее, чтобы посоветоваться: отдавать или не отдавать капитану.

«Дорогой любимый жду не дождусь встречи твоя Эльвира».

Радист встревожен, ибо: 1) некогда у них плавала буфетчица Эльвира; 2) на борту ныне супруга Фомы Фомича.

Фома Фомич вырос в моих глазах на целую голову, но что бы то ни было советовать я отказался, ибо не очень-то понял, почему именно меня радист выбрал в советчики.

Адресат же чувствует себя безмятежно.

Нынче ему очередной раз приснился сон про дочку, как она на трехколесном велосипеде едет в стену и кричит: «Куда я еду?!» И все крутит и крутит ножками и — бац! — в стену.

И вот Фомичу во льдах хочется вдруг заорать: «Куда я еду?!» И он честно рассказывает про все это в кают-компании за ужином в тот момент, когда у всех разом и вдруг улучшилось настроение — солнце вышло после суток тумана и все и вокруг судна, и в кают-компании сверкает от солнечного блеска. И вот Фомич рассказывает сон и хохочет при этом до слез в глазах — и очень симпатичен в этот редкий момент (РДО от Эльвиры радист ему не отдал, подозревая какой-то неуместный розыгрыш).

Мы на меридиане реки Оленек (левее дельты Лены) и на параллели бухты Марии Прончищевой (где есть радиомаяк ныне).

Солнце с северной стороны горизонта, низко, градусов пятнадцать; небо в зените безмятежное и голубое, ниже сплошное кольцо серости и мрачности, море — чистейший холодный ультрамарин, и в густой синеве клинья сверкающего хирургически-белого накрахмаленного льда.

И мы идем полным ходом, огибая ледяные клинья, а далеко впереди пилит двенадцатиузловым ходом «Капитан Воронин» и говорит с нами с архангельским окающим спокойем. Где-то тут умер — в рейсе, на мостике — сам Владимир Иванович Воронин.

И я вспоминаю его сына Пеку Воронина — однокашника по Военно-морскому подготовительному училищу, и других друзей-доброхотов, и вообще раннюю юность, и даже детство.

Полярное солнце все-таки греет воротник казенной меховой капитанской куртки, подбородок то и дело ощущает тепло нагретого меха, и потому, вероятно, вспоминается детство. С довоенных времен у меня никогда больше не было пальто с меховым воротником, потому и ласковое тепло у подбородка так далеко возвращает в прошлое.

Я завидую способности Фомича до пятидесяти пяти лет сохранять свежесть страха. Он, например, радировал Шайхутдинову уже две РДО, где канючит на неправильность ранней посылки в Арктику слабых судов нашего типа.

Мы уже стрела в полете, никто наше движение остановить не может, и смысла в стенаниях Фомича никакого нет.

Правда, если быть честным, мне тоже иногда кажется, что наша «операция может оказаться опаснее болезни», как говорят хирурги. Очень уж трудно идем. Арктика ныне тяжелая — беременна льдами, как лягушка икрой.

В 02.00 расстаемся с «Ворониным» и «Пономаревым» — они продолжают идти на юг, к Хатанге, а мы ложимся на восток вослед за «Комилесом».

Льды идут за нами с левого борта, то исчезая, то вновь показываясь, как голодные волки за стадом ка-

рибу. И точат зубы, мерзавцы. В двадцати часах ждут нас уже дальневосточные ледоколы «Адмирал Макаров» и «Ермак».

...Когда ледяное поле тихо-мирно дрейфует в глубоком летаргическом сне и год, и два, а потом вдруг с полного хода наезжает на него грубиян-ледокол, то льдины встают на попа с таким ошарашенным видом, что вспоминается картина великого Репина «Не ждали»...

Сегодня ненароком сказал при Дмитриии Александровиче, что меня заинтересовала знаменитая их Сонька и что она как бы плывет с нами, потому что ее каждый и часто вспоминает (есть, например, подозрение, что РДО «Эльвиры» — ее работа).

Мы редко стоим с Санычем на мостике рядом. Если во льду, то мы на разных крыльях, если вне льда, то у вахтенного штурмана хватает дел.

А тут ему нечего было делать, и мы стояли рядом, и глядели на чаек, и следили за кромкой льда с левого борта, и, вероятно, он, как и я, думал о том, придется ли нашей вахте прихватить льдов или проскочим вахту чисто.

Полярные чайки знают, что черные огромные существа — корабли — полезные звери, потому что переворачивают льдины, а пока с перевернутой льдины стекает вода, из нее легко выхватывать рыбешку. И потому чайки летят и ждут не дождутся, когда мы пихнем очередную льдину.

Перед посадкой на воду у полярных чаек ноги болтаются совершенно разгильдяйски — как пустые кальсоны. Еще необходимо отметить, что полярные чайки на воде отлично умеют давать задний ход. В этом они ближе к млекопитающим, нежели их южные собратья.

И вот мы стояли рядом на левом крыле и смотрели на чаек, и я сказал про Соньку, назвав ее «Соня» — мне нравится это имя. Саныч помолчал довольно долго. Потом сказал:

— Она плавала у меня на пассажире. в семьдесят втором — совсем девчушкой была. Влюбился в нее. Тяжелый случай. Я старпом, я женат, жену люблю, и в нее тоже влюбился.

Он сказал это просто — очевидно, уже перегорело у него. Или такое тоже случается: сильно битые люди замыкаются в мрак или так крепнут душой, что позволяют себе открываться бесстрашно и просто.

— Ну что надо делать? Списывать надо — вот и все. Дураку ясно. А ситуация такая, что списывать — сильно ей повредить. Мы в каботаже работали. И у нас девчонки как бы предвизирный период проходили — чистилище своего рода. Спишешь без причины — пришьют в кадрах ярлык нехороший... Рублев! Оставьте эту льдинку с правого борта!

— Я и так ее с правого хотел оставлять!

Рублев не был бы Рублевым, если бы не отбуркнулся. Он и сам все знает! На Саныча его отбуркивания совершенно не действуют, а меня все-таки иногда раздражают.

— И прицепиться не к чему,— продолжал Саныч о Соне.— Работала она хорошо, старалась. Кукольный театр организовала в самодеятельности. Буратино играла. Думаю, хоть бы шторм к концу рейса ударил и что бы она укачалась — причина будет. Нет, погоды нормальные... Рублев! Проходите все-таки подальше! Она маленькая, но мы же «полным» жарим!

Рублев:

— Я от вас, Дмитрий Аляксандрыч, аблаката найму! — это он говорит голосом тети Ани.

— Ты лучше немного зеброй поори,— советует Саныч.— Чтобы пар выпустить.

— Не буду! — мрачно отказывается Рублев.— Настроения нет. Для зебры. А «Комик» оборотов шесть прибавил. Чуть отставать начнем.

— Будем добавлять? — для порядка спрашивает у меня Саныч. И он и я знаем, что Ушастик послушно скажет, что добавит, но черта с два свыше ста пятидесяти восьми оборотов добавит хоть половинку.

— У кромки догоним,— говорю я.— А саксофоном когда она начала увлекаться — еще при вас, на пассажире? — спрашиваю про Соню. Мне интересно продолжить разговор о ней.

— Какой саксофон?

— А я на судно приехал, она с саксофоном у трапа сидела.

— Может, спутали? У нее корнет-а-пистон. Дед у Котовского воевал. А Котовский музыку любил. И больше всего корнет-а-пистон.

— Что это за штука?

И впервые за разговор Саныч оживает. До этого он говорил как-то равнодушно и пережито, как о посто-

роннем и отброшенном. И по тому, как он говорит о корнет-а-пистоне, становится ясно: он про Соню знает все, что один человек может знать о другом, если он его любил или любит.

— Небольшой металлический духовой инструмент. Короче трубы. Три вентиля-пистона. Партия к нему пишется в ключе соль. В строе «В» он звучит на большую секунду, в строе «А» — на малую терцию ниже писанных нот. Может все, что и кларнет. Тембр корнета мягче и слабее трубы. Он может применяться и в симфоническом оркестре. Там их обычно вводят два... Пожалуй, я все-таки позвоню в машину? Туманчиком попахивает, а «Комик» сильно надал.

— Попробуйте.

— Сейчас сделаем деду реанимацию,— говорит он и уходит с крыла в рубку.

А я смотрю на чаек, и почему-то опять крутится в голове Касабланка. Что за черт?!

...Так. Шли с Дакара домой... Цикады довели до ручки — налетела огромная стая цикад, облепили парход... Вдруг РДО: зайти в Касабланку и отдать излишек топлива «Пушкину». За ужином принесли эту радиограмму, когда мы обсуждали, поедая блинчики с мясом, варианты встречи Нового года — семидесятого года; решили как раз отойти в сторонку от главных морских дорог в океане, лечь там в дрейф и встречать Новый год без лишней нервотрепки, и вдруг — Касабланка... Так, Марокко так Марокко. Все-таки — к северу идти, в домашнем направлении... В ночь под Новый год мой рулевой матрос так перепугался, что убежал с мостика! Честно говоря, я тоже напугался: вдруг появилась в дожде и теплом тумане с левого борта белесая и чуть светящаяся в ночном мраке полоса, уперлась нам в правый борт в безмолвии и бескачании. Если бы не множество попутных и встречных судов, то я бы решил, что мы нормально вылезаем на береговой накатик и сейчас загреем брюхом по камням. А это, вероятно, были фосфоресцирующие полосы пены, взбитые пролетевшим узким дождевым шквалом на штилевой ночной гладкой воде... Бр-р! Даже вспоминать противно... Увидишь такое и потом поверишь в летающие тарелки — что-то бесшумно-космическое и заунывное. Недаром морские смерчи в районе Марокко называют «танцующими джиннами»... Так. Были все-таки елка, флаги в столовой команды и

дед Мороз. На деда Мороза набросился наш корабельный пес Пижон — не узнал своего в таком чудище, облаивал его с ненавистью, хотя всех своих узнавал безошибочно среди десятков чужих где-нибудь на стоянке в порту. Так. На подходах к Касабланке сильный шторм, тяжелая качка, и мне довольно тошно, так как я, пусть простит начальство, встретил Новый год крепко.. Дальше... Что, и зачем, и почему «дальше»?.. Скособоченные ураганом прибоем молы гавани. Тесная гавань. Возле нашего «Александра Пушкина» — нос в нос итальянский суперлайнер «Микеланджело», водоизмещение сорок шесть тысяч тонн, современные прозрачные трубы, специальный собачник, где установлен фонарный натуральный столб, чтобы собачки туристов чувствовали себя в привычной обстановке... На «Пушкине» полно английских старух... Старухи сидят в шезлонгах и дуют рашен водку через соломинки под сигареты, между ними ездит на детском велосипеде английский воспитанный мальчик, как Катька Фомича... Старухи часто режут дуба с перепоя... Реанимация!!! «Поймите, не реаниматор я! Я обыкновенный судоводитель!»

— Дмитрий Саныч! — заорал я.

Он ракетой вылетел на крыло мостика.

— На новый семидесятый год где был?

— В Касабланке.

— Так мы же знакомы!

— Конечно,— совершенно спокойно сказал Дмитрий Александрович.

— Да я измучился, вспоминая, где и что!

— А вы бы у меня спросили. Рублев, не лезь на лыдинку! Оставь ее слева!

И почему я, действительно, у него не спросил? А бог знает почему. А почему так долго его вспомнить не мог? А потому что плох был со встречи Нового года, и он мне подлечиться дал — бутылку великолепного шотландского виски. Вот мне и отшибло память. А Саныч из деликатности не хотел напоминать.

Какое облегчение испытываешь, когда вытащишь из зубов застрявшую там жилу!

Все становится на места.

Я даже вспоминаю, как перелезал с «Пушкина» на «Невель» (мы стояли борт к борту) с драгоценной бутылкой в кармане. Была уже ночь, и «Пушкин» и «Микеланджело» залились веселыми, новогодними огнями

иллюминации, а мой «Невель» зиял абсолютной чернотой без палубного освещения. Даже над трапом не горела люстра, и я чуть было с трапа не сверзился. И заругался в полную мощь, опасаясь, естественно, более всего за целостность виски в кармане, а не за шею. Во тьме схватил за руку третий штурман Женя: «Молчи, Викторыч! Молчи, бога ради!» Оказывается, этот коварный хитрец вырубил огни специально, чтобы цикады убралась с нашего скобаря на шикарные лайнеры — насекомые летят на свет. И они, действительно, понемножку летели на иллюминацию.

— Женя, пожалей туристов! — сентиментально попросил я.

— А там не наши, — объяснил Женя. — Там сплошь британцы. Они колониальные песни поют!

И действительно, туристы пели грустную песню. Известно, что для того, чтобы стать настоящим англичанином, то есть убежденным шовинистом, чуждым всякой сентиментальности коммивояжером, сквернословом, но человеком честным, надо попасть в изгнание — так утверждает Грэм Грин (а может быть, Пристли).

В Касабланке англичане-туристы ощутили себя изгнанниками. И запели старинную песню: «Далеко, далеко на родном берегу, помолитесь, друзья, за душу мою...»

Певуны-старушки печалились о былом мужестве первопроходцев, колонизаторов и моряков. В их душах взбалтывался коктейль из деятельного прошлого, бездельного настоящего и рашен водки.

— А помните, о чем мы разговаривали, когда я к вам потом пришел чай пить? — спросил Дмитрий Александрович посередине моря Лаптевых (на жаргоне: «Море лаптей»).

— Помню. Только что померла старуха туристка. И вы намучились с трупом.

— Это мелочи, — сказал Дмитрий Александрович. — Я другое запомнил. Вы очень интересно про собак рассуждали. Тогда «Аполлон-двенадцать» недавно только вернулся с Луны. Сели они еще спиной вниз, в оверкиль. И вот вы переживали: будут теперь собаки и волки выть на луну или не будут? Потому что, мол, месяц теперь опошлен, и космос замызган, и влюбленным смотреть на луну уже как бы бессмысленно, и что придется переписывать старые сказки, где действует месяц, потому что

оттуда американцы сперли камушек и луна уже не луна, а черт знает что такое. Очень интересно вы рассуждали.

— Н-да, действительно, интересно...— согласился я на этот сомнительный комплимент.

...Первым отвалил из Касабланки «Микеланджело» — двести семьдесят пять метров стали, каждый метр — образец изящества и элегантности... Да, а все-таки жаль, что авиация прихлопнула эти прекрасные лайнеры!

За «Микеланджело» отвалили в моря от борта «Пушкина» мы. Отшвартовка происходила под взглядами английских туристов. Пришлось нацеплять форму и вообще изображать морской театр — с архичеткостью команд и лихостью выборки тросов и т. д. И я тогда в какой-то степени вдруг понял, что у неморяков существует особый интерес к морякам, какой-то завораживающий интерес. Англичане — морская нация, а лезли друг через друга, чтобы посмотреть на обыкновенную отшвартовку одного судна от другого...

Через час после того, как Касабланка — фигурные пальмы, опутанные цветущими растениями, кокетливые паранджи женщин, лукавые и веселые женские глаза в прорезях паранджей, причудливые фонтаны и пришедшая из пустыни поглазеть на водяное изобилие бродячая голь, сувенирные лавки, ятаганы, пuffy, ковры, пушистые и ослепительные овечьи шкуры, кувшины, и т. д., и т. п. — осталась за кормой нашего скобаря, нас догнал и перегнал «Пушкин», следуя попутным курсом — на Саутхемптон. Он был отчаянно красив — в огнях, в пене, в брызгах, — он бы понравился Александру Сергеевичу, и, пожалуй, Александр Сергеевич воскликнул бы: «Ай да «Пушкин»!»

2

Щедрина открываю редко. Я и восхищаюсь огромностью и постоянностью его издевательского потенциала-запала, и скучаю по красоте, когда читаю. Когда художник обозлен социальной действительностью до колик, он способен сохранить до конца чувство смешного (ибо это одна из инстинктивных форм самозащиты и самосохранения), но теряет эстетическую ариаднину нить искусства. Сам юмор, конечно, несет частицу красоты, но непрояв-

ленной, растворенной в сложной смеси, как золото в морской воде. Душа же просит красоты с тем большей тоской, чем труднее обстоятельства.

Помню, как долго не мог понять, чем настораживает пейзаж Голсуорси, точный, с настроением, с ритмом близких и дальних планов, отлично сделанный пейзаж. Кажется, теперь понял. Он пишет не вольную природу, а подстриженные садовниками деревья частных парков, парковые, сделанные рабочими водоемы, розарии и ирисы вокруг сделанных декораторами лужаек. И чирикание садовых птиц...

Нам изменили точку встречи с дальневосточными ледаколами к северу. Идем курсом восемьдесят пять. По видимому, будем пробиваться в Восточно-Сибирское море проливом Санникова.

Да, как бы фанфаронски это ни звучало, но надо идти навстречу жизни, надо идти на нее грудью, подставлять себя под поток ледяной лавы. И тогда хотя бы на мгновение чувствуешь крепость в ногах.

03.08.18.00.

Легли в дрейф среди голубой непорочности и тишины. Не верится, что в шести милях мрачный и тяжкий лед. Длинная и почти незаметная зыбь с запада перетекает по морю Лаптевых в чистой голубизне.

Три усталых судна покорно и чутко кланяются при каждом его вздохе, как благоговейно кланялись наши языческие предки, когда их заносило в чуждые, но прекрасные миры.

Тончайшим белым штрихом далекий лед очеркивает голубые воды от голубых, нежно вечеряющих в покое небес.

И, разжалованный из старших помощников шикарного лайнера, второй помощник лесовоза «Державино» чуть слышно пробормотал:

— Мы у ворот Снежной королевы...

Да, живет в его душе артистизм, и жаль, что судьба пронесла его мимо ВГИКа. Я использую момент всеобщей размягченности и спрашиваю:

— И как вы вышли из положения с Соней?

— А! Списал. Нашел повод и списал. Потом перегорело.

— А здесь как встретились?

— Так она же ничего не знала. Мне в те времена грешить никак нельзя было. И не только из моральных соображений. Особенный момент был, когда или вот-вот станешь капитаном, или не станешь никогда. Понимаете?

— Да,— сказал я.— Момент этот характеризуется поразительной неустойчивостью. Легчайший ветерок от локона судьбы способен толкнуть чашу весов с тобой и твоим будущим в любую из сторон света.

— Точнее все-таки сказать: в зенит или в надир.

— Да, так точнее. В подобной позиции все время думаешь: «Как бы чего не вышло!» — и ведешь себя удивительно миролюбиво, и послушно, и нравственно.

— Именно так я веду себя и ныне,— сказал Дмитрий Александрович.— Я еще не потерял всех надежд. Не имею права терять.

И стало ясно, откуда у него такая выдержка при общении со старпомом и Фомичом,— его судьба в их руках. Они будут сочинять послерейсовую характеристику, как он сочинял на сонь, маш, нин и роз.

И вспомнились «Воровский», невозмутимый капитан-эстонец Каск. Он сохранял полнейшее спокойствие не только в ураганах, но даже когда музыканты сфотографировали голенькую нашу уборщицу и пустили фото«ню» по рукам и глазам всего экипажа. Помню, Михаил Гансович вызвал меня и приказал расследовать дело. «Да,— сказал он.— Это не Бегущая по волнам. Небось сама попросила. А теперь музыканты ее шантажируют. Расследуйте. Только, пожалуйста, деликатно. И так плачет и переживает. Утешьте и ободрите».

Когда он произнес «расследуйте», я уже собрался лезть в трубу или в бутылку: я здесь не следователем работаю и прочее... А потом понял, что он думает не об официальных вещах, а жалеет девчонку и хочет помочь ей в той дурацкой ситуации, куда ее занесло по глупости. Помню, как засел в каюте, вытащил паспорта всей нашей женской составляющей — паспорта у меня хранились как у четвертого помощника, ибо мы без заходов в инпорты работали. И я искал паспорт «ню».

И замелькали штампы прописок, мест рождения: го-

род Дружковка Донской области... село Землянки Глобинского района Полтавской области... деревня Бушково... село Заудайка Игнинского района Черниговской области... А вот и литовка, татарка, украинка (26 лет: —стопада 1946 —это родилась. 25 травня 1966—уехала в Мурманск). Посмотришь, у иной весь паспорт уже синий от штампов прописок и работ, замужеств и разводов — а ей двадцати еще не исполнилось. И где ее уже не мотала судьба. И сжалось нечто в душе. Вот они качаются там, внизу, под сталью палуб, посуду моют, картошку чистят, погоду заговаривают, чтобы ветер стих и вечером танцы состоялись, мечтают на танцах богатого рыбачка подцепить, еще разок замуж выскочить... Как в них залезть, в их души простые? Как об их жизни правду узнать, написать? И ясно тогда вдруг почувствовал, что это не проще, нежели о проблеме времени и пространства. Попробуй представь провинциальные исполкомы и военкоматы, сельсоветы и больницы, милиции и домоуправления, штампы которых украшают паспорта уборщиц, корневищ, горничных и дневальных... Помню, оторопь вдруг взяла от четкого сознания, что никогда не сможешь описать художественно обыкновенную, каждодневную жизнь; не сможешь украсить поэзией вывеску отделения милиции в городе Дружковка. Помню, смотрел на штампы о разводах в девятнадцать лет, видел за лиловым кругом больницы, аборт, измены разные и обыкновенный разврат. Но там ведь и радости, и записи детишек, и подвенечные платья, и графские дворцы бракосочетаний. И как все это написать, в это вникнуть, выяснить хотя бы одно — что девчонок мотает по белу свету, заносит в Мурманск на теплоход «Вацлав Воровский»?

И вот восемь лет прошло, а ни во что я не вник, ничего толком не узнал, кроме тонкой пленки поверхности жизни. Да, велика и безнадежно глубока Россия — шестой океан планеты. Тяжело разобраться...

Пролежали в дрейфе у кромки льдов до шести утра.

Начальство Восточного сектора вводить нас в сплошные ледяные пространства не решилось. Приказ идти на Тикси и ждать там у моря погоды.

В сборнике «Судьбы романа» на двухстах восьми страницах ни разу пока не произносились слова «красота», «наслаждение от чтения романа», «эстетическое впечатление»... Авторы сами не замечают, что, защищая роман от неведомых угроз, они смотрят на все глазами психологов или социологов, а не художников. Если в романе Роб-Грийе или Саррот есть красота и если появляется желание возможно дольше находиться в мире героев или автора, то и все в порядке.

Но от «нового романа» (если я что-то про него чувствую) нельзя ожидать эстетического переживания. Тогда для чего утилитарные анализы производить?

Иногда мне хочется читать философию, иногда заниматься ею, читая роман. Я наслаждаюсь, например, Фришем или Базеном. Но я не люблю покойников и никогда не испытывал желания общаться с покойниками. Из этого следует, что современный роман не покойник. Тогда почему по нему плачут и голосят на миллионах страниц? И голосят умные, блестящие люди! Что из этого следует?

Что я туповат.

Как монотонно из века в век идет спор о синтезе и анализе, и о смерти поэтического духа человечества, и о способах его реанимации!

Еще полтора века назад Бейль писал: «Поэтический дух человечества умер, в мир пришел гений анализа. Я глубоко убежден, что единственное противоядие, которое может заставить читателя забыть о вечном «я», которое автор описывает, это полная искренность».

Так что Феллини не открывает никаких америк, когда заявляет, что даже в том случае, если бы ему предложили поставить фильм о рыбе, то он сделал бы его автобиографическим.

А критики уже поднимают тревогу о том, что взаимопроникновение мемуарной и художественной условности зашло так далеко, что мемуарист, лицедей такой, не перестает чувствовать себя в первую очередь писателем. Так же и в автобиографиях. Например, вспоминают критики, Всеволод Иванов — а он, от себя замечу, серьезный был в литературе мужчина, не склонный к анекдотам и партизанским наскокам на литературу, — так вот он несколько раз писал... новую автобиографию, непохожую на предыдущую. И на вопросы, почему он так поступает, сбивая с толку настоящих и будущих иссле-

дователей, отвечал: «Я же писатель. Мне скучно повторять одно и то же». И критики со вздохом вынуждены признавать, что прошлое всегда остается одним и тем же, но вспоминается оно всегда по-разному.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕЕ

Но если определяемое Волей Неба наше беспомощное судно будет прибито к берегу, то от водяной могилы наши мореходы на побережье могут спастись, коли веслами и мужеством владеть будут.

*Гамалея П. А.
Опыт морской
практики*

Вместо вчерашней непорочной и сияющей голубизны небо набухло влажной мутью — «серок» по-поморски.

— Блондинка! — докладывает с военно-морской четкостью Андрей Рублев, пялясь в цейсовский бинокль на близкую корму ледокола и облизываясь под окулярами. Он докладывает об этом факте так, как сигнальщик об обнаружении перископа вражеской подводной лодки. Блондинка раздражает нашего рулевого тем, что око ее щупает, а зуб неймет.

Блондинка разгуливает по ледокольной корме без головного убора.

— В парике? — спрашиваю я.

— Нет, крашенная! — с презрением докладывает Рублев. — Откуда у этих ледобоев валюта на парики?

— Так что, Копейкин, она на палубу сушиться вылезла? — спрашивает наблюдателя Дмитрий Саньч. — Сушка вымораживанием?

— Нет. По другому поводу она вылезла, — мрачно не соглашается Рублев.

И мы все трое машем блондинке.

Она отвечает ледяным презрением и даже отворачивается. И в довершение кто-то из ледобоев обнимает ее и тискает сквозь ватник. С досады на такое вопиющее безобразие мой сдержанный напарник нарушает наш уговор — ругаться только в самые напряженные моменты проводки. Правда, он ругается на английском.

Для оценки нервно-психического состояния моряка

судовые психиатры выделяют девять категорий: настроение, психическая активность, контроль над эмоциями, внутренняя собранность, тревожность, общительность, агрессивность, потребность достижения (желание делать все так быстро и хорошо, как только возможно), потребность в информации.

Вероятно, при выработке этой шкалы психиатры изучили все виды морских стрессов. Но не учли стресс от зрелища объятий на корме ледокола с точки зрения, подобной нашей.

— Пари, что она в парике! — предлагаю я, чтобы снять стрессовые нагрузки с коллег.

— Давайте! — соглашается Рублев и орет через все море Лаптевых: — Эй, куртизанка!!!

Такое обращение появилось в его лексиконе потому, что Саныч пять минут назад рассказывал про Котовского. Оказывается, тот не только играл на корнет-а-пистоне, но и увлекался французскими романами. В результате в одном из приказов (в мирное уже время) он написал буквально следующее: «Ваша часть после маневров выглядела, как белье куртизанки после бурно проведенной ночи».

Тип, который обнимает блондинку, оборачивается на глас Рублева и показывает всем нам кулак.

— Кобра! — шипит Рублев.

Вахтенное время, когда лежишь в дрейфе и бездельничаешь, тянется медленно. И я рассказываю коллегам историю с женским париком.

Как однажды шел через мост над Дунаем в прекрасном городе Будапеште, рядом с прекрасной, прелестной, нежной и, видимо, страстной дамой, с этакой белокурой Гретхен. И все во мне ёкало от быстро нарастающей влюбленности. Она отвечала кокетством утонченным и вообще сногшибательным. И мы уже вдруг касались друг друга руками, и сталкивались плечами на ходу, и прекрасно дурели.

А в сорока метрах под нами струил синий Дунай, вспененный крепким попутным ветром.

И, вероятно, ветер, высота моста, огромность пространства усиливали восхитительное мое возбуждение.

Я поглядывал за перила и на спутницу, чередуя эти взоры. И ее лицо, ее белокурые волосяные волны как бы мчались мне навстречу.

И вот в очередной раз эти волосяные волны на самом полном серьезе помчались мне в глаза, и в рот, и в нос. И сквозь мертвый холод волос до меня донеслось:

— Держите! Держите его! Господи! Ах!!

Волна волос перехлестнула через мою голову и с высоты сорока метров полетела в синие волны Дуная.

— Дурень! — орал рядом кто-то черный, встрепанный, осатанелый. — Он из Парижа, настоящий! Прыгайте! Почему вы его не удержали?! Какой дурень! Ах, боже мой!

Первый (и, вероятно, последний) раз в жизни я наблюдал такую метаморфозу, такое мгновенное и абсолютное перелицовывание физиономии. Только что был «+», и вдруг выкочил «-».

Парик Гретхен спланировал в синие дунайские волны и исчез под мостом.

Несмотря на полное обалдение, я, к счастью, не сиганул через перила. А мог бы. Трансформация нежнейшей и очаровательной женщины в черномазую мегеру потрясла все мои логические центры, ибо произошла мгновенно! Причем и внешняя и внутренняя: из Гретхен — в мегеру и из пленительного кокетства — в «Прыгай!».

Рублев отвечает на мою новеллу новеллой о теще. Та работала троллейбусным кондуктором и беспрестанно заявляла, что там и сям видит его с разными посторонними женщинами, хотя близорука и даже под своим муравьедовским носом ничего не видит.

Рублев однажды попал в ее троллейбус, и на беду еще мелочи не оказалось. И он своей родной теще дал рупь и, естественно, попросил сдачи. Теща подняла ужасный гвалт, ибо родственничка не узнала, не разглядела, рупь схватила, но сдачу давать отказалась. Он рупь обратно вырвал, тут весь троллейбус решил задержать хулигана за безбилетный проезд, и даже когда теща наконец его разглядела и билет дала, то вытряхиваться пришлось до нужной остановки — такая создалась в троллейбусе вокруг него безобразная обстановка.

— Аферизма беззаконная! — заканчивает Рублев свою новеллу голосом тети Ани.

И они оба сдают вахту. Саныч — старпому, Рублев — молоденькому парнишке Ване. Англичане таких салаг определяют: «Еще не вытряхнул сено из волос». Большинство матросов приходили на моря из крестьян, прямо

от самой земли. Море требовало обстоятельности. Крестьянский труд способствовал этому качеству.

Арнольд Тимофеевич, приняв вахту у Дмитрия Александровича, берет бинокль и тоже смотрит на ледокол. Но блондинка не попадает в сферу его внимания.

— К этим бы мощностям да хорошие головы! — заявляет он. И в его тоне так и звучит подтекст, что, мол, в тридцать девятом году у них-то головы были на несравненно более высоком уровне, нежели у моряков современных атомоходов.

— Обойдите судовые помещения и понюхайте! — приказывает старпом Ване.

Это он придумал после пожара в машинном отделении.

Ваня послушно превращается в станцию пожарной сигнализации и отправляется по пароходу. Вернувшись, докладывает, что нигде ничем не пахнет.

— А под полубаком двери закрыты? — спрашивает старпом.

Ваня мнетя. Ему не пришло в голову идти на нос.

— Почему молчите? Отправляйтесь и проверьте!

— Есть!

Ваня кувыркается под дождем и снегом через палубный груз по скользким мосткам к полубаку проверять закрытие там дверей, а полубак не оранжерея, и ничего там от незапертых дверей произойти не может. Попробовал бы старпом приказать такое моему Копейкину! Тот облаял бы его натуральной немецкой овчаркой. И Арнольд Тимофеевич это отлично знает и учитывает.

РДО: «ИЗ ПЕВЕКА ВЕСЬМА СРОЧНО 3 ПУНКТА Т/Х КОМИЛЕС Т/Х ДЕРЖАВИНО Т/Х С ПЕРОВСКАЯ ВАС НЕ ПОСТУПАЕТ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЧК СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ ПО СВЯЗИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАВАТЬ ДПР 00 ЗПТ 12 МСК ПРОХОДЕ МЕРИДИАНА 115 ТЧК ПРОШУ ВСЕ ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ВОСТОЧНОМ РАЙОНЕ МОРЯ ТАКЖЕ СТОЯНКИ ПОРТАХ РЕГУЛЯРНО ПОДАВАТЬ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СВОДКИ АДРЕС ПЕВЕК ЗНМ ПОЛУНИН».

Опять ощущение застрявшего в зубах говяжьего сухожилия.

Так. Экспедиционное судно «Невель»... Полунин? Нет,

капитаном был Семенов и вечно пел: «Мать родная тебе не изменит, а изменит простор голубой...» Индийский океан, архипелаг Каргадос-Карахос, гибель спасательного судна «Аргус» Дальневосточного пароходства... «Радиоаварийная Владивосток. Последний раз слышали «SOS» шлюпочной радиостанции «Аргуса»... указал свои координаты... больше наши вызовы не отвечает. Т/х «Владимир Короленко» КМ Полунин»... Тот Полунин или, не тот?

Тот был назначен старшим спасательной операции. «Подошел месту аварии «Аргуса» широта 1635 южная долгота 5942 восточная. Восточной кромке рифов сильный прибой. Лагуне за рифами бот с экипажем. Передали светом светограмму. Снимать будем западного берега. Вероятно поняли. Бот парусом пошел западную кромку рифов. Связи ними не имеем подробности пока сообщить не могу. Следую западной кромке. КМ Полунин»...

Далее произошел такой диалог между нами и Полуниним:

— «Короленко», я — «Невель»! Какого цвета видите парус? Почему считаете бот принадлежащим «Аргусу»?

— «Невель», я — «Короленко»! Парус белый.

— «Короленко», я — «Невель», парус треугольный?

— Да!

— «Короленко», я — «Невель»! На спасательных вельботах паруса оранжевые. Вы, очевидно, наблюдаете парус местных рыбаков. Они здесь иногда шастают на пирогах. Как поняли?..

И Полунин вторично подошел к месту аварии «Аргуса». И мы хорошо представляли себе состояние капитана, который подводил свой здоровенный, в полном грузу теплоход к рифовому барьеру фактически без карты, чтобы точно разглядеть, что там за шлюпка мечется на волнах и кто в ней. И только когда разглядел, дал «полный назад» и вытер лоб... Мы спасли тогда людей с «Аргуса», и вахтенный штурманец «Невеля» со свойственной ему легкомысленной манерой объявил по трансляции: «Членам экипажа *бывшего* спасательного судна «Аргус» приготовиться к пересадке на теплоход «Короленко»!»

В книге «Среди мифов и рифов» я, описывая грустную историю «Аргуса», убрал из объявления легкомысленного штурманца слово *бывшего*. Оно, конечно, точное, но звучит не по-морски. Если есть экипаж, значит,

все еще существует и судно. Вот если судно погибло со всем экипажем, то тут уж действительно оно «бывшее».

Из письма старого дальневосточного моряка: «Предпринятое в дальнейшем обследование остатков «Аргуса» показало, что судно конструктивно разрушено, и снятие его с рифов признали нецелесообразным. Пострадал в основном капитан Быков, получил восемь лет, отсидел половину, выпустили; но обратно в пароходство не взяли; где он сейчас, не знаю. Старпома и второго тогда уволили из пароходства с лишением дипломов на год».

Не очень суеверный я человек, но есть все-таки мудрость или тайна в старинных морских традициях. Имею в виду запрет называть новые суда именами погибших.

Не успел «Аргус» окончательно развалиться на рифах Каргадоса, как уже его именем назвали новый мощный спасатель во Владивостоке. А не успел этот новый спасатель сделать первый рейс, как погиб теплоход «Тикси» — тот самый, который тащил когда-то на буксире бывший «Аргус».

История эта настолько трагическая и столько в ней совпадений и всяческих пересечений, что напиши такой рассказ, и все в один голос скажут, что автор навёрчивает трагизм сверх всякой художественной меры.

Когда «Тикси» буксировал «Аргус», капитаном был Бойко: «...связь «Короленко» поддерживаем. Он 09. 00 МСК должен быть месте аварии «Аргуса». При получении ясности немедленно информирую т/х «Тикси». КМ Бойко».

Когда «Тикси» погиб недалеко от Японии, командовал теплоходом уже другой капитан, но вторым помощником работал сын Бойко. Он погиб вместе со всем экипажем. А дальше уже трагическая нефантастика.

Из письма старого дальневосточного капитана: «Бойко-отец стоял под разгрузкой в Йокогаме и смотрел в каюте телевизор. Японцы передавали прямую передачу с вертолета, показывали рыболовные суда на лове, и в кадр попал «Тикси»! Показывали, как он опрокидывается! Можете себе представить переживания отца! А японский оператор моментально перевел объектив и запечатлел все, что можно, с воздуха, на расстоянии около мили. В этом году японцы, при проведении каких-то исследовательских работ с помощью подводного телевидения, обнаружили на глубине около трех тысяч метров корпус «Тикси», в японских газетах прозвучала сенсация, были опуб-

ликованы снимки, правда, пришлось поверить японцам на слово: на снимке я не смог опознать, было ли это «Тикси», или какое другое судно. Сейчас Бойко-старший, Иван Архипович, капитан-наставник нашего пароходства.

Всю вину за гибель «Тикси» свалили было на покойника — подменного капитана. Но теперь дело вернулось из Москвы на новое разбирательство».

Люди любят рассказывать про загадочное, про чертовщину или про чужое мужество и подвижничество, и про юмор во время смертельной опасности, ибо отблеск чужой нравственной красоты тогда ложится и на них.

...И три огня в тумане
Над черной полыньей...

Корабль, вернувшийся после спасательной операции в северных водах, всегда грязен, обросший льдом и производит впечатление смертельно уставшего, небритого шахтера, поставившего мировой рекорд продолжительности работы в вечной мерзлоте...

Главное для профессионального спасателя, как и для профессионального вояки, — некоторая врожденная беззаботность по отношению к будущему человечества и своему собственному. Его единственная забота — об очередном объекте спасения.

Нас догоняет «Великий Устюг».

Надоело повторяться, но видите, как связано все на свете.

«Великий Устюг» погиб 13 марта 1968 года в Атлантике, — потеря остойчивости. Весь экипаж спасся.

Через несколько недель над могилой «Великого Устюга» пришлось пройти нам на старике «Челюскинце». Неприятное ощущение.

Запомнилось для своего профессионального, что катастрофа т/х «Великий Устюг» показала, что, несмотря на благополучный исход спасательных операций, в результате которых в исключительно тяжелых и опасных условиях весь экипаж был спасен, в организации спасения имел место ряд упущений.

Судно вышло в океан из порта Кайбарьен, не имея в спасательных шлюпках требуемого снабжения, согласно нормам Регистра СССР.

В момент возникновения опасного крена судна 40—45 градусов на правый борт, то есть когда реально сложилась аварийная обстановка, не был подан сигнал тревоги, предусмотренный Уставом службы на судах Морского Флота СССР и Временным наставлением по борьбе за живучесть судов Морского Флота СССР. Команду капитана о сборе экипажа у шлюпок, погрузке в них продовольствия и воды и приготовлении их к спуску, переданную старшим помощником капитана по трансляционной сети, услышали не все члены экипажа.

Отсутствие в спасательных шлюпках требуемого запаса пресной воды и продовольствия привело к необходимости производить их погрузку в крайне тяжелых условиях. В спущенной на воду шлюпке правого борта не оказалось тента, который в момент аварии находился во внутренних судовых помещениях. При спуске шлюпки на воду не было выполнено требование о своевременной разноске и креплении на борту судна фалиней, в результате чего, после того как были оборваны носовые тали и выложены кормовые, шлюпку сразу отнесло от борта. В шлюпке не оказалось четвертого механика, который, согласно расписанию, обязан был осуществить своевременный запуск мотора. Плот, находившийся на ботдеке с правого борта, своевременно не был подготовлен и поэтому не мог быть использован в нужный момент. Плот, находившийся на правом крыле ходового мостика, был использован не на полную вместимость.

Я слушаю разговоры нового «Великого Устюга» с ледоколами и вспоминаю, как над могилой старого ночами не полыхают лучи маяков.

Все эти воспоминания, все эти размышления рождают во мне совершенно неожиданную мысль: «Надо бы нам сыграть шлюпочную тревогу! И хорошо бы сыграть ее на морозе, когда блоки шлюпочных талей прихватит льдом».

Главная подлость любой аварии в том, что она, ведьма, прилетает на метле или в ступе всегда неожиданно.

Если увеличить необходимость принятия решений в пять раз в данный отрезок времени, то количество человеческих ошибок возрастет в пятнадцать. Так говорит наука. Наконец наступает момент, когда на обдумывание решения просто-напросто нет физического времени — цепь умозаключений не строится, логика не успевает слагать силлогизмы; вместо подчинения себя логическим

выводам ты начинаешь действовать по свойственному тебе характеру-стереотипу, который в этот момент реагирует не на объективную реальность, а на свойственные тебе представления о реальности. В такой ситуации самое правильное — вообще не принимать решений. Умение не принимать решений по трем четвертям возникших вопросов — это и есть Опыт. Ибо решение не принимать решений есть самое тяжело-трудное решение из всех. Мы привыкли решать и поступать с первого вздоха. Когда мы потянулись к материнской груди — мы приняли свое первое решение в жизни. Когда мы попросили морфий у доктора на смертном одре — это мы приняли последнее решение. Не принимать решений в сверхсложной ситуации может только очень сильный человек, ибо отказ от принятия решений не записывается в судовой журнал и не служит никаким прикрытием для судебных последствий. Если человек, отказавшись от принятия решений по трем четвертям вопросов, не испытывает при этом удрученности, растерянности, депрессии, то есть сохраняет даже повышенную, какую-то радостную готовность к принятию любых решений (когда сочтет их нужными), — это и есть настоящий человек поступков. У такого человека не должно быть сильно развито воображение. Хорошее воображение подсовывает слишком много вариантов будущего. Обилие вариантов ведет к утере цельности.

Есть у англичан «Руководство по надувным спасательным плотам». Скорее, это не руководство, а коммерческая реклама.

На английских рекламных плакатах люди с погибшего судна, сидя на плоту, задорно и широко улыбаются.

Плоты выглядят уютно. Хочется самому залезть под брезентовый полог и отправиться в хорошей компании на рыбалку.

Фирма «Бофорт» составила инструкцию для терпящих бедствие на море. Она рекомендует, например, вычерпывать из плота воду, бояться акул и помнить о них; курить, но осторожно обходиться со спичками, есть рыбу только тогда, когда за день можно выпить полтора литра воды.

Фирма «Данлоп» составила свою инструкцию. В отличие от «Бофорта», она рекомендует ухаживать за находящимися на плоту ранеными или потерявшими сознание людьми, помнить, что газ и воздух от жары расши-

ряются; после высадки на пустынный берег использовать плот для жилья; не курить, так как курение увеличивает жажду, делает воздух спертым и вызывает у некоторых тошноту; помнить, что при всех условиях самым трудным для спасающихся является тяжелое моральное состояние; «для поддержания в них воли к жизни рекомендуются игры в карты (имеющиеся в снабжении плота) и разгадывание загадок».

Заключительная статья инструкции касается естественных отравлений: «Действие кишечника и мочеиспускание будут ненормальны. Не тревожьтесь! Это результат недостаточного количества принимаемой пищи и воды и ограниченности движений».

Таким образом, если естественные отравления застопорятся, не впадайте в панику, а продолжайте играть в карты или отгадывать загадки.

Вообще, фирмы «Бофорт» и «Данлоп» демонстрируют настоящий английский юмор. Правда, они это делают всерьез.

Кроме индивидуальных инструкций фирмы в соавторстве с фирмой «Эллиот» сочинили коллективное «Руководство для терпящих бедствие на море». Там тоже много полезного и много юмора.

Вопрос курения перестает быть спорным. Соавторы курить разрешают (очевидно, табачные фирмы свое дело сделали).

От морской болезни рекомендуются патентованные таблетки. Если они не помогают, нужно «лечь и крепко упереться головой в какую-нибудь часть плота». Последний способ мне кажется дешевым и удобным. Он вполне доступен даже пассажиру третьего класса.

В разделе «Наблюдение» сказано, что «для поиска чего-либо ночью, в темноте, необходимо пользоваться карманным фонариком». Очевидно, фирмы считают целесообразным использование гибнущими мощных дуговых прожекторов.

«Встретившись с местными жителями, необходимо обращаться с ними доброжелательно, но избегать близкого общения». О, Британия!

«Нельзя устраивать лагерь под кокосовыми пальмами, так как упавший орех может убить человека».

«Черепях ловят следующим образом: надо напасть на черепаху внезапно и быстро перевернуть ее на спину». Короче говоря, предупредить черепаху о том, что ты

собираешься напасть на нее, не следует. Тем более не следует предупреждать черепаху о том, что ты собираешься потом, «вытянув ее шею из панциря, перерезать горло или отрезать голову».

Начинается руководство фразой, которая дышит сдержанной силой и типично британским оптимизмом:

«Терпящие бедствия должны знать, что для спасения одной человеческой жизни на море не жалеют ни средств, ни времени».

Правда, последняя фраза инструкции несколько противоречит первой: «Помните, ваша изобретательность и находчивость — залог вашего спасения!»

А у американских подводников в жаргоне есть выражение: «Поправка на И». Употребляется выражение в пиковых ситуациях и расшифровывается как «Поправка на Иисуса».

Навертелась в этой главе такая масса ужасов и страхов, что сам вздрагиваю. Потому замечу, что сегодняшний торговый моряк рискует в сто раз меньше, нежели вы, когда едете в такси по Москве в февральский гололед и, опаздывая на самолет, торопите и понукаете шофера. А крупные аварии на море — с полной гибелью судна и экипажа — чрезвычайно редки. Именно потому они так и заметны. И еще потому заметны, что при взгляде со стороны есть в морских катастрофах нечто особенно романтическое.

Нигде в мире вы, например, не найдете специальных монастырей для вдов погибших в гололед таксистов. А монастыри для вдов погибших в море моряков — есть. Один расположен на берегу Босфора. Другой (я сам видел в бинокль, на проходе) — на маленьком острове в Ионическом архипелаге, на южном его мысе. Все суда, которые проходят между Критом и Грецией, проходят и мимо этого монастыря.

Морские вдовы живут на высокой горе, вокруг места пустынные и производят впечатление дикости. Видна тропинка в кустарнике, она сбегает к морю извилистой змейкой.

Говорят, в монастырь принимают тех вдов, у которых мужья не только погибли в море, но и трупы которых не обнаружены.

Море не оставило таким вдовам возможности прийти на могилку и поплакать. Как мрачно сказал один английский моряк: «Море не ставит побежденным кресты».

ТИКСИ

Булунский район расположен на крайнем севере Якутии, в низовьях Лены, на островах моря Лаптевых. Территория 235 тыс. кв. км. Население 25 тыс. (Территория ФРГ 245 тыс. кв. км. Население 50 миллионов).

Приказ Полунина следовать в Тикси и там ждать неделю или больше, пока изменится ледовая обстановка в проливе Санникова и в восточной части моря Лаптевых. Полунин тот самый. Сейчас он работает в Арктической службе («Холодной службе» — на жаргоне дальневосточников).

Опять амурная радиограмма Фоме Фомичу: «Спаслась с судна живу родственников Ленинграде возвращайся скорее жду твоя Эльвира». Радист начинает серьезно тревожиться. По всем законам он обязан вручать радиограммы адресатам, тем более капитану.

Третий день продолжаютя распри Арнольда Тимофеевича с Дмитрием Александровичем. Исчезло некое специальное руководство. Старпом валит это на моего напарника и, принимая у него вахту, не расписывается в приемке спецкарт. Саньч несколько раз сдавал ему их без расписки. Но это и нарушение положения, и достаточно опасная штука. Тем более для погоревшего недавно человека. И Саньч перестал сдавать карты вообще — прячет их где-то в тайниках лоцманской каюты, где хранятся у нас все навигационные пособия и где сам черт сломает две ноги, две руки и шею вдобавок, если попробует там копаться. В результате и я попал в дурацкое положение. Мне-то два часа плыть со старпомом, а карт нет. Дело кончилось тем, что за пособия стал расписываться я.

— Вы сырое мясо употребляете? — спросил меня после этого Андрияша Рублев голосом нашего «шефа», то есть повара.— Ну, фарш с солью и перцем?

— Нет.

— Татарские бифштексы за границей где кушали?

— Нет. Противно.

— И мне тоже. Даже тогда, когда их кто при мне чавкает. Существуют такие живоглоты. Еще сырым яйцом польют. И вот старпом у меня такое ощущение вызывает, как будто он при мне сырое мясо пожирает.

— Будьте любезны, держите себя в рамках. И оставьте свои соображения о старшем помощнике при себе! — цыкнул я на Рублева, поразившись одновременно тому, с какой точностью он сформулировал мое собственное отношение к Арнольду Тимофеевичу.

Двести восемь миль к Тикси шли в тумане и еще сразу забралась в ледовую ловушку. Поля толстых, грязных, как неухоженные свиньи, льдин. К счастью, они оказались и такими же рыхлыми, как перекормленные свиньи.

Вероятно, лед сильно опреснен водами Лены. Но от этого нам не намного легче. Особенно в тумане.

Генеральный курс — сто восемьдесят — юг. Чем ближе к дельте Лены, тем грязнее лед.

Механики считают по долгу службы количество изменений хода, даваемое им нами с мостика: «Особое внимание судоводители должны обращать на максимальное сокращение числа реверсов. За секунды пуска двигателя и реверсов его возникает такой же износ, как при нескольких часах работы полного хода».

Пока судоводители «Державино» держат пальму первенства по количеству реверсов на судах каравана.

Стояночная тишь и отдохновение.

Тусклый пейзаж — все время находит холодный и мокрый туман.

До зданий поселка и порта так далеко, что они почти и не видны.

Когда волна тумана проходит, из иллюминатора открывается вид на полярную землю. Ее берега устроены господом по принципу театральных кулис. Каждый ряд сопков, горушек, гор выступает над или из-за другого и имеет различные оттенки синего, сизого, голубоватого,

а прибрежная полоса возле рампы, то есть возле самого моря,— бурая, как гнилая картофельная ботва,

06. 08. 07. 08. На рейде Тикси.

Вдруг жара — плюс двадцать шесть градусов.

Марево по берегам.

Сплошные сквозняки на судне.

Самая опасная погода на севере. Просквозило.

С ходу начал борьбу за здоровье: наглотался аспирин и решил залечь после обеда в койку до вечера. Не тут-то было. Является Дмитрий Саныч, расфуфыренный и возбужденный, просит подменить его с полдня до шестнадцати. Довольно неуместная просьба, но у него здесь старый друг работает.

Подменяю.

Четыре часа читаю в рубке на жутком сквозняке то Белля «Город привычных лиц», то биографию композитора Прокофьева.

В пятнадцать возвращается Саныч. Привез щенка чукотской лайки. Выклянчил у местной девочки. Полуторамесячный, симпатяга, ясное дело, до невозможности. Назвали Шерифом. Составил на Шерифа выписку из судового журнала — первая бумага щенка для законного существования в этом бумажном мире.

Приезжает капитан-наставник. Звать Константин Владимирович, воевал на лидере «Ленинград», медали Нахимова и Ушакова, красивый, сильный, часто летает по долгу службы на ледовую разведку. Черт дернул меня попроситься с ним в очередной полет.

Он взглядом взвесил меня — имею в виду вес в килограммах — и сказал, что это вполне возможно.

— Как одеваться на разведку? — интересуюсь у капитана-наставника. — По-полярному?

— По-городскому, по-домашнему.

— Что брать с собой?

— Жевательную резинку возьми. Пилоты любят жевать за штурвалом. Есть резинка?

— Да.

— Вот и все.

Рассказывает, что при полетах на ледовую разведку — очень длительные полеты, двенадцать, а то и более часов — попадают в аварийные ситуации те пилоты, которые начинают торопиться на курсе к дому и проходят

над мысами на малых высотах, срезая углы. Потоки нисходящего воздуха на границе суши и моря, резкая потеря высоты — шлепок о тундру.

Будут мои пилоты послезавтра торопиться домой или нет?

«Державино» не спит. По судну бродит бессонница. Время «дернули» сразу на три часа, и у всех сдвинулись стрелки биологических часов.

На вахте Саныч и Шериф. Шериф спит на ватнике Саныча в ведре тети Ани.

Саныч докладывает, что ледокол «Челюскин» прошел вдоль нашего борта в десяти метрах. И капитан голосом просил вызвать меня. Когда услышал в ответ, что меня нет, попросил передать мне, что «Виктор Викторович самый хитрый и счастливый человек на свете». Он просил Саныча записать это в черновой вахтенный журнал, чтобы Саныч, не дай бог, не забыл передать мне его слова. Что он хотел этим сказать, этот незнакомый мне капитан местного ледокола «Семен Челюскин»? И ныне не знаю...

Все восьмое августа на якоре в Тикси. Ледовая обстановка на востоке, на местном жаргоне: «Глухо, как в танке».

Болею. Почему-то каждый резкий скачок в пространстве, вернее, начало нового прыжка всегда связано для меня с насморком. Завтра рано утром лететь в разведку, а я расхлюпался. Валяюсь с температурой, начиненный аспирином, вечером док-хирург неумело ставит горчичники через белую плотную бумагу. Встать в четыре пятнадцать утра, катер придет в пять, вылет на разведку в восемь.

Почему я лечу? 1) Потому что не хочу лететь. 2) Надо близко посмотреть море с птичьего полета. Видел только в юности, когда нас мотали над акваторией морских баз Северного флота, дабы мы могли ощутить их «в целокупности», по выражению Гегеля. И еще, чтобы мы прочувствовали, как хорошо видны подлодки с самолета, когда идут даже на приличной глубине, и как беззащитно выглядят с ястребиного полета кораблики на глади океана — ни тебе складок местности, ни окопов, ни блиндажей. Летали тогда мы на «Каталинах». 3) Надо наконец «привязать» значки и символы на картах аэроразведки к натуральным льдам и запомнить эти

штуки уже навсегда. 4) Посмотреть на работу летчиков. Они меня интересуют и вызывают почтение, хотя Галлай, например, всегда убеждает меня в том, что глупее моряков только летчики, а я его убеждаю в том, что глупее летчиков только моряки.

Во времена ранней, молоденькой авиации самолет давал возможность пилоту соединять бога с геометрией, романтизм с рационализмом. Такое получалось и у моряков парусного флота. Пример первого — Экзюпери. Второго — Конрад.

На судне траур. Сдох Васька — кот тети Ани. Глупо, но это на всех действует как-то гнетуще.

В корпусе современных судов бродит слишком много всяких электрических токов и магнитоэлектрических полей. И кошки приживаются редко.

Тетю Аню предупреждали о возможных горестных последствиях. Но она из людей такого типа порядочности (я определяю их словом «порядочники»), которые характерны удивительным умением смертельно вредить любому доброму делу, оставаясь глубоко порядочными и, естественно, глубоко себя за это уважая.

По морскому закону на тетю Аню обрушились в жестокой последовательности три драмы или даже трагедии подряд.

Во-первых, она не перевела свой будильник, а матрос не перевел часы в кают-компании. В результате она встала в три ночи по судовому времени вместо шести, пошла в буфетную и накрыла завтрак. Его слопали ночные вахтенные, которые завтракают в четыре с минутами утра.

Во-вторых, она воспользовалась общесудовой приборкой, которую затеял Арнольд Тимофеевич, и залезла в душевую механиков, где от души решила помыться. Старпом обнаружил запертую душевую и решил, что кто-то из мотористов уклоняется от аврала. На стук тетя Аня не отвечала, решив, исходя из своего корневого психоза, что к ней хочет проникнуть насильник. Арнольд Тимофеевич вызвал боцмана. Тот заявил, что против лома нет приема, кроме лома. И с его помощью Спиро ворвался в душевую, где его встретил не вопль и не крик, а струя горячей воды из шланга.

«С женщинами не соскучишься, значить,— пригова-

ривал Фома Фомич, когда тетя Аня явилась к нему с жалобами на насильников.— Вот тебе, Анна Саввишна, значить, и гутен-морген!»

И, в-третьих, на тетю Аню обрушилась смерть Васьки.

Давно я не слышал такого безутешного плача. Довольно пронзительно действует женский голос, плачущий по умершему существу, на фоне металлической тишины ночного судна. Во всяком случае, мне вспомнилась мелодия трубы в финале «Дороги» и Джульетта Мазина.

И еще почему-то подумалось, что Соня, которая оставила на судне такой неизгладимый след, прикрывала своим дерзко-шутовским поведением какую-то драму и горечь.

Проснулся около четырех в холодном поту. Да, женский плач на судне — не колыбельная песня. Потому, вероятно, и приснилась чепуха.

Старый товарищ, одноклассник по училищу Володя Кузнецов, с которым давно не встречался и в рейсе его не вспоминал, якобы командует крейсером (он командовал сторожевиком). Крейсер Вольдемара (такая у Володи Кузнецова была кличка в училище) стоит на суше на прямом киле без кильблоков. Из такого положения он съезжает в воду, а когда надо, въезжает обратно. Крокодил, а не корабль.

Я стою вместе с Вольдемаром на берегу. Крейсер выдвигается из воды на нас. Хорошо вижу огромный, все более нависающий над нами форштевень и носовую часть днища. Понимаю, что корабль двигается с креном. Говорю Вольдемару, что при крене изменяются осадка и константы остойчивости и как бы чего не вышло. Он отвечает, что ерунда и все будет тип-топ, то есть в ажуре и порядке. Но махина крейсера начинает крениться и рушится на борт. К счастью, в противоположную от нас сторону...

Проснулся и с омерзением подумал, что через пятнадцать минут вставать и лететь на ледовую разведку. Грудь болит, нос — плотина Днепрогэса, настроение хуже некуда, кости ломит, как на дыбе. Оставалась одна надежда — с вечера была нулевая видимость. Может, полет отложат? Нужно мне это приключение, как черепахе коробка скоростей. Еще шею свернешь с летунами.

На всякий случай решаю запрятать кое-какие записки и заметки подальше.

Лежу и отсчитываю минуты.

Точно в четыре пятнадцать в дверях голова вахтенного:

— Виктор Викторович, просили разбудить!

— Какая видимость? — спрашиваю с тающей надеждой.

— Растащило все. Нормальная.

— Хорошо. Спасибо.

Встаю, тянусь к сапогам, но вспоминаю слова Константина Владимировича: «По-городскому». Неудобно лезть в самолет в сапогах, если летуны будут в ботинках. Условности сильнее нас. И надеваю ботинки. Они тропические, легкие, с дырочками для вентиляции: только в помещениях судна ходить. Снимаю ботинки, натягиваю три пары носков, впихиваю ноги обратно в ботинки. В карман шерстяных новеньких брюк — санорин, анальгин, от кашля что-то, пачку жевательной резинки, блокнот.

Съедаю вафлю, закуриваю, кашляю, жду катера. Он еще не вышел. Бреюсь перед каютным зеркалом. Болезнь не украшает человека. Выгляжу, как Ван-Гог, который уже решил, что одно ухо ему мешает.

Тошнотворные мысли, что ничего серьезного не совершено, что художественного ничего не получится. Хочется треснуть по зеркалу электробритвой. Я катастрофически не похож на того, которым представляюсь себе сам. Это несоответствие раздражало всегда. С возрастом больше и больше. Женское увядание и мужское старение — жуткая тема. Ее не напишет и гениально талантливый молодой писатель. Надо самому причаститься.

Но очень приятно быть в новых, хорошо сшитых брюках. Даже в болезненном состоянии они чем-то помогают.

Пять утра. Катера нет. Думаю уже самые банальные думы: ну зачем ты куришь, если грудь разрывает, потерпеть не можешь? А ведь все это сокращает, сокращает тебе время сеанса... А на кой ляд ты вообще лежишь? Ведь тебе вечером радист принесет и на стол положит факсимильную карту этой дурацкой разведки, и будет она лежать перед тобой, как скатерть-самобранка...

На катере болтливый шкипер. И к тому же ура-патриот. Просвещает меня: «Наша суровая северная природа по-своему щедра и богата животным миром... Наш район славится пушниной, первосортными породами рыб, многочисленными табунами диких оленей...»

Болтает подобное все тридцать минут до берега — скучно ему в ночном дежурстве.

Вокруг серая промозглость. Знобит.

Тыкаемся в гнилое дерево притопленной баржи-причала.

Недавно прошел дождь. Клейкая, безжизненная грязь на суше.

Полная ночная пустыньность.

В здании управления порта вахтерша-якутка. Пугается меня. Спрашиваю, где собираются на ледовую разведку. Таращит глаза, пятится к дверям ближайшей комнаты, захлопывается, кричит через дверь: «Не знай!»

— Как пройти к гидробазе?!

— Не знай!

— Можете позвонить в метеоуправление?

— Не знай!

Шлепаю по грязи к центру поелка тропическими ботинками, чувствую, как сквозь хлипкие подошвы и вентиляционные дырочки процеживается подкрепление к моим атакующим микробам. Сапоги надо было надеть, черт бы этого наставника побрал!

С этого и начинаю нашу встречу, когда нахожу Константина Владимировича в предбаннике гостиницы под названием «Маяк».

— Чего ж ты, такой-сякой: «по-городскому»!

— Ничего! Я коньячку прихватил бутылочку.

— Нужна мне ваша бутылочка...

Сидим с ним в предбаннике, простите, холле отеля «Маяк».

Дежурная администраторша, пышная хохлушка, поштучно ловит тараканов в своей будке.

Полумрак, дощатые мокрые после утренней приборки полы, тяжелый запах, помятый титан, который, ясное дело, не работает.

Курим. Ждем летчиков — экипаж живет в гостинице. Здесь же живут научные сотрудники одного из институтов Сибирского отделения АН СССР — космофизики, что ли.

— Пора бы этим космофизикам отправить всех та-

раканов на Юпитер,— говорю я Константину Владимировичу, когда он со сдержанной гордостью сообщает мне о близком присутствии ученых.

Он говорит, что лучше бы они сообразили, как из этого разрушенного титана сделать самогонный аппарат и как его установить на борту самолета ледовой разведки. Тогда пилоты стали бы летать в любую погоду и садиться хоть на сами облака и в любую видимость. Дежурная администраторша внимательно слушает и подтверждает, что из титана аппарат запросто можно сделать. Она так вкусно говорит, что в тиксинской гостинице начинает попахивать украинским летом, то есть борщом.

— С-пид Полтавы? — спрашиваю.

— Не, с-пид Киеву.

Зарабатывает жирную пенсию в Арктике.

Спускаются дружной кучкой летуны — два пилота, радист, штурман. Наставник представляет меня им как «морского журналиста». Так мы условились.

У подъезда автобус. В нем уже сидят гидрологи и начальник научной группы.

Автобус изнутри покрашен ярко-алой краской. За спиной шофера здоровенная фотография — чайный клипер в штормовую погоду под всеми парусами.

Медленно едем по колдобинам, полным жидкой, поносной северной грязи.

Вообще на Севере нет грязи. Ее творит здесь человек. Всякое человеческое жилье на Севере окружено сгустком грязи. Отойди сто метров в тундру — все в скупой спартанской гармонии и мокрой, но стерильной чистоте.

Проезжаем бетонный якорь, укрепленный вертикально. Над ним: «Тикси». Парадные ворота поселка со стороны аэродрома, который обслуживает трансконтинентальную союзную авиатрассу.

Фоном для якорно-архитектурного излишества служит кладбище.

Кособокие по причине раскисшей почвы надгробия на кособоком холме. Интересно, какие ассоциации вызывает этот якорно-кладбищенский натюрморт у приезжающего сюда впервые человека?

То ли архитекторы демонстрировали черный полярный юмор, то ли суровое полярное бесстрашие, то ли вечное наше хамство.

Семь утра. Останавливаемся у медпункта. Летчики вылезают, идут через дорогу по лужам, по-бабьи подняв подолы плащей и прыгая по камушкам и обломкам досок. За час до полета летуны в обязательном порядке проходят медконтроль.

Ждем их.

Шофер рассказывает о недавнем отпуске. Ехал с пьяным дружком на мотоцикле за добавкой. Их сшибла упряжка двух взбесившихся лошадей. Дружка увезли в больницу с тяжелыми ранениями. Рассказчика повели на экспертизу в вытрезвитель, но он со страху оказался трезвым.

Капитан-наставник:

— А лошадей на экспертизу возили?

После этого замечания я прощаю ему ботинки. И вспоминаю, что в войну он служил на лидере «Ленинград» и награжден медалью Нахимова. Если я когда завидовал награжденным, то матросам, получившим эту медаль. Она удивительно проста, благородна, красива — голубое с серебром — и очень редка.

До семи сорока сидим в здании пассажирского аэровокзала, чего-то ждем. Строгая якутка-уборщица перегоняет из угла в угол и наших пилотов, одетых в форму (при галстуках и запонках), и отлетающих в Москву пассажиров. Раскосенькие девушки тридцати двух национальностей уже в ярких расклешенных брюках, обтягивающих их симпатичные попки, готовы не ударить лицом в грязь на улице Горького и в Сочи — все по моде. А провожающие мамы и папы в звериных не первой свежести одеждах заметно робеют перед авиационным лицом НТР и якуткой-уборщицей. Уборщица, наконец, загоняет нас в угол, то есть в буфет, где очень грязно и ничего съедобного за современными стеклами нет. Выпиваем по стакану брандахлыста — какавы.

Я вдруг взрываюсь и говорю о вечной неприютности наших северных поселений, о мерзости, в которой здесь существуют прикомандированные люди, утешая совесть тем, что пребывание их здесь — временно. Монолог звучит не очень уместно, так как выясняется, что Константин Владимирович здесь не в командировке, а живет двадцать один год, хотя в Ленинграде у него, ясное дело, кооперативная комфортабельная квартира.

Начальник научной группы с жаром и азартом поддерживает меня в обличениях местных порядков и хва-

лит за откровенность. Говорит, что первый раз слышит, как проезжий человек вместо дурацких слов про полярную героинку несет правду про здешнее неприятство и скотство.

Гидрологи нас не слушают. Они гадают о том, выкинут завтра в магазине маринованные помидоры в банках или все это враки.

Наконец идем к самолету. Обычный ветер и холод взлетной полосы.

Позади гигантский фанерный щит на фронто́не барака-аэровокзала: силуэт современного самолета на фоне конного богатыря с картины Васнецова.

ИЛ-14 с красными оконечностями крыльев и красным зигзагом на фюзеляже. Встречает бортмеханик. Докладывает командиру:

— Шеф, все в порядке! Можно ехать!

Командир:

— Я не Гагарин. Будем летать, а не ездить. Левый чихать не будет?

Бортмеханик:

— Точно, командир, нам еще далеко до космоса! Левый чихать не будет! Но, граждане, сами знаете: эрэл-транспорта келуур таба...—И залиvisto хохочет. Наставник переводит тарабарщину бортмеханика: «Единственный надежный транспорт здесь — оленья упряжка».

Лезем по жидкому трапику в простывший, хронически простуженный самолет полярной авиации. Измятый металл бортов, кресел, столов. В хвостовой части три огромных выкрашенных желтой краской бензобака. Они отделены от рабочей части занавеской. На ней табличка: «В хвосте не курить!» На одном баке два спальных мешка — тут можно спать тому, кто слишком устанет в полете. Штурман затачивает цветные карандаши в пустую консервную банку из-под лососины.

Вспыхивает спор науки с практикой. Наука хочет лететь на север и начинать оттуда. Капитан-наставник хочет лететь к западу, туда, где застряли во льду кораблики, и помочь им выбраться на свободу.

В простывшем самолете накаляются страсти и идет нешуточная борьба воле.

Бортмеханик мелькает взад-вперед по самолету, ком-

ментирует спор тоном Николая Озерова: «Хапсагай тустуу!» — и опять хохочет так, как никогда не разрешают себе наши комментаторы, даже если они ведут репортаж о соревновании клоунов в цирке.

«Хапсагай!» — национальная северная борьба, в которой, кажется, разрешается все, кроме отрывания друг другу голов.

Штурман заточил карандаши, вздыхает и говорит:

— О, эта наука! О, эти кальсонные интеллигентки, которые видели за жизнь только одно страшное явление природы — троллейбус, у которого соскочила с проволоки дуга! Когда мы наконец поедим?

Никто ему не отвечает. Командир подсаживается ко мне, интересуется:

— Так чего летим?

— Надоело плавать.

— Законно. Пора тебе проветрить мозги. Вон какой зеленый. Варитесь там на пароходах в своем соку.

— Долго будем проветривать мои мозги?

— Часиков тринадцать.

— Как раз до Антарктиды долететь можно.

— Нет. Только до Австралии — дальше не потянем. — И уже спорщикам: — Значит, победила практика? Владимирыч, пойдим по нулям?

В их разговоре многое непонятно — свой жаргон.

Спрашиваю: что значит «пойдем по нулям»? А значит вовсе просто — взлет в ноль часов ноль минут по Москве.

Рассаживаются кто куда. Моторы уже гудят, чуть теплеет, самолет трясет. Желтые кончики пропеллеров сливаются в желтый круг.

Даю бортмеханику американскую жевательную резинку, ору:

— Сунь в пасть пилотам!

Он:

— Они у меня шепелявые! Их на земле и на судах и так никто понять не может, когда они в микрофоны лаяться будут! А со жвачкой в пасти! Тут и я их не пойму!

— Давай, давай!

Идет к летунам и сует им жвачку.

Взлет. Никто не смотрит в иллюминатор. Начальник науки читает «Вокруг света», наставник — почему-то журнал «Здоровье». Вспоминаю слова Грэма Грина:

«Странные книги читает человек в море...» В воздухе тоже читают странные книги. Смотрю вниз и не могу понять, каким курсом мы взлетели и куда исчезли наши кораблики в бухте — их не видно. Совсем другие законы ориентации по сторонам горизонта в воздухе. Проходим береговую полосу. Полет мягкий, в самолете еще больше теплеет, бортмеханик накрывает на стол завтрак — банки с мясным паштетом, с гусиным, с молоком, огромная буханка свежего серого хлеба. По-домашнему все, по-доброму. Но я-то чувствую себя чужим и лишним. Никакой я не журналист и не соглядатай — еще раз остро убеждаюсь в этом. Надо начинать расспрашивать людей, хоть их фамилии записать.

Начинаю (и кончаю) с науки. Подсаживаю к себе начальника оперативной группы. Тридцать девятого года рождения, в шестьдесят втором окончил ЛВИМУ, океанограф, до семидесятого восемь лет жил и работал в Тикси, теперь в Ленинграде в Институте Арктики и Антарктики готовит диссертацию: «Ледовые условия плавания на мелководных прибрежных трассах от Хатанги до Колымы», под его началом двадцать шесть человек, среди них два кандидата...

Здесь я допускаю ляп. Гляжу вниз и говорю, что море под нами совсем штилевое. Оказывается, под нами никакого моря нет. Идем над тундрой. То, что я умудрился спутать тундру с морем, вызывает у научного начальника выпучивание глаз и даже какое-то общее ошаление, но почтительное: как у всех нормальных людей, которые разговаривают с сумасшедшим.

А эта дурацкая тундра смахивает при определенном освещении на застывшее при легком волнении море с полупрозрачным льдом.

Крутой вираж, стремительный крен, ложимся на первый трудовой, разведывательный курс — на устье реки Оленек.

На двадцать третьей минуте проходим основное русло Лены, идем метрах на двухстах пятидесяти. Видны створные знаки и два речных сухогрузика — бегут, вероятно, на Яну или Индигирку. Огромный одинокий остров-скала, этаким разинский утес посреди речной глади — Столб, а недалеко от Столба полярная станция, видны ее два домика.

Отчуждение и одиночество утеса.

Мелкость домиков.

Желтый прозрачный круг от пропеллера.

Пьем кофе, еда мне в глотку не лезет. Температура, вероятно, уже большая, тянет лечь, невыносимо тянет, но неудобно.

Проходим песчаную косу, очень аппетитную сверху, пляжную, кокосовых пальм не хватает.

На тридцать третьей минуте пилоты зовут в кабину, хотят показать мне могилу де Лонга.

Пролетаем над ней метрах в пятидесяти.

На левом высоком берегу Лены или какой-то ее широкой протоки, на скале Кюсгельхая — шест-палка, воткнутая в небольшую грудку камней.

Как всегда на Севере, огромность одиночества одинокой могилы среди безжизненности волнистой тундры.

Пилоты говорят, что американцы просили разрешения вывезти прах, а наши не согласились...

Это неверно. Останки де Лонга и его товарищей еще в 1883 году были вывезены в США.

Я вспоминаю проигранный Спиро Хетовичу спор о месте гибели де Лонга. Как безобразно мы позволяем себе относиться к памяти героев и мучеников.

Де Лонг отправился на поиски Норденшельда, от которого давно не было известий. «Жаннетта» вышла из Фриско 8 июля 1879 года. Судно выдержало две зимовки в полярном бассейне, за время дрейфа были открыты острова Жаннетта и Генриетта. 11 июня 1881 года судно погибло. На пешем пути к матерiku по дрейфующим льдам открыли еще островок Беннетты. С Беннетты пошли на ботах. Шторм разметал боты. Судовой инженер Мелвилл, близкий друг де Лонга, оказался на самом удачливом боте — китобойном в прошлом. Он и его группа спаслись с помощью якутов, старосту якутов звали Николай Чагра. Мелвилл ринулся на поиски друга. Ему помогал в организации поисков русский ссыльный Ефим Копылов. Был ноябрь, метели. Ничего не нашли, вернулись в Булун. Русские власти открыли американцам неограниченный кредит для снаряжения новой поисковой группы.

В марте 1882 года Мелвилл обнаружил остатки костра и понял, что последняя стоянка де Лонга где-то близко. Затем он увидел чайник и, наклонившись, чтобы поднять его, нашел наконец своего друга. Из снежного наста торчала рука человека. «Я сразу узнал де Лонга

по его верхней одежде. Он лежал на правом боку, положив правую руку под щеку, головой на север, а лицом на запад. Ноги его были слегка вытянуты, как будто он спал. Поднятая левая рука его была согнута в локте, а кисть, поднятая горизонтально, была обнажена. Примерно в четырех футах позади него я нашел его маленькую записную книжку, по-видимому, брошенную левой рукой, которая, казалось, еще не прервала этого действия и так и замерзла поднятой кверху».

Вот что прочитал Мелвилл в записной книжке де Лонга:

«22 октября. Сто тридцать второй день (со дня гибели «Жаннетты»). Мы слишком слабы и не можем снести тела Ли и Каака на лед. Я с доктором и Коллинсом отнесли трупы за угол, так что их не видно.

23 октября. Сто тридцать третий день. Все очень слабо. Спали или лежали целый день. До наступления сумерек собрали немного дров. У нас нет обуви. Ноги болят...

30 октября. Сто сороковой день. Ночью скончались Бойд и Гертц. Умирает Коллинс».

На этой записи дневник де Лонга обрывается. 30 октября, в сто сороковой день со дня гибели «Жаннетты», в живых остались только де Лонг и доктор Амблер, и, по-видимому, ночь на 1 ноября была последней в их жизни...

Я глядел на медленно проплывавшую внизу скалу Кюсгельхая с остатками креста на могиле де Лонга. И хотя могила была пуста, но душу щемило сильно.

И вдруг раздался вопль нашего весельчака бортмеханика:

— Тиэтэйэллэр!!

И мы вонзаемся в солнце. Над нами просвет в облаках, и солнце полыхает со всей своей водородно-синтетической мощью.

Сороковая минута полета.

— Тиэтэйэллэр — это, по-ихнему, солнце! — орет мне в ухо бортмеханик.

Внизу чересполосица синих гор, синих теней от облаков на них, фиолетовые заливы, прибрежные полосы, блеклые, как сгнивший силос. Затем солнце начинает мешаться с туманом и просвечивать его болезненным странным светом и наконец вовсе скрывается. Идем в молоке, в белом жире. Иногда — окна, края окон заворачивают-

ся, как жир на ране кашалота, и в просвете — густосинее море. Перекрученные названия на карте. Например, остров Арга-Муора-Сисе. Через час двадцать появляются первые льдины — белые дредноуты и кильватерный след за ними, — плывут под ветром.

Бортмеханик рассказывает про мускусных быков. Участвовал в их переброске с Аляски на остров Врангеля. Явное лингвистическое дарование у механика. Он называет их по латыни и объясняет, что это плохие название, так как обозначает «овцебык мускусный», а никакого мускуса в быках нет. Эскимосы зовут его «умингмак» — «бородатый» — вот это точное название. Звери очень симпатичные, добрые. Имеют одну странность: всегда живут в стаде, но иногда уходят куда-нибудь, упрутся рогами в скалу и так стоят, думают, отдыхают от общества. На Врангеле один так ушел, все зоологи испугались, искали вертолетом и вертолетом же пригнали обратно в общество...

13.30 — внизу уже ледяные поля, на карте длиннится дорожка, закрашенная в голубой и зеленый цвета со значками, обозначающими характер льда. Солнце слепит с ледяных полей, и невыносимо хочется спать. Стыд при-тупляется, смущение прячу в карман, говорю ребятам, что болен, иду в корму и залезаю на бензобак. От него, даже сквозь два спальных мешка, тянет холодом, как вечной мерзлотой, но я сразу проваливаюсь в воспаленный сон — какое счастье!

В одиннадцать окончательно отворил глаза. Надо же — уже трижды из Ленинграда в Москву налетали. Солнце бьет в плоскость и слепит. Долго смотрю на ряды заклепок — на современных судах давно отвыкли от них; когда видишь аккуратные самолетные заклепки, почему-то вздыхаешь. Желтый прозрачный круг от пропеллеров и черный номер в солнечном блеске на крыле: 04199. Идем над каким-то островом. Островная тундра похожа на инфузорию под микроскопом.

Слезаю с бензобака, наполненный приятным ощущением взбрыкивающей бодрости и абсолютного сверхздоровья — такое часто случается в первые мгновения после сна при простуде.

Недавно узнал, что у заболевших деревьев тоже повышается температура организма. Удивительная штука!

А у меня при болезни голова работает прямо на износ, если, конечно, нет болей, но температура высокая. Окажется, при температуре расширяются капилляры мозга. И вот начинают мелькать в воображении сверхъестественные рассказы и гигантские замыслы.

На борту № 04199 при общем отвратительном состоянии возникает наметка рассказа: опытейший профессионал, мужественный и добросовестный человек получает приказ на опасное и сложное дело. Духовно готовится к делу, проигрывает все внутри, задавливает неприятные опасения, — наконец полностью готов, собран, настроен. И в процессе выполнения задания попадает в обычную, ненапряженную, облегченную даже ситуацию. И не справляется с ней, с чепуховой повседневностью. Гибнет. Я наблюдал такое у сильных людей...

Командир читает в салоне. Машину ведет второй пилот. В пилотском кресле командира утвердился Константин Владимирович. Голубая и зеленая полосы на карте обстановки уже пересекли все море Лаптевых. Бортмеханик уже закончил варку щей. Сетует на отсутствие картошки и просит не взыскать. При виде пищи сразу понимаю, что оживление во мне чисто наркотное, обманное. К тому же и есть с незнакомыми людьми мне всегда тяжело — блокадное — не могу себе налить, намазать по-человечески. Курю, рву грудь сигаретами. Внизу мыс Пакса — язык ящера. В 12.15 спрашиваю штурмана:

— Когда Косистый? Он слева будет?

— А может, и справа, — говорит штурман.

На воздушных это мелочь и даже, может быть, буквредство — справа там или слева будет мыс Косистый.

Радист зовет «Лачугу» — славный у кого-то позывной.

Подходим к Хатанге. Льда мало. Внизу «Павел Пономарев», с которым мы выходили с Диксона, и борт к борту с ним «Капитан Воронин». По внешнему виду этих корабликов всем на борту 04199 становится ясно, что их капитаны чувствуют себя в данный момент очень уютно, спокойно и тянут рюмку друг у друга в гостях. Такое благолепие наставник считает порочным. Составляется РДО о том, что ледоколу «Капитан Воронин» в западной половине моря Лаптевых делать совершенно нечего, и в штаб передается рекомендация об отправке его на восток.

Командир съедает таз щей.

Радиус таза сантиметров двадцать. В центре — айсберг вареного мяса на полкило.

Бортмеханик смотрит на командира влюбленно.

Во-первых, как мне кажется, все бортмеханики влюблены в своих командиров, во-вторых, какой повар не радуется, когда его щи едят тазами?

Я опять невыносимо хочу задремать. Но лезть на бензобак совсем невозможно — слишком стыдно лежать, когда все работают, во всяком случае не спят. И я мгновениями вырубаюсь, сидя в кресле, и благодарю бога за свое умение спать в любом положении. Самолетный гул бродит в теле и будит эхо в пустом желудке.

Очухиваюсь в 17.30. Мы летаем уже девять часов тридцать минут — из Москвы в Нагасаки короче и быстрее.

Внизу довольно сплоченные ледовые перемычки. Водной тащится буксир с лихтером на веревке. Иду к пилотам. В правом кресле наставник с мегафоном — выводит буксирчик на чистую воду. Трижды проходим над игрушечными корабликами на высоте метров в восемьдесят — своим курсом показываем буксирчику разводье. Тот то ропливо поворачивает.

Командир напряжен за штурвалом, чуть трогает странные какие-то рычаги в центре приборной доски, эти длинные рычаги обмотаны изоляционной лентой и выглядят чужеродными. Тыкаю пальцем:

— Вас ист дас?

— Ленивчики.

— Вас ист дас «ленивчики»?

— Чтобы не тянуться!

Наконец понимаю: на верньеры, управляющие чем-то, насажены штыри, чтобы не тянуть руку далеко, чтобы подкручивать их, не меняя позы, — рационализация, самодетельность любящего бортмеханика...

Убеждаемся в том, что буксир с лихтером твердо осознали курс, ведущий к истине, и ложимся на Тикси.

Меня все-таки заставляют похлевать щи. Мне тошно от сознания, что я весь полет был лишним и клевал носом. Мне тошно, что я так и не записал фамилии, имена, отчества всех ребят.

18.00. Садимся, командир рулит к бензобазе на заправку. Дорулили, выключены моторы. В тишине — фонтан ругани в три глотки: командира, второго пилота и

бортмеханика. На заправке стоит вертолет. Теперь этой троице — пилотам и механику — полтора часа ждать очереди. А самолет ледовой разведки должен быть заправлен под завязку сразу после приземления. Таков закон. И закон требует присутствия экипажа при заправке горючим. Везде свои законы.

Уже без прежней веселости бормочет бортмеханик, констатируя ситуацию: «Табаны маннык туталлар!» Что означает: «Так ловят оленей!»

— Спасибо, ребята! Счастливых полетов! До встречи!

— Счастливого плавания! До встречи!

Наука и я покидаем фонтанирующих летунов.

Ждет автобус с чайным клипером. Шофер сообщает мне, что на караване полундра из-за моего отсутствия, ибо пришел приказ на срочный выход каравана к ледовой кромке.

Шофер гонит без моих просьб или понуканий. Только брызги летят.

Гостеприимный якорь на въезде в поселок — старинный символ Надежды — на фоне кладбища. Славные и мужественные люди лежат там, став навечно на мертвые якоря. И невозможно пожелать им традиционного: «Пусть земля вам будет пухом». Это прозвучит кощунственно — нет здесь земли, а то, что есть, нельзя представить пухом даже при наличии сумасшедшего воображения.

ТИКСИ — ПЕВЕК

В караване шесть судов. Все заняли места в порядке четко. Лидирует «Комилес». Очень нравится капитан Кобышев. Он не командует, а ведет себя по типу барометра — бесшумно показывает самим собой, то есть своим судном, что, когда, как делать.

Ушастик торчал на мостике и вежливо, тактично отравлял существование старпому. Облако яда окружало Ушастика. Прямо анчар. И он разряжал свою ядовитость в Спиро.

Начал стармех с того, что тетя Аня после скоропостижной смерти Васьки нетрудоспособна и за ужином опрокинула на Ивана Андрияновича тарелку с макаронами. Тогда же за ужином выяснилось, что в момент прорыва старпома и боцмана в душевую для насилия над тетей Аней последняя прикрывала интим резиновым ковриком. И Арнольд Тимофеевич при разборе проис-

шествия уже «на ковре» у капитана заявил буфетчице (буквально): «Резиновые коврики в душевых кабинах располагаются на предмет защиты от удара электроток, потому использовать их в других целях запрещается». Высказывание это повторяют на судне, как закливание.

И вот, когда мы вытягивались с тиксинского рейда, Ушастик начал доводить старпома:

— Тимофеич, я тебе прямо скажу. Главный нюанс ты из виду упускаешь. Конечно, Анна Саввишна за кота переживает. И мы переживаем. Вот Рублев даже гробик соорудил. И ты молодец, что Рублеву доску не пожалел. Только, правда, расписку надо было за доску взять, но это я так, к слову...

Из радиотелефона голос Конышева:

— Впереди редкие перемычки льда, сплошной туман. Войдем в него через часик. Прошу немного сократить дистанции.

— Я — «Державино»! Вас понял. Спасибо!

Все суда каравана в порядке очередности повторяют то же.

Ушастик (задушевым шепотом):

— Нынешняя буфетчица, Тимофеич, в трагической ситуации, если начальник не умеет ее физически успокоить...

Спиро, который никакого юмора не сечет, и даже Леонов вместе с солнечным Поповым и грустным Никулиным из него улыбки не выжмут:

— Что лучше вот нынче, чем в тридцать девятом, так это связь радиотелефоном. Попробуй в мегафон покричи на морозе — губы к медяшке примерзали, с кровью отдирали от раструба...

Ушастик с последовательностью и цепкостью старого удава:

— От души советую, Тимофеич. Если хочешь, чтобы на пароходе все в меридиан вошло, соберись с силами. Поднапрягись, чернослива поешь, женьшень в Певеке купи, для нервов чего глотни — и валяй! А то сожрет нас Саввишна, хуже Соньки доведет, щами окатит. Видит бог — уест! Я ж по старой дружбе...

Я все ждал, когда Арнольд Тимофеевич взорвется, но он вел себя как-то странно, даже с некоторым смущением. Задрал башку к небесам, к клотикам мачты и соображал что-то, открыв рот.

Вообще-то, все люди, задирающие башку круто вверх, открывают при этом рот. Так, вероятно, нас устроил бог. Но когда задирает башку к верхушке мачт Спиро, то его пасть отворяется прямо-таки до невероятных растворений — напоминает двери во Дворце бракосочетаний.

Наконец Арнольд Тимофеевич опустил взгляд долу, затворил пасть и укоризненно прошепелявил:

— У меня сыновья чуть не ее возраста, а ты такие пошлые советы подсказываешь.

Я (хотя мне очень интересно, куда и зачем клонит дед, но порядок есть порядок):

— Прошу в рубке потише. Лишние разговорчики! Рублев, ты чего уши развесил? Вперед смотри!

Здесь Ушастика срочно вызвали вниз.

Еще через минуту дед из машины позвонил мне и доложил, что у них там тепловые перегрузки, возникающие по причине мелководья, и, чтобы не выйти за пределы ограничительных характеристик, ему надо часа три.

А у кромки ждали два огромных ледокола, и РДО на отход начиналось словами «весьма срочно!». Но что поделаешь?

— «Комилес», я — «Державино»!

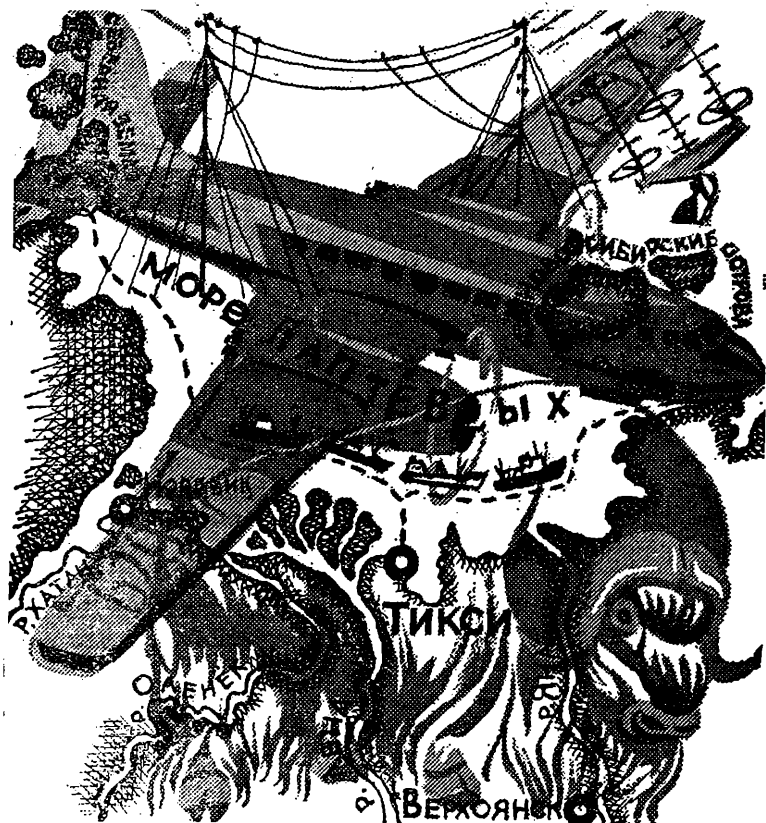
— «Державино», слушаю вас! «Комилес»!

— Скисла машина. Механик просит три часа. Причины уточняются. Доложу, когда сам пойму, что там у них.

— Вас понял. Буду докладывать ледоколам. По каравану! Всем сбавлять обороты! Четным выходить вправо! Нечетным влево! Ложиться в дрейф!

— Вас понял... Вас понял... Вас понял... Вас понял... Вас понял...

Вероятно, хвастаюсь, но уверен, что чувствую двигатель верхним чутьем и эпителием кожи. В том смысле чувствую, что жалею его не в силу инструкции, а как жалеют работающего тяжелую работу подростка. Отроками на «Комсомольце» нас гоняли на вахты в кочегарках и в машине, у мотылевых, упорных, дейдвудных подшипников, хотя готовили не в механики, а в судоводители. Никакой пользы с точки зрения понимания механики и механизмов это мне не принесло — плохо «вижу» нутро любого, даже простого механизма, плохо «вижу» чер-

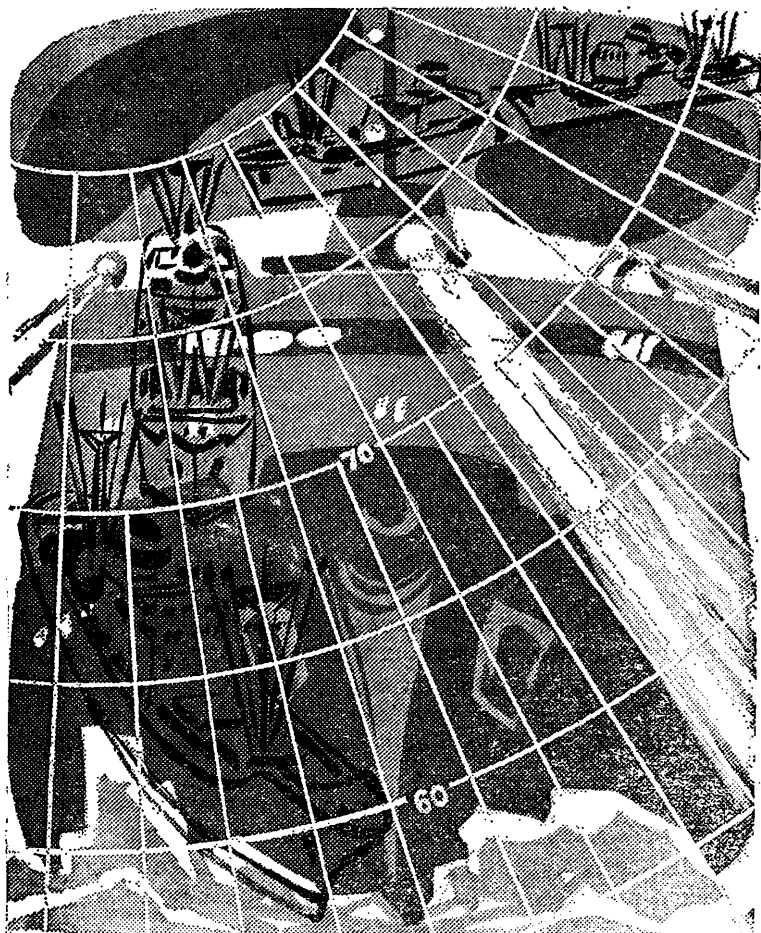


тежи. Пространственное видение в астрономии — небесной сферы, например, — приличное, но тоже не очень. Зато ощущение двигателя как живого, требующего и любви, и строгости, и справедливости, и поощрения, есть, и каждый лишний реверс напрягает душу.

11.08.00.10.

Встретились с «Ермаком» и «Владивостоком».

Восход. Небеса нежны, как крем-брюле, море студено, как торт-пломбир. Солнце поднимается в эту кондитерскую кровавым сгустком, рассечено сизыми тучами, как Сатурн кольцами, и такое же огромное. Сле-



дуем прямо в это солнце — на восток — в пролив Санникова.

В 01.30 у «Гастелло» тоже поломка — завис пусковой клапан в машине. «Владивосток» остается с ним, мы идем за «Ермаком».

В 05.30 «Владивосток» и «Гастелло» догоняют караван. И «Владивосток» занимает место перед всеми нами. Очень красиво срезает угол по сплошному полю, лед ле-

тит от его черного носа ослепительной волной-веером брызг, глубокое седло в середине борта между носовой и кормовой волнами. Он идет мимо нас на полном ходу сквозь утреннюю синь, которая охвачена по горизонту двумя кривыми белыми саблями льда.

Андряныч по секрету сообщил мне, что слышал, как тетя Аня назвала старпома в уюте камбуза «Кутей». И это ее ласкательное обращение так потрясло деда, что ночь он не спал, держа под наблюдением дверь старповской каюты...

Сонька особенно бесила Арнольда Тимофеевича, заявляя, что в тот момент, когда его зачинали, в дверь спальни его родителей кто-то сильно постучал...

В полдень застряли на траверзе Земли Бунге и Малого Ляховского, на юге которого есть «Изба Толля».

Ледовая обстановка определяется выражением Рублева: «Глухо, как в женской бане». Можно подумать, что Андрей женские бани знает не хуже кухни зоопарка.

Лед десять баллов, пятьдесят процентов двухлетнего, отдельные глыбы до четырех метров толщиной.

Все шесть судов застряли одновременно и очень тесной компанией. Лучше бы нам в такой ситуации находиться друг от друга подальше.

«Ермак» берет на усы «Софию Перовскую». «Владивосток» лупцует «Державино» кнутом волевых понуканий, как надсмотрщик на плантации несчастного дядю Тома. Но дядя Том застрял намертво. Рядом безнадежно завяз «Комилес».

«Владивосток» пятится задом нам в нос, чтобы брать на усы. С него доносится полуплачущее объявление: «Дорогие товарищи! Горячей воды для личных нужд не будет до утра. Ремонтируется магистраль. Просьба к экипажу закрыть все краны! Будьте сознательными!»

На вертолетной площадке в корме «Владивостока» бегают вокруг вертолета полноватый морячок. Он бегает точно по белому пунктиру, нанесенному по зеленому фону взлетно-посадочной площадки вокруг синей стрелки-вертолета,— жирок морячок сгоняет. До суровой Арктики ему как до лампочки.

Вдруг «Ермак» обнаруживает, что, пока ледобои поштучно таскают нас на восток, восточный ветер сносит всю остающуюся компанию на запад с большей скоростью. Возникает угроза выдавливания нас на мелководье у острова Котельный. А на малые глубины туда ледоколы для оказания нам помощи вообще не смогут подойти. И потому «Ермак» приказывает вылезать назад в точку, где были в 11.30 утра.

В 16.00 выходим в нее и ложимся в дрейф.

Ветер с востока. Ветер летит в трубу между Малым Ляховским и Землей Бунге. Баллов семь. «Комик» — так давно уже называется «Комилес» — стоит на якоре. Мы трое болтаемся, как некоторое органическое вещество в проруби. Только вместо проруби — полынья.

Безнадюга ожидания погоды у моря. Серятина.

И небеса и вода напоминают грязные бутылки, которые стоят на кухне холостяка уже второй год.

Из инструкции по психогигиене на судах морского флота: «Стресс от «неопределенности обстановки» следует рассматривать как замаскированный спутник почти всякой психической травмы у моряков дальнего плавания».

Мы бездельничаем, а в миле от нас бегают взад-вперед могучий «Ермак». С какой целью бегают, нам не ясно. Но вид у него такой деловитый, как у собаки, которая трусит через пустынную городскую площадь ночью и которая знать не знает, куда и зачем она бежит, но сохраняет на морде выражение озабоченной деловитости для собственного вдохновения, самоуважения и душевного спокойствия...

Как просили старые полярные моряки, чтобы старый «Ермак» не резали на металлолом! («На иголки» — на жаргоне.) Старики хотели поставить «Ермак» на вечную стоянку в Архангельске. Не получилось. Даже адмирал Макаров не помог.

Незадолго до вылета в Мурманск меня занесло в Кронштадт. Я давно там не был. И вообще никогда не был на Якорной площади возле памятника Макарову.

Площадь почему-то оказалась совсем пустынной, как будто в городе-крепости объявили воздушную тревогу.

Огромная площадь. Огромный Морской собор Николы Чудотворца — старинного покровителя мореходов. Собор напомнил Босфор. Он в плане повторяет Святую Софию в Константинополе.

Над огромной площадью, которая служила когда-то свалкой отработавших, уставших якорей, стоял в полном одиночестве бронзовый адмирал Макаров.

Восемь могучих якорей Ижорского завода по девятисто пять пудов пять фунтов каждый крепили его покой и его надежды.

По необтесанной скале-пьедесталу взметнулась черная штормовая волна, достигнув самых ног Степана Осиповича.

Скалу для памятника подняли со дна морского на рейде Штандарт. Хорошо придумали — поставить адмирала, боцманского сына, внука солдата на подводном камне с рейда Штандарт.

На цоколе памятника знаменитое: «Помни войну».

Вокруг мощенная булыжником площадка.

К булыжникам и торцам у меня симпатия. Когда прошлые скульпторы и архитекторы задумывали свои творения, они, естественно, учитывали фактуру тверди. Бесполоая стерильность асфальта гармоничность их замыслов нарушает.

Степан Осипович Макаров — один из самых замечательных наших моряков. Когда «Ермак» уже сходил в Арктику, а потом спас уйму судов в Ревеле и броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» и когда имя Макарова уже гремело на весь свет, адмирал издал приказ «О приготовлении шей».

От века цинга среди матросов и солдат в Кронштадте была обыкновенным делом. Так вот, Макаров командировал на Черноморский флот врача-гигиениста, а оттуда выписал аса-кока. Кроме того, он приказал периодически

взвешивать всех матросов, чтобы командиры кораблей всегда знали, хudeют их «меньшие братья» (такое выражение было принято о рядовых в «интеллигентской среде») или толстеют.

Мне это понятно особо, ибо когда-то пришлось участвовать в походе к Новой Земле подводной лодке, где нас тоже взвешивали два раза в сутки специально командированные из Москвы врачи...

На памятнике Макарову выбита эпитафия:

Твой гроб — броненосец,
Могила твоя — холодная глубь океана.
И верных матросов родная семья —
Твоя вековая охрана.
Делившие лавры, отныне с тобой
Они разделяют и вечный покой...

.
Ревнивое море не выдаст земле
Любившего море героя...
И тучи, нахмураясь, последний салют
Громов грохотаньем ему отдадут...

Как будто слышишь разом все наши старые морские песни и обоих «Варягов»: «Чайки, несите в Россию...» и «Наверх вы, товарищи...». И морские песни последней войны: «Севастопольский камень» и «Гремящий» уходит в поход»...

И видишь огромный «Петропавловск», который в одну минуту перевернулся, показав над волнами обросшее водорослями и ракушками днище,— горестное и жуткое зрелище.

«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война...» Это сволочь Плеве сказал.

Пользуясь тем, что площадь пустынна и никто моей сентиментальности не увидит, я стал на колени и помянул адмирала, и Верещагина, и матросов «Петропавловска», и всех матросов Цусимы, которые семь десятков лет тому назад снялись из Кронштадта на помощь адмиралу и своим порт-артурским братьям.

Потом по древнему подвесному мосту перешел Петровский овраг, любуясь чистотой зелени на острове. Вообще, приморские парки, леса, луга особенно зелены — влажные ветры и частые дожди промывают травы и листву. И стволы приморских деревьев по той же причине

особенно черны. И контраст первозданной зелени с чернотой стволов заставляет взглянуть на обыкновенное дерево с каким-то даже восторженным удивлением.

12.08.20.30.

Снимаемся с дрейфа. Приказ Москвы ледоколам: следовать в лед на восток. «Владивосток» берет на усы «Державино». «Ермак» предлагает то же «Перовской», но молодой капитан отчаянной революционерки отказывается.

«Комилес» и «Гастелло» оставляются в полынье в ожидании, когда ледоколы проволокут сквозь перемычку нас.

Мы начинаем ехать за «Владивостоком» сквозь булыжники пролива Санникова.

Зависти к покинутым в проруби товарищам никто не испытывает, хотя приходится нам туго — лед очень тяжелый. И капитан «Владивостока» не из тех мужчин, которые танцуют па-де-де в «Лебедином озере» на сцене Большого театра. Он еще обозлен тем, что Фомич напросился к нему на усы.

Сюда бы живого психолога. Отличная тема докторской диссертации: «Капитан турбоэлектроледокола + капитан лесовоза». Тема кандидатской: «Психологические нюансы подачи буксира с ледокола на застрявшее судно».

Любой ледокол терпеть не может подавать буксир. Так судовые радисты терпеть не могут подавать членам экипажа надежду поговорить с домашними по радиотелефону.

Чтобы взять на усы, капитану ледокола надо подвести корму к носу лесовоза — тютельница в тютельница подвести. Затем вызвать на мучительную, грязную работу боцмана и матросов, у которых полным-полно внутрисудовых дел.

Ну, и управлять ледоколом, когда у тебя появляется стометровый, весом в 5580 тонн хвост, намного труднее.

Раньше бытовала уничижительная фраза: «На ледоколах служат, на транспортах — работают».

«Служащий» — нечто такое с портфелем, в очках, в трамвай не способен прыгнуть впереди старшего по

чину... Конечно, на ледоколе не то что на малом рыболовном сейнере или на стареньком сухогрузе: ни тебе рыбы и вони, ни тебе грузов, ни погрузок, ни разгрузок, ни ругани с докерами, ни отчетов за каждую сепарационную доску; все штурмана при галстуках и крахмал скатертей.

Но... Попробуй прими-ка ответственность за сотни слабеньких судов, за каждую дырку в их днищах и бортах, за каждые сутки опоздания в порт, где ждут грузов как манны небесной, и за много-много еще кое-чего!

Такой красоты еще не видел.

Солнце в левый борт с чистого норда низкое и огромное над сплошным паком.

Лед с правого борта ярко-розовый до далекого горизонта, чернильно-фиолетового от туч и тумана.

По розовому льду извивается огромная, метров двести в длину, синяя тень — профиль нашего судна.

Отдельные торосы так изощренно коррозированы дождями, туманами, ветрами, что напоминают огромные кораллы — розовые, нежнейшие кораллы высотой в несколько этажей.

И среди этой красоты мы, идущие за ледоколом, испытываем такие жуткие удары о лед, что трудно печатать на машинке.

Бедный Фомич — он ведет пароход. А мне до этого удовольствия еще полтора часа.

Алые пожарные машины, обреченные волею судеб тушить певекские пожары, пляшут от сотрясений шаманскую пляску на крыше третьего трюма.

«Перовская» упрямо идет за «Ермаком» без буксира. И без жалоб, стонов и причитаний идет. Пожалуй, все-таки тут есть элемент мальчишества — молодой совсем капитан на «Перовской». И вот иногда ловишь себя на мысли, что неплохо бы этому парню покрепче разок стукнуться лбом. Это такая подлая мыслишка, которая знакома всем неотличникам в школе по отношению к отличникам. Ведь когда отличник хватает кол, то вся школа, включая не только лоботрясов, но и учителей, получает некоторое удовольствие.

ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ В ФОМЕ ФОМИЧЕ ФОМИЧЕВЕ

Сентябрьским днем девятилетний бологоевский школьник Фомка Фомичев с собакой Жучкой отправился на прогулку в лес, который начинается сразу за чертой поселка. К вечеру домой он не вернулся. На поиски школьника и Жучки были подняты сотни людей — местные жители, охотники, работники рабоче-крестьянской милиции. Спустя 16 дней Фомка, худой, оборванный, наткнулся на грибников. За это время он прошел десятки километров. Питался плодами шиповника, желудями, ягодами. За 16 дней «путешественник» потерял в весе четыре килограмма, но не заболел даже насморком.

*«Не пал духом...» —
заметка в районной
газете (хранится в
архиве семьи Фо-
мичевых)*

Простуда терзает кости тупой болью.

Потому нынче после дневной вахты ничего не стал записывать и завалился спать. Но уже через полчаса врубилась «принудилка».

Из динамика долго доносится шелест бумаги и крикание, по которому я узнаю Фому Фомича.

— Внимание, значит, всего экипажа! Прослушайте информацию! Наше судно с народнохозяйственным грузом следует в порт Певек. Он находится на Чукотке. Порт Певек свободен ото льда только с пятнадцатого или двадцать пятого июля...

Дальше он жарит прямо по лощи минут десять: о режиме ветров, образовании ледяного покрова и так далее.

Он жарит, запинаясь, сбиваясь, перечитывая сбитое, безо всяких точек и запятых, но очень вразумительно и обстоятельно, хотя ровным счетом ничего не понимает из читаемого. Писанный текст завораживает Фому Фомича, и он следует по нему с непреклонностью петуха, от носа которого провели черту. Если капитан «Державино» сам

текст выбрал или составил, то, значить, при произнесении текста вслух ни о чем больше думать не надо.

Фомич жарит по «принудилровке», и потому деваться от его лекции некуда.

Я лежу и злюсь.

Но! 1) Не следует забывать, что говорит Фома Фомич плохо еще и потому, что все зубы у него вставные — свои выпали в блокаду от цинги. Вставные челюсти у него разваливаются, и потому он не может есть ничего тягучего. И надо видеть, как переживает за мужа Галина Петровна, когда в кают-компании у него получается с жеванием что-нибудь некрасивое. 2) Хотя он обожает делать сообщения по трансляции, но сейчас вещает никому не нужную лоцию, ибо честно старается делить с Андрянычем нагрузку отсутствующего помполита. Положено проводить информации и лекции? Положено. И вот он проводит.

Потом он спустится в каюту и достанет любимое детище — изобретенную им «Книгу учета работы экипажа т/х «Державино» — и запишет время, дату, тему своей «информации».

Вчера парходство потребовало радировать результаты парных соревнований за позапрошлый год. И вот Фомич с гордостью притащил свой гроссбук, где было обстоятельно записано, как его экипаж в позапрошлом году соревновался парно с коллективом Канонерского завода. В гроссбухе зафиксирована история профсоюзных, спортивных, досаафовских и всех других общественных организаций экипажа с рождества Христова. (Не все еще до таких учетных книг дошли. Здесь Фомич как бы опережает время.)

Я Фому Фомича ото всей души хвалил за такой гроссбук, а не успел он дверь за собой закрыть, я и ухнул во всю ивановскую: «Вот это нудило!»

Слышал он или нет? До сих пор мучаюсь этим вопросом.

Очень у меня дурная способность.

Лицедействовать я отлично научился. И поддакивать тоже умею. И серьезное, и даже восхищенное лицо делать при полном непонимании происходящего замечательно могу. Одно плохо: иногда после акта талантливейшего лицедейства из меня выскакивает: «Ну и дурак же! Это же какой дурак-то, а?!» И выскакивает

такой комментарий, когда адресат еще не удалился на безопасную дистанцию. Вот несчастье-то!..

Да, еще писать Фома Фомич любит. Вернее, он любит процесс фиксации чего угодно чем угодно — пером, шариковой ручкой, фломастером или обыкновенным карандашом на бумаге («ту драйв э пен» — быть писателем).

Вот, например, мы в дрейфе, Фомич спокойно может спать. Но он бодрствует глухой ночью в тишине спящего мирным сном судна.

На служебном столе супруга поставила ему букетик из засохших цветочков с личного дачного участка.

Сама женская половина Фомы Фомича похрапывает в койке и бесшумно проклинает сквозь сухопутные видения тот день и час, когда поддалась на хитрые уговоры супруги Ушастика и поехала в Мурманск.

Фомич тихо сияет от счастья — его судно и он сам нигде не едут!

Он сидит в чистом белом свитере, разложив по всему столу приказы пароходства за последние два месяца, и регистрирует их. Вообще-то, это дело старпома, но Фомич любит регистрационную работу — это его счастливый отдых, его сладость. Он заполняет графы: «Дата поступления приказа на судно», «Краткое содержание», «Кому передан», «Меры», «Резолюция капитана» — и расписывается в конце каждой строки. Когда страница регистрационной книги заполняется вся, Фомич снимает очки и любуется столбцами и графами невооруженным глазом. И на миг он испытывает такое полное счастье от неподвижности и регистрационной деятельности, что ему, как и всем людям в момент полного, всеобъемлющего счастья, делается как-то жутковато. И он тихо встает, и тихо достает из холодильника кусочек полусырой рыбы. И, жуя рыбу, опять пишет, то есть фиксирует, хотя эта — вроде бы вовсе невинная и даже полезная — страсть дважды уже приводила благонамеренного Фому на край катастрофы или даже бездны.

Первый раз, когда он переписал от килля до клотика служебную инструкцию и какой-то поверяющий с ужасом обнаружил копию этого документа в каком-то Фомичевом грессбухе.

Второй раз случился еще более сногшибательный нюанс, вытекающий из той же привычки Фомича все и вся фиксировать, и подсчитывать, и разграфлять.

Фому Фомича выдвинули делегатом на общепассажирскую конференцию, где должен был присутствовать министр Морского Флота СССР и где Фоме Фомичу предстояло выступить, ибо начальство отлично знало, что это самый лояльный из лояльных будет оратор и трибун.

Перед убытием на конференцию, как и положено, на судне было проведено собрание, чтобы выработать почины, наказы делегату и сообразительности о невыполнении плана по разным показателям.

Как и положено, нашлись всякие недостаточно сознательные элементы (вроде нашего Копейкина или тети Ани) и обрушили на делегата необоснованные претензии, бессмысленные жалобы и пошлые выпады в сторону высшего морского начальства — в диапазоне от требования оплаты сверхурочных работ в инпортах в инвалюте до отказа от обязательной подписки на газету «Водный транспорт», потому что в этой газете про речников пишут больше, чем про моряков.

Фомич тщательно фиксировал все отрицательные выпады и положительные почины-обязательства. Затем систематизировал зафиксированное: на одну бумажку то, что можно будет говорить перед сверхначальством, а на другую все то, что ни в коем случае говорить нельзя, если не хочешь сломать себе шею и остаться на береговой мели навечно.

Прибыв на конференцию, Фомич, как и положено, сдал в секретариат бумажку № 1. А когда вылез на трибуну перед министром, начальником пароходства и другими божествами, то случайно вытащил из кармана бумажку № 2 и приступил к чтению. И сразу вся внешняя, окружающая в этот момент Фомича-чтеца реальность полностью перестала им замечаться и на него воздействовать. И трибун не заметил ни гробовой тишины, наступившей в зале конференции; ни редких, восхищенных смелостью оратора кряхтений других смельчаков-либералов и нигилистов из задних рядов; ни остолбенело выпученных (как у меня на мосту через Дунай) глаз начальника пароходства и секретаря парткома; ни даже того, что министр в президиуме проснулся.

Читая написанное, он, как я уже объяснял, никогда не вникал в смысл и суть, никогда ничего не понимал из произносимого, ибо еще и вел борьбу с челюстями. И потому он нес с трибуны истины жуткие, никакому публич-

ному обсуждению не подлежащие; сумасшедший смельчак, решившись говорить о них, должен был бы кричать, потрясать кулаками, негодовать. А Фома Фомич, абсолютно уверенный в благонамеренности своего текста № 1, читал его бесстрастно и монотонно, как дьяк по тысяча первому покойнику. И эта спокойная и добро-торжественная интонация спасла Фомича. Он уверен был, что зачитывает товарищам начальникам о превышении его экипажем планов и увеличении подписки на газету «Водный транспорт»!

А нес — про инвалютные сверхурочные!

И только сняв очки и не дождавшись положенных по штату всякому выступающему аплодисментов, повернулся к президиуму и что-то тревожное начал ощущать, ибо профессионально дальнзоркими глазами увидел, что начальник пароходства сыплет себе в рот таблетки (вероятно, валидол) из полной пригоршни, а секретарь парткома, сильно качаясь, идет за кулисы (вероятно, вешаться).

Обличай он и ушучивай, высказывай претензии и фантастические требования разных Копейкиных в другом тоне — со страстями и негодованиями — и песенка Фомы Фомича Фомичева была бы спета. Но тут случился полнейший хеппи энд.

Министр встал и сказал, что он наконец-то понял, что приехал сюда не напрасно, что все предыдущие ораторы были только амебы, а капитан Фуфыричев — единственный человек, который по-настоящему болеет за дела на флоте. И что на месте начальника пароходства он, министр, отправил бы капитана Фуфайкина в Гренобль на международный спецтренажер для судоводителей суперсухогрузов.

Вот после этой истории Фомич не только прокатился в Париж на поезде, но и получил кличку Драйвер — за полнейшее бесстрашие. Правда, прокатился он в Гренобль и даже посетил Лувр уже в почти вовсе облыслом виде — волосы начали у него выпадать пучками еще на трибуне, когда он увидел качающегося секретаря парткома и разобрал на своей бумажке: «№ 2».

Между прочим, сохранял эту бумажку Фома Фомич, чтобы не забыть, кто из его команды главный оппортунист и кто что на собрании наговорил лишнего.

Апогея облысения Фомич достиг в женском туалете, куда спрятался от округивших его в перерыве восхищен-

ных и потрясенных его бесстрашием поклонников-нигилистов. Он заперся в женском туалете, ибо был занят мужской, и сидел там томительно долго, обдумывая случившееся и выщипывая из недавно приличной шевелюры остатки кудрей.

Возле туалета собралась толпа разъяренных стенографисток и других дам, которые ломались в дверь, но даже они, когда Фомич, наконец, из туалета выскочил, не разорвали его в клочья — такое уважение и почтение вызвал у всех, даже у сухопутных женщин, героический трибун...

В какой-то далекой степени Фомич напоминает мне иногда и штабс-капитана Максим Максимыча.

Он легко сам говорит про себя: «Я, знаете, службист, всю жисть службист. А как мне иначе было? Мамы да папы в Москве не имел. Лез, лез, лез всю жизнь в ледяную гору, карабкался, значить, медленно, все сам, ничего не отпускал, все через себя перепускал, в руках себя держал, и ночные бдения, и все такое прочее, и власть капитанскую контролировал, уж будьте уверены, полностью. А теперь, значить, сам чую — вожди-то отпускаю, передоверять все больше другим, значить, начинаю, грести-то больше уж и не могу так, за всем сам следить... Другие мыслишки-то уже мелькают: как бы здоровышка до пенсии хватило, и всякое такое, значить... Сама-то власть на что она мне?.. Вот раньше на ветеранов равнялся, себя в сторонку, а ветеранам свой кусок отдашь — заслужили, мол, с почтением к им. Теперь вроде и сам ветеран, а, значить, не замечаю, чтоб ко мне — как я раньше-то к другим ветеранам. Отпихивают, и все... Мне вот, к примеру, только в пятьдесят восьмом комнату за фронт дали, официальную, а всю войну отчухал. Ну, по правде если, у меня к тридцати годам жилищный вопрос решился, однако, значить, без ихней помощи, своими силами обеспечился...»

Но! В отличие от штабс-капитана Максим Максимыча, который никогда ни от какого дела или ответственности не отлынивал, капитан дальнего плавания Фома Фомич отлынивать умеет замечательно.

Ушастик рассказывал, как они угодили в приличный шторм в Северном море, но все у них было нормально, и можно было спокойно следовать по назначению. Однако Фомич, который Норвежских шхер боялся всю жизнь (и сейчас боится), залез за какой-то островок в шхерах

и дал в пароходство РДО: «Укрылся урагана Норвежских шхерах, отдал левый якорь, ветер продолжает усиливаться. Что делать?» В ответ он получил от Шейха РДО короткое, как бессмертные строки из рубаи Хайяма: «Отдайте правый».

Когда нам выпадает сейчас самостоятельное плавание во льдах, Фома Фомич теряет всякий покой и всеми силами, правдами и неправдами старается обратить внимание на свое бедственное положение, стать где-нибудь на якорь и дожидаться ледокола, или другого судна, или каравана. Когда же это происходит, то Фомич, угодив в руки ледокола, начинает всеми кривдами из-под него выбираться, ибо плавание на дистанции в два кабельтова и «полным» ходом в тумане под началом ледокола куда тяжелее для нервов и опаснее для судна (законы ледовых проводок — законы хирургии).

Далее. Всю жизнь Фомичу казалось и кажется, что не его вахта была легкая, хорошая, без всяких сложностей, а ему специально бог и гнусные люди подсовывают плохую.

Как-то ледокол вынужден был бросить на время караван и опрашивал капитанов судов об их ледовом опыте, чтобы выбрать и назначить старшего. И в эфире произошел такой диалог:

— «Механик Рыбачук!» Вы здесь плавали?

— Нет, я лично здесь не плавал, но «Механик Рыбачук» плавал.

— Механик плавал или ваше судно здесь плавало?

— Да, судно плавало, а я лично здесь первый раз, но штурмана здесь работали...

Фомич, слушая диалог, бормотал с глубоким презрением:

— И охота ему, дураку, в начальники напрашиваться! «Судно плавало!» Сказал бы, что не плавал сам, да и уклонился! А он: «Штурмана здесь работали!»..

Но!

Второй механик, тезка Пети Ниточкина, с которым они вместе вводили массы в нужное заблуждение при помощи наукобезобразной демагогии, рассказал мне (с истинным уважением и почтением рассказал), как в последнем перед автоаварией рейсе Фомич проявил подлинно драйверские качества.

В каком-то испанском порту экипаж североамерикан-

ского танкера дерзко бросил вызов экипажу «Державино», предложив сыграть в футбол.

И не как угодно составить команды, а обязательно включить капитанов, старших механиков и по равному количеству женщин, если таковые существуют на судах.

И Фома Фомич дерзкий вызов принял, хотя американскому капитану было на десять лет меньше. Ушастик взвыл, но драйвер приказал старшему механику, значить, не разговаривать, а искать подходящие трусы и майку.

Матч, говорит второй механик, был замечательный именно благодаря Фомичу. Главным форвардом американцев оказался их капитан, и Фомич взял на себя «оставить его без мяча» — такое есть выражение у профессиональных футболистов. Оно означает, что защитник должен сделать все возможное и невозможное, чтобы самый бандитски-опасный форвард был обезврежен.

И Фомич ихнего капиталистического капитана довел до истерики (помните: «ту драйв мед» означает еще «сводить с ума»).

При этом никаких внешне героических поступков он не совершал, на части не разрывался и не носился по испанскому полю метеором или матадором. Он просто приклеился к американскому лидеру, как банный лист или прилипла к акуле, и сопровождал его всюду, куда тот пытался от Фомича скрыться, но делал это на внутреннем, коротком радиусе. Американец совершал стремительные рывки, метался с фланга на фланг с такой скоростью, что просто исчезал из поля зрения болельщиков, а Фомич трусил рядом неторопливой рысцой и, как только противник готовился принять мяч, оказывался тут как тут, и отвязаться от него американскому капитану оказалось невозможно. И к концу игры американец выглядел полностью изможденным, и его усталость особенно бросалась в глаза, поскольку рядом трусил свеженький Фомич.

— Если бы нашему капитану поручили опекать Пеле, — закончил рассказ Петр Иванович, — он, как знаменитый Царев, и Пеле бы довел до инфаркта! Я вам точно говорю, Виктор Викторыч!

Я спросил, кто из наших женщин играл и как все это получилось. Оказалось, в американском экипаже на танкере была одна женщина — барменша. И этой барменше Соня на второй минуте вывихнула ногу, или руку, или

голову. Произошло это на первом же соприкосновении футболисток. Барменшу эвакуировали, а нашим назначили пенальти, и только из-за этого неотразимого пенальти наши и проиграли со счетом ноль — один. Пропустил неотразимый пенальти в наши ворота Иван Андриянович, ибо ни на что, кроме вратаря, годен не был. Но и как вратарь, представлял собой, по выражению Петра Ивановича, гайку без болта, то есть дырку от бублика.

К слову, наш стармех, который и спровоцировал капитана взять в рейс супругу, рассчитывая под этим соусом прихватить в Арктику и свою Марьюшку, последнее время пристрастился в свободное время развлекать первую леди «Державино» игрой в «слова» и «морской бой».

Ведь Галина Петровна от тоски и скуки уже готова в гости к тюленям и моржам сигануть без всяких спасательных поясов. И вот отчаянный футболист Фома Фомич Фомичев явно заревновал супругу к гайке без болта. И каждые полчаса покидает мостик, даже при движении во льду, чтобы случайно заглянуть в каюту к супруге.

Фомич отчаянно ревнив. Ибо собственник.

Прямо Сомс Форсайт, а не Фома Фомичев.

Ну, о том, что любую самостоятельно и удачно проведенную в жизнь инициативу или мысль своих помощников Фомич искренне и бесповоротно приписывает потом себе, и говорить нечего.

Но!

Как-то он:

— Я всегда за справедливость и всегда все в глаза — привык так, приучил себя. И самокритичен я. Помню, в тридцать два года надумал жениться. И вот на женщин смотрю и думаю: эта не то, эта дама — не та... А потом вдруг и озарился: а сам-то я? Сам я кто такой? Что за ценность? Пентюх из-под Бологого!..

И действительно умеет говорить в лоб неприятные вещи, и действительно самокритичен, то есть сам понимает свою мелкость и недалекость, но он же знает, что он хитер, и зверино-осторожен, и настойчив, и за все это он себя высоко ценит: цыплят, значить, по осени... Он из тех клерков, которые высидивают без взлетов и падений, ровно и беспрекословно высидивают до губернаторов и пересидивают всех звезд и умников.

Но!

Фома Фомич не стал и фельдфебелем. Например, очень деликатно и предупредительно убирает голову, когда смотрит кино в столовой команды, чтобы не заслонять экран какому-нибудь молоденькому мотористу.

А на тактичный подкус Андрияныча в отношении ревности к супруге Фомич, посасывая леденец и загадочно ухмыляясь, ответил:

— Наша династия, Ваня, она, значить, еще поглубже всяких там царских. Ты на мою королеву как следует погляди. Зад-то какой! Как у сухогруза на двадцать тысяч тонн! Куда тебе до нее? Нет, Ваня, я в своей династии, значить, полностью уверен.

И, действительно, людей он своим звериным чутьем чует и знает про них многое. Он знает, что Дмитрий Александрович в западне и потому его можно держать в струне даже и без всяких яких.

Мне, например, Саныч не говорил, что у него тяжело больна жена. Жену надо два раза в день возить на какие-то дефицитные уколы, и она, как женщине и положено, посчитала согласие мужа на арктический рейс бегством от тяжелого и трудного в житейской жизни, закатила недельный припадок со слезами и попытками отравления и всем прочим. А Саныч знал, что если он откажется от арктического рейса, то в кадрах его песенка будет спета навсегда и не видать ему капитанства, а его супруге — хорошей квартиры в новом доме и полного материального достатка и всего прочего, что следует за капитанством.

Так вот обо всем этом Фомич полностью информирован. Он даже знает, что у Степана Разина «узы Гименея» слабинку дали еще лет двадцать назад, когда с койки по боевой тревоге соскакивал...

А с чего я начал? С того, что Фомич зачитывал лоцию Восточно-Сибирского моря по принудительной трансляции и я проснулся и представил себе, как он сейчас спустится в каюту и запишет в гроссбух мероприятие.

Но!

Фома Фомич явился ко мне. Узнал от доктора, что я приболел после воздушных путешествий в Тикси, и принес кусок жареного муксуна — гостинец от Галины Петровны.

Был Фомич в тулупе, и, раздеваясь, обнаружил в кар-

мане тулупа очередной леденец. Я который раз передаю ему вместе с вахтой и тулупом такие презенты. И он каждый раз удивляется находке и радуется ей:

— Ваша конфетка? Нет? Съем ее, значить. А то на голодный живот курить вредно. Вот я ее перед вахтой и первой сигареткой и употреблю, конфетку эту. Значить, чем бог послал закушу, а тогда уж закурю, чтобы не так, значить, вредно курить было...

Явившись ко мне с муксуном, Фомич, порассуждав в отношении конфетки, вдруг довольно крепко выругался.

— Чего это вы вспомнили? — спросил я.

— Про науку, — объяснил он, усаживаясь у меня в ногах на койку. — По науке нынче размножение рыб зависит от птиц. Птица рыбу проглотит, а потом летит, и — кап! — из нее икринка и вываливается в другой водоем. Раньше, значить, мальков завозили самолетами из моря в море. Но они все обратно эмигрируют на родину.

И Фома Фомич опять выругался.

Конечно, что греха таить, на флоте еще сильно ругаются. И капитаны ругаются, и восемнадцатилетние щенки. И, простите, я тоже к этому привык. Но вот в последнее время начал ощущать смущение. Я еще не борюсь со своим пороком, но уже понял необходимость борьбы.

Хотя такой умный человек, как вице-губернатор Салтыков, заметил, что первым словом опытного русского администратора во всех случаях должно быть слово матерное.

— Так вот я об чем, Викторыч, с тобой потолковать хотел, — сказал Фома Фомич, нервно посасывая леденец. — Дураком себя не считаю, и образование кое-какое есть. Но вот чего не пойму, это как они с лёта, с воздуха оправляются?

— Это вы про кого?

— А про живоглотов этих, чаек. Летит со Шпицбергена, ведьма, на Новую Землю... Ведь честно если, оправиться по-малому и нам-то, мужикам, на ходу трудно, а как чайки-то на ходу гадють? Давно я об этом думаю. Ведь обязательно, ведьма, на видное место, на эмблему норовит. До того химия въедливая! Помню, матросом плавал, сколько раз от боцмана по уху схватишь! Если ввечеру нагадят, к утру краску до металла проест. А он, боцман-дракон, тут как тут — по уху без всяких партсо-

браний, не то что нынче... А ты как, Викторыч, к этому вопросу подходишь?

— Знаете, Фома Фомич,— сказал я,— мне с лёта трудно угнаться за вашей мыслью, меня, честно говоря, больше ледовый прогноз интересует. И еще. Что, Тимофеич вовсе рехнулся? Почему он за карты не расписывается? Мне это дело надоело.

— Я сам, гм, понимаю, что старпом того... Сам я люблю подстраховаться. И молодых осмотрительности и осторожности учу, но старпом в данном вопросе... Утрясем, Викторыч, утрясем...

— Мне кошмары сниться стали,— сказал я.— Покойники к чему снятся?

— К деньгам,— авторитетно сказал Фомич.— Мне давеча тоже вроде как покойник снился. В Певеке аванс, наверное, получим — переведут из пароходства. Я им две радиogramмы послал... А снилось, будто я в сельской местности. Человек идет, и вдруг копьё летит и прямо — бац! — ему в спину! Он, значить, поворачивается, вижу, копьё-то его насквозь прошибло и конец из груди торчком торчит. И вижу, что это, значить, Арнольд Тимофеич. Он это нагибается, хватать камень и в меня! Потом по груди шарит вокруг копьё, но крови нет! — очень многозначительно подчеркнул Фомич.— Просыпаюсь, значить, и отмечаю, что крови не видел. Кровь-то к вовсе плохому снится. Ну, думаю, все равно или у нас дырка будет, или Тимофеич скоро помрет — одно из двух.

О скорой смерти своего верного старпома Фома Фомич сказал безо всяких эмоций. А концовка рассказа про сон оказалась неожиданной и произнесена была возбужденным и ненатуральным тоном:

— А ведь чем еще меня чайки эти так раздражают?! Никаких икринок они не переносят, просто рыбу жрут!

Вот только тут я почувствовал, что у Фомича есть ко мне дело, и какое-то сложное, неприятное для него, и что он плетет чушь про птиц и водоемы от нервов и по привычке темнить и тянуть kota за хвост.

— Перестаньте вы, Фома Фомич, про чаек,— сказал я.— В этих белоснежных птичек души потонувших моряков воплотились, а вы для них рыбы жалеете!

Он встал, прошелся по каюте, нацепил очки, посмотрел бумажки на моем столе, потом поднял очки на лоб и сказал:

— Вот вы их защищаете, а в Мурманске теперь толь-

ко скользкого кальмара купишь...— И продолжал грустно: — И это в самом центре рыбной промышленности! А что про Бологое говорить? Там кильку-то последний раз на елке в золоченом, значить, виде наблюдали! А для меня это не просто закуска. Мне для жизни ее надо. Во всей династии нашей, как, помню, рыбу уважали. Вот деда, например, помню, Степана Николаевича, так он любую селедку с хвоста начинал и жабрами заканчивал. В костях-то самая польза для мозга. А ты, Викторыч, такую чушь насчет их душ порешь...

Мне немного надоела эта сократовская беседа, и я поклялся, что все хвосты и все позвонки от селедки, которые мне до конца рейса положены, буду с теплой симпатией отдавать Фоме Фомичу.

Он отлично понял, что я понял, что он здесь с какой-то серьезной целью и что мне надоело ждать сути дела. И он вытащил бланк радиограммы и подал мне:

— Знаете?

«Родственники уезжают остаюсь на улице жду целую твоя Эльвира».

— Эту нет,— сказал я.

— Розыгрыш, Викторыч. Не вру. Я эту Эльвиру и пальцем не трогал. Да и в кадры запрос послал. В рейсе она. Об этом и сказать хочу. Чтобы вы, значить, чего-нибудь не подумали...

— Фома Фомич! За кого вы меня принимаете? За суку, что ли? — спросил я, искренне обидевшись.— Вы супруги опасайтесь, а не меня.

— Вы сегодня на вахту не вставайте,— сказал Фомич, немного успокоившись.— Ледок слабее пошел. Пуск Таймофеич покувыркается. Раньше-то, когда без дублеров, старпомы сами кувыркались. Вот он, значить, и покувыркается.

— Спасибо, Фома Фомич, но я уже нормально себя чувствую, а старпому не доверяю. Нельзя ему судно поручать. Опасно.

— Да,— вразумительно согласился Фомич и ушел.

А я принялся за «Пошехонские рассказы». Правда, рассказов среди них пока как-то так не обнаруживается. Другой это жанр. И вышел Щедрин, мне кажется, целиком и полностью из «Истории села Горюхина», из летописи сей, приобретенной автором за четверть овса и отличающейся глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

Если бы кто заказал мне попробовать написать о Щедрина, то я начал бы с покупки его книг в Мурманске. Потом съездил бы (обязательно трамваем и с двумя пересадками) к нему на кладбище. И подробно, минута за минутой, описал это трамвайное путешествие, стилизуя щедринские интонации и беспощадно воруя его собственные высказывания, но, как и всегда в таких случаях делаю, не заключал бы ворованные цитаты в кавычки. И назвал бы «Андроны едут...»

Шопенгауэр видел источник юмора в конфликте возвышенного умонастроения с чужеродным ему низменным миром. Кьеркегор связывал юмор с преодолением трагического и переходом личности от «этической» к «религиозной» стадии: юмор примиряет с болью, от которой на этической стадии пыталось абстрагироваться отчаяние.

В эстетике Гегеля юмор связывается с заключительной стадией художественного развития (разложением последней, «романтической» формы искусства).

Салтыков-Щедрин — юморист высшего из высших классов, но ни под какое из этих умных и интересных высказываний не подверстывается, ибо до мозга костей русский, а высказывания эти — западные.

Когда Фомич мил? Когда простыми словами тихо говорит о тех муках и жертвах, которые он пережил и перенес в блокаду и вообще на фронте и после фронта. О лилово-чернильных деснах от цинги в Ленинграде, выпавших зубах, замерзшем прямо на горшке-ведре его товарище по школе, о своем младшем брате, который воевал ровно один день на Курской дуге, был страшно ранен разрывной пулей сквозь брезентовый ремень в живот, перенес три ужасные операции, потом туберкулез позвоночника, потом восемь месяцев гипса, потом три года в ремнях, и при этом «настрогал» трех ребятишек, и «вот женка-то намучилась».

Все это Фомич говорит как полномочный представитель народа, который своим животом заслонил страну от врага и гибели, но никак не кичится. Он показывает на скрученном полотенце толщину и внешний вид шрамов брата, показывает, какие у него самого были ручки и ножки — как у дохлого цыпленка, и т. д. И вдруг он про-

говаривается о каких-то странных деталях. Например: израненного братца каждые шесть месяцев таскали на перекомиссию, но, вообще-то говоря, чего ему было со своим дырявым пузом ее бояться? Ан выясняется, что родители отдали доктору из комиссии «полбарана», чтобы он не забрил братца обратно в армию. Так вот, откуда полбарана в сорок третьем или сорок четвертом годах? Или проскальзывает, что братца отпаивали после госпиталя молоком, так как у родителей была корова. И конец войны Фомич встретил на побывке дома с коровой.

Вот оно как.

УЛЫБКА КОЛЫМЫ

Человека более всего поддерживает надежда, предположение, мечта.

*Ф. Ф. Матюшкин.
Замечания к проекту нового морского устава*

Время на девять часов впереди Москвы — певекское уже. Легли на колымский отрезок пути. Все продолжаем ехать на усах у «Владивостока». Лед десять-девять баллов, часто сторошенные участки, с гребнем будет до пяти метров.

На огромной махине ледокола вертолетик, привязанный к кормовой взлетно-посадочной площадке, кажется таким слабым, нежным и женственным, что хочется подарить ему букетик багульничка.

Из-под винтов ледокола то и дело вспениваются рыже-мутные струи — Восточно-Сибирское море, в которое мы наконец прорвались, самое мелкое из арктических морей, и могучие винты «Владивостока» вздымают с грунта ил и песок.

Очень забавно, как чем-нибудь провинившиеся ледоколы начинают говорить по радиотелефону голосом с поджатым хвостом.

Вот только что ледокол разговаривал с вами воле-стальным тоном, сурово вас подстегивал и подкусывал. И вы ему послушно и почтительно внимали.

Появляется в небесах самолет полярной авиации.

И вы из подхалимажа к суровому ледоколу предупреждаете его деликатненько:

«Самолетик, мол, заметили? С правого от вас бортика! Летает там...»

«Сами не слепые!» — лаконично и презрительно обрывает ваш подхалимаж суровый бас ледокола.

Но тут с серых небес, с аленького самолетика раздаётся, в хрипах и шорохах, другой суровый голос — капитана-наставника:

«Ледокол, какой курс держите?»

«Сто девяносто семь!» — докладывает ледокол уже почему-то тенором.

«А кой черт вас несет не по рекомендованному курсу?!» — гремит с небес саваофовский глас.

«Тут... так... у нас... немного отклонились... следуем к теплоходу «Капитан Кондратьев»...» — все более тончает голос могучего ледокола, превращаясь уже прямо-таки в дискант новорожденного.

«А на кой ляд вы к нему следуете?» — гремит с небес и падает всем нам на головы вместе с воем самолета, который проходит в двадцати метрах над мачтами.

«Тут, э-э, свежие овощи должны принять с «Капитана Кондратьева», по договоренности!» — лебезит и виляет хвостом ледокол, которому на «Кондратьеве» приволокли из дома — Владивостока — пару ящиков огурцов или помидоров. Саваофовский небесный глас понимающе хмыкает и отпускает ледоколу грехи...

И тогда сразу голос ледокола делается стальным, суровым и недоступным в своем величии:

«Державино!» Почему ход сбавили?!»

И опять он, лицедей, начинает закручивать наши хилые гайки...

Злят физкультурники — бегуны вокруг вертолета на корме ледокола. Злят, конечно, тогда, когда тебе до предела тяжело и неудобно крутиться во льду, весь ты напряжен и обезвожен от напряжения, а тут перед тобой два или целых три здоровенных физкультурника занимаются укреплением здоровья.

После вахты слушал передачу для дальневосточных рыбаков.

Им сообщали, что в Рязани «всем на удивление выскочили опята, обычно появляющиеся в местных лесах в конце лета»...

На дневной вахте опять поломка в машине — лопнула прокладка в трубопроводе охлаждения второго цилиндра.

Механики не сообщают истинного времени, необходимого им на ремонт. В результате лишняя нервотрепка с ледоколом.

Механики просили сперва тридцать минут, потом еще тридцать, потом час и т. д. И все это я вынужден был передавать на «Владивосток». А мы подрабатывали «малым», ибо винт крутится от встречного потока, черт бы его побрал!

Арнольд Тимофеевич:

— Вот в тридцать девятом году мы на паровой машине плавали. Разве могла она при буксировке взять да и сама собой загореться? А тишь какая на пароходе, плавность...

На траверзе дельты Индигирки отдали буксир и долго стояли в ожидании, когда «Владивосток» закончит операции с «Капитаном Кондратьевым». Тем временем вертолет завел мотор и куда-то таинственно улетел.

Но Фомич-то сразу усек — куда! На Средней протоке Индигирки есть радиомаяк, а в дельте, среди озер, ручейков и рукавов, что водится? Рыбка! Она, желанная! И повез ледокольный вертолет в арктическую тундру служителям маяка ящик с пивом, а привезет, ясное дело, значить, несколько кулей рыбки.

Два часа летал.

И Фомич все точно прикинул — сорок пять миль до маяка. Прибарахлились ледобой. И теперь пьют и рыбкой закусывают. И бесплатность этой рыбки мучает Фомича и томит. Вся вообще рыба в мировом океане волнуется его. Ведь вот за бортом — бери голыми руками — бесплатная рыба! Все бесплатное всю жизнь томит Фомича. И особенно мучает его рыба. Еще он думает, что если бы изобрести средство от бритвы, то есть распространения растительности на мужском лице, то мужскому организму на этом можно было бы экономить полезные вещества, а так он каждый день псу под хвост сбивает и углеводы, и жиры, и роговое вещество...

Самый тяжелый за весь рейд лед — на подходах к Колыме: спускались к югу вдоль восточной оконечности острова Четырехстолбовой.

Уже ночь, уже солнце заходит, и мрак довольно густой.

Слепят прожектора, установленные на кормах на случай тумана. Их часто забывают выключить и в ясную погоду.

Холодно, а двери рубки открыты настежь. На одном борту Саныч, на другом я. Каждую минуту орем рулевому:

— Вправо больше не ходить! — это я.

Саныч:

— Право! Право! Викторыч, слева кирпич торчит!

Я:

— Чуть право, Андрей! Чуть-чуть! Саныч, у меня тут такой кирпич, что...

Саныч рулевому:

— Полборта лево!

Я одновременно:

— Полборта право!

И так шесть часов подряд.

С несчастного Андрея Рублева — пот в три ручья. Он в ковбойке, хотя по рубке из открытых дверей сквозит зверски.

Я как-то спросил Андрея, о чем он думает в такие вахты.

— А я торговков вспоминаю. Которые на морозе семечки продают. На рынке. Очень удивительные бабы. Весь день без движения стоят и семечки продают. А румяные! А веселые!.. И сами свои семечки и трескают!

Значит, Андрей, несмотря на огромное напряжение и великолепную работу на руле (иногда без приказа своим чутьем спасает судно от опасного удара), еще размышляет о бабах с семечками на архангельском базаре!

Подобный же вопрос задал кому-то из механиков или мотористов. Ведь мы с Санычем не только рулевого загоняем в пот, но и машину. Бывает, одновременно хватаемся за телеграф: он на своем крыле дает «стоп» или «назад», а я «полный вперед». Дело идет на секунды, и случаются моменты, когда перекричать друг другу смысл своего решения нет времени.

Впереди вынырнула в канале льдина. Я решаю прибавить ход, чтобы увеличить поворотную силу руля и отвернуть, а Саныч дает «стоп», чтобы отработать «задним», ибо считает, что отвернуть не успеем. И при этом

надо еще предупредить позади идущее судно об изменении своего хода, ибо и оно не велосипед...

Какие уж здесь нежности и ласковости с дизелем, когда дело идет о «быть или не быть»? И в машине, как и на мостике, ад кромешный.

Так вот, кто-то из механиков ответил на мой вопрос, что в напряженные вахты мечтает, как бросит плавать и устроится шофером на междугородные поездки. И всегда вокруг автомобиля будет земля, деревья, трава, поля, леса... Оказывается, тоже успевают мечтать!

Ну, а о чем думает капитан? По своему опыту судя, ни о чем. Даже о холоде и ледовых сталактитах под носом не думаешь. И вообще, тебя как бы нет на свете в обычном смысле. Ты весь в окружающей обстановке, и за собой самим тоже наблюдаешь со стороны, как за включенным в эту обстановку обстоятельством.

Кроме сигналов, которые дает глаз в мозг: «Правое-лево-стоп-назад-вперед», откуда-то поступают еще такие: «Устал! — Пятый час на посту! — Не забывай, что устал! — Осторожность! — Проси ледокол сбавить ход! Черт с ней, с этой «Перовской», пусть налезает на хвост!»

И все эти самокоманды проходят «на автомате», без членораздельности, которую сейчас вынужден наносить на бумагу в виде отдельных слов и предложений.

И вот выходим в полыню. Сразу чувствуешь и холод, и себя уже не извне, а из собственного нутра. И прислушиваешься к разному интересному, и вспоминаешь что-нибудь...

Почему-то положили в дрейф, хотя лед на востоке вроде бы разреженный.

Арнольд Тимофеевич (в адрес ледоколов и вообще мирового прогресса):

— Вот на железных дорогах в тридцать девятом за простой вагонов сразу и без всяких судов — за решетку, а эти пошлые атомы что делают?

Рублев (копируя интонации старпома и очень серьезно):

— Арнольд Тимофеевич, а это факт, что финны в тридцать девятом по такому же пошлому льду, как мы сейчас прошли, на лыжах подбирались к Архангельску и вырезали ятаганами наши караулы?

Старпом, который, как я говорил, вовсе не чувствует

не только юмора, но часто и злобной иронии в свой адрес, не сечет:

— Смешно слышать от старшего рулевого! Финляндско-советский вооруженный конфликт не захватил Архангельск. Я вам приводил подобные факты, но вовсе не такие, на материале Кронштадта. И нечего вам здесь околачиваться. Следуйте перебирать картофели!

Картошка, гниющая в хранилище,— вторая после взятия радиопеленгов кровная забота старпома. Сегодня прибавилась третья: график стояночных вахт в Певеке. Он корпит над списком очередности вахтенных у трапа с тщательностью и въедливостью Пиковой дамы, раскладывающей пасьянс в ожидании прибытия Германна, ибо панически боится Певека и длительной стоянки вплотную к берегу, то есть контакта наших молодцов с местным населением и винно-водочными изделиями.

Фома Фомич мучительную работу старпома по раскладыванию пасьянса стояночных вахт официально одобряет, но, в силу большого опыта, отлично понимает, что все эти графики при столкновении с чукотской жизнью полетят к якутской прабабушке и превратятся в кроссворд, который не распутают даже французские энциклопедисты класса Дидро.

Картофельным же вопросом старпом Фому Фомича все-таки умудрился довести до реакции на быстрых нейтронах. Ведь два часа ходовую вахту Арнольд Тимофеевич стоит со мной и два с Фомичом. И вот, когда в тяжеленном льду Фомич швейным челноком пронзает рулевую будку взад-вперед с крыла на крыло, а ему под руку и под ноги и под все другие места старпом пихает вопрос переборки картофеля, приговаривая еще: «Разве это лед?.. Не лед это, а перина... Вот в тридцать девятом мы шли, так это был лед!..» — то старый его друг-покровитель, регулярно пропихивающий фотографию Степана Разина на Доску почета, выдает такую реакцию, что даже белые медведи вздрагивают за дальними ропаками.

В 23.00 сняли с дрейфа.

И сразу «Ермак» казацки зарычал на «Гастелло»:

— «Гастелло»! Почему копаетесь?! Мало было времени на перекур?

— Правильно он его прихватывает,— одобрил Арнольд Тимофеевич.— Вот раньше на паруснике без же-

лезной дисциплины и с якоря невозможно было сняться... В корне всякое непослушание пресекали... Под килем протянут разок, а второй и сам не захочешь... Власть у командира была — так это власть, не то что теперь... Захочет командир, если он в одиночном плавании да от базы далеко, и вздернет любого голубчика на рее...

Только наш старпом растекся мыслью по древу, разбежался серым волком и разлетелся сизым орлом под облаками, как «Ермак»:

— «Державино»! Почему правее кильватера укатились?!

Я (Арнольду Тимофеевичу):

— Чего это вас, действительно, вправо тянет?

Рублев:

— Придется кого-нибудь из самых толстых на левую рею повесить...

Я (в радиотелефон):

— «Ермак»! «Державино»! Вас понял! Извините! Ложусь в кильватер!

«Ермак»:

— «Перовская»! Вы еще ближе не можете подойти? Нам давно в корму никто не впиливал — соскучились!

...Движение льда возле ледокола сложное, и не очень понятно, чем такое объясняется. Форштевень ледокола раскалывает лед, скулы его отталкивают. Максимального удаления отпихнутые льдины достигают на миделе, то есть на середине корпуса ледокола; затем они быстро стягиваются к его корме. Таким образом, льдины возле ледокола совершают вращательное движение.

Следить за ледовым вращением тянет, хотя утомительно для глаз и действует еще как-то гипнотически. И нужно усилием воли отводить взгляд в стороны, чтобы не проворонить очередной зигзаг канала.

Под конец моей вахты треснули несколько раз сильнее среднего. До чего неприятное ощущение, когда твое судно содрогается от удара, полученного ниже пояса. Истинно говорю вам — лучше самому получить удар в живот. Вот тут-то без всяких натяжек и литературщины ощущаешь свое судно живым, способным чувствовать боль существом.

При замере льял — междудонного пространства — у нас воды пока нет.

Когда стало рассветать, на небесах все тона и оттенки серебра, от черного, старинного до новенького.

Берега Колымы. Их увидеть надо. Жуткое величие жестокости.

Природа, из которой выморожено добро. Скулы спящего тяжелым сном сатаны. Дьявольские морщины присыпаны снегом. Неподвижность уже внегалактической вечности.

Это мыс Баранов.

Зады России. Их за всю историю видели считанные иностранцы — несколько полярных мореплавателей и ученых. Для большинства это оказывалось последним видением, ибо они гибли от тягот пути. И еще не скоро увидит русские тылы массовый немецкий, французский, китайский или итальянский зритель. А пока не увидит, толком в России ничего не поймет.

Вот писали художники Север, жуть заледенелых горных вершин, ледников — Кент, Пинегин, Борисов... Хорошо писали, прекрасно или похуже, но нет в их полотнах застывшей сатанинской мощи, иррациональной связи этих краев материка с вечностью и вселенной. И тут приходит на ум художник, который никогда в Арктику не ездил и на горы не забирался, — Врубель.

Ну, а кто здесь себя чувствует как рыба в воде, так это «Ермак». Успел использовать лежание в дрейфе и для прозаических дел: выклянчил у «Владивостока» двести килограммов свежей капусты. В обмен на капусту «Ермаку» пришлось взять до Певека пассажира — беременную дневальную с «Владивостока». Из Певека грядущая мама полетит домой самолетом.

Скоро разгрузка. Я, согласно положению, и в этой отвратительной операции должен принимать посильное участие.

Взял последние инструкции, информбюллетени и т. д. и т. п. по перевозкам на арктические порты. И кучу циркуляров.

Да, жуткий порт ожидает нас!

«Из практики перевозки арктических грузов в 1973—1974 гг. видно, что судовая администрация ряда судов при приеме и сдаче груза не руководствовалась приказами ММФ №№ 272 и 236, в результате чего в портах выгрузки обнаружены большие недостатки грузов, ответственность за которые возложена на перевозчика.

Например:

1. Т/х «Мга» — рейс из Ленинграда на Певек с 28/VIII по 10/X-73 г. В порту Ленинград по отгрузочным документам на судно погружены 2 бетономешалки. Одна на палубу, другая в трюм. При выгрузке в порту Певек установлена недостача 2-х бетономешалок. За недостачу груза пароходству заявлена претензия в сумме руб. 2213-40.

При рассмотрении дела в Арбитраже пароходство не могло защитить свои интересы за недостачу одной бетономешалки, так как последняя по документам была погружена на палубу. Счет палубного груза ни при погрузке, ни при выгрузке судовыми тальманами не производился.

За недостачу второй бетономешалки ответственность возложена на Ленинградский порт, т. к., согласно документам, бетономешалка была погружена по счету тальманов порта и до порта Певек следовала в опломбированных трюмах...»

Во как! Были бетономешалки — и нет их, царствие, так сказать, им небесное и вечный покой...

В довольно мрачном настроении поднялся я на мостик.

А погода была ясная, солнечная, легчайший ветерок, отличная видимость и всего несколько часиков до порта назначения. Мы миновали уже остров Роутан. И кромку льдов миновали.

На фоне всей этой природной безмятежности возник диспут о начале работ по снятию креплений с палубного груза.

Фомич на мое предложение начинать сказал, что рано: а вдруг мы на самых подходах к Певеку дырку получим? Не положено по правилам в открытом море палубные крепления отдавать... крен образуется от дырки и...

Андрияныч (который, ясное дело, усек, что мастер ревет):

— Фома Фомич, вы супругу любите?

— А она здесь при чем?

— А при том, что если мы получим дырку не во льду, а здесь вот, на открытой воде, и получим такой крен, при котором груз с палубы за борт пойдет, то, говорю тебе по секрету, тактично тебе говорю, единственное, что нас спасет, так это как раз то, что груз улетит за борт;

а если груз у тебя насмерть привязан к пароходу, то нам каюк. О нас-то, конечно, можешь не думать, но о супруге подумай: это ей такой гутен-морген будет, такой, значить, сюрприз и нюанс, что...

И Фомич задумался и посмотрел на меня. Я пожал плечами, показывая, что не имею ничего возразить старшему механику.

Минут десять Фома Фомич шептал что-то и шевелил губами, а я взором телепата давил на ту часть его черепа, где находятся лобные доли человеческого мозга. Эти доли заведуют нашим сознанием и решительностью.

На одиннадцатой минуте Фомич вызвал старпома и повелел начинать рубить проволоку креплений палубных контейнеров. «Но чтобы каждое зубило и ручник привязали веревочкой,—пороняют разгильдяи матросы за борт...»

Вот и знать Фома Фомич не знает, как и все мы, истории России, а тут повторил приказ самого Петра Великого! Петр, вводя по образцу цивилизованных государств салют наций, предусмотрительно написал в инструкции, чтобы к ядрам крепостных орудий были всегда привязаны веревки: дабы ядра из жерл пушек при салютном залпе можно было быстро и удобно вытащить. Петр и ядра сохранить хотел, и того опасался, что наши разгильдяи предки по рассеянности запузывают в приветственного салютом гостя боевое ядро.

Остров Четырехстолбовой остался по корме, а по носу на карте скромно открылся мыс Матюшкина. Среди сложных местных названий он выглядит так же неприметно, как мыс Карлсона на северной оконечности Новой Земли.

Приколымский островок Четырехстолбовой, забытый богом, описал в 1821 году мичман Матюшкин, совершив пеший переход с материка в компании с Врангелем. Всего за четыре года до этого он закончил вместе с Пушкиным лицей и уже успел обернуться вокруг света.

...Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседельи!..

Единственный раз в жизни Пушкин завидовал. Да, да, Пушкин завидовал! И не Данте или Гомеру завидовал, а простому моряку.

Какая притягательная сила в океанской волне!

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливым пути!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Сколько написано о слиянии человека с конем, парусом и машиной и ощущении счастья от этого; о счастье полета или штормового плавания под парусами. А суть, кажется мне, как раз в том, что нельзя разрешать себе полное слияние ни с парусом, ни с машиной, — нельзя! Двухлетант думает, что через такое слияние он сам станет ветром, морем, вселенной, временем. Это-то и отличает профессионала от любителя. Профессионал знает, что не должно допускать себя до подобных слияний, что работа полным-полна самоограничений, самообладания, самоконтроля и в силу этого полным полна скуки и рационализма.

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальные нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты постирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!

Перед отплытием волонтера Феди Матюшкина в первую кругосветку Пушкин напутствовал друга по части ведения путевых заметок. Он предостерегал от излишнего разбора впечатлений и советовал лишь не забывать подробности жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерными особенностями природы. Пушкин хотел фактов. Документализма, как ныне говорят, а не охов и ахов Бестужева-Марлинского.

В 20—30-е годы прошлого века очерки и заметки моряков-писателей публиковались щедро и пользовались огромным успехом у читающей публики, ибо базировались на романтизме — навевали золотые сны, уводили из кошмара родины в далекие и суперпрекрасные миры. Но этот «увод» совершался не беллетристами-литераторами, а обыкновенными моряками. Документальная подкладка сообщала их очеркам искренность, а грубоватость языка и неровность слога, например Головнина, вызывали у Бестужева даже недоуменное восхищение.

Волонтер Матюшкин записки в рейсе тоже вел, их нашли, но полностью и до сих пор не опубликовали. Первый раз частично использовали в 1956 году. Это опять к тому, что мы ленивы и нелюбопытны. А, возможно, это связано с тем, что будущий адмирал Матюшкин не одобрял офицеров-декабристов. Это, правда, не помешало адмиралу отправить в Сибирь Пушкину пианино.

Адмирал похоронен на Смоленском кладбище. Потому я знаю о нем с детства. Близко покоится бабушка моя, Мария Павловна. И мама, когда мы навещали бабу Маню и проходили мимо могилы Матюшкина, рассказывала, как он не разрешал бить матросов и считал, что молиться, ходить, спать, сидеть, петь, плясать по дудке — убивает человека сначала духовно, а потом и физически. И что по его настоянию соорудили в Москве первый памятник Пушкину...

При всем при том старик был крутоват. Незадолго до того как упокоиться на Смоленском кладбище, он написал замечания к новому морскому уставу. В устав проектировалась статья, разрешающая «во избежание напрасного кровопролития» сдачу корабля противнику при пиковом положении. Матюшкин на полях проекта заметил: «Ежели не остается ни зерна пороха и ни одного снаряда, то остается еще свалка или абордаж...»

И позорную статью не занесли в устав.

Баба Маня тоже была женщина строгая и крутого, такого адмиральского нрава. Ее в семействе не только слушались беспрекословно, но и побаивались трепетно.

Незадолго до того как упокоиться на Смоленском кладбище, она рассказала нам с братом притчу.

...Однажды люди шли тяжким путем по горам. Не было видно солнца днем и звезд ночью, тучи льнули к вершинам. Нашелся среди путников один, который назвался Проводником и вел их.

Путники истощились и часто падали, они давно уже съели последний хлеб. И Проводник, чтобы ободрить, сказал: «Вон, видите гору? За ней конец пути». И упавшие ободрились и поднялись. У той горы Проводник сказал им: «Я ошибся. Конец пути за следующей горой». И они пошли к следующей горе. И Проводник сказал на вершине ее: «Я солгал вам, чтобы упавшие ободрились. Конец пути только за следующей горой».

И путники долго прощали ему ложь, потому что она помогала им идти. Но наконец тяжесть разочарования стала невыносимой. И даже самые сильные пришли в отчаяние и легли на землю. Тогда Проводник сказал: «Вы не верите, что конец пути близок, потому что я много раз обманул вас. Но теперь я не лгу и, чтобы вы поверили мне, готов лишиться себя жизни». И он пошел к краю пропасти, чтобы броситься в нее.

Но никто и теперь не нашел в себе сил подняться.

«Люди,— тогда сказал Проводник.— Простите меня. Я опять солгал вам. Конец пути еще очень далек. За самой дальней вершиной еще нет и половины пути».

И тогда поднялся с земли один из спутников и сказал: «Веди. Я пойду». И еще один встал и сказал: «Я пойду тоже». И все сильные духом встали, решив лучше умереть в пути. А слабые духом остались и тем облегчили путь сильным духом, потому что не надрывали их душ словами сомнений и отчаянья.

А Проводник, бредя впереди, все не мог понять, отчего ложь о близком уже конце пути, ложь, которую воистину он готов был подтвердить своей смертью, не заставила людей ободриться. А правда о бесконечно еще далеком конце пути подняла людей с обочины дороги.

И они идут за ним, и он не слышит слез и стенаний, как слышал раньше. И даже песню запели, найдя для нее силы и твердость духа. И Проводник пел с ними: «Дорогу осилит идущий, хотя нет конца у дорог...»

...Осень, дождь, опавшие листья, грусть о самом себе, которая возникает возле могил. Слухи, что Смоленское кладбище скоро сровняют с землей. И величие горы Паркалай. Две вершины мыса Большой Баранов. И две речки впадают с обеих сторон мыса в Ледовитый океан — Крестовая и Антошкина.

Кекуры — каменные столбы — застыли в миллионнолетнем молчании на вершинах и склонах. Кекуры стоят семьями. И бессмертны, как хорошая семья. И стоят на смерть под натиском ветров, времен, снегов, льдов, туманов. И веет от кекуров древними поверьями, и клочья мамонтовой шерсти должны висеть на кекурах, ибо когда-то мамонты терлись о них, как наши свиньи о забор.

Сибирь под нами.

Сибирь, Сибирь, Сибирь — даль за далью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Значительная продолжительность плавания приводит к выраженному утомлению и нервно-психическому истощению плавсостава.

«Психогигиена и психопрофилактика», методические рекомендации судовым врачам

В ПОРТУ НАЗНАЧЕНИЯ

17.08.19.00.

Мучительно стали на правый якорь на внутреннем рейде Певека.

Итак, преодолев коварство льдов, туманов, черные замыслы злодеев ледоколов, зависть и недоброжелательность всего белого света, теплоход «Державино» прибыл в пункт выгрузки, в этот ужасный порт, где исчезают даже бетономешалки и бульдозеры, растворяясь в воздухе.

Вся династия Кио должна систематически навещать центр золотодобывающей промышленности Чукотки и учиться, учиться, учиться.

Если хотите представить себе здешние берега, то закройте глаза и сделайте над собой небольшое усилие: представьте тюленя длиной в десять километров и высотой в полкилометра. Теперь круто заморозьте тюленя, припудрите холку снежком и положите тушу возле синего-синего моря. Таков здешний пейзаж в летнюю, тихую и ясную погоду.

А почему мы так мучительно становились на якорь, хотя был как раз полный штиль и полная свобода маневра?

Потому что битком набитый черной магией порт Пе-

век требовал от теплохода «Державино» подойти поближе к портовым сооружениям. Разгар навигации, судов скапливается в ожидании разгрузки много. Морячков с рейда и обратно возит портовый катер. И чем ближе и кучнее стоят суда, тем проще их обслужить.

А Фоме Фомичу Фомичеву, как и всегда, хотелось бы отдать якорь на пределе видимости самого высокого певекского сооружения или даже на пределе видимости самой высокой береговой сопки. И потому последние две мили теплоход двигался на «стопе», используя вместо дизелей силу инерции и энергию портового диспетчера, которая передавалась на судно без всяких проводов в виде лая, мата и воплей.

Каждые пятнадцать секунд Фома Фомич прерывал диспетчера и спрашивал, не пора ли ему уже шлепнуть якорь.

Порт Певек орал, чтобы мы шли ближе к нему, Певеку, что он нас, черт возьми, еще и вовсе не видит, хотя сидит на двадцатиметровой диспетчерской каланче.

А Фомич держал телеграф на «стопе», чесал за ухом и спрашивал порт:

— Идем-то мы, дорогой товарищ, правильно, значить?

— Да не идете вы! Не идете! — надрывался диспетчер, наблюдая нас по радару. — Ползете вы, как вошь по мокрому животу!

— Ну, а теперь мы, значить, можем якорь отдавать? — запрашивал Фомич.

— Нет! — орал диспетчер. — Ближе подходите! Ближе! У вас машина закисла? Тогда буксир вызову!

Тем временем нас обогнал «Волхов», проскочил вперед и стал в самом удобном местечке на рейде. И когда наконец пришло время шлепать якорь, то по корме оказалась здоровенная «Советская Якутия». И Фомич никак не мог решиться дать приличный «задний ход», а без такого хода якорь не заберет. И дал Фомич «малый назад», в результате чего, естественно, положил цепь в кучу.

По прибытии в порт назначения я, как все настоящие, двухсотпроцентные моряки, немедленно завалился в койку, чтобы послушать шум подводной лодки или посидеть на спине — и то и другое, как известно, обозначает для начальства «отдых», а для нена начальства «дрях».

Мой отдых был прерван стармехом через полчаса. Иван Андриянович кипел. Он напоминал пароперегреватель.

Оказалось, зашел к старпому за витаминами, попросить «СР» — таблетки черноплодной рябины. Раньше случайно видел, что у Арнольда Тимофеевича в столе много баночек с рябиной, — вот и зашел, чтобы тактично одолжить витаминов. Старпом сказал, что уже все таблетки съел. Тогда Ушастик заметил мимоходом, что Тимофеич поступил опрометчиво, ибо тут такой нюанс: черноплодную рябину нельзя принимать при тромбозах. А у Спира тромб где-то там есть. И вот старпом непроизвольно дернулся к ящику стола, где рябина, чтобы посмотреть инструкцию на этикетке, но поймал себя на этом предательском движении и застопорился по дороге. А Иван Андриянович услужливо продолжил прерванное движение и выдернул ящик. И там обнаружилось двенадцать баночек рябиновых витаминов.

Я кое-как понизил температуру в Андрияныче и сел писать слезливое письмо в кадры с просьбой о назначении меня на курсы повышения квалификации судоводителей — это два месяца в Ленинграде при сохранении последнего оклада, — очень милые и симпатичные курсы, ибо ты два месяца только и делаешь, что соединяешь полезное с приятным.

Возле ворот порта Певек висит стационарный, на добротной фанере написанный масляными красками стенд-реклама. Среди пышных пальм призыв: «Приобретайте путевки в ТАЛАЯ — лечение нервной системы и органов движения!»

Не знаю, как обстоят дела с нервами у аборигенов, но нам не мешало бы навестить это таинственное ТАЛАЯ.

«Радость возвращения, эмоциональный подъем от выполнения рейсового задания нередко снижаются от портовой нечеткости в работе и необоснованного затягивания работ. В этот период у моряков отмечается чрезмерное перенапряжение, которое может привести к срывам».

Так пишут ученые-психологи. И честно, правильно пишут. В любом нашем порту труднее и нервнее работа, нежели в любых льдах и штормах.

Неприятно, что и моряки-капитаны в порту немед-

ленно утрачивают традиционные морские качества. В море каждый из них рванется на помощь совершенно незнакомому коллеге, рискуя и головой, и карьерой. В порту законы чести и совести утрачиваются. Кто более разворотлив и талантливее плюходействует, тот и выиграл.

Существует приказ министра, по которому в Арктике в порту назначения первыми обрабатываются (разгружаются) суда, первыми подошедшие к ледовой кромке. Но существует и положение, что первыми становятся к причалу в порту Певек те суда, которые первыми вошли в сам порт.

Наш караван подошел к Певеку кильватерной колонной, то есть одновременно. Но пока Фомич тянул Тома Кокса («тянуть резину» на английском морском жаргоне) с выходом на место якорной стоянки, нас, как я говорил, обогнал «Волхов».

Подпольная кличка у капитана «Волхова» — Сиволапый. Он умен, лысоват, не стар, органически не способен глядеть людям прямо в глаза и великолепный прохиндей в портовых делах. Кроме того, как потом выяснилось, он дружок одного крупного начальника в Певекском порту.

Первыми к ледовой кромке в Арктике прибыли мы — «Державино». И ждали потом остальных на Диксоне. Первыми в кильватерной колонне за «Ермаком» к Певеку опять подошли мы. «Волхов» обогнал нас в миле от порта и шлепнул якорь всего минут на десять раньше.

Сиволапый, используя этот нюанс, отправился к дружку на берег и легко утвердился первым в очереди на постановку к причалу под разгрузку.

Очередность в Арктике важная штука — каждые сутки количество темного времени (ночи) возрастает на добрые полчаса, ибо уже осень. И с каждым часом лед на пути обратно на запад тоже будет плотнеть. И еще: суда из Певека обычно следуют в Игарку под лес. Там очередь всегда будь спок какая! И там уже не существует льгот судну, первым подошедшему к ледовой кромке. Там обыкновенная, «живая» очередь. И потому надо стараться попасть в Игарку возможно скорее.

И в силу всех этих обстоятельств я взрываюсь и решаю вступить в драку с Сиволапым прохиндеем. Мне, честно говоря, домой пора, в Питер. И тянуть Тома Кокса за хвост, когда все права на стороне «Державино», я не собираюсь.

Фома Фомич из игры выходит — не хочет портить отношения с Сиволапым. Мне терять нечего. И на общее совещание капитанов прибывших в Певек судов к портовому начальству еду я.

Отоспался с ужина до утра без просыпу, бодр и полон сил для решительной драки за справедливость во всем этом мире.

В 13.00 портовый катер обходит суда прибывшего каравана и собирает капитанов на совещание.

Еще на катере говорю Сиволапому, что лучше бы ему самому отказаться от притязаний на незаконную постановку к причалу первым.

Он только хмыкает. 1) Он, побывав на берегу, встряхнул старые связи, подмазал бутылкой бренди портового диспетчера или презентовал кое-кому из нужных людей отрезик кримплена из вольного города Гамбурга. Кримплен отличная смазка — не мнется, держит форму, легко стирается, в Гамбурге стоит чепуху, в местных условиях ценится выше набивной мягкой шерсти, крепдешина и плотного шелка. 2) Капитан «Волхова» отлично сечет, увидев меня, что если на совещание едет не основной капитан, а дублер, то это значит, что Фомичев в драку с ним лезть не хочет. Дублер же есть дублер — то есть лицо второсортное, с зыбким официальным статутом.

— Вы не хмыкайте,— говорю я.— Мы первыми подошли к ледовой кромке и первыми обогнули мыс Желания. Я хоть и дублер, но назубок все приказы министра знаю.

— А у меня груз особой срочности и ценности — пушнина,— назидательно говорит он.— Я отсюда пушнину повезу, а вы балластом пойдете. Стране нужно пушистое золото. Срочно нашей стране оно нужно. Вопросы есть?

— Нет,— говорю я.— Нет вопросов. Но если наша великая страна получит выручку за ваше пушистое золото на недельку позже, то она, представьте себе, килем вверх не перевернется. Или вы считаете, что Союз Советских Социалистических Республик встанет где-нибудь с протянутой рукой на международном перекрестке, ежели вы после «Державино» станете к причалу?

Он опять хмыкает:

— Вы все свои соображения портовому начальству объясните, а не мне. И что там с вашим капитаном? Чего это его не видно? Какие-то нелепые слухи ходят — мол, из Фомичева уже весь песок высыпался.

— Ничего. Не беспокойтесь за моего капитана. Он, даже если из него песок начнет сыпаться, каждую песчинку подберет и обратно куда надо запихнет.

— Зря он так будет делать. Сами запомните и ему передайте,— назидательно говорит Сиволапый,— что воды приходят и уходят, а песок остается. Грузинская мудрость. Запомнили?

— Запомнил. Спасибо. А не видно моего драйвера-капитана, потому что вас побаивается. А я нет. Я на тему морского джентльменства в «Моряк Балтики» такую заметочку засажу, что вы ее до самого деревянного бушлата на ночь вместо молитвы читать будете.

Он опять хмыкает, но хмык получается уже менее уверенный.

Воображаю, как он сейчас материт всю мировую литературу и периодическую печать!

Катер швартуется. Вылезает на твердь. Идем к зданию управления портом. И вдруг Сиволапый спрашивает у меня:

— Вы раньше с Фомичевым работали?

— Нет.

— Удивляет вас, как это он среди джунглей вечных страхов и опасений жизнь без инфарктов прожил?

— Удивляет! — вырывается из меня помимо воли, ибо не следует перед дракой вести с противником отвлеченные разговоры — это, вполне возможно, психологический прием опытного человека, которым он хочет тебя раскислить и сбить с решительного настроения.

— А я вам объясню,— как-то задумчиво и беззлобно говорит Сиволапый.— Фомич истинно русский человек, истинно! Безо всяких примесей. Этим, значить, все и сказано. Я у него еще вторым помощником плавал. Знаю, что говорю. Нерусский-то от вечных опасений, страховок — ну, как он на якорь-то давеча становился! это же в кино снимать надо! — так вот, говорю, что немец какой или француз на месте Фомича давным-давно, в материнском чреве еще, через сутки после зачатия уже бы с инфарктом был, а Фомич нервы как раз имеет высшей пробы! Ему нервов еще на сто лет опасений и страхов хватит!.. А вы, товарищ дублер, сами не по-джентльменски собираетесь поступать! — довольно неожиданно заканчивает Сиволапый.— Нечестно свою связь с органами массовой информации использовать в таких наших делах.

— Хорошо, вы правы. Это у меня от злости вырва-

лось. Слово даю, что не буду. И никогда еще этим не пользовался. Но один вопрос вам можно?

— Хоть десять.

— Вы с Полуниным раньше работали?

— А кто он такой?

— Замначальника Восточного сектора. Здесь он сидит, в Певеке. И все РДО вы получали за его подписью.

— Нет,— длительно пораздумав, говорит Сиволапый.— Не встречались.

— А я работал. «Аргус» вместе спасали в Индийском. Слышали про «Аргус»?

— Слышал,— говорит Сиволапый. И в его черепе начинается перебор вариантов: десять в девяносто девятой степени вариантов.

— Так вот, я с вами сейчас никуда вовсе и не пойду. Я по Полунину соскучился. Навещу его. Прошное помянем, по рюмке протянем. Здесь-то уж нарушения морского джентльменства не будет, а?

С Полуниным лично я не знаком. Скорее всего, он вообще не знает про факт моего существования на этом свете и про то, что наши дороги пересекались на Каргадосе. Но если дело пойдет на ребро, на рубикон, напропалую, я Полунина найду и справедливость найду с его помощью — в этом я не сомневаюсь, ибо общее прошлое, как я уже замечал, людей сближает здорово. И слово «Аргус» будет для Полунина, как «Полосатый рейс» для Кучиева и как «Сим-сим, открой дверь!» для Али-бабы.

— Пожалуй, моя карта бита! — говорит Сиволапый и вдруг смеется.

Господи, как меняется человек, когда он смеется! И смеется без всякого раздражения. Умеет Сиволапый проигрывать — редкое качество. Не нашел он хода даже среди десяти в девяносто девятой степени вариантов.

— Почему это вы развеселились? — спрашиваю я, все еще подозревая подвох и замаскированное плюхождение.

— А потому, что пока Фомич подходил к якорной стоянке, то здешний диспетчер — я его давно знаю, спокойный человек, даже флегма, — так вот, говорю, на тридцатой минуте вашего подхода он трахнул графин с питьевой водой об стенку, а когда вы наконец шлепнули якорь, то он, диспетчер, с радости как бы ополоумел, по-

тому что разбежался от самых дверей диспетчерской и воткнулся головой в несгораемый сейф.

— А зачем у них там несгораемый сейф? — спрашиваю я, из последних сил защищая честь своего капитана равнодушным тоном.

— Спирт в нем прячут. Чтобы не испарялся.

— Ну и что вы всем этим хотите сказать?

— Что «что»?

— Цел?

— Кто цел? Графин?

— Нет. Сейф.

— Сейф-то цел, но от сотрясения бутылка со спиртом — вдребезги!

— Бедняга диспетчер, — говорю я с искренним соболезнованием. — Даст ему сменщик прикурить!

— Да на нашей работе не потешился б, дак повесился б.

— Зачем же вешаться? Это старомодно, — возражаю я. — Видите на примере вашего дружка, что новые методы появились, более соответствующие духу века: башкой в несгораемый сейф с хорошего разгона.

— Ну, на такое дело еще далеко не у всех ума хватит, — замечает капитан «Волхова». Подумав, добавляет: — Да и пространства на пароходе для хорошего разгона мало.

— Этого я не учел, — говорю я, уже кусая губы.

— Слушайте, — сквозь открытый и легкий смех спрашивает Сиволапый, — а как там этот пошлый Стенька Разин? Он меня чуть в гроб не загнал!

Предложена мировая. Конечно, принимаю ее с радостью.

— Слушайте, — говорю, — объясните, бога ради, как такие на флоте держатся?

— Наивный вы человек, хотя и писатель. Объясняю популярно, что еще никогда и никого с флота за трусливую тупость не выгнали и не выгонят. Если такого типа заносит в номенклатуру морской орбиты, то он так всю жизнь и кружит по ней, даже и при полном отсутствии в позвоночнике какого бы то ни было органического вещества. Этим я хочу только то сказать, что кто-кто, а Тимофеич себе на флоте местечко найдет, даже и в самый разгар научно-технического шквала, потому что флот — это вам не синхрофазотрон...

У дружка Сиволапого, то есть в кабинете одного из начальников порта Певек, происходит сцена, напомнившая мне сцену дуэли из «Героя нашего времени». В роли драгунского капитана, секунданта Грушницкого, выступил корешок Сиволапого. В роли Печорина — я. А Грушницким был Сиволапый.

Драгунский капитан никак не мог понять, почему Грушницкий засовывает пулю в пистолет Печорина, если они все так хорошо обговорили и пулю из вражеского пистолета вытащили. Дружок-корешок Сиволапого тоже выпучил глаза, когда капитан «Волхова» с ходу заявил, что имеет право только на третью очередь, ибо прибыл к ледовой кромке за «Державино» и «Комилесом».

— Но вы же первые стали на якорь в порту! — сказал драгунский капитан.

— Ладно, брось ты! — сказал Грушницкий и махнул рукой.

По Лермонтову, драгунский капитан тут плюнул, сказал, что, мол, подыхай, как дурак, и отошел в сторонку.

Так же поступил и корешок Сиволапого. Только сплюнул он не на кавказскую травку, а в мусорную корзину под служебным столом.

Я возвращаюсь на «Державино», торжествуя победу.

Возле трапа встречает Фомич. Рядом с ним наслаждаются солнечной погодой вахтенный Рублев и Анна Саввишна.

Передаю Фомичу привет от Сиволапого и сообщаю, что, согласно грузинской мудрости, воды приходят и уходят, а песок остается.

Фомич задумывается. Анна Саввишна говорит:

— Песок остается? Оно и так бывает. Все на свете бывает. Бывает, и у девушки муж гуляет.

Рублев спрашивает у нее:

— А знаешь ли, батона, как па-грузински кракадыл? Он спрашивает, как вы видите, по-грузински.

Анна Саввишна отмахивается. Фомич заинтересовывается:

— Как?

— Нианги, — объясняет Рублев.

Фомич вздыхает и приказывает:

— Раз ты, Викторыч, победил, сам и командуй. По местам стоять, с якоря сниматься!

И мы первыми из каравана идем к причалу.

Швартуемся с лоцманом и при помощи буксира «Ка-

питан Берингов». Вот, оказывается, еще какой почти однофамилец Беринга здесь плавал когда-то. И хорошо плавал, если его именем назвали судно.

Приехали окончательно: «Подать носовой продольный! Подать шпринг! Крепи кормовой продольный!..»

На портовом кране аршинными буквами, мелом: «ОСТОРОЖНО — ЗДЕСЬ ЖИВУТ ПТИЦЫ!»

Птичье гнездышко под крановой кабиной.

Восемнадцатое августа восемнадцать часов сорок пять минут местного времени.

На причале элегантный военный в накидке по последней моде и в шикарных черных четырехугольных очках. Форма какая-то странная, прямо-таки иностранный военный в мягком хаки! Оказывается: главный пожарник — встречает пожарные машины; так в них и впился глазами, так весь и подпрыгивает на причале от гордости и удовольствия, так мысленно и облизывает наш палубный груз. Еще не успеваем завести последние концы, как пожарник уже следит за стропами и кранами, и кроваво-красные пожарные машины с запасными черными колесами и лестницами на спинах осторожно поднимаются в воздух и опускаются на причал. Ну что ж! Теперь Певек может спать спокойно!

Собираюсь на почту. Приходит Галина Петровна, просит опустить письма, только не просто опустить в ящик, но обязательно заказными и с уведомлением о вручении.

— Может, ценной бандеролью отправить?

Она вздыхает, на миг прикрывает глаза и непроизвольно дотрагивается рукой до левой груди. Пошаливает у нее сердечко.

— Виктор Викторович, я должна вам сказать... извините, но... может, как-то подействуете... Я как-то встревожена за Фому Фомича... что-то такое не то с ним происходит... Уж я-то его знаю! Он... он... вот это письмо его родному брату... и он его под копирку писал, простое письмо, обыкновенное, я читала, а он — под копирку...

— Ну и что? Вы меня простите, но откровенность за откровенность. Ведь весь рейс Фома Фомич с Арнольдом Тимофеевичем берут расписки за что угодно, друг у друга берут и по любому поводу, хотя и знакомы давно, и... Я такое первый раз наблюдаю. Но... видите: все на море бывает...

— Нет-нет! Вы меня не понимаете. С ним что-то не то... Ладно, извините меня, бога ради,— и глаза ее набухли слезами.

— Галина Петровна, просто вы мужа знаете по дому, а наш брат мужчины дома и на службе часто разные вовсе люди.

— Наверное, вы правы, спасибо. Вы меня успокоили,— сказала она и ушла.

На почте, оказывается, обеденный перерыв. Жду его конца и раздумываю о «законе бутерброда». Ведь обязательно, если соглашаешься оказать кому-нибудь услугу, маленькую даже совсем — отправить письмо заказным,— то получаешь себе на шею массу лишних хлопот.

Давно опустил бы свою корреспонденцию в почтовый ящик и дело в шляпе, а тут...

А над территорией порта Певек гремит Высоцкий — шпарят его пластинку с гидрографического суденышка. Высоцкий музыкально и оглушительно озорничает во весь свой надрывный голос:

Мы топливо отнимем у чертей!
Свои котлы топить им будет нечем!..
И шуточку: «Даешь стране угля!» —
Мы чувствуем на собственных ладонях!..

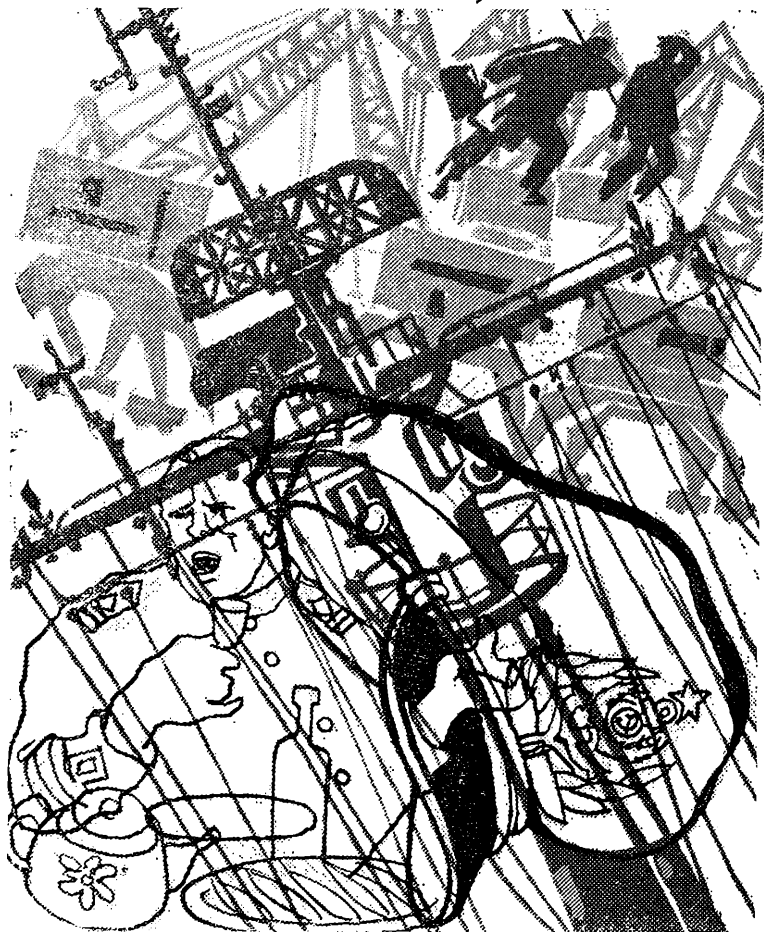
А ветерок дует с моря, а море синее, а чайки белые, а вокруг всякий портовый хлам, а Высоцкий ушкуйничает с гидрографа «Створ» во всю свою хриплую глотку:

Я не верю судьбе, я не верю судьбе!
А себе — еще меньше!..

А на синей воде бухты лежат кораблики, беременные генеральными грузами, а за бухтой дальний берег виден — замороженный тюлень в нежной дымке... Хорошо все-таки жить на этом свете, господа, если вы уже в порту назначения и скоро тронетесь в обратный путь, ибо — и это главное — ваше судно уже разгружается!

ШАЛОВЛИВЫЙ ГИДРОГРАФ И ЮЖАК В ПЕВЕКЕ

Итак, в соответствующем документе сказано, что в порту чаще всего происходят у командного состава стрессы и срывы. И это не только по причине сложности выгрузки-погрузки. Парадокс в том, что именно в родном порту или в порту назначения на тебя и на судно



наваливается бесчисленное количество комиссий, инспекций, поверяющих и всевозможных наставников.

Далекий Певек не оказался исключением.

К нам явился ревизор для проверки карт и навигационных пособий.

Шестьдесят шесть лет, толстый, «открывал Колыму» для мореплавания, ленинградец, сюда ездит уже пятнадцать навигаций, чтобы пугать нашего брата и зарабатывать полярные, фамилия графская — Бобринский.

Настроение Фомы Фомича к моменту появления гра-

фа-ревизора было великолепным. Мы только что вернулись от капитана порта, из которого Фомич выбил, выдавил, высосал, вымучил, извлек необыкновенно замечательную справку о полной выгрузке судна в порту Певек. Не о том справку, что груз сдан полностью, но что трюма у судов остались пустыми.

Про полезность такой справки Фомич услышал в Мурманске. И замучил грузового помощника, то есть Дмитрия Александровича, требованием справку получить. Тот нетактично отказался (что потом ему дорого обошлось, ибо Фомич человек памятный).

Выдавливание шлепка печати на заранее сочиненную Фомичом справку происходило в моем присутствии и оставило незабываемое впечатление как у меня, так и у капитана порта. Думаю даже, капитан порта Певек запомнил справочный эпизод еще лучше. И вздрагивать будет не только в живом сне, но и под гробовой крышкой.

Боже, как бодро и весело начальник попервоначалу орал на Фомича, как оптимистически и яростно топал ногами, как энергично швырял паркеровскую ручку на стол, и как презрительно плевался в мусорную корзину, и как грозил, что напишет на Фомича таких телег и в такие места; что...

А когда мы уходили, начальник обвис на стуле, потускнел взглядом, говорил... ничего он уже не говорил, ибо сил у него на какое бы то ни было говоренье не оставалось. И вообще, он был как муха, высосанная пауком. У него даже не хватило обыкновенных физических потенций совершить шлепок на бумажку с должной степенью давления на печатку. И Фомич ласково наложил свою руку на его и помог сделать отшлепок.

Гений Фома Фомич Фомичев! Гений, гипнотизер, парапсихолог, телекинет, наркотизатор, западнонемецкий колдун! Он выработал спецманеру говоренья с разной степенью слышимости. Например, периодически переходит на едва слышное произнесение набора слов, попури слов, вариацию слов, которые якобы имеют отношение к предмету разговора. Это как бы музыкальные темы, которые сплетаются в симфонию удушения любого нормального человеческого мозга. Живой мозг под действием разнотонового бормотания Фомича теряет упругость, размягчается, и слушатель хочет одного — избавиться от Фомича любой ценой — только бы избавиться!

И тогда цена удовлетворения перестраховочной просьбы капитана «Державино» о справке или иной бумажке начинается представляться несчастной жертве чепуховой по сравнению с опасностью навеки потерять разум.

Вот таким манером Фома Фомич получил справку о полной выгрузке судна в порту Певек, хотя такой бумажки никому давным-давно не дают и она никому не нужна, и — это уже нонсенс парапсихолога — у нас в трюмах еще оставалась добрая половина груза к моменту высасывания Фомичом справки!

И это не все! Фомич победил и сокрушил не только капитана Певека, но и его секретаршу, которая было ринулась на помощь высасываемому начальнику. А когда мы уходили, секретарша полулежала на кожаном диване в глубокой прострации и по выражению ее великомученического лица было ясно, что у нее страшная мигрень и она сегодня же возьмет бюллетень дня на три.

— Метод надо иметь во всяком деле, подход иметь, — объяснил мне Фомич по дороге на судно. — А наш второй помощник что? Тьфу, а не грузовой администратор и помощник! Меня, значить, в мореходке преподаватели больше тещ боялись под конец-то обучения, когда экзамены сдавал...

Бумажку-справку Фомич уложил в папку, папку в ящик стола, ящик закрыл на ключ, приговаривая: «Мы тут, значить, не почту возим! Нам тылы прикрывать — первое дело нынче!» Ключ спрятал в нагрудный карман тулжурки.

После такой сокрушительной победы в драйвере проявилось веселонравие какого-то неопределенно-неожиданного свойства. Он не просто откупился от графа-ревизора бутылкой бренди или блоком сигарет. Он заказал шикарный ужин с испанской мадерой, смирновской водкой и солеными грибочками.

А граф Бобринский поначалу запугивал нас такими зловещими истинами: «Товарищи судоводители! Плавание здесь, на трассе Северного морского пути, связано с трудностями, требующими от капитанов и штурманского состава особых знаний в вопросе гидрографического обеспечения и особой тщательности в отношении к соответствующей документации. Где отчеты о проведении со штурманами предварительных занятий?»

— Есть! Есть! Есть у нас отчетики! А вы вот грибочком, грибочком закусите! — говорил Фома Фомич, хотя

никаких таких идиотских отчетов у нас не было.— Сама Галина Петровна солила, а я, значить, собственно-ручно собирал. Ну, вкусили? Конечно, Петр Петрович, и у нас грешки найдете, но только когда нам пособия разные суют, так, значить, и времени проверить их нет, потому как сами, значить, знаете, мы всего восемь часов стоим. А водочку вы мадерой подкрасьте. Удивительные зрительные эффекты получаются в цветовом спектре... Нет уж, Петр Петрович, так у нас в династии не кушают, нет-нет, вы уж муксунчика тоже вкусите — не пожалееете...

А между прочим, фомичовское семейство действительно хлебосольное. И Галина Петровна даже электрический самовар привезла на судно. И угощал Фомич Бобринского не только для подмазки — затеял ужин-то, конечно, для этого, а потом увлекся от чистой души.

Бобринский, не будь дурак, понял, что перед ним: 1) встревоженный его появлением человек; 2) человек, любящий поболтать с гостем, с новым лицом, про себя порассказывать и собеседника послушать (потому что собеседник-то может и что полезное под рюмку-то сболтнуть).

И когда Бобринский это усек, то перестал нести чушь официальной фразеологией, а пошел-поехал пить, есть и еще супругу Фомича за коленку прихватывать шестидесятишестилетними пухлыми лапами.

Последнее Фомичеву не очень-то нравилось, но ради пользы дела он терпел и супруге строгий знак сделал, чтобы она, значить, тоже терпела.

Удачно напавшая графа ершом из мадеры с водкой, Фомич еще хотел и меня втянуть в это дело, но я проявил качества Ганди и пить не стал. И не жалею, ибо спектакль получился замечательный.

Надравшись, старикан-ревизор заревел песни приморской юности. Например, я, который интересуется фольклором, впервые услышал такую арию:

Липовый ты, липовый, жоржик-военмор!
Где же ты шалаешься, клешник, до сих пор?
Чаем ты да сахаром нагло обманул
И на мне, бедняжке, грубо спекульнул..

Короче говоря, старикан расшалился. Однако и слезу сквозь шаловливость пускал, когда раз пятнадцать подряд исполнил песенный номер из крепостного, веро-

ятно, репертуара,— в строку лучше будет: «Уродилась я, как во поле былинка,— безо всяких забот — кругла сиротинка. Девятнадцать лет по людям ходила,— где качала я коров, где детей доила...»

При первых исполнениях граф еще замечал, что героиня его качает коров и доит детей, спохватываясь и перепевал заключительный аккорд; но Фомич убедил гидрографа, что и в перепутанном виде замечательно у графа получается, и последние рюмахи тот лакал под качаемых коров, уже не пытаясь поймать обратно вылетевшее слово.

Затем шалун вырубился и был отведен мною в медизолятор, где я его уложил на стерильный хирургический стол-каталку. Затем закрыл открывателя Колымы на ключ под аккомпанемент жалобного призыва из-за двери:

Клешник, клешник, да не покидай ты нас!
Клешник, клешник, да не уезжай от нас!
Здесь приводишь ты девиц в экстаз!..

Призыв на меня не подействовал, и ключ от медкаюты я спрятал по примеру Фомы Фомича в нагрудный карман, чтобы уберечь старикана от публичного обозрения.

Сам Фомич немного раскис, торжествуя очередную победу над враждебной окружающей действительностью, и когда я вернулся к пиршескому столу, то по секрету сообщил, что всё про всё на пароходе знает. Даже такой нюанс, что начрации предусмотрительно не реализовал в европейском Ленинграде парики, купленные в последнем заграничье, а привез их сюда, и очень, значить, удачно у него получилось, потому как парики в арктически-азиатском Певеке идут аж по сто двадцать рублей штука.

Затем мысли Фомича метнулись в сторону разбитого автомобиля. Он часто возвращается к этой теме, ибо очередь на новый кузов в магазине на Садовой должна была подойти Фомичу в июне, а повестку, по данным дочки, все не присылают.

Кузов необходим Фомичу, чтобы продать автомобиль не без выгоды. Конечно, и с новым кузовом так сокрушительно разбитый драндулет за хорошую цену продать было бы трудно, но у Фомича есть в городе гараж — «сухой, полметра гравия, доски, сто рублей один полстоил». И под соусом гаража да и с новым кузовом он

десять тысяч из какого-нибудь директора — богатых-то директоров в Ленинграде пруд пруди — уж себе как-нибудь да возместит за пережитые ужасы.

Слово «директор» повлекло воспоминание о том, как Фомич служил в подразделении недалеко от зверопитомника-совхоза, директор которого был передовик и маяк, и потому к нему ездил в гости сам командир. Время было послевоенное, и какой-то враг выломал доску из забора, окружающего прогулочную территорию зверей, то есть из их, значить, как бы парка культуры и отдыха. И все песцы и чернобурки рванули на свободу в тундру. Тут передовому директору зверосовхоза засветила статья Уголовного кодекса. И маяк позвонил дружку, а тот по боевой тревоге поднял солдат и бросил в тундру на обратный, значить, отлов зверья. И вот Фома Фомич и другие солдатушки-братушки беглое зверье переловили вручную поштучно в ентуй проклятой тундре и лесотундре.

Сам факт проведения необычной операции не оставил в памяти Фомича какого бы то ни было неприятного осадка, ибо воины четко понимали, что времена тяжелые и родине нужны шкуры, но вот то, что зверей кормили творогом и даже измельченными яйцами, заставило Фомича и нынче здорово ругануться, и тем он сомкнулся с Рублевым, которого возмущают рационы белых медведей в зоопарке. А я подумал, что ловить песцов и чернобурок вручную, пожалуй, и посложнее выйдет, нежели загонять обратно в резервацию философствующего американского мускусного быка при помощи вертолета.

Гейзер возмущения, направленный в сторону бесстыдных гурманов — куниц, песцов и чернобурок, стоил Фомичеву посошка. Галина Петровна, промолчавшая, как копченый мусун, весь шикарный ужин, тоже взорвалась, выхватила из рук супруга сверкающую всеми цветами спектра рюмку и велела драйверу лезть в койку. Мне она объяснила, что после аварии у Фомы Фомича часто и без рюмки болит затылок, — так болит, что никакие таблетки не помогают.

Я это замечал и даже отметил, как мужественно умеет перемогать боль при окружающих Фома Фомич. Ведь мы любим пожаловаться на боль — она вроде даже слабеет от жалоб. Быть может, наука еще объяснит это самовнушением или чем-нибудь психическим. А Фомич

еще ни разу не пожаловался ни на какое недомогание, хотя устает куда больше меня.

Пожелав супругам спокойной ночи, я отправился читать воспоминания о Вавилове под музыку «Маяка». Купил воспоминания на почте Певека.

Я читал о Вавилове и глубокомысленничал.

Сколько существует формулировок того, чем наука отличается от искусства! А в сущности — так просто. Искусство обязано помогать человеку не терять веры в смысл короткого и парадоксального, вообще-то, пребывания на свете; и делать это при помощи возбуждения в человеке ощущения красоты и наслаждения от нее. А наука не способна убить в человеке припадки ужаса от сознания бессмысленности и глупости существования. Наука заботится о материи. Имеется в виду не ученый-творец, а потребитель его трудов, то есть не создатель телевизора, а телезритель. Так вот, если телезритель будет смотреть на шикарный телевизор, то это не поможет спастись от петли в тяжкий момент жизни; а если он увидит в тяжкий момент на экране «Сикстинскую мадонну» или «Жизель», то, может быть, и не повесится.

Около ноля вспомнил шалуна в медизоляторе и решил, что он проспался и пора отправить старика домой, пока на берегу не подняли полундру по поводу его исчезновения.

Я растолкал Бобринского только минут через пять. Отверзи глаза, он, конечно, не мог понять, где он находится и что медицинская обстановка вокруг обозначает.

Я объяснил, что он находится на борту теплохода «Державино», где им удачно проведена ревизия навигационных карт и пособий, и что сейчас ноль часов и ему самая пора убираться с нашего борта домой к маме.

— В-в-вызовите такси! — властно-нахальным тоном приказал он. — Ик!

Так как ближайшее такси находилось в Магадане, то я попросил разрешения у строгого начальника вызвать пожарную машину. Он отказался.

— Сказал: такси! З-зачем мне п-пожарная м-машина? И п-предупредите таксера, что это нетаксично... ик!

— Что нетаксично, детка?

— Так далеко е-ехать... сюда... ик!

Я вылил ему на голову стакан воды.

Он чуть очухался, пробормотал уже без командирских нот:

— Тьфу, черт! Помоги, сынок, одеться... Вот старый дурак!

Ему рано было одеваться, ему сперва следовало помыться и нужен был доктор.

Несмотря на позднее время, экипаж не спал. Смотрели телевизор. Через «Орбиту» транслировался из Японии женский волейбольный турнир на первенство мира.

Среди болельщиков была Анна Саввишна. Это значит, что она стала «отходить» после смерти кота. Слава богу, а то у меня за нее душа немного ныла.

«Отхождение» тети Ани в момент моего появления было особенно наглядно, ибо она как раз желала матросу без класса дневальной Клаве: «Чтобы никто тебе, такая-сякая, никогда до самой смерти под подол не заглядывал!»

Дамы, очевидно, чего-то не поделили в волейбольном зрелище.

Хохот после этого пожелания поднялся оглушительный, ибо о том, что самой Анне Саввишне туда никто (кроме Арнольда Тимофеевича в душевой) не заглядывал, знают все.

Док понял ситуацию с полуслова, не стал философствовать, то есть артачиться и говорить, что это не его дело. Наоборот, сказал, что знает несколько приемов для облегчения алкогольного токсикоза. Я поинтересовался тем, какие это приемы. Док объяснил, что пооблучает гидрографа солюксом и даст воды с пятью каплями нашатыря. Солюкс меня удивил, но я сказал, что ему виднее, и попросил, когда старик будет готов к депортации, доложить.

С вечера задул местный ветер «южак», уже дали штормовое предупреждение на восемь-девять баллов, по территории порта ездили машины без фар, и я побаивался отпускать старика в таком состоянии на берег.

Док оказался просто молодцом. Он откачал шалуна, помыл его и еще — сам убрал в медкаюте! Зачем доку плюс.

Спускаясь по трапу с борта, граф Бобринский бормотал: «Эх, водка! Эх, вековое наше проклятье!..»

Я отправил с ним салагу Ваню. А сам в десять тысяч первый раз стал к трапу в роли вахтенного матроса. Ване приказал довести ревизора до проходной и возвращаться

назад бегом. Но вернулся он только минут через сорок. И смущенно объяснил, что южак сорвал и унес в Ледовитый океан шикарную гидрографическую фуражку старика с огромной «капустой». И добросовестный Ваня чуть не утоп, пытаясь спасти фуру, но не спас. А пока занимался спасательными работами, старик заснул под порտальным краном, и его было не добудиться.

Шел второй час ночи. Ветер крепчал. И все вообще мне вокруг не нравилось. Я поднялся в рубку, позвонил в машину и попросил вахтенного механика на мостик. Потом позвонил старпому — он был вахтенным штурманом, но нормально дрых в закрытой каюте — и приказал поднимать боцмана, матросов и заводить добавочные концы, ибо ветер давил с берега, а судно было в полугрузу и уже высоко торчало бортом над причалом.

Мне доставило удовольствие сообщить обо всем этом Арнольду Тимофеевичу. На море есть много всевозможной отвратительной работы. Заводка добавочных концов в хороший ветер в середине ночи тоже не мармелад.

Явился вахтенный второй механик, умеющий сидеть в пригородном автобусе, когда вокруг качается два десятка дачниц. На мой приказ, отданный, конечно, со словами «прошу», «пора бы» и «не тяните кота за хвост», о приготовлении машины в связи со штормом второй механик сказал, что он не карла и без личного приказа деда и пальцем не дотронется до дизеля. Ну что ж, он вел себя точно так же, как на его месте вел бы себя я.

Пришлось звонить деду. Он не стал спрашивать, что, почему и зачем, сказал:

— Буду через пять минут.

Первым из палубной команды вылез на свет божий Рублев. По всем правилам попросил разрешения войти в рубку, поизучал обстановку, заявил, что тут не только барану, но даже и психологу ясно, что добавочные концы заводить придется.

— Это, значить, ты меня вроде бы бараном обозвал, а? — спросил я.

— Ни в коем разе! — заверил Рублев. Немного поблеял бараном: попробовал, так сказать, голос. И очень толково подсказал, что не мешало бы завести в корме вместо штатного кранца бухту старых тросов. Есть у них в форпике такая бухта, а южак только еще начинается и даст прикурить как следует; он, Рублев, однажды здесь

так кувырчался на «Анадырьлесе», что... такого и незабвенный майор Горбунов, который майором служил испокон веку и изъездил на верном коне всю Россию и многое видел, но такого безобразия, как тогда в Певеке на «Анадырьлесе», никогда не видел, хотя во всех обстоятельствах его жизни прямо или косвенно принимала участие нечистая сила. Закончил эту чушь Рублев голосом стармеха:

— У нас тогда нюансы были по нулям, валы стучали в машине оглушительно, а поршни цилиндров купались в масле!

И я хохотнул, как обыкновенный мальчишка, потому что это любимая присказка деда в щекотливые моменты, когда щекотливые для стармеха моменты надо перевести в юмористическую плоскость.

— Ну и чего вы расхохотались-то на этого попугая? — опять голосом Ивана Андрияновича спросил Рублев.

И я не сдержался и прыснул пуще прежнего. И тут обнаружил рядом натуральные уши натурального стармеха, а не рожу Рублева, которого и след простыл, как будто имитатора сдуло южаком за дальность видимого горизонта.

Ивана Андрияновича Рублев уважает и побаивается.

— Прости, Андрияныч,— сказал я.— Надо машину готовить. А второй механик мне в этой маленькой просьбе отказал. Без твоего личного приказа готовить не хочет. Если веревки порвем, таких дров на рейде наломаем, что все прокуроры оближутя.

Иван Андриянович, побряхывая со сна и тихо чертыхаясь, минуты две изучал пейзаж рейда и гидрометеопейзаж сквозь залепленные мокрой грязью окна рубки.

Ветер давил от ста тридцати градусов, был типа длительного упрямо-тупо-тягомотного шквала, при ясном небе, под девять баллов.

Кораблики на рейде вытянули якорь-цепи в струнки и сами казались струнками, только потолще — контрабасными, например. «Ермак» уставился огромным парусом ооновской надстройки на ветер и ходил на якоре, как задумчивый сом на спиннинге. Краны на причале вроде как покачивались, хотя это уже обман зрения был.

А на горушке правее городка неподвижно лежало плоское, тяжелое и чем-то жутковатое облачко — точно как в Новороссийске в ббру. Картинка от черноморской отли-

чалась только тем, что в Певеке чайки и в такую погоду не бояться садиться на волну.

Убедившись в том, что обстановка достаточно безобразная, Иван Андриянович гавкнул по телефону второму механику то, что требовалось по приготовлению машины, а затем поинтересовался, почему я не мог тактично объяснить ему нюансы прямо в каюте, когда он лежал в теплой постели, и на кой черт потребовалось его из постели извлекать,— он бы и из каюты мог позвонить этому прохиндею и вообще разгильдяю и лодырю, то есть второму механику.

— А потому,— объяснил я,— что иди-ка ты сам, Андрияныч, в машину и сам там приглядывай. И поднял я тебя только потому, что не хочу тебе неприятностей. Тут такой нюанс. До глубокой ночи по телевизору через «Орбиту» показывали волейбольный матч между японцами и нашими. Женский матч, между прочим. И никто из твоих маслопупиков и механиков, естественно, спать не ложился. И кроме того, половина под газом. Возьми вот бинокль и посмотри на бак.

— А там я чего не видел? — спросил Иван Андриянович.— Чего там мои маслопупики делают? Душ принимают?

— Не мотористы там, а боцман, то есть профсоюзный вожак,— объяснил я.— Добавочные концы заводит. Ты посмотри, посмотри. Интересно. В цирке-то давно не был?

— Тут такой нюанс, что я и без бинокля вижу,— мрачно сказал вриопомполит, бросив беглый зырк прямо по носу.

Да, наш толстяк боцман совершал на баке, заводя добавочные концы, такие кульбиты, стойки на кистях и задние сальто, что не только любой циркач, но и любой орангутанг ему бы позавидовал.

— Шеи они там не посворачивают, Викторыч? — поинтересовался стармех.

— Вполне возможно,— утешил я его.— Но еще хуже, если концы не заведем. Сейчас я их заставлю во главе со Степаном Разиным бухты старых тросов в корме за борт вместо кранца засовывать. Рублев посоветовал.

— А он-то хоть трезвый, трескоед этот?

— Да.

— Все ясно, Викторыч. Спасибо, что поднял. Пошел в машину.

За поддержание порядка на судне, то есть за порядок службы, отвечает старший помощник. Потому, когда Арнольд Тимофеевич явился с бака и доложил, что концы заведены, я тактично намекнул ему, что пароход скоро развалится и что ему пора прибрать толпу к рукам.

— У них деньги есть,— прогнусавил он, подтирая рукавом нос.— Я говорил! Я говорил, что нельзя на стоянке им деньги выдавать!

Ну, о чем будешь разговаривать с человеком, который бесстыдно демонстрирует бессилие гальюнщика, а не хватку и твердость старпома! Ведь на военной службе, где власть осуществить проще, нежели на гражданском флоте, он небось только и делал, что твердил «ежовые рукавицы». А здесь суровая действительность показывает крупным планом, что магические слова утратили творческую силу, и Арнольд Тимофеевич поневоле воздерживается от них, когда надо спуститься в низы к выпившим и недовольным им людям; и потому большую часть свободного времени в Певеке он сидит, закрывшись и выпучив глаза, а следовательно, и не имеет случая и возможности выказывать административные таланты, то есть буквоедствовать в зачете выходных дней дневальной Клаве, обозвавшей его ослом.

В последнем абзаце я по примеру Рублева обокрал Салтыкова-Щедрина.

Южак продолжал крепчать, судно било о стенку, хотя ветер был чисто отжимной.

Волновая толчея в бухте металась под ветром, как стадо овец под кнутом пьяного пастуха, то есть в самые разные стороны, и бежала не только под ветер, но и, отражаясь от противоположного берега, возвращалась обратно и била нас о причал.

Я по всем видам радиотелефонной связи пытался вызвать диспетчерскую порта, чтобы прояснить прогноз. Андрияныч уже доложил, что машины более-менее готовы, и, если дело шло к урагану, следовало подумать о том, чтобы отдавать концы и, пользуясь отжимным направлением ветра, выскакивать в море. Но диспетчерская глухо не отвечала.

Очень не хотелось, но я облачился в штормовик, опустил уши у шапки и отправился в диспетчерскую сам, выбирая путь за опорами кранов, за выгруженными штабелями грузов, за бетонными блоками строящегося склада, чтобы иметь прикрытие от сумасшедшего ветра, чтобы

он не сдул несколько десятков килограммов моей плоти в серую мешанину волновой толчеи под причалом вослед за фуражкой Бобринского.

Ночная пустынность была вокруг, все и всё попряталось от ветра и спало в порту Певек, используя такую прекрасную непогоду для спокойного отдыха.

Ветер обвивал прикрытия, как лиана баобаб, и доставал со всех сторон.

Возле здания диспетчерской валялся и трепыхался, забившись углом под крыльцо, кусок железа, явно сорванный с крыши этого заведения, которое оказалось абсолютно, по-лунному безжизненным.

Я обошел два этажа и не обнаружил ни одного человека! Вот какие нервы у наших полярников. Они не такие штуки здесь видели, чтобы сидеть в диспетчерской, коли работы в порту по случаю южака прекращены. Они нормально наяривали по домам.

А в кабинетах отдыхали от эксплуататоров пишущие машинки, арифмометры и старомодные счеты. На подоконниках цвели цветочки. И всюду горел вполне бесмысленный свет.

Зря я совершил путешествие сквозь бушующие стихии в эту обитель спокойствия. И, обозвав себя крепкими словами, сделав это вслух, от всей души, чем вызвал эхо в пустых коридорах, я отправился обратно на родное «Державино».

Надо быть моряком, чтобы знать, как уютно и прекрасно чувствуешь себя на судне, вернувшись после штормового путешествия по земной тверди, и каким райским теплом дышат грелки, и какой вообще аркадией оказывается твоя прокуренная каюта. И какое наслаждение подержать руки под струей горячей воды, и заодно помыть раковину умывальника — для соединения приятного еще и с полезным.

Само же путешествие мое не было вовсе бесполезным. Я, конечно, и раньше знал о местных ветрах типа боры здесь, но именно безмятежная пустота ночной диспетчерской и поведение других судов убедили в том, что все нормально, что ветер в ураган не перейдет и нечего держаться и думать об отходе от причала.

О чем я и сказал Андриянычу, когда он явился с предложением попить чайку, если уж я его поднял.

Дело шло к утру, ложиться спать смысла не было, и мы неторопливо попили чайку. И я услышал рассказ, как

роте Ушастика был дан приказ взять какую-то деревню. И они ее взяли малыми потерями, почти без боя, и, как все настоящие солдаты, обрадовались такому положению вещей — окопались, и даже костерки в окопах тихонькие развели: мороз был большой.

И вот подвозят им боезапас ездвые на лошадаках и орут, что в следующей деревне, куда отошли немцы, есть две копны сена, цельненьки, стоят за околицей, и что надо бы и ту деревеньку взять, потому что боевые клячи уже неделю не жравши и под ветром качаются.

А тут такой нюанс: командир роты был из кавалеристов и лошадей любил и жалел; и вот он тактично пошел по рядовым бойцам и провел симпозиум на тему: «Согласны они взять еще одну деревеньку или нет?» И раз такое дело, то воины и согласились, и взяли, и лошадак покормили.

— Неужели без приказа свыше, без штабов всяких пошли и взяли? — усомнился я. — Ведь за такую самодеятельность ротному могли ноги повыдергивать.

— Обошлось...

Вот так мы провели время до завтрака, а после завтрака по мою душу явился книголюб-пропагандист с просьбой выступить перед читателями местной библиотеки. Конечно, я согласился. Тем более и пропагандист понравился. Мы с ним целый час прорассуждали о Тейяр де Шардене и об искусстве.

Дочь пропагандиста четвертый раз поступает в Гне-синское, хотя, по его собственному выражению, «тупа к музыке и вместо божественного дара имеет по-матерински крепкий лоб».

Объяснив мне этот нюанс, несчастный отец ушел служить в золотодобывающую промышленность. А я глядел в окно каюты ему вслед.

Южак продолжал свирепствовать. Гаки порталных кранов мотались никак не маятниками Фуко. И все вообще напоминало Новороссийск до какой-то уже даже странно неприятной повторимости тяжелого сна. Штормовать в порту для моей психики куда хуже, нежели в море. Терпеть не могу сильный ветер на берегу.

И вот под вой певекского южака вспомнилось, как я пошел за «Справкой о приходе судна» в управление Новороссийского порта в разгар тяжелой многодневной боры. Такая справка нужна для оформления морского протеста, а протест должен быть подан в течение пер-

вых суток после прихода. Потому и пришлось переть по лунно-безлюдным закоулкам и улицам в управление порта.

Пока добрался до управления, бора сделала из меня и моей психики отбивной бифштекс. А в вестибюле сидела старуха охранница. Из уже ничего не понимающих в окружающей действительности старух, старух с крысиной настороженностью ко всему на свете, с некрасивой немочью, злобностью и фельдфебельской жаждой власти (подобной той, которую использует смотрительница ночного общественного нужника, выпихивая на обледенелый ночной тротуар ослабшего сердцем помирающего пьяницу, хотя он молит оставить до утра, потому что деваться ему некуда).

И вот я сцепился с такой старухой в вестибюле управления Новороссийского порта: она, не помню под каким предлогом и по какой причине, решила не пропустить меня в портнадзор.

Многодневная бора! И как люди в Новороссийске существовать могут?

У меня случился тогда первый и, слава богу, пока последний припадок с потемнением в глазах и полной потерей контроля над собой. От патологической ненависти к старухе и омерзения. Детали не помню. Помню только, как начали подниматься руки и потянулись к ее жалкой глотке. Это был настоящий припадок, это была настоящая, без примесей, достоевщина. Я мог ее задушить тогда.

Но нашелся какой-то бог, кто-то заорал внутри: «Ты сходишь с ума! Ты сходишь с ума! Ты сходишь с ума!» И вспухший мозг как-то опал. И я даже как-то физически ослабел. Старухи-то, когда сознание окончательно прояснилось, в вестибюле уже не было. Она, верно, крысиным чутьем почувствовала, что к чему, и смылась с девичьей проворностью в неизвестном направлении... И потом мне было стыдно и страшно самого себя. Ведь я, конечно, представил всю жизнь старухи, всю боль в ее ревматических ногах, опущенном после голодух желудке и доброй сотне всяких других мест и подумал, что в оккупацию она, быть может, наших раненых прятала или в их колонну свой хлеб кидала, и те-де, и те-пе...

Вот что такое многодневная бора на суше, о, как расшатывает она нервишки. Никогда ни в какой ураган на

море я не ощущал даже ничего похожего на тогдашнее затемнение в мозгах. Ведь в штормовом океане иногда даже петь хочется...

Певекский южак злобен, как новороссийская бора, но короток. Он исчерпал себя к полудню. А когда я отправился на встречу с читателями, был уже полный штиль.

До начала мероприятия посидел возле библиотеки на детской площадке.

Качели, турники, качалки.

Только деревьев нет.

Детство без зелени берез и пуха тополей. Во всем остальном певекские дети — обычные дети. Веселые, румяные, красиво одетые. И в том они еще обычны, что один похорошее, другой посреднее, третий — вылитый питекантроп. И каждого своя судьба ждет. В соответствии с тем, как он на детской площадке резвится. Один отчаянно качается на ржавых качелях или на доске, а другая куда-то на крышу сарая лезет и стремится туда с настойчивостью Дарвина, а третий к качелям подойти боится — заяц будет...

В библиотечном зале были накрыты столы — кофе, коньяк; свет, чисто, уютно, и даже живые ромашки в изящных вазочках.

Читатели дьявольского порта и библиотекари «тянут» в современной литературе так, что меня кидало и в пот и в краску — современную беллетристику знаю плохо, а вопросов уйма.

И я решил лучше почитать книголюбам свою собственную сказочку про булыжники. Она тем хороша, что ничего короче я в жизни еще не сочинил:

«Они лежали тесными рядами и всегда чувствовали плечи друг друга.

Они были булыжниками и все вместе назывались мостовой.

Каждый день булыжники работали до поздней ночи. По их спинам ехали машины, громыхали ободья телег, шагали люди. Воскресений для них не бывало.

Булыжники любили свою работу, хотя от нее у них часто шумело в головах.

Только глубокой ночью, когда засыпали люди, забирались в гаражи машины и, опустив на землю оглобли, замирали телеги, на дороге становилось тихо. Тогда можно было и булыжникам или подремать, или поболтать между собой о том и другом.

Иногда ночью моросил дождик и мыл булыжникам усталые спины. Иногда их поливали из длинных шлангов молчаливые люди в белых передниках — дворники. Дворники, вообще говоря, самые главные начальники над булыжниками.

Потом прилетал ветер, сушил на спинах и боках булыжников воду, обдувал песчинки.

Всем на мостовой это было приятно. И булыжники любили предутренние часы, когда можно было болтать между собой, смотреть на медленно светлеющее небо и чувствовать, как потихоньку начинают шевелиться возле них травинки.

Потому что, как бы тесно ни лежали в мостовой булыжники и как бы много ни ездили по ним машины, травинки — маленькие, тонкие, но живые — всегда находили лазейку и чуточку высывались из земли.

Когда начинал падать снег и мороз пробирался глубоко в землю, травинки переставали жить. Но до самой весны булыжники вспоминали своих травинок, и жалели их, и ждали, когда они опять начнут шевелиться.

Булыжники были хорошими, честными работягами, и они хотели знать, сколько кто наработал за день. Поэтому молодые считали все машины и телеги, которые проезжали по мостовой. Ночью молодые сообщали эти цифры старым. Старые не считали. Старые забывают арифметику и потому не любят считать.

Старые по ночам вспоминали прошлое и рассказывали о нем молодым.

Они говорили, что главная гордость булыжника — лежать на главной колее, там, где работы больше всего.

Потому что зачем лежать на мостовой, если тебе нечего делать? Для чего?

Но не все всегда думают одинаково. Да это, наверное, и скучно — всем всегда думать одно и то же.

На самой обочине торчал из земли большой и очень, очень твердый булыжник по прозвищу Булыган. Он был красивый — весь в блестках слюды, голубой с розовым отливом и очень гладкий.

Булыган торчал из земли выше всех других булыжников. И очень важничал от этого.

Никто не ездил по его спине. Все обходили и объезжали его. Потому что кому охота спотыкаться?

Как-то один пьяный человек зацепился за него ногой и упал. Человек рассердился и долго пинал Булыгана по голове каблуком сапога, а Булыган только смеялся над ним.

Он вообще смеялся над всем и над всеми. А больше всего — над своими братьями, которые лежали на главной колее и много работали.

— Вы глупые и серые булыжники! — кричал по ночам Булыган. — Вы каменные тупые головы! Неужели вам не надоело подставляться под вонючую резину шин? Неужели вам нравится брызгаться искрами под железными ободьями колес? Неужели вам не надоело смотреть на лошадиные копыта сквозь подковы? Ведь шипы на подковах так больно царапаются! Вылезайте, как я — повыше из земли, — и все начнут вас объезжать и обходить. Тогда вы долго будете молодыми и красивыми, такими, как я!

— Перестань! — обрывал Булыгана очень, очень старый булыжник по прозвищу Старбул. — Перестань! Мне стыдно слушать твои слова!

Старбул уже сто лет работал на разных дорогах. Он был весь в морщинах и щербинах, в конопатинках и шрамах. Старбул помнил еще те времена, когда по дорогам ездили в каретах, а женщины носили такие длинные юбки, что подолами гладили булыжникам головы.

Все на мостовой очень уважали и любили Старбула за мудрость и честность.

Старбул и в старости трудился больше других — и глубже всех других ушел поэтому в землю.

После строгих слов старого булыжника Булыган ненадолго умолкал и все старался перевеситься набок, чтобы скатиться с обочины в канаву. Там, в канаве, тек ручеек, росли тенистые лопухи. И Булыган хотел попасть туда, уйти от трудолюбивых братьев подальше. Но щепень крепко держал Булыгана, и скатиться в канаву ему все не удавалось. Разозлившись, он опять начинал издеваться над другими булыжниками и портил им настроение.

Он кричал Старбулу такие плохие слова, как «заткнись, старый!», и после этих слов Старбул умолкал. По-

тому что нельзя упрекать старого в том, что он стар. Ведь это не грех и не преступление — быть старым. И это совсем не весело сознавать.

Старбул умолкал, потому что ему было горько и обидно слышать такие плохие слова от совсем гладкого булыжника. «Портится, портится молодое поколение», — думал Старбул.

Так жили на мостовой булыжники и не знали, что ожидает их в будущем.

А люди, которые ездили и ходили по мостовой, говорили, что пора уже покрыть дороги асфальтом, чтобы твердые булыжники не портили шины машин, и чтобы не звякали рессоры в колдобинах, и чтобы красивее все стало на дороге вокруг.

Сперва люди только говорили об этом, а однажды перегородили мостовую деревянными загородками и повесили на загородки круглые железные бляхи с красными восклицательными знаками посередине.

Было лето. Солнце ярко светило. Голубое небо и солнце отражались в булыжных спинах. Тишина стояла над дорогой.

— Что такое? — удивлялись булыжники. — Почему так тихо? Почему солнце светит, а никто не ездит по нам сегодня? Старбул, что вы скажете об этом? Может, нам дали воскресенье?

— Подождите, я думаю, — отвечал Старбул. Он не любил торопиться. Но когда пришли рабочие люди и стали сыпать на мостовую чистый мягкий песок, Старбул сказал:

— Судя по всему, друзья, нас будут ремонтировать. Нас поваляют с бока на бок и пересыпят новой щебенкой. Лежите спокойно. Все будет хорошо. Грейтесь на солнышке...

— Ха-ха-ха! — немедленно загоготал Булыган. — Наконец-то я попаду в канаву! Люди не оставят меня и дальше торчать здесь и мешать им. Скоро ручеек в канаве начнет журчать вокруг меня, а лопухи расскажут мне всякие интересные вещи!

— Мы тоже будем рады расстаться с тобой, Булыган, — хором отвечали ему сознательные булыжники.

В полдень люди отодвинули с дороги загородки и пустили на мостовую тяжелые машины — утрамбовки.

Утрамбовки были ленивые машины. Они никогда никуда не торопились. Они едва-едва крутили громады колес, но под этими колесами-цилиндрами все булыжники делались одного роста. Под этими колесами тонким голосом пискнул Булыган и глубже всех других вдавился в землю, и треснул при этом пополам.

— Ой! — вздохнули добрые булыжники. — Бедный Булыган!

— Так тебе и надо! — сказали не очень добрые булыжники.

— Ты перестал быть булыжником, ты просто битый камень теперь, — сказал, подумав, Старбул. — И это хорошо, потому что теперь ты не будешь позорить наше звание. Но мне искренне жаль тебя. И постарайся понять, что и самый простой камень тоже может служить хорошо и честно работать, хотя он уже и не булыжник.

Так сказал мудрый Старбул, а Булыган замолчал навсегда, потому что простые камни не могут разговаривать.

К вечеру утрамбовки кончили ползать по мостовой. На смену им притащились машины, которых булыжники никогда раньше не видели.

Эти машины тоже были ленивы и никуда никогда не торопились. Из них тек на спины булыжников теплый мягкий асфальт.

К утру вся дорога покрылась им, а булыжники никак не могли понять, что случилось. Они ждали, когда опять начнет светать, покажется солнце.

Солнце, однако, не показывалось. Было душно.

— Какая душная долгая ночь! — удивлялись булыжники. — Надо спать: во сне время проходит незаметно. Какая странная ночь сегодня!

И они опять засыпали и все реже и реже просыпались. А когда просыпались, то видели только черное над собой. То есть они не видели ничего.

Потом они перестали просыпаться. Зачем просыпаться, если ничего не видно вокруг?

Только Старбул все не спал. Он был старый. Старые любят подремать. Им трудно долго не дремать. Но Старбул не спал и все думал.

Он лежал в темноте и тишине, потому что другие булыжники перестали просыпаться и разговаривать между

собой, и думал о длинной ночи, о травинках, которые почему-то перестали шевелиться даже на обочине мостовой.

«Может, травинки умерли? — думал Старбул. — Умерли так, как они умирают на зиму? Но почему? Ведь еще не холодно!»

Так он думал.

И все вокруг было тихо. Совсем тихо.

И вдруг, когда Старбул уже решил, что ему ничего не понять и поэтому тоже следует заснуть, он что-то услышал.

Это был слабый, едва слышный звук: «Ш-ш-и-х! Ш-ш-орх!»

Потом опять: «Ш-ш-орх! Ш-ш-и-х!»

И каждый раз, когда раздавался этот звук, темнота начинала давить на спину Старбула. Очень слабо давить и совсем ненадолго, но все-таки...

«Это несутся автомобили, — понял Старбул. — Они... они едут! Они едут над нами!»

Он хотел закричать об этом, разбудить все булыжники мостовой, но сдержался и стал слушать и думать дальше.

«Нас чем-то закрыли. Чем-то очень гладким, потому что никогда раньше по нам так быстро и с таким слабым нажимом не проносились машины», — понял Старбул. И еще он понял, что никогда не увидит солнца. Никогда больше дождик не будет мыть ему спину, а ветер сдувать песчинки и гладить его шрамы и конопатинки. Травинки перестали шевелиться потому, что они не могут жить без солнца и воды.

«Мы все больше никогда не увидим солнца, — думал старик булыжник. — Но зачем мне говорить об этом другим? Разве им станет легче? Пусть они спят и во сне ждут утра. Так им будет покойнее. Ведь хотя они и не знают правды, но все одно работают, даже во сне. Мы продолжаем делать дело, но нас не видно. Скоро все наверху забудут о том, что здесь лежим мы — старые булыжники — и держим на спинах гладкую темноту».

Так думал Старбул, и ему все больше и больше хотелось спать. Потому что зачем бодрствовать, если ничего не видно вокруг?

И он заснул.

А над ним было светло, и по асфальтовому шоссе мчались машины».

ПОПЛЫЛИ ИЗ ПЕВЕКА В ИГАРКУ

РДО: «В/СРОЧНО Т/Х «ДЕРЖАВИНО» СЛЕДУЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕДКОМ ЛЬДУ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ МЕЛЕХОВА ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ 7110 16033 7133 15800 7138 15600 7216 15300 ОТКУДА ЧЕРЕЗ ТОЧКУ 7200 15100 ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ В ПРОЛИВ ЛАПТЕВА ЮЖНЫМ ВАРИАНТОМ ВДОЛЬ ИЗОБАТЫ 8 МЕТРОВ».

Закончили выгрузку в 02.00, оформили документы и отошли на рейд в 03.09 22 августа.

Приказу следовать самостоятельно Фома Фомич сопротивлялся с такой же мрачно-смертельной решительностью, с какой все судовые буфетчицы почему-то сопротивляются ношению белого чепчика...

Когда говоришь по «Кораблю» (по УКВ), нажав тангетку, то собеседник никакими силами тебя прервать не может, ибо ты его не услышишь до того самого момента, пока сам, своей волей, тангетку не отпустишь. Вот эту-то техническую тонкость Фомич использует на всю катушку.

Удачно протянув резину таким манером с тангеткой часа четыре и вторично доведя диспетчера порта Певек до попытки пробить головой сейф, Фомич было уже решил, что ему разрешат не следовать самостоятельно и дожидаться «Комилеса» на якоре в бухте, но...

РДО: «НЕМЕДЛЕННОСТЬ ВЫХОДА КОЛЫМУ ПОДТВЕРЖДАЮ ТЧК РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ПОЛУЧЕННОЙ КАЛЬКОЙ ДАЛЕЕ ПРОЛИВОМ МЕЛЕХОВА ДАЛЕЕ ЗАПРОСИТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КНМ ЛЕБЕДЕВА КНМ ПОЛУНИН».

— Против лома нет приема, если нет другого лома,— пробормотал Фома Фомич.

И в этот момент (очень неудобный, неподходящий момент для подобного вопроса) Галина Петровна спросила у супруга:

— Это правда, что если чайка сядет в воду, то будет хорошая погода?

— Вообще-то, значить, правда,— ответил разъяренный неудачей Фома Фомич,— но и среди них падлы попадают! Сядет такая на воду, а погода-то и плохая!

Такую грубоватую реакцию Фомы Фомича можно еще



объяснить тем, что он, по его собственному выражению, «репу ломал» всю ночь на предмет какой-то где-то на нашем пути примерзшей ко дну Восточно-Сибирского моря подводной стамухи и какой-то еще неприятной радиogramмы с какого-то непонятого парохода.

Да! Чуть не забыл, что Фома Фомич за свое более чем полувековое существование так и не познал природу и назначение кавычек. Потому названия судов он всегда пишет без кавычек, чем иногда запутывает даже себя.

Но самым ужасным для Фомича бывает вариант, когда радиogramма действительно путаная и угадать ее философский смысл надо интуитивно. Так, например, од-

нажды ему принесли радиограмму, в которой вместо подписи отправителя стояло два слова «ПРОШУ ПИНСКИЙ», причем ни о какой просьбе разговора в тексте не было. Этот мучительный случай закончился только через двое суток, когда, придя в очередной порт, Фомич узнал, что там есть мелкий начальник Прошупинский...

Когда Фомич встречается в эфире коллегу, то сразу что-нибудь вспоминает из прошлого, ибо за долгие годы со многими работал или общался раньше. Это такие воспоминания: «Значить, этот-то, кажись, это он в пятьдесят щестом мне белье сдавал без процентовки, не на дурака нарвался...» Или: «А этот вторым механиком на «Коломне»... полтонны картошки у меня с ночной вахтой съел, а высчитать так и не удалось с него... Ишь холодильник оттрастил — на одни брюки два метра надо,— жрет, как трактор...»

Восточно-Сибирское море Фомич упрямо называет «Новосибирским». И в разговоре с капитаном порта Певек тоже так называл.

Еще о наивности Фомича. Он двадцать раз в Арктике и, например, впервые узнал, что летом не бывает северных сияний, — какая-то симпатичность в таком безмятежном неведении обо всем, что лично Фомича не касается.

Итак, в жутком Певеке дела закончены — судно обработано. «Обработать судно» звучит странно. Но смысл выражения простой — такой же, как, например, в выражении «обработать квартиру» на воровском жаргоне. То есть ее обчистить.

Сдали груз более-менее ничего. Не хватило двухсот двадцати банок консервов и нескольких мешков сахара.

Консервы воровали и жрали прямо в трюмах, бросая за борт пустые банки, певекские грузчики. Саныч припутал одного, но тот потом удрал, а бригадир не назвал фамилии.

С 12.00 до 18.00 вдоль острова Айон по узкой щели между семибальным льдом и берегом, в сплошном тумане при сильном солнце — самое омерзительное сочетание, ибо ничего не видно.

Много плавающих ледяных полей метров по сто пятьдесят — двести и отдельных внушительных глыб.

Около ноля вошли в сплоченный лед,

Уже ночь. Тьма.

За нами шел «Булункан». Фомич все науськивал его пройти вперед. «Булункан» местный, назначение на Колыму, осадка четыре метра, может огибать мыс Большой Баранов в четырех кабельтовых. Под берегом полынья чище. Выбрались в нее, пропустили «Булункан» вперед. Там (хорошо видно по радару) свинья псов-рыцарей — ледяной мешок.

«Булункан», не будь дурак, не полез, шлепнулся на якорь. Мы, конечно, тоже.

Я послал РДО на Чекурдах Лебедеву, что, мол, застряли, ждем рассвета, видимости, указаний.

Нашел туман, еще более глухой.

Под килем восемь метров, кромка в полутора милях, одно любознательное любопытствующее поле все норовит приблизиться и познакомиться. Очень настырно и навязчиво оно это делает.

Фома Фомич о «Булункане»: «Как бы его первым подтолкнуть. Вот он за мыс пройдет, нам скажет, что да как, тогда и мы пойдём...»

Разин: «В войну у нас одному командиру и старпому крепко припаяли. Они не прошли, а кто-то прошел. Надо ждать, но только так, чтобы кто другой не прошел...»

Утро. Развиднелось.

«Булункан» уже ползает у подножия Большого Баранова.

Фомич: «Плыть-то оно, значить, нужно бы... Но, значить, первая заповедь-то какая? В лед не входить — вот она, первая заповедь-то... И мы не пойдём. Вот когда «Булункан» окончательно за мыс проникнет и нам скажет, то... Нет, значить, первая заповедь: в лед без приказа не входить, самовольно, значить, не положено...»

А есть пока один приказ: идти к Колыме и потом к Индигирке самостоятельно...

Полдень.

Солнце. Ясность. Огромное небо. Тумана нет и в помине.

«Высокое» или «низкое» небо не зависит от высоты облаков. И при облаках оно бывает иногда огромным, а при чистом зените — низким. Почему небеса распахиваются, не знаю.

Над мысом Большой Баранов они распахнулись в голубую необъятность. И абсолютный штиль. И холодная стеклянная прозрачность вод вокруг льдов. И белизна

льдин. И зелень их подножий. Вот все-таки опять обнаружена зелень в Арктике.

И зелень ледяных основ сквозь прозрачную стылость вод не мертва. Глядя на такую изумрудно-салатную зелень, способен понять, что и вся жизнь родилась из океана.

Оранжевые лапки и клювы крупных полярных чаек. На каждой мачте и стреле сидит пассажир — чайка. Это те, которые насытились, безбилетники. У полярных чаек особенное — какое-то приветливое, самую чуточку испуганное отношение к судну...

Когда «Булункан» уже вошел в реку и говорил с диспетчером Колымы, Фомич решил соваться в лед у Баранова. И мы поплыли. И мне показалось, что в самых глубинах своего опасливого, но морского (!) сердца Фомич обрадовался тому, что пошел в лед. Но все-таки его сердце было, вероятно, похоже на чайчи лапки — оно часто поджималось и переступало по ребрам его грудной клетки, точно так, как это делают полярные чайки на льдинах.

Необходимо отметить, что тетя Аня резко и броско похорошела и серьги каким-то особенным блеском сверкают в ее ушах.

Близко места, над которыми я летал на разведку.

На путевой карте есть приписка: «Место высадки де Лонга». Его могилу на карте я не нашел.

Сутки нормального плавания в сильно разреженном льду.

Делать двум судоводам в такой простой ситуации на мосту нечего. И я мирно спал на диване в штурманской рубке.

Пока на вахте был Дмитрий Александрович, я видел хорошие сны. Потом заступил старпом. Я встал, спустился вниз, попил чай с сухим хлебом и не менее сухим сыром (среда) и опять завалился на диванчике в штурманской.

И был разбужен нечеловеческим по накалу испуга и значительности воплем старпома: «Виктор Викторович, снег!»

Еще не уразумев, что там за словом «снег», я слетел с дивана и влетел в рулевую осколком шрапнели, успев в этом полете все-таки заметить время по часам над штурманским столом — 05.15.

Оказался обыкновенный снежный заряд и, естественно, резкое уменьшение видимости, но при включенном радаре и чистом море никаких оснований для нечеловеческого вопля не было...

А Тимофеич смотрел на меня, как невероятно глупая, но невероятно верная собака, поднявшая хозяина с постели в пять пятнадцать утра бешеным лаем в адрес хозяйской дочери, возвращающейся с гулянки.

Всю следующую неделю — до траверза Хатанги — точное повторение того, чем я уже утомил вас, описывая дорогу на Восток.

Лед, лед, лед, лед, мы идем по Арктике... Лед, лед, лед, лед, мы идем по Арктике... Интересно, был ли Киплинг женат?.. Лед, полынья, лежание в дрейфе, лед, прибрежная полынья... День, ночь, день, ночь, мы идем по Арктике; день, ночь, день, ночь — все по той же Арктике...

В проливе Лаптева несколько тяжелых мгновений при вроде бы неизбежном навале на «Гастелло». Пронесло чудом.

Вообще-то, конечно, Арктика середины навигации другая, нежели в начале. Имеется в виду не сама Арктика, а наша деятельность в ней.

Начало навигации — это период с изрядной долей показухи, это много статей в газетах и вспышка энергии.

Сейчас Арктика — льдина, которая перевернулась вверх брюхом, то есть вместо заснеженной белизны вдруг показалась грязь и тина от всех мелей, на которых эта льдина сидела. Ледоколов не дозовешься, самолеты разведки уже все поломались и не летают неделями, корабликов набилось уйма, вожжи управления ослабели, организация оказалась полулиповой, все пошло по-русски — то есть извечным «давай-давай!»...

На траверзе Хатанги получили приказ ожидать атомную «Арктику».

Бездеятельный дрейф в ожидании ее скрашивал Шериф. Он все чаще делит с нами тяготы морской службы. И растет с такой скоростью, как будто воздушный шарик надувают велосипедным насосом.

В Певеке Саныч носил щенка к ветеринару, бедняге вкатили укол от бешенства. Он получил на этот предмет

справку с печатью и зазнался, и держится так, что напоминает мне меня самого в детстве. Помню, когда еще не умел читать, то ходил по улицам, держа перед глазами развернутую газету: читаю, мол, даже на ходу — такой грамотей. И вот один язва-мужчина взял да и перевернул газету перед вундеркиндом на сто восемьдесят градусов — я держал ее вверх ногами.

Шерифа Саныч собирался назвать Аполлоном или Аполло — в честь американских покорителей космоса. Потом решили, что это непочтительно по отношению к героям. А я еще добавил, что у одного сумасшедшего есть рассказ, который ведется от лица собаки-боксера, и звать боксера Аполлоном, и что такое имя подходит только для интеллигентских собак, а не для чистокровной чукотской лайки. И тогда по закону ассоциативного мышления его назвали Шерифом — тоже американское.

В 16.00 явился Арнольд Тимофеевич и занял на тему щенка, ибо обнаружил в ватервейсе кал, и что если еще раз обнаружит, то по законам и положениям имеет право щенка выкинуть.

Саныч попросил извинения и сказал, что немедленно после сдачи вахты пойдет и уберет. Умеет держать себя в руках второй помощник. Хотя сегодня получил какую-то неприятную РДО от жены.

Угрозы старпома выкинуть щенка пугают и меня. Это просто сделать так, что никто и не увидит: свалился, мол, щен по глупости за борт — и концы в воду. И Саныч теперь закрывает каюту, когда уходит куда-нибудь без Шерифа.

Дело в том, что щенок начал гавкать. И с каждым днем громче. И вот он, чувствуя врага в старпومه, гавкает даже тогда, когда тот транзитом следует мимо. Мало того, Шериф начал лаять по ночам, когда слышит, как в соседней каюте переворачивается с бока на бок Спиро. И Санычу пришлось смастерить щенку миниатюрный намордник. Попробуйте своими руками надевать душевному, обаятельному, пушистому существу — собачьему ребенку — намордник! Саныч сперва хотел запирать щенка на ночь под полубак, но потом мы решили, что такое еще больше Шерифа травмирует и обидит.

Внутрисудовая мелкая политика и даже дворцовые перевороты не для дублера капитана. Я прикомандированный. И в интриги Арнольда Тимофеевича со щенком тоже не совался. Но попробуйте избежать склок в квар-

тире, если в кухне у единственной плиты день изо дня толкаются Спиро, Фомиц, Ушастик, тетя Аня и вы.

И я тоже сорвался, ибо Шерифа полюбил, причин для раздражения на Спиро скопилась полная запазуха. Ну-жен был только повод.

Арнольд Тимофеевич при обострении ледовой обстановки, как я уже сто раз говорил, уюркивает с мостика в штурманскую рубку. Когда кризисная ситуация разряжается, он возникает на мосту.

Иногда у меня даже мелькает подозрение, что Спиро плохо видит вдаль. Быть может, этим объясняется его стоическое сопротивление приказу выходить на крыло и смотреть вперед при движении в тумане и тяжелом льде?

И нынче, когда подошла «Арктика» и начали движение, он исчез.

Я с левого борта проворонил ледовый выступ правой бровки канала, поздно прибавил ход, в результате судно не зашло на поворот в ледовую щель с достаточным радиусом циркуляции, чудом проскочили, но чпокнулись сильно.

И сразу появился старпом:

— Намучился с радиопеленгами. Один другого забивает. Понасовали радиомаяков — и не разберешься с ними. Вот в тридцать девятом — было всего два! Не спутаешь...

— Арнольд Тимофеевич, вы ведете себя преступно, — сказал я. — Я сниму вас с вахты, если вы еще раз уйдете в штурманскую при движении в тяжелом льду.

— Вы позволяете себе со мной так разговаривать, потому что я беспартийный! — прошипел Арнольд Тимофеевич.

Доктор, который от безделья околачивался в рубке, прыснул. Все знают, что карьерные неудачи старпом объясняет беспартийностью. И потому у него на душе в смысле карьеры покойно, вообще-то.

— Простите, — сказал я. — Но от своих слов я не откажусь. Если обрисовать ваше поведение Службе мореплавания, то дальше Мойки вы больше не поплывете.

— А если обрисовать парткому, что вы слушаете антисоветские китайские передачи, то и вы далеко не уплывете, — многозначительным и холодным, как вода на Колыме, шепотом сказал Арнольд Тимофеевич.

Мы были близко от Колымы. Потому и пришло такое сравнение.

Дело заходило слишком далеко, чтобы я мог позволить себе роскошь безответности.

— Зарубите себе на носу! — заорал я. — Зарубите себе на лбу! Что это будет ваш последний рейс, если вы не будете вести судно! Марш на крыло!

Он только ошалело закосил на меня глазом.

Когда человек с перепугу бежать уже не может, прыгать, ясное дело, тоже не может и говорить не может, то ему одно остается — ошалело и дико косить глазом. И это производит впечатление на слабонервных.

Ведь самые жуткие портреты — когда взгляд в три четверти.

Вот автопортреты, например, взять. Жуть берет от некоторых. Художники-авторы чаще всего смотрят с бессмертных полотен зрачком, загнанным в самый угол век, в офсайт.

И старпом, когда его прихватываешь, также оказывается всегда к тебе боком и бросает дикий, злобный взгляд, именно загнав зрачки в самый корнер глаз.

Когда я оторвался, он вылез на правое крыло и торчал там битый час, хотя мы скоро вошли в мелкобитый лед и ему как раз можно было бы и не торчать там.

Рублев сделал вид, что не слышал моего неуставного вопля. И для укрепления во мне такого ощущения с ходу принялся рассказывать о семейной жизни.

Первая жена архангелоса была из деревни. Звали Рыжая. До Рублева ей было как до лампочки, но необходима была ленинградская прописка. Через четыре дня после получения прописки Рыжая его покинула. Новая жена хорошая: все понимает, потому что плавала судовой поварихой. Теперь работает резчицей — режет ткань по выкройкам. Скучная работа. Девяносто — сто рублей. Требуется от Рублева мытья ног перед сном. Если он выкобенивается, сама ему моет, — еще одна в некотором роде Мария Магдалина. Недаром наш ас-рулевой носит такую знаменитую фамилию и имя.

У радиста первые связи прямо с Ленинградом. Слышно на два балла, но он просиял. До чего же всех людей тянет к домашнему.

С 12.00 до 18.00. Вдоль берега Прончищева, мимо бух-

ты Марии Прончищевой и островка Псов с генеральным стремлением к заливу Терезы Клавенес проливом Мод под водительством атомохода «Арктика». Судя по шумихе в газетах и в эфире, атомоход, вероятно, уже докатился вослед Пушкину и Наполеону до шоколадных этикеток и пирожных, и витрин кафе типа «Полюс», и миллионов спичечных коробок. И свирепый осетин подобрел. Мил и заботлив. А может быть, он улетел в отпуск, а командует другой дядя? Во всяком случае, «Арктика» даже шутит — грубовато, но пошучивает и с трогательной заботливостью предостерегает о всплывающих ледяных рифах.

Ледоколы похожи на безжалостных, перегруженных операциями хирургов еще тем, что на подходе вместо знакомства спрашивают:

«Державино», у вас винто-рулевая группа в порядке?»

«Да!»

«У вас на машину жалобы есть?»

«Нет».

«Как с корпусом — водотечность была?»

«Нет, слава богу!»

« Попрошу не говорить лишних слов!»

«А где я лишние слова сказал?»

«А про бога — лишние. Вам не кажется?»

«Простите, вас понял...»

Идти за «Арктикой» первые четыре часа было трудно, а последние два — страшно. Атомоход рвал суда из десятибалльного льда, как зубы из здоровой челюсти. Есть понятие «рвать с болью», и еще одно — «драка до первой крови». Оба годятся для передачи ощущений от прошедших двух часов.

Но сперва «Устюг», потом «Гастелло» оказались кормой вперед в торосистой перемычке, что вызвало у них самих некоторое недоумение.

Добрый дядя с «Арктики» посуровел и выразил скромное желание видеть их носы на курсе, а не смотрящими в зад. Но его понукания не помогли. Караван затерло многолетним льдом, при взгляде на который у меня начинали ныть давно вырванные зубы мудрости и сосать под ложечкой. И атомоход наконец сказал, что он способен помочь отставшим и потому будет выводить поштучно. Правда, это он уже не сказал, а опять прорычал.

Нам адресовался первый рык:

— «Державино»! Начинаем с вас! Держать дистанцию пятьдесят метров! Работайте «самым полным»!

Я чуть было не нарушил морские традиции. Очень хотелось зарычать в ответ: «Ты там от своих атомов с ума не сошел?!» Но, конечно, сдержался и бесстрастно переспросил:

— Я — «Державино»! Вас не понял. Какую дистанцию держать?

— Пять-де-сят мет-ров! И не бойтесь! У нас такая моща́, что в любой секунд дальше Брумеля прыгнем! По каравану! Слушайте внимательно!

И «Арктика» человеческим голосом объяснила всем судоводителям, что у нас инерция мышления, что мы боимся сверхмалых дистанций, а тактика плавания за атомоходом в тяжелом льду без промежуточного ледокола должна быть именно такой: минимальная дистанция и полный ход, так как атомоход вдруг заклинить и неожиданно остановиться при его мощности не может, а значит, и опасности впилить ему в корму с полного хода нет никакой.

Я честно попытался вникнуть в новую тактику возможно глубже, но не вник. И сказал Дмитрию Санычу:

— Фиг им, а не пятьдесят метров! Будем держать не меньше двухсот. Как думаешь?

— При полном ходе три фи́га им, а не пятьдесят метров,— мрачно сказал Саныч.— И не двести метров, а не меньше двух кабельтовых.

И мы врубилась в дьявольский хаос шевелящихся, вертящихся, налезających одна на другую, опрокидывающихся, встающих на попа льдин за кормой «Арктики», так и не преодолев инерции своего старомодного мышления.

Сегодня я знаю, что новая тактика оправдалась и атомоход внедрил ее в сознание капитанов тех судов, с которыми часто работает. Но в данном случае старомодность мышления нас спасла, ибо «Арктика» плавала первую навигацию и еще недостаточно знала самоё себя.

Минут через двадцать адского движения «Державино» содрогалось, стонало и молило о пощаде, а мы держались на крыльях мостика от сотрясений, как китайские болванчики, под аккомпанемент свирепого рыка: «Сократить дистанцию!»; так вот, минут через двадцать мы со смертным ужасом увидели, что атомоход встал! Встал перед нами так неподвижно, будто упер форштвень в

мыс Баранова! А мы работаем «полным вперед» и давать «задний» бессмысленно — Ушастик и застопориться не успеет. И всякие «право-лево на борт!» также бессмысленны — на двухстах метрах никуда не отвернешь. По инструкции и согласно хорошей морской практике, в подобных ситуациях положено одно — пытаться попасть застрявшему ледоколу своим форштевнем в середину его кормы: меньше последствия удара для обеих сторон.

— Андрей, целься ему в...! — крикнул я Рублеву.

— Знаю! Стараюсь! Только все одно скулой врежем! Струей отбрасывает!

Какая уж там «струя». Под кормой «Арктики» была не струя. Там кипели зелено-белые буруны, гренландские гейзеры и все разом, включая «Самсона», петергофские фонтаны от продолжающих работать трех огромных винтов.

Через несколько секунд эти красоты скрылись из видимости, полубак «Державино» и надстройки атомохода — вот и все, что мы видели. Вяло и неторопливо я переключил телеграф на «полный назад».

— Отзвоните аварийный, три раза отзвоните, — посоветовал Дмитрий Саныч. — Для записи в журнал.

Громадина «Арктики» нависла над нами, мы уже двинулись как бы под ней.

— И отзвонить не успеем, — сказал я и подумал о том, что Фомич, конечно, проснулся от адских сотрясений, с которыми мы шли последнее время, и сейчас стоит у окна каюты и горячо благодарит провидение за то, что на мостике в момент навала и аварии был дублер.

Вероятно, оставалось метра три, когда «Арктика» — несколько десятков тысяч тонн стали — в полном смысле этого слова присела, как обыкновенная лошадь перед прыжком, и прыгнула вперед: они успели вывести движители на полную мощность всех своих семидесяти пяти тысяч атомных лошадей и прошибли баррикаду стороженных льдов на границе ледяных полей, в которую уперлись. Кабы дистанция между нами была пятьдесят, а не двести метров, то... то секунд не хватило бы, и «Державино» оказалось бы без правой скулы и с затопленным первым трюмом — это как минимум.

Я перекинул рукоять машинного телеграфа на «полный вперед», очень торопливо перекинул — мощь семидесяти пяти тысяч атомных лошадей, превратившись в Ниагарский водопад кильватерной струи, ударила нам в

нос, и «Державино» почти вовсе потеряло движение. Когда я дергал телеграф, то представил теперь Ивана Андрияновича в машине и то, как он сыплет проклятия на идиотов судоводителей, которые на мостике сами не знают, какой, куда и зачем им нужен ход.

Потом вытер холодный пот со лба.

Я вытер со лба действительно обильный пот, и он действительно был холодным не от ветра и мороза, а от пережитого.

— Нечистая сила! — выдохнул Рублев.

— Пожалуй, какой бы у нас сокращенный экипаж ни был, а следовало бы вызвать на вахту второго матроса и мерить льяла беспрерывно, — сказал Дмитрий Саныч.

Оба были правы, то есть я был полностью с ними обоими согласен.

— Да, ребятки, это вам не фунт изюму, — сказал я. — Но теперь будем держать пятьдесят метров. Уверен, после такого урока ледобой больше не зазеваются.

И оба соплавателя согласились со мной.

А когда мы вышли в полынью, вместе с нами из-за туч вышло солнце; дьявольские льды засверкали, вода заголубела. С «Арктики», которая описывала крутую циркуляцию, чтобы идти обратно в перемышку за оставшимися там корабликами, кто-то помахал нам ободряюще рукой. Настроение наше стало солнечным. Мы легли в дрейф и глядели вслед «Арктике» и на далекие черные точки — застрявшие кораблики, которым еще только предстояло осваивать новую тактику ледовой проводки за атомоходами, и чувство испытывали приблизительно такое, какое возникает у человека, уже расставшегося с проклятым большим зубом и вывалившегося из кабинета дантиста в коридор, где он видит бедолаг, ожидающих своей очереди на экзекуцию. Или такое чувство мы испытывали, как у драчуна, который с огромной радостью обнаружил у себя на физиономии кровь, и потому прозвучало долгожданное: «Брэк!»

Благополучно выдернув в полынью все суда каравана, «Арктика» подняла в воздух вертолет. Мне всегда кажется, что надо быть профессиональным самоубийцей, чтобы работать вертолетчиком на судне: взлет с тесной площадочки на корме и посадка туда же с косого нырка.

При этом на корме атомохода горит чадный, какой-то

красно-черный, траурный костерчик — снос дыма показывает пилотам направление ветра над самой палубой.

К полудню атомоход отвернул правее, а нас отправил под наблюдением вертолета по прибрежной полынье, где чистая совсем вода.

И мы пошли по синей полынье, слева тяжелые и холодные, стальной тяжести снеговые тучи обложили берег Прончищева, в зените голубело непорочно, справа в белых льдах шла параллельно нам «Арктика», и вокруг всего этого дела стрекозой парил вертолет. И с него раздался голос в адрес головного:

— «Великий Устюг»; подо мной большое-большое стадо моржей! На ледяном языке! Я над ними завис!

«Устюг» ничего не понял и переспросил:

— Кто, какое стадо висит?

— Моржи, моржи подо мной! Большое стадо!

— Понял! Спасибо!

И все мы поплыли дальше, тараща глаза в бинокли, а вертолет повис над далеким белым ледовым языком, как привязанный веревочкой. Вероятно, он спугнул зверей, потому что минут через десять «Устюг» сказал:

— «Державино», осторожнее! Не задавите моржей! Они тут вокруг плавают!

И мы увидели справа и слева плавающих тесными группками-семействами моржей. И мамы-моржихи на-скакивали на маленьких и клыками гнали их в сторону от судов... Все — и большие и маленькие — были сивые, а бивни были белые.

Фомич вел судно. Он, конечно, чувствует некоторую виноватость передо мной. Ведь, когда судно попадает в стрессовую ситуацию, основной капитан, по неписаному закону, должен сам лететь на мостик и взваливать на себя ответственность.

Потому, услышав про моржей, он посмотрел на меня вопросительно-просительно и довольно неуверенно спросил:

— Викторыч, я объявлю, а?..

До чего же он обожает сообщать по принудительной трансляции экипажу всякие новости, когда экипаж спит после вахт.

И Фомич объявил о моржах и пригласил всех желающих на палубу. Прибежала и его супруга, и смотрела на моржей в бинокль, и ахала, все мы повизгивали и тоже ахали.

Как плохо будет людям без моржей!

Физиономии моржей смахивали на Виктора Борисовича Шкловского, прости он меня за такое.

И вспомнились его рассуждения. Он сидел на балконе Дома творчества в Ялте, подсматривал за Черным морем в щель между кипарисами и говорил сам с собой: «Даже вода устаёт течь... Киты устают отдавать ворвань людям... И перестают рожать... Устают стальные корабли. Они прежде всех... Моряки, которые шаркают вокруг земного шара, как платяные щетки, устают... Мне ничего не нужно, кроме того, чтобы мне не верили. Но и на это мне пришлось потратить немало усилий...»

«Ослабленный теми или иными факторами длительного плавания, моряк, как любой больной, становится гораздо чувствительнее, он более быстро воспринимает все, что слышит и видит, а поэтому более подвержен вредоносным психическим воздействиям». (Подчеркнуто мной.— В. К.) Очень интересно, что происходит утончение чувствительности, а не задубление ее.

Это из «Инструкции по психогигиене», очень толковой, откровенной, даже, сказал бы, мужественной инструкции. Наконец-то начали нам объяснять то, чего мы не знаем, но что знать необходимо с научной, а не интуитивной точностью. Например, открыто написано: «Оценка его половой способности женщиной представляет для моряка после возвращения из рейса особую важность. Потому необходимо объяснить моряку, особенно молодому, что дезорганизация полового акта обязательно зависит и от партнерши».

Традиционная российская целомудренность, часто переходящая в обыкновенное мещанское ханжество, в наш век играет особенно опасную роль. Ведь, если говорить честно, современная литература у нас часто такая бесполоя, что читатель теряет к ней интерес.

Теперь из другой оперы, но все-таки чем-то связанной с предыдущим текстом.

Перед трапом в кают-компанию висит большое зеркало. И каждый раз, когда я спускаюсь питаться, то вижу себя во всей красе, начиная с ног. В зеркале появляются кирзовые русские сапоги, а потом вся моя изящная фигура, не отягощенная жировыми отложениями.

И вот каждый раз я думаю о том, что тяжеленные русские сапоги легко делают русского мужчину — мужчиной. Даже если он вовсе и не мужчина от самой природы или от смертельной усталости. Вот в чем тайна нашей непобедимости! Солдат, добывший себе сапоги, — вдвойне солдат. А уж если со скрипом, да новые, да ежели погромче прогрохотать подковами на ступеньках, то любой замухрышка в русских сапогах уже и удалец из удалцов!

И стоит это укрепляющее средство двенадцать рублей.

06.00. «В эту заполярную ночь на черном серебре заштилевшего заполярного моря спали черным сном черные льдины».

Пожалуй, слишком красиво звучит, а?

Но это правда. В Арктике попадаются угольно-черные льдины.

Мельчайшие пылевые частички при извержениях камчатских вулканов стратосферными траекториями заносит черт знает куда — они выпадают и на арктические льды. Солнце разогревает частички, лед вокруг них тает, они оседают, уплотняются и наконец покрывают льдину черной кожей, совсем черной.

И вот в штилевую заполярную ночь на серебре вод иногда спят черные льдины. Ну, а то, что им снятся черные сны, это я сам придумал. Уж больно злит Арнольд Тимофеевич. Душа просит поэзии хотя бы в самодеятельном исполнении.

После того как я сорвался и наорал на старпома, радист рассказал, что это Спиро был инициатором донорства на морском флоте.

Году в семидесятом в газете «Водный транспорт» появилась заметка «Во имя долга». Газета сообщала о новом замечательном почине: чтобы все советские моряки стали донорами.

И вот оказывается, это Арнольд Тимофеевич зарабатывал таким путем общественное признание и политический авторитет, компенсируя, так сказать, беспартийность.

Ну что ж, не самый дурацкий почин. Быть может, несколько тонн здоровой моряцкой крови спасли кое-кому жизнь или продлили ее. И можно считать, что одно бо-

жеское дело Спиро совершил и может теперь помирать спокойно.

А то, что после ночной вахты перед сном я частенько слушаю зарубежные передачи — это факт, и пускай старпом думает, что имеет против меня козырную карту.

Чудеса происходят с эфиром в Арктике. То доносятся голоса с другого края света, то вообще ничего не происходит ни на каких волнах.

Сегодня в три ночи по местному вдруг услышал передачу из Каира на русском языке.

Дикторшу в Каире зовут Наталья Шериф — тезка нашего щенка, который уже растерзал в клочья шлепанцы хозяина.

ВСТРЕЧА В ПРОЛИВЕ ВИЛЬКИЦКОГО

К 14.00 подошел «Мурманск», повел на запад, прижимаясь к острову Большевик.

Около шестнадцати миновали меридиан мыса Челюскина — трудно он всегда дается, этот мыс!

Мысленно поклонился Семену Ивановичу Челюскину, с полярным штурманом сюда вышли три солдата. Они остались безмянными.

...И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге...

Поклонился я, конечно, всем четверым подвижникам. Радировали нотис на пароход к лоцману в Игарку на вечер тридцатого. До чистой воды, по данным «Мурманска», четырнадцать-шестнадцать часов. То есть у меня будет еще шесть часов во льду — и все. Ледокол сказал, что ребята из экспедиции «Комсомольской правды» ничего русановского на Большевике опять не нашли и уже вернулись домой в Москву.

Мимо островов Фирнлея в тяжелых перемычках.

Один раз застряли. Правда, и повод был: забирали с «Мурманска» двух пассажиров до устья Енисея.

«Мурманск» подошел изящно и четко в тяжелом льду, и мы приняли пассажиров спокойно, в полной для них безопасности.

Элегантный молоденький штурманец, в одной форменной курточке, при галстукке и в бальных туфлях на высоких каблуках, стоял в небрежной позе на самой корме ледокола (шел снег) и докладывал на мостик

дистанции и свои советы (очень толковые) по работе машинами и рулем.

Красиво все это было — отличные ребята растут на ледоколах. Интеллигентные и вежливо-достоинные. Догоняешь, к примеру, «Мурманск» (в тумане вдруг резко сокращаются дистанции до него), говоришь: «Ледокол, мы вас догоняем на «малом!»»

Вахтенный штурман ледокола: «Простите, «Державино!» Увлёкся радаром и зазевался! Добавляю ход!»

Когда бились в тяжелых полях под самым островом Большевик, «Мурманск»: «По каравану! У меня тут с правого борта медведь крутится! Попрощайтесь с ним!»

Мы: «Не отпугните его только!»

«Мурманск»: «Стараемся!»

И он нас дождался — мишка. Был чрезвычайно недоволен нашим появлением. Недовольство и брюзгливая раздражительность сквозили во всем — от морды до походки. Очень толстый был мишка.

Попрощались, помахали ему ручкой. Живи, бродяга, и не кашляй, и пусть тебе на шею не водрузится автопокрышка!

На выходе из Вилькицкого у кромки лежал в тумане «Ленин» с табуном-стадом речных перегонных корабликов — боялся вести их в тяжелый лед на ост.

Я, конечно, не удержался, вылез на связь с флагманом табуна, спросил, идет ли капитан Малышев.

Флагман ответил, что Малышев ведет кораблик вокруг Скандинавии и еще не догнал караван.

Послушали разговоры перегонщиков на их канале: — ...Выход на связь при чистой воде только по белой ракете...

— В Хатангу заворачивать не будем...

— Полыньи проходить, не подбирая буксиров...

— Да не танкер я! Я толкач! Я музыкант!

— Репетую: «Тридцать первый» не танкер, а из музыкантов!

— Спасибо, вас понял..

Толкач — это речной буксир, приспособленный толкать носом баржи. Чтобы видеть поверх баржи, на толкачах изобрели и внедрили очень высокую рубку. В реках это хорошо и удобно. Но когда наблюдаешь толкача в море, где он качается на шестибалльной волне, то удив-

ляешься, что несчастный ванька-встанька имеет на мостике еще живых людей.

Качаться там — то же самое, что космонавтам вращаться на центрифугах.

«Музыкантами» их прозвали потому, что первые перегонные буксиры-толкачи носили имена знаменитых композиторов: «Чайковский», «Глинка» и так далее. И хотя с нами, например, в шестьдесят четвертом шли художники — «Перов», «Верещагин», — но звали их уже только «музыкантами». Думаю, для перегонщиков этот тип судов останется «музыкантами» навсегда. Ведь в кличке просвечивает российское: «Пропадать — так с музыкой!..»

Капитаном-наставником Экспедиции спецморпроводок речных судов двадцать лет работал моряк и писатель Юрий Дмитриевич Клименченко. Ныне его уже нет на свете.

В трудный момент Юрий Дмитриевич протянул мне дружеский плавник. Я исчерпал материал, обмелел литературно. Стулья разъезжались подо мной. Царапающий скрип их ножек равно отвратителен всем на свете. Он не ободрял и меня, так как в довершение всех бед я разбил автомобиль, купленный на первый в жизни крупный гонорар за сценарий «Полосатого рейса». Автопозвончик в катастрофе участия не принимал, ехал я не из Института красоты, а из Михайловского в Пушкинские Горы, «Волга» на крышу не перевернулась, и потому сам на попа не встал, череп сохранил в целости, но машину разбил вдребезги и, вместо волевого сопротивления неудачам и невезению, раскис, бросил работу, налег на согревательные напитки — благо морозы стояли жуткие.

Как до Юрия Дмитриевича дошли с Псковщины обо всем этом слухи, не знаю, но вдруг получил от него письмо: «Виктор, по агентурным данным, твоя литература дала полный задний и отдала оба якоря. В этом году у нас намечается большой перегон на Север, и есть возможность устроить тебя старшим помощником капитана на одно из судов. На эту тему я уже говорил с морагентом в Питере. Деньги платят приличные. Нужно вспомнить «Правила предупреждения столкновения судов в море». Мои литературные дела тоже плохи — повесть обкорнали с двух концов. Жму твой плавник. Ю. Д.».

...Сейчас передо мной школьное сочинение от 1 октября 1921 года. Бумага традиционно пожелтела, много-

численные орфографические ошибки подчеркнуты красными чернилами и видны хорошо, текст выцвел.

«Что я больше всего люблю на свете. Я больше всего на свете люблю пароходы. Пароходы для меня все. Когда я хожу по Неве, то я останавливаюсь перед каждым судном и осматриваю его, как величайшую редкость в мире. Один раз мы с Кокиным и Дубинским пошли на Неву, чтобы покататься на пароходу. Это было втайне от наших матерей. Мы взяли с собой хлеба. Ветер был огромный, и было очень холодно...»

Когда Юра Клименченко писал это сочинение, ему было одиннадцать лет. Тринадцати лет он нанялся юнгой на яхту «Революция», суденышко попало в шторм, мальчишка жестоко укачался, зарекся плавать, но... в следующий рейс пошел.

Мы познакомились в поезде «Владивосток — Москва» в пятьдесят третьем году. И я завидовал его капитанскому виду, трубке, дальним плаваниям и дару рассказчика. Я, конечно, знать не знал, что в первый день войны его судно было захвачено немцами, а сам он интернирован и четыре года провел в концлагерях.

Сейчас передо мной, кроме мальчишеского сочинения, праздничные «меню», которыми тешили себя интернированные моряки и которые играли роль как бы подпольных листовок: «С Новым 1943 годом! Меню. Бутерброды с кровавым паштетом. Страсбургский пирог (из крови и картофеля). Фруктовое желе «Вюльцбург» (это название лагеря.— В. К.). Световые эффекты. Елка. Танцы. Музыка». Внизу рисунок — пароход под красным флагом и с красной полосой на трубе,— они верили, что поплывут под флагом Родины. А ведь это был еще только сорок третий год! За один такой рисунок, найди его немцы...

Юрий Дмитриевич автор и текста и рисунка. И он пронес «меню» сквозь все и вся. В лагере моряки отмечали дни рождения жен выпуском таких же листовок. Свои дни рождений не отмечались — только жен. На одном «меню» нарисована женщина, сидящая на диване с газетой «Правда» в руках,— опять расстрел на месте. Потому, вероятно, и в перечне блюд на самом первом месте — «запеканка с кровью».

Когда, после получения от Юрия Дмитриевича письма, я прибыл в прокуренную комнату штаба Экспедиции спецморпроводок для сдачи техминимума капитану-на-

ставнику Ленинградского отряда Клименченко, он заставил расставить плюсы и минусы над синусами и косинусами в одной довольно сложной формуле из мореходной астрономии.

В будущем перегонном рейсе астрономия нужна была мне, как киту акваланг, но капитан-наставник был непреклонен. Ведь когда он начинал плавать, моряки были ближе к Солнцу, Луне, звездам, нежели в нынешний космический век. Светила и Время были дороже драгоценностей. Моряки знали повадки первых вечерних звезд, по неуловимому дрожанию звезды в зеркале секстана интуицией чувствовали рефракцию. Они узнавали звезду даже в маленьком окошечке среди густых туч, и звезда помогала им и вела их через море, как некогда волхвов через пустыни Египта. Звезда соединяла прошлое и настоящее. А прекрасная — маленькая и скромная — Полярная звездочка тысячелетия честно работала для моряков, легко указывая им широту.

Теперь летают навигационные спутники — звездочки, сделанные на Земле руками людей. И мощные волны радиомаяков проносятся над океанами, давая морякам свои пеленга. И радары смотрят сквозь ночную тьму и туманы. И эхолоты щупают дно. И то Время, которое раньше везли с собой моряки, храня его как величайшую драгоценность, укутав его в полированное дерево, в бархат, — хронометр, — теперь вообще можно не везти с собой, потому что сигналы Времени летят над планетой каждые несколько минут. А все-таки было что-то значительное, символическое в том, как берегли прежние моряки Время на борту своих судов, в бурях и штилях, на севере и в жарких морях. Полезно вспоминать о Времени чаще. Полезно смотреть на вечные звезды. Полезно знать, отчего Солнце бывает при закате таким пронзительно, жутко красным...

Конечно, и сейчас молодого моряка учат астрономии. И будут учить еще долго. Но близость к звездам уходит, как ушли в прошлое скрипучие парусники. Сейчас многие уже считают, что нет смысла тратить время, отправляя молодых людей в учебные плавания на парусниках. Лучше использовать время на изучение электроники и полупроводников. Конечно, полупроводники такая же интересная и романтическая частица Вселенной, как и далекий Альдебаран. Конечно, во всем вокруг найдется достаточно прекрасного для ума и чувств пытливого че-

ловека. Но только нельзя ничем заменить тот шум, который рождается в глубине деревянной корабельной мачты, когда в паруса ровно давит ночной бриз. Этот шум говорит о вечных тайнах природы простыми словами одинокой сосны.

06.00. Ровно на последних минутах вахты вышли из льдов и распрощались с «Мурманском».

Напоминаю старпому, что надо проверить и продуть лаг — давно им не пользовались.

Думал, Спиро сам пойдет. Он посылает курсанта-практиканта, который, как и любой порядочный курсант, знать не знает ничего в электронavigационных приборах. И честно в этом признается. Тогда выясняется, что старпом сам не знает даже того, где на «Державино» шахта лага!

И вот ничего не знающий нудак все-таки посылает другого ничего не знающего продувать лаг. Занятная сцена (особенно для меня, который тоже знать не знает, где там у них продувается лаг).

Прогноз — шторм девять баллов от юга и юго-востока. Суда, идущие под берегом, будут прикрыты, а нам влупит по первое число — проложили курсы возможно мористее. И вот у Фомича очередные мучения: идти под берегом — там банки и проливы узкие; идти мористее — вжарит и будешь трепыхаться в свободном пространстве, как поплавок, — мы пустые идем, в балласте...

Все следующие сутки — гонки с «Гастелло» и «Устюгом» за место под солнцем Игарки. Кто вперед придет, тот первый под погрузку, тот раньше на две недели дома, — гонки клиперов из Китая на Лондон.

И у Фомича ретивое разыграло. В шесть принимает вахту у меня и говорит: «В восемь будет сто пятьдесят восемь оборотов!» И действительно, выдал из Ушастика целых сто шестьдесят.

Но тут в коленках у него появилась дрожь.

Есть на карте корректорская правка красной тушью. Среди тридцати — сорокаметровых глубин корректура «25». Так вот Фомич прокладывает курс правее острова Столбового, ибо опасается, что это «2,5» метра, а не «25». Солнце. Голубизна. Штиль.

И два силуэта судов, уходящих влево, срезающих угол, а он терзается над картой, где вдобавок есть и следы прошлых прокладок...

Так и не пошел человеческим путем, то есть за «Гастелло» и «Устюгом»!

Объясняет всем на мостике:

— Мне что, мне карьеру не делать... Это молодым, молодые рвут и мечут, вот, значить; а кто из моих-то од-ногодков больше других рвал да метал, так, значить, где они? А уже и нет их, этих-то, кто карьеру метал,— по-мерли уже, значить... Это молодые пусть, значить... На зокращенный экипаж, значить, рвутся или чего...— раз-глагольствует Фомич.

Он слушает переговоры судов по радиотелефону об очереди на погрузку в Игарке, о правилах связи с бере-гом, о получении денег.

И комментирует:

— Так, значить, мы последние придем, а раз послед-ние — чего нам теперь-то? Это вы — кто первые — шеве-литесь, а мы посмотрим...— И он глубоко счастлив тем, что придет последним, что впереди куча других, которые и утрясут все сложные вопросы отношений с берегом, и уточнят ситуации с портом, а ему пока можно чесать щеку, стоя в пижаме на мостике, и разглагольствовать об отсутствии карьерных побуждений.

Но сквозь разглагольствование пропечатывается что-то грызущее его, мучающее.

Да, страхолюбие не подарит ни на миг покоя; покой страхолюбам даже не снится. Но оно ничего общего не имеет с четким осознанием страха в себе.

В последнюю встречу Юрий Дмитриевич сказал, что больше не пойдет в море: решение окончательное и бес-поворотное.

— Почему?

— Я начал бояться, Витёк.

— А раньше никогда и ничего не боялись?

— Это другой страх. Ты его еще узнаешь.

— Тогда для пользы дела пару слов.

— Шли на баре в Обь. И вдруг — страх. Обстановка вполне нормальная. Я раз двести там ходил в тумане и в шторма. Что за черт! Сказал старпому. Он повел суд-но. Я ушел в каюту. Все, Витёк. Больше плавать не имею права. И обманывать себя не буду. Это — возраст, Витенька.

И больше в море он не пошел.

Я клянусь его памятью, что этот разговор был и все это правда. Разве скажет такое слабый?!

ЕНИСЕЙ, ИЛИ «СУСАННА И СТАРЦЫ»

30 августа вошли в устье Енисея.

До Игарки около суток. Там погрузимся досками и — домой.

Европейские речки добрее моря. Когда с зимнего моря входишь в Маас, Эльбу, Везер или Шельду, то кажется, что сразу можешь услышать мычание коровы и что все морские передряги остались позади. Конечно, такое недолго кажется — фарватер по какой-нибудь Западной Шельде сложный, — и хотя идешь всегда с лоцманом, но и сам смотришь в оба, чтобы не вывалиться из какого-нибудь белого сектора маяка и чтобы красный буй у кромки банки Спийкерплат оставить справа...

Входить в западноевропейские речки вечером при хорошей погоде, вообще-то, приятное дело. Ближе мелькают на автострадах фары машин, разноцветными окнами светят жилые дома, небоскребы, красуются в лучах подсвечивающих прожекторов шпили соборов и башни церквей...

А лоцман — какой-нибудь мсье Пьер — болтает о том, что инфляция растет и ему скорее всего придется отправиться в Кению: там лоцмана-европейцы зарабатывают пока прилично.

Зима. Холодно. Но мсье Пьер одет в легкую курточку. И ты удивляешься, как и почему европейцы не умеют или не желают замечать зиму, хотя она достаточно дрянная, промозглая и гриппозная. Европейцы переживают зиму в легких куртках и с рюмкой бренди в желудке, но обязательно подняв у куртки воротник и укутав глотку здоровенным шарфом...

Енисей доброй рекой не назовешь. Он суров, как и то стывшее море, которое осталось по корме. И ожидать мычания коровы с его далеких берегов не придет в голову. Подсвеченных соборов и небоскребов тоже здесь пока не увидишь.

Приняли двух лоцманов у Карги. Оба молодые, веселые, здоровенные и не дураки пожрать.

Лоцман только советчик. Ответственность с капитана не снимается, будь у тебя на борту хоть сотня лоцманов. Если куда вляпаешься, то судить будут тебя: «Судно всегда несет ответственность за возможную ошибку используемого им лоцмана».

Но с лоцманами, конечно же, легче дышать и этак немножко спадает с тебя напряжение.

Фомич (после обряда взаимных представлений):

— Вот, значить, прошу извинения, и в Тикси, и в Певеке, и на Диксоне мы никакой рыбки вообще не обнаружили. Не будете так любезны, значить, сообщить, как тут — река у вас большая, замечательная река! — так где посоветуете насчет рыбки поинтересоваться?

Оказывается, в Дудинке кое-какую рыбку еще можно сообразить, а в Игарке — только щука холодного копчения. Дудинку мы минуем без остановки. Потому щука вызывает у Фомича интерес и некоторое удивление:

— Она, вероятно, очень, значить, жесткая?

Оказывается, наоборот: мягко-раскисшая.

— А с грибочками в Игарке как? — интересуется Фомич.

Оказывается, в Игарке уже были заморозки и с грибочками дело табак.

Лоцмана не очень оживленно поддерживают разговор. Надоели им рыболобы и грибоеды: небось на каждом проводимом судне хоть по одному Фоме Фомичу, но есть.

Загрустивший Фомич произносит свое знаменитое:

— Вот те, значить, и гутен-морген...

И отправляется в каюту, чтобы сообщить супруге печальные новости.

Около часа ночи. Тьма кромешная. На нас прет мощь огромной реки, пресная и бесшумная мощь.

У левого окна — вахтенный лоцман. У правого — подвахтенный, которому почему-то не спится. У радара в позе командира подводной лодки (возле перископа на всплытии) — Дмитрий Александрович. На руле — Рублев.

Я по извечной привычке хожу взад-вперед и из угла в угол по рубке, автоматически огибая во тьме всякие препятствия.

Разговор о проблемах здоровья. Попутно обсуждается, какая из дикторш телевидения симпатичнее: которая ведет журнал «Здоровье» или которая заведующая «Музыкальным киоском».

— Чушь все это со здоровьем, — говорит вахтенный лоцман. — В последнем журнале «Наука и жизнь» я вы-

читал, что с одной бутылки пива человек получает столько энергии, что может бежать трусцой тридцать пять минут. В таком случае позавчера я должен был только на пиве бежать шесть часов подряд. И не трусцой, а галопом. Потом я две рюмки коньяка принял и мог бы играть в настольный теннис один час и сорок минут. А учитывая то, что я еще кружку браги выпил, то мог один час и двадцать минут горным туризмом заниматься. И все это без жратвы. Правда, эту чушь немцы выдумали.

— А главная чушь,— говорит подвахтенный лоцман,— это в необходимости движения. У меня отец всю жизнь здесь в Енисее отлоцманил. Какое уж тут движение у организма, а он до девяноста лет протянул.

— Виктор Викторович, разрешите, я свои соображения о замкнутом цикле жизнедеятельности выскажу? — спрашивает с руля Рублев.

В крошечной тьме далеко впереди по курсу подмигивают створные огни. Мы идем по реке с мощным течением, и рулевому, вообще-то говоря, положено молчать, чтобы не рассеивать внимание. Но я слишком хорошо знаю таланты Рублева и разрешаю.

Однако вахтенный лоцман относится к этому иначе.

— Вася,— говорит он напарнику,— встань-ка сам на руль, если рулевому поболтать захотелось. Можно, ма-стер?

Мне, конечно, не видно во тьме рубки выражение физиономии Рублева, но я знаю, что сейчас это выражение счастливого тельца.

Подвахтенный лоцман Вася становится на руль.

И... наконец-то Рублев добирается и до Виктора Викторовича Концецкого.

Я даже как-то вздрагиваю, когда слышу рядом собственный голос, с этим моим дурацким мягким «л» и дурацкой присказкой: «понимаете ли».

— Замкнутый цикл жизнедеятельности, понимаете ли, гениальная штука, это вам не фунт изюму. И я, понимаете ли, не возражаю, чтобы научные работники или, ясное дело, космонавты, понимаете ли, пили продукты своей жизнедеятельности. Им, как я, понимаете ли, догадываюсь, за это неплохо платят...

Первым прыскает Дмитрий Александрович. Лоцманна же еще плохо знают мою манеру говорения и пока выжидают.

Подлец Рублев продолжает:

— Понимаете ли, без замкнутого цикла, конечно, далеко в космос не улетишь, но я лично, понимаете ли, пить продукт жизнедеятельности ни за какие коврижки не буду, потому что, понимаете ли, я не научный работник, а простой эксплуатационник...

— Ну же ты и задрыга, Рублев,— говорю я.

В ответ:

— А вот, товарищи, в отношении бездвижения для организма, я, понимаете ли, без телевизора все это наглядно вижу. Возьмем современную утку в магазине. Бог мой! И что там в этом создании, понимаете ли, от мышц осталось? А? Ни одной, понимаете ли, мышцы в этой вонючей утке, а сплошной так называемый жир. Вот вам наглядное, понимаете ли, свидетельство, что такое вольерное содержание скота. Простите, понимаете ли, я оговорился, не скота, а уток. Заплатишь, понимаете ли, пять рублей сорок семь копеек. Потом переводишь этот утиный жир в чад на кухне часа полтора, понимаете ли. Потом, понимаете ли, часа два квартиру вентилируешь, потом, понимаете ли, жевать в ней нечего. А корень, понимаете ли, в чем? А в том, что эта несчастная утка всю жизнь провела без движения...

Я много раз слышал свой голос и по радио, и с магнитофона, и даже по телевидению, и каждый раз удивлялся, как это люди меня могут терпеть; но в исполнении Рублева это звучит просто потрясающе.

Хочут уже оба лоцмана, не выдерживает и сам Рублев, полувисит на локаторе Дмитрий Александрович.

Затем Рублев вопрошает:

— А вот кто из вас знает, почему Фома Фомич ванны боится?

— Ты лучше расскажи, как Фома Фомич в Лувре был и на древнегреческого Геракла любовался,— просит Дмитрий Александрович.

— Не, это потом,— говорит Рублев.— Это я теще расскажу.

Если бы не было на флоте таких людей, как наш Копейкин, думаю я, то все мы, конечно (прав Сиволапы!), неизбежно оказывались бы в дурдоме после одной только разгрузки в порту Певека.

Мои глубокомысленные размышления прерываются нечеловеческим, но женским воплем. Потом мы слышим,

как где-то на трапе бьется посуда. Судно не качает, плывем в реке, и происходящее совершенно непонятно.

— Аньку опять кто-то насильничал? — гадательным голосом спрашивает тьму Рублев.

И, черт побери, он оказывается прав.

Анна Саввишна несла нам бутерброды и чайник с кофе, а из душевой, благо ночь глухая, в совершенном неглиже вылез третий механик и столкнулся с тетей Аней тет-а-тет.

В Тикси на голую тетю Аню набросились одетые мужчины. А тут голый мужчина набрасывается на одетую тетю Аню.

И тарелки с нашими бутербродами и наш растворимый кофе обрушились на распаренного механического Адама. Спасаясь от девственницы, третий механик задрался обратно в душевую.

Все это мы узнаем потом, а пока только прислушиваемся к звону бьющихся тарелок и воплям.

Наконец тьма рассекается острой полоской света из дверей. Вместе со светом и с его скоростью в рубку влетает Анна Саввишна.

— Ой, голубчики, ой, что это на пароходе деется!

— Закрывай дверь, дура,— говорит вахтенный лоцман,— мы на поворот заходим, а ты нас прожекторами слепишь.

Тетя Аня захлопывает дверь. И в еще более глухой тьме, которая всегда бывает после неожиданного света, мы слышим ее, тети Ани, но молодой напев:

Калинушка с малинушкой — лазоревый цвет,
Веселая беседушка — где мой милый пьет...

Ну, ясное дело, понимаете ли, это поет уже Рублев.

— Янот бяхвостый,— следует на этот куплет уже настоящий голос тети Ани.— Одних тарелков на пять рублей разбила, а он хикает.

— Успокойтесь, Анна Саввишна,— говорю я, хотя еще не знаю, что на трапе голый третий механик совершил наскок на нашу буфетчицу.

Вот так продолжает течь жизнь лесовоза «Державино», когда мы, преодолевая силой трех тысяч лошадей течение, заходим на поворот в очередную излучину огромной, мощной, даже чудовищно мощной реки.

Енисей иногда почему-то напоминает мне Орион.

— А пожрать все-таки принеси,— говорит подвах-

тенный лоцман тете Ане,— но если с ковра бутерброды обратно поднимать будешь, я на тебя в Верховный Совет пожалуюсь.

— Да что вы, мальчики,— бормочет во тьме Анна Саввишна,— сейчас и новую кофю заварю, и бутербродов наделаю.

— Только дверь за кормой быстрее захлопывай,— просит вахтенный лоцман.

Опять острый свет из дверей пронзает тьму рубки.

— Вася, ты все-таки больше на течение бери,— говорит вахтенный лоцман напарнику.— Смотри, как несет. Тут на снос и двадцать градусов мало будет.

— Да я двадцать пять давно держу,— говорит тот, который заменяет на руле Рублева.

— Давай-ка все-таки про Лувр,— возвращает всех нас к прежней беседе Дмитрий Александрович.

— Не, сказал, не буду про Лувр, и не буду. Сперва про то, как Фома Фомич ванны боится и шею не моет.

Рублев не был бы Рублевым, если бы, сказав «нет», потом изменил своему слову.

Дмитрий Александрович, когда-то мечтавший о ВГИКе и театре, чтобы дать Рублеву паузу и возможность сосредоточиться для очередного номера, профессионально, как Ермолова-Лауренсия в «Овечьем источнике», читает:

Трусливыми вы зайцами родились!..

...К чему вам шпаги?!

Ведь командор повесить уже хочет
Фрондозо на зубцах высокой башни,
Без права, без допроса, без суда!
И всех вас та же участь злая ждет!..

Странно звучат слова Лопе де Вега во тьме и мощи Енисея.

Я вспоминаю свое прибытие на борт «Державино» в Мурманске и говорю Саньчу:

— Типун тебе на язык!

— Любимые стихи Соньки,— говорит Рублев.— Она ими плешь начальству переела.

Телефонный звонок. Звонит Фомич, просит меня. Беру трубку.

— Викторыч, как там обстановка? Можете ко мне спуститься на минутку?

— Вполне могу. Тут все спокойно.

— Андрей, пожалуйста, не рассказывай без меня,—

прошу я.— Вернусь моментом. Мастер просит спуститься.

— Есть! Не буду! Я пока поводирым о том расскажу, как мы на якорь в Певеке становились.

— Это можешь,— соглашаюсь я.— Дмитрий Александрович, не забывай записывать траверзы и повороты,— добавляю на всякий случай. Не мешает напомнить вахтенному штурману самые обыкновенные вещи. Именно они чаще всего вылетают из сферы внимания.

— Есть!

Два часа ночи. Чего это Фомичу не спится? В дела моей вахты он за весь рейс нос не сунул ни разу. В этом отношении выдержка у него замечательная. Вернее, это не выдержка, а тот факт, что в заветном ящике у Фомича лежит взятая еще на выходе в Баренцево море расписка: «полностью несет ответственность с... до... и т. д.» Ему выгодно не совать нос в мои дела на мостике. Но! Он ни разу и замечаний никаких мне не сделал, а чтобы штатный капитан не сделал замечаний своему дублеру уже после вахты — вот тут уж нужна настоящая выдержка. Ведь каждого судовода так и тянет указать на чужие ошибки. А у меня их — ошибок, ошибокек и промахов — было вполне достаточно.

Капитанская каюта затемнена. Фомич стоит у лобового окна. Он в исподнем — в собственноручно связанных кальсонах и фуфайке. Когда человек в кальсонах, он всегда выглядит по-домашнему и симпатично. На голове нечто вроде чалмы. Оказывается, мокрое полотенце.

— Постой-ка тут, значить, послушай,— говорит Фомич.— Во! Чу! Слышал?

Я становлюсь с ним рядом и начинаю вслушиваться.

— На мосту-то не слышно, а здесь... Во! Опять! Чувствуешь сотрясение?

— Так это мы на бревна наезжаем,— говорю я.— Знаете, сколько тут коряг плывет?

— Надо бы ход сбавить,— бормочет Фомич.

Мы идем против течения. Даже на полном ходу на поворотах сносит со створов, а он хочет сбавить ход. Конечно, неприятно слышать удары, но они такие заметные только потому, что волна от форштевня откидывает встречные бревна в стороны, потом «в седловине» их подтягивает к борту, и они скользящим ударом тюкают в него. Трюма пустые, от удара в них раскатывается и долго, неприятно гудит тоскливый набат. Но что нашему

«Державино» бревно, когда позади все виды арктического льда?

— Фома Фомич,— говорю я голосом доктора, утешающего больного, очень мягко и вкрадчиво говорю.— А вы вот представьте, понимаете ли, себе, что вы бы не на море, а речником работали. Так всю жизнь малым ходом и плавали бы? Ведь на какой же нашей русской, разгильдяйской реке не плывет черт те знает сколько леса в океаны, а?

Фомич задумывается. После долгой паузы говорит:

— А все-таки, значить, удары сильные.

— Эхо в трюмах. Вам нездоровится?

— Есть немного,— бормочет Фомич и машинально дотрагивается до мокрой чалмы на затылке.

— Течение мощное. Не хочется ход сбавлять,— говорю я.— Конечно, если вы приказываете, то...

— Нет-нет! — пугается Фомич.— Тебе с моста виднее.

— Я много по речкам плавал,— успокаиваю его опять докторским голосом.— И оба лоцмана на мостике. Вы легли бы.

— Да-да, сейчас, значить, лягу... не люблю речек...

Мне как-то грустно, когда я поднимаюсь обратно в рубку, раздумывая о том, что Фомич, очевидно, вступает в тот возраст — переходный к старости,— когда человек особенно остро начинает ощущать непрочность человеческого существования на этом свете.

И еще думаю о том, что Фомич не ляжет. Так и будет стоять в затемненной каюте в своих гарусных кальсонах и прислушиваться к мрачному набату от удара бревен, доносящемуся из пустых трюмов.

Вот оно — капитанское одиночество.

Вот оно — «Труд моряка относится к категории тяжелого».

— Можно начинать, Виктор Викторович? — спрашивает Рублев.

— Прошу.

Дмитрий Александрович от радара тоном конференсье:

— Леди энд джентльмены! Сейчас будет исполнена новелла под названием «Сусанна и старцы»!

В рубке наступает тишина, соответствующая тому моменту, когда артист собирается с духовными и физиче-

скими силами, чтобы выйти из-за кулис к рампе.

И мы все — я глубоко уверен в этом — одинаково чувствуем, как Копейкин духовно подбирается, как он перевоплощается в Фому Фомича и как ему нужно для этого определенное время.

Наконец:

— Значить, мы тогда не почту возили, как ныне-то, — начинает он коронный номер. — Я молодой был, матросом; все, значить, у меня на месте было, все в аккурате. Ну, солоший до женского полу, значить, как все молодые. Но в руках себя держал, не как ныне-то некоторые. Под каждую юбку не лез, тактично все заделывал, чтобы ни ей, значить, ни мне никаких там родимых пятен в личное дело не лягнули. На судне — ни-ни! Ни под каким, значить, резонем никаких амуров! Один только получился у меня такой, значить, гутен-морген, что я за бортом в Кильском канале оказался. Врать не буду, честно скажу, получился у меня полный срыв и срам в морально-политическом, значить, смысле, и в общественно-политическом, и в прямом, так сказать, смысле. В прямом эт потому, что я за борт сорвался из ейного иллюминатора.

Да, значить, с женщинами в морях-океанах не соскучишься...

И ведь как меня дед да отец строго учили да воспитывали, а я, значить, ихние заповеди нарушил, и в результате что? В аккурат в январе в Кильском канале за бортом оказался во враждебной Западной Германии; среди ночи, значить, льдов и в самом начале карьеры. Ведь дед с отцом — ну кто они были? Костыли да шпалы сажали всю жисть — обыкновенные железнодорожные работяги, но правильно меня учили, правильно! Не охальничай, учили, там, где живешь и работаешь; охальничай там, значить, где не проживаешь и не работаешь, где, значить, не прописан постоянно. А тут у нас на «Колхознике» — либертос старый — пошла в рейс пупочка такая, повариха, пышности, значить, необычайной, Сусанной звали. Я со старпомом вахту стоял. В шесть утра посылает меня эту пупочку, значить, поднимать, чтобы она завтрак варганила. Есть, говорю. Не первый раз, значить, а тут в аккурате у нее дверь-то и не закрыта. Обычное-то дело: постучишь, покричишь: «Сусанночка! Пышечка! Ать-два, милая!» Она аукнется и — все. А тут дверь-то, ядри ее, дуру, в душу, забыла закрыть. Я слу-

чайно ручку-то надавил и ввалился прямо в ейную каюту, а из койки, значить, совершенно наружу все ее пышности торчат. Вот те, думаю, и гутен-морген! И хлоп — в автоматическом, значить, режиме — на нее и возлег. А она глаза вылупила, но так все в аккурате, тихо, значить, без активных действий или там сопротивлений. И тут, значить, слышим, матрос-уборщик в коридоре ведром гремит.

«Вот те и гутен-морген,— это она говорит,— улазь,— требует,— через форточку».

Ну, я молодой, все в аккурате, полез в иллюминатор, уже до шлюпбалки дотянулся — и брякнулся: обледенело железо-то, ядрить ее, дуру эту набитую, в корень!

«Колхозник» сновидением, значить, таким мимо меня,— хорошо, под винт не затянуло: в полугрузу шли.

И вот вокруг меня льды, холодная война и международная напряженность. Булькаю, врать не буду, как дерьмо, значить, в проруби. К берегу не гребу — фашисты там, и в тюрьму, значить, затем обязательно посадят, а куда тогда, ядрить ее, дуру эту пышную, плыть?

Гляжу: катер ко мне прет, и по всему борту «полицай!» Я от него, значить, за льдину ихнюю кильскую прячусь, так нет — глазастые полицаи оказались, норовят меня отпорным крюком за шиворот, значить, зацепить, а я, значить, насмерть сопротивляюсь, потому как, сами понимаете, вокруг холодная война и международная напряженность.

Согрелся, значить, даже, пока они меня победили и на борт выволокли. Ору на них — а по-ихнему, врать не буду, мало знаю,— ору, значить: «Хальт! Хенде хох! Цурюк!» А они, падлы, ядрить ее, дуру эту набитую, меня скрутили и в пасть шнапс льют. Чего, значить, делать? Глотаю ихний шнапс...

Я не прерываю здесь рассказ Рублева-Фомичева ремарками — бог с ним, с литературным правдоподобием. А теперь скажу, что самое удивительное, как наше «Державино» не укатило со створов к чертовой бабушке, ибо в рубке ни одного живого слушателя к этому моменту уже не было: все мы, кроме Рублева, были как певекский капитан порта после визита Фомы Фомича, то есть обессилели. Пожалуй, даже суровый Енисей улыбнулся, а «Державино» тряслось от хохота вместе с нами.

Под конец исполнитель все-таки устал, завял и уже буднично и обыкновенным, своим голосом проинформировал слушателей о развязке истории, ибо знал из опыта, что его все равно заставят ответить на неясные пункты. И Рублев дорассказал, как полицаи доставили Фомича на родной борт в мертвецки пьяном виде; как именно этот факт спас честь поварихи: начальство решило, что ухнул матрос в Кильский канал, потому что налился какой-то дряни; как засунули Фому Фомича в ванну и по приказу капитана «намылили ему шею» и искупали в крутом кипятке,— в те времена еще считалось, что отогревать переохлажденные организмы следует в кипятке; как фрицы пытались объяснить капитану, что его матрос буйно помешанный, ибо он отбивался от спасателей и сокрушил несколько ихних спасательно-полицейских челюстей, и как все это спасло фомичевскую карьеру.

Но вот ванна и мытье шеи с тех самых пор стали для Фомы Фомича кошмаром номер один...

За Дудинкой появилась зеленая трава на берегах, и стога сена, и кусты по речным обрывчикам. Здравствуй, живое зеленое!

Теперь и мычание коровы можно надеяться услышать.

Вечером радуется неровность уже лесных берегов, верхушки деревьев четко рисуются на фоне закатного неба.

Из разговоров судов на подходах к Игарке:

«Вам куда дали?»

«На Пристон идем, последнюю партию на Пристон взяли».

«На Бордо потянули».

«На Гуль последние дрова».

«Куда там еще товар остался?»

«Только на Алжир и в демократии».

«А на Александрию весь товар вышел?»

«Нет, туда и вам хватит!»

Александрия вызывает у морячков уныние — там всегда очень долго ждешь разгрузки, иногда месяцами.

«Державино» ни о чем не спрашивает. Оно заранее знает, что наши доски идут в ГДР.

В час ночи 1 сентября стали на якорь напротив мыса Кармакулы.

Сложность постановки на якорь в данном случае была не только в том, что Фомичу, как всегда, казалось, что лоцмана ставят нас слишком близко к берегу, но и в том, что после новеллы Рублева «Сусанна и старцы» лоцмана видеть спокойно Фому Фомича не могут. Они вдруг прыскают в самые неподходящие и серьезные моменты. Фомич, естественно, удивляется такому поведению ответственных должностных лиц. Легкомысленное поведение лоцманов еще более усиливало его опасения, и он все повторял:

— Вот стали, так, значить, стали! Если кормой к берегу развернет, так, значить, можно прямо на песочек трап подавать, а?

— Да вы не беспокойтесь, мастер,— успокаивал его лоцман Вася, кусая в кровь губы.— Тут даже сумасшедший ветер вас поперек течения не развернет. Сильное у нас тут течение. Вот в каналах, например, конечно, так становится опасно — в Суэцком там или в Кильском... А у нас, мастер, речка — все тип-топ будет.

И Фомич налил лоцманам по традиционному стопарю, а Галина Петровна дала им по соленому огурчику.

Вообще-то, в данном случае опасения Фомича в отношении близости берега я в какой-то степени понимаю и разделяю. Во-первых, в море привыкаешь к удаленности берегов. Во-вторых, именно когда судно стоит, как-то особенно обостряется чувство позиции, в которой оно находится. Например, если отданы два якоря и с кормы швартовы на берег,— а так мы станем через несколько суток в Игарке под погрузку,— то у меня в подсознании так и вертится подобная позиция судна при разгрузке в сирийском порту Латакия на «Челюскинце», когда случился двенадцатибалльный шторм с тягуном и нам вырвало левый кормовой кнехт с корнем.

Лоцмана уехали. На судне наступила стояночная тишина.

Впереди нас такая длинная очередь из других лесовозов, что огней Игарки вообще не видать.

Особое наслаждение при вкушении безделья и безответственности.

Маркони приносит радиogramму: «Т/Х ДЕРЖАВИНО ДУБЛЕРУ КМ КОНЕЦКОМУ ПРИХОДОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА ЗПТ ЯН-

ВАРЕ УЧЕБА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ».

Ну вот. Свершилось то, о чем просил.

За бортом уставшего «Державино» журчит пресная волна Енисея.

И я вдруг ловлю себя на мысли, что уже люблю и «Державино», и людей, с которыми здесь свела судьба и работа. И что даже Спиро Хетович не убьет во мне этой любви.

Ночь. Но я не сплю: дегустирую разные виды покоя. И еще чудом обнаружил давеча в судовой библиотеке десятый том Чехова. Там «Из Сибири» и разные записки.

Боже, какое счастье, что был на свете Чехов! Все здесь мною читано, в этом томе, но за одну интонацию спокойного и сильного благородства хочется на Чехова молиться: «На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так по крайней мере думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая со страшной быстротой и силой мчитя в суровый Ледовитый океан...»

Выпало вот читать такое, когда стоишь у мыса Кармакулы и за бортом стремится живой Енисей.

ИГАРКА

Еще в начале рейса мы получили шифровку. С Нового года предполагается повышение зарплаты плавсоставу. Для проведения в жизнь приятного мероприятия следует каждый оставшийся месяц заставить каждого моряка отгулять двое суток без подмены, чтобы на сэкономленные средства создать, «заложить» первоначальный фонд, запас денег, ибо повышение зарплаты тяжелым бременем ляжет на бюджет пароходства именно в самом начале приятного мероприятия.

Обычно моряки за выходную субботу получают деньгами, а воскресенье приплюсовывается к отпуску. Ведь «выходных» в море нет, а на земле субботу и воскресенье советские люди отдыхают. Судно же в море должно двигаться даже во всенародные праздники. Лишних людей на судне нет. Потому взять выходной и провалить его

в каюте вы даже при появлении такого извращенного желания не можете.

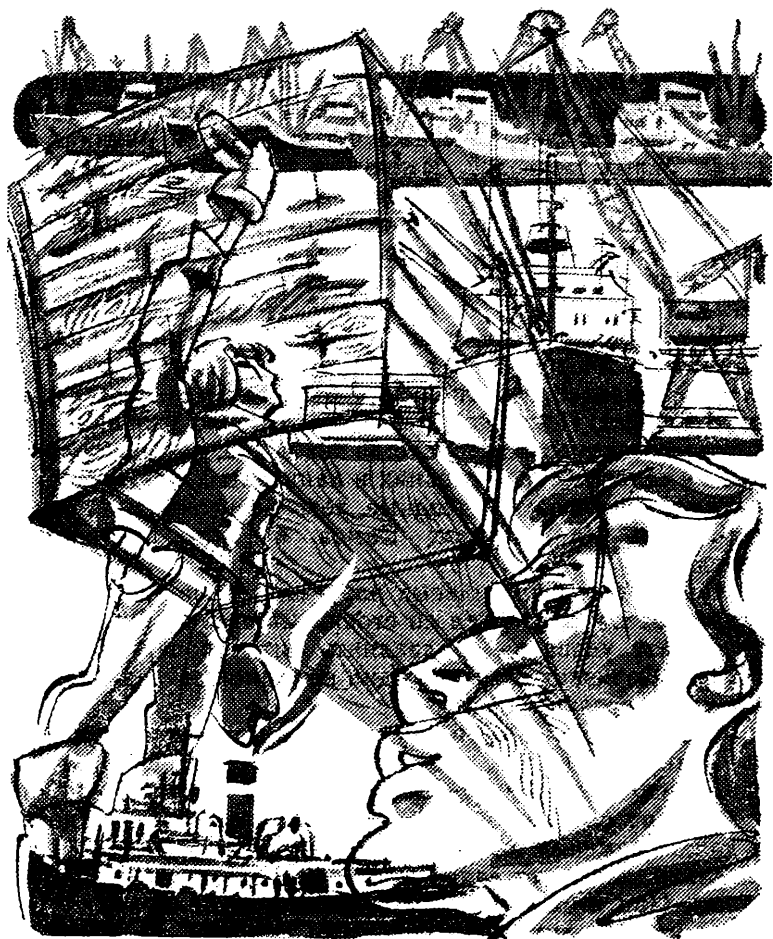
Наш рейс в Арктике двухмесячный. Значит, согласно шифровке мы должны отгулять сами и заставить отгулять каждого члена экипажа четыре дня на льдинах и среди белых медведей. Именно в силу особо трудных условий работы в арктических рейсах и невозможности здесь человеческого отдыха существует специальное Положение, по которому за месяц арктического плавания к отпуску моряка приплюсовывается не четыре воскресенья, а пять.

Конечно, капитаны судов, одновременно получившие в Арктике шифровки о принудительном отгуле выходных, немедленно связались друг с другом и обсудили вопрос сообща. И пришли к выводу, что нас указание не касается, а относится только до тех судов, которые работают в человеческих условиях и капитаны которых могут выгнать отгуливать выходные хоть весь экипаж сразу где-нибудь на островах Самоа и хоть на целую неделю.

Фомич после длительных раздумий такое толкование отклонил. Сократ пошел по стопам Соломона. Он решил выполнить указание на двадцать пять процентов — заставить морячков отгулять один выходной за два месяца в любых погодных условиях.

Толпа в первом же порту вошла в контакт с другими толпами и выяснила, что Фомич вносит штрейкбрехерский элемент во всю эту историю. Поднялся шумок. Тогда Фомич сам первый вообще отказался от выходного и даже подменил на обыкновенной вахте грузового помощника, когда тот задержался в Певеке по служебным делам. При этом он смело и прямо объявил толпе, что давно плевать хотел на то, что там про него в низах думают, и что он рискует уже потому, что заставляет отгуливать по одному выходному, а не по четыре.

Вообще, странная штука демократия на флоте нынче. С одной стороны, рядовой морской труженик так запутан сложностями в оплате его труда и во всяких правах, что предпочитает помалкивать в разговоре с начальством на такие темы. С другой стороны, начинающий, только выпущенный из мореходной школы, серый, не знающий еще толком, чем нос от кормы отличается, матрос, проплавав рейс в роли уборщика, уже имеет наглость подойти к капитану и заявить претензию. Он, мол, не



для того год учился в мореходной школе, чтобы тряпкой возить! И он требует перевода на второй класс из уборщика. И капитан терпеливо с ним разговаривает, объясняет трудности со штатом, что вот у нас совмещенный экипаж и вообще нет матросов второго класса, и так далее. Конечно, Фомич вворачивает (тем более я рядом), что вот он перед войной закончил ФЗУ по пятому разряду, а послали его на работу по третьему, и он пикнуть не смел...

В Игарке возникла возможность решить проблему отгулов. В очереди на погрузку мы последние, рядом чудесный лес — спускай вельбот и поехали на пикник. Но!

Фомич прознал, что как-то здесь в лесу исчез человек — крупный человек, из леспромхозного начальства — пошел за грибами и не вернулся. А в лесу, оказывается, подо мхом и разными симпатичными травами есть пустоты от протаявшей вечной мерзлоты, очень опасные ловушки. И еще медведи есть. Крупного человека искали вертолетами и не нашли, пока он сам нормально не пришел, переночевав в лесу у костерка, — вероятно, взял с собой слишком много горючего, вот и закемарил крепко.

Ужасные пустоты начали преследовать Фомичову психику, как примерзшая к грунту стамуха в Новосибирском море. Сомнения в миллионный раз берут его мягкими пальцами за твердый лоб. А лес манит. И вот Фомич опять попытался найти соломоново решение: заказать автобус и свозить людей на коллективную экскурсию не на близкий левый берег Енисея, а на правый — на околицу Игарки: как бы в лес, но и не в настоящий лес. Однако автобус требует денег из культфонда, а эти деньги еще на Диксоне при помощи моей подначки истрачены в честь и славу Дня Военно-Морского Флота.

В такой ситуации и при таком количестве нюансов и настоящий Соломон свихнул бы мозги набекрень.

И мы поехали на коллективную экскурсию в левобережный лес. Перед экскурсией Фомич провел тщательный инструктаж, главным в котором было требование ходить по лесу табуном на расстоянии друг от друга не больше десяти метров, то есть со спутанными, как у лошадей, ногами.

Я, естественно, со свойственным мне индивидуализмом от табуна немедленно отбился и провел несколько часов наедине с флорой. Как потом выяснилось, и весь остальной табун нетактично развалился на одиночек или микрогруппки, ибо если мускусным овцебыкам необходим отдых от стада, то людям и подавно.

Тишина была в лесу. Осень. Лиственницы, елки, березы, мох, заросли ольхи, россыпи брусники; подсохшая уже, сморщенная черника.

Наломал букет для натюрморта «Осенние листья».

Черника смотрела на меня и букет скорбными и зовущими глазами, как застарелая девственница на здорового дворника. И я не выдержал, сжалился над ней, присоединил к букету несколько черничных веточек.

Потом набрал добрый килограмм брусники. Набрал, и все думалось: для кого? Для себя — как-то и смысла никакого нет. О матери вспомнилось. Она очень любила осенние букеты и любила кленовые листья под стеклом на столе или между страниц книг.

Тихо было в лесу, и тихая грусть была во мне.

Старею.

Потом вышел к Енисею, соорудил костер из плавника, слушал шелест камыша и шорох песочка на плоских речных дюнах. И думал о вредоносности нашей привычки, вернее необходимости, счета круглыми цифрами: десять, сто, тысяча... Вот тебе стукнуло тридцать, сорок, а вот накатывает пятьдесят...

Жуткое дело круглый счет. Круглые даты давят на психику. Давления можно было бы избежать при беспериодичности счета. Но бог рассудил иначе, заставив крутиться планету и вокруг самой себя и вокруг звезды. Он ввел чередование дня и ночи, зимы и лета; он захотел, чтобы мы ощущали время именно периодами и подводили под каждый период черту, он лишил нас безмятежной постепенности. И мы послушно вводим недели, месяцы, годы и века, хотя в глубине истинной природы их нет. Ну нет же у материи воскресений, черт возьми!

«И потому моряки ближе всех к истинной материи!» — так закончил я размышления, начиная тревожиться тем, что от далекого, но хорошо видимого «Державино» все не отваливает вельбот. Ему пора было отваливать.

Конечно, у вельбота отказал мотор.

Все собрались возле костра и сумерничали часа полтора, пока этот проклятый вельбот прибыл.

Знаю, что «сумерничать» обозначает сидеть без огня, в ожидании темноты, и подремывать. Мы сидели согнем, ожидали вельбот и не дремали, но больно уж к месту слово. Было как-то по-деревенски просто все: и окружающий мир был прост, и мир был в душе каждого.

Зато на судне я взял у артельщика банку мясных консервов и сожрал ее в каюте с такой жадностью, урчанием и чавканьем, с каким белые медведи жрут тюленью

печенку. Вот тебе и отсутствие жадности к еде у тонкого интеллектуала и лирика.

Бруснику отдал Анне Саввишне. За время моего отсутствия она вымыла и выскребла мое жилище. Вызывает уважение стойкость, с которой тетя Аня отказывается от эксплуатации пылесоса и другой техники: «Можно и тряпкой да метлой чистоту и блеск навести, коль ты женщина чистоplotная...»

Четыре часа одиночества в лесу и на берегу реки сработали, как сто лет в замечательном романе Габриэля Гарсиа Маркеса.

И букет из веточек осенней флоры навевал мне этим тихим вечером мелодии старинных русских романсов.

Под эти мелодии я раздумывал о том, что все наши понятия закованы в слова. А от каждого слова падает столько теней, полутеней, световых бликов и столько звучит в бесконечности мелодий и полутонов, сколько элементарных частиц во Вселенной.

Если мы смиряемся с тем, что никогда не узнаем цель нашего прихода в мир и ухода из него, то приходится смириться и с простотой рассказа классиков, ибо невозможно вылезти из самого себя, не став смешным и наглым, то есть негармоничным. Это отчетливо, как мне кажется, понимал и всегда помнил Чехов.

Отсюда его тихая усмешка Моны Лизы.

Ведь если автор не сопровождает художественный показ жизни своими внятыми комментариями, то он в какой-то степени сознательно играет в загадывание шарад читателю. Это внешне углубляет произведение, ибо все мы любим отгадывать и любая необходимость отгадывания усиливает заинтересованность, но в то же время получается сознательная заданность и использование чем-то нечестного приема со стороны автора. Это одно из тех противоречий, которые меня мучают с самого начала литературной работы.

Ну, а если хочешь рассказать о том, что между слов, пиши музыку...

2 сентября в четыре утра снялись с якоря и поплыли в ковш Игарки.

К девяти утра под оба борта подвели баржи и явились докеры — молодежь зеленая, студенты из сибирских вузов. В основном будущие химики-целлюлозники и бумажники из Красноярского института. Серые ватники, оранжевые каски, тельняшки. Не по мобилизации, а по собственному желанию: подрабатывают на каникулах. Волосья, ясное дело, до плеч. У грузчика-студииоза, которому попала каска № 13, по всей окружности каски надпись: «Да поможет мне бог!»

И совсем не веселая эта надпись. Профессия докера — сложная и трудная. Она осваивается годами, она строится на специальном обучении и опыте, опыте, опыте. Работа с досками — опасная и требует точного исполнения как правил техники безопасности, так и правил укладки досок в трюмах.

Студииозы ровным счетом ничего во всем этом не понимают и не знают. Ужасно видеть, как девчонки-тальямана бегают по фальшборту, кокетничая со всем белым светом, или стоят под опускаемой в трюм вязкой досок, задрав башку и раскрыв рот, в который каждую секунду может вывалить из вязки лесина длиной в пять метров.

Одну девицу в эту навигацию уже прихлопнуло.

Все вместе называется: «нехватка рабочей силы»...

Утренний чай.

В кают-компаниии завтракают старпом, третий штурман, второй механик и я.

Свиная колбаса, хлеб, жидкое чайное пойло.

Третьего штурмана старпом с восьми часов ставит на вахту. Тот сопротивляется. В коллективном отгуле выходных на природе он не участвовал, и потому вчера его выгнали гулять в Игарке. После этого гулянья он немного опух.

— По трудовому кодексу, — говорит третий старпому, — выходной день это двадцать четыре часа ноль-ноль минут. Я же вчера в разгар отдыха ездил получать деньги, ходил то есть за деньгами. Три часа ходил и получал. Не для себя, между прочим, а на судно. Значит, отгулял двадцать один час. И до одиннадцати часов вы меня ставить на вахту права не имеете.

Арнольд Тимофеевич:

— Я здесь кушаю. Здесь не положены служебные

разговоры. Кусок этой вульгарной свинины не усвоится в моем желудке. А вы, между прочим, стоянку в Ленинграде помните? У вас малолетний ребенок был на судне целые сутки. И жена. А вы вахту стояли и права на такое не имели. В результате на вашей вахте цепь у стрелы порвалась. Это по какому кодексу?

Старпом умеет вспоминать прошлые грешки окружающих в нужный момент.

Второй механик Петр Иванович, который, как и положено суперпродукту НТР, листает за чаем журнал «Знание — сила», говорит:

— Интересно! Послушайте. Оказывается, состав человека по элементам — ну, водород, азот, углерод и так далее — полностью соответствует в процентном отношении космической материи. Во! Цитирую: «Между химическим составом звездной материи и человеческим телом обнаруживается поразительное сходство». Арнольд Тимофеевич, как вам это нравится?

— Я отношусь к этому индифферентно,— говорит старпом, тщательно прожевывая свинячью колбасу.

— А ты? — интересуется Петр Иванович у третьего штурмана.

Тот отмахивается, потому что обдумывает ответ старпому.

— Теперь мне понятно,— говорит Петр Иванович,— зачем наши космонавты скоро полетят на Солнце.

— Что за глупости вы несете? — спрашивает Арнольд Тимофеевич.

— А вы не знали? — удивляется второй механик.— Когда они получили задание готовиться к полету на звезду, то выразили, конечно, полное и единодушное согласие, но один все-таки спросил: какая, мол, там теперь температура? Ему говорят, миллион градусов. Он опять интересуется нюансами: как, мол, мы там будем обитать при такой сравнительно высокой температуре? А ему объясняют такой нюанс, что отправят их в полет на Солнце ночью...

Я силой вырываю у второго механика «Знание — сила» и отправляюсь читать о том, что мы и звезды — одно и то же.

Но прочитать не удастся. В каюте сидит Фома Фомич, расстроенный. Оказывается, доктор и моторист угодили в милицию. Крупная неприятность для судна.

И впервые за рейс (надо отдать Фомичу за это долж-

ное) капитан «Державино» попросил использовать мою принадлежность к прессе, чтобы без шума извлечь бумаги погоревших из милиции и не выносить мусор с парохода.

Вызвал доктора. Видок бледный. От страха «власы с ушей свились», как писали в монастырских летописях.

Выпил чуть-чуть в честь рождения сына. Возвращался на судно около десяти вечера. На вопрос пограничника в проходной порта о названии судна: «Вы откуда?» — ответил: «Из Санкт-Петербурга». И на этом, мол, всё — все его грехи.

Задержан за пререкания пограничниками, передан ими в милицию, переночевал там, утром отнес тридцать рублей штрафа, принес и извинения; но ему было сообщено, что соответствующая бумага пойдет куда следует.

С мотористом в милиции не виделся и про него ничего не знает...

Ночное их отсутствие ребята от начальства скрыли («думали, у бабы задержались»).

Хорошо у нас налажена служба!

— А вы знаете, голубчик,— сказал я,— что смена дежурств в милиции происходит утром около восьми часов?

— Нет. А зачем мне знать?

— Вас когда выпустили?

— В шесть утра.

— Если бы вы сразу доложили о происшедшем, мы, понимаете ли, успели бы к старому дежурному и попробовали уговорить его вернуть акт о вашем задержании. А теперь акт уже передан новому дежурному и внесен в реестр происшествий за прошлые сутки. Это две большие разницы, голубчик.

— Накрылась диссертация,— сказал доктор, и его интеллигентные глаза покраснели.— Ведь бумагу из пароходства мне в институт перешлют, как вы думаете?

— Обязательно,— сказал я.— И сделают это с удовольствием. Одним неприятным инцидентом у пароходства будет меньше, когда оно отфутболит это милицееское досье в ваш институт. Вы ведь временный у нас?

— Да,— и его глаза покраснели и набухли слезами.

— Не распускайте нюни. А сейчас — правду. Вы

сильно оскорбили солдата-пограничника? Стоит, мол, Ванька, дубина стоеросовая, спрашивает у старого мореплавателя, только из ужасного рейса пришедшего, ерунду всякую с чухонским акцентом, ну, вы ему и ответили с санктпетербургским гонором. Так?

— Наверное. Но я помню плохо.

— Помните плохо, а выпили «чуть-чуть»?

Он окончательно заплакал.

— О чем диссертация? — спросил я, чтобы отвлечь его немного.

Он понес что-то об особенностях кровотока из ножных вен при разных видах гипертонической болезни.

Милиция в Игарке размещается в здании старинной полярной архитектуры, то есть без следов ампира, барокко или других излишеств. Зато живые зеленые деревья и кусты окружают милицию. И тени от их ветвей колышутся по стенам, и солнце просвечивает в окна кабинетов сквозь листву.

Дежурный, не спрашивая меня ни о поводах и причинах пришествия, ни о моей личности, сказал, что начальник в горкоме и вернется минут через сорок. Вежливо предложил подождать на воздухе.

Мы вышли. И док спросил:

— Можно, как вы считаете, мне пива выпить?

Я видел, что ему плохо, и разрешил. Но велел обязательно и съесть что-нибудь. Он сказал, что здесь есть место, где жарят шашлыки прямо на улице, и он выпьет там пива и съест шашлык.

Ожидание омерзительно в любом случае, но ожидать предстоящих объяснений, заранее слышать свое бормотание (с поджатым, как у провинившегося ледокола, хвостом): «Я... понимаете, книжки пишу... У потерпевшего, то есть, простите, у этого типа, диссертация, и я...» и те-де и те-пе...

Да, любое ожидание противно. Но и самые странные встречи происходят чаще всего, когда ожидаешь трамвая, поезда, самолета или начальника милиции Игарки. Наверное, тебе так скучно ожидать, так хочешь какой-нибудь встречи или разговора, что они и происходят.

Я сидел под пыльными кустами возле милиции. Вокруг было много самого разного дерева — столбов, заборов, мостков, опилок.

— Слушай! Здорово! Вот встреса! — раздался неповторимо-сюсюкающий голос милицейского лейтенанта.

Передо мной стоял Стасик Соколов, с которым шесть лет тому назад в зимней Керчи мы вместе ночевали в вытрезвителе. И вместе поносили керченские и все другие органы внутренних дел.

Мы обнялись со Стасиком.

Первый раз в жизни я обнимался с милиционером.

— Какими судьбами? Кем ты тут?

— Волшебником! Знаес: жизнь усил не по усебникам... Ты здесь сидис засем? Сам припух или вырусает кого?

— Выручаю одного дурака.

— Хоросый селовек?

— Плохо знаю. Но помочь надо. Молодой.

— Если ты говориш, что надо помось, попробуем.

— Кто ты все-таки здесь?

Он засмеялся. Это был в какой-то степени смех счастливого человека. И сквозь смех процитировал: «Много видели, да мало знаете, а сто знаете, так дерсите под замоськом!»

Я встречался со Стасиком трижды:

1) В Керчи в вытрезвителе — на равных началах пациентов этого заведения.

2) Году в семьдесят первом он ночевал у меня, будучи в Ленинграде проездом. Пьяный явился вдребезги.

3) В следующий приезд он пил уже смертельно. И мне с большим трудом удалось устроить его в институт имени Бехтерева.

И вот очередная встреча. Спокойный и уверенный в себе мужчина с густой сединой и тяжелым, волевым лицом бывшего боксера.

— За минуту, Стас, до твоего появления,— сказал я,— мне думалось о странных встречах.

— А вспоминаес Керсь? — спросил Стасик.

Это означало: вспоминаю ли я Керчь.

Дальше я не буду пытаться создать речевую характеристику Стасика. Это трудно и нудно.

Объясню только, что язык он перекусил, когда ему как-то не дали после ужасного запоя опохмелиться, и с тех пор говорит он, заменяя большинство шипящих звуком «с». Это даже бывает мило, ибо соответствует душе Стасика — доброй и тонкой, и даже детской. Ши-

пящие звуки не очень нужны человеку, имеющему кулаки, которыми он в припадке пьяного ревнивого буйства сам себе переломил ключицу.

ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ МИФОВ

Чем, люди добри, так оце я провинився?
За що глузуете? — сказав наш неборак.—
За що знушааетесь ви надо мною так?
За що, за що? — сказав, та й попустив патьоки,
Патьоки гирких слиз, узявшись за боки.

*Артемовский-
Гулак,
Пан та собака.¹*

...Где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко.

М. Ю. Лермонтов, Тамань.

Вы когда-нибудь сочиняли записку по поводу вашего пребывания в вытрезвителе?

Попробуйте.

Мне, например, не помог даже писательский опыт. Как-то хромает стиль. Нет музыкальности и ритма прозы. В район туманности Андромеды улетучился юмор.

На самом дне морской жизни в самый мой черный день не было штормов, сигналов о спасении души и окровавленных тельняшек.

На дне морской жизни тихо, как ночью в покойницкой или уже утром в вытрезвителе.

На древний Корчев мы шли из Италии. В каюте висела ветка с лимонами и торчал из ржавого железного ведра сардинский кактус.

В ночь с 8 на 9 января 1969 года зазеленели на экране радары отметки далеких коктебельских гор Карадага

¹ Чем это я так, люди добрые, провинился?
За что изводите меня? — сказал бедняга.—
За что вы так издеваетесь надо мною? За что, за что? — сказал он, схватившись за бока, и разразился потоком горьких слез.

(Перевод Н. В. Гоголя)

и Сюрю-Кайя. Было холодно, прогнозы обещали тяжелый лед в Керченском проливе.

Около четырех ночи я сменил очередную карту, перенес на нее точку и увидел на берегу Керченского пролива набранное мелкими буквами название «Тамань».

«Повесть эта отличается каким-то особенным колоритом: несмотря на прозаическую действительность ее содержания, все в ней таинственно, лица — какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца». Так писал Белинский.

Я рад был бы приветствовать любую таинственность и фантастичность. Я с удовольствием послушал бы песенку коварной девушки-контрабандистки о старых кораблицах, приподнявших крылышки, разметававшихся по морю в злую бурю. Коктебель и Тамань навевали романтическое настроение. И я даже измерил расстояние по карте от торгового порта Керчи до Тамани. Авось выпадет свободное время — смотаюсь на randevu с тенями Лермонтова и Печорина. Хотя я знал, что грузиться мы будем сложным грузом на Сирию и Ливан — триполифосфат и стальной прокат, части земснарядов и бумага, автомобили и проволока, рельсы и синильная кислота — около двухсот наименований общим весом более семи тысяч тонн.

Такая погрузка сулила бессонные ночи, общее истощение и значительную потерю нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. Но я еще не знал, что впереди ждет меня самое дно казенных неприятностей, и, перечитывая рваные фразы радиограммы, где сообщался список предполагаемого груза, я с некоторым даже восхищением бормотал про себя: «Що, божи ти мий, господи, чога нема на тий ярмарци!»

Из радиотелефона доносились голоса портовых диспетчеров, голоса глохли в извивах Керченского пролива, в мокром снегу, тумане, над промерзшими насквозь лиманами: «Юнга»? Яка «Юнга»? Пшел к бису! Той буксир в Камышовую слободку побиг... Немае свободных буксиров! Як поняли? Да ни! Ни! Кому балакаю! «Дельфин» прийде, пошлю...»

Ныне на берегах Черного моря балакают на черт те знает каком наречии: одесский говорок, разбавленный расхожими малороссийскими жаргонными, с местечковым еврейским акцентом, и все это на великорусской основе. Уши вянут. И ведь большинство, как слепой мальчишка

в «Тамани», отлично могут объясняться на обыкновенном русском, но обязательно коверкают его. И через недельку погрузки в черноморском порту ловишь и себя на «немае», «совсим», «ни». И кажется, тебя так лучше поймут, за своего примут, легче работать будет...

...Лед, ледокол «Афанасий Никитин», метель, мороз, туман, негорящие буи, спихнутые со штатных мест вехи... И маленький порт, битком набитый судами,— рыбаки, торгаши, танкеры, масса какой-то мелочи — катера, лихтеры, самоходки...

На причалах пирамиды грузов: заметенные снегом, смерзшиеся ящики, мешки, железо, экспортные автомобили.

А всего 274 часа тому назад я ожидал наступления нового, 1969 года на острове Сардиния, в ее столице Кальяри.

Новогоднее торжество было отмечено зрелищем футбольного матча между нашим «Спартакoм» и сборной Сардинии. После зрелища матросики повлеклись на базар. Я отпустил их в шумную веселую толкучку одних, очередной раз нарушив флотский закон табунного шатания по базарам и универсамам. Уселся на скамеечке в том углу площади, где продавали цветы и где ничто не загораживало от меня сардинское солнце, курил, смотрел на сардинцев, как они покупают фикусы у крестьян — нашеньские, обыкновенные фикусы в кадках. Как крестьяне-мужички разгружают ручные тележки, вытаскивают из-под брезентов огромные снопы алых гвоздик и один сардинский мужичок держит сноп, сгибаясь от его тяжести, а другой обрезает стебли садовыми ножницами. И все это на фоне Средиземного моря тридцать первого декабря. И море потягивалось довольной кошкой и блестело вылизанной ветрами шерстью. А позади весело шумела ярмарка.

И вздыхали, мечтая о далеких соснах, пальмы возле самой моей скамеечки...

Не успели мы подать веревки на причал, как кто-то с керченской тверди замахал руками и заорал деловые вопросы о грузовом плане, готовности трюмов и т. д.

Не успели пограничники покинуть борт, а матросы снять последнюю лючину с четвертого трюма, как порто-

вые краны заурчали, застонали и понесли к черному провалу нашего пустого брюха огромные вязки катанки — стальной проволоки в бухтах.

Начиналась погрузка, которая называется вариантом «вагон — борт». Я опешил, ибо к такой оперативности в нашем порту готов не был.

— Шоб я так жил! За три дня погрузим! — сказал стивидор Хрунжий.

Интуиция вопила о подвохе: рьяность начала погрузки настораживала.

— Шариковые ручки очень любишь? — спросил я Хрунжего, ибо стивидор весьма выразительно вертел в корявых пальцах мою импортную авторучку.

— Уже таки!

— Можешь ее забрать. Пойдет все хорошо — получишь еще набор таких, в шикарнейшей коробке, — сказал я. — Стихи можешь не слушать. Слушай прозу: «При приеме экспортных грузов перед погрузкой грузовым помощникам осматривать все партии груза на складах порта или у борта судна...» Почему ты не дал мне осмотреть груз?

— Шоб я так жил! Ты ржавого железа не видел?

— Слушай дальше. «Грузовым помощникам систематически проверять тальманские листы приемо-сдатчиков порта. В процессе грузовых операций осуществлять контрольные просчеты подъемов, а также контролировать добросовестность работы тальманов порта...» Я хочу проверить первый подъем. Пошли.

— Слышал слово «чумак»? — спросил Хрунжий. — Биндюжники такие были, обозники, в Крым за солью ходили, а видцеля с рибкой в Чумакию тикали... Так ты, шоб я так жил, не с их числа?

— По-нашему это «куркули» называется, — сказал я. — Ты выпить хочешь?

— Який прозорливый!

Эта прозорливость и привела меня спустя трое суток на самое дно морской жизни, ибо я достал бутылку испано-малайско-арабско-международно-отвратительного рома. Я был еще очень неопытный на торговом фронте человек. Я боялся грузов, погрузочных документов и сдачи грузов прохиндеям получателям. Я еще не знал, что надо сразу и четко определить линию поведения и выдерживать потом ее с неизбежностью сфинкса. Или: беспощадная придирчивость, строгость, проверка всего и всех,

никакого выпивания со стивидорами и бригадирами грузчиков и т. д. Или: выпивка, обильные «презенты» (но действительно обильные, широкие, а не десяток шариковых ручек) плюс панибратство и задушевные разговоры. Середины нет.

А я, прослуживший в свое время десять лет на военном флоте, был слепым щенком на коммерческом поприще. Я еще пытался соединить обе эти линии, то есть скрещивал кобру с жар-птицей и ожидал появления гибрида в виде Георгия-Победоносца.

Мой идеализм и раньше махрово проявлялся, например в том, что я автоматически считал всех профессиональных, кондовых моряков хорошими людьми. Я считал, что благородство моря и опасности профессии делают из любой шельмы конфетку. Или же путем естественного отбора сепарируют шельм и центробежно вышвыривают их из морей на берега. Боженьки мои родненькие, как я изумился, когда впервые обнаружил патологического труса в заслуженном капитане!..

Керченский стивидор Хрунжий, оказалось, тоже раньше служил, но на суше, в войсках ПВО старшиной-сверхсрочником, и уволился в запас, когда ПВО стало переходить на ракеты. Зенитные пушки нравились Хрунжему потому, что стояли в городах или (в крайнем случае) в пригородах. Ракеты же покинули благоустроенные жилые массивы и подались в удаленные леса и доли. Это Хрунжего не устроило. И он утик из армии...

Уже у трапа Хрунжий сказал, оглядывая бесконечные штабеля груза на причале, бесконечные цуги вагонов на путях и странно неподвижные (после недавней бурной деятельности) порталы краны:

— Шоб я так жил! Крутишься между начальством и вами, штурманами да работягами... Хоть у петлю лизь! Где ж мои грузчики? — задал он вопрос метели и серым небесам, направляясь к «Москвичу».

— А дачка-то есть? — спросил я.

— Ни! Яка дачка? Огород е невеличкий. Пьят соток.

— С огорода «Москвича» и сообразил? — спросил я.

— Ни! С премий, — сказал он, машинально проверяя груз моих подхалимских презентов в кармане брезентового плаща.

— Где ж люди все-таки?

— Сейчас побачимо...

...Грузчики появились и краны опять ожили только через сутки, но в таймшите уже было записано: «Начало погрузки на два хода 14.30—16.00».

Хрунжий свое дело знал, и то, что я ягненок, тоже усек с первой минуты.

Каждую встречу он начинал с замечания, что я плохо выгляжу и что, если я буду так дергаться и переживать по поводу погрузки, то отправлюсь в ящик значительно раньше естественных сроков.

Неприятно, когда тебе часто говорят, что ты плохо выглядишь.

Погрузка шла безобразно, но первое время в пределах нормы безобразия.

Конечно, потом в Ливане, где очень дотошные приемщики, которые считали рельсы в связках поштучно, у меня не хватило много чего. Тщательные ребята в порту Триполи. Не то что в Сирии. Цветущая, богатая страна была Ливан в шестьдесят девятом году. И потрясающе красивая. Мы съездили из Триполия в Бейрут. Автострада следует извивам берегов Средиземного моря. К морю спускаются террасами бассейны для выпаривания морской соли. В них отражаются оливковые рощи. А близко горы со снеговыми вершинами. И туристы могут утром купаться в море, днем кататься на лыжах в горах, а вечером кутить в шикарнейших заведениях Бейрута — «Восточный Париж» — так его называли. И потому я, который видел эту колдовски красивую страну, сейчас с животочащей болью смотрю телевизионные репортажи из разрушенного Бейрута и разоренных деревень. И лица ливанских беженцев для меня не только мимолетный телекадр. Ведь, как и на всем Ближнем Востоке, в богатом Ливане разница между богатыми и нищими огромная. А кто в первую очередь страдает и гибнет под израильскими ракетами и бомбами? Бедные люди. Богатые переведут деньжата из местного банка в швейцарский, прыгнут в самолет — и все дела.

Ближневосточный конфликт тянется слишком долго. Зрители во всем мире привыкли к нему. Уже не ощущают трагедии, только умственно отдают себе в ней отчет. А ведь там падают бомбы и рвутся снаряды. Кто слышал вой бомб и знает, как от их воя живот поджимает к

сердцу или сердце проваливает в живот, обязан вспомнить эти моменты, читая примелькавшиеся газетные заметки о войне в Ливане.

Отношения с Хрунжим начали резко обостряться, когда выяснилось, что автомобили «газики» не лезут через «порог» твиндеков. «Газики» были с брезентовым покрытием. Всего двух-трех сантиметров не хватало, чтобы автомобили пролезли нормально. И пришлось снимать с машин пломбы, опускать верхи, заталкивать их в таком виде, а уже в твиндеке опять поднимать на место верхи. Внутри автомобилей ящики с запчастями и масса всяких других соблазнительных и дорогих вещей. Потому сразу после заталкивания «газика» надо не только восстановить его прежний вид, но опять опломбировать, ибо ценные и дефицитные детали испаряются моментально. Воровать их из-под пломбы сложнее и опаснее — можно и срок получить.

А Хрунжий, несмотря на мои вопли, все не посылал и не посылал пломбировщика.

Сейчас-то я ученый и понимаю, что процент с украденных и проданных деталей получал и он. И потому тянул с пломбировкой. Тогда же я довольно долго верил, что у него просто нет свободного человека и что он не меньше меня беспокоится за сохранность автомобилей.

Последней каплей оказалось его требование начинать погрузку техники на крышки нижних трюмов, хотя там были тяжеловесы, еще не раскрепленные. Одно дело крепить крупногабаритные тяжеловесы при дневном свете в открытых трюмах, другое — в тесноте и тьме уже закрытых. Загнать туда работяг, конечно, можно, но работают они при переносных люстрах и в тесноте такое, что на первом хорошем крене тяжеловесы пойдут гулять в парк культуры и отдыха.

Еще раньше порт потребовал погрузки на палубу автобусов и бензовозов «без упаковки». Существует положение: «Разрешается отгрузка без упаковки на палубах морских судов грузовых автомобилей, тракторов, строительно-дорожных машин из портов Черного моря в страны Черноморского бассейна и в порты Средиземноморья, если суда имеют грузоподъемность не менее 7000 тонн, при условии, что их трюмная загрузка не будет превышать 80% его грузоподъемности в летнее время и 60% в зимнее».

Дальше, конечно, о том, что «экипажи обязываются принимать все зависящие от них меры, продиктованные хорошей морской практикой, в целях сохранной доставки упомянутых грузов, перевозимых на палубах морских судов».

Наша грузоподъемность соответствовала положению, ибо была больше 7000 тонн, но и трюмная загрузка была больше 60%.

Такие серьезные вопросы ложатся уже не на штурмана, а на плечи капитана. Учитывая: а) порт забит товаром; б) технику ждут наши бедствующие друзья; г) переходы открытым морем от Керчи до Босфора и от Дарданелл до портов выгрузки маленькие,— было принято решение рискнуть и автобусы с бензовозами на палубу без упаковки брать. Хотя мы рисковали еще и добавочно, потому что грузовые стрелы на переход морем теперь невозможно было крепить «по-походному», то есть в горизонтальном положении. Их приходилось оставлять в поднятом к мачтам виде, а это опасно, если угодишь в шторм. На дворе же была зима, когда штормит часто.

Вообще, погрузить автомобиль на судно и закрепить не так просто, как покажется, например, философу. Природа не изобрела колеса для движения живых созданий в пространстве. Правда, природа заполнила вращением весь мир. Вращаются планеты, звезды и галактики, но они мертвые. Колесо изобрел человек. Быть может, он глядел при этом на звезды, а быть может — на обыкновенное перекаати-поле. Почему природа дала млекопитающим ноги, а не колесо?

Даже взятые на тормоза, колеса сохраняют неукротимое желание нести перевозимый тобой автомобиль за борт. Потенция движения сидит в самом нутре колеса.

Это изобретение и хорошо и плохо тем, что соприкасается с твердью лишь одной точкой. Когда грузишь автомобили на судно, хочется обнаружить у них плоскостопие или даже лапы и копыта. Природа снабдила нас конечностями, заботясь о добротном упоре в землю. Нога, лапа, копыто полны сосредоточенности, а колесо, черт бы его побрал, легкомысленно.

Так вот, мы пошли навстречу порту в ряде серьезных и опасных для себя ситуаций, а пломбы на «газиках» все не появлялись, и каждую смену я обнаруживал раскуроченные машины.

Хрунжий издевался над моим бессилием.

Хорошо помню дату, когда опустился на самое дно морской жизни. Это случилось в ночь с двадцать седьмого января на двадцать восьмое. Дату помню так хорошо, потому что после ужина часок смог посидеть у телевизора — была метель, и порт прекратил погрузку. Смотрели передачу из Ленинграда в честь годовщины снятия блокады. Выступала Берггольц.

Для блокадника вспоминать блокаду дело нервное, тяжелое. Смотря передачу, я больше всего боялся, что не смогу удержать слезы. Уж больно неудобно пускать слезу на глазах молодых матросиков — можно и авторитет подмочить.

Тут явился Хрунжий, сильно поддавший, и потребовал какой-то документ. Мы поднялись с ним в каюту. Там оказалось полно женщин в противогазах, куклуксклановских халатах и с вонючей химией в баллонах: старпом вызвал уничтожителей тараканов. Работницы такой службы женщины грубые и безобразничают больше необходимого, обрызгивая все и вся ядохимикатами. Грузовые документы, разложенные на диване, столе, полу, уничтожители свалили в кучу малу в углу каюты. Или старпом забыл предупредить меня о мероприятии, или я сам из-за блокадных эмоций протабанил. Во всяком случае я взбесился, выпроводил уничтожителей, открыл все иллюминаторы и рылся в документах, задыхаясь от ядовитой гадости.

Хрунжий стоял в дверях и издевался надо мной не менее ядовито.

Нужный документ не находился. Я сказал, что погрузка прекращена и что с этой бумажкой можно обождать до утра, за ночь я разберусь, а вот если через час на борту не будет пломбировщика, то я больше не буду никуда писать просительные письма, я просто и обыкновенно разобью ему морду при помощи кое-кого из морячков-любителей этого вида спорта, тем более что он пьян и это засвидетельствуют все — от вахтенного у трапа до последнего кнехта. Он, конечно, понес меня. Тут пришел сдавать вахту третий штурман — молодой парень, отличный моряк и интеллигентный человек. Сейчас он уже капитаном работает. И мы в четыре руки спустили Хрунжего с трапа. Прямо скажу, что трап был длинный и кувыркался стивидор до причала довольно долго.

После этого я принял у третьего вахту, помыл кое-как каюту и засел разбирать перепутанные бумажки.

Конечно, кабы не Берггольц да не тараканья история, то я бы себе такого бессмысленного и даже вредного для дела поступка не разрешил.

Скоро ветер усилился баллов до восьми. Метель мела, и вечером ложиться спать я не стал — беспокоили швартовы. Сидел и детектив читал.

За тонкой перегородкой плакал ребенок — ко многим морякам приехали из Ленинграда жены с детьми.

Москва транслировала «Чио-Чио-сан».

Где-то около полуночи вахтенный матрос доложил, что пришла женщина пломбировать автомобили.

«Вот, оказывается, как надо для пользы дела разговаривать с Хрунжим», — подумал я, надел ватник и выбрался на палубу.

Отвратительная ночь бушевала над зимней Керчью. Противно было даже смотреть на металл, простывший до дрожи. Снеговые сугробы покрывали судно, поземка металась между надстройками, и ветер надрывно сопел в снастях.

Возле четырехугольного узкого лаза в трюм стояла в полном смысле слова снежная баба.

Она стояла у черной дыры, привязанная к ней невидимым поводком обязанности зарабатывать на хлеб насущный. Она казалась более одинокой и несчастной, нежели собака, привязанная у магазина и намеренно забытая хозяином.

Я хорошо представлял работу, которой женщине придется заниматься во тьме и стылости трюмов. «Газики» были раскреплены толстой стальной проволокой, и концы закруток торчали пиками и штыками в самых неожиданных местах.

И вот когда я поглядел на эту одинокую бабу и представил, как она будет лазить между креплениями в трюме, в полном одиночестве, подсвечивая простывший металл слабым лучиком ручного фонаря, и как она будет ставить по четыре пломбы на каждый автомобиль, то мне стало ее жаль.

— За что же тебя на работу ночью кинули? — спросил я.

— А кто знает?

— Пойдем в каюту, я тебя сперва чаем отпою.

Она, конечно, согласилась. Она выпила бы дегтю,

только бы дольше протянуть резину и не лезть в стальной сейфовый холод трюма.

На палубе среди метельной ночи пломбировщица представлялась пожилой женщиной. В каюте же я увидел, что это девушка, которой не больше восемнадцати-девятнадцати лет. Ее звали Люба. Ее испуганные глаза смотрели сквозь выбившиеся из-под ушанки и платка заснеженные волосы. Огромные валенки. Ватные брюки. Солдатский ремень с пряжкой поверх полушубка. Фонарик торчит из-за пазухи, а пломбир висит на веревочке, привязанной к ремню.

В таком водолазном снаряжении и самый ловкий матрос загремит с первой скобы трюмного скоб-трапа.

— Снимай малахай,— сказал я.

И когда она сняла полушубок и ватник, то из здоровенной бабищи превратилась в довольно миниатюрную девчушку.

Я дал ей горячий чай с лимоном. Она взяла кружку обеими руками и от счастья даже не сразу решилась пригубить.

Любопытство — вещь, свойственная путешествующим и тем более записывающим людям. А судьбы молоденьких девушек, заброшенных прогрессом женской эмансипации в суровые края и на тяжкие работы, интересуют меня особенно.

Навсегда запомнилась девушка из поезда «Воркута — Москва», девушка в красном пальто, лживая и неудачливая.

Но я знаю, что бог не дал мне таланта вмешиваться в чужие судьбы, ибо я только запутываю их. И потому не вмешиваюсь. Только любопытствую.

Через десять минут я знал, что Люба из Темрюка, училась в торговом техникуме; отец попал под поезд; студенткой в техникуме жила плохо; чтобы купить платье для танцев, обрезала и продала за шестьдесят рублей косу — «гарна була чуприна». Конечно, пыталась скрыть этот факт от наезжающей из Темрюка в Керчь на побывку матери. Но однажды помыла голову, легла спать, а мать и приехала, побила дочь пояском от купленного платья, а поясок был с металлической пряжкой, так что получилось больно. Мать утверждала, что спереди дочь «еще так смяк, а сзади похожа на черта».

Пробовала всякими усилиями отрастить косу обратно, «но у хлопцев, например, скильки ни бройся, борода опять лезет, а коса бильше не растет». Нынче учится на тальманшу и подрабатывает пломбиривкой, потому что ученицам премии не положены. Оклад сорок пять рублей, пятнадцать из них платит за комнату в домике на окраине Керчи, домик плохой, в коридор сквозь щели надувает снег, а она не может достать войлок закрыть щели. И возле порога комнаты надувает сугробик.

Когда девушка рассказывала о проданных косах, из приемника звучала уже какая-то красивая иностранная музыка. В каюте было светло, тепло, чай был свежий и вкусный, лимон итальянский. И я с опозданием понял, что не надо было уводить Любу от черной дыры люка, потому что теперь, когда она здесь оттаяла и раскисла, ей еще страшнее будет опять напяливать промерзший малахай и начинать тяжкую работу.

Дело, естественно, кончилось тем, что я полез с ней вместе в этот проклятый трюм и светил фонариком, а она клепала пломбы на «газики». И даже напевала: «Сонце низенько, вечер близенько, спишу до тебе, мое серденько!»

Вот уж чего я не мог предположить, так это того, что рядом со мной ползает по трюму и напевает обаятельным голоском песенки мой будущий Иуда Искариот.

Увы, никто из мужчин не знает точного числа измен женщин. Я не о физических изменах, об изменах духовных. Последние обнаружить куда труднее.

Мы опломбировали штук тридцать «газиков», когда в трюм спустился Хрунжий. Он протрезвел, имел вид виноватый; заверил, что теперь пломбиривщица не уйдет с судна, пока не закончит всю работу.

Я сказал Любе, что пора сделать перерыв, и мы все трое вылезли на свет черный из черного трюма, чтобы еще попить чайку с итальянскими лимонами.

В каюте на столе стояла здоровенная бутылка дешевого портвейна.

— Ну, добре, погорячились, и хвате,— пробасил Хрунжий.— Обое тут як мавпы крутимся. Родина не ждет. Ну, чего в очи дивишься? Хлопни кружку. Пойло — дерьмо, но краше, чем ничого... Я тоби обдурыть хотив, ты меня с трапа пхнул, поквытались. Як дрыжать у тебе руки! Глотни стаканчик на мировую.

Мне не хотелось пить дрянной портвейн.

— Хватить, погорячались. Тай годи!

И мы выпили. И Люба с нами.

— Зрада була завжды не для одного дила...

«Предательство было всегда. И обман. Для пользы дела. Я закон нарушал, ты его тоже нарушил. И мы квиты». — Так все сказанное выше переводил я для себя. — Будь, мол, здоров и держи хвост пистолетом. И чего это ты сам по трюмам лазаешь? Видишь, от такой работы у тебя уже руки дрожат. Виски седые, а сам с пломбировщицей между автомобилями ползаешь».

Короче говоря, мы помирились.

Через пять минут он ушел, пообещав с утра прислать еще и рабочих для раскрепления тяжеловесов во втором трюме.

Дальше из моей объяснительной записки:

«Глубокой ночью, когда я уже лег отдыхать, меня вызвали с судна якобы для согласования изменений в карго-плане. На самом деле от меня потребовали подписать заготовленный портом документ о моей ответственности за часовой простой всех судов на рейде.

Порт был забит товаром, частые перерывы в подаче электроэнергии и низкая организация обработки судов вынуждали местные власти искать козлов отпущения среди судовой администрации. Подписывать документ я отказался в достаточно резкой (грубой) форме».

В помещении находились: милиционер, стивидор Хрунжий, дежурный диспетчер и неизвестное мне лицо. Вот этот консилиум из четырех человек и потребовал, чтобы я подписал бумагу о взятии на себя ответственности за простой судов на рейде, так как не разрешаю грузить технику на крышки твиндеков до раскрепления тяжеловесов.

Пока мы спорили на эту тему, пришла и тихо села в уголке Люба. И тогда Хрунжий сказал, что спорить тут вообще нечего, потому что грузовой помощник пьян. Он, Хрунжий, и вот пломбировщица видели своими глазами, как он пил на судне спирт. И что надо составить документ о факте его пьянства, потому что и присутствующие это могут подтвердить.

Все у них было уже готово — и проект документа тоже.

— Я с пломбировщицей с полночи до двух часов

лазал в трюме,— сказал я.— И это единственное, что она вам может подтвердить.

— А зачем вы сами там лазали?

— А просто боялся за нее, за девушку. Она могла пораниться о крепления автомобилей. Люба, а почему ты молчишь?

«Если она сейчас не скажет правду, немые возопиют и слепые Янко прозреют»,— подумал я.

— Ни. Со мной никто ни лазав. Говорит, сам не знаешо! Пломбы сама ставыла.

Хрунжий — черт с ним! Все остальные — черт с ними. И даже я сам — черт со мной. Но Люба? И как торжествует! Прямо хитрая разведчица, вернувшаяся из-за линии фронта. Или все-таки правильной будет сказать, как подсадная утка в банде уголовников.

И я сказал самую идиотскую и бессильную из расхожих фраз человечества у все времена и у всех народов:

— Как тебе не стыдно?

— Шо бачылы очи, то и казала,— засмеялась Люба.

Я вспомнил, как она стояла у черной дыры люка и казалась мне более одинокой, нежели собака, забытая возле гастронома. Следовало по примеру Печорина ухватить ундину за косу одной рукой, а другой за глотку. Но, черт побери, у моей ундины и косы не было.

— Плохо кончишь, Люба,— сказал я.— Кто так жизнь начинает, тот обязательно плохо кончит, одумайся.

— Много видели, да мало знаете, а что знаете — так держите под замочком,— сказала она на нормальном русском языке, как в школе на уроке литературы.

«Ну, или орел, или осел и решка!» — решил я и сказал:

— Ничего не остается делать, как провести экспертизу. Я требую доставки меня в милицию, лучше в медвытрезвитель. Если вы меня не доставите, я сам туда доберусь. И так ли, иначе ли вы будете отвечать за клевету.

Просьбу уважили без всяких добавочных требований. Через минуту я влезал в «раковую шейку», переоборудованную из годного на все руки «газика». Устраиваясь на жесткой скамье, я пробормотал себе под нос: «Ну, братец, назвался груздем — полезай в кузов...»

Кузов «раковой шейки» содрогался на ухабах и снеговых заносах ночных керченских улиц хуже торпедного катера на шестибалльной волне в Баренцевом море. Ко-

гда так трясет, или качает, или швыряет на волнах, я предпочитаю стоять, но в кузове милицейского «газика» не встанешь. Вероятно, это сделано для того, чтобы ты привыкал к глаголу «сидеть».

В приемном холле вырезвителя ни одного образа ни в одном углу не было — как известно из «Тамани», дурной знак.

— Чего ты его сюда, ко мне привез? — бегло скользнув по мне профвзглядом, спросил дежурный лейтенант у того милиционера, который сопровождал меня из диспетчерской.

— Сам просил, — сказал милиционер. — Не хочет признавать, что выпивши. А Петр Степаныч и пломбировщица видели, как спирт пил. И все диспетчера утверждают, что пьяный. Вот документ от них за четыремья подписями, — и он передал документ дежурному.

Лейтенант внимательно просмотрел документ.

Милиционер, который привез меня, вышел из комнаты.

— Пили? — спросил лейтенант.

— Три часа назад бутылку портвейна на троих, — сказал я. — А обвиняют меня в больших грехах. Вы сами видите, что я не пьян. Это мне и надо зафиксировать.

Пожилая фельдшерица (в белом халате поверх шубы) сидела и слушала или не слушала.

— Проверьте! — строго сказал лейтенант.

— Идите сюда! — сказала фельдшерица.

На улице фыркнул «газик» и уехал.

— Дыхните, — сказала фельдшерица и подставила мне сложенные лодочкой ладони.

Я дыхнул. Она понюхала.

— Ну? — спросил лейтенант.

— Выпивши. Так он и сам сказал.

— Идите отсюда! — вдруг сказал лейтенант.

— Нет. Так не пойду. Мне нужно, чтобы вы написали, что я не пьян. Меня обвиняют, что...

— Степанов, я его отпускаю, а он не хочет. Видел таких из тверезых? — спросил лейтенант рядового сотрудника.

Тот пожал плечами.

— И еще я убедительно попрошу вас, товарищ лейтенант, — сказал я, — доставить меня в порт на машине. В Керчи я первый раз, ночь, города не знаю, судно под погрузкой, а я на вахте.

Между прочим, я только в тот момент вспомнил, что плюс ко всему я еще и на вахте. Злость отбила память на мелочи.

— Речевое возбуждение у него,— сказал лейтенант.— Заметил, Степанов? Интересно ему у нас, да, Степанов? Еще поговорите? Или все сказали?

— Наш брат — нынешний человек — суетлив и действительно суесловен,— сказал я, ведя себя так, как нынче вел себя наш доктор с солдатом-пограничником, то есть высокомерно и глупо. Ведь от меня действительно пахло, и этого факта было вполне достаточно, чтобы отправить меня в кутузку и сделать козлом отпущения за любые преступления мира.— И потому нынешний человек,— продолжал я, уверенный в своей нравственной чистоте,— не получает настоящего удовлетворения от общения с другим человеком, даже если этот другой очень умный и образованный человек, ежели тот не является лицом, обладающим властью. С человеком же, который власть имеет, разговаривают уже с неподдельным интересом, хотя он и глуп, как пуп.

— Степанов, он меня дураком считает, а? — сказал лейтенант рядовому милиционеру.

— Вы меня неправильно поняли,— сказал я.— Я только заметил, что с вами интересно. Но мое судно под погрузкой, а я грузовой помощник капитана. Мы через денек снимаемся на Ливан. Повезем арабам технику и стальной прокат. Без меня там таких дров наломают... Кроме того, я член Союза писателей и...

— Степанов, если гражданин себя Шолоховым называет, посади его в душ,— сказал лейтенант и зевнул.— А сейчас помоги пьяному раздеться и веди в камеру. Спиртом от него так разит, что с души воротит. Небось чистым матом закусывал?

— Наши алкоголики лучшие в мире! — сказала фельдшерница, кого-то цитируя или повторяя известное присутствующим высказывание.

Лейтенант засмеялся. И я, дурак, тоже. Я все еще тупо не понимал, что Хрунжий капкан на мне захлопнул.

— Раздевайтесь,— сказал Степанов.

— Для вас эти шутки плохо кончатся,— сказал я лейтенанту.

Он только рукой махнул — слышал он тут угрозы и похлестче.

— Раздевайтесь. До исподнего,— сказал Степанов.

Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил керченское портовое спокойствие и, как камень, сам пошел ко дну. Это было илистое, холодное, омерзительное дно. Я погружался медленно, захлебываясь в зыбях человеческой лжи и несправедливости. Зыби уже смыкались над головой.

На короткие мгновения пытался увидеть все происходящее со стороны, представить, как спустя годы буду рассказывать приятелям новеллу с названием, с названием...

Под натужными воспоминаниями и попытками глядеть на происходящее со стороны неотрывно стоял страх. Какой уж юмор, когда душа полна страха!

Объяснение с капитаном, отношение в отдел кадров, персональное дело на партсобрании, запись в личное дело — и захлопнут визу.

Шапка, ватник, куртка, брюки, рубаха...

Каждый предмет одежды оказался связан с моим человеческим естеством интимными связями.

Я остался в исподнем, голый до пояса и в носках.

Фельдшерница сонно читала книгу, лейтенант ухмылялся, рядовой Степанов хмурился. Последнему, мне хотелось на это надеяться, не нравилось происходящее.

— Ну, пойдем, моряк, отдохнешь,— сказал он.

— Босым я никуда не пойду,— сказал я.

Хотя меня заставили поджать хвост и хотя меня трясло, как собаку на морозе, как Каина, но эта дрожь из нервной и ознобной стала превращаться в слепое дрожание души. В таком состоянии я вижу впереди как в перевернутый бинокль — с четкостью фотовидеоискателя начинают работать зрачки. А все, что не прямо по направлению взгляда, расплывается в красноватой мути. Я видел стол, лейтенанта, телефон рядом с ним и графин на подоконнике. И я бы забыл великую истину: «Спорить с милицией или патрулем может только салага!» И я бы взялся за графин, если бы Степанов не дал мне две калоши сорок девятого или шестидесятого размера.

— Обуй. И не переживай. Утро вечера светлее,— сказал Степанов.

Возможно, он уберег меня от непоправимого.

Далеко не в первый и, скорее всего, не в последний раз переступил я порог милицейской камеры.

Двадцать шесть лет назад в континентальном городе Фрунзе потерял гражданскую девственность, украв стакан урюка у старой киргизки или ведро угля на сортировочной,— точно не помню. И услышал сакраментальное: «В камеру! Утром заговорит!» Была малярия, рядом валялся на грязных досках пола пьяный безногий солдат, в углу сидела на корточках и разговаривала сама с собой, нажевавшись мака, спекулянтка рисом.

С тех пор знаю, как медленно бледнеет за решеткой под потолком окошко на рассвете. И знаю, что рано или поздно все это кончится. Нужно только стиснуть зубы и не делать глупостей.

Внешний вид и интерьер заведений подобного рода весьма интернационален. В том смысле, что в самых разных странах удивительно схож. Мне приходилось (по делам, к счастью) заглядывать и в американские, и французские, и английские полицейские участки. И впечатление такое, будто один и тот же художник трудился над их оформлением.

Но в Керчи я попал не в обыкновенную, а в вырезательную камеру. Там стояло шесть металлических коек, застеленных байковыми одеялами, и за ночевку на них брали десятку. Насколько известно, в гостинице «Украина» в Москве за десятку можно получить люкс.

К чести города Керчи, четыре койки клиентов не имели. Вероятно, день полочки миновал давно.

Без всякого блеска горела над дверью синяя лампочка. В ее свете расхаживал по камере здоровенный громила. Он завернулся в простыню и смахивал на римского патриция. Когда дверь за мной захлопнулась, коллега привалился к притолоке и уставился в глазок. Любопытства ко мне он не выказал.

Громиле было лет пятьдесят. На левом боку и левой руке зияло несколько фантастических по величине старых шрамов. Перегаром от коллеги пахло, но пьян он не был. Или уже проспался, или я не был первым, попавшим в это богоугодное заведение по некоторому недоразумению.

Второй коллега находился, прямо скажем, в плачевном состоянии. Лежал он не на чистой и симпатичной койке, а на полу; скрипел зубами, как токарный станок; пена засохла на губах, взгляд был мутный, покойнический; общее выражение лица и поза выказывали крайнюю степень отчаяния и муки.

Я облюбовал койку в углу, сдерживая острейшее желание заметаться по камере, рвать и ломать, биться башкой в стенку и орать. Процедура раздевания — именно эта процедура — травмировала мою нежную психику. Все остальное можно было пережить без особых стрессов. Я знал, что утром они должны меня выпустить в любом случае. И тогда я сразу прямым ходом помчусь в горком. Планы мщения, один другого прекраснее и сокрушительнее, так и калейдоскопили в моем воображении! Я понимал, что даже непрофессиональный в вопросах алкоголизма и пьянства секретарь горкома, посмотрев на меня утром и поговорив со мной, поймет, что этот человек не мог быть пьян до вытрезвительного состояния четыре-пять часов назад. Но я знал и другое: факт ночевки вахтенного штурмана в вытрезвителе никаким поздним реабилитантством не вытравишь из памяти товарищей кадровиков. Да и сами морячки такие штуки забывать не умеют: нет дыма без огня, и т. д.

— Курить охота,— сказал громила-патриций, оторвался от глазка и лег поверх одеяла на койку рядом со мной, потер фантастические шрамы и мирно зевнул.

— Автомат? В упор, что ли?— спросил я.

— Пулемет,— рассеянно ответил громила.

Он не врал и не шутил.

Древний и чужой спал за стенами вытрезвителя горрод. Низкорослые дома, ограды из булыжников, черепичные крыши, еще оставшиеся кое-где. И метельный ветер выкрутасит по улочкам, сотрясает окошко за решеткой, бьет в стекло обледеневшими ветками акации, доносит слабые гудки буксиров или локомотивов...

Ветры вихрят с Азовья, торосят льды в проливе. На студеном мелководье сбита, утоплена, искорежена навигационная обстановка — буи, вехи, бакены; чертятся сейчас гидрографы, ждет их впереди нудная работа...

Хорошо все-таки, что судьба с детства приучила к казенным домам.

Хорошо все-таки в тепле и в чистой койке, когда за окном метель и штормовой ветер.

Ну вот, друг ситный, думал я, пошел ты в моря и океаны на охоту за мифами, не можешь ты без мифов, не сидится тебе на Петроградской стороне,— получай теперь обычную реалистическую прозу, изучай ее в Тмутаракани, в Тмутаракани, в Тмутаракани...

— Не спи, кум,— сказал громила.— Тебе утром башку надо чистую иметь, а так заспишь и не выспишь.

— Тоже верно, кум,— сказал я и открыл глаза.

Перед важным делом лучше вовсе не спать, нежели спать коротко. Это космонавты умеют спать в любой миг по самоприказу и получать таким макаром свежесть. А я таким макаром получаю вялость.

Для утреннего визита в горком и поисков справедливости лучше было обойтись без сонной опухлости. И так физиономия после двух недель адской работы в Керчи напоминала печеное или гнилое яблоко.

Громила сел на койке. Он был лыс, и синий блик бродил по его корявому черепу. Морщины уже давно обжились на его лице, нашли свои точные места, закрепились, обозначая склонности, пережитые страсти, пороки и святости сложными, трудными для быстрой расшифровки иероглифами. Из иероглифов глядели темные маленькие глаза и усмехались довольно безмятежно.

— Давно облысел? — спросил я.

— Начавши пить, по волосам не плачут, писатель.

— Что, слышал, как они меня сделали?

— Слышал. Прижала тебя супруга-жизнь, кум. Взяли тебя ребята в ерши. Ну, Стас вроде чуть очухался. Давай-ка его в постельку уложим. Мне одной рукой несподручно было. Еще отбивается, а здоров як бык.

— Здоровей тебя?

— Куда мне. Страшной силы человек Стас.

Страшной силы человек был очень тяжелым, но никакого сопротивления не оказал.

Он уткнулся в подушку и заплакал.

— Воды ему надо,— сказал я.— Весь рот запекся.

Громила пошел к дверям и постучал аккуратно, согнутым пальчиком. Открыл Степанов.

— Сведи до лейтенанта, Павло Михалыч,— попросил громила.

— Иди,— сказал Степанов.

Они, видно, давно были спокойно знакомы.

В дверях опять щелкнул ключ.

А меня повело метаться из угла в угол. Калоши спадали, метаться в них было невозможно. И потому удалось взять себя в руки и уложить в койку, и заставить вспоминать что-нибудь постороннее, прошлое.

Представилась вахта в Мраморном море, когда я получил радостную телеграмму о том, что в Керчь мне

летит подмена. Нервная была вахта. И подмену потом не прислали...

Бывает, что с первых минут вахты не чувствуешь уверенности в месте судна. Принял все нормально, а внутри необъяснимые и нечленораздельные сомнения. И стало казаться, что старик «Челюскинец» задумал набедокурить в море с холодно-красивым названием — Мраморное. Дело в том, что берега этого моря вовсе и не мраморные, они расплывчато-глиняно-холмистые, и радар плохо берет их. А здесь радар вообще вышел из строя. Дно Мраморного моря ровное, приметные глубины ухватить эхолотом невозможно. На определение радиопеленгам времени не было — сплошь встречные и попутные кораблики. Четыре часа непрерывных расхождений при малой видимости и неуверенности в месте. И еще под самый конец вахты вдруг прямо по курсу и в непосредственной близости ударил в глаза прожектор, через несколько секунд — еще раз. Я заорал: «Право на борт!» И тут ударила третья вспышка где-то совсем уже под форштевнем. Судно увалилось с семидесяти девяти градусов на девяносто пять, а с правого борта неся обгоняющий танкер. Я висел с левого крыла мостика, чтобы увидеть лайбу, с которой сверкнули прожектором, но так и не увидел ничего. Потом метнулся на правое крыло, увидел танкер в кабельтове на правом крамболе, заорал: «На прежний курс!»

Застопорить машину нельзя было, потому что прямо в кильватер шло еще одно судно. Оно держалось за нами уже два часа, и его штурман привык к равности наших скоростей, он обязательно впилил бы нам в корму, сбавь я резко ход... Отвратительная вахта. И нужно было вспомнить именно ее! Как будто мне не хватало веселья и без таких воспоминаний.

Громила вернулся с водой для Стасика и куревом для нас, спросил:

— Знаешь, кто тебя сюда утек?

— Все вместе.

— Точно. Дежурный диспетчер — твоего стивидора двоюродный брат.

— А, черт с ними. Меня девка ихняя обидела крепко.

— Любка?

— Ты в порту работаешь?

— Случаю бываю. Мы со Стасом по руде спецы. Когда руду отгружают, в порту работать приходит-

ся. Они тебе в портвейн спирт намешали. Заметил?

Нет, я этого не заметил. Мне любой портвейн так омерзителен, что, будь он хоть с амброзией, я, кроме отвратительного портвейнового запаха, ничего не ощушу. И потому я и выпил-то этой подлой смеси не больше стакана.

— Тут тебе и повезло. Вывернешься, кум. Лейтенантику уже дежурный по городу звонил. Там тебя ищут с парохода, шум поднимают.

Я знал, что меня будут искать, но факт-то! Факт ночевки в вытрезвителе уже свершился!

— А Любка — курва. Не одного морячка под монастырь подвела. Послушная девка. Вот они ее и используют в разных нужных случаях.

— Давай познакомимся,— предложил я.

— Лысый Дидько. Такое прозвище. Домовой поздешнему. Срок отбухал— вот Домовым и назвали.

— Пожалуй, тебя и без срока можно было так прозвать. Здоров больно.

Выяснилось, что сейчас он уже слабак, а вот до войны, в юности, поднимал быка на плечи.

— Брал за рога, покручу башку туда-сюда, он смирится, стоит как овечка, тогда я ему под брюхо лезу и этот фокус показываю...

Мне вспомнилось «Камо грядеши?» Сенкевича и Урс, который сворачивает быку голову. Я посмотрел на шею сосуществователя и поблагодарил природу за то, что она дает сильным людям добродушные характеры.

— Добрый ты человек, кум, да? Даже с похмелья злости в тебе нет.

— Это ты верно. Добрый. Только вот он,— и громила ткнул пальцем в затихшего немного Стасика,— куда как добрее. Я еще в давнее время сел. Нет, не думай, за дело сел. По справедливости. А Стас вольным там работал. Техникум заканчивал и в пятьдесят втором нами командовал. Трудная работа, а?

Мы закурили с Лысым Дидько по второй беломорине. И у меня немного полегчало на душе и от сознания, что ребята с парохода начали поднимать за меня полундру, и от беседы со славным человеком.

Стас был наследственным алкоголиком, знал о недопустимости для него вина вообще, до тридцати лет

не пил совершенно. С подчиненными не пил. Они его уважали. Когда Лысого расконвоировали, Стас взял его к себе жить. Лысый к тому моменту уже решил, что жизнь кончена, а Стасик его к жизни вернул. И Лысый тоже закончил горный техникум. Потом на шахте случилась авария, пострадали люди. И Стас первый раз выпил. К этому моменту он женился. Очень любил жену. У нее было двое пацанов-близнецов от другого человека. И когда Стас запил, то у него началась мания ревности. Он чуть не убил жену, попал в отделение, там выпросил бумаги, чтобы написать жене письмо. Ему дали школьную тетрадку. А у Стаса, очевидно, начинался алкогольный психоз. Он писал на тетрадной странице извинительные слова жене и умолял ее не изменять ему. Написанные слова с бумаги исчезали. Он писал их снова и снова. Они опять и опять исчезали. Он впал в буйство и так бил себя в грудь кулаком, что сломал левую ключицу. Потом выломал дверь и пытался бежать к жене. Просто он каждый раз переворачивал страницу, исписав ее, и видел чистый лист. Но тогда ему казалось, что это проделки жены, что она не хочет получать от него письма.

Думаю, патологическая ревность у алкоголиков — следствие опустылевшего сознания вины перед женщиной за пьянство. Вина может быть и не осознана, но она давит, от нее муторно, она терзает. И, чтобы облегчить терзания от виноватости, надо и в женщине найти вину, уравновесить свою. Вина измены больше вины пьянства. Потому пьяница может уже не только виниться, но даже бить женщину или убить ее. Построение всех этих силлогизмов происходит, конечно, бессознательно и именно в тех случаях, когда пьяница истинно любит женщину, то есть особенно сильно страдает от тех мучений, которые ей доставляет.

Всю эту предысторию Стасика Соколова рассказал мне тогда в Керчи Лысый Дидько. Оказалось, что он сам выпил немного и в вырезвитель пробился вместе со Стасиком, чтобы не оставлять друга одного. Стас был в Керчи в командировке. Жена от него ушла. И Лысый собирался уговорить Стасика остаться в Керчи и жить с ним.

Довольно длинный рассказ сморил Урса, и он вырубился.

Стас стонал. Ему было очень плохо. Но глаза глядели уже не мертвым взглядом. Я давал ему воду и держал руку на лбу, и твердил избитые слова вроде: «Вот уже и отпускает... Держись... Скоро станет еще легче... Обойдется. Все будет хорошо...»

Я знаю, что иногда такие примитивно-обыкновенные слова помогают людям. Но нам не так-то просто говорить их. Нам их говорить бедствующему человеку трудно. Как будто отдавая утешительное бормотание другому, мы отнимаем от самих себя грамм или частицу уверенности в том, что и с тобой тоже все обойдется. Ослабляем себя. И при этом оправдываем скупость на слова утешения тем, что, мол, они лживые и произносить их как-то неудобно и стыдновато: какое уж тут «станет легче» или «все будет хорошо»! А если не может скоро стать легче и не будет впереди для утешаемого ничего хорошего, то, мол, на фиг я буду ему чушь бормотать?

Эти силлогизмы складываются в нас тоже подсознательно. Они требуют сохранять для самого себя психические силы, для своего спасения в длительном сражении с жизнью и смертью.

Я сказал еще Стасу, чтобы он приезжал в Ленинград, что у меня есть знакомые врачи в Бехтеревке и что я устрою его на лечение, и что жена вернется к нему, и что он начнет новую прекрасную жизнь. Уж больно понравилась мне эта парочка могучих людей с лицами громил и бандитов и с грудными клетками величиной с холодильник «Минск».

Стасик затих и повернулся лицом к стенке.

Я тоже лег. И смотрел на светлеющий, вернее, мутно-сереющий квадратик тюремного зарешеченного оконца и раздумывал об утрате своих морских иллюзий. И сознание их утраты поганило и саднило едва ли не больше неприятностей самой вытрезвительной истории и ее возможных последствий.

Многие годы я хранил и лелеял в душе чистое отношение к морю и морской работе. Многие годы мне удавалось вылезать из неизбежной грязи так, чтобы быстро забывать о ней. Я старался помнить о рассветах над океанами, а остальное...

Ведь мне писать, а я не могу писать без девственной чистоты любви к предмету писания. А от чистой любви оставались ножки да рожки. Нет, не оставалось даже

ножек и рожек: из них сварили вонючий столярный клей...

Однако не забывай, сказал я себе, в блокаду столярный клей спас тебе жизнь!

В горькоме никого, кроме дежурного, не оказалось, потому что наступила суббота.

В десять утра капитан, помполит и я явились к начальнику морской милиции Керчи, где я заявил требование об отпущении за незаконное задержание в вытрезвителе, признав факт грубого отношения к стивидору. Подполковник милиции счел обе стороны равно виновными и предложил похерить дело без разбирательства. Я попытался упорствовать, но капитан вывел меня в коридор и объяснил, что я и так уже напрочь испортил отношения с портом, а нам еще не раз и не два приходится сюда в будущем. И что судно уже восемь часов грузят без грузового помощника. У судна дифферент на нос, в любой момент можем сесть на грунт, и вообще, хватит валять дурака.

Для чистой формальности подполковник попросил написать короткую объяснительную. Я упрямо написал, что своей виной признаю грубость по отношению к стивидору Хрунжему, которая выразилась в том, что я выгнал его с борта, но что одновременно я заявляю о безобразии, допущенном по отношению ко мне работниками милиции.

Начальник мельком глянул на мое сочинение и сказал:

— Правду, товарищ Конецкий. Только правду. Всю правду. Прошу указать, что вы употребили за час до разговора в диспетчерской двести граммов портвейна.

— Сто пятьдесят,— сказал я.

— Вот и напишите.

Я взглянул на капитана. Он уже бесился, стучал безымянным пальцем по столу.

Есть неписанный закон, по которому капитан должен сражаться за честь своего помощника до упора. Капитан должен любыми средствами сохранить честь помощника, ибо этим он сохраняет свою честь, честь судна и судовладельца. Другое дело, что потом он может и должен наказать виновного или даже списать его с судна.

Но мой капитан был слишком начитанный человек.

Он на память процитировал: «И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а осмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?»»

Я поставил под текстом объяснительной постскриптум и написал: «За час до скандала я выпил со стивидором стакан портвейна, который он принес на борт».

— Кто это видел? — спросил начальник.

— Что видел?

— Что именно стивидор принес?

— Пломбировщица.

— Она опять откажется, и вы попадете в еще более нелепое положение, — сказал капитан.

И я отступил за Москву и даже за Урал. Я устал, перегорел, потух и смертельно хотел спать.

Не успели мы закончить погрузку, как пароходство уже получило телегу с приложением справки о моем пребывании в вытрезвителе.

Не в самом хорошем настроении уплывал я из Керчи.

Да и какая-то тоскливая неразбериха преследовала судно. В машине полетел шатун. Буксирами нас вытащили кормой вперед на рейд, чтобы освободить причал.

Молодой, вязкий лед не хотел расступаться перед нашей кормой. Буксирчики задыхались от натуги. Два с половиной часа потребовалось, чтобы отойти на милю и стать на якорь. Температура же стремительно падала. К утру снег уже не был влажным, ударило минус двенадцать градусов, небо прочистилось, портовые дымки потянулись к зениту ровными столбами, все на палубе застекленело, рейд схватило сплошным льдом. Плавкран, который тащил к нам необходимые машине детали из судоремонтной мастерской, застрял посередине рейда, влип, как муха в мед. До него было метров сто. Чуть-чуть! Это знаменитое «чуть-чуть»! Сто метров — и мы ставим на место шатун и уходим к апельсиновым берегам...

Уродовались еще двое суток с ремонтом.

В пять утра пятого февраля наконец явились пограничники и таможня оформлять отход.

Я спал в каюте на диване одетый.

Когда загрохотали солдатские сапоги и грохнул о дверной косяк приклад автомата, открыл глаза, но не встал. Надоели мне все власти на этом свете.

— Здравствуйте,— вежливо сказал таможенник.

— Доброе утро, вернее, ночь... Или утро,— сказал я.

— Доброе, доброе,— зловеще-профессионально согласился таможенник.— Вы кто?

— А на двери каюты написано,— сказал я.— Второй штурман.

— А, устали, значит?

— Отдохнул,— сказал я.

— Валюта есть?

— Итальянские лиры, восемь тысяч.

— В декларацию внесены?

— А вы взгляните. Она у вас в руках.

— Здорово устали,— с непонятным удовлетворением констатировал таможенник, разглядывая меня.— Конечный?

— Виктор Викторович,— согласно правилам ответил я.

Молодой и румяный пограничник отодвинул ствол автомата полог над койкой.

— Знакомая фамилия,— сказал таможенник.— Вы в Керчи уже бывали?

— Нет. И надеюсь больше не быть.

Он изобразил на физиономии вопрос. Я почесал свалявшиеся волосы и сел на диване. Лежать становилось неудобно.

— Для меня на веки веков Керчь — самый скверный городишко из всех приморских городков России,— ответил я на безмолвный вопрос.

Таможенник загадочно хмыкнул.

— Передайте привет нашим друзьям арабам,— сказал он.

Я обещал передать.

Представители власти традиционно пожелали счастливого плавания и убыли.

В каюте пахло тараканьим хлорофосом и сапожной ваксой. Такая смесь слишком напоминала казенный дом. Пришлось отдраить иллюминатор.

Морозный пар, шорох льда, плеск воды и мутный рассвет. И в двадцати верстах к востоку — скалистый берег Таманского полуострова, корявый домик казачки Царицыхи, пистолет странствующего по казенной надобности офицера на грунте, под слоем ила, стылой воды и грязного льда.

Подходил ледокол. Его яростный гудок раздался

близко. И среди серых льдин и рыжеватых полыней заметалось что-то живое, завилось галактической спиралью, стремительно рванулось в высоту и оказалось огромной стаей уток.

Их спугнул ледокол.

Приблизительно через год я был дома в отпуску.

Болела мать.

И я часами мотался между аптеками. Потому что нынче врачи обязательно выписывают такие лекарства, которых нигде не достанешь, и рекомендуют такие продукты для диеты, которых нигде на всем свете нет.

Мать, естественно, понимала, что аптекарская деятельность для мужчин хуже любого урагана.

И хотя ты изо всех актерских способностей изображаешь довольного жизнью бодрячка, мать каждую секунду переживает, что вот сын вернулся из плавания, а из-за нее вынужден тратить драгоценный отпуск на аптекарски-магазинную каторгу. И больше всего она боится, что ты с тоски напьешься. И правильно боится. Ибо, покинув очередную аптеку и проходя мимо очередной забегаловки, так и тянет успокоить нервы и психику стаканом коньяка. И дома тянет, потому что от притворства и лжи в изображении бодрячка сухо во рту. Но ты держись, готовишь еду, перестилаешь матери постель и т. д. Все сам: никто другой угодить ей не может, любая самая опытная женщина все сделает «не так».

Наконец вечер. Мать уснула. Можно почитать или посмотреть телевизор — и то и другое своего рода наркотик, потому что уводит от окружающей действительности.

И — дзынь! дзынь! дзынь!

Врача я не вызывал, знакомые без телефонного звонка не приходят.

Я открыл дверь и увидел Стасика.

Он был пьян.

Если что могло убить мать без помощи даже врачей и их неосуществимых рецептов, то это появление у меня пьяного дружка. Любая мать, жена и дочь считают, что их сыновья, мужья и папы выпивают по вине дружков-собутельников. А Стасик мне и никаким дружком не был, и не виделись мы после Керчи.

Я отпихнул Стасика от порога, вышел на площадку, притворил дверь, спросил:

— Тебя откуда принесло?

— Из Мончегорска,— объяснил он.— Дуба режу. Ночевать негде. Помоги.

— А деньги есть? — спросил я.

Деньги у него были большие. И тогда я объяснил, что болеет мать, ночевать у меня невозможно, с деньгами он где-нибудь устроится и, кроме всего этого, когда я трезв, то не терплю пьяных.

— Прости,— сказал он и стал совать мне авоську с яблоками — весь свой багаж.

Он был пьян застойно, уже очень ослабший, в том состоянии, когда не бывают агрессивными и не делают хамских поступков. Но я не мог пустить его ночевать. Это наверняка обозначало бы «неотложку» для матери через пять минут.

— Шлепай,— сказал я.

Он послушно повернулся и пошел вниз.

Не очень-то весело так выпроводить человека, с которым раньше сводила судьба в тяжелой ситуации.

Мать, конечно, проснулась от трезвона, поняла, что приходил «дружок». И сразу обычное: «Ну, прогуляйся, прогуляйся с ним, ведь ты только и ищешь повода, вот он, повод, и явился...»

Я обозлился.

— Нынче это не так, мать,— сказал я.— Нынче ты отлично чувствуешь, что нет никакого повода. По инерции говоришь.

И объяснил ей, что выгнал на улицу бездомного человека, что это Стасик (про керченскую историю я ей раньше подробно рассказывал), что знаю его мало, но это хороший человек, и мне теперь до гроба будет стыдно при воспоминании о том, как я Стасика выгнал в мороз и снег.

Мать велела бежать за ним, найти и хоть из-под декабрьского снега выкопать. Я помчался сломя голову.

Слава богу, Стас завалился на скамейку во дворе-сквере прямо напротив парадной. И, слава богу, у него была бутылка портвейна. Этим портвейном я по капельке поддерживал его часов до двух ночи, когда он уснул на ковре на полу — лечь на диван он отказался категорически. А Лысого Дидько мне в помощь, как вы понимаете, не было.

Несмотря на тяжелое опьянение, Стас был в состоянии довольно вразумительно рассказывать о своих мы-

тарствах и кошмарах. И все повторял: «Нисего, я споткнулся о боську, это к завтраму все засивет...»

Отца Стас не помнил — тот погиб в шахте до войны. Мать уехала на фронт вместе с отчимом. Была ранена осколком снаряда, которым убило его. Приехала в батальон на санитарной машине; танки отчима стояли в укрытии, но под обстрелом; было много раненых. Танкисты сидели под машинами, отчим ее увидел, из-под танка вылез, снаряд разорвался как раз между ними: его в ключья, ее ранило.

— А была красивая, — рассказывал Стасик. — Мягкая была мама. А после войны стала твердая. Меня как-то перестала любить. По чужим людям жил. Но вот когда армии из-под Берлина на Японию перебрасывали, она мне сала привезла. Это хорошо помню. Потом она в Караганде очутилась, а я в Мончегорске. Она еще одного мужика нашла, но жила плохо. И тот тоже скоро помер. Ну, она ко мне тогда приехала, в аптеке работает. «Женщины, говорит, вообще полезная очень плесень. Как пенициллин». А про меня говорит: «Ах, поручили бы тебе, мямле-недопоску, большое, аховое дело, ах, как бы ты его лихо провалил!» Это она говорит, когда по телевизору какие-нибудь героические фильмы смотрит. Может, и верно говорит. Хотя я ведь и нынче не с ангелами работаю. Ведь много людей есть, которые работать под землей могут и умеют, но выкладываться не хотят. А скажи такому заветное слово — он тебе в вечной мерзлоте тройную проходку даст без крепежа всякого и без лозунгов. Отчаянные есть ребята, но за человеческое обращение откроются. Только надо, чтобы это человеческое обращение натуральным было...

Вот так мы с ним побеседовали, пока он не заснул.

Утром я позвонил знакомому врачу-психиатру в Бехтеревку и объяснил, что надо попытаться спасти одного хорошего алкоголика.

— Вы мне уже двадцать раз говорили, что наши алкаши лучшие в мире, — ответил доктор. — Но, простите, я не нарколога. Я специалист по сумасшедшим чистой воды, а не водки.

— Мне не до шуток, — сказал я.

— Он приехал с женой?

— Нет. Она его бросила, когда он во второй раз пытался ее зарезать.

— Если он здесь без какого-нибудь близкого родственника, все равно не примут.

— Я выдам себя за его брата, а вы подтвердите.

— Ладно. Лечиться он хочет твердо?

— Стас, ты хочешь лечиться от алкоголизма в самом знаменитом институте? — спросил я.

— Нет. Я не готов, — сказал Стас. — Я просто споткнулся позавчера о бочку, это к завтраму все заживет.

На том и расстались. И я поставил на нем крест. И уже стал бояться, что он опять и опять начнет возникать из ночи, пугать мать, сбивать мне работу или в письмах просить пятерку, надрывая мою чуткую и нежную душу, ибо, когда гибнет человек, художник не может сочинять настроенческую прозу и начинает злиться, чтобы злостью задавить в душе бессильную и бессмысленную жалость.

Случилось иначе. Письмо из Мончегорска действительно пришло, и мне не хотелось его вскрывать, но писал Стасик о том, что опять пережил белую горячку и готов теперь к чему угодно.

Приехал он с матерью, опять пьяный, остановились они в Доме колхозника. Мать, которая казалась мне после его рассказов какой-то сурово-цинично-сильной женщиной, была на деле маленькой, высохшей старушкой и все время плакала.

Наркологическое отделение Института имени Бехтерева — не вытрезвитель. Туда принимают людей, которые в твердом уме и чистом сознании заявляют о желании пройти достаточно невеселый курс лечения.

И стоило большого труда уломать главврача взять Стасика в том виде, в каком он находился (Стасику хотелось вставить пальцы в розетку вместо телефонного штепселя, чтобы связаться с Кремлем и сообщить о большой опасности для СССР со стороны острова Ямайка).

Через три дня он начал делать по утрам зарядку и проситься на работу, и врачи разрешили навестить его.

Первой его фразой было: «Викторыч, какое это счастье — быть трезвым, ощущать свое тело, запахи, хотеть есть, и укладывать в штабеля дрова, и чистить снег под деревьями! На морозе! Я так люблю мороз!»

Черт знает, но что-то сблизило нас. Быть может, то, что мы выдумали, что уже встречались и до Керчи где-

нибудь в Нижних Крестах или на Кильдинстрое в Мурманске.

Кстати говоря, счастливое ощущение товарищества, дружественности вызывает в россиянах такое душевное возбуждение, взлет, которые зачастую опять же ведут к водке, ибо их хочется как-то разрядить, разрядить перенапряжение от положительной эмоции. Вот так актеры, отдав зрителю себя полностью, до самых глубин, потом часто пьют. Так и в случае взрыва российского товарищества иногда получается.

Стас оказался не только запойным пьяницей, но и запойным книгочиём. Он ничего не просил кроме книг, книг, книг. Прочитал он их за жизнь великое множество. И удивлял меня афоризмами собственного изобретения.

Например: «Вечный раб в протрезвевшем человеке особенно заметно проявляется после буйства».

Когда я привык к его «с» вместо шипящих, то с интересом выслушивал исповедальные рассказы.

Удивительной искренности он человек.

И про любовь рассказывал не таясь:

— Я, знаешь, Викторыч, робкий в таких делах человек. И вот сосед заболел. И вот к нему участковая врачиха стала приходить. А я ей дверь открываю и пальто вешаю. Один раз она говорит: «У вас тут душно, как в бараке, надо чаще проветривать». Я ей говорю: «А вы поживите с нами в таком бараке, тогда узнаете, что тут форточку открывать нельзя». — «Вы, — она говорит, — такой могучий мужчина — и форточки боитесь». Вот в этот момент меня как-то так и ударило прямо в сердце. Увидел я ее. Как в первый раз увидел. И покой потерял. Сосед давно выздоровел, она приходит перестала. А мне в поликлинику к ней смелости не хватает. Решил, надо самому в натуре заболеть, простудиться, чтобы ее вызвать на дом. Кайло в шахте брал, до полного пота намахаюсь, потом без ватника сижу, жду, когда кашель появится. Ничего не брало. Здоров больно. Ни температуры, ни даже чиха. Ну, я ночью как-то разделся до трусов, вылез на крыльцо в мороз и водичкой себя поливаю из чайника. Тут уж получилась настоящая простуда. Послал соседа, тот участковую вызвал. Лежу и трясусь весь от переживаний, представляю, как она войдет. И ты представляешь, какая несправедливость! Является какой-то старикан и сразу мне: «Такие, как вы, только на том свете простужаются. Зачем вам бюллетень нужен?»

Признавайтесь». Знаешь, из таких стариков-ворчунов, которые сквозь землю видят. Я тогда беру и говорю: «Знаешь, терапевт, или кто ты там по узкой специальности. Тут к соседу другая врачиха приходила. И теперь я без нее жить не могу». Он мне говорит, что у нее двое детишек-близнецов и что вообще таким путем в наше время романы не закручивают. Отчитал меня, обругал, воспаление в легких нашел крупозное, но в больницу я отказался. И тогда он говорит: «Ладно. Завтра тебе другое лечение будет». И действительно, приходит на следующий день она, такая вся худенькая, бледная. Южанка, а пришлось на Севере жить. Я как ее увидел, думаю, сейчас на воздушном шаре полечу. Разведенная. Через месяц и поженились...

По писательской привычке я расспрашивал Стаса о галлюцинациях при белой горячке. Он их четко помнил:

— Ночь. Тихо. Я так спокойно лежу, хорошо мне. В окно стук. Открываю окно. Женщина на снегу, голая и в черном платке на голове. Говорит: «Поддай-ка мне будильник!» Я ей спокойно отдаю будильник и думаю еще: «Как бы без будильника не проспать». Здесь из стен начинают вытягиваться нити, обыкновенные нитки, и тянутся к окну. По дороге изгибаются под прямым углом. Швабра была в комнате. Я ее схватил и бью по ниткам, порвать их хочу. Ан нет! Швабра в нитках запуталась, и они меня тянут к окну. А там в сугробе эта женщина лежит и говорит мне: «Сейчас к тебе мальчики придут!» Я швабру бросил и побежал дверь держать, потому что еще раньше мне казалось, что должны прийти четыре мальчика. Я дверь держу, а они с другой стороны тянут и перетягивают. На маленькую щелочку перетянули. И в эту щелочку проскочили. Стали за рубашку меня дергать, за волосы. Возле печи топор лежал. Я его схватил и по ним луплю, а они уже не мальчики, а чертики. Пищат. Я кровать и стол изрубил. Потом понимаю, что я болен, что я это не я, что вокруг не жизнь, вокруг болезнь. И вот, с одной стороны, понимаю, что все это только мерещится, а с другой — все так и есть: и черти, и пищат они, и когда я по ним топором попадаю, то из них дымок вылетает. И еще вдруг осенило, что мальчики были ее, жены моей, дети от других каких-то любовников. А она-то на деле прекрасная женщина. И честная, и умная...

Я ушел в рейс еще до того, как Стас выписался.

От врачей знал, что он хорошо поддается гипнозу. Серьезно хочет бросить пить. И врачи надеялись освободить его от зеленого змия навсегда.

И вот встретились в Игарке.

— Кем ты здесь? — естественно, спросил я первым делом.

— Работаю в спесмедслужбе.

— Господи! Боже мой, Стас, куда это тебя занесло?! Зачем тебе заниматься таким невеселым делом?

— Зимой много свободного времени. Читаю. И народ изучаю. Где его еще так изучишь, как в милиции Игарки?

— Темнишь, Стас.

— Русских реалистов прошлого века читаю. У них сказано, что общественное отрицание связано с поэтичностью, исходящей из национально-народных источников.

— Темнишь, Стас. И говоришь такими цитатами, что тошнит.

— Создал здесь общество по борьбе с пьянством. Главным образом, мы поддерживаем друг друга тем, что вместе чем-нибудь занимаемся, обсуждаем разные вопросы. Историю пьянства, например. Старинные книги достаю, когда в отпуск езжу. Недавно в Москве у букинистов «Историю кабаков» Фрэнкеля достал. Читал?

— Нет.

— Обыкновенная книжка. Но интересно, что Горький оттуда одну штуку украл. Что сквозь мысль у нас всегда просвечивает чувство. Что мысль и чувство у нашего брата особенно неразрывно слиты.

— Стас, ты разговариваешь точь-в-точь как герои «На дне»: чересчур умно для лейтенанта спецмедслужбы. Мы не в Сорбонне. Хватит темнить. Чего тебя сюда занесло?

Он уже собрался сказать правду, но явился грешник-доктор. И забормотал о новорожденном сыне.

Стас долго глядел ему в глаза. Изучал. Тяжелый взгляд выработался у него за то время, что мы не виделись.

— Так, — сказал Стас мне, — надо, чтобы на судне немедленно сочинили выписку из протокола командирского совещания: «Поведение такого-то, мол, было обсуж-

дено и осуждено всем экипажем теплохода...» Ну, решение соответствующее: «Выговор в приказе, сам экипаж будет воздействовать, ранее плохих поступков не совершал, в пьянстве не замечался». Так, а теперь ты, Викторыч, дай честное слово, что впилишь этому хлюпику по первое число.

Стасик говорил все это в присутствии доктора, но как бы больше не замечая его, и только последние слова адресовал грешнику:

— Марш на судно! Даю тридцать пять минут. Печать на выписке должна быть круглой. Бумагу отдадите начальнику милиции. Я его предупрежу.

Док наярил по опилкам и доскам Игарки вниз к причалам, как молодой олень.

— Ну, так что случилось? — вернул я Стасика к нашему разговору.

— Лысого шпана забила до смерти. Вот я и пошел сюда служить. И вообще, это длинно объяснять. Просто слишком рано я решил, что устал от жизни. И что у меня поводов и причин на эту усталость достаточно. И что в таком случае имею право спиться. Уставать имеют право слоны и носороги, а люди — нет. Умирать мы право имеем, а уставать — нет. Дело у меня невеселое, ты прав. Но пьяных легко обобрать и избить. Вот я и борюсь со всей этой гадостью. Изнутри.

— Стас, ты сам-то понимаешь, что являешь собой законченный тип дурацкого и прекрасного русского человека? — поинтересовался я.

— Куда отходите? — спросил Стас.

— На Мурманск, — сказал я. — Ты не тяни с документами доктора. И, знаешь, я тебе завидую.

— Это я могу понять, — сказал Стас. — Но нельзя объять необъятное. А ты и так стараешься не отрываться от людей.

— Спасибо, — сказал я.

— Вот приезжают к нам лекторы, писатели. На свой кружок, в общество трезвенников, их стараюсь затащить. Есть у нас тут несколько поэтов доморощенных. Писатели всегда их в литературщине обвиняют. А вот того, что вся жизнь вокруг и есть литературщина, этого и самые хорошие писатели не понимают. И ты не понимаешь. Или понимаешь, но сказать боишься.

Я вспомнил про задержанного моториста.

Но Стас объяснил, что сам принимал его, что мото-

рист человек скользкий и ходатайствовать за него он не станет.

— Тогда прощай, дружище,— сказал я.— На судно пора.

— Как мама? — спросил Стас.

— Умерла. А как твоя?

— Тоже.

— А с женой что?

— Вернулась. Сейчас в Сочи с парнями. Ну, счастливого плавания. И спасибо за все.

— До встречи! Тебе спасибо.

Стас по-милицейски круто повернулся и зашагал в свои милицейские заботы. Он не обернулся, хотя я довольно долго буравил ему затылок, глядя вслед и раздумывая о том, что местечко где-нибудь на окраине райского пустыря Стасику найдется, если он взялся защищать интересы русских пьяниц «изнутри».

Ведь не было и нет несчастнее и бесправнее человека в мире, нежели горький пьяница.

ШУТОЧКИ ФОМЫ ФОМИЧА И ПОВОРОТ ПОД ПОПУТНУЮ ВОЛНУ

В третий период плавания, «дизадаптационный» (2—3 месяца), притупляется чувство ответственности, особенно у плавающих меньше трех лет, и, наоборот, появляются чрезмерные боязливость и опасения у плавающих свыше пятнадцати лет.

«Инструкция по психогигиене для старших помощников и капитанов судов морского флота»

07.09.15.00.

Снялись из Игарки. До лоцманского судна «Меридиан» — двадцать шесть часов по реке, по Енисею.

Унылая штука — конец рейса. Он уныл, как наша пицца сегодня. Кислые щи и макароны с мусором — кончаются продукты. И вот унылость кислых щей и макарон с мусором пропитывает наши души. Дело, конечно, не в продуктах, а в накоплении усталости — там, внутри

клеток, внутри хромосом, без заметных сигналов вроде бы... Унылость мироощущения — это и есть сигнал. Творческое выползло из души, остался голый реализм натуральной прозы. И вот облака уже не волокут по бледной тундре на невидимых буксирных тросах свои фиолетовые, тяжелые, как бульдозеры, тени. И волны Енисея уже не кажутся синим чаем, как они казались раньше, — вода была цвета крепкого чая, но с ярко-синей пленкой...

Унылость мироощущения порождена не только естественной усталостью после ледового плавания и трудной, очень трудной погрузки леса, но — главное — атмосфера на судне тяжелеет час от часу.

У второго механика украли джинсы с десяткой в кармане.

Хотя состав организма у Петра Ивановича такой же, как у Млечного Пути, шум по поводу пропажи он поднял ужасный. Суть шума в том, что его моторист оставлен в милиции Игарки, и этот прискорбный факт Петр Иванович логично старался скомпенсировать каким-нибудь обвинением в адрес высшей судовой администрации. И шумел он на тему отсутствия вахты у трапа. А вахта почти не неслась по причине насильственного отгула выходных.

Далее. Впервые потерял выдержку и крупно надерзил старпому Дмитрий Саныч. От момента погрузки лесоматериалов до момента их выгрузки ответственность за груз лежит на судне. И опытный Саныч ротором крутился в трюмах, чтобы не терять ни на минуту контроля за ходом погрузки. Тем более, груз шел в пакетах. Это дело новое. С переходом от загрузки судов пиломатериалами россыпью к загрузке пакетами плотность укладки стала значительно меньше. Раньше доски укладывались слой за слоем, одна в стык другой, и еще «расшпуривались», то есть специальными клиньями их сдвигали, чтобы уменьшить до предела ширину щелей-пустот. Работа эта муторная, и заставлять грузчиков заниматься «расшпуриванием», когда главное для них было, есть и будет — навалить за смену возможно большее количество груза, чтобы выполнить и перевыполнить план, было тяжело: тебе на башку могла «случайно» и доска упасть, если лазаешь по трюмам и заставляешь работяг терять время на забивание клиньев между досок. Зато пустот в трюмах оставалось мало.

При нынешней загрузке пакетами выигрывается время, и это выгодно, ибо на море время и оборачиваемость судов — это чистое золото. Но с точки зрения морской практики здесь многое еще не отработано. В трюмах между торцами пакетов остаются сотни и сотни кубометров пустого пространства. А это уже опасно и для тебя, и для твоих близких родственников.

И вот в разгар сложнейшей погрузки Фома Фомич отправил Саныча на берег искать представителя «Экспортлеса», подписавшего гарантийный договор с грузополучателем об отказе его от претензий по качеству товара, перевозимого на палубе, то есть «в караване». Капитан приказал Санычу выкопать представителя из-под земли и добыть копию договора. Всякий груз, перевозимый на палубе, идет всегда на риске грузополучателя — такая практика существует уже столетиями.

И вот Саныч часов двенадцать провел на берегу, гоняясь за копией договора и ее носителем, который от Саныча нормально начал прятаться, ибо еще никто у него копии не требовал и он искренне решил, что Саныч сумасшедший. А Саныч после певекской истории решил выполнять приказы Фомича буквально и не выполнил: не дали ему никакой копии.

Все это время (три смены) погрузку вел старпом.

Фомич тоже не сидел без дела. Призвав меня в соавторы, он составлял бумагу в пароходство с просьбой уменьшить рейсовое задание, выданное нам (5000 кубов леса), до 4800 кубов по причине слабости борта и частых поломок машины.

Мы составили вполне нелепую бумажку, и Фомич убыл на берег, чтобы отправить телекс и еще сдублировать его, позвонив в пароходство по телефону.

В награду за подвиги в милиции Фомич предложил мне спать, а за себя оставил старпома.

Так как жизнь коротка, а пребывание на посту капитана еще короче, то я с радостью дал Арнольду Тимофеевичу капитанствовать, а сам выполнил наказ Фомича.

Разбудил Саныч.

— Порт напортачил, — сообщил он довольно тревожным голосом. — В трюма шла сосна, сейчас навалили уже метр каравана на палубу, а весь караван — лиственница. Что делать? Фомы Фомича нет, Арнольд Тимофеевич не хочет меня даже слушать.

— Объясните толком. Не допираю со сна,— сказал я.

— Удельный вес сосны — ноль целых шесть десятых тонны. Удельный вес лиственницы — ноль восемь.

Тут я понял. Представьте себе детский пластмассовый пароходик в тазу. Теперь осторожно укладывайте ему на палубу стальные гайки, а внутри пароходика — святой дух, или воздух, или пробка — что-то, во всяком случае, намного легче стальных гаек. Что делает пароходик в тазу? Пока он стоит неподвижно, то тихо и равномерно погружается. Но вот вы его чуть толкнули на свободу, и — аут — переворачивается.

— Стармех на борту?

— Нет. С капитаном ушел. Тимофеич Галину Петровну развлекает. Я вас попрошу меня туда отконвоировать,— сказал Саныч.

Старпом сидел за капитанским столом в капитанском кресле и угощался вареньем. Галина Петровна гадала ему на картах.

Кстати, мне она тоже гадала. Очень профессионально она это делает.

— Арнольд Тимофеевич, какой удельный вес палубного груза вы считали? — спросил Саныч с места в карьер, потом спохватился и попросил у Галины Петровны извинения за вторжение.

— Какой был, такой и считал,— не без капитанской надменности сказал Арнольд Тимофеевич.— Сосновый.

— В караван идет лиственница.

— Тем лучше,— сказал старпом.— Чем легче наверху, тем и лучше.

— Лиственница — одно из самых тяжелых деревьев Сибири,— сказал Саныч, сохраняя спокойствие.— Она намного тяжелее сосны.

— Галина Петровна, вы разрешите, мы присядем,— сказал я, поняв, что разговор не получится коротким. Сам я в него вступать не собирался, ибо мой опыт работы с лесным грузом маленький. За жизнь сделал рейс с досками из Ленинграда на Гданьск и Лондон и с осиновыми балансами — на Арбатакс. Из северных портов возить лес не приходилось, а здесь много специфики. И хотя всю стоянку в Игарке я присматривался, изучал документацию и пособия, но одно дело — бумаги, а другое — опыт.

— Я лучше уйду, чтоб вам не мешать,— сказала Га-

лина Петровна со вздохом. Ей хотелось гадать дальше.
— Какая ерунда! — воскликнул старпом. — Как лиственница может быть тяжелее сосны, если она лиственничная, то есть без смолы!

— Арнольд Тимофеевич, у лиственницы и смола и иголки, — объяснил Саньч. — Она практически не гниет, потому дороже сосны и ели; до революции в России лиственницу запрещено было употреблять в дело частным лицам, она предназначалась только для казенных надобностей, по корабельным сооружениям, между прочим. Нужно немедленно остановить...

— Не учите меня, — сказал Арнольд Тимофеевич. — Придет Фома Фомич, и разберемся.

— Нужно остановить лиственницу, болван вы нечесаный, немедленно! — сказал Дмитрий Александрович.

— За такие оскорбления... при исполнении мною... вы по суду ответите! — тоненько взвизгнул старпом.

— Не пугайте меня, Арнольд Тимофеевич, — сказал Саньч. — Я прошел огонь, воду и сито. Из меня давно получился такой пирог, что, пока я горячий, лучше и быть не может, но зато в холодном виде я черств, как камень, и вам никакими силами не разгрызть меня, уж будьте уверены! Немедленно прикажите в машину, чтобы отключили ток со всех лебедок! Динамо у нас перегорело. В дым перегорело. Ясно вам?

— Как перегорело? — ошалело спросил Тимофеич.

Предложен был гениальный ход.

Мы грузились своими лебедками, ибо «судно в порту выгрузки и погрузки предоставляет фрахтователю и отправителю груза в свободное и бесплатное пользование свои лебедки, которые должны быть в хорошем рабочем состоянии, и свою энергию в достаточном количестве для того, чтобы можно было работать одновременно на всех лебедках днем и ночью».

Чтобы остановить поток лиственницы, текущей нам на палубу, и спокойно разобраться с портом, заменить лиственницу на более легкий груз, но без официальной и скандальной остановки работ, Саньч предлагал симулировать поломку дизель-динамо.

— Ничего у нас не перегорало! — сказал старпом.

И хотя Галина Петровна давно скрылась в спальной каюте, мой выдержанный напарник перешел на английский язык, чтобы высказать Арнольду Тимофеевичу свои о нем соображения.

Саныч прочитал полное собрание сочинений Джозефа Конрада в подлиннике, чем вызывает у меня нездоровую зависть, ибо я читал только какой-то жалкий двухтомник, напечатанный у нас лет пятнадцать назад.

Старпом разбирался в английском на моем уровне, но и он и я кое-что уловили из тех слов, которыми свободно оперировал Саныч. Во всяком случае, «фул», «олд дог», «ривоултинг мен» — «дурак», «старая собака», «отвратительный человек» — это мы поняли. Я еще, кажется, уловил «рикити» — «рахитик». Остальные «рибэлдс» — непристойности — зря обрушились в атмосферу.

Закончил монолог Саныч на русском:

— Итак, у нас перегорело динамо, стармеха нет на борту, механики не могут запустить второе динамо. Надо тянуть Тома Кокса, пока не подтащат другой товар. Все ясно?

И Тимофеич нахонец усек, в чем дело, и сам направился в машину вульгарно сокрушать наши дизель-динамо.

Фома Фомич к вопросу погрузки подошел, как часто у него бывает, с совершенно неожиданной стороны.

— Тут, значить, накладка не так, значить, судна, как грузоотправителя, «Экспортлеса» и здешней лесобиржи — или, как там, ихнего комбината. Тимофеич, значить, протабанил, но мы под это дело еще кубов на двести меньше грузика возьмем. Оно нам и спокойнее будет, а бумажку-то из всех ихних представителей выьем замечательную, они еще какую неустойку пароходству заплатят — вот и все серые волки будут сыты. Как, Викторыч, я рассудил?

— Замечательно вы рассудили, — сказал я.

Ну какой был резон объяснять ему, что еще тысячи и тысячи полетят в атмосферу из кармана нашего родного социалистического государства?

И Фомич с ходу очередную бумажку очень толково сочинил и отправил с ней на берег... опять грузового помощника!

— Пушай, значить, администрировать учиться, если в капитаны рвется, — объяснил Фомич мне. — Я ему цельный портфель мадеры дал. Если и с таким газом его вокруг пальца обведут, то... — и здесь Фомич сделал своим указательным пальцем такие быстрые угрожающие ка-

чания в воздухе, что пальца и не видать стало, как спиц у велосипедного колеса на полном ходу...

Тимофеич продолжал руководить погрузкой, сияя именинником.

Лиственницу порт остановил. В караван шла сосна. Но когда караван достиг полутора метров, судно вульгарно и неожиданно скренилось на правый борт до четырех градусов.

Выровнять крен грузом не удавалось. Наоборот, «Державино», подумав, на манер Фомича, некоторое время, перевалилось на левый борт на пять градусов.

Когда при погрузке леса судно кренится, это действует на нервы. И не только на капитанские, но и экипажа, хотя ничего сверхособенного здесь нет. Ведь это мы на бумаге считаем: «Удельный вес сосны 0,6 тонны куб». А на деле одна партия леса идет с одной влажностью и весит 0,5 тонны; другая сосна распилена на тонкие доски, третья — на толстые: промежутки в пакетах между досками, конечно, разные, значит, и весят они разное и т. д.

Потому одним из основных законов при работе с лесом является закон о глухой задрайке всех иллюминаторов ниже главной палубы (а лучше и в надстройке их держать задраенными). Чтобы, если судно скренит, вода не пошла в иллюминаторы. Но у нас тут получился неприятный нюанс, связанный опять-таки с гальюнами. Ну что поделаешь — все про гальюны да про гальюны приходится рассказывать! Про восходы и закаты — мало, а про гальюны — чуть не на каждой странице. Правда, я вас уже где-то предупреждал, что моряк чаще слушает не «голос моря» и видит не «зеленый луч на небосводе», а вещи более земные и приземленные.

Так вот, у нас гальюнные иллюминаторы, расположенные ниже главной палубы, задраены не были.

Судовой гальюн рассчитан на строго определенное число эксплуататоров, это научный расчет согласно санитарным нормам. Его еще в КБ делают. Если в низах проживает двадцать человек экипажа, то и пропускная способность каждого стульчака рассчитана на три персоны.

Но лес в Игарке подвозят на баржах-плашкоутах, где никаких гальюнов нет. Судно стоит не у причала, а без всякой связи с сушей. Таким образом, три смены грузчиков, лебедчиков, тальманов — около двухсот че-

людей за сутки — пользуются судовыми гальюнами. Традиционный российский пипифакс в лучшем случае — газета, в худшем — журнал «Огонек». Под каким бы напором ни подавать воду в гальюны, они то и дело при таком нюансе забиваются. Как бы ни надрывались вытяжная и вдувная вентиляции, пробить в гальюне без противогаса больше одной минуты не сможет и скунс. Потому, какие бы строгие приказы по заглушке иллюминаторов ни отдавались, они не выполняются. Даже если бы на иллюминаторы можно было повесить амбарные замки и опечатать их пломбами с гербовой печатью, грузчики их отдрают. Тут тебе даже милиция не поможет...

Причина крена, к счастью, обнаружилась быстро. Просто-напросто старпом забыл запрессовать кормовые балластные танки.

Фомич довольно крепко раздолбал Арнольда Тимофеевича, танки запрессовали, и «Державино» стало на четыре копыта в ожидании того, что с ним еще сделают хозяева.

Все время, пока Саныч накапливал административный опыт на берегу, Шериф жил у меня. И я узнавал о скором прибытии на борт грузового помощника, когда катер еще только подходил к трапу: Шериф начинал ломиться в дверь.

Пес не любит выпивших. Для хозяина он тоже не делает исключения. Конечно, радуется, его прибытию, но лает с подвывом и осуждением.

Саныч из тех нормальных людей, которые могут и любят выпить, но под хорошую закуску и только по субботам. Пить по заказу он не умеет. Портфель газа, которым его снабдил Фомич и с помощью которого он выбил нужную бумажку, потребовал соучастия в истреблении газа.

И при помощи Шерифа я узнал об этом еще до того, как грузовой помощник ступил на трап.

Обозленный бесконечными хождениями по канцеляриям с протянутой рукой, уставший и весь даже какой-то посеревший от неплановых выпивок, Дмитрий Александрович принимать бразды правления у старпома отказался, ибо по графику его суточная стояночная вахта закончилась. При этом он записал в черновой судовой

журнал по часам и минутам все свои похождения с указанием фамилий и должностей лиц, у которых побывал по приказанию капитана, и сформулировал эти приказы.

— С волками жить — по-волчьи выть, — объяснил он мне свои манипуляции с судовым журналом, явившись за псом.

— Садись, забулдыга, — приказал я. — Сейчас будешь нашатырь глотать и соллюксом облучаться.

Саныч внимательно рассмотрел себя в зеркале над умывальником, пригладил непокорные седеющие кудри и заявил, что до соллюкса далеко, но так как ему хочется поцеловать Шерифа в морду, то это означает, что Устав был в некоторой степени нарушен; зато бумажка оформлена просто замечательная, и Фомич ее поцеловал вза-сос, как Сусанночку-пышечку.

И я почувствовал, что Саныч уже сам, но незаметно для себя втягивается в азартную игру выбивания бумажек, ему уже нравится, что он бумажку выбил.

Саныч встал в позу и продекламировал из чартера (договора на перевозку груза):

Судно обеспечивается
палубным грузом,
Перевозимым на риске
фрахтователя,
Но в количестве того,
что может быть уложено разумно
И перевезено судном
сверх такелажа
снаряжения,
припасов и инвентаря!

— Аминь! — сказал я. — Но мне не нравится эта формула: «С волками выть...» И что ты какие-то записи стал в журнал делать, тоже не нравится.

— А если я погрузку даже в бинокль не наблюдаю третьи сутки? А если нас прихватит в Карском? — во-просил Саныч, не удержался, подбросил визжащего Шерифа к потолку и чмокнул в морду. — А если караван улетит за борт? Мне под суд идти? Или запрет на Австралийско-Новозеландскую линию третьим помощником, по семь месяцев рейс, — и будешь шататься, как под наркозом... А у меня два огольца растут, и у жены смещение диска в позвоночнике, корсет носит.

— Не идет вам, Дмитрий Александрович, на один уровень со Спиро становиться.

— Ах, бросьте! Все в нас запрограммировано. И не-

честность. И добро. Когда, предположим, я совершаю честный поступок, то это не я,— сказал Саньч, подошел к окну и продолжал, уже наблюдая за погрузкой носового каравана: — Кто-то во мне велит: «Делай так!» Или: «Не бойся — все боятся! Ну, убьет тебя, ну и что? Иди на него! Не бойся!» Но все это — не я. Очень неприятное ощущение! Очень! Наша запрограммированность на хорошее или дурное злит меня больше всего, больше насилия любой внешней власти. Вы на таком себя ловили?

Конечно, я про эту запрограммированность думал, и в последний раз недавно совсем — в Певеке, но не так четко формулировал. Обычно я ее вспоминаю, когда к смерти себя готовлю, к тому, чтобы в последние минуты достойно себя держать. И гадаю: будет тебе тогда внутри говорить кто-то «другой» или тут уж ты голеньким, совсем самим собой останешься?..

Всю ночь судно переваливалось с борта на борт. Немного — градуса на два-три. Это можно было объяснить неравномерностью работы судовых бригад: одна бригада быстрее работает, но по неопытности большую часть груза укладывает только на один борт — вот и крен.

Около пяти утра позвонил Фомич и попросил явиться на совещание. Я отправился в шлепанцах.

Капитан же сидел в форме. У него уже был стармех. Ждали старпома. Фомич молчал. Сидел как истукан. Впервые я видел его таким сурово-сосредоточенно-серьезным.

Явился Стенька Разин.

Фомич наконец открыл рот, подправил пальцем вставную челюсть и объяснил, что собрал нас по чрезвычайному поводу: старпом без его личного разрешения прекратил принимать груз и, мало того, сразу начал заводить на караван найтовы, и к данному моменту караван в корме уже полностью закреплен.

— Я, значить, двести кубов под всяким, значить, соусом, но отфутболил, отбил,— говорил дальше Фома Фомич тихим, но зловещим в тишости голосом и загибал пальцы,— это, значить, раз. Второе. Под соусом, значить, лиственницы еще двести кубов нам списали. А планто был пять тысяч. Значить, должны взять четыре тысячи шестьсот кубов. Душу вон, но должны. Фомичев если

что обязан сделать, то и сделает. Прошу, значить, извинения, что обязался сделать, то уж это Фомичев сделает по честности. Теперя выясняется, что у нас на борту всего четыре тысячи четыреста кубов, а старший помощник начал найтовы класть и у меня не спросил; беспокоить, объясняет, меня не хотел, чтобы я, значить, отдохнул хорошо. А экипаж что? Экипаж-то без премии остается. Такой рейс делаем, люди работают — хорошо там или плохо, но пароход-то дышит, значить, а экипаж за невыполнение плана без премии сядет. Я людей на выходные гонял, они, значить, пошипели, но осознали, и вот им такой гутен-морген. Баржи, слава богу, по ночному делу от борта еще не отошли. Я, значить, их успел за хвост ухватить и с диспетчерами связался. Приказываю: всем принять меры, чтобы рейсовое задание душу вон — выполнить свайка в свайку. Товарищу Кролькову, как парт-оргу, обеспечить политическое настроение. Дублеру моему товарищу Конечкому возглавить отдачу найтовок обратно с кормового каравана. Старпом, коль он их на-кчал, пусть сам своими руками и откручивает. Боцман с ним будет работать и два матроса. Этим сверхурочные пообещать. Сверхурочные оплачены будут из премии старшего помощника. Даю на подготовку к продолжению, значить, погрузки один час. Все. Все свободные!

«Во как Фомич завернул! Драйвер! Настоящий драйвер! — Так восхищался я, переодеваясь в каюте в рабочее платье.— И ведь каким голосом говорил! Ни разу громкости не прибавил, все на тихом тоне...»

И в тот же момент Фомич опять опрокинул меня навзничь способностью к неожиданным поворотам, ибо из каюты старпома, сотрясая тонкую переборку и мои барабанные перепонки, донесся чудовищный мат, который, естественно, никакая бумага не выдержит, потому оставляю только цензурные слова, а четырехточечные цезуры заполняйте соответственно мере своей образованности: «... Блоха беременная, почему остановил погрузку? Ага! Как пароход закачался, так и полные штаны наложил?! ... Если очко старое играет, собирай чемодан и уходи в бухгалтерию! ... Ничего сам решиться не можешь! Ото льда бегал! Переросток старый! ... Сдохнешь ты скоро, скоро сдохнешь! Со страху сдохнешь! ... Катись на берег, тебе сказано! ...»

Фомич орал так, что сотрясалась не только переборка моей каюты и мои барабанные перепонки, но и баржи

с досками у нас под бортами. Ей-богу, я как раз сапоги натягивал, когда Фомич начал арию, и сразу ноги в голенищах застряли — ни взад, ни вперед. Куда там Шаляпину!

До арктического рейса «Державино» работало на отшлифованной, трафаретной линии на Гамбург и Антверпен. Там не могло случиться ничего особенно неожиданного. Там экипаж терпел своих храбрых начальников и держал дисциплину, ибо эти короткие рейсы выгодны в валютном отношении, плюс через каждые двенадцать дней — сутки дома. Там для Фомы Фомича лучшего, нежели Спиро, старпома и не нужно было: не пьет и сиднем сидит на судне в родном порту — красота! За последний год Фомич выдал верному старпому две денежные премии и повесил его на доску Почета. Думаю, они и внутренне как-то сблизились, сжились, когда вместе выбирали какой-нибудь сверхперестраховочный курс по двадцатиметровым глубинам, имея осадку в шесть с половиной и еще завышая ее старательно и на просадку от скорости, и на крен, и на опресненность воды. А в Арктике на их дружбу или, скажем, близость обрушились льды, чужие и жесткие воли леодоколов, туманы с метелью, непривычный лесной груз в пакетах и разложение экипажа, привыкшего к коротким и выгодным рейсам. Здесь от старпома потребовались воля, знания, смелость, а Спиро боится не только льдов, но и людей — судовых «низов», шхер и студиозов-грузчиков.

К тому моменту, когда я преодолел голенища сапог и притопнул каблуками, Фомич за перегородкой выдохся. Все-таки он не был настоящим Шаляпиным, который мог потрясать люстры и стены ночи напролет. И я услышал, как тонким голосом закричал Спиро:

— Хорошо! Уйду! И каждый день на вас доносы писать буду! Каждый! Я не позволю! Забываете, как за меня благодарность получили? Это я про кровь придумал, а вы примазались! — На этом он заткнулся, как будто на столб налетел. Что там у них произошло, я только потом узнал, но вдруг наступила мертвая тишина.

Суть же вопля Спиро заключалась в том, что, когда он объявил почин донорства, то первым, естественно, пришлось расстаться с кровью экипажу «Державино» во главе с капитаном, и Фомич получил свою долю газетной славы.

Итак, мы вышли в рейс, когда на судне все переругались, перессорились, оставив на берегу моториста и джинсы второго механика и недобрав четырехсот плановых кубов (но полностью заменив эти кубы бумажками весом в двадцать граммов). К этому надо добавить массу пустот в трюмах и хреновую остойчивость.

Повели нас вниз по Енисею те же веселые лоцмана, которые вели вверх. Но они сразу почувствовали атмосферу на судне и поскутчили.

Да и вести судно вниз по могучей реке сложнее, нежели вверх. Течение прибавляет тебе скорости, но и уменьшает поворотную силу руля.

Через три часа после отхода я сдал вахту Фомичу, спустился в каюту, и так мне стало в ней тошно, что я открыл иллюминатор и вышвырнул за борт осенний букет, который еще недавно навевал романсовые настроения.

Эстонцы называют морскую тоску Большим Халлем. Он иногда идет за моряком, как злобный пес. Об этом прекрасно написал Смуул. Когда Халль нападает только на тебя одного, с ним еще можно бороться. Помогает рюмка виски, музыка (но не рок-н-ролл, а океанская мощь глухого Бетховена), треп легкомысленного соседа, эпическое спокойствие слепого Гомера. И дельфины еще очень хорошо помогают. Они гоняют Большого Халля по морям, как сидорову козу. Он их боится, как слоны мышей. Знаете, мыши перегрызают слонам нежную кожу между пальцами ног. И потому слоны ужасно мышей боятся. Так Халль боится лукавых дельфинов.

Но вот если все судно охвачено Халлем, тут дело хуже. Тем более и дельфинов в Енисее нет.

Отправился к Андриянычу. Сидит и вяжет авоську. Значит, и его прихватило. Он вяжет сеточки, если чем-то недоволен или долго нет радиogramмы из дома.

Оказалось, что кроме общесудовых дел у него есть и чисто машинные заботы. Очередь за топливом в Игарке оказалась большая, добрать топлива под завязку не удалось. Вообще-то, до Мурманска хватит с запасом, но...

Решили позвать свежего человека — подвахтенного лоцмана и чай пить. Чай-то дед заделал превосходный, но лоцман оказался человеком веселым только тогда, когда другие люди анекдоты рассказывают, а по сути грустным.

Звать Митрофаном Андреевичем, закончил влади-

востокскую мореходку, обплавал весь мир, надоело, вернулся на родину в Красноярск, работал в «Енисейрыбводе»; после постройки ГЭС над рыбой началось такое издевательство, что ушел сюда в лоцмана; подумывает стать смотрителем маяка, тянет к тихой жизни...

Здесь он вытащил записную книжку, из книжки сложенную вчетверо журнальную вырезку и дал нам прочитать. Вырезка из журнала «Англия». Там рассказывалось о британском каторжнике, отсидевшем три срока. Его приняли на работу смотрителем удаленного маяка в диком месте. В интервью бывший каторжник говорит: «Вы видите эти книги на полке? Там написано обо всем. Если бы вам довелось встретиться со мной в тюрьме, то там у меня было штук шесть книжонок про ковбоев и больше ничего. А теперь у меня книги про погоду, о морских птицах, поварские книги... Иногда люди, живущие на берегу и ничего обо мне не знающие, говорят: «Не знаем, как это он может там существовать. Ведь жить там — все равно что сидеть в тюрьме». А я в таких случаях с трудом держу язык за зубами. Моя теперешняя жизнь совершенно не имеет ничего общего с пребыванием в тюрьме, скорее — все наоборот».

— Я этого типа понимаю,— сказал Митрофан Андреевич.— Везде нынче как-то шумно.

За бортом проплывали опять уже безлесные берега, впереди ждало вовсе уж дикое устье Енисея, где тишины было по самую макушку, а этому странному человеку и здесь было громко!

На ночной вахте неунывающий Рублев попытался поднять нам настроение. Рассказал, вернее, исполнил с обычным блеском номер «Саныч и птички, или Почему все радисты боятся Саныча». Но как-то «не прозвучал» номер. Потому и здесь не буду пытаться передать имитацию Рублева. А суть в том, что шикарный лайнер делал челночные круизные рейсы между Норвегией и Португалией. И каждый раз в холодной Норвегии на теплоход садились воробьи или какие-то другие маленькие и беззащитные птички. И каждый раз на подходе к Лиссабону прилетал салазаровский кобчик и пожирал птичек. Так было шесть раз. Саныч утверждает, что всегда это был один и тот же кобчик. Или, может быть, сыч, но обязательно тот же самый. На седьмой раз Саныч потра-

тил всю специально накопленную для этого валюту на примитивный дробовик и заявил на отходе из Норвегии, что не даст больше кобчику или сычу жрать беззащитных птичек на борту советского пассажирского теплохода. На подходе к Лиссабону Саныч занял позицию на пеленгаторном мостике. Когда рассвело, кобчик или сыч оказался тут как тут. И уселся на клотик мачты, чтобы оглядеться и выбрать самую аппетитную птичку. Саныч шарахнул разбойника с первого залпа. Сыч-кобчик рухнул за борт. Вместе с разбойником рухнула за борт и главная судовая радиоантенна, ибо Саныч прихватил крупной дробью ее фарфоровые изоляторы...

Странно устроены мужчины. Дмитрий Александрович не любит вспоминать этот конфуз. Он, конечно, старается не показывать этого, но мне казалось, что ему неприятно. Ну, так, как если бы вы промазали в тире все пульки на глазах любимой.

И нынче мое ощущение подтвердилось. После исполнения номера Рублевым он пробормотал:

— Андрей, ты единственный человек на судне, которому не надо следить за порядком на рабочем месте — закрыл рот, и полный ажур!..

В начале пятого ночи недалеко от Сопочной корги, где происходит расставание с лоцманами, в рубку поднялся Фомич, объяснил, что не спится, предложил мне идти отдыхать.

Вахту ему я официально с удовольствием сдал, но в каюту не хотелось.

В рубке была обычная кромешная тьма, оба лоцмана (уже со своими чемоданчиками); на штурманской вахте был Спиро и торчал, переживая утрату джинсов, десятки и моториста, второй механик.

Все молчали.

Вчерашние, нынешние, завтрашние заботы, тревоги и надежды бесшумно конвоировали теплоход «Державино» в Карское море.

— Тимофеич, звякни боцману на бак, — приказал Фомич. — Пусть штурмтрап проверит. И выброску чтоб не забыли привязать. Это, значить, чье дело о веревке и спасательном круге думать? Мое или твое?

Старпом не ответил. Молчал в углу, уперев лоб в стекло окна.

— С какого борта вам трап? — спросил Фомич лоцмана.

— С правого.

Фомич убавил ход и поинтересовался:

— Тимофеич, ты там оглох? Не видишь, лоцмана уже намыливаются?

Совсем затих наш теплоход, едва трепыхалось в стальном чреве его уставшее сердце.

Было четыре сорок ночи.

Старпом молчал.

— Оглох он там, значить? Или характер показывает? — гадательно пробормотал Фома Фомич, разглядывая в бинокль черные близкие берега.

— У вас, Фома Фомич, голосок-то посильнее шалыпинского, — заметил я. — Таковую арию Тимофеичу спели, что и бегемот оглохнет.

— На глотку не жалуюсь. Пожалуй, и ныне еще смогу на милую звуковой сигнал подать, — сказал Фома Фомич не без удовлетворения. — Бот подойдет или сам «Меридиан»? — спросил он лоцманов.

— Сам, — ответил кто-то из них.

— Разрешите доложить? — спросил от руля Ваня.

За рейс салага в значительной степени повытряхивал из волос и сено, и солому. И уже даже начинает огрызаться на боцмана.

— Чего тебе? — спросил Ваню Фомич.

— Спит старпом. Нормально кемарит, — доложил Ваня с четкостью Рублева.

Да, такое с любым моряком может случиться. Раз — и вдруг вырубился человек, уперев рога в стекло рубки. Внешне все нормально: штурман крепко стоит на ногах и внимательно смотрит вперед, а на деле — вырубился. Так можно вырубиться и на несколько секунд, и на минуту, и на пять минут. Очень опасная вещь. Очевидно, для таких ситуаций психологи и считают полезными «маленькие аварии». Со мной такое происходило за жизнь три или четыре раза. Самое страшное, когда очнешься и осознаешь, что спал на ходовой вахте, а у тебя под ногами несколько десятков человек полностью полагаются на твоё внимание и предусмотрительность. Потому даже не считается зазорным при таком состоянии вызвать капитана и попросить подмены на часок, чтобы проспять затмение. Однако редко у кого из штурманов хватает внутренней смелости признаться в грехе и позоре, срабатывает самолюбие, в результате лишние, бессмысленные аварии.

— Это что, значить, получается? — спросил окружающую тьму Фома Фомич. — Он кемарит, а мы здесь вкалываем? Тсс! Тихо! Я ему сейчас в сновидении такое кино покажу! Тихо! Ваня, бери ратьер и бегом на бак! Скажи боцману, пушай все три огня врубит и на рубку направит. Викторыч, стань пока на руль.

— Чего боцману сказать-то? — не понял Ваня.

— Цыц! Не ори, — сказал Фомич. — Тот сам догадается.

У ратьера — ручного фонаря — красный, зеленый и белый огонь. Если их все разом включить и направить с бака на мостик, то получится картинка, очень похожая на огни судна, идущего прямо тебе в лоб.

Боцман у нас с юмором, имеет солидное брюшко, но утверждает, что от работы на лесовозе «Державино» так ужасно истощал и похудел, что может спрятаться от любой погранзаставы или даже таможи за обыкновенной шваброй.

Ваня взял фонарь и отправился на бак.

Я много раз говорил, что милое и лукавое хулиганство взрослых мужчин, работающих тяжелую работу, таит в себе не меньше обаяния, нежели таится его иногда в прекрасной игривости молодой девушки.

Но здесь назревало что-то не то.

Кажется, и лоцмана это «не то» почувствовали.

Пока Ваня преодолевал на пути в нос баррикады листовенно-соснового каравана, потенциальный отшельник и пустынный Митрофан Андреевич тихо рассказал мне, как еще в те времена, когда он плывал на Дальнем Востоке, назначили к ним на судно четвертого штурмана. «Ну, прямо-таки мальчишка, вовсе мальчуган, вроде Тома Сойера. Отходили с Охотска. На рейде шлепнули якорь, «добро» ждем на окончательный выход. «Добро» все не дают. Ночь, мальчуган и закемарил в рубке. Капитан заметил. Но спокойный такой мужчина. «Давайте, — говорит мне, — на крыло удалимся, пусть судоводитель отдохнет, коль минутка выпала свободная, не будем его разговором тревожить». Мы удалились, треплемся, «добро» ждем, его все не дают. Мальчуган свои минуток пятнадцать ухватил, проснулся и видит ужасную картину — прямо на кучу огней его пароход прет. А это «Советский Союз» на рейд втягивался. Малец огляделся, а в рубке-то пусто! И у штурвала никого! Он прыг к штурвалу, одной рукой его крутит, другой к телеграфу тянется,

третьей к тифону, четвертой к телефону, чтобы капитану звонить. А мы стоим на крыле и наблюдаем за его маневрами. Наконец капитан спрашивает: «А чего вы, голуба, в данный секунд делаете?» Мальчуган докладывает: «Расхожусь со встречным судном, следующим прямо или почти прямо нам навстречу!» — «Мы, — успокаивает его капитан, — второй час на якоре кукуем. Ты не беспокойся. Отдохни еще минут двадцать. Я разбужу, когда надо будет». И что, вы думаете, из всего этого вышло? Заикаться паренек начал. И так сильно, что через год плавать бросил...

Впереди вспыхнули пронзительные красный и зеленый бортовые отличительные и белый топовой огонь встречного судна — боцман врубил ратьер.

— Полундра! — опять по-шалаяпински и прямо в ухо старпому заорал Фома Фомич.

Был у меня в жизни случай, когда одно судно, чтобы обратить на себя внимание, выстрелило в нашу сторону ракету, и ракета эта случайно угодила прямо в открытое окно рубки и пошла с шипением и искрами метаться в узком пространстве, отскакивая от каждого предмета, как шаровая молния. Все, конечно, вылетели тогда из рубки кто куда, а я заполз под диван в штурманской.

Таким ракетным способом заметался и Арнольд Тимофеевич, но ракета металась минут пять, а этот всего минуты две.

Единственная членораздельная команда, которую отдал старший помощник, оказалась: «Шлюпки долой!» Или он этим хотел сказать, что перед лицом смерти следует скинуть шапки долой, или почему-то решил, что в момент неизбежного столкновения шлюпки ему чем-либо могут помешать.

Боже, в каком восторге был Фомич! И было в этом восторге нечто даже зловещее. Вернее, мне показалось, что у капитана Фомичева к старшему помощнику Федорову пробудилась истинная злобность.

— Будешь на меня бумажки?! Будешь?! Донор нашелся на мою голову! — орал Фомич. — Кровосос-передовик! На вахте дрыхнет! «Шлюпки долой!» — торжествовал он. — Я вот тебя сейчас с вахты сниму! Газетки-то, газетки твои где?!

Тут-то и выяснилось, что гробовая тишина, возникшая вдруг во время объяснения Фомича со Спиро за переборкой моей каюты, была вызвана тем, что Арнольд

Тимофеевич всегда возил с собой отблеск донорской славы, то есть газеты и другие печатные издания, где упоминался его славный почин. И вот Фомич их тогда порвал в клочья, чем и лишил старпома дара речи...

— Погасите, пожалуйста, иллюминацию,— попросил лоцман.— «Меридиан» оказался. Как бы и там полундру с вашими шуточными огнями не подняли. Тут и сам черт в штаны наложит.

Осознав, что к чему, Арнольд Тимофеевич попытался засмеяться и, вообще, изобразить бодренького участника коллективной шутки, который, мол, и свой грешок понимает, и ничего против затейников не имеет. Но вдруг схватился за живот и, не спросив разрешения, покинул рубку.

В методических рекомендациях судовым врачам «Психогигиена и психопрофилактика» (только для медиков!) написано:

«Большую роль в структуре значимых переживаний плавсостава играет фактор повышенной готовности на случай авральных и аварийных ситуаций. Различные категории моряков по-разному реагируют на такие ситуации. Опытные моряки побеждают и не показывают свой страх, напряжение и даже бравируют этим. После ликвидации опасности отмечаются аффективные и вегето-сосудистые реакции: общее возбуждение, повышенная двигательная активность, многословность, расторможенность. Молодые моряки при аварийных ситуациях заметно бледнеют, пугаются и теряются. После аварии бывают подавлены и заторможены».

Наш Степан Разин пошел ненаучным путем — его прихватила медвежья болезнь.

А все-таки, подумалось мне, не стоит Фомичу забывать, что слабый человек типа Спиро Хетовича всегда полон злобной мстительности. Чужое превосходство он способен долго переносить и терпеть с приятной даже миной на лице, но и с миной за пазухой, ожидая чужого промаха с выдержкой рыси. Арнольд же Тимофеевич не может не ощущать, что он и Фома Фомич далеко не одного поля ягоды.

Через десяток минут подвалил к правому борту «Меридиан», лоцмана пожелали нам традиционного «Счастливого плавания!», принять рюмку отказались и в ка-

кой-то стеснительно-тоскливой тишине, нарушаемой журчанием и бульканьем воды между бортом «Меридиана» и бортом «Державино», полезли по штурмтрапу в темноту Енисея.

Пожалуй, лоцманская работа дает не меньше возможностей изучать людскую натуру и жизнь во всех ее спектрах — от черного до белого и от инфракрасного до ультрафиолетового, нежели в милиции Игарки. Подумайте, сколько судов проведет за жизнь лоцман, и на каждом своя атмосфера, свои чудачки, мудрецы, дураки, добряки, мерзавцы; сколько сценок, одноактных пьес и полнометражных спектаклей видит лоцман. И именно в роли отстраненного зрителя, со стороны видит, а со стороны все острее и виднее рассмотреть можно...

Так что прав Митрофан Андреевич — и на Енисее шума многовато бывает ныне...

РДО: «СЛЕДУЙТЕ ОБЫЧНЫМИ НАВИГАЦИОННЫМИ КУРСАМИ ОГИБАЯ ОСТРОВ БЕЛЫЙ ВЫХОДИТЕ ТОЧКУ 7100/5900 ДАЛЕЕ 7000/5800 ЭТОМ ПУТИ ЛЕД 2/4 БАЛЛА ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 5/6 БАЛЛОВ ДАЛЕЕ НАЗНАЧЕНИЮ ТЧК ВСЕМ ПУТИ МОГУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ПЛАВАЮЩИЕ ЛЬДИНЫ ТУМАНЕ ЗПТ ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ-КНМ ВАКУЛА».

Выход из Енисея был обставлен следующим образом: стармех и электромеханик в машине, три судовода на мостике, боцман на баке, маневренный ход. Так воцелись по трем створам от Сопочной корги до мыса Шайтанского — между десятиметровой изобатой и островными вехами, в дистанции около одной мили от берега и при отличной видимости.

Затем Фома Фомич вопросительно пробормотал мне:

— А там льдины плавают, одиночные, в Карском... значить, ночь опять же уже, говорят, темная... Полным ходом-то ночью идти нельзя, значить, а?

Возможно, он меня уважает за быстроту соображения, но одновременно это вызывает в нем глубокую тревогу, и даже суеверный страх мелькает в его глазах иногда. Он меня может послушаться, но всеми фибрами мне не доверяет. Он не доверяет тому, кто решает быстро.

Этот процесс может быть добротным только тогда, когда он медлителен.

Бюллетень погоды Карского моря 8 сентября 1975 года 15 МСК: «ПОГОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЫЛОВОЙ ЮЖНОЙ ЧАСТЬЮ ЦИКЛОНА ЦЕНТРОМ СЕВЕРНЕЕ АРХИПЕЛАГА СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ. ПРОГНОЗ НА СУТКИ. МЫС ЖЕЛАНИЯ ОСТРОВ БЕЛЫЙ ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ЮЖНЫЙ НАЧАЛЕ УЧАСТКА ЗАПАДНЫЙ 11/14 МС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ НОЧИ ДНЕМ 14/17 МС МЕСТАМИ ОСАДКИ ВИДИМОСТЬ ХОРОШАЯ. ОТ ОСТРОВА БЕЛОГО ДО ДИКСОНА ВЕТЕР ЮЗ, Ю 14/17 МС ВРЕМЕНАМИ ДОЖДЬ ВИДИМОСТЬ ХОРОШАЯ ДОЖДЕ 4—6 КМ...»

Разбирая прогнозы с Амдермы и Диксона, Фома Фомич долго крутил над картой спирали то над югом, то над севером Новой Земли. Наконец выяснилось, что он путает Новую Землю с Северной Землей и оба минимума давления относит к одной Новой Земле. Здесь я взбеленился и сказал, что в осеннее время лучшего прогноза он не дождется.

Вообще-то, сведения Амдермы и Диксона в ряде пунктов противоречили, и это не очень нравилось.

В помполитовской каюте, где живу, хранится годовой комплект журнала «Отчизна». Журнал издается на русском для соотечественников за рубежом, то есть для эмигрантов типа старичков парикмахеров в Монтевидео или парализованных скрипачей в Сиднее. Журнал многотемный. Я в нем недавно вычитал и такую информацию по гидрометеорологии: «Ослы режут — к ветру», «Овцы стучаются лбами — к сильному ветру», «Пауки собираются группами — к сухой погоде», «Мухи гудят — к дождю»... Таким образом, если имеешь журнал «Отчизна», осла, пару овец, группу пауков, десяток мух, то никакое неприятное явление погоды тебя не застанет врасплох. Ослы у нас, вероятно, есть, но овец, пауков и мух вообще нет. Потому проверить бюллетень не представлялось возможным. А хотелось. Очень почему-то хотелось.

С ноля девятого сентября барометр начал падать. Ветерок крепчал. И начинал надавливать от юга и юго-запада.

Когда прошли остров Носок и легли к Свердрупу, я сдал вахту Фомичу. Видимость была отличная, море чистое, но что-то такое саднило... предчувствие какое-то...

Сквозь сон чувствовал, что шторм крепчает, но отдавал себе отчет в том, что все в каюте закреплено хорошо, и потому продолжал дрыхнуть. В десять утра услышал сакраментальное: «Электромеханику срочно на мостик!!» Высунулся из койки и узрел волны, которые шли в правый борт; судно уже сильно и очень тяжело кренилось. Оно не должно было так крениться, если бы нормально принимали шторм в бейдевинд на малом ходу. И зайти в правый борт ветер не мог так быстро, если раньше давил в левый.

Я оделся потеплее и вылез на ботдек, чтобы оглядеться. Всю жизнь не могу приучить себя к летящему мячу: жмурюсь, когда он летит на меня. И потому отвратительно играю в волейбол, хотя играть в него мне хочется. Особенно где-нибудь на пляже, под взглядами прекрасных женщин. А от брызг я научился почти не жмуриться. Веки деревенеют, некоторые капли влетают прямо в зрачок, все плывет в тумане, пока не сморгнешь, но на брызги я почти не жмурюсь.

Здесь зажмурился и подумал, что надевать надо не штаны, а резиновые кальсоны — такое нижнее белье выдают киноартистам, когда они снимаются в морских фильмах и обречены прыгать за борт или совершать какой-нибудь другой подвиг.

Картину сильного шторма на неуправляемом лесовозе с трехметровым караваном на палубе — вот что я увидел. Невеселая картина.

Поднялся в штурманскую, прочитал РДО: «ВСЕМ СУДАМ ШТОРМПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ = БЛИЖАЙШИЕ 6 ЧАСОВ РАЙОНЕ КАРСКИХ ВОРОТ ЮГО-ЗАПАДЕ ТРАССЫ КАРСКИЕ ВОРОТА ОСТРОВ БЕЛЫЙ ТРАССЕ Ю ШАР АМДЕРМА ОЖИДАЕТСЯ ВЕТЕР ЮЖН ЗАП 14/21 МС = АМДЕРМА ПОГОДА».

Как только Фомич высунулся в Карское, естественно ветер и волны от юго-запада усилились. И он сразу повернул на обратный курс и еще убавил ход до маневренного! На попутной волне и уменьшенном ходу судно рыскало до двадцати градусов от курса. И мы получа-

ли оплеухи от обгоняющих волн с обеих сторон. Караван трещал, рулевая машина не тянула, лесовоз слушался только при положении руля «на борт».

Я испытал самый настоящий страх. Его можно сравнить с тем страхом, который вы испытаете, если будете ехать в автобусе с сумасшедшим шофером за баранкой. Поворот под попутный шторм на лесовозе с минимумом остойчивости, то есть с «потенциальным креном»!

Под почерневшей кожей Карского моря бежали уже не отдельные мышцы, а целые ягодичы, и каждая из них вмазывала нам в перо руля, в винты и под корму, повергая судно не только в крены, но и в судорожную крупную дрожь одновременно.

Да, самая добрая тетка злится, когда ей отдавливает ногу в трамвае. И самая добрая волна злится, когда ей в лоб тычется корма лесовоза.

— Как пошли остальные суда? — заорал я Фомичу изо всех голосовых сил: Карское море грохотало уже под восемь баллов.

Конечно, «Великий Устюг» и «Гастелло» пошли, ясное дело, малыми ходами на волну к острову Белому, принимая шторм в бейдевинд и чихая на него с высокого дерева.

— А мы решили повернуть, значить! — объяснял мне Фомич. — Топлива-то у нас мало, если кончится, то это уже аварией считаться будет! И потом, значить, стойки у каравана всего в три доски — боюсь, они лопнут! Где позади спрячемся от ветра — переждем, значить, шторм!..

Радиограмму о повороте на обратный курс он дал с объяснением одной причины: «нехватка топлива» — удар по Ушастику! Это механик не запасся топливом, а он, Фома Фомич Фомичев, тут где-то сбоку припека!

Облака крутились в зените над судном, как собаки за своими хвостами, — нехороший признак.

Но мне нечего было на мостике делать, ибо, как я и говорил, на судне один капитан — был, есть и, дай бог, будет всегда один. И я собрался идти досыпать в каюту, хотя под ложечкой сосало.

Старпом доложил о встречном судне, и Фомич заметался по мостику.

Навстречу спокойно шел «Пермьлес».

— Право на борт! — заорал Фома Фомич. И мое сосание под ложечкой сменилось чистой воды страхом.

Не тем, о котором когда-то предуведомлял меня капитан и писатель Юрий Дмитриевич Клименченко, а живым, животным страхом — от слова «живот», но не в смысле «жизнь», а в том смысле, что живот поджимало.

Рулевой мигом скатал руль на борт, и мы стали лагом к волне и повалились на левый борт.

А я подумал о том, что пора Фомича вязать манильским тросом, если я хочу еще увидеть родные берега.

Понимаете ли, на лесовозе, покидающем порт без крена, но с некачественно уложенным пилолесом в пакетах, под воздействием целого букета внешних и внутренних сил груз за счет пустот начинает смещаться в сторону подветренного борта, уплотняясь на одном борту и создавая небольшой постоянный крен. Замедленный и малоприметный на общей качке, этот процесс в какой-то момент может принять лавинообразный характер — чем больше крен, там активнее происходит заполнение пустот и уплотнение каравана и его смещение на один борт. При значительных углах крена палуба со стороны подветренного борта начинает уходить в воду, пилолес с этого борта в караване намокает, становится тяжелее, и еще больше увеличивается крен. Наконец, часть палубного каравана смещается за габариты судна, и оно оказывается в критическом положении. Здесь даже рекомендуется не ожидать, когда лопнут крепления и караван самостоятельно уйдет за борт, а отдавать команды самому, чтобы сбросить часть груза, вернуть судну остойчивость и сохранить само судно и основную часть груза. Вот что такое «недостаточно плотно уложенный пиломатериал».

И вот почему меня прихватило таким страхом, что я подумал, не пора ли Фомича вязать манильским тросом, если я еще хочу увидеть родные берега. Без всяких шуток в голове мелькало разное на эту тему.

Но я все-таки неторопливо и членораздельно объяснил ему, что встречное судно идет в бейдевинд волне и отлично управляется, что нас всего двое на все Карское море и потому мы найдем место, где разойтись.

— Он у нас на курсе! На курсовой! Смотрите радар! — заорал Фомич.

— Ну и черт с ним! — заорал я. — Оставьте его в покое! Скажите по радиотелефону, что мы плохо управляемся, — вот и все!

— Лево на борт! — заорал Фомич, потому что до

него наконец дошло, что мы уже «лежим в корыте», то есть лежим лагом к волне, и это страшнее встречного судна. Но команда «Лево на борт!» могла оказать его последней командой, ибо надо было выводить пароход из критической ситуации с мимозной нежностью и постепенностью...

Ведь какой удивительный сплав оголтелой перестраховки и своеобразной силы одновременно есть в Фомиче, если он повернул на сумасшедший обратный курс, хотя на него давили: 1) жена, которая скоро взбесится от такого своего отпуска и считает часы до Мурманска; 2) три четверти экипажа, которые должны в Мурманске списаться с «Державино» и через четверо суток сесть там же, в Мурманске, на «Камалес», то есть любая задержка означает для списываемых невозможность слетать в Питер в этот промежуток; 3) я, ибо Фомич знает, что я смотрю на его маневры из последних сил.

Мы вывернулись, и я уже не отходил от рулевого, пока не прибавил ход и не набрал его, то есть пока судно не начало более или менее управляться. А Фомич бормотал про три доски на стойках каравана и нехватку аварийного запаса топлива: «Ежели, значить, мы теперь постоянно лесовоз, так надо бревна выписать и с собой возить, чтобы стойки для каравана самим делать... Из сосны крепче или из ели?..»

В 10.30 навстречу человеческим курсом прошел еще один лесовоз.

К 11.30 шторм достиг критической силы. И давление начало подниматься так же стремительно, как падало (минимум был 992 миллибары).

Существует известное правило, которое никогда не имеет исключений даже в такой исключительно зыбкой области, как погода. Если ветер усиливается, почти не меняя направления, а давление при этом падает, то центр циклона пройдет над местом наблюдения. При прохождении центра циклона ветер ослабевает, давление, оставаясь низким, не изменяется; после прохождения центра циклона ветер резко усиливается и изменяет направление на противоположный румб, давление начинает резко возрастать.

Все так классически и было.

Мы разминулись с центром циклона, который несся со скоростью 40 км/час от юга Новой Земли к Северной

Земле. И ветер заходил по часовой стрелке, меняясь на чистый вест, а потом и норд-ост.

Глянуло солнце.

Высветило с резкостью и беспощадностью границы между пеной на волнах, самими волнами и тенями под гребнями.

Видны стали доски нашего каравана в кипении никак не вологодских кружев.

И тут радист принес две радиограммы. Первая — об урагане на Диксоне, то есть там, куда Фомич так стремился.

РДО: «ИЗ ДИКСОНА ВСЕМ СУДАМ ШТОРМПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ=СЕГОДНЯ В РАЙОНЕ ДИКСОНА В ПЕРИОД ОТ 09 ДО 11 МСК ОЖИДАЕТСЯ УСИЛЕНИЕ ЗАПАДНОГО ВЕТРА ДО 30/35 МС=ДИКСОН ПОГОДА».

Вторая — бытовая: список членов экипажа, которые уже ехали в Мурманск, чтобы сесть на «Державино» и плыть в ГДР.

В этом списке была буфетчица Деткина. Не знаю, что больше потрясло Фому Фомича и Арнольда Тимофеевича: ураган в предполагаемом порту-убежище или появление на горизонте Соньки.

Я сейчас без шуток.

Фомичев не понимал, что мы полным ходом премвдогонку за циклоном. Он глядел в радиограмму остекленевшими глазами и бормотал:

— Таким, значить, санпаспорт нельзя выдавать, а ее, значить, опять к нам!..

Ураган на Диксоне Фому Фомича, наоборот, утешил и как бы даже развеял. Он подошел к вопросу урагана опять с совершенно неожиданной стороны:

— Значить, теперь никто к нам не придерется, что назад повернули! Тридцать пять метров ветер, вот, значить, и все хорошо!

Удивительного качества и рода оптимизм зарыт в этом самородке.

Принимать ураганный ветер в корму!

Я пытался что-то втолковать ему, но он уже опять тыкал пальцем в фамилию «Деткина» на бланке радиограммы и орал о том, как он купил вкусное вино

в Испании, а она выпила его и налила в графин кофе, а потом украла две бутылки водки из медизолятора.

(Водку в таком неподходящем месте прятал, как вы догадываетесь, старпом. Он же и проводил потом расследование — ползал со штурманской лупой по медизолятору и обнаружил на влажном линолеуме след женской туфли.)

Я понял, что Фомич находится в шоке, плюнул и пошел в каюту читать Чехова.

Правда, до этого я посоветовался по радиции насчет урагана с «Пермьлесом», и мы пришли к выводу, что штормовое предупреждение касается как раз того штормового пика, который уже миновал нас.

Качало очень сильно, и вообще было тошно от ощущения обратного движения. Боже, как я ненавижу всякое попятное движение! Оно физически рвет мне печень, как орел Прометею.

Потом я заклинился на диване в каюте и читал, как Чехов не разрешал пройдохам содержателям сибирских гостиниц называть себя «превосходительством» (все другие его попутчики разрешали), и на этом я начал успокаиваться.

В 15.00 стали у острова Сибиряков (на Диксон идти было опасно).

Когда Антон Павлович над Енисеем думал о будущей удали и мощи русской реки, то он завидовал землепроходцу Сибирякову. Как Пушкин — Матюшкину. Хотя сам-то не в туристическую экскурсию ехал! А на Сахалин...

«Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в Ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея...»

Почитайте такое, стоя на якоре в трех милях от восточного берега острова Сибирякова в Енисейском заливе, укрываясь за островом от тяжелого шторма, вернее урагана, в который только что сунул свой побелевший от страха нос...

Думалось еще о том, с каким постоянством к концу каждого рейса начинает тянуть на классику и цитирование! В записных же книжках Чехова ничтожно мало цитат — две-три всего, включая строку из Лермонтова.

О штормах Антон Павлович заметил так: «Юристы должны смотреть на морскую бурю как на преступление».

09.09. 18.00.

Опять наперекор всем прогнозам — полный штиль.

Фомич капитально закемарил, испытывая глубокое удовлетворение по поводу покоя. Хотя следует немедленно идти по штилю на Диксон и садиться там на башку танкеру «Апшеронск», если уж мы ради приемки топлива совершили весь этот марш-бросок.

...Штиль был абсолютный и мягкий — как будто на кухне погоды сварили для нас кисель из голубики и подали его на стол Енисейского залива с молоком...

10.09. 10.45.

Стали на якорь в бухте Диксона.

Грязный прошлогодний снег в лощинах. Он задержался здесь на все лето, как недобрый гость в передней за шторой. И ждет своего часа. И час его близок...

Как только вошли на рейд Диксона, так Фомича обуяла тоскливая необходимость швартоваться к танкеру «Апшеронск» (за тридцатью тоннами дизельного топлива). Недавно тонны эти были любы и милы Фомичу, ибо дали ему возможность удрать со штормового моря. Теперь они превратились во врагов.

Фомич боялся швартоваться к танкеру, который «водило» на якорях. Для начала он зарезервировал себе левый борт танкера, сославшись на свой крен в левую сторону. Потом у него появилась мысль уговорить капитана танкера подойти к нему, Фомичу. И Фомич так открытым текстом и сказал в радиотелефон, что не пожалеет бутылку, вернее «полбанки», но «Апшеронск» принял это за грубоватую и туповатую шутку.

Ну кто это будет готовить машины и сниматься с якоря для передачи тридцати тонн топлива зачуханному лесовозу за «полбанки»?

В 18.15 благополучно ошвартовались к «Апшеронску» с отдачей левого якоря, включили стояночные огни и палубное освещение. И Фомич, подумав и пожевав губами, приказал палубное освещение выключить. «Если, значить, лампа лопнет, то взрыв может произойти», — так он объяснил и мотивировал свое решение.

За этот рейс мои глаза уже давно вылезли из орбит, но после заявления Фомича они покинули и мой лоб.

— Слушайте,— сказал я.— Но у танкера-то горит палубное освещение! Всю его танкерную жизнь горит! И он еще не взорвался!

— Ну и пусть у него горит, а у нас, значить, лучше пускай не горит,— сказал Фома Фомич, добавив, что он, значить, очень извиняется...

Но это не значить, что мы с ним были недовольны друг другом во время швартовки,— нет, мы работали душа в душу и понимали друг друга с одного взгляда.

Очень холодно, и я на контрапункте вдруг вспоминаю стыковку теплохода «Невель» и танкера «Акса́й» у берегов жаркой Анголы. И как португальский военный катер, который за нами вел наблюдение, бегал передохнуть в бухточку Санта-Мария.

Из лоции мы знали, что там есть несколько рыбацких хижин. И все звучали для меня «Голоса из рыбацких хижин». Так называется поэма великого португальского поэта Герры-Жункейру.

Поэмы я не читал, но несколько строчек встретились в чьей-то книге и запали в память:

Ночами, о море, рыдаешь ты в горе,
Гремя, содрогаясь;
И в холод и в бурю — всегда
На водах твоих несутся суда,
Под песни бесстрашных матросов качаясь...

Потом судьба свела с живым пиренейским писателем Луисом Ландинесом, который каким-то чудом вырвался от Франко или Салазара и очутился в зимней Малеевке под Москвой. И я потряс его знанием португальской и испанской поэзии при помощи этих пяти строк. Потрясенный Ландинес подарил мне роман «Дети Максима Худеса», написав на первой странице пожелание: «Хорошего ветра в попу». Так я узнал, что по-испански «попа» означает «корма». Странными путями расширяешь свой словарный запас.

У берегов Анголы в тропической духоте я с безнадежной завистью вспоминал зимнюю Малеевку, морозные ели, снега под луной, замерзшую Вертушинку и поход с Ландинесом за пивом в Рузу.

А на Диксоне, конечно, вспоминаешь тропическую жару и мечтаешь о ней...

Когда начали приемку топлива, явились Иван Андриянович и начальник рации. И сказали, что записывают все самые выдающиеся чудачества Фомичева и хотят, чтобы я делал то же. А потом надо будет отдать все это психиатру.

Это говорилось без юмора и без злобы. Они оба боятся, что Фомич угробит судно, после смены части экипажа в Мурманске. Они считают, что раньше — до автомобильной аварии — он был более нормальным человеком и не таким самоубийцей-перестраховщиком. Последняя капля — выключение палубного освещения на период приемки топлива — это чистой воды бред параноика, вообще-то говоря. Но этот параноик отлично объяснил стармеху свою затею с «полбанкой» для танкера: «Если, значить, он к нам подходит будет и стукнет, то по закону он и отвечает, а если мы к нему будем подходить и стукнем, то, значить, мы отвечаем».

Отшвартовались от «Апшеронска» в 22.00 с великими трудами и ужасами (надуманными), а потом начались ненадуманные: не горели створы на островке Сахалин — есть такой в бухте Диксона. На южном выходе из бухты не горел буй.

Выходили северной дыркой — очень узкая и коварная дырка.

Выводил судно Фомич. В полной темноте. Работал уверенно и даже спокойно.

Зато радист шипит и брызжет, так как его завалили подходными РДО (снабжение, стирка белья, списки смен плюс частные телеграммы), а ни Мурманск, ни Ленинград их не берут.

На траверзе острова Белый торжественное объявление о сдаче книг в судовую библиотеку.

12.09. 07.00.

Семь часов в тумане, дожде, мороси. А семь часов вахты вместо шести выпали мне потому, что отвели назад время.

Рефрен: «Суда, идущие на восток от Карских ворот! Я теплоход «Державино»! Кто слышит? Прошу ответить!»

Скорость в тумане я сбавлять не стал, жарили полным. Льда в западной части Карского моря уже не встретишь, радар работал отлично. Но для некоторой перестраховки кроме звуковых туманных сигналов мы испускали в эфир еще вопли.

Около десяти утра туман и морось прочистились. И скользнули мы в арку Карских Ворот при отличной видимости и солнце.

«О ГОЛУБКА МОЯ...»

— С сорок пятого меридиана накрывается, значить, нам полярная арктическая надбавочка,— напомнил Фома Фомич.— Вот те и гутен-морген — весь вышел, весь один и семь десятых процентов.

Мы приближались к этому диалектически прекрасногодному меридиану, то есть из Азии перевалились в Европу.

И Фомич со вздохом приказал:

— Тимофеевич, запишешь этот нюанс в журнал. Третий штурман пусть выписку сделает. Для расчетного отчета пароходства. Начнут там, значить: сутки сюда, сутки обратно, мать их в... Любят бумажки, только бы им бумажки всякие для зацепки. С души воротит, как про них подумаешь...

— Арнольд Тимофеевич, скажите, пожалуйста, третьему, чтобы он и для меня копию выписки сделал,— сказал я старшему.

— А тебе это зачем, значить? — насторожился Фома Фомич.

— А затем, что с данного вот момента я, согласно приказу начальника пароходства, заканчиваю свое вам дублерство,— объяснил я.— Давайте обнимемся на прощанье, и я спать пойду.

— Как это, значить, извините, понимать: «обнимемся, и спать пойду»?

— А вы, Фома Фомич, хотите поцеловаться со мной, что ли? — спросил в ответ я.

Фома Фомич задумался.

И я тоже как-то так беспредметно задумался, глядя на небеса по курсу. Там над горизонтом сгрудились об-

лачка, как кролики в светлом углу клетки. Они грелись в лучах низкого солнца и только чуть-чуть шевелили ушами.

«Все морское — только через земное, — уже осознанно подумал я. — Все морское — только через земные ассоциации, образы. Прямое, непосредственное изображение, передача морского не получается и никогда не получится».

— На «Жигули» мой вроде покупатель нашелся, — вдруг изрек Фомич. — И чего вам спать ложиться, когда до обеда один час остался?

— Ладно. Не буду ложиться, — согласился я. — А вы, Фома Фомич, характеристику на меня сочините к Мурманску. И благодарность в приказике неплохо бы. Так, мол, и так: за образцовое поведение, выдающуюся трезвость и моральную устойчивость. Намек поняли?

— Сами характеристику пишите, значить, на то и писатель. А я подпишу.

— Не выйдет, Фома Фомич. Я человек скромный. Напишу, что к «своим обязанностям относился серьезно» — и все. А мне надо для биографии чего-нибудь более героическое. Запузырьте так: «В условиях тяжелого и опасного арктического рейса, самоотверженно трудясь на боевом посту», ну, и так далее.

— Не буду, — упрямо сказал Фомич. — Вам характеристика нужна, а не мне. Потому сам и пиши.

Бог знает, куда зашли бы наши препирательства, если бы этот спор о беспорочном зачатии девы Марии не прекратила Галина Петровна, позвонив на мостик и попросив супруга вниз.

Внизу Фомич здорово задержался. И, как потом выяснилось, по серьезной причине.

Еще утром у него произошел с супругой скандалчик. Озверевшая от бархатного сезона в Арктике Галина Петровна с тоски и безделья начала укладывать свои чемоданы в середине Карского моря. Такое занятие женщины (некоторые) любят даже безотносительно к нужде, то есть к приезду или отъезду куда-нибудь. У Галины Петровны повод был, ибо рейс приближался к концу. Но есть морское поверье, что собирать шмутки, пока якорь не отдан или швартовы не закреплены, не следует. Фомич немного суеверен и укладку чемоданов пресек в корне, выбросив все уложенное обратно в рундуки и шкафы каюты. Конечно, Галина Петровна, как доложил Уша-

стик, сопротивлялась, по его выражению, «будто корова, когда ей хвост ломают».

В Мурманске на отходе эта бедная женщина была пухленькой и даже еще миловидной. Ныне она почернела и превратилась если не в корову, которой хвост ломают, то в уссурийскую тигрицу.

Уходя на мостик, Фомич закрыл все шкафы и рундуки, куда вывалил шмутье супруги, на ключи, чтобы она без него не начала обратно укладываться, но... шкафы-то и рундуки он закрыл, а заветный ящик в столе с самыми ценными своими бумажками первый раз за рейс и не запер. Что, на мой взгляд, да и на взгляд физиолога Павлова, вполне естественно: условный рефлекс на запираение при уходе заветного ящика у Фомича уже полностью разрядился, пока он вертел ключами во всех других шкафах и рундуках, атакуемый еще при этом с разных направлений Галиной Петровной.

Сменять меня Фомич прибыл на мост с опозданием в десять минут и попросил за это извинения.

Видок у него был востропанный.

А мы как раз наконец услышали разговор какого-то впереди идущего судна с встречным, которое только что прошло Карские Ворота. Ну, обычный разговор. Одно спрашивает про лед в Карском, другое интересуется видимостью в Воротах и т. д.

Востропанный супругой Фомич, нацепляя треснувшие очки и разыскивая карандаш на штурманском столе:

— А вот мы, значить, тоже ихние информации себе на карандаш. Возьмем, значить, на карандаш, а то слышать-то что? Слышать, значить, одно, а карандаш и бу-мажка — уже и совсем другое...

Пока он все это разглагольствовал, то вокруг уже ничего и не слышал, и встречные суда все друг другу успели сказать и закрыли связь.

Фомич — у всех, кто в рубке:

— А что они?.. Чего?.. От Оленьего сто пятьдесят? А где Олений-то? Эт как сто пятьдесят? Пеленг, что ли? Это от его если, так пеленг? Или, значить, вот этак?

Я:

— А хрен его знает — пеленг или дистанция: вы же, Фома Фомич, записывали, а не я!

Фомич (забормотав очень глубокомысленно):

— Как так «хрен его знает»? А нам, значить, где получается информация?

Я:

— Вот я и говорю, что хрен его знает, где теперь наша информация!

Раньше он сам с собой не разговаривал. С предметами — разговаривал (с конфетой, например), но не сам с собой.

В данном случае дело было плевое, никакой информации нам не требовалось, потому что видимость была хорошая и все вообще было прекрасно. Но даже если Фомичу какая-то информация нужна была, то он мог выйти на связь и попросить суда ответить на волнующие его вопросы. Ведь если мы слышали их разговоры, то и они бы нас услышали, но Фомич так был встрепан, что даже до такой элементарной вещи допереть не мог. Старпом же, встрепанный в Игарке и Енисее Фомичом, может быть, и мог бы ему это подсказать или просто-напросто сам выйти на связь с судами, но молчал в углу.

И я помедлил в рубке, чтобы дать Фомичу обрести рабочую форму. Вот тогда-то он мне и объяснил причину опоздания на вахту, присовокупив, что с женщинами, значить, ни в море, ни на земле не соскучишься, что он на веки веков зарекся бабу в рейс брать, а виноват во всем стармех, потому что подначивал.

В таком вот, значить, морально-политическом климате мы и вывалились из Азии в Европу.

Дальнейшие события развивались так. Во-первых, к обеду в кают-компанию не явились ни Фомич, ни его супруга. Во-вторых, в капитанскую каюту обед затребован не был, и на тактичный звонок тети Ани капитану с напоминанием, что суп стынет, Галина Петровна бенгальским тигром прорычала нечто неразборчивое. В-третьих, в святая святых был вызван доктор. Храня тайну по Гиппократу, доктор даже мне — его спасителю — ничего о происходящем в капитанском семейном гнезде не сказал. В-четвертых, опять нашел туман, но капитан на мост не поднялся, а я, считая свою миссию законченной, после обеда собрался завалиться спать сном агнца, ибо не спал уже больше суток.

Но Дмитрий Александрович, по привычке к моему присутствию на мостике во время его вахты, о полосе тумана впереди по курсу доложил мне. Так как вплывали мы уже в цивилизованный мир, где могли быть и встречные и поперечные кораблики, и рыбаки любых калибров, и вояки, то пришлось идти на мост.

В штурманской рубке глянул в карту. Болванский Нос был уже прямо по корме. Это северный мыс острова Вайгач. Вам небось и неизвестно, откуда наш «болван». А «болван» — обрубок дерева, воткнутый в землю. На северном мысу Вайгача у ненцев был своего рода храм — несколько десятков таких обрубков. Каждый представлял из себя божество. Божества ненцы кормили, мазали их тюленьим жиром и оленьей кровью, ухаживали за ними. Отсюда и название мыса — Болванский Нос. Потом ненцев перевели в православие и с болванами повели решительную борьбу. И уже полтора века назад ненецкий храм уничтожили. Сделать это было, конечно, легче, нежели взорвать махину Цусимского собора.

Этимология «болвана» в какой-то степени осознается и современными моряками из поморов. Помню, у нас на спасателе был матрос типа Рублева. Когда его посылали на бессмысленно опасное дело на воде, то он говорил: «Я еще не болван, я еще не по уши деревянный, чтоб туда идти!»

Ведь это дерево плавает на воде, а человек в воде тонет.

Так вот, матрос своим заявлением подчеркивал, что вообще он согласен с тем, что бревно он порядочное, но не до самого все-таки конца бревно...

Туман. Плавная зыбь с запада. И в такт зыби плавно приподнимаются и опускаются в планирующем полете спутницы-чайки. Вокруг чаек крутятся темные небольшие птички, которые сами ловить рыбу не умеют, но умеют отнимать ее у чаек в тот момент, когда чайка выходит из пике с добычей в клюве, то есть потеряла скорость и плохо управляется. На Дальнем Востоке этих хулиганок зовут почему-то «солдатками».

В рубке обсуждаются таинственные события в капитанском семействе.

Рублев (голосом тети Ани):

— Прошлый год у Галины Пятровны пиницыт был, апярацию делали. Боль в ей признали — на фсю глотку кричала! Ноне — обострение, но не кричит: нас боиться.

Радист (разглашая служебную тайну):

— Ерунда. Что-то с самим Фомичом стряслось. Он собирався отпуск после ГДР брать, а давеча подмену запросил в Мурманск.

Я (в адрес стармеха, который торчит в рубке, но хранит молчание):

— Андрияныч, а ты что думаешь?

Ушастик (ворчливо и даже истинно сердито):

— Я вот про то думаю, что за Арктику на «Софье Перовской» сделали всего две тысячи триста реверсов, а вы мою керосинку дернули три тысячи шестьсот семьдесят семь раз! И еще хотите, чтобы в машине ничего не горело и все нюансы были в номере! Да как бы мои маслопуки ни крутились, цилиндры стучать не будут и поршни в масле купаться не будут при таких судоводителях. Ведь если очень даже тактично обыкновенную лошадь за два месяца три тысячи шестьсот семьдесят семь раз взад-вперед дернуть, то и у нее хвост отвалится...

Прав дед. На все сто процентов прав.

И, чтобы избавиться от неприятных обличений, я предлагаю последний раз «дернуть» время — перейти на московское.

Все согласны.

Это особенное ощущение — возврат к московскому времени, это ощущение возврата в свою оболочку, под свое одеяло: первая сигарета, например, после обеда вдруг совпадает с последними известиями по «Маяку». И это очень приятно.

Дед манит меня пальцем в штурманскую. Там шепотом объясняет ситуацию. Оказывается, дурацкие радиogramмы от «Эльвиры» Фомич не выкидывал, а сохранял в заветном ящике. И супруга всю его любовную переписку надыбала. Ведь ящик он не запер, и она, ясное дело, немедленно засунула туда свой женский нос. Фомич пытался объяснить бенгальской тигрице, что все это пошлые шутки и что хранил он любовные радиogramмы, чтобы сдать их в политотдел, партком, прокуратуру, профком, произвести расследование личности отправителя и наказать последнего, но все эти жалкие и вульгарные объяснения на Галину Петровну не подействовали, и она трахнула его по больной башке чем-то тяжелым. Чем именно — Ушастик не знал, но трахнула крепко. И теперь Фомич лежит пластом, а доктор ставит ему клизму или проводит какое-то другое оздоровительное мероприятие. И что он (это уже Иван Андриянович), как парторг и вриопомполит, просит меня навестить Фому Фомича и выяснить, насколько тот в состоянии профессионально

исполнять капитанские обязанности, потому что мы все-таки в Баренцевом море плывем, а не на дачном огороде грядки копаем.

Все это докладывал Иван Андриянович сбивчиво и с настоящим волнением. Степень необычности состояния стармеха я почувствовал еще в рубке, когда он врезал по судоводителям «Державино» за астрономическое количество реверсов без всяких шуток и смягчающих горькую истину интонаций.

В результате сбивчивости Ивана Андрияновича только потом выяснилось, что клизму доктор ставил не Фоме Фомичу, а Галине Петровне — она, как и положено коварно обманутой жене, наглоталась седуксена с зуноктином, изображая самоубийство на почве ревности.

«Интересно,— подумал я,— как бы вела себя к концу рейса и в подобных кошмарных обстоятельствах Жюльетта Жан или Мария Прончищева?»

В конце концов, ведь это факт, что Галина Петровна повторила тернистую дорогу этих отважных женщин (в географическом смысле слова, естественно).

Фомич был не так уж плох, как выходило из рассказа стармеха. Но, прямо скажем, я без труда понял, что психически он травмирован.

— Во! Слышишь? Во, как храпит подруга жизни, а? — слабым голосом спросил он меня с дивана, на котором полулежал, укрывшись нашим общим, честно отслужившим свое тулупом.

Галина Петровна храпела богатырски. О чем я и сказал Фомичу.

— Виктор Викторович, значить, у меня к тебе просьба. Сядь.

Я сел, почему-то вспомнив, как когда-то попросила меня сесть Вера Федоровна Панова.

— Все знаешь? — спросил Фомич.

— Все,— сказал я.

— Коэффициент усталости у меня превзошел норму, значить,— сказал Фомич.

И я увидел, как блеснула в уголке его глаза влага. Грустно все это было.

— Ты человек, конечно, заслуженный и интересный, но только тут такой гутен-морген со мной получился, что доведи-ка парход до точки.

К сожалению, я из тех типов, которые ради острого словца не пожалеют и отца; потому на языке так и завертелось, что, мол, пароход до точки уже дошел. Но тут я сдержался.

— Доведу, Фома Фомич,— сказал я.— И чего тут вести-то его? Тут он и вообще сам бы доплыл. Через сутки шлепнемся на якорь у Анны-корги в Мурманске. Все хорошо будет. Вам подмена придет. Я за эти сутки вам еще кое-какие сдаточные бумажки напечатаю.

Фома Фомич немного оживился:

— Возьми-ка сдаточный акт. В папке на столе сверху лежит.

Я нашел бланк акта.

— В графе «Состояние корпуса» знаешь что, значить, надо будет написать?

Графа эта сформулирована в типовом бланке так: «Состояние корпуса (указать вмятины, гофрировку и т. д.)».

— Ну? И чего вы тут хотите написать?

— Напиши: «Смотри акт осмотра корпуса от 3 апреля 1975 года при доковании в порту Ленинград».

— Фома Фомич, сегодня двенадцатое сентября, и позади у судна два сквозных плавания по Арктике. Какой дурак у вас будет принимать старый акт вместо существующего ныне корпуса?

— Конечно,— согласился Фомич,— все они перестраховщики, я и сам это понимаю. А все одно напиши, как я сказал. Дальше не твое дело. Придет, значить, такой перестраховщик, как наш Стенька Разин. Я нынче Тимофеичу говорю: «Принеси сертификаты на спасательные плотики!» Он на пятнадцать минут глаза в потолок уставил, потом мне — мастеру! — говорит: «Я за них, за эти сертификаты, расписывался и потому вам отдать не могу, потому что я тогда без них останусь». А? Вот спирохета, мать его в... Я ему: «Спишу с приходом и еще с проколом в дипломе». А он мне, значить, что?

Задав этот вопрос окружающему пространству, Фомич надолго задумался. От храпа Галины Петровны, плавного на зыби покачивания судна, тусклых туманных гудков и просто от усталости меня повело в сон.

— Ну, а он что? — спросил я, стряхивая сонливость.

— А он: «Вот как уйду с флота, ничего не буду делать, кроме как на вас вульгарные доносы писать; каждый, говорит, день по бумаге буду на вас писать, пока

вам шею не свернут». Я его, гадюку, на доске Почета, значить, каждый год пригревал, а он мне?.. Или вот симпатия ваша, второй помощник. Знаете, как про меня в Александрии выразился прямо при агенте? «Вы, говорит, типичный представитель тех людей, которые в парламентских государствах существуют только за счет налогоплательщиков». Так и выразился. Во, загнул! Память-то у меня, значить, еще есть. Слово в слово запомнил. Он, симпатия ваша, моряк хороший, спорить не буду, не Стенька, из тех... из этих, ну, как сказать... Вот молодой был, посылают на какое дело, я спрашиваю: «На какое дело посылаете? Мне с собой десять человек брать или трех ребят?» Вот он из, значить, тех трех, но зачем на меня так обидно выразился? Что, я всю жизнь не своим трудом прожил? Что, это не я в сорок втором на фронте в партию вступил?

— Правы вы во всем, Фома Фомич,— сказал я.— Трудная и сложная штука жизнь. А сейчас я на мост пойду. Туман все-таки. Вы спокойно отдыхайте.

— Я и про его шуры-муры с Сонькой знаю,— сказал Фомич.— Вот отбил я от нее, не послали ее на «Державино», а теперь сам себе подмену запросил... Да. Иди, Викторыч, иди. И у Кильдина всегда кораблей много крутится. Поосторожнее там.

— Есть,— сказал я.

— Позывные поста, кажись, «Восход», помнишь?

— Они уже двадцать лет «Восход», Фома Фомич. Отдыхайте спокойно.

Расхаживая из угла в угол по рубке, я думал о том, что если посчитать все убытки, которые принес, приносит и будет еще приносить Фомич государству своими всегда законными уклонениями, стояниями, отстаиваниями, страховками и перестраховками, то они, пожалуй, превысят стоимость «Державино» вместе со всей сосноволыственничной начинкой плюс караван на палубе. Но все у него по нулям, и никто никаких официальных претензий к капитану Фомичеву предъявить не может. И померет он с такой чистой совестью, как лапки у морских чаек.

Миновали Канин Нос, и моя старушка «Эрика» потребовала, чтобы я надевал на нее чехол и укладывал в чемодан. Она просится туда, как пес в привычную ко-

нуру. Устала, хочет отдохнуть. Но разрешить это машинке не могу: печатаю для Фомича сдаточные бумажки.

И все больше крепнет во мне мысль о том, что пора завязывать с морями навсегда, и уже без дураков навсегда.

Известно, что хороший капитан должен уметь сохранить в глазах команды чуточку тайны, как умная жена умудряется сохранить для мужа в себе какую-то частицу тайны до самой смерти.

Так вот, пора и мне покидать флот, чтобы он оставил для меня в себе чуточку неизведанного и таинственного, чтобы морская работа — водить корабли — не до конца потеряла бы для меня юношескую привлекательность.

Еще один рейс со Спиро Хетовичем — и мне концы.

Потому — к черту курсы повышения квалификации. Через неделю я буду свободным художником. Хватит поддаваться на подначки друзей: «Ты засиделся на берегу, штаны протер, пыль с ушей отряхни...» и т. д.

Ладно, решение увольняться принято. Если решение принято, оно выполняется. И это почти всегда мой закон, хотя я и не самый волевой человек на свете. Ах, все «я» да «я»!..

Только почему бы не отболтаться на курсах? Два месяца с сохранением последнего оклада. И новенькое что-нибудь узнаешь из радионавигации или об определениях места по спутниковой аппаратуре... Нет! Если решение принято, оно выполняется. И тогда будем рубить сразу. И заявление об увольнении по собственному желанию подаю сразу с приходом.

И, чтобы закрепить решение, я печатаю на старушке «Эрике» заявление, ибо написанное пером не вырubiшь топором.

Напечатанное пером я тут же рву в мелкие клочья. Потому что это типичный перегиб. Обычный, типичный для меня перегиб — от слабости.

Является третий штурман — тот самый парень, который стонал по поводу трех часов выходного времени в Игарке и не давал желудку Спиро Хетовича толком усвоить вульгарную свинину. Третий или четвертый штурман самые несчастные, потому что они еще и главные судовые машинистки.

Третий приносит выписки из журнала и характеристику. Сочинил все-таки Фомич мой служебно-психологический портрет:

«...В условиях тяжелого и опасного арктического рейса по трассе Севморпути в навигацию 1975 года, самоотверженно трудясь на боевом посту, тов. Конецкий В. В. показал себя грамотным судоводителем, имеющим достаточный опыт по управлению судном. Добросовестным отношением к своим обязанностям способствовал успешному, безаварийному завершению рейса. За время работы показал себя требовательным командиром как к самому себе, так и к подчиненным, способствовал поддержанию судовой дисциплины на теплоходе и выполнению требований техники безопасности...»

Так и вжарил Фомич: «Самоотверженно трудясь на боевом посту». Какой боевой пост? Где война? И где «опасный арктический рейс»?

И ведь я далеко не уверен в том, что здесь нет определенного юмора, что здесь только чистой воды дундукизм. Далеко не уверен... Ох, не прост Фома Фомич Фомичев. И память у него даже при отшибленных мозгах все еще отменная: слово в слово вжарил.

Укладываю в папку всякие рейсовые бумажки, дневник, страховочные документки. В конце рейса это так же приятно делать, как рвать черновики, заканчивая книгу.

14.09.00.00.

Полночь. Прошли Териберку.

Кометный хвост северного сияния в черной пропасти небес.

Красота северных сияний так же недоступна живописи, как и красота льдов при солнце, синей воде и штиле. И неверно, что из льдов и стужи «чист и свеж наш вылетает май».

Красота отстраненности. Она должна существовать сама по себе. Попытка пропустить ее через человеческое сердце бесплодна, ибо космический холод подобной красоты исчезает, согревшись в человеческом сердце. А без космического холода это уже какая угодно, но не та красота. Врубель умудрялся не пропускать ту красоту сквозь свое сумасшедшее сердце. Во всяком случае, он пытался делать это. Недаром же всю жизнь писал Демона.

Мы на подходе к Кильдину. В рубке особая приходная тишина. Молчит Рублев. Молча определяется и наносит точки на карту Саныч. Молча горят сигнальные огоньки на пультах. Молчит «Державино». Все, кто не на вахте, спят и видят приходные сны.

И в этой тишине из рации:

— Судно, идущее к норду от Сундуков, ответьте «Восходу»! Судно, идущее к норду от Сундуков, ответьте «Восходу»!

Беру микрофон:

— «Восход»! Судно, идущее к норду от Сундуков, теплоход «Державино»! Следуем от Карских Ворот на вход в Кольский залив. Как поняли?

— «Державино», вас поняли. Продолжайте следовать!

Сундуки — это такие злобные и коварные камни на восточной оконечности острова Кильдин. Сундуки. А напротив на материковом берегу скалистый мыс Три Сестры. Сестры даже зимой черные. Ветер сдувает с отвесных скал снег. Сестры чернеют и сквозь туман, и сквозь метель. Между Сундуками и Тремя Сестрами рейд с веселым названием Могильный.

«При проведении аварийных работ на СРТ-188 утрачены: калоши «слон» — восемь пар, мотопомпа МП-600 — две штуки, вельбот спасательный — один...»

Прибой бил траулер о камни. От ударов из вскрывшихся трюмов выбрасывало рыбу и соль. Передвигаться по накренившейся палубе во тьме и мокроте было скользко и трудно. А здесь еще эта проклятая соль. Рыбаки не израсходовали ее в рейсе, и теперь соль тоннами выкидывало из трюмов. Пробоины были под фундаментом главного двигателя, машинное отделение было затоплено, определить размер повреждений днища было невозможно, переносная мотопомпа МП-600, когда мы попытались спустить ее в машинное отделение, застряла на трапе; о заводке пластыря нечего было и думать, пока судно не сдернут с камней; добраться к пробоинам в машинном отделении было невозможно, даже если бы у нас были водолазы; вельбот, на котором мы пришли на траулер, минут тридцать попрыгал под бортом, потом оборвал все концы — по четыре фалиня с носа и кормы — и исчез в бурунах под берегом Кильдина; и мы оста-

лись куковать на этом траулере, пуляя в небеса ракеты всех цветов, пока они не кончились...

Очень не хотелось помирать. И вот тогда: «О, так это и бывает? Нет! Только не со мной! Я еще буду рассказывать обо всем этом! Еще буду вспоминать все это! Нет, я-то не поскользнусь, нет! На мне резиновые бахилы с нарезной подошвой! Я молодец, что не надел валенки! Резина, если давишь ею сильно и прямо, не скользит, и я не поскользнусь! Я еще буду все это вспоминать!» Но не всегда можно ступить прямо и сильно, когда лезешь по внешней стенке ходовой рубки и видишь, как волна первый раз хлестнула в дымовую трубу ниже тебя. Но видишь плохо, потому что ресницы смерзаются, руки коченеют, одна варежка потеряна, а сердце все чаще дает перебои, легкие в груди сдавлены страхом и усилием мышц, теснящих ребра. Легкие не могут вздохнуть, сердце зашкаливает, тогда слабнут ноги, им не помогает резина, скользит подошва по мокрой, обледенелой стали...

Кукуя на тонущем траулере, мы, чтобы, вероятно, хоть немного приглушить страх, орали «Голубку». Была в те времена модная такая песенка, кубинская. Сейчас ее редко исполняют.

Да, прав Стас. Жизнь — сплошная литературщина, и в ней часто бывает «как в кино». И именно как в плохом, бездарном кино, где нет драматургии, а есть случайные совпадения, на которых и держится фабула.

«...Всюду к тебе, мой милый, я прилечу голубкой сизокрылой...»

Когда отчаянный капитан-лейтенант Загоруйко (имя не помню) подошел за последней партией людей к тонущему траулера, я уже временами терял сознание, но все-таки умудрился прыгнуть в шлюпку и сразу получил вальком весла в лоб. Загоруйко снимал нас на обыкновенной весельной «шестерке». Гребцам в прибое и на зыби да еще среди торчащего из бурунов железа не до тонкостей было...

— Судно, идущее к норду от Сундуков! Теплоход «Державино»! Сбавьте ход! Потяните резину на траверзе Кильдина! Из залива супертанкер вылазит!

— Я «Державино»! Вас понял, «Восход»! Мы не торопимся!

— Добро!

Нам и так пора наступила сбавлять ход, чтобы за-

стопорить машины для приемки лоцмана в заливе. Раскрутил дед керосинку.

Три тысячи шестьсот семьдесят семь раз мы насиловали дизеля во льдах. И теперь уж — в нормальной обстановке — следовало относиться к ним с сестринской нежностью. И потому ход начинаем сбавлять по десятку оборотов, а чтобы не приближаться к устью залива, отворачиваем мористее.

— Ложись на чистый норд,— говорю я Дмитрию Александровичу.

— Право помалу! Ложись на чистый норд! — говорит он Рублеву.

— Есть право помалу! Есть на чистый норд! — репелует Рублев.

Все нынче у нас четко и без шуточек.

Звонит Иван Андриянович. Как начали сбавлять обороты, так дед сразу и проснулся. Ведь он опытный морячина: если начали сбавлять обороты, значит, подходим к заливу и к месту приемки лоцманов, то есть втягиваемся в узкость, а в узкости старший механик должен сам быть в машине. Интересуется, почему я его не предупреждаю, что входим в узкость. Объясняю что и как, рекомендую отдохнуть еще минут сорок.

Сияние в черной пропасти небес перемещается к зениту, слабеет и меркнет.

— На румбе ноль!

— Так держать!

— Есть так держать!

Делать абсолютно нечего. Иду в радиорубку. Маркони — главный хранитель музыки: магнитофон, проигрыватель, пластинки и записи в его заведовании. Спрашиваю, есть ли на борту «Голубка» в исполнении Шульженко.

— Чего это вас на музыку потянуло?

— Сантименты. Молодость вспомнилась.

— К концу рейса всегда что-нибудь неподходящее вспоминается. «Голубка» есть. На обороте «Простая девчонка». Вы сами найдите. У меня сейчас Ленинград будет, а при сиянии проходимость аховая, будь они неладны, эти полярные штучки...

Нахожу на полке-стеллаже «Голубку» и ставлю на проигрыватель. Хорошо, что полный штиль и не качает. Сажусь на вращающееся кресло второго радиста и слушаю голос молодой Клавды Шульженко. Рядом пищит из

приемника морзянка и стучит на машинке маркони. Он в наушниках — Шульженко ему не мешает. Да и громкость я сделал слабенькую.

По корме остров Кильдин. Апатиты, Петрозаводск, Ленинград, набережная Лейтенанта Шмидта. По носу Северный полюс.

Тарам-там-там... Тарам-там-там...

Когда из Гаваны милой отплыл я вдаль,
Лишь ты угадать сумела мою печаль...
Заря золотила ясных небес края,
И ты мне в слезах шепнула: «Любовь моя!»...

— Викторыч, дали «добро» на вход,— это Саныч докладывает.

— Ложись прямо на остров Торос.

— Есть.

Поворот в Кольский залив в миле от островка Торос. Приемка лоцмана у Тюва-губы.

Лоцман оказывается старым знакомым и однокашником Саныча. Обычный для однокашников обмен информацией: «Севка утонул в Находке... Держиморда деканом в мореходке у рыбаков... Ваньку с третьего этажа выкинули... Вася Пуп в капитаны быстро вышел, на Южную Америку работал, сейчас на этаж ниже смайнали — погорел на чем-то... Про старушку анекдот знаете? Ну, как она со второй полки в вагоне упала? Упала и крестится. У нее спрашивают: «Бабуля, ты чего это сверзилась?» — «Тарзан, голубки, говорит, мне приснился. Совсем как живой, и требует: подвинься, мол, с тобой лягу... Вот я и подвинулась...»

В пять утра 14 сентября отдали якорь в трех кабельтовых от Анны-корги на рейде Мурманска.

Слабый рассвет.

Все. Круг замкнулся.

Приехали.

Спиро Хетович, рассматривая близкий берег в бинокль: «А вот в тридцать девятом здесь у Апатитового причала пыли было по колено, но деревья росли...» И под самый занавес — мне: «Отдайте, пожалуйста, электрочайник, он за мной числится...»

16 мая 1978 года. 02.00. Время местное.

Широта 59°51,1 северная.

Порт Ленинград. Причал на Петроградской стороне. Какой-то остров в дельте Невы. Я живу здесь, но названия острова не знаю.

И вот швартуюсь к причалу безымянного острова, то есть ставлю точку в рукописи этой книги. Я швартуюсь с отдачей обеих якорей и подаю на береговые кнехты все судовые концы: здесь предстоит задержаться надолго. Я делаю работу по швартовке в полном одиночестве, ибо экипаж судна «Вчерашние заботы» сегодня уже далеко.

Из приемника — ночной концерт по заявкам рабочих с трассы БАМа. Они решили открыть рабочее движение поездов на Чару в этом году.

Концерт «ночной» только для меня. Для строителей восточной части БАМа и горняков Наминги он утренний. И вся передача называется «С добрым утром!». И песню поют с таким же названием.

Скоро два с половиной года, как я не был в море. Много льдов натаяло и опять намерзло на трассе Северного морского пути за это время.

Грустная штука ночная музыка, даже если она веселая.

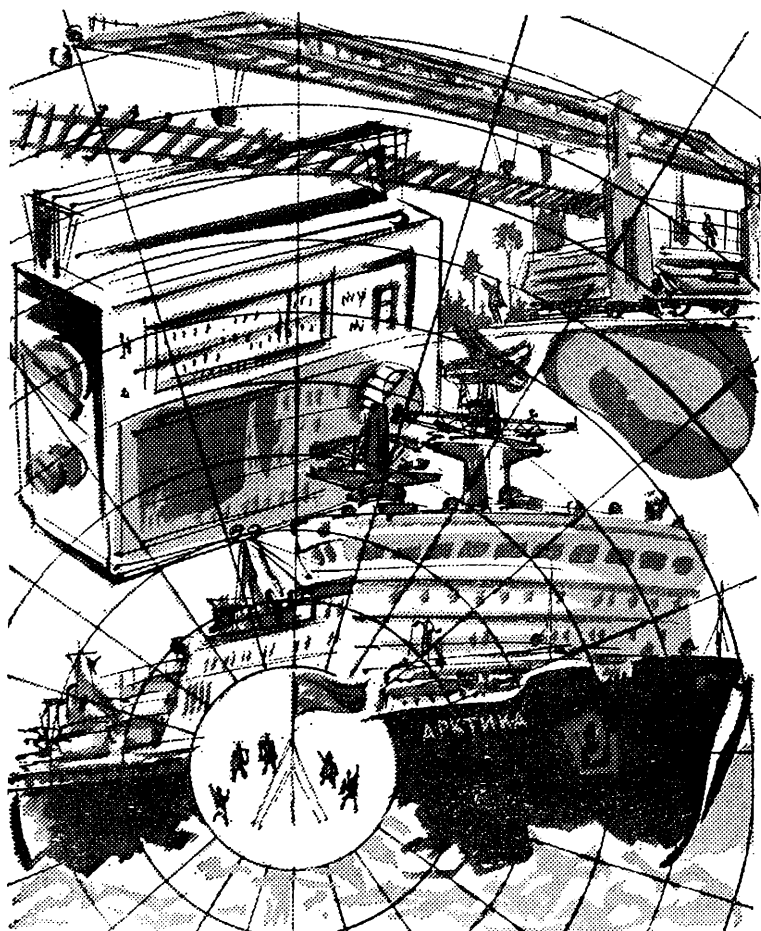
«Эх,— думаю я, слушая ночной концерт,— эх, услышать бы сейчас, как чухает дизель, когда выйдешь на крыло, дав полный ход; услышать, как он набирает обороты и судно начинает подрагивать, а дизель ведет себя будто собака, пробежавшая километр или страдающая одышкой, и высовывает язык дыма, и часто-часто дышит... Услышать бы все это еще разок, Викторыч...»

Я думаю о себе, как вы видите, слишком по-хемингуевски.

Возможно, потому, что заканчиваю одинокое дело.

«Писательство — одинокое дело», — сказал Хемингуэй. И еще написал в письме другу: «Больше всего он любил осень... Желтые листья на тополях... Листья, несущиеся по горным рекам со сверкающей на солнце фольгой... А теперь он навеки слился с этим».

Слова из письма превратились в эпитафию — выбиты



на постаменте бюста Хемингуэя в штате Айдахо в местечке Кетчем, возле тропинки, по которой он любил гулять семнадцать лет назад.

Быть может, я еще так по-хемингуэевски думаю потому, что узнал о его смерти в день выхода из диких пространств северного Забайкалья после командировки вдоль пятьдесят пятой параллели семнадцать лет назад. Сколь все-таки огромна жизнь, и сколько в нее вмещается...

И еще думаю, что смесь дневника с вымыслом —

взрывчатая и опасная, как гремучий газ. Ведь, честно говоря, я в этой книге первый раз, пожалуй, и кое-что плохое, неопрятное о флоте писал. И вдруг кто признает себя в старпоме Арнольде Тимофеевиче Федорове, или в драйвере Фомичеве, или в шаловливом гидрографе? Но и не того боюсь, что кто-то, себя угадавший, мне в подворотне шею намылит, а того, что в пароходствах заинтересуются, начнут прототипов искать. И вполне невинным, незнакомым даже мне людям жизнь испорчу, карьеру поломаю, ибо нарушаю многие табу. Есть, например, каноническая заповедь: про покойников или хорошее, или ничего. Но кое-кто из моих героев уже покойники!

Или есть заповедь: про живых капитанов говорить и писать только как про покойников — опять или хорошее, или ничего. Вероятно, такая традиция сложилась в связи с тем, чтобы не подрывать авторитета всех бывших, сущих и будущих капитанов; все капитаны априори мудры, толковы, смелы, добродетельны. И тут морской писатель попадает в адский круг: про живого капитана нельзя ничего плохого, потому что он живой; а когда он помрет, то про него нельзя ничего плохого, потому что он покойник,— в таком аду сам бес копыто сломит!

Или возьмем вопрос терминологии. Сколько в этой рукописи друзья наподчеркивали спецморских терминов! А ведь, как я уже объяснял, в наш недоверчивый век автору приходится тянуть в книгу, завоевывая ваше доверие, не только терминологию, даты, подлинную географию и время событий, но и подлинный, натуральный документ — и за хвост его тянуть, и за уши. Ведь скажи я сейчас громогласно: «Дорогие товарищи читатели! Ничего-то из здесь написанного на деле не существует: ни Фомы Фомича, ни Ивана Андрияновича, ни Стасика (он, кстати, уже старшего лейтенанта получил), ни Арнольда Тимофеевича, ни Сони, ни «Державино» (из последнего реестра «Позиции судов» в газете «Моряк Балтики» мне известно, что судно сейчас следует из порта Гавр в порт Бильбао) — всего этого в природе нет, не было и не будет, ибо все выдуманно. И «Я» — выдуман. И прототипов даже нет — потому не ищите их нигде, кроме как в самих себе», — ведь скажи я так, скажи, что обманули вас, дорогой читатель, где удачнее обманули, где послабже, — обидно как-то, не правда ли?

Мне-то точно обидно.

Потому рудименты автобиографичности в книге и наличествуют.

Должен заметить, что сочинение себе эпитафии (а ведь автобиография весьма ей родственна) — дело тоже достаточно невеселое. Вроде как наблюдаешь за своими бранными останками, опускающимися в люк крематория. И хотя автобиография входит в книгу лишь отдельными элементиками, и хотя я глубоко усвоил законы логики о качественной разнице совокупности и элементов, но и сам ловлю себя на особенном отношении к тем элементам, которые касаются именно меня одного. То есть к ним я пристрастен. И понять того товарища или гражданина, который, узнав вдруг себя в стивидоре Хрунжем, захочет поговорить со мной в подворотне, я вполне смогу...

Еще я думаю, слушая передачу «С добрым утром!» в два часа ночи на Петроградской стороне на шестом этаже спящего городского дома, о том, что для пишущего человека народная мудрость: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» — вовсе даже и не верна. Всего два месяца потребовалось нам на «Державино», чтобы сделать порученное дело в Арктике. И два года, чтобы доплыть до точки еще лишь в черновике книги.

Юрий Сергеевич Кучиев успел уже навестить Северный полюс и стал Героем. Мало того. Про легендарный рейс «Арктики» на макушку планеты морячки-острословы и разные имитаторы успели уже сочинить кучу весьма соленых и малосольных анекдотов...

Ну, куда ты от этих копеечных денешься? Беда с ними да и только! Наш натуральный Андрей Рублев за эти два года выкинул вовсе фантастический фортель: окончив с отличием мореходное училище, он — потомственный моряк и помор — покинул флот ради цирка или эстрады. Талант имитатора победил судоводительские гены — Андрей учится на клоуна!

— Теперь я ей кузькину мать покажу! — заявил он голосом Фомы Фомича в последнюю нашу встречу, имея в виду под «ей» свою тещу, которая развязала первую мировую войну. — Я с ее художественной образины первую репризу слеплю!..

Возможно, на неожиданное решение Рублева повлияла Соня Деткина.

Соня поступила в музыкальное училище. Она попала

на хоровой факультет, то есть на факультет, где готовят дирижеров-хормейстеров. Но на любимой трубе Котовского — корнет-а-пистоне — Соня продолжает играть. Нынче она считает, что корнет-а-пистону подходят мелодии скорее мягкого, женственного стиля, нежели воинственного.

Озорство Сони с радиogramмами от имени Эльвиры нынче, конечно, уже всем известно. Но как-то чудится мне, что тут не только озорство, а через такое действие она как бы тянула к «Державино» некую ниточку. И таким завуалированным способом не давала судну забыть себя. Но не мое дело в такие интимные сложности пытаться проникнуть...

2

Недавно справляли мы четвертьвековую годовщину первого выпуска нашего училища, которое нынче носит длинное очень название: Высшее военно-морское подводного плавания училище имени Ленинского комсомола.

По традиции, всех наших воспитателей, учителей, командиров мы приглашаем на годовщины.

Нынче адмирал Никитин прибыть не смог. Ему ампутировали обе ноги много выше колен — война, конечно.

Мы бы и на руках принесли Бориса Викторовича в родное училище, но ему и этого нельзя было.

И группа делегатов поехала к адмиралу домой.

Наш адмирал сохранил величавую и чуть загадочную осанку. Его тяжелое лицо оставалось таким же суровым. Он был в форме, при орденах и раскатывал в кресле на колесах возле стола, накрытого в честь нашей годовщины с такой щедростью, что уронить рюмку на скатерть не представлялось никакой возможности.

Командир «Комсомольца» капитан первого ранга Савенков, который первым когда-то назвал нас «военными мальчишками», присутствовал здесь же. Он тоже был при всех регалиях. И предложил первый тост за тех, кто сейчас в море охраняет рубежи нашей родины и, исполняя долг воинской службы, явиться на юбилейное торжество не смог.

За этих ребят мы выпили сидя.

Они для нас Васи и Пети.

При втором тосте бывшие военные мальчишки, а ныне уже послевоенные Герои Советского Союза и послевоен-

ные адмиралы встали, чтобы выпить за адмирала Никитина, который встать не мог.

Он попытался зачитать обращение, написанное им к годовщине выпуска. Оно должно было быть оглашено во время торжественной части в клубе училища. Но предварительно Борис Викторович решил зачитать его нам сам.

И здесь на третьем слове: «Мои боевые друзья...» выдержка изменила непроницаемому контр-адмиралу. Ду-маю, первый раз в жизни.

Он откатился в тень абажура и сунул текст Савенкову.

— Не могу. Читай кто другой,— сказал адмирал Никитин.— Боюсь ослезиться.

Что-то много плачут у меня в этой книге мужчины.

Скорее всего потому, что сам старею. И сам становлюсь по этой части слаб. Но все-таки не вру, что на годовщине было много слез. И пролитых на мундиры, и зажатых последним усилием тренированной воли под неморгающими веками.

Полковник Соколов их не прятал, когда я напомнил ему нашу историю с винтовкой. Борис Аркадьевич — замначальника по строевой части и мастер парадных дел — оказался просоленным моряком торгового флота, плавал матросом еще в тридцатые годы с Юрием Дмитриевичем Клименченко и, как выяснилось, теперь был моим читателем и сам собирался писать воспоминания о флотской службе.

Тут мои слезы быстро высохли, ибо получаю от ветеранов столько воспоминаний, заявок на воспоминания и дневников с просьбой их издать,— как будто я издатель! — что хоть в петлю полезай от бессилия помочь.

3

А вот моему напарнику Дмитрию Александровичу и без его просьбы помогу в опубликовании стихотворного экспромта.

Однажды ночью, где-то на открытой воде и в средней силы шторм, я случайно подслушал, как он, отойдя к заднему ограждению мостика, прочитал нашему кильватерному следу:

Суров твой бог, зыбей ужасна сила,
Но тишину и мир хранят глубины.
Суров твой бог, ночей ужасна тьма,
Но даль твоя светла.
Атлантика! Возьми меня с собою!

Почему-то уверен, что стихи эти — его собственная импровизация.

Саныч плавает опять уже старшим помощником, и опять на шикарном лайнере, и скоро будет капитаном.

Как выяснилось во время процедуры моего развода с морем в отделе кадров пароходства, капитан Фомичев объявил благодарности аж восемнадцати лицам державинского экипажа, который «...проявил себя с положительной стороны, со знанием дела выполнял служебные обязанности, что способствовало успешному выполнению задания по перевозке народнохозяйственных грузов. В тяжелых ледовых условиях экипаж обеспечил безаварийное плавание по трассе Севморпути. На основании вышеизложенного приказываю...» и т. д.

Так вот, первым в списке стоял я, последней тетя Аня, а вторым был... Арнольд Тимофеевич Федоров! Сиречь: не руби сук, на котором сидишь.

Дмитрия же Александровича в благодарственном списке не оказалось. Это Фомич припомнил ему Александрию и Певек — строптивость, отказ выбить из певекского начальства идиотическую справку и нехватку двучсот двадцати банок рыбных консервов.

На судьбе Саныча зловещая акция Фомы Фомича не отразилась. Ибо уже в Мурманске выяснилось, что Ушастик прав: после постановки на попа в автомобильной аварии и множества других сотрясений черепа наш капитан нервно заболел.

В Ленинграде Фомич угодил в лечебное заведение.

Таким образом, он в какой-то минимальной степени, но повторил судьбу капитана Ахава из «Моби Дика». Хотя нельзя сказать, что Фомич гонялся по арктическим морям с целью убить Белого кита, символизирующего все Зло мира. Я же в свою очередь невольно повторил судьбу другого персонажа «Моби Дика» — Измаила. И такое стечение обстоятельств позволило мне сказать замначальнику пароходства по мореплаванию, что он не совсем прав, утверждая, будто «уйти в море может и дурак, а вот вернуться из моря может только умный». В век

НТР эта истина стала относительной. Потому-то я не решился выставить столь эффектный, вообще-то, афоризм в виде эпиграфа к данному произведению.

— Интересно,— задумчиво спросил меня Шейх,— хорошо то, что люди с сотрясенными черепами при помощи НТР способны безаварийно водить корабли или нет? Хорошо это для будущего человечества и всей нашей цивилизации или как раз наоборот?

Ответить я затруднился...

С Разиным судьба больше не сводила. Был только один телефонный контакт. Спиро Хетович позвонил мне домой в неслужебное время и заявил, что я пережег электрический чайник, который он выдал мне на Диксоне, и это просто пошло с моей стороны, потому что надо с киндеров знать, как производится эксплуатация электронагревательных приборов в век Космоса.

В ответ я утверждал, что чайник не пережигал и что старпом сам виноват: должен был, согласно всем инструкциям, при приемке чайника проверить не только его внешний вид, но и опробовать аппаратуру чайника под током в действии, стоя при этом на резиновом коврике. И только после этого принять у меня чайник. А он все эти законы и установления нарушил, и потому сам будет возмещать государству материальные убытки. Тут он мои вульгарные объяснения прервал, бросив трубку.

Увы, ныне Арнольда Тимофеевича на свете нет.

Узнал я об этом, случайно встретив возле Владимирского собора Анну Саввишну. Она шла ставить в помин души вечного старпома свечку. И я сопровождал ее. Ведь все мы люди добрые. И когда умирает какой-нибудь и не очень-то симпатичный моряк, один соплаватель обязательно вспомнит случай, когда умерший сам стал на руль, а рулевого послал на бак подменить впередсмотрящего, чтобы тот немного отогрелся; другой подумает-подумает, да и вспомнит какую-нибудь добродушно-смешную историю про усопшего и т. д. Здесь срабатывает, вероятно, даже не только обычная врожденная человеческая доброта. Кажется, Островский заметил, что исправлять человека или народ, пытаться их улучшать можно только в таком варианте, если будешь показывать и то, что знаешь за ним хорошего, а не одно плохое. Конечно, на это можно ответить, что исправлять или улучшать народ наш нет резона, а исправлять или улучшать

спиро хетовичей — дело безнадежное. И что стопроцентная ненависть к нравственной темноте, нечистоплотности и трусости запрограммирована в нормальных людях самой природой. Природа такую программу в нормальных людей заложила потому, что нравственная тупость и трусливость угрожают поступательному развитию сознательной материи, то есть самой эволюции человечества. И потому надо спиро хетовичей рубить, рвать в клочья и вешать в детстве. Но природа заложила в нормальных людей еще и бессознательную тончайшую хитрость: бороться со злом добром.

В результате всего этого дьявольского коварства природы я отправился вместе с Анной Саввишной во Владимирский собор и даже пожертвовал целковый на свечку. Возможно, тут и еще один факт свою роль сыграл. Оказывается, умер Арнольд Тимофеевич в очередном арктическом рейсе в Тикси и похоронили его на том то-скливом кладбище, где землю никак нельзя назвать пухом.

Анна Саввишна у иконы Николая Морского тихо, почти даже беззвучно прошептала какую-то молитву. Она ее так тихо шептала, как будто шерстяной носок штопала.

Из всего бормотанья разобрал я только три последних слова: «Спи покойно, Кутя...» И вдруг впервые подумалось мне, что Тимофеич был в жизни глубоко несчастным человеком. Молодым он, верно, был романтиком военизированной власти и дисциплины в виде красивой показухи. И вот ничего такого у него не получилось, не осуществилось. И стал он обыкновенным неудачником. Правда, человеческая глубина Арнольда Тимофеевича равна была глубине его неудачливости, то есть представляла из себя отрицательную величину. Но ведь подобная злая неудачливость в некотором роде болезнь. Неприятная для самого себя, для окружающих и тем более для подчиненных, но болезнь.

После языческого обряда установки свечек мы с тетей Аней посидели четверть часика на скамейке в саду у собора. Холодно было — середина октября.

Тетя Аня рассказала о последних днях и часах Арнольда Тимофеевича.

Они были счастливыми.

Скончался отставной капитан-лейтенант скоропостижно в санитарный день, когда на судне всё моют и сти-

рают. Анна Саввишна застелила ему чистое белье и приготовила чай с вареньем, а старпом пошел в душевую. И не вышел из нее. Так и умер под душем. Анна Саввишна сказала, что в гробу он вроде как улыбался.

Тело Тимофеича родственники не затребовали, на похороны в Тикси никто не прилетел.

Не знаю, кто был тогда капитаном «Державино», но ему, бедняге, досталось. Ибо «Инструкция по организации похорон моряка» занимает четыре страницы убористого шрифта и состоит из шести параграфов и полусотни пунктов и подпунктов. Для примера приведу страничку, не неся ответственности за чересполосицу сослагательных и повелительных наклонений:

«Если труп на судне, вызывается скорая помощь и милиция, которые составляют акт о смерти.

Позвонить в морг, чтобы приехали за трупом.

Приказом по судну назначается комиссия, которая, проверяя каюту, составляет акт с описью личных вещей покойного. Акт составляется в 4-х экземплярах, один из которых вместе с вещами передается родственникам. Труп доставляется по договоренности (морг, место гражданской панихиды и т. п.). Справку о смерти получают в часы, назначенные в морге. Далее со справкой о смерти, военным билетом, паспортом обращаются в районный загс. Загс выдает «Свидетельство о смерти».

Со «Свидетельством о смерти» происходят следующие оформления: 1) Выделение места на кладбище. 2) Выписываются счета и производится оплата: а) захоронение, б) транспорт, в) колонка, г) надпись на колонке, д) раковина, е) венок и лента на венок, ж) покупается покрывало, з) гроб, и) оплачивается доставка гроба в морг, к) берутся на прокат орденские подушки...»

И т. д. и т. п.— еще три страницы убористого шрифта.

Так что и родственников можно понять, и капитану посочувствовать от души. Тем более что, скорее всего, в Тикси взять на прокат «орденские подушки» для медалей бывшего капитан-лейтенанта, вероятно, было затруднительно, ибо полярники в силу перевозданно-первобытной дикости своей профессии пышных похоронных церемоний терпеть не могут.

На кладбище, что между аэродромом и поселком, проводила Арнольда Тимофеевича тетя Аня. Там — недалеко от огромного бутафорского якоря с надписью

«Т И К С И» — и стал на свой мертвый якорь наш вечный старпом.

Рассказывая эту печальную историю, Анна Саввишна еще несколько раз назвала его Кутей. Она и не скрывала, что они заключили как бы неофициальный союз: доживать жизнь вместе. Таким образом, на его закат печальный мелькнуло нечто вроде любви улыбкою прощальной. Каким макаром все произошло, история умалчивает, но и кому до этого дело?..

В собор тетя Аня пришла помянуть Кутю после того, как уже с того света Арнольд Тимофеевич напомнил ей о себе. Оказывается, он составил завещание, которое обнаружили только наемдны. И весь сберегательный вклад (сумму Анна Саввишна не назвала) завещал ей, а не законной вдове.

4

О Фоме Фомиче.

Поехал я к нему на дачу, когда драйвер находился после больницы, санатория и отпусков в ожидании решения вопроса: пустят его еще плавать или, значить, не пустят. В последнем случае дослуживать до пенсионера ему приходилось бы на берегу на малооплачиваемой должности, то есть и пенсион выходил маленький — ведь травмы свои Фомич получил не при исполнении служебных обязанностей, не на производстве, не в Кильском канале, а сугубо в личной жизни.

Застал я Фомича в обществе Ивана Андрияновича.

Галина Петровна с Катенькой уже перебрались в город с дачи, а Фоме Фомичу нужен был свежий воздух. Физический труд на участке тоже ему был полезен. И Фомич, не падая, как и в раннем детстве, духом, предпринимал серьезные усилия, чтобы закопать все-таки свои мастодонтские трубы вокруг бунгало вертикально, укрепив одновременно пошатнувшееся здоровье.

Принимать рюмку Фомичу было запрещено категорически.

И потому рюмку под замечательные грибки, отварную картошку, соленькие огурчики и маринованную корюшку принимали только мы с Андриянычем, а Фома Фомич принимал воду с экстрактом шиповника.

Рюмка в чужих руках и устах таинственным образом действует и на присутствующего в непосредственной

близости наблюдателя. И Фомич не оказался исключением, возбудился, пошел-поехал делать психологические зарисовки всех старых и новых членов экипажа «Державино».

Начал он, конечно, с нового капитана, который только и делает, что бумажки из ящика в ящик в столе перекладывает, а закончил — со свойственной ему неожиданностью — выпадом в адрес присутствующего за дружеским столом Ивана Андрияновича.

— Всю жизнь ты отплавал, а, значить, культуры в тебе — ни на шестипенсовик! «Нюанс» да «нюанс»! Нюанс-то обозначает маленькую величину, а ты: «Весь груз марганцевой руды перевалился на правый борт, крен стал пятьдесят градусов, и после этого нюанса пароход уже и потонул...» Это чудо, значить, что мы на «Державино» с тобой-то в машине ни разу не потонули!

Иван Андриянович после такого нетактичного и вульгарного выпада сперва пошевелил ушами, прищурил маленькие, цепкие глазки и с едким раздражением сказал Фомичу, что тому совсем мозги отшибло, если он не понимает, что «нюанс» в неправильном употреблении — смешно, а без смеха на море только крысы плавают.

И угодил я между Сциллой и Харибдой. И предпринял несколько отчаянных маневров курсом и скоростью, чтобы попасть в точку, где они должны окончательно сшибиться, и сыграть в этой точке роль обыкновенного кранца, то есть смягчить удар. Попробуйте засунуть самого себя между стремительно сходящимися гранитным надолбом и доисторическим по ядовитости наконечником копья! 1) Опасно. 2) Бессмысленно. Даже такой замечательный кранец, как автопокрышка КРАЗа, не может смягчить удар. Наоборот, покрышка окажется у тебя на шее, как у белого медведя в проливе Вилькицкого.

Этим для меня маневрирование и закончилось. Но сперва оба соседа по дачному поселку обменялись серией следующих обвинений.

Фомич (стиснув от эмоционального возбуждения кисти рук между коленок):

— Ты помполита замещал, а женщин распустил! Сколько раз, значить, я тебя просил за бабским персоналом в низах наблюдать? Тимофеич покойный с Анькой

спутался, а где от тебя информация поступала?.. Потому как у самого рыльце в пухе, значить, и перьях — я с твоим досье давно ознакомлен!..

То есть изучал личное дело стармеха в кадрах. На это капитан имеет право. Иногда нужно хоть из бумажек что-то успеть узнать о людях, с которыми идти в море, жизнь и смерть которых ложится на твои плечи и командовать которыми, возможно, придется в самых неожиданных ситуациях. Но встречаются и такие капитаны, которые принципиально никогда не пользуются правом на знакомство с официальными подноготными будущих подчиненных и целиком полагаются только на свое личное изучение их уже на судне, на свою интуицию.

Андрияныч (уже взявший себя в руки и со спокойствием Сократа, попивающего цикуту, посасывающий водочку, настоящую на березовых почках Галиной Петровной):

— А я с вашим досье тоже ознакомлен. И как вы в Киле купались, и другие нюансы отлично помню.. У вас опыт по буфетчицам с сорок восьмого года есть. Вы этими пошлыми в низах делами сами и занимайтесь. Вот и Викторыч подтвердит, что вообще дамы на судах весело и хорошо работают, если за ними плотно ухаживают. А вот на коротком плече (на коротких рейсах, когда моряки часто бывают дома у жен и подруг) дамы истеричничают и меняют пароходы, как английские лорды перчатки, потому как никто уже из мужского плавсостава ими не интересуется! Отсюда и вся текучесть кадров обслуживающего персонала...

В этот момент меня озарило, что «спутывание» Анны Саввишны с Арнольдом Тимофеевичем произошло не без намеренного сводничества Ушастика, и что делал это Ушастик для добра, и что Тимофеич ему обязан коротким светлым лучом перед закатом, перед кладбищем в Тикси. И что Ушастик, конечно, профессиональный сплетник и в чужом грязном белье копать обожает, но умеет и молчать рыбой, совершая какие-то ему только ведомые влияния на судьбы окружающих людей...

— Давайте, друзья-товарищи, выпьем за Степана Тимофеевича,— решил наконец вклиниться я между Сциллой и Харибдой.— Хватит лаяться. Мы у вас, Фома Фомич, в гостях сидим, а вы дурацкое прошлое начали на свет божий тащить. И себе капельку водочки налейте...

Вот тут-то я и получил автопокрышку от КРАЗа себе на шею.

— Ишь, как распился наш Викторыч! — заметил Фома Фомич, тщательно обдумав мое предложение. — А я, значить, между прочим, и с вашим досье ознакомился. Я про все ваши керченские подвиги информирован теперь. И почему вы в рейсе сухой закон держали, мне понятно: чтобы, значить, тверезым за нами наблюдение вести. Так вот еще раз по-товарищески тебе скажу, душить алкоголизм лучше всего триппером! — как всегда неожиданно закончил он надевание на мою шею автопокрышки.

Но за этой неожиданной концовкой, ой, какой глубокий смысл был и намек: попробуй, мол, наше грязное белье на свет божий тряхануть, я те через твое личное дело такую кузькину мать покажу!

Я не обиделся. Медики объяснили, что после сотрясения мозга Фомы Фомича у драйвера стали неприметно гипертрофироваться наиболее отрицательные черты и черточки характера и психики. И что в таком факте нет ничего странного или особенного. Может случиться после сотрясения черепа так, а может и наоборот: сотрясанный человек превращается просто в стопроцентного ангела — опять же за счет гипертрофикации всех хороших и добрых черт и черточек характера.

Мы капнули на хлеб по капельке водки и выпили за Тимофеича как положено, не чокаясь и в молчании.

Молчание первым нарушил Фомич.

— Вообще-то, значить, никому из живых не идет коричневое, — сказал он со вздохом и потрогал затылок. Под «коричневым» Фомич имел в виду гроб.

— Кроме эсэсовцев, — тоже со вздохом сказал Иван Андриянович. И опять я не могу поручиться, что в этом точном и объективном замечании вовсе уж не было яда. — А гидрограф Бобринский тоже помер, — продолжал лед. — Говорят, перед кондратом письмо написал начальству в Москву. Мне, мол, всю жизнь пришлось в Арктике Колыму открывать в силу графского происхождения. Я, мол, имел большие планы для гидрографического изучения Берега Слоновых Костей, но визу не открывали. А на тот свет визу открывают без волокиты бюрократической и всяких других хлопот через нюанс рака печени. А дальше написал, что просит выделить ему ноль один — это он цифрами написал, и в скобках еще добавил про-

писью «один» — адмиралтейский якорь... Такой буквоед был.

— А зачем ему якорь, ежели он уже концы отдавал? — заинтересовался Фома Фомич.

— На могилу. Чтобы знали, что там морской человек лежит, — объяснил Ушастик.

— И выписали ему якорь? — спросил Фомич.

— Выписали. И даже не на Северном там или Южном кладбище похоронили, куда нашего брата завалят за черту видимого горизонта, а на Красненьком. Оказывается, в свое время больших дел граф в Арктике надедел.

— Вот те и гутен-морген, — с неопределенной интонацией сказал Фомич. — Но, все одно, настоящий адмиралтейский якорь ему не выписали, это уж, прошу прощенья, и ни в жизнь не поверю. Верп шлюпочный еще могли выписать, а чтобы настоящий якорь...

— Что слышал, то и говорю, Фома Фомич.

Мне, конечно, вспомнилось, как арестованные простым арестом матросики строили трамвайную линию мимо кудрявого и зеленого Красненького кладбища. И представилось, как теперь мимо могилы шалуна-гидрографа живо и весело гремят трамваи, мчась к замечательным паркам и тихому взморью Стрельны...

— Вот, значить, я за спирохету здоровье алкоголем подрываю, — сказал Фома Фомич, вытаскивая из пижамных брюк здоровенный, как парус на фрегате, носовой платок. — По твоей опять же, Викторыч, подначке. На Диксоне за вояк банкет, значить, наподначивал. Ныне под Тимофеича. А он доносы-то на меня написал! Я уже в больнице раком от болезненных ощущений в области головы стоял, а он — доносы.левой рукой писал: по всем, значить, правилам детективов.

— Правда? — спросил я Ивана Андрияновича, который в этот момент тоже вытаскивал из форменных брюк носовой платок, но не такой большой, как у Фомича, и с кружевной оборочкой по периметру.

— Факт, — подтвердил Андрияныч.

— И левой рукой — факт?

— После такого нетактичного случая, как на Енисее, он бы и правой ногой написал, — подтвердил Андрияныч.

И я невольно вспомнил, что сочинитель прошлого века И. П. Белкин раскопал в летописи сведения о земском Те-

рентии, жившем около 1767 года и умевшем писать не только правой, но и левою рукою; сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. д. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер в глубокой старости, в то самое время как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны... Да, не переводятся на Руси самородки самых различных талантов и характеров.

Фома Фомич за время моих размышлений по всем правилам подготовил к употреблению носовой платок, то есть расправил его, посмотрел сквозь него на свет божий, убедился в полной пригодности паруса к постановке и тогда тихо всхлипнул.

— Эх, Стенька, ты мой Стенька, значить, сколько лет мы с тобой откачались? — пробормотал Фомич. — Как, значить, краб-отшельник с актинией... И ныне все грехи тебе и доносы, значить, отпускаю, чтобы душа чисто жила. Как старики учили, так и теперь, значить. Давай, Викторыч, наливай! Черт с ним, с организмом! До конца лей!

Иван Андриянович тоже всхлипнул.

Фома Фомич уронил в рюмку большую и чистую слезу.

И мы еще раз выпили за Арнольда Тимофеича.

После чего и Фома Фомич и Иван Андриянович употребили в дело носовые платки. А я, понимаете ли, подумал, неопределенно подумал, расплывчато, что в слезе Фомича проблескивает вся моя надежда; на ней, этой слезинке, быть может, эквилибрирует, понимаете ли, весь мой оптимизм при взгляде на будущее как России, так и человечества.

Ну, вроде всех упомянул, со всеми попрощался? Нет, чуть Шерифа не забыл. Не прижился пес в городской цивилизации. Еще ни одного случая не знаю, когда бы настоящая северная, азиатская лайка оказалась совместимой с Европой.

Сперва Саныч эвакуировал пса из Ленинграда в деревню к родственникам на Вологодчину. Там и мороз был, и снега, и приволье, и забота Шерифу — все было, а... ностальгия. И пришлось Дмитрию Александровичу

много хлопот принять, чтобы отправить пса обратно на родину — в Тикси — туда, где землю никак не назовешь пухом.

5

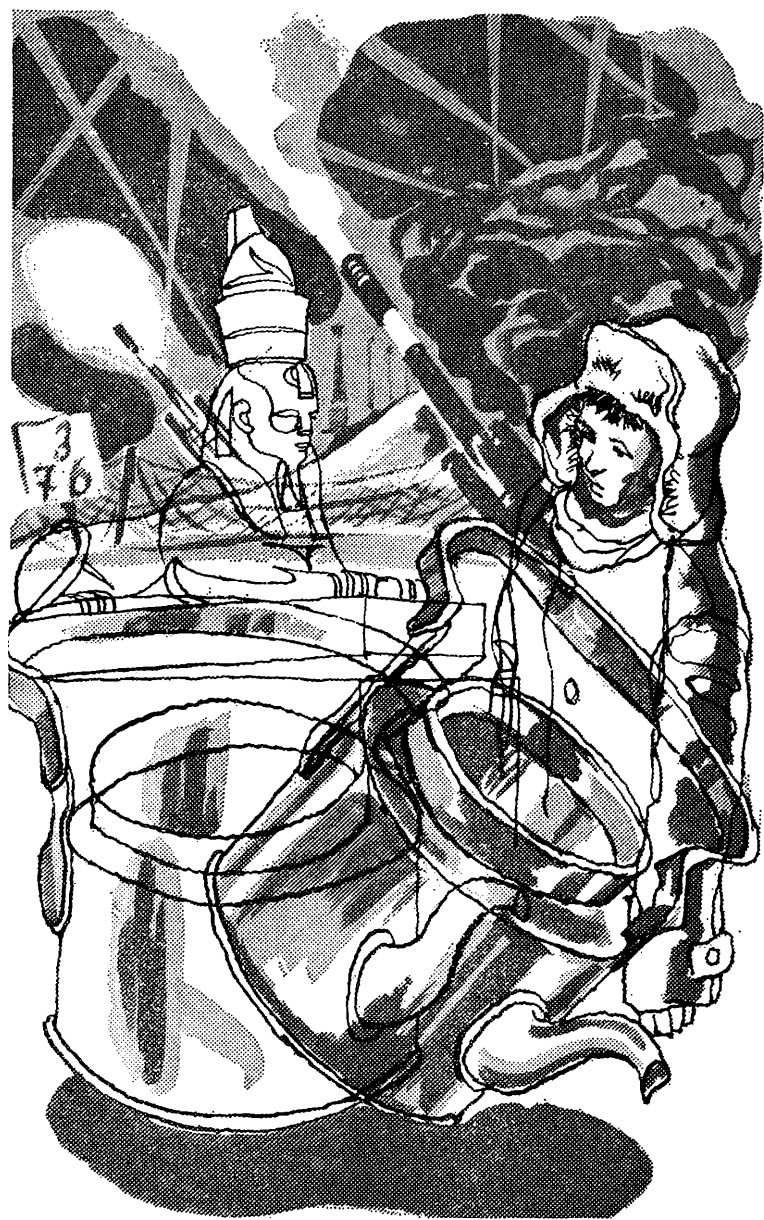
Странное чувство испытываешь, заканчивая книгу. Оно схоже с чувством окончания рейса. Не очень-то удачного рейса.

...Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный...

Кто когда-нибудь пробовал рисовать акварелью с натуры зимний пейзаж в сильный мороз, тот поймет мои ощущения. Мокрая акварель на морозе мгновенно застывает. Краски на бумаге с чудесной силой передают красоту мира и восторги твоей души от красоты мира и своей удачи. Свет солнца пронизывает ледяную красочную пленку, где зафиксировались в самых нерукотворных и замечательных сочетаниях твои мечты; белизна бумаги отражает солнечные лучи сквозь кристаллы остановившейся в ледяном покое воды — и получается остановившееся мгновение. И остановил его — ты!

Ну, а теперь, полюбовавшись своим созданием, можешь со спокойной совестью выкидывать его на помойку, ибо, если принесешь рисунок домой, то лед растает, краски превратятся в бурду, а бумага раскиснет.

Утешаюсь тем, что когда рисовал акварелью на морозе, то хотел передать правду и только правду. И в конце концов, то, каким ты себя и мир придумал, тоже имеет право на существование: ведь это плод именно твоего опыта, восторга, воображения и неизбежной печали о прошлом.



СОЛЕННЫЙ ЛЕД

Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре.

Г. Д. Торо, «Жизнь в лесу»

НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

В феврале я узнал, что суда, на которые получу назначение, зимуют в Ленинграде у набережной Лейтенанта Шмидта, и пошел взглянуть на них.

После оттепели подмораживало, медленно падали с густо-серого неба белые снежинки, на перекрестках виднелись длинные следы тормозивших машин — был гололед.

Я вышел к Неве, дождался, когда милиционер отойдет подальше, спустился на лед и пошел напрямик через реку к низким силуэтам зимующих судов. На реке было тихо, городские шумы отстали, и только шуршала между низких торосов поземка.

Так она шуршала двадцать два года назад, когда я тринадцатилетним пацаном тем же путем спустился на лед и побрел к проруби с чайником в руках. Вокруг проруби образовался от пролитой замерзшей воды довольно высокий бруствер. Я лег на него грудью, дном чайника пробил тонкий ледок и долго топил чайник в черной невиской воде. Она быстро бежала в круглом окошке проруби. Мороз был куда сильнее, чем теперь, ветер пронизывал, а поземка хлестала по лицу. Я наполнил чайник, вытащил его и поставил позади себя. И потом еще дольше возился со вторым чайником, пока зачерпнул воды. И тогда оказалось, что первый накрепко примерз своим мокрым дном ко льду. Я снял рукавицы, положил их на лед, поставил на них второй чайник и обеими руками стал дергать первый.

На набережной Лейтенанта Шмидта заухала зенитка. Это была свирепая зенитка. От нее у нас вылетело стекло из окна даже без бомбежки.

Я бил чайник валенками, дергал за ручку и скулил, как бездомная маленькая собака. Я был один посреди белого невиского пространства. И мороз обжигал даже

глаза и зубы. И я не мог вернуться домой без воды и чайника.

Черт его знает, сколько это продолжалось. Потом появился на тропинке здоровенный матрос. Он без слов понял, в чем дело, ухватил примерзший чайник за ручку и дернул изо всех своих морских сил. И тут же показал мне подковы на подошвах своих сапог — ручка чайника вырвалась, и матрос сделал почти полное заднее сальто. Матрос страшно рассердился на мой чайник, вскочил и пнул его каблуком.

— Спасибо, дядя,— сказал я, потому что всегда был воспитанным мальчиком.

Он ушел, не сказав «пожалуйста», а я прижал израненный чайник одной рукой к груди, а в другую взял второй. Из первого при каждом шаге плескалась вода и сразу замерзала на моей руке. От боли и безнадежности я плакал, поднимаясь по обледенелым ступенькам набережной...

И вот спустя двадцать два года я остановился приблизительно в том месте, где была когда-то прорубь, и закурил. «Интересно, жив ли тот матрос,— подумал я.— А может, он не только жив, но мы и сплавали с ним вместе не один рейс... Разве всегда узнаешь тех, с кем раньше уже пересекалась твоя судьба?»

Прямо по носу виднелся плавучий ресторан «Чайка», и я было взял курс на него, чтобы чего-нибудь выпить. Но вокруг ресторана лед был в трещинах, и я выбрался на набережную возле спуска, где торчит на самом юру идиотская общественная уборная. Такое красивое, знаменитое место — рядом Академия художеств, дом академиков, сфинксы из древних Фив в Египте — и круглая общественная уборная.

Я оставил уборную по корме, убедился в том, что ресторан закрыт на обеденный перерыв, выпил теплого пива у синего фанерного ларька, получил из мокрых рук продавец мокрую сдачу и медленно пошел вдоль набережной, рассматривая те суда, которые предстояло мне гнать на Обь или Енисей. Суда стояли тесным семейством, борт к борту, в четыре корпуса. Узкие и длинные сухогрузные теплоходы, засыпанные снегом. Два дизеля по триста сил, четыре трюма, грузоподъемность шестьсот тонн, от штевня до штевня около семидесяти метров — все это, вместе взятое, на обыкновенном морском языке называется «речная самоходная баржа». И утешаться следует

только тем, что слово «баржа» похоже на древнее арабское «бариджа», обозначавшее некогда грозный пиратский корабль.

«Может, откуда-нибудь оттуда и «абордаж»?» — подумал я, рассматривая с обледенелой набережной свою близкую судьбу. Судьба выглядела невесело. Иллюминаторы были закрыты железными дисками, с дисков натекали по бортам ржавые потеки, брезентовые чехлы на шлюпках, прожекторе, компасе почернели от сажи. На палубах змейками вились тропинки среди метровых сугробов. Тропинки, очевидно, натоптали вахтенные. Провисшие швартовые тросы кое-где вмерзли в лед.

— Ах, эти капельки на тросах, ах, эти тросы над водой, — бормотал я про себя. — Ах, корабли, которым осень мещает быть самими собой...

Именно мне предстояло приводить эти суда в приличный для плавания по морям вид. А пока смотреть на длинные гробики не доставляло никакого удовольствия.

И я пошел дальше по набережной Лейтенанта Шмидта. Я люблю ее. И лейтенанта Шмидта. Он один из главных героев детства.

Набережная — моя родина. Где-то здесь мы стояли в сорок восьмом году, с вещмешками за плечами, в белых брезентовых робах, в строю по четыре, и ждали погрузки на старика «Комсомольца». Мы отправлялись в первое заграничное плавание. На другой стороне набережной толпились все наши мамы и наши девушки. И только пап было чрезвычайно мало. У нашего поколения не может быть никаких разногласий с отцами хотя бы потому, что не многие своих отцов помнят. И когда сегодня я попадаю в семейство, где за ужином собираются вокруг стола отец, мать, дети и внуки, то мне кажется, что я попал в роман Чарской и все это совершенно нереально. И если я вижу на улице старика с седой бородой, неторопливой повадкой и мудростью в глазах, то мне кажется, что я сижу в кино. Потому что стариков у нас осталось очень мало. Их убили еще в пятом, в четырнадцатом, восемнадцатом, двадцатом, сорок первом, сорок втором и в другие годы. А если ты вырос без отца и без деда, то обязательно делаешь в жизни больше глупостей.

Да, от гранита этой набережной я первый раз ушел в плавание на старом большом учебном корабле с тремя

трубами. Когда-то он назывался «Океан», а потом стал «Комсомольцем». На кнехтах остались старинные надписи: «Океанъ». Кажется, как вспомогательный крейсер старик принимал участие в Цусимском бою.

Нас набили в его огромные кубрики по самую завязку. Мы качались в парусиновых койках в три этажа. И когда по боевой тревоге верхние летели вниз, то нижним было больно.

А самой веселой у нас считалась такая провокация. Тросики верхней койки смазывались салом. Это делалось, конечно, втайне от хозяина. Хозяин спокойно залезал к себе под потолок и засыпал. Ночью крысы шли по магистралям к вкусным тросикам и грызли их. Тросики рвались, и жертва летела на спящего внизу. Подвесная койка — не двухспальная кровать, она рассчитана строго на одного. Когда в ней оказывались двое, она переворачивалась. И уже втроем жертвы шлепались на стальную палубу. Грохот и проклятия будили остальных.

И с нами вместе тихо посмеивался старый «Комсомолец». Наверное, ему было приятно возить в своем чреве восемнадцатилетних шалопаев.

Старика разрезали на металлолом всего года два назад.

Мы ходили на нем в Польшу — возили коричневый брикетированный уголь из Штеттина в Ленинград.

Я помню устье Одера, вход в Свинемюнде, два немецких линкора или крейсера, затопленных по бокам фарватера. Их башни торчали над водой, и волны заплескивали в жерла орудий. Мы прошли мимо и увидели неожиданно близкую зелень берегов Одера. А в канале детишки махали нам из окон домов. Дома возникали метрах в двадцати от наших бортов.

Мы первый раз в жизни входили в чужую страну по чужой воде. Мы стояли на палубах и ждали встречи с чем-то совершенно неожиданным, удивительным. Мы думали открыть для себя новый мир. Недаром в детстве я считал слово «заграница» страной и писал его с большой буквы. Теперь-то я знаю, что все люди на земле живут одними заботами, а потому и очень похожи друг на друга.

И мы вошли в Штеттин. Обрушенные мосты перегораживали реки и каналы. Кровавые от кирпичной пыли стены ратуши были единственным, что уцелело в городе.

Союзная авиация постаралась. Руины густо заросли плющом. Плющ казался лианами.

Мы ошвартовались, и человек сто пленных немцев закопошились на причале, готовясь к погрузке. Они подавали уголь на борт и ссыпали его в узкие горловины угольных шахт. А мы работали в бункерах, в кромешной тьме и пыли. И все мы были совершенными неграми. А после работы мы развлекались тем, что кидали пленным на причал пачку махорки. Немцы бросались в драку из-за нее под наш залихватский свист.

Война только что кончилась. Мы хотели есть уже шесть лет подряд. Шесть лет мы хотели хлеба в любой час дня и ночи. И мы были по-молодому жестоки. Когда здоровенные немцы лупили друг друга на причале, мы получали некоторое удовольствие. Это было, из песни слова не выкинешь.

И еще помню: один из пленных договорился с нами, что если он переберется по швартовому тросу на борт корабля, то получит целую пачку махорки. Метров пятнадцать — двадцать толстого стального швартова, скользкого и в проволочных заусеницах.

Немец отважно повис на тросе и пустился в путь на руках. Посередине он выдохся и замер над мутной одерской водой. Его друзья орала что-то с причала. А мы начали готовить спасательные круги. Немец попытался закинуть на трос ноги, но у него это не получилось, и он шлепнулся в воду с высоты семи метров под наши аплодисменты.

Мы вытащили немца и дали ему три пачки махорки за смелость. И после этого случая как-то даже подружился с пленными. Может быть, это произошло и потому, что все мы от угольной пыли одинаково походили на негров.

Я вспомнил свою юность и отправился дальше по набережной Лейтенанта Шмидта, думая о том, что лейтенант, очевидно, был из немцев и как все у нас с немцами перепуталось. Вот я скоро пойду в море на судне, построенном в ГДР. Оно сейчас зимует совсем недалеко от проруби, в которой я брал воду двадцать два года назад по вине немцев. А лейтенант Шмидт героически погиб за нашу революцию и за то, чтобы на земле никогда не было войн. А вот стоит памятник первому рус-

скому плователю вокруг света Ивану Крузенштерну. И более странное сочетание — «Иван» и «Крузенштерн» — придумать трудно. Правда, адмирал не был немцем, он эстонец.

Адмирал стоял высоко надо мной, обхватив себя за локти. Снег украшал его эполеты. Он добро глядел на окна Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе.

Ваня Крузенштерн покинул это здание много-много лет назад, а теперь стоит здесь и не уйдет больше никогда.

Во времена моей юности среди курсантов бытовала история, связанная с адмиралом. Какой-то курсант познакомился на танцах с девушкой. И девушка, наверное, сразу полюбила его, и они даже поцеловались где-нибудь за портьерой. И когда расставались, то девушка спросила, как можно найти его в училище, она хочет повидать его еще до следующей субботы, потому что семь дней — это ужасно длинный срок. А курсант был веселым парнем, и девушка, вероятно, нравилась ему меньше, нежели он ей. И он сказал:

— Приходи на проходную и спроси Ваню Крузенштерна. Меня все знают.

И она пришла уже в понедельник и спросила у дежурного мичмана Ваню Крузенштерна. Дежурный мичман взял ее за руку, вывел на набережную и показал на памятник:

— Иди к этому памятнику. Твой парень стоит сейчас там, — объяснил он.

И она пересекла набережную, ступая по мокрому асфальту своими единственными туфельками на каблучках, и все оглядывалась по сторонам, чтобы скорее увидеть Ваню. И наконец прочитала надпись на цоколе: «Первому русскому плователю вокруг света Ивану Крузенштерну». Адмирал добро глядел мимо нее, и кортик неподвижно висел у его левого бедра.

Но какое дело девушкам в туфельках на каблучках до бронзовых адмиралов? Она заплакала и ушла, чтобы не возвращаться. Вот какую историю рассказывали в наше время про Ваню Крузенштерна...

Это избитая истина: как только вспомнишь юность, становится грустно. Вероятно, потому, что сразу вспо-

минаешь друзей своей юности. И в первую очередь уже погибших друзей.

Здесь, возле памятника Крузенштерну, я последний раз в жизни видел Славу.

Тот же влажный ленинградский ветер. Промозгло, серо. Тот же подтаивающий серый снег на граните. И купола собора, лишённые крестов и потому кургузые, незаконченные, тупые.

И так же точно, как теперь, я выпил подогретого пива в маленьком ларёчке недалеко от моста Лейтенанта Шмидта, закурил, засунул руки в карманы шинели и пошел по набережной к Горному институту, вдоль зимующих кораблей, вдоль якорных цепей, повисших на чугунных пушках. И ветер с залива влажной ватой лепил мне глаза и рот. И я думал о прописке, жилплощади и мечтал когда-нибудь написать рассказ о чем-нибудь очень далеком от паспортисток и жактов.

И у памятника Ване Крузенштерну встретил Славу.

Он шагал по ветру навстречу мне, подняв воротник шинели и тем самым лишней раз наплевав на все правила ношения военно-морской формы. На Славкиной шее красовался шерстяной шарф голубого цвета, а флотский офицер имеет право носить только чёрный или совершенно белый шарф. Из-за отворота шинели торчали «Алые паруса» Грина. А фуражка, оснащённая совершенно неформенным «нахимовским» козырьком, выпиленным из эбонита, сидела на самых ушах Славки.

Надо сказать, что за мою юношескую жизнь творения Александра Грина несколько раз делались чуть ли не запретными. А Славка всегда хранил верность романтике и знал «Алые паруса» наизусть.

Славка прибыл к нам в военно-морское училище из танковых войск. Он попал в танковые войска из-за какой-то темной истории.

В шестнадцать лет Славка связался со шпаной. Это, наверное, были смелые ребята. И тем они пленили его. Кто из нас, шестнадцатилетних, не мечтал проверить свое мужество на чем угодно, если судьба помешала нам принять участие в боях?

Однажды Славку попросили постоять на углу и посмотреть, не идет ли милиционер. В воздухе пахло опасностью, и Славка не мог отказаться. А его друзья ограбили квартиру. Их поймали, и Славке грозила статья за соучастие. Он прибавил себе лет в метрике и добро-

вольно ушел в армию, попал в танковые войска и стал механиком-водителем. От работы с фрикционами плечи у него раздались, обвисли, а руки стали железной хватки.

Служить в танковых войсках тяжело, особенно зимой. Но Слава нес свою службу без уныния. Все самое тяжкое забывалось, когда он чувствовал свою власть над мощной машиной, ее послушность, ее дерзость, ее желание рвануться в бой. И когда падали впереди деревья и грохались на броню комья мерзлой земли, Слава бывал счастлив. Наверное, он здорово привык к тесному миру танка, потому что потом стал подводником.

Начальство всегда считало его разгильдяем. И пожалуй, не без оснований. Все, что не было романтичным в его понимании, не могло его интересовать. В те уже далекие послевоенные времена казалось, что конец войны сразу должен означать начало чего-то прекрасного, легкого, свежего. Но началась «холодная война», воздух общественной жизни тяжелел. И мы в своих казармах половину времени думали о шпионах. Единственной отдушиной были книги Паустовского, его настроченная проза, проникнутая грустной мечтой о красоте.

Мы были молоды, и многое путалось в наших головах. И в Славкиной тоже. Когда-то он мечтал стать кинорежиссером, прочитал уйму американских сценариев и рассказывал нам их. И ночами слушал джаз. Он владел приемником, как виртуоз скрипач смычком. Из самого дешевого приемника он умел извлекать голоса и музыку всего мира. Учился он паршиво. Но великолепно умел спать на лекциях. Великолепно умел ходить в самовольные отлучки. И ему дико везло при этом. Наверное, потому, что у Славки совершенно отсутствовал страх перед начальством и взысканиями.

Я не знаю другого человека из военных, которому было бы так наплевать на карьеру, как Славке.

Он учил меня прыжкам в воду. И мы однажды сиганули с центрального пролета моста Строителей и тем вывели из равновесия большой отряд водной и сухопутной милиции. Для меня это был последний такой прыжок. В те времена я увлекался гимнастикой и большую часть времени в перерывах между занятиями проводил головой вниз, отрабатывая стойку на кистях. Эта стойка меня и подвела. С большой высоты я врезался

в воду чересчур прогнувшись, ударился глазами и чуть не поломал позвоночник.

А Славка повторил прыжок уже с Кировского моста. Он ухаживал за какой-то девицей, а она пренебрегала им. Тогда он вызвал ее на последнее роковое свидание и явился одетый легко — в бобочке и тапочках. И они зашагали через мост. На центральном пролете Слава мрачно спросил:

— Ты будешь моей?

— Нет, — сказала она.

— Прощай! — сказал Слава и сиганул через перила с высоты шестнадцати метров в Неву.

И тут девица заметалась между трамваями и автомобилями. А Слава выплыл где-то у Петропавловской крепости. Конечно, если б он не начитался предварительно американских сценариев, то не додумался бы до такого способа воздействия на женскую психику. Правда, девица в отместку за пережитый страх дала Славке по физиономии. И они расстались навсегда.

При всем при том Слава имел внешность совершенно невзрачную, был добродушен, и толстогуб, и сонлив. Но не уныл. Я никогда не видел его в плохом, удрученном состоянии. Он радостно любил жизнь и все то интересное, что встречал в ней. Его не беспокоили тройки на экзаменах по навигации и наряды вне очереди. Он выглядел философом натуральной школы и чистокровным язычником. Естественно, такие склонности, и запросы, и поведение не могли нравиться начальству. Больше того, его выгнали бы из училища давным-давно, не умей он быть великолепным Швейком. Его невзрачная, толстогубая физиономия напрочь не монтировалась с джазовыми ритмами, и самовольными отлучками, и любовью к выпивке.

И вот мы встретились с ним на набережной Лейтенанта Шмидта в середине пятидесятых годов.

— Ты бы хоть воротник опустил, — сказал я.

— У меня недавно было воспаление среднего уха, старик, — сказал он.

Мы не виделись несколько лет. Я служил на Севере, а он на Балтике. Я плавал на аварийно-спасательных кораблях и должен был уметь спасать подводные лодки. А он плавал на подводных лодках.

— Здорово! — сказал я.

— Здорово! — сказал он.

И мы пошли выпить. В те времена на углу Восьмой линии и набережной находилась маленькая забегаловка в подвале.

Я уговаривал его бросить подводные лодки. Нельзя существовать в условиях частых и резких изменений давления воздуха, если у тебя болят уши.

— Потерплю,— сказал Славка.— Я уже привык к лодкам. Я люблю их.

Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем.

Оставшись без командира, он принял на себя командование затонувшей подводной лодкой. И двое суток провел на грунте, борясь за спасение корабля. Когда сверху приказали покинуть лодку, он ответил, что они боятся выходить наверх — у них неформенные козырьки на фуражках, а наверху много начальства. Там действительно собралось много начальства. И это были последние слова Славы, потому что он-то знал, что уже никто не может выйти из лодки. Но вокруг него в отсеке были люди, и старший помощник командира считал необходимым острить, чтобы поддержать в них волю. Шторм оборвал аварийный буй, через который осуществлялась связь, и больше Слава ничего не смог сказать.

Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней ступеньке трапа к выходному люку. Его подчиненные были впереди него. Он выполнил свой долг морского офицера до самого конца. Если бы им и удалось покинуть лодку, он вышел бы последним. Они погибли от отравления. Кислородная маска с лица Славы была сорвана, он умер с открытым лицом, закусив рукав своего ватника.

Я остановился возле Горного института и в память Славки снял шапку, глядя на простор невского устья, на гигантские красные корпуса строящихся танкеров, на далекие краны порта.

Вечерело, снег все крутился в сером воздухе, звякали трамваи, и гомонили на ступеньках Горного института студенты.

Я устал от воспоминаний.

«Это дело тоже требует большого напряжения»,— подумал я. И пошел к трамваю. Надо было ехать домой

и готовиться к техминимуму, листать учебники по навигации и повторять «Правила по предупреждению столкновения судов в море». Ничто так легко не забывается, как эти правила. Их приходится повторять всю жизнь.

СЕРЕДИНА ЖИЗНИ

1

Тридцать пять лет считается серединой жизни. Многие в этом возрасте попадают в кризис. Например, Данте в тридцать пять тоже затосковал:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины...

Утратив правый путь, Данте сел и написал «Божественную комедию». Ему утрата правого пути помогла войти в бессмертие. А у меня «Божественная комедия» не получалась.

Мой первый рассказ был о детской любви, седом капитане и очаровательной художнице, которую я поместил почему-то на Шпицбергене, хотя никогда там не был. Вероятно, я исходил из того, что Данте тоже не был в аду. Мурашки бегали по коже от восторга, когда я перечитывал свое сочинение. Оно характерно абсолютным отсутствием какой-либо мысли.

В литобъединении, где мы проходили свои университеты, существовал специальный литературоведческий термин: «писать животом», что означает писание без помощи головы. Я хорошо усвоил этот метод, потому что пользовался им с раннего детства, чисто интуитивно впитал его, никто в меня его не вколачивал. А то, что в тебя не вколачивают, почему-то впитывается особенно крепко.

Лет в тридцать меня потряс Довженко. Он сказал, что «писатель, когда он пишет, должен чувствовать себя равным самому высокому политическому деятелю, а не ученику или приказчику».

Не знаю, поднимался ли сам Довженко до таких вершин, но мне стало ясно, что писать надо бросить. Каким я могу быть политиком, если не знаю толком исто-

рии мира и своей собственной страны, не знаю многих знаменитых произведений литературы, не знаю иностранных языков и если на голову мою за сравнительно короткую жизнь свалилось вполне приличное количество всякой путаницы.

Но писать я не бросил, потому что обнаружил у Довженко эгоцентризм и выпячивание писательской профессии. По Довженко получается, что обыкновенный, непишущий человек имеет право быть всю жизнь учеником или даже приказчиком.

«В том-то и дело,— успокоил я себя, подумав,— что у нас каждый должен быть политиком. Читатель зачастую знает о жизни не меньше писателя. А часто и больше. И политик он лучший, потому что бывает смелее. Разница между писателем и читателем сегодня только в том, что писателю бог дал способность или нахальство для писания, а читатель только читает».

Около года я продолжал спокойно работать над четырехтомной эпопеей.

И вдруг узнал, как поразился Томас Манн вопросом, который Чехов все задавал и задавал себе: «Не обманываю ли я читателя, не зная, как ответить на важнейшие вопросы?»

Это поразило и меня. Я точно знал, что не могу ответить на важнейшие вопросы современности. Я в этом не сомневался.

Работа над эпопеей застопорилась.

Но потом я как бы опять прозрел: ведь если не мог ответить сам Чехов, то мне и подавно можно не отвечать. Томас Манн был согласен с моим заключением. Он писал: «Так уж повелось: забавляя рассказами погибающий мир, мы не можем дать ему и капли спасительной истины. И несмотря на все это, продолжаешь работать, выдумываешь истории, придаешь им правдоподобие и забавляешь нищий мир в смутной надежде, в чаянии, что правда в веселом обличье способна воздействовать на души ободряюще и подготовить мир к лучшей, более красивой, более разумно устроенной жизни».

Я продолжал работу над эпопеей, стараясь показывать правду в веселом обличье. Сперва мне казалось, что это много легче, нежели отвечать на все важнейшие вопросы. Путь к правде давным-давно известен: надо быть искренним — вот и все. Смущало только, почему Толстой

так ценил искренность в том же Чехове, например: «Он был искренним, а это великое достоинство: он писал о том, что видел и как видел... И благодаря искренности его, он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде!»

Значит, чтобы быть искренним и создать новые для всего мира формы, надо писать о том, что видишь и как видишь. А что и как вижу я?

Вот этот вопрос я и задал себе в тридцать пять лет. И попал некоторым образом в положение сороконожки, у которой спросили, с какой ноги она начинает прогулку.

Перечитав эпопею, я обнаружил, что все написанное писал не я, а черт знает кто. Быть может, тот, кого я из себя изображаю. Быть может, доктор-окулист, который еще в детстве прописал мне по ошибке очки от близорукости.

Я смутно понял, что стать самим собой так же трудно, как поехать на Невский проспект, вылезти у Казанского собора, раздеться в скверике донага и — мало того — в голом виде забраться на постамент к Барклаю де Толли.

Во-первых, холодно — простудишься и заболеешь воспалением легких. Во-вторых, опасно — прямо с Баркляя де Толли тебя могут отправить в милицию или сумасшедший дом. В-третьих, все это окажется так некрасиво, что потом от стыда повесишься сам.

Живо представив себя на цоколе памятника Барклаю де Толли, я понял, что меня скорее всего элементарно побьют.

Эпопея рухнула. Город давил на мозг.

И я отправился в деревню, в те псковские святые места, куда наш брат писатель ездит в разные трудные моменты жизни. Приезжают выгуливаться после длительного служебного застолья. Или попробовать чудесных солений и варений старожилов этого края. В круглые и полукруглые литературные даты там устраивают поминки и даже парады, которыми командуют литературные генералы.

Приезжают сюда и за вдохновением, когда последнее угасло. Эти напоминают магометанских женщин, молящихся у могилы святого о прекращении бесплодия.

Была зима, мороз, снега, ранний вечер, черный лес, белые березы и красное солнце за холмами.

Заиндевелые лошадки тащили сани, из саней падали на снег охапки зеленого сена. Накатанные санями колеи блистали под низким солнцем, как стальные рельсы.

Меня приютили две чудесные девушки. Они отдали мне одну комнату в маленьком деревенском домике на окраине. Только промерзшая почта и продуктовый синий ларек стояли рядом с домиком.

Глубокие снега рождали вокруг глубокую тишину. За домиком падал к речке обрыв. По обрыву росли ольхи и рябины, они стучали по ночам обледенелыми ветками. А за яблоневым садом виднелся старинный барский дом и строения усадьбы.

Мои хозяйки рано утром, еще в полной темноте, поднимались на работу. Они хохотали, споласкивая свои носы ледяной водой, и топали валенками, чтобы согреться,— к утру домик совершенно промерзал. Но девушки умели смеяться любому пустяку и смехом помогали себе и другим жить. Они баловали меня, сами приносили дрова из сарая, и становилось неудобно из-за этого. И когда морозные поленья с грохотом летели на пол возле печки, мы ругались. Я ругался, высунув из-под одеял только кончик своего носа. А они ругались и хохотали, отряхивая со своих пальтишек щелки и цепкий снег. Потом они исчезали, кинув на птичью кормушку возле крыльца крошек или крупы. И когда синий рассвет начинал пробиваться сквозь замерзшие стекла, я слышал через стенку домика стук птичьих носов по дну кормушки.

Я вылезал из-под одеял, дрожал, закуривал и топил печки. И когда с оконных стекол сползал лед, садился к столу. Все тот же лист торчал из машинки, и отчаянье захлестывало душу. Работа не шла, а тут еще надвигался очередной период безденежья.

«Мы все торопимся,— думал я.— Зачем? Правильно ли торопить время? Мы живем один раз, и надо помнить об этом. Разве успеешь понять себя, если все время торопишься? Размышления предполагают спокойствие. Надо тихо читать тихие и мудрые книги. Надо впитывать знания, быть может, тогда что-нибудь прояснится».

Я бросал машинку и брал «Жизнь в лесу» Генри Торо. И сразу он начинал меня злить. И я ловил себя на черной

зависти к знаменитым людям. Предположим: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре» — это мудро, коротко, блистательно и вроде бы неопровержимо. Но неопровержимо только для среднего, обыкновенного человека. А сам Генри Торо мог сказать: «Стоит, черт возьми, ехать вокруг света, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре!» И опять это будет мудро, коротко, блистательно, бессмертно. Почему? Потому что это говорит известный человек. В его высказываниях так много мудрости, что она не просыплется и не прольется, даже если ее перевернуть вверх ногами. Или вот поговорка: «за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». А если сказать: «за тремя зайцами погонишься — одного поймаешь» — попробуй опровергни такую пословицу, если она занесена в сборник как народная мудрость! Но если придумал ее я, то она равным счетом никакой ценности не имеет.

За окном начинался солнечный зимний деревенский день. Чистота небес и легкость инея на ветвях елей. И многоцветье зимних лиственных перелесков.

Все цвета радуги хранит в себе зимний лес, только все они чрезвычайно нежны — и слабая зелень ольховых стволов, и прозрачная малиновость кустов, и желтизна тополей, и припудренная снегом коричневость дубов.

Летом листва буйством своих красок затмевает красоту древесных стволов. И потом стволы деревьев плохо освещены летом. А зимой снег отражает лучи света, и они снизу до самого верха высвечивают деревья. Удивительно многоцветны и нежны русские леса зимой, если к ним присмотреться.

И когда сидение за столом доводило меня до головной боли, когда пустота в душе делалась уже нестерпимой, я уходил на лыжах в лес.

Но беда в том, что моряки редко бывают чемпионами мира по слалому. Это теперь появились водяные лыжи. Когда я переживал спортивный возраст, на такие забавы не было бензина. И нормы ГТО по лыжам мы сдавали на городском кладбище, покуривая в сугробах между могил, и отсчитывали вслух время, потому что боялись прибыть на финиш раньше Джима Черная Пуля и удивить старшину-физрука. И он и мы знали, что честно про-

бежать дистанцию может только Гешка по прозвищу Конспект.

Потому я и теперь плохо хожу на лыжах и падаю на могильных холмиках. А падать и бояться горок противно, даже если никто тебя не видит.

После каждого падения я ругался и понимал, что с эпопеей дело швах.

Если принять определение творчества как стремление к истине, то вдохновение, на мой взгляд, это восторг и восторженная тревога от предчувствия своей близости к истине. И вот этой близости во мне не было и в пошине.

Мои чудесные хозяйки знали, что я не притворяюсь, что я в тяжких мучениях. И они жарили на ужин великолепные котлеты, и читали прекрасные стихи, и даже приносили иногда промерзшую, в курчавых от инея бутылках, водку. И мы пили эту водку вечером, и нам становилось хорошо. Электричество гасло часов в десять, мы сидели при свечах и топили печки. Домик нагревался, чудесно было. Водка принимала на себя груз моей запутанности и тоски. И я уже верил, что утром работа пойдет. Наверное, совсем не следует пить водку, если у человека не получается писание...

Я прожил на Псковщине больше месяца, когда получил письмо от капитана дальнего плавания Клименченко. Он предлагал работу на перегоне.

Я почувствовал его добрый большой плавник на своем плавнике, но не испытал оживления. «Хватит перегонив! — сказал я себе, как некогда сказал один мой герой. — Я уже стар для них. Хватит считать матросские кальсоны, и проверять свистки у спасательных жилетов, и писать бесконечные ведомости и акты. Если я пойду еще в море, то только в хороший, интересный рейс. И только на человеческом, настоящем судне, а не на речном корабле в Арктику. Хватит Севера. Он уже стоит поперек глотки. И у меня пошаливает сердце. И давно пора для общего развития навестить какие-нибудь жаркие страны, а не остров Вайгач и остров Диксон. И потом, перегон ничем не поможет мне в писании, потому что я уже писал о перегонах, и еще двадцать человек писали, и это уже смертельно надоело всем на свете».

Но я был руган по жатию доброго плавника.

— Лис! — сказали мне мои хозяйки. Они так называли меня за хитрую физиономию.— Киса! — сказали они, чтобы все это звучало веселее.— Брось, не уезжай! Уже скоро будет весна, и мы сделаем тебе салат из одуванчиков! Брось, Лис!

— Я суровый морской кот, а не киса,— сказал я.— И женщины не могут удержать меня возле своих юбок.

— Мы будем ходить в брюках! А ты простудишься в Ледовитом океане, и твоя мама умрет с горя, Лис! Хочешь чаю?

— Нет, не хочу.

— А пива хочешь?

Им было скучновато жить среди снежных полей и промерзших лесов уже много лет. И работа зимой у них была скучнее и тяжелее, и гостей приезжало зимой меньше.

— У, Лис... путешественник! — сказали мои хозяйки.— Весной у нас всегда можно достать парного молока. Хочешь парного молока, Лис? — издевались они надо мной.

— Что вы знаете о море? — спросил я у них.

И рассказал несколько жутких историй об авариях, штормах и гибели судов от прямого попадания метеоритов. Я рассказывал на чистокровном морском жаргоне. Ох, сколько есть на море и всякой прозы, и скуки, и бумаги, и тоски. Но почему-то забываешь об этом на берегу. И, рассказывая, я уже понял, что пойду на перегон опять. Я решил, что если начну работать естественную человеческую работу, и нести ответственность за людей, и получать за это каждый месяц деньги, то, может быть, совесть моя облегчится, я потихоньку втянусь в судовые заботы, отдохну от литературы, отойду от нее вдаль.

МОСТЫ И РЕЧКИ

Темной июльской ночью мы снялись со швартовых от набережной Лейтенанта Шмидта, дали ход, включили ходовые огни и выключили стояночные. Наши якоря были готовы к немедленной отдаче, потому что впереди нас ждали мосты.

Мосты для сухопутных людей простая, как тарелка, вещь. А для судоводителя Кировский, например, мост — чрезвычайно коварная штука. Если идти в разводной пролет, течение кидает судно в разные стороны два раза.

И береговой бык этого моста обшит здоровенными, лохматыми от ударов бортов, бревнами.

Мы не пошли в разводной пролет Кировского моста; мы, нарушая правила, устремились в центральный. И хотя предварительно был убран с рубки прожектор, срублены обе мачты и шлюпбалка рабочей шлюпки, было страшно идти полным ходом в стремительно приближающуюся низкую дыру пролета. Я стоял на крыше рубки, подняв над головой руку, и пытался определить на глаз — проскальзываем мы или нет. Это было довольно бессмысленное занятие. Идти надо было только полным ходом, иначе течение могло сыграть злую шутку. И предупреждающий крик ничего не мог значить.

Я невольно присел, когда черная тень моста накрыла судно. Пальцы коснулись несколько раз шершавого металла, гулко ухнули о быки поднятые судном волны — и мост остался позади.

Было два часа ночи. Со всех сторон двигались красные, зеленые и белые огни других судов. Разводка длится меньше часа. И все стремятся обогнать друг друга.

Ленинград летел по обоим бортам. Наш СТ тупым носом давил Неву, пересиливая ее течение. И уже двигались ажурные конструкции Охтинского моста.

Как странно ощущаешь родной город, когда идешь вверх по Неве в глухой ночи. Я первый раз шел так не пассажиром; стоял на крыше рубки, обвеваемый теплым летним ветром. И мне казалось, что этот ветер дует из прошлых веков.

Знаете состояние человека, который после обеденного компота все не может разгрызть абрикосовую косточку? Она вертится у него во рту, отвлекая внимание. А человеку надо делать серьезную работу. И вот он не может почему-то расстаться с косточкой, выплюнуть ее. Хотя и понимает, что главное сейчас — забыть о ней и заняться делом. Мне надо было помогать капитану, а в голове вертелись остатки школьных знаний по истории.

Мы проходили Большой Охтинский мост в неразводной левобережной части. Именно здесь была шведская крепость Ниеншанц. Вот здесь, где стоят теперь дежурные ночные трамваи, дожидаясь, когда мы пройдем мосты. А справа, где виден на набережной зеленый огонек такси, был шведский порт Сабина. Петр его разрушил и на его месте построил Смоляной двор. Теперь здесь

Смольный, а раньше хранилась смола для всего Балтийского флота.

На траверзе Александро-Невской лавры мы разошлись с буксиром, который тащил две огромные баржи.

Там, где сейчас построен новый мост, по нашему правому борту, на топком берегу, среди хилых осин и кустов ивы Александр Невский дрался со шведами шестьсот лет назад. И трупы павших приняла вот эта, городская теперь, асфальтовая земля.

— Виктор Викторович,— сказал мне капитан Володя Малышев. При исполнении служебных обязанностей мы обращались друг к другу по имени-отчеству и на «вы». — Скоро подойдем к нефтебазе.

— Есть,— сказал я и выплюнул абрикосовую косточку, то есть занялся своим прямым делом: приказал дать воду в пожарную магистраль.

На траверзе Усть-Ижоры косточка опять попала мне в рот. Я вспомнил, что здесь удалой Гаврила Олексич с таким пылом преследовал мерзавца Биргера, что захватил к шведскому витязю на корабль верхом на своем боевом коне. Тут шведы сбросили Гаврилу в Неву, но он невредимым выплыл вместе с конем и сразу зарубил шведского воеводу Спиридона; Ладога и Новгород были спасены.

Такого количества шведов, как на берегах Невы, не было даже у Колдуэлла в рассказе «Полным-полно шведов». И подумать только, что теперь это самый миролюбивый и нейтральный народ! А сколько нервов они испортили новгородцам!

В Петрокрепости мы заночевали. Здесь я запомнил только два интересных момента. Один — когда какой-то подозрительный старик-провокактор спросил у меня:

— Почему, сынок, Петр Великий только на двести лет дома строил?

— Чего? — переспросил я.

— То, что он построил, до сих пор целехонько стоит, а что в прошлом годе сгροхали, то сегодня уже облупляться начинает! — с укором сказал мне старик-провокактор и ушел.

Действительно, петровские шлюзы и доки еще прилично выглядят. Построены они из гранита. А сам городок производит впечатление заштатное.

Второй интересный момент — уничтожение девиации по речному способу. Девиация — это довольно подлый угол между магнитным меридианом и осью компасной стрелки на судне. Именно этот угол привел детей капитана Гранта в пиковое положение. У нас не было Айртонна, но угол получался слишком большим, и его следовало уменьшить и определить. На море мне много раз приходилось этим заниматься, но такой способ уничтожения, как ныне в Петрокрепости, бывшем Шлиссельбурге, древнем Орешке, шведском Нотебурге, когда-то в просторечии Шлюшине, я узнал впервые.

Мы привязали нашу самоходку двумя стальными швартовыми к палу (в просторечии — столбу), а девиатор командовал: «Выводи на тот куст! Чуть левее! Так держи!» Мы подрабатывали машинами и держали нос на куст. Девиатор делал свое дело быстро и точно: мы вертелись вокруг пала не больше получаса. После чего капитан угостил девиатора водкой, а я повесил над столом в ходовой рубке аккуратные таблицы девиации.

Ведя судно по штилевому и ласковому летнему Ладожскому озеру, я пересекал путь, по которому ехал на полуторке ранней весной сорок второго года. Полуторка шла по льду, знаменитой Дорогой Жизни. Поверх льда уже стояла вода, она плескала среди снежных, высоких обочин трассы. И холодный туман витал над трассой. И немцы стреляли по нам из минометов. И все, кто был в кузове, объединили свои одеяла и накрылись с головами, чтобы не замерзнуть. А шоферская дверца была открыта, чтобы водитель успел выскочить, если машина провалится в майну.

Все это я помню неточно. И не знаю, где то́, что было, и где то́, что потом придумалось.

Я помню, что высунул голову из-под одеял и видел снеговые четырехугольные укрытия от ветра, в которых прятались регулировщики. Это было как во «Взятии снегового городка» Сурикова. И помню, как навстречу шли одна за другой машины, груженные мясными тушами и мешками с мукой. И как стреляли зенитки. И как ушло на дно Ладоги несколько автобусов с детишками-сиротами. Они ехали впереди нас и провалились в дыру, оставшуюся после взрыва снаряда или бомбы. И помню огром-

ные воздушные пузыри, которые поднимались из воды на том месте, где ушли под лед автобусы. И помню женщину, стоявшую на коленях, увязшую в ледяной грязи на выезде с Ладоги на берег. Она была мертва.

А потом нам выдали по эвакуодостоверениям жирную гречневую кашу. И начался понос. И началась дорога к станции Тихорецкой, но только станцию взяли немцы, пока мы ехали к ней. И тогда эшелон завернули на Фрунзе...

Теперь мы вели свой СТ к устью реки Свири через Ладогу, ласковую, летнюю Ладогу. И береговые мысы нежно дрожали от рефракции. Чернели лодки рыбаков, и на отмелях шелестела осока. И мы несколько раз прокачали питьевую цистерну и приняли питьевой воды из-за борта, потому что нет воды чище и вкуснее, нежели ладожская. А те детишки-сироты, которые когда-то утонули здесь, давно уже стали этой водой.

На подходах к Свири я определился по трем маякам — Свирскому, Сторожно и Торпакову.

Маяк Сторожно находится на каменном мысу; где-то здесь прежде существовал Николаевский мужской монастырь, основанный еще в шестнадцатом веке преподобным Киприаном. Этот Киприан был пират. До принятия иночества он содержал на Сторожном мысу разбойничий притон, известный грабежами судов на Ладожском озере. Основатель знаменитой Ондрусовой пустыни Адриан провел с пиратом Киприаном большую морально-воспитательную работу, в результате которой пират раскаялся, стал на путь истины, принял иночество и на месте разбойничьего притона устроил мужской монастырь.

Для современного исторического романиста такой сюжет — клад.

Обогнув Сторожный мыс, мы вошли в Свирь, и тишина лесной плавной реки зазвенела в наших ушах. На девятнадцатом километре Володя Малышев решил устраваться на ночевку. Мы отдали кормовой якорь и всунулись носом в поросший ольхой островок. Серо-зеленые кроны деревьев закачались над полубаком. И сразу из леса вышел небольшого роста человек и стал возле самой воды у нас под форштевнем. Как будто он знал, что мы завернем сюда ночевать, и ждал нас. Он стоял

и молчал все время, пока мы устанавливали сходню и заводили швартов на старый пенёк.

Солнце садилось, его лучи косо просвечивали прибрежный лес, зудили комары, и тихо-тихо взбулькивала возле бортов свирская волна. Мы находились в той таинственной стране, которая когда-то называлась Ингерманландия. Это название совершенно невыносимо для детских языков. А я и сейчас не могу его произнести.

Житель Ингерманландии глядел на нас с любопытством и радостью. Он был горбун, в рвани, которую носят пастухи, из распахнутого ворота грязной рубахи торчали седые волосы, а из-под мудрого лба глядели голубые детские глаза. Ему было под пятьдесят. Он сразу сел прямо на землю, когда я слез по крутой сходне с борта нашего СТ. Конечно, он давно привык к бесконечному цугу самоходок, плывущих взад-вперед по Свири, но какая из них останавливалась здесь, возле болотистого острова, вдали от деревень и пристаней? Это только мы имели возможность ночью стоять, а не плыть. Мы были моряками, плохо знали реки, и нам разрешалось не торопиться.

— Здравствуй, отец,— сказал я.

— Здравствуй,— отвечал он, сильно заикаясь.

И я, конечно, угостил его сигаретой «Яхта», и он, конечно долго ее рассматривал, прежде чем закурить.

— Скот пасешь? — спросил я. И в погоне за литературным материалом не пожалел своих штанов, сел рядом на болотистую землю.

— Ага.

— Ты один здесь?

— П-по весне месяц один ж-жил.

— И скучно было?

Он пожал плечами и от смущения снял картуз. Его голова была в стружьях, волосы росли клочьями.

— Это же остров,— сказал я.— Как сюда скот переправляют?

— На каюках.

— А что это такое?

— В-вам встречу за катером каюк шел.

— Молока здесь можно купить? — спросил я. Матросы жаловались на недостаточное питание.

— Н-не знаю.

— Как не знаешь?

— Н-не знаю... бригадира надо п-просить...

— А где бригадир?

— За т-той протокой! — махнул он рукой вверх по Свири.

— Как живете-то здесь?

— Хорошо, н-нормально... Сахара т-только нет.

В лесу замычала корова. Пастух встал, надел картуз, сказал:

— Быков б-берегитесь... Б-бодливые у нас быки! — и ушел к себе в Ингерманландию. Скучно ему стало от моих скучных вопросов.

Толстый старший механик, отбиваясь веткой ольхи от комаров, спустился на берег и сразу нашел дохлого лося. Дохлый лось лежал в круглой, укромной ямке. Стармех тыкал в лося веткой, шкура зверя отставала — он сдох давным-давно. Стармех мучился мыслью, что падаль нельзя употребить на мясо.

На другом берегу Свири дымил костерчик. Кто-то там варил уху.

По исчавканной коровьими копытами болотистой земле прыгали крохотные лягушонки.

И такая тишина, такая заброшенность, такой речной покой были вокруг, что, казалось, напряги слух — и услышишь, как молчат в лесах развалины монастырей и почивают в потайных пещерах святые мощи.

Дизель-динамо для экономии было вырублено. В каюте коптила керосиновая лампа. И запах горелого керосина еще больше обострял ощущение прошлой жизни этой тихой земли.

Странно, что именно здесь, на Свири, в Лодейном Поле, был построен шлюп «Мирный» — корабль самого дальнего русского плавания. С борта «Мирного» Михаил Лазарев увидел берега Антарктиды, натянув тем самым нос Куку.

Строил шлюп корабельный мастер Колодкин. Длинной шлюп был в два раза короче нашей самоходки. Лазарев обошел на нем вокруг света в компании и под началом Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. Их не испугали мрачные слова Кука: «Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках Южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы...»

Пятнадцатого января 1820 года шлюп, построенный на берегах тихой Свирь, вышел к берегам Антарктиды. И Беллинсгаузен назвал один из открытых им островов именем Кука.

Крузенштерн мог гордиться своим учеником.

На месте Лазарева я бы назвал какой-нибудь остров и по имени корабельного мастера Колодкина.

«Почти для каждого человека корабль больше, чем какое-либо другое созданное им орудие,— это некое выражение далекого образа. Корабль — это воплощение мечты, и мечта эта настолько захватывает человека, что ни одну вещь на свете он не создает с такой чистотой помыслов... От чувств, которые он вкладывает в свой труд, зависит крепость шпангоутов, прочность киля и правильность выбора и крепления обшивки. В построение корабля человек вкладывает лучшее, что в нем есть,— множество бессознательных воспоминаний о труде своих предков... Корабль — вещь, не имеющая себе подобия в природе, кроме разве сухого листка, упавшего в поток».

Эти слова написал Стейнбек.

В Вознесенье мы получили приказ идти не на Повенец, а на Петрозаводск. Бывает плохо, когда начальство доверяет чересчур. Начальство доверяло Володе Малышеву. И он этого вполне заслуживал, потому что был из лучших капитанов, хотя и самым молодым.

Именно из-за этого нам и приказали идти на Петрозаводск и принимать там груз.

Груз оказался железом — частями старых речных, колесных пароходов.

Остовы колесников, с обрезанными колесами, с заваренными наглухо иллюминаторами и дверями рубок, с заведенными брагами, покачивались в Петрозаводском порту, ожидая буксиров. Им также предстояло плавание через северные моря в сибирские реки. А колеса, валы, части кожухов должны были следовать в наших трюмах. Начались погрузка и раскрепление громоздких, многотонных махин — сложная и грязная работа. Мы занимались ею девять дней.

До сих пор не знаю, была мудрость в том, чтобы везти ржавое железо за тридевять морей, или нет. Неужели в Омске нельзя сделать кожух для колеса колесного парохода? Но нас не спрашивали. Нам нужно было

так разместить груз и так его раскрепить, чтобы не потонуть где-нибудь в Баренцевом или Карском море.

Дорога от Петрозаводска была мне уже знакома — еще в пятьдесят пятом я проделал ее на маленьком рыболовном сейнере.

Беломоро-Балтийский канал одно из самых тоскливых мест на земле.

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

В Двине предстояло ждать, пока с Дуная подойдет остальные суда перегонного каравана. Стоянка была бездеятельная, монотонная. Я коротал время, читая старинную книгу «Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов Русскаго флота» и пытаюсь скомпилировать рассказ из выражений и фраз старорусской морской речи.

Кажется, за всю стоянку я только единожды без служебной надобности съездил на берег. На берегу купил бутылку вина, с десятков газет и журналов и расположился впитывать новейшую информацию в сквере недалеко от улицы Павлина Виноградова.

В сквере ремонтировали дорожки, и скамейки были сложены в кучу. Оставалась одна — в запущенном, глухом уголке.

Листва кленов уже желтела, а тополя и липы были зеленые, но тусклые от городской пыли. Кусты шиповника окружали скамейку. В кустах стояла похожая на скворечник сторожка. К ее стене прислонились лопаты и ломы. С улицы приглушенно доносился лязг трамваев и гудки машин. Никого в сквере не было, и я спокойно попивал винцо и читал газеты, сидя на единственной скамейке, а по дорожке прыгали воробьи.

Впереди ожидал меня еще целый свободный вечер, поход в ресторанчик с друзьями, посещение почтамта, какие-нибудь, как всегда надеешься, хорошие письма. Потом мы должны были отправляться в Арктику.

Газетная бумага то светлела, то бледнела, потому что по небу все бежали частые облака, очень белые сверху, но темные, дождевые снизу. Скоро по листьям ударили первые капли. И я залез в сторожку. Там пахло сухим деревом и было приятно читать под шум дождя, еще не холодного, еще летнего дождя. Я и не заметил, как дождь прошел, когда услышал мужской голос:

— Он укусил астру! Вы видите: он кусает красную астру! Берегитесь его, бродяги!

На моей скамейке сидел мужчина средних лет и разговаривал с воробьями. Я хорошо видел его в маленькое окошечко сторожки.

— Большущий кот! — сказал мужчина воробьям. — Он кусает астры только так, для вида, а сам подбирается к вам!

Стайка воробьев, не обращая внимания на предостережение, прыгала по мокрой дорожке сквера. Самые беспечные плескались в большой луже у куста чернотала.

Белый с рыжими пятнами кот метнулся на дорожку сквозь жухлые листья куста.

Шурхнув крыльями, разметались кто куда воробьи и сразу принялись звонкими голосами ругать кота.

Кот попал в лужу и досадливо сморщился.

— Они провели тебя вокруг пальца, — сказал мужчина коту и покрутил на указательном пальце крышку спичечного коробка. — Они натянули тебе, сорванцу, нос...

Кот дрыгнул лапой и, вихляя узким задом, скользнул обратно в высокую, мокрую траву газона.

Мужчина заглянул в нагрудный карман своего пиджака и вытащил из него папиросу. Очевидно, это была последняя папироса. Мужчина вывернул карман, вытряхнул из него табачные крошки и трамвайные билеты. Потом закурил.

Мне тоже хотелось курить, но я почему-то боялся обнаружить себя. Мне казалось, что это будет неприятно ему. Я видел его худощавое лицо, волосы, налипшие на лоб. Складка на брюках совсем пропала от влаги, парусиновые туфли были в песке.

Я люблю отгадывать профессию человека по его виду, но здесь мне все никак не удавалось подобрать дело, которым он занимался в жизни. У него были широкие плечи и большие руки.

Листва от дождя зазеленела весело. Облачка просветлели и торопились куда-то к морю. По одному, робко упали на дорожку давешние воробьи. Но еще качались покинутые ими веточки, когда заскрипел под чьими-то ногами мокрый гравий, и вся компания опять вспорхнула.

Шла женщина.

Когда она поравнялась со скамейкой, мужчина сказал:

— Там дальше тупик. Дальше некуда идти.

Но женщина сделала еще несколько шагов, выискивая что-то взглядом. Ей было лет двадцать пять. Обыкновенная молодая женщина в легком плаще.

— Садитесь,— мужчина показал ей место рядом с собой.— Эта скамейка последняя осталась.

Женщина поколебалась.

— Я не ем человек,— сказал мужчина.— А если очень мешаю вам, то уйду.

Женщина села. Она ничего была в профиль, лучше, чем в фас.

— Нет, вы мне не мешаете,— сказала она, достала из сумки книгу и положила ее на колени.

— Этот белый сорванец опять спрятался за куст,— сказал мужчина и кивнул на белого кота. Он сказал это так, как будто он был давно знаком с этой женщиной, а она знала все, что давеча произошло с воробьями и котом на этой дорожке.

Женщина удивилась, быстро глянула на соседа, сразу же отвернулась и натянула на кисти рукава жакета. Ей было, наверное, прохладно.

Мужчина стал скручивать папироску, но неудачно — кончик отвалился, за ним просыпался и весь табак.

— Ничего не поделаешь,— вздохнул мужчина и дунул в папиросный мундштук.— Черт! — добавил он после паузы.— Когда-то в детстве я умел делать из таких пустых гильз свистульки. Все забывается. С годами.

Женщина отодвинулась на край скамейки и раскрыла книгу. Мужчина замолчал и долго смотрел, как вываливаются из-за вершин деревьев легкие облачка. Женщина несколько раз неприметно отрывалась от книги и рассматривала соседа.

— Если залезть в траву, вот как этот кот, то оттуда все будет казаться совсем зеленым, правда? — вдруг спросил мужчина. Он по-прежнему разговаривал с незнакомкой так, будто давным-давно знал ее.

Женщина пожала плечами и хотела отодвинуться еще дальше, но было уже некуда.

Мужчина заметил это и смущенно махнул рукой.

— Честное слово, я не хотел вам... помешать, что ли... Просто так славно все здесь после дождя...

Женщина перевернула страницу.

Ветер качнул вершины кленов. Они зашелестели. Ветер спустился ниже, зарябил по лужам, и сразу громче раскричались в сквере воробьи.

Мужчина смотрел на свою соседку и водил по губам пустой папиросной гильзой.

Она обернулась.

— У вас пуговица едва держится на обшлаге,— тихо сказал он.— На правом... Вы можете ее потерять.

Женщина решительно выпрямилась и захлопнула книгу.

— Какое вам дело до моей пуговицы, гражданин?— спросила она.

Есть люди, которым не везет с рождения во всем и до самой смерти.

Идет такой человек поздней ночью пешком через весь город, потому что на одну секундочку опоздал к последнему автобусу. Именно на одну секундочку. А опоздал, потому что забыл в гостях спички и было вернулся за ними, но посовестился опять тревожить, а тем временем автобус...

Денег на такси у таких людей никогда не бывает, но ленивые наши, высокомерные ночные таксисты обязательно сами притормаживают возле безденежного неудачника и спрашивают: «Корешок, тебе не на Охту?» А ему именно на Охту, но он отвечает: «Нет, на Петроградскую». — «Ну ладно,— говорит шофер.— Садись, подвезу». — «Спасибо, я прогуляться хочу», — бормочет неудачник. «В такой дождь? Да ты в уме?!»

И вот бредет неудачник совсем один по ночным улицам под дождем и все хочет понять, в чем корень его невезучести, и все сильнее хочет курить, но спичек-то у него нет. И вот он ждет встречного прохожего, чтобы спросить огонька. Наконец встречный появляется. Издали виден огонек сигареты. Неудачник достает папиросу, раскручивает ее и уже предвкушает дымок в глотке. И вдруг видит, как прохожий отшвыривает сигарету прямо в лужу. «Ничего,— думает неудачник.— У него спички есть». Но в том-то и дело, что спичек у прохожего не оказывается. Вообще-то он достает коробок, долго вытаскивает опичку за спичкой, но все, до самой последней, они оказываются обгорелыми. А дождь идет все сильнее. И кончается тем, что прохожий вдруг орет: «Черт! Промок из-за тебя, как... как... На́ коробок и иди...» И неудачник машинально берет пустой коробок и идет к...

Если вы думаете, что настоящие неудачники бывают

только на суше в виде пожилых бухгалтеров, или рассеянных студентов гуманитарных вузов, или одиноких врачей по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике — моряке Мише Кобылкине.

Кличка у Миши, когда мы с ним учились в военноморском училище, была, естественно, лошадиная — Альфонс Кобылкин. Был он длинный и костлявый, как Холстометр в старости.

На примере Альфонса вы увидите, что невезение подстерегает людей не только на дороге к их личному, собственному счастью и успеху. Нет. Альфонсу не везло как раз на стезе его стремления принести пользу обществу, пострадать даже за общество, попасть, так сказать, на крест во имя спасения других. Именно путь на Голгофу ему никак не удавалось свершить. Каждый бросок Альфонса на помощь человечеству заканчивался конфузом.

Отец Альфонса в войну был генералом. Только поэтому Альфонсу удалось в возрасте неполных шестнадцати лет попасть в полковую школу, откуда вскорости открывался путь на фронт. А именно туда Альфонс стремился. Он мечтал задать фашистам перцу собственноручно.

Но на первом же занятии в поле, когда новобранцы учились швырять учебные гранаты, такой учебной деревяшкой с железным набалдашником Альфонсу врезали по затылку. Очевидно, паренек, который метнул гранату в Альфонса, был не хилого сложения, потому что Альфонс выписался из госпиталя только через год.

Он получил нашивку за ранение, приобрел повадки бывалого солдата и отправился на фронт, хотя с чистой совестью уже мог возвращаться домой. Путь на Голгофу пролегал через Бузулук, где Альфонс опять угодил в госпиталь — с брюшным тифом. Характер у него начинал портиться, потому что война шла к концу. Именно этого не учел медицинский майор — председатель комиссии в госпитале.

Дело в том, что Альфонсу совершенно не доставляло удовольствия рассказывать обстоятельства своего ранения элементарной учебной болванкой. А майор оказался мужчиной с юмором и потому стал сомневаться в том, что после такого ранения возможно проволынить в госпиталях целый год. Здесь майор еще добавил, что все объясняется проще, если отец у Альфонса — генерал. Альфонс поклялся майору в том, что докажет ему на

опыте истину, и спросил, что тяжелее — учебная граната или графин? Майор сказал, что от графина пахнет штрафбатом. Но это только воодушевило Альфонса.

Он взял графин, метнул его по всем правилам ближнего боя в лысину медицинского майора и угодил в штрафбат. И был искренне рад, потому что не сомневался в том, что болтаться в тылу ему теперь осталось чрезвычайно недолго. Но не тут-то было! На второй день штрафбатной жизни какой-то уголовник ради интереса спихнул Альфонса с трехъярусных нар.

День Победы он встретил с ногой, задранной к потолку, в гипсе, исписанном разными нецензурными словами, с привязанной к пятке гирей.

А где-то в сорок шестом он появился у нас в училище с медалью «За победу над Германией» на груди и потряс всех своим умением засыпать совершенно беспробудно. Вероятно, длительное пребывание в госпиталях выработало у него такую привычку. В госпиталях он еще здорово научился врать. Все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но надо сказать, что стремление Альфонса взвалить на себя крест и помочь прогрессивному человечеству не угасло. И надо еще здесь сказать, что от настоящего, стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих.

Наш Альфонс был стопроцентным.

На первых же шлюпочных учениях шлюпка, в которой был он, перевернулась, и все наше отделение оказалось в Фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод: все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картофель в овощехранилище. Потом флюиды опутали роту. Маршируя на обед, мы все — вся рота — дружно упали со второго этажа на первый. Дело в том, что училище размещалось в старинном здании бывшего приюта принца Ольденбургского. За время блокады в здание попало около двадцати бомб и снарядов. И когда мы «дали ножку», торопясь на кормежку, перекрытие не выдержало и рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Разумеется, последним выписался из госпиталя наш Альфонс.

Он уже ничему не удивлялся. Он все время уверял нас в том, что готов страдать в одиночку. И он на самом

деле был готов к этому, но только у него это не получалось.

Никогда не забуду его конфликта с Рыбой Анисимовым. Анисимов, огромного роста детина, матрос с гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий», глубоко презирающий всех нас — салажню и креветок, как он любил выражаться, в клешах метровой парусности, с лейточками ниже пояса, всегда сам делил за обедом кашу. Бачок полагался на шесть человек. Половину бачка Рыба вываливал себе, остальное получали мы. И молчали в тряпочку, хотя было обидно.

И вот Альфонс решил в очередной раз взойти на Голгофу за интересы общества.

— Рыба,— сказал Альфонс.— Сегодня делить кашу буду я. Дай половник.

Рыба чрезвычайно удивился. Большим количеством извилин он не обладал, поэтому думал целую минуту, пока не спросил с угрозой:

— Альфонс, тебе каши не хватает, что ли?

— И не только мне, Рыба,— сказал Альфонс.

— Кушай,— сказал Рыба и надел бачок с пшенной кашей на голову Альфонса. Альфонс сел. Рыба еще постучал по дну кастрюли половником, и снять кастрюлю с головы Альфонса сразу не удалось, она налезла, как говорят артиллеристы, «с натягом». Дело закончилось медпунктом. А мы, мы... опять пострадали вместе с Альфонсом. Ибо решили отомстить за него и устроили Рыбе «темную». Но Рыба был крепкий мужик, и всем нам досталось больше, чем ему одному, не говоря о том, что на шум прибежал дежурный офицер и мы еще схватили по пять нарядов вне очереди.

Короче говоря, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки, по кортику, по байковому одеялу, по две простыни, когда мы перепились на выпускном вечере, поплакали на груди у самых нелюбимых наших начальников, сообщили им сквозь рыдания, что никогда, никогда не забудем светлых лет, проведенных под их мудрым и чутким руководством, и когда наконец поезда загудели, развозя нас к далеким морям, мы вздохнули с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны были встретиться с Альфонсом.

Мы встретились через несколько лет, в годовщину окончания училища, в Ленинграде возле «Восточного» ресторана.

Мы — это старший лейтенант Николай Боков (по училищной кличке Бок), старший лейтенант Владимир Слонов (по кличке Хобот), капитан-лейтенант Анатолий Алов (по кличке Пашка), я (по кличке Рыжий) и младший лейтенант Альфонс Кобылкин.

Как вы заметили, десятилетие изменило количество звезд на погонах нашего невезучего друга в сторону уменьшения.

Все мы несколько огрузли, задубели, но от радости встречи оживились, решили пошалить, встряхнуться. Заказав по сто граммов, повели обычный разговор однокашников. Посыпались номера войсковых частей, названия кораблей, фамилии командиров, рассказы о походах, авариях, сетования на то, что флот теперь не тот, порядки не те, традиции не те, офицеры не те, матросы не те, море не то и даже дельфины куда-то пропали. Одному дрянному шпиону достаточно было посидеть за соседним столиком десять минут, чтобы завалить Пентагон материалом до самой крыши.

Только Альфонс молчал. Наверное, ему было как-то неудобно сидеть и пить со старшими по званию. А когда человек молчит, не рассказывает о том, как провел свой корабль через Центральную Африку, то такого человека и не замечаешь. И мы как-то позабыли Альфонса. Не хотелось нам расстраиваться, выслушивая рассказ о его очередных неприятностях. Но в конце концов совесть заговорила в нас, мы сосредоточились на двух одиноких звездочках Альфонса, и Хобот спросил:

— Чего не ешь, лошадь? Надо закусывать.

— Пейте, ребята, не обращайтесь внимания, — сказал Альфонс бодрым голосом. — А я скоро уйду. Если вы проведете со мной еще полчаса, то или попадете на гауптвахту, или здесь обвалится потолок.

— Не говори глупостей, — сказал Пашка и подозвал официанта. — Еще пятьсот капель, папаша!

— Валяй нам все, как на исповеди, младший лейтенант Кобылкин! — сказал я.

— Да чепуха... Так, знаете... Короче, таракан. Обыкновенный таракан. С усиками, рыжий... Пейте, ребята, не обращайтесь внимания.

Но мы оставили рюмки.

— Я уже старлеем был и... вот... Стреляли по береговым целям главным калибром... Сам сидел за башенным автоматом стрельбы... дал залп по сигналу... накрыл

близким перелетом своего флагмана... Понизили в звании... теперь на берегу служу,— скупое, но точно доложил Альфонс.

— Прямое попадание в своего флагмана? Это же надо уметь! — сказал я.

— Недаром же Альфонс учился четыре года вместе с нами,— сказал Хобот.

Мы старались чуткими шутками смягчить тяжелые воспоминания Альфонса.

— В сигнальное устройство горизонтальной наводки попал таракан, замкнул контакты, и сигнальная лампочка загорелась, когда орудия смотрели не на цель, а на флагмана. Вот и все, ребята. Как таракан заполз в plombированный блок сигнализации, не знает никто, но кто-то должен отвечать... вот и... Я-то, как вы знаете, ничему не удивляюсь, а флагман удивился,— объяснил Альфонс.

— Обычное дело,— сказал Пашка.— Все флагманы почему-то удивляются, когда по ним всаживают из главного калибра свои собственные эскадренные миноносцы. Выпьем, ребята.

— Ударим в бумеранг! — сказал Бок. И все мы улыбнулись, вспомнив училищные времена. Именно это выражение означало когда-то для нас выпивку.

— Сейчас я уйду,— сказал Альфонс.— А то у вас будут какие-нибудь неприятности.

— Перестань говорить глупости,— сказали мы в один голос.

Единственным способом задержать его было попросить о чем-нибудь — подняться опять же на Голгофу за нас.

Через столик сидела прекрасная женщина со старым и толстым генерал-майором медицинской службы. Всегда, когда видишь молодую женщину с пожилым толстым мужчиной, становится обидно. И сразу замечаешь, как некрасиво он ест, как коротки его пальцы и как жадно он смотрит на денежную мелочь, хотя ест он нормально, пальцы у него не короче ваших, а смотрит, он, естественно, не на мелочь.

От женщины, сидевшей с генералом, пахло духами и туманами. Уверен, что в сумочке ее лежал томик Блока и на ночь она перечитывала стихи о Прекрасной Даме.

— Альфонс,— тихо и несколько скорбно сказал Пашка,— сейчас ты встанешь, подойдешь к их столику, ска-

жешь этой старой клистирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам.

— Да,— согласился Бок.— Тебе, Альфонс, терять нечего. А дама — прекрасное существо.

— Девочка — прелесть,— чмокнул губами Хобот.

Вы заметили, как перепутались в наш век женские наименования? Пятидесятилетнюю продавщицу в мясной лавке все называют «девушка», хотя у нее пятеро детей. А однажды я сам слышал, как пожилые дорожные работницы, собираясь на обед, говорили: «Пошли, девочки!» «Дамочкой» у нас принято назвать этакое накрашенное, легкомысленное существо в шляпке с пером. Но опять же я сам слышал, как кондуктор, выпроваживая из трамвая крестьянок с мешками картошки, орал: «Следуйте пешком, дамочки, потому что у вас груз — пачкуля!» Мне самому сейчас уже вполне порядочно, но каждый дворник или швейцар, запрещая что-нибудь, обязательно говорит: «Топай, топай, парень!» И даже фетровая шляпа не помогает.

— Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья,— сказал Альфонс.— Только очень уж я не умею с женщинами. Вам ее телефон узнать?

Вы оцените самоотверженность этого человека, если узнаете, что еще ни одна женщина не спрашивала у него, любит ли он ее, и если любит, то насколько, и как, и каким именно образом, и любил ли он кого-нибудь до нее так, как ее. Ни одна женщина еще не отбирала у него получку и не гнала в баню четыре раза в месяц.

Ведь женщинам нужна в мужчине уверенность в себе, я бы даже сказал, нахальство. А откуда у хронического неудачника может быть уверенность в себе? Наоборот. Совершенно никакой уверенности у него нет.

Прибавьте ко всему этому еще волевою физиономию медицинского генерал-майора и одинокие малюсенькие звездочки на плечах Альфонса. И тогда вы поймете, какой самоотверженностью обладал наш друг.

— Брось,— сказал я.— Еще рано заваривать такую кашу...

Я, правда, знал, что если у человека всю жизнь идет от мелких неудач ко все более крупным, серьезным неудачам, то единственное здесь — перешибить судьбу чем-нибудь этаким отчаянным, грандиозным по нелепости поступком. Но дело в том, что здесь могут быть два исхода: один — судьба действительно переломится, второй —

судьба с огромной силой добавит неудачнику по за-
гровку.

— Подожди немножко, старая лошадь,— сказал я.—
Но не уходи совсем от нас. Ты нам сегодня еще можешь
здорово понадобиться.

— Как знаете, ребята, я для вас на все готов,— ска-
зал Альфонс.

Таким образом, мы удержали его с нами и повели
беседу дальше. Теперь, конечно, тема изменилась. Мы
заговорили о женщинах, то и дело испытывая взглядами
соседку. Соседка мило тупилась и с большой женствен-
ностью пригубливала сухое вино. С генералом ей было
явно скучно. И это воодушевляло нас.

Думали когда-нибудь о том, что такое женствен-
ность?

Женственность — это качество, которое находится не
внутри женщины, а как бы опускает, окружает ее и нахо-
дится, таким образом, только в вашем восприятии.

Вот на эту тему мы разговаривали, когда генерал
стал шарить по карманам, а его дама искать в сумочке
зеркальце.

— Ребята,— сказал Альфонс.— Я чувствую, что вам
очень хочется получить ее телефон. И я готов попро-
бовать.

Мы не успели его удержать.

Альфонс, заплетаясь ногами и сутулясь, двинулся к
соседнему столику.

Не знаю, как рассказать вам, что произошло, когда
его длинная фигура попала в поле зрения медицинского
генерала. Генерал подскочил вместе со стулом. Потом,
когда стул еще висел в воздухе, генерал соскочил с
него, задев бедром стол. Затылок генерала стал лило-
вым. Говорить он, судя по всему, ничего не мог. На
Альфонса тоже напал столбняк. Они пялили глаза друг
на друга и что-то пытались мычать.

— Папа! Папа! — воскликнула девушка.

Альфонс, пятась задом, вернулся к нам.

— Это он! Это уже за пределами реальности! Это
ему я запузырил графином по лысине в сорок четвертом!

Мы капнули Альфонсу коньяку, а девушка, от кото-
рой пахло туманами, тем же способом успокаивала сво-
его папу.

— Пора сниматься с якорей,— сказал Хобот.— Воз-
можны пять суток простого ареста.

— Чепуха, — сказал я. — Надо довести дело до конца. Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу! Пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное! Это единственный путь!

— Альфонс, хочешь попробовать? — спросил Пашка. Он был не трезвее меня.

— Да! — мрачно согласился Альфонс.

Он впал в то состояние, когда неудачник начинает получать мазохистское удовольствие от валящихся на него несчастий. В таком состоянии человек становится под сосулькой на весенней улице, задирает голову, снимает шапку и шепчет: «Ну, падай! Ну?! Ну, падай, падай!..» И когда сосулька наконец втыкается ему в темя, то он шепчет: «Так! Очень хорошо!»

— Иди и пригласи ее танцевать! — сказал Бок. Учтывая то, что оркестра в ресторане не было, он подал действительно полезный и тонкий совет.

И Альфонс встал. Сосулька должна была воткнуться в его темя, и никакие силы антигравитации не могли его защитить.

Он пошел к генералу.

Скажу честно, я так разволновался всего второй раз в жизни. Первый — когда в Беломорске у меня снимали часы, а я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком. Не знаю, успел ли Альфонс пригласить девушку на танец или нет, но только генерал с молодым проворством шмыгнул к двери и был таков. Альфонс же уселся на его место, налил себе из его графинчика и положил руку на плечо девушки, от которой пахло туманами.

Мы все решили, что наконец судьба нашего друга перешиблена и все теперь пойдет у него хорошо и гладко до самой смерти. Но мы ошиблись.

— Прошу расплатиться и всем следовать за мной, — предложил нам начальник офицерского патруля. За плечом начальника был генерал.

Мы не стали спорить. Спорить с милицией или патрулем могут только салаги. Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват, но больше не будет. При чем совершенно неважно, знает он, что именно он больше не будет, или не знает.

Мы сказали начальнику офицерского патруля, что сейчас выйдем, и без особой торопливости допили и доели все на столе до последней капли и косточки. Мы по-

нимали, что никто не подаст нам шашлык по-карски в ближайšie пять суток. Потом снялись с якорей. Предстояло маленькое, сугубо каботажное плавание от «Восточного» ресторана до гарнизонной гауптвахты — там рукой подать.

Я хорошо знаю это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус князь Итальянский граф Суворов-Рымникский, потом Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, потом в тысяча девятьсот пятидесятом году я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку...

И вот мы с Альфонсом встретились в Архангельске, когда я ожидал рейсового катера на пристани Краснoфлотского рейда. Вместе со мной встречала рейсовый одна веселенькая старушка. Старушка курила папиросы «Байкал» и с удовольствием рассказывала:

— Тонут, тонут, все тонут... Лето жаркое было, купались и тонули. Соседушка наш на прошлой неделе утонул. Всего пятнадцать минут под водой и пробыл, а не откачали. А позавчера сыночек Маруськи Шестопаловой, семь годочков всего, в воду полез, испугался и... так и не нашли до сей поры. Речкой его, верно, в море уволокло. Или, мобыть, землечерпалка там близко работала, так его ковшиком в баржу-грязнуху и перевалило... А третьего дня в Соломбале...

— Бабуся, остановись, — попросил я.

До катера оставалось еще минут пять, и я опасался, что одним утопленником за это время станет больше, что я тихонечно спихну эту веселенькую старушку с пристани.

— Не нравится? Бога бояться надо! — злобно сказала старушка. И на этом умолкла.

Когда катер швартовался, я увидел на нем знакомую сутулую фигуру. Это был Альфонс.

Я всегда смеялся над ним, но я всегда любил его. И он всегда знал, что я люблю его. Люди точно знают и чувствуют того, кто любит их. И Альфонс тоже, конечно, знал. Но сейчас он не заметил меня, спускаясь с катера по трапу. Он сразу подошел к веселой старушке и сказал ей:

— Мармелад дольками я не нашел, я вам, мамаша, обыкновенный мармелад купил.

— Так я и знала! — со злым торжеством сказала старуха.

— Альфонс! — позвал я.

Он обернулся, мы обнялись и поцеловались. Он здорово постарел за эти годы. Я тоже не помолодел.

И мы куда-то пошли с ним от пристани.

— Ты где? — конечно, спросил он.

— На перегоне, — сказал я. — На Салехард самоходку веду.

— У Наянова? У перегонщиков?

— Да. А ты где?

— Здесь, в портфлоте на буксире плаваю. Меня, как сокращение вооруженных сил началось, так первого и турнули.

— Слушай, — сказал я. — Ведь у тебя отец генерал большой. Неужели ты...

— Батяка уже маршал, — сказал Альфонс. — Только он с мамой разошелся, и я с ним после того совершенно прервал отношения. Я, знаешь, Рыжий, женился недавно. Старушка эта — моя теща, жены моей мама.

— А кто жена-то? — спросил я.

— Вдова она была, — объяснил Альфонс. — Она, правда, постарше меня, и детишек у нее трое, но очень добрая женщина. Ее муж в море потонул, на гидрографическом судне он плавал... А помнишь, как мы тогда на «губу» попали? Из-за медицинского майора?

— Еще бы! — сказал я. — Только не из-за майора, а генерал-майора. И теща с вами живет?

— Ну, а кто же за ней смотреть будет? — удивился Альфонс. — Конечно, иногда трудно, но...

И я подумал о том, что Альфонс умудрился взойти на Голгофу.

Дай все-таки господь, чтобы такие неудачники жили на этой планете всегда, иначе вдовам с детишками придется совсем туго.

ПОПЛЫЛИ

1

Девятнадцатого августа 1964 года в 08 часов 10 минут я записал в судовой журнал «Получено разрешение капитана-наставника Ю. Д. Клименченко следовать на

городской рейд для получения продуктов». Я сам просил его дать это разрешение. Но на борту не было капитана, и в последний момент я сдрейфил плыть в город. Я знал, что там надо будет соваться носом в грунт, а я не люблю делать такой маневр, не привык к нему.

И в то же время я знал, что через несколько часов нас должны отправить в рейс. Начальство уже приняло такое решение. Архангельск по всяким разным причинам больше не мог терпеть наш караван.

Но корешки для супа, масло и совершенно необходимая для Зои Степановны сметана еще не были получены. И Зоя Степановна, сдвинув очки на лоб и тиская руками фартук, говорила мне, что без сметаны в море не пойдет, пускай ее уволят, пускай ей в глаза соленой водой набрызгают, но она знает, что потом с нее же спросят, и т. д. и т. п.

Под напором Зои Степановны я приказал готовить машины и хотел сниматься с якоря, когда из уютной местной душегубки-лодки высадился на борт Володя Малышев.

Он сунул рубль архангельским мальчишкам, которые привезли его с берега, и выслушал мой доклад: «Необходима сметана, караван выпихивают в Мурманский рукав, съемка ранним утром, есть «добро» самим идти на городской рейд. Что прикажете?»

— Снимайся,— спокойно сказал Володя.— А я штаны переодену.

Мы засунули нос в грунт почти в самом центре Архангельска.

— Чифа с берега спрашивают,— услышал я голос вахтенного. Учитывая то, что «чиф»—это старший помощник, пришлось насторожить уши.

— Кто? — спросил я в иллюминатор.

— Женщина. С чемоданчиком,— доложил вахтенный. Он был несколько навеселе. Но я сделал вид, что не замечаю этого. Смешно сердиться на матросов, когда до выхода в море остается несколько часов, а мы стоим носом в самую середину большого города Архангельска.

Я вышел на палубу и осторожно выглянул через фальшборт. Женщина с чемоданчиком, пришедшая не-

ожиданно, пугает мужчину. А я не самый смелый из них.

Действительно, под нашим форштевнем, на куче гравия ожидала довольно миловидная женщина с кожаным чемоданом. Узкая доска, которую мы прихватили еще на судоремонтном заводе в Ленинграде и которая отлично служила экипажу для схода и возвращения на борт, когда мы втыкали нос в берег, стояла сейчас почти отвесно. Ни одна женщина на свете, кроме нашей Зои Степановны, не решилась бы лезть по такой сходне. Поэтому я почувствовал себя в безопасности и сказал:

— Я старший помощник.

— Капецкий? — обрадовалась женщина.

— Да, — сказал я. Только корреспонденты самых массовых органов информации умеют так перевернуть фамилии.

— Мне необходимо взять у вас интервью. Я радио.

Приятно поболтать с миловидной женщиной накануне ухода в море. Ей-богу, солгут те, кто скажет, что им безразлично такое развлечение. Так странно и приятно, когда в каюту входит женщина. А ты совершенно не готов к ее посещению. У тебя на грелке сушатся трусики, койка не прибрана. Под столом нагло зияет наклеенной бутылка. А в банке стоят засохшие полевые цветочки, которые ты собрал где-то на берегах Свири и по лености так и не удосужился выкинуть за борт.

Я провел женщину через соседний буксир — там более прилично стояла сходня.

— Товарищ Капецкий, — сказала она, — я читала все, что вы написали. Мы интересуемся тем рейсом, в который вы сейчас отправляетесь. Это прекрасно, что вы не теряете связь с жизнью. Мы будем воспитывать на вашем примере наших слушателей.

— Хотите выпить? — спросил я у нее.

— Вы так шутите?.. Я на работе.

Морякам было интересно узнать, кто моя гостья и чем мы с ней занимаемся. Матросы один за другим совали носы в каюту и задавали идиотские вопросы.

Она открыла кожаный чемодан и обнажила великолепный магнитофон. Конечно, у нее что-то не завелось и не получилось. Я позвал механика. Минут через пятнадцать бобины завертелись.

— Мы уходим в суровые просторы, — сказал я в микрофон. — Впереди нас ждут испытания, но мы гото-

вы к ним. Мы выполним задание нашей Родины. Нас идет тридцать два судна в караване. Поведет ледокол номер пять. Он приписан к Ленинградскому порту. Потом я надеюсь написать очерк о нашем плавании. Я подниму в очерке вопросы, связанные с вопросами оплаты труда моряков-перегонщиков. Система оплаты слишком сложна, чтобы рядовой моряк мог в ней разобраться. Благодарю за внимание.

Она покрутила свою машину в обратную сторону, и я имел удовольствие выслушать собственную речь. Мой голос после длительной стоянки в Архангельске был почему-то хриплым.

— Счастливого плавания, товарищ Капецкий,— сказала она в микрофон.— Товарищи, вы слышите, как шумит волна у бортов кораблей? Это корабли уходят в море.— Здесь она высунула микрофон в иллюминатор. Там действительно плюхала вода.

На этом эпизоде наша связь с цивилизацией прекратилась.

В 05.00 20 августа мы снялись с якорей и вышли рейсом на Салехард из Мурманского рукава реки Северная Двина, имея на борту десять человек экипажа, 24 тонны топлива, 700 килограммов машинного масла и две с половиной тонны пресной воды. Если говорить честно, пресной воды у нас было больше. Исходя из опыта, мы зацементировали фекальную цистерну и приняли пресной воды в нее. По своему прямому назначению цистерна еще ни разу не применялась, и вода из нее вполне годилась для мытья посуды и физиономий.

Мы все когда-то вылезли на свет божий из соленой купели, ибо жизнь началась в море. И теперь мы не можем жить без нее. Только теперь мы отдельно едим соль и отдельно пьем пресную воду.

Наша лимфа имеет такой же солевой состав, как и морская вода. Море живет в каждом из нас, хотя мы давным-давно отделились от него. И самый сухопутный человек носит в своей крови море, не зная об этом. Наверное, потому так тянет людей смотреть на прибой, на бесконечную череду валов и слушать их вечный гул. Это голос давней родины, это зов крови в полном смысле слова.

В рейсе со мной была книга «Арабы и море». Вот

что я там вычитал: «Великая вода. От хеттского слова для нее — вадар и арабского матар (дождь) совсем близко до нашего матер, мать, восходящего к индийской древности».

Хорошо бы составить сборник высказываний великих мира сего о воде и о море. Еврипид писал: «Море смывает грязь и раны мира». Неру просил, чтобы часть его праха развеяли над морем. Туда же навсегда ушел Фридрих Энгельс. А это были разные люди.

Море соединяет континенты и людей, море — такое же серьезное понятие, как земля, смерть, жизнь и любовь.

Я привык думать о море, как о разумном существе. Всегда кажется, что оно знает мои мысли и ведаёт мои намерения. Когда в детстве мама приучала меня верить в бога, мне также казалось, что он, бог, знает все, что сейчас во мне. И тут не солжешь. И когда много лет назад мне пришлось тонуть на разбитом корабле и страх сжимал душу, я вдруг понял, что море видит мой страх и это не нравится ему. Я ощутил это своей кожей. Как ощущаешь взгляд, который сверлит тебе затылок через замочную скважину. И постарался вытряхнуть из себя страх. И заорал, хлебая соленую холодную воду, какие-то дерзкие и богохульные слова...

Оно умеет заглядывать в душу, это мокрое соленое существо, которое двигается всегда, которое не знает, что такое покой, которое никогда не может удобно улечься в жесткое ложе своих берегов.

Вот почему с глубоким, торжественным почтением снимаешь фуражку, прочитав в газете: «Во время шторма в районе Азорских островов погиб французский мореплаватель Рене Лекомб, который пытался в одиночку переплыть в небольшой лодке Атлантический океан. Рене Лекомб погиб на 68-й день своего путешествия».

В чем смысл его гибели? Человек всегда хотел доказать себе и всей природе свою великую роль и особую миссию. Часто люди даже не думают об этом. Спросите укротителя в цирке, в чем главный смысл его профессии. Он наговорит с три короба, но сам вряд ли понимает, что дело не в красоте зрелища, не в ритме номера, а в том, что человек, заставляя льва пятиться /по буму и перебирать лапами на блестящем шаре, утверждает победу всечеловеческого честолюбия.

Когда молодые люди в первый раз выходят в море и оно болтает их и заставляет отдавать за борт мака-

роны и щи, то молодые люди стыдятся этого, стараются изо всех сил не выпустить макароны из себя. И тогда старые моряки утешают их, говорят, что адмирал Нельсон травил всю жизнь, что, командуя в Трафальгарском сражении, он все время имел при себе матроса с ведром. И что здесь нет ничего стыдного.

Но старые моряки лгут.

Нет такого человека, которому по душе поддаться морю хотя бы в такой мелочи, как обыкновенная тошнота. Человек не хочет уступать морю ни в чем. И оно знает это. И потому с ним надо держать ухо востро.

Караван вышел в Белое море и построился в две кильватерные колонны. Впереди нас расправил белые усы пены «Гвардейск», позади дружной компанией пристроились художники «Верещагин», «Левитан» и «Перов». Справа бодал высоким лбом влажный воздух «Суриков» и плавно покачивалась «Гавана».

Верещагин погиб на «Петропавловске», океан стал его могилой, но вот он вышел из нее и опять качается на бледных волнах Белого моря. Ему привычно сейчас.

Левитан, вероятно, несколько удивлен и радостно взволнован. Уходит в акварельную дымку зеленый Мудьюг, и столько света вокруг, такой простор. И отовсюду, из каждой точки этого простора струится волнистый утренний, бессолнечный северный свет. И чистота тонов, и нежность переливов, и белоснежность неподвижной чайки.

Перову не хватает вокруг сюжетности. Раннее утро в Белом море чересчур импрессионистично для него, он строго поглядывает вперед, ему больше понравится в Баренцевом.

Суриков — северный человек, он умеет спокойно смотреть и спокойно ждать. Ему хорошо будет в Карском, когда за бортом появятся первые льдины, с густо-сизого неба рванутся к черной воде злые снежинки и караван повернет к Оби, к берегам его родной Сибири.

— Ну, вот и поплыли,— сказал Володя Малышев.— Как мы поделим вахты?

Нас было двое штурманов, а в сутках двадцать четыре часа. И без выходных. Правда, за все эти часы платят деньги, и не маленькие. Поэтому перегонщики не любят третьего штурмана на борту. И еще перегон-

щики не любят торопиться. Чем длиннее рейс — тем больше заработок. Очень неплохо, если ударит шторм и где-нибудь прстоишь несколько суток. В какой-нибудь хорошей бухточке. Если близко нет такой бухточки, то шторма не надо. Совсем тогда его не надо.

— Мне все равно, когда стоять вахту, — сказал я. И мы бросили жребий.

Ему достались все закаты, мне восходы. Он стоял с двадцати часов до двух ночи. Я с двух до восьми утра. Потом опять он шесть часов. И опять я шесть часов. Хватит времени подумать обо всем на свете.

Когда живешь в городе, редко видишь восходы. И забываешь, что они есть.

Утром меня не тянет уйти из дома, а вечером я листаю записную книжку и ищу, кому позвонить, и даже хорошая книга не может удержать меня на месте. Утро — это покой и созерцательность. Вечер — нервное стремление к движению.

Я был рад тому, что много раз увижу, как из ночного мрака будет рождаться день. Правда, около четырех ночи, пока не привыкнешь, очень хочется спать. И кажется, что утро и конец вахты не придут никогда.

В рубке совсем темно и тихо. Редко кто разговаривает. Только кашляют курильщики и потрескивает табак в дрянных сигаретах. И если нет ветра и качки, то как-то совсем не ощущаешь движения судна, потому что давно привык к шуму двигателей и вибрации от винтов...

Около четырех ночи — самое тоскливое время.

Конечно, когда ты плывешь в южном море, это другое дело. Когда небо мерцает звездами, и Млечный Путь мерцает галактиками, и море за бортом впитывает в себя лучи бесконечно далеких миров, тогда другое дело.

Но на Севере слишком редко бывает чистое небо летом. И недостаточно темно. Ночная темнота на Севере летом мутная. И утро вползает незаметно, рассеиваясь в низких тучах. Роса садится на стекла рубки, на сталь палуб, на брезенты шлюпок. И если ты вылезешь на мостик, чтобы взять пеленги маяка, то надо будет рукавом провести по стеклу компаса, ибо на нем тоже будет слабая влага.

И тут ты можешь увидеть большую морскую птицу. И если тебе повезет, она споет тебе песню без слов.

«Я лечу над морем совсем одна, — расскажет птица. —

Ветер подпирает мои крылья. Фиолетовые скалы Шпицбергена остались далеко-далеко позади. Я знаю — скоро будет сильный ветер. Очень темным станет море, белая пена зашипит на волнах, серые полосы пены станут качаться на воде. А я буду лететь все дальше и дальше. Я не буду тратить сил. Выпростаю крылья против ветра. И ветер будет держать меня высоко. Очень высоко. Страшное море, огромный океан, пустыня воды и неба будут вокруг меня. А я все буду петь, смотря вниз, выискивая рыбу. Я буду петь, ожидая, когда замечу темный и быстрый извив рыбы. Потом я упаду вниз, бесшумная, и стремительная, и беспощадная. И тело рыбы забьется в моем клюве. И я ударю ее когтями и проглочу, и почувствую тяжесть внутри себя. Огромный океан будет подо мной, и волны в нем будут казаться мне гладкими и слабыми. О, катитесь дальше, волны. Я знаю, вам нет конца. Всегда вы будете бежать все дальше и дальше, синие и голубые, зеленые и серые. Всегда, всегда будет это...»

И ты помашешь вслед птице рукой, вернешься в рубку, зажжешь лампочку над штурманским столиком, желтый круг света плавно заколышется на бело-голубой карте, и вдруг на пустынном тундровом берегу, за сотни миль от ближайших селений, увидишь маленький черный квадратик и прочитаешь: «Изда Николаевского». «Кто он? — подумаешь ты. — Жив ли этот упорец и жизнестоец? Или давно умер?» И как-то даже защемит сердце от мысли о нем, об его одиночестве и мужестве.

Интересно на спокойной вахте разглядывать карту. Так много людей оставили на ней свой след. От первых землепроходцев и мореходов до изящной женщины-корректора, которая тронула карту красной тушью еще совсем недавно. Она обязательно кажется тебе изящной — далекая и неизвестная женщина, когда прочтешь внизу карты ее фамилию: «Иевлева», «Лермогорская»... Хорошо, что корректоры чаще всего женщины.

И вот где-нибудь в море представишь, как они утром приходят на работу в гидрографию, поправляют прически, шутят, говорят про вчерашнее кино и садятся к стеклянным столам, включают подстольные лампы, читают «Извещения мореплавателям» и уходят странствовать по всему свету... Они не ссорятся, не завидуют друг другу, не делают гадостей, они довольны работой и зарплатой, и мечта о месте старшего кор-

ректора — не главная их мечта. Очень хочется верить во все это, когда вахта перевалила за половину и утро заползает в рубку.

Тишина рассеивается вместе с мраком.

Старший механик Александр Павлович Карев — пожилой, неряшливый толстяк со средним техническим образованием, из кочегаров, уже на пенсии, но пошел в рейс, чтобы подработать; неуверенный в своих знаниях, но нахальный — долго кряхтит и наконец говорит:

— Берешь кастрюлю. В нее — слой тресковой печени, потом слой трески, потом картошечки и сверху — еще печеночки. И в духовку. — Механик чмокает, и у всех нас начинает выделяться слюна.

Есть хотят все. А больше всех — механик. Единственное, что он любит в жизни, — еда. Надо видеть Александра Павловича, когда на борт привозят продукты и мясо не влезает в холодильник. Тогда он отодвигает в сторону Зою Степановну, засучивает рукава, вытаскивает из холодильника все и начинает укладывать по-своему. Он тискает замерзшие коровьи сердца, он перебирает кости, он подкидывает в воздух свиные головы и хрюкает от наслаждения. Он не торопится уложить мясо, ему жаль расставаться с ним...

Ни я, ни Зоя Степановна его не можем любить хотя бы потому, что он ест не меньше двух тарелок супа за обедом, а продукты нужно экономить, и отвечает за продукты старший помощник, то есть я.

— Когда я плавал в тридцать третьем году на «Донце», ночной вахте какао давали и пирожки кок пек, — продолжает свою тему стармех.

Он сидит в правом углу рубки на высоком табурете, положив руки на пульт управления машиной. У нас дистанционное управление. Можно менять число оборотов двигателей и реверсировать их прямо из рулевой рубки.

— Смените пластинку, стармех, — миролюбиво говорю я.

— Лучше бы вы, дед, грелку в нашей каюте наладили, — поддерживает меня рулевой матрос Рабов.

— А ты электрический уют у буфетчицы возьми, — совершенно серьезно и доброжелательно советует стармех. — Он тоже греет.

Александр Павловичу нельзя отказать в известном юморе. И это единственное, что примиряет с ним.

Рабов не выдерживает и смеется. Стармех доволен удачей и развивает ее:

— В двадцать девятом году в Мурманске очень большой мороз был. Идем мы из кабака. Лошадь стоит, извозчичья, в пролетку запряжена. Мужика нет, а лошади холодно. Мы ее выпрягли и на третий этаж общежития завели. Ну конечно, полундру мильтоны подняли: где лошадь? А попробуй найди лошадь в общежитии на третьем этаже. Утром мы протрезвели, смотрим — лошадь между коек пасется. Что делать? Кормить ее надо. Был у нас такой кочегар — Наполеон Серенький, и дружок у него был, Адам Хорошенький. Мы их в командировку отправили — в ресторан за апельсинами. А она апельсины не ест...

Уже совсем светло.

Штиль.

Корабли каравана кажутся неподвижными. Пищит рация.

И вдруг я удивляюсь тому, что это я сижу на тумбе запасного штурвала перед открытым окном ходовой рубки на сухогрузном теплоходе № 760 и слушаю болтовню старика механика.

Почему меня опять куда-то несет по волнам?

2

Двадцать третьего августа 1964 года в два часа ночи я записал в судовой журнал следующее: «Ветер усилился до 5 баллов от норда. Высота волны 3—4 метра. Судно испытывает сильные удары о волну носовой частью днища. Крен на оба борта около 20°. Проверено крепление груза и крышек трюмов. Барашки стопорных механизмов периодически самоотдаются от вибрации».

Когда я лазал в кромешной тьме по трюмам, где скрипело, визжало, стонало, выло, гремело, мычало, ныло, скулило ржавое железо; когда я боялся сорваться в какую-нибудь дыру и напороться на острый железный край; когда я проклинал эту погрузку в Петрозаводске и все эти старые речные пароходы, части которых мы тащили теперь через штормовое Баренцево море; когда от физического напряжения стало у меня побаливать сердце; когда удары волн оглушали долгим

эхом в огромной гулкости трюмов,— я подумал о том, что, когда взрослеет моряк, он начинает все осторожнее говорить о море и ветре, о мужестве и трусости, он все больше понимает мудрость молчания и осторожности. Он не торопится говорить, что море — это ерунда и человек господин природы. Он не говорит, что Черное море это малина и курорт, а вот Карское — очень плохо. Взрослеющий пишущий человек тоже не торопится говорить, что рассказ писать проще, чем роман, и что Лермонтов лучше Пушкина, а Маяковский чересчур социален и тем погубил свой талант.

Вот о чем я думал, вылезая из трюма, проверив крепление груза и проверяя стопора трюмных крышек. И эти стопора на один-два оборота поддавались усилию моих рук, а это значило, что стопора сами собой отдаются от вибрации. И это было нехорошо.

Мое родное Баренцево море шумело и плевало в физиономию мелкой холодной слюной. Я был зол на него. Оно заставило меня лазать по темным трюмам, из-за него у меня побаливало в груди. И я тоже плюнул за борт.

Так вот, я вернулся в рубку, скользя на мокрых ступеньках трапа, вытер носовым платком руки и глаза, взял авторучку и записал те строки в судовой журнал.

А сейчас, когда я перепечатывал эти строки, я подумал о том, что нельзя сказать: «судно испытывает удары носовой частью днища». Если судно получает удар, то его получает все судно. Так же как боксер получает удар, а не челюсть с левой его стороны. И все-таки в свободном записывании чего-то, в непосредственной записи, в безграмотности ее зачастую бывает больше точности.

Наш СТ получал удары именно в носовую часть днища; все судно начинало изгибаться, как змея. Но это была стальная змея, она изгибалась резко, и быстро, и часто, и при каждом изгибе опять шлепалась днищем о встречную волну; и все это складывалось вместе, шло в резонанс и еще к тому же качалось с борта на борт по двадцать градусов. Ничего не было здесь чересчур страшного. Все было нормально. Я просто хочу объяснить вам ту физику, в которой находится человек, если он плывет по Баренцеву морю в пятибалльный ветер на речном судне.

Интересно, что поэт, который написал строчки про

физику и лирику, рифмовал их. Если говорить честно, мне кажется, что поэты часто идут в стихотворении за теми неожиданными и странными даже мыслями, которые вызываются на свет божий именно самой рифмой. И только в случае полного, на 180 градусов, расхождения получившейся мысли с главным мировоззрением поэта последний имеет силу отказаться от нее...

«И Дух Божий витал над пустынными водами».

Слова нашего языка витали над остывающей планетой, над кипящими океанами безмерно далекого прошлого. Слова ждали нас миллиарды лет. И мы наконец пришли, чтобы произнести их. Невидимые, они летают в глубинах галактик, уютно живут внутри нейтрино и мезонов. Они ждут нас за каждой гранью познания. Они тоскуют без нас, но мы никогда не сможем произнести их все, как никогда не сможем представить бесконечность времени.

Бред сумасшедшего полон какого-то своего смысла, только смысл этот недоступен нам, как недоступен он и самому сумасшедшему. Случайный набор слов вызывает вдруг напряжение интуиции, эмоций, мозга. Мы чувствуем, что бесконечное сочетание элементов мира должно отражаться в нашем языке таким же бесконечным рядом слов и сочетаний.

Поэзия имеет самое прямое отношение к физике. Поэзия — та влага в глазах, которая смывает пыль. Если влага не омывает глаз, мы слепнем. Поэзия соединяет то, что кажется несоединимым, освещает старые понятия с неожиданного ракурса. Даже хулиганя, поэт интуитивно чувствует за непонятной строкой смысл. Поэт не может доказать существование этого смысла. Он только чувствует его в ритме звуков, в путанице интонаций. Поэт знает, что нет бессмысленных словосочетаний, как ученый знает, что нелепые результаты эксперимента означают не нелепость природы, а ограниченность опыта...

Я приказал увеличить ход, включил прожектор на корму. И приказал рулевому подавать гудком туманные сигналы.

Идущие впереди суда исчезали в тумане, и все, хотя и записывали в журнал, что уменьшают ход, на самом деле прибавляли его: запись в журнале, если произой-

дет аварии, поможет избежать суда — и только. А если увеличишь ход, то будешь видеть идущее впереди судно и, может быть, избежишь аварии. Что избрать?

Туман густел, соседние суда уже пропали в нем, от сырости першило в горле. Никто не разговаривал в рубке, и только боцман временами ругал немцев, которые сделали центральное лобовое стекло неподнимающимся. Туман оседал на стекле мутными каплями, и боцману плохо было видно. А снегоочиститель на стекле лопнул, и мы боялись долго гонять его, чтобы он, не дай бог, не разлетелся вдребезги.

Глаза болели от напряжения. Нервное дело — идти в густом тумане, особенно в караване, особенно ночью, особенно без радара, особенно в качку. Быстро теряешь юмор и превращаешься в брюзгу.

— Держать вразрез волны от переднего мателота! — приказал я.

— А какой великий выбрал себе путь протоптанней и легче? — спросил боцман. — Зачем держать вразрез, если чем труднее наша дорога, тем больше нам почета? Если бы фрицы, мать их...

Маленький боцман Гумунюк, по прозвищу Отросток, крал немцев-кораблестроителей по всем статьям.

Ругался он виртуозно, по-боцмански. И был еще нечист на руку. В Лодейном Поле украл с новеньких комбайнов цепи с глаголь-гаками. Это были отличные, удобные цепи. Мы подвесили на них кранцы — автомобильные покрышки, чтобы не мять борта при бесчисленных швартовках в шлюзах Беломорского канала. И я даже похвалил тогда боцмана, ибо не знал, откуда он их стибрил. Потом боцман напугал нас гадюкой.

Теплоход всплывал из мокрой преисподней восемнадцатого шлюза к сияющим просторам летнего неба, И вдруг высоко над нами раздался женский крик и визг. Оказалось, что женщина чуть было не наступила на змею.

Наш Отросток разволновался, кинул на стенку брезентовые рукавицы с кожаными наладонниками и просил поймать для него гадюку.

И какой-то сердобольный остряк гадюку поймал и швырнул ее на палубу теплохода. Змея прямым ходом сунулась в пожарную магистраль, но боцман успел схватить ее за хвост, обрадовался и запрыгал по трюмам в индийском танце. Здесь старик механик напал на

боцмана, отнял гадюку и пустил ее плавать за борт. Отросток расстроился так, будто получил повестку из военкомата.

— Зачем тебе змея? — спросил я.

— Я посадил бы ее в банку, кормил, изучал,— объяснил он.

Как ни странно, этот пройдоха и ворюга много читал. Я часто заставлял его с книгами знаменитых романтиков прошлого века. И как-то слышал боцманский рассказ о прочитанном в кругу матросов: «Французы на высоте романы сочиняют... Вот, например, у этой волосанки Франсуазы был хахаль Альфред. И вот она из-за любви лапти откинула — и с концами, в ящик. А граф передал ее письмо этому волосану барону. Барон — копыта в сторону и только через час очухался... Или вот «Дон-Жуан» у Байрона, между прочим — в порядке поэмка. Этот Дон тот еще волосан был, и все бабы у него на крюке были...»

Больше всего боцман боится военной службы. От нее он и удрал на перегон.

— Да ты, боцман, не переживай,— утешил его однажды механик.— Тебя в армию не возьмут.

— Почему так думаешь? — с надеждой спросил метровый Отросток.

— Точно знаю.

— Ну?

— Так ведь когда ты винтовку к плечу приложишь, так пальцем до спускового крючка не дотянешься,— объяснил механик.

3

На дневной вахте капитан обнаружил плавающую мину. Для идущих сзади судов — чтобы они обратили на эту мину внимание — мой капитан выпустил две красные ракеты. Никто, конечно, этих ракет не заметил.

— Это не была мина, Владимир Евгеньевич,— сказал я, принимая вахту.

— Я видел ее своими глазами, Виктор Викторович.

— Это была бочка из-под селедки, Владимир Евгеньевич, вы никогда не были военным и потому не знаете, что в...

— Это была нерпа,— сказал старший механик.— Я отлично видел.

— Это что-то не круглое, а четырехугольное,— сказал Рабов.— Зуб отдаю.

— Ясное дело — поплавок от сетей,— сказал второй механик.

— Это была плавающая мина! — заорал наш капитан и ушел из рубки, хлопнул внизу дверь.

Еще около часа мы грызлись на почве этого плавающего предмета. Потом я удалил лишних из рубки и включил радио. Передавали сообщение о переговорах по созданию объединенных ядерных сил НАТО. Меня чрезвычайно интересует создание этих сил. Ведь дело идет о морских делах.

Я не знаю, как там договорятся политики и дипломаты. Может, они и сунут длинный немецкий палец на ракетно-атомную кнопку. Меня интересует другая сторона вопроса: каким макаром там будут договариваться моряки. Уж их-то я знаю, моряков.

Почти каждый моряк убежден в том, что он хороший, стоящий моряк. И в этом все моряки мира одинаковы. И если за бортом мелькнул какой-то предмет с такой скоростью, что никакой человеческий глаз разглядеть ничего не мог, то здесь происходит то, что случилось у нас на дневной вахте. Ни один настоящий моряк никогда не повторит мнения своего коллеги. Каждый найдет именно свое, наиболее точное, абсолютно истинное объяснение мелькнувшему предмету.

Я представляю себе натовский ходовой мостик и немецкого, английского, турецкого, норвежского и американского штурманов с секстанами в руках. По свистку капитана в единый момент они вскидывают секстаны и прицеливаются на солнечный диск. Потом бросаются к таблицам и арифмометрам. И хоть на сотую мили, но у всех будут различия результаты. Тут уж просто работает теория вероятности. Но ни один настоящий штурман в глубине своей морской души не согласится с другим. Разве может британский моряк смириться с тем, что немец или турок лучше него знает астрономию? Настоящий британский штурман скорее повесится на ноке реи. И то же самое сделает настоящий немецкий штурман на другом ноке той же реи. Или я ничего не понимаю в морских делах, или на следующей реи повиснет турок. И ничего с этими ребятами никакой политик и дипломат поделать не смогут.

Между прочим, Ной был умен, как бес, когда набрал

в ковчег слонов, обезьян и других зверей и не взял ни одного штурмана. Иначе в самый разгар потопа, когда над Араратом было два километра воды и голубь еще ни разу никуда не летал, этот ковчег обязательно бы нашел риф и распорол бы себе днище. И мы бы так и остались без зверей на веки вечные.

Но это еще только о «морской интуиции» и штурманском самолюбии. А каждое порядочное государство имеет на военном флоте свои святые традиции. Морская традиция — вещь чрезвычайно сложная, уходящая в глубь веков и до того уже на каждом флоте запутанная, что даже знатоки иногда чешут затылки не одну неделю. Святыни флагов, вымпелов и торжественных салютов, церемонии прибытия и убытия адмиралов, сигналы побудок и способы мытья палубы — все эти вещи так усваиваются организмом настоящего моряка, что передаются по наследству.

Мне так хочется чем-нибудь помочь морякам с объединенных кораблей НАТО, что я посоветую им заняться историей моей родины. Ведь западным политикам и в голову не приходит, что волею небес в России два века назад уже существовали смешанные экипажи. И посмотрите, что из этого получилось.

Перенесемся в июль 1725 года на кронштадтский рейд, на эскадру генерал-адмирала графа Апраксина. Адмирал этот, по выражению профессора Ключевского, был самым сухопутным из всех возможных, однако большой хлебосол. Российский флот, по выражению того же профессора, «донашивал гангутские паруса», а отличался от других флотов большим количеством адмиралов. Он и сейчас этим отличается — по традиции.

Итак, граф имел свой флаг на семидесятишестипушечном корабле «Святой Александр».

Независимо от флага генерал-адмирала, на эскадре развевались еще два адмиральских флага: вице-адмирала Вильстера на корабле «Леферм» и контр-адмирала Сандерса на корабле «Нептунус». Наконец, на корабле «Св. Александр» кроме его командира немца Лоренца сидел еще капитан-командор англичанин Бредель. Британец должен был, согласно своему чину, командовать бригадой, то есть двумя-тремя кораблями, но их для него не хватило, и, таким образом, у «Св. Александра» оказалось на борту трое начальников: сам Апраксин — русский генерал-адмирал, англичанин капитан-командор

Бредель и непосредственный командир корабля немец Лоренц.

Учитывая португальское происхождение контр-адмирала Сандерса и датское происхождение вице-адмирала Вильстера, вы видите, что я вас не обманул и у объединенных сил НАТО на самом деле уже были предшественники.

Все эти адмиралы и капитаны честно служили русскому флагу и старались изо всех сил, но эскадра, начав кампанию 14 мая, и к концу июля еще ни разу не смогла выйти с рейда на море и занималась пушечными экзерцициями в виду родных берегов.

На корабле «Св. Александр» положение было самым отчаянным. Ничто так не портит характер морского начальника, как присутствие на том же корабле еще других начальников. Капитан-командор Бредель, длинный и тощий британец, терпеть не мог командира корабля, толстого немца Лоренца. Из-за нехватки кораблей Бредель страдал комплексом неполноценности.

Вечером того дня, когда происходило дело, капитан-командор и несколько молодых русских офицеров — князя Белосельский, Бярятинский и Одоевский — сидели за бизань-мачтой и ужинали, попивая портер — английское, весьма крепкое черное пиво особой варки.

Погода стояла отличная. Разговор, естественно, вращался вокруг разных морских традиций.

— Можно ли на кораблях британских женщину на борт заводить? — поинтересовался князь Одоевский, подливая капитан-командору портера.

— Только королеву! — торжественно отвечал англичанин.

И они дружно выпили за королеву.

— А разрешите ли вы, сударь, нашей сикиморе сие нарушение флотских традиций? — спросил князь Белосельский, подразумевая под «сикиморой» немца Лоренца. Он позволил себе такое выражение о своем командире, зная, что этим только доставит удовольствие капитан-командору.

— Никак того не разрешу! — сказал англичанин.

— А знаете ли вы, сэр, что Лоренц на берег за женой шлюпку послал? — спросил князь Одоевский.

— Нет, — отвечал британец, бледнея от одной мысли, что женщина может ступить на трап корабля.

— Да-а-а, — сказал князь Бярятинский. — На море

на океане, на острове Буяне, стоит бык печёный...

— ...с одного боку-то режь, а с другого макай да ешь! — многозначительно закончил длинную фразу за приятеля князь Одоевский. Языки у всех уже изрядно заплетались. Англичанин, конечно, ничего в таком высказывании не понял, но уловил как бы некоторое сомнение в его решимости не допустить на борт супругу немца. На нашем языке: «слабó».

— Кто богу не грешен, царю не виноват, — на всякий случай сказал британец. — А фрау Лоренцеву на корабль не допущу!

— В слове джентльмена сомнений не имеем, — успокоил его князь Белосельский.

Все они знали, что по русскому уставу разрешалось привозить на борт законных жен, если корабль находился при гавани. Таким образом, эти молодые балбесы подготовили себе развлечение на вечер. Дружны они были еще с времен знаменитой школы Глюка — первого российского общеобразовательного заведения, которое князь Куракин определил как «Академию разных языков и кавалерских наук на лошадях, на шпагах».

Здесь должен еще заметить, что наличие трех начальников вместо одного, как правило, расстраивает нервы у всего экипажа, ибо матросы совершенно путаются, какой приказ и какого начальника надо выполнять в первую очередь. Офицерский же корпус нервы сохраняет в порядке, но разбалтывается сам, ибо поле для сраживания начальников и соблазн для всяких провокаций слишком велики.

Показалась шляпка, в которой копошилось что-то чрезвычайно пестрое, увитое лентами. А на палубе оказался командир «Св. Александра» Лоренц, чтобы встречать свою супругу.

Британский капитан-командор сидел, всем своим невозмутимым видом выказывая главные качества подданных английской короны: хладнокровие и точность расчета. Он встал с места только тогда, когда жена Лоренца уже поднялась по трапу на палубу.

— На кораблях женщин иметь не положено, — процедил англичанин. Но немец не был бы немцем, если бы не знал регламентов назубок.

— По Морскому уставу, сэр, книге четвертой, главе первой, артикулу тридцать шестому, жен своих на рейде и реках иметь не запрещено, — доложил Лоренц.

Какой настоящий моряк не взъерится, если услышит из уст подчиненного упрек в незнании морских регламентов?

— Молчать! — заорал Бредель. — Кто на корабле «Сант-Александр» старший начальник? Я или ты? Прочь с корабля, каналья!

Но здесь Лоренцева жена, будучи женщиной русской, стерпеть не смогла.

— На кого ерыкаешь, басурман?! — опросила она. — Пустобрех несчастный, пустовраль, мздолюбец, пусто-врака, пустоболт, хлыст, пустоплюй!

И никто не успел ее пресечь, потому что, вы сами знаете, когда офицерская жена открывает пальбу, то ведет ее со скоростью современного зенитного автомата.

Британец опешил. А немец страшно перепугался, воспользовался замешательством британца и потащил супругу в укрытие — к себе в каюту.

— Что ты наделал, дура! — говорил он ей на ходу. — В российском Морском уставе, главе четвертой на десять, в артикуле сто шестом, напечатано: «Ежели кто против бранных слов боем или иным свойством отомщать будет, оный право свое на сатисфакцию тем потерял и, сверх того, с соперником своим вместе в наказании будет!» Из-за тебя право на сатисфакцию я теряю; молчи, курица — не птица, баба — не человек!

Русские князья тихо корчилились за бизань-мачтой, но, когда капитан-командор вернулся к ним, они приняли вид почтительный и сочувствующий.

Бредель, вернувшись, как всякий мужчина, чтобы успокоить нервы, выпил вина и сказал, что, если б все происходило на корабле Ее Величества, он бы знал, как поступить, и всадил бы пулю из пистолета в немца, прямо в толстый его, неспортивный живот.

На что молодой балбес князь Одоевский ответил: —

— Сэр, пулю и дурак всадит, а вот позабавиться с супругой Лоренцевой вы имеете полное право, как вы есть на этом корабле старший.

— Так точно, сэр капитан-командор, — подтвердил князь Белосельский. — По нашего отечества варварским законам такое право вы полностью имеете...

И тем опять заронили в пьяную британскую голову вредную мысль.

Тем временем Лоренц с супругой взошли в каюту.

Взволнованный Лоренц закурил трубку и сел на галерею; все повторяя, что курица — не птица, а баба — не человек. Супруга же его, которая от переживаний сильно разгорячилась, сняла с себя сразу тяжелые фижмы и выплетала из волос ленты; и только шпильки, которыми был полон рот ее, мешали ей сказать супругу, что она о нем думала.

Бредель выпил еще и приказал караульным идти в каюту к Лоренцу и привести к нему супругу Лоренцеву, чтобы он, капитан-командор Бредель, с ней мог позабавиться. Приказ этот британец отдал громким голосом, и Лоренц слышал у себя на галерее каждое слово. Тут уж немец забыл про книгу пятую Устава, и про главу четвертую на десять, и про артикул сто шестой. Не будучи в силах от волнения говорить по-русски, командир корабля «Св. Александр» Лоренц свесился с галереи и начал по-немецки упрекать англичанина:

— Ты сам женат, сударь, у тебя дочь взрослая. Гунсафт ты, если позоришь честь честного русского офицера!

Немцы на русской службе часто забывали про то, что они немцы, а «гунсафт» по-немецки всего-навсего подлец, но англичанин по пьяному делу всего этого не понял, схватил шпагу и вызвал наверх караул. Поставив у дверей каюты Лоренца двух часовых, он объявил Лоренца и жену его арестованными.

— Я доброго отца дочь и доброго мужа жена, а ты бездельник! У тебя и кораблей-то в подчинении никаких нет! — закричала ему в ответ госпожа Лоренц и запустила сверху в капитан-командора яблоком.

— Фалл ундер! — заорал по-голландски капитан-командор, что по-русски в дотошном переводе обозначает: «Берегись предмета, падающего сверху!» — и что с тех пор стало в виде «полундры» обозначать шум и бедлам, недостойные быть на борту корабля.

Бредель потерял всякое соображение о происходящем и бросился бежать в каюту Лоренца, размахивая пистолетом.

— Эх его сбузыкало! — пробормотал князь Одоевский, несколько даже трезвея от накала страстей во круг.

— Однако во флоте Ее Величества не зря бабам вход на корабли заказан, — поддержал приятеля князь Барятинский.

И они тяпнули еще по одной, ожидая развития событий. Ибо вмешиваться в отношения вышестоящих начальников ни один уважающий себя моряк никогда не позволит. Здесь главный морской шик — показать такой вид, будто ты ничего не видел и не слышал.

Призвав четырех русских гренадеров, англичанин ворвался в каюту Лоренца и приказал держать немца покрепче, а госпожу Лоренц, которая была полуодета, приказал вышвырнуть в шлюпку и отвезти на берег. Ошеломленные русские гренадеры, видя рассвирепевшего английского капитан-командора, не слушали возражений командира корабля немца Лоренца, который, ссылаясь на главу третью Устава пятой книги, девяносто девятого артикула, из последних сил орал, что ежели офицер товарища своего дерзнет бить руками или тростью на корабле, то лишен будет чина и написан в матросы...

Капитан-командор уже ничего не слышал. И по всем правилам хорошего английского бокса всадил немцу под микитки. Жена же Лоренцева от русских гренадеров отбивалась стойко, тыча в мужицкие хари китовым усом, который тогда для распяливания фижм применялся.

— Любострастную тебе, брит, болезни! — еще успевала она приговаривать, отбиваясь от русских гренадеров. — Болезнь тебе, от плотских похотей происходящую, французскую, дурную, постыдную! Блудливый ты кот, а не военного пятого класса офицер!

Гренадеры — на что они и гренадеры — все-таки справились с супругой Лоренцевой и отволокли ее в шлюпку, а капитан-командор кидал за ней с борта ее фижмы и другие принадлежности женского туалета того времени.

Разбор дела между Бределем и Лоренцем был поручен Особой комиссии, состоявшей — под председательством вице-адмирала датчанина Вильстера — из шаутбенахта португальца Сандерса и капитанов: француза Барша, немца Трезеля, испанца Вильбоа и шотландца Бенса. Комиссия определила назначить над Бределем форменный суд. Председателем суда был назначен итальянец Сиверс, ассессором — контр-адмирал немец Фангофт и аудитором, то есть делопроизводителем военного судопроизводства, — чиновник, русский человек, Зыбин.

Интернациональное это судилище, используя россий-

ские законы, никак не могло определить, в какую сторону — британскую или немецкую — склонить чашу весов, и потому заседания шли целый год. И наконец рассудили: «Написать капитан-командора Бределя в матросы на два месяца и выплатить из заслуженного его жалованья по окладу капитана Лоренца за шесть месяцев и отдать это Лоренцу с распискою. А с правого требовать по три копейки с полученного рубля. А что касается до оскорбления жены Лоренцевой словами Бределя, то, по нашему мнению, настоящее суду не подлежит».

Немец Лоренц с англичанина деньги получил, но отдать в русскую казну по три копейки с рубля, естественно, отказался, вышел в отставку и уехал к себе в неметчину, бросив супругу в России.

А теперь проследим за боевыми успехами этой эскадры.

И пусть расскажет о них сама наша матушка императрица.

Вот что Екатерина Великая писала 8 июня 1765 года первому министру Панину после смотра Кронштадтской эскадры: «...У нас в изобилии и кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, как я подплывала к штандарту и корабли стали проходить, отдавая мне салюты, двое из них чуть не погибли по вине своих капитанов. Один попал кормою в снасти другого, и это, может быть, всего в ста туазах от моей яхты. Затем адмирал хотел, чтобы они держали линию, но ни один корабль не мог этого сделать. Наконец в пять часов пополудни подошли к берегу для бомбардировки предполагаемого города... До семи часов вечера стреляли ядрами и бомбами безрезультатно, и наконец мне это надоело... Я просила адмирала не упорствовать больше в том, чтобы сжечь остатки этого города, потому что, прежде чем стрелять, привязали предусмотрительно в разных местах на берегу пороховые нити, которые не замедлили произвести должный эффект лучше, чем бомбы и ядра. Вот все, что мы видели в этом плавании. Надо признаться, что они больше похожи на флотилию, которая ежегодно выезжает из Голландии для ловли сельдей, чем на военный флот».

Кто хочет ознакомиться с подлинными материалами всего этого дела, может взять «Сборник морских статей

и рассказов» — приложение к морской газете «Яхта» за ноябрь 1877 года и прочитать документы своими глазами.

4

Если вы думаете, что на следующей вахте мы не спорили о плавающей мине, то ошибаетесь. Все время, пока я принимал вахту у капитана, мы пытались убедить друг друга. И конечно, не убедили.

Потом я опять слезал в трюм и увидел, что сварочные крепления железа в первом номере частью начинают отлетать. Ветер все жал от норд-веста. Качались мы до двадцати одного градуса на оба борта, и ходить по рубке было почти невозможно от резкой, рывками, этой качки. А я люблю ходить на вахте. Тогда быстрее проходит время.

После вахты я немного почитал «Праздник, который всегда с тобой». И как всегда, с первых слов Хемингуэя у меня защемило душу. Когда открываешь настоящую книгу, начинаешь медленно погружаться в нее, то появляется томительное ожидание красоты, предчувствие той красоты, которая ждет тебя где-то впереди в жизни. И так веришь в то, что эта красота обязательно войдет в твою жизнь, что даже почему-то становится печально. И чувство благодарности к писателю пощипывает глаза.

Я болтался в своей койке где-то посередине Баренцева моря, тепло укрывшись одеялом поверх одежды (мы снимали только сапоги). Удобно горела над головой коечная лампочка.

У меня не было никаких забот, кроме заботы встать через шесть часов на вахту и отстоять ее честно. Моя совесть была более-менее покойна. Волна — я слышал это по звуку — становилась меньше.

Я читал о Париже и был полон предчувствием той красоты, которая еще обязательно ждет меня впереди. Хемингуэй грустил о своей первой жене. О первой жене часто грустят в старости. Интересно, как относятся к этой грусти вторые жены? И хорошо и плохо быть второй женой большого писателя, и я думал о том, что только одну женщину мужчина берет с собою в могилу и в полет к звездам. И так, очевидно, положено от бога.

В «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэй много писал о еде. Он запомнил на всю жизнь, где, что

и как они с первой женой ели. Он говорит, что голодал тогда. Сейчас многие на Западе подробно пишут о еде и питье и других плотских штуках. Я все-таки думаю, что они подробно пишут еду и питье не потому, что они голодали. Их голод — просто обжорство рядом с тем голодом, который знают в России. Хемингуэю даже не снился тот столярный клей, который мы ели в блокаду. А я как раз поэтому не люблю писать о еде. И совершенно не помню, где и что ем за день. А он точно запомнил то, что ел сорок лет назад в Париже. Дело тут не в голоде, а в том, что западные писатели через еду, вино и женщин хотят передать плотское ощущение жизни, ее материальность, плотность, вкус.

Читая «Праздник», я еще подумал, что Хемингуэй кое в чем начал повторяться. Только Толстой ни разу не повторился в своих художественных книгах из-за старости. Если он повторялся, так делал это вполне сознательно.

Хемингуэй был честным перед самим собой. Он не боялся плохого в себе, потому что всегда боролся против плохого в себе. И если он чего-нибудь не понимал, то спокойно говорил об этом. Потому так сильно любят его книги у нас сейчас. Конечно, он был немного анархистом, когда писал: «Я сам часто и с удовольствием не понимаю себя», но если убрать «с удовольствием», то какой честный человек не повторит этих слов за ним?

Его герои часто одиноки, хотя он и сказал, что человек не может один. Его герои могут одни. Наверное, это оттого, что сам он всю жизнь сражался один. А сам он есть в любом его герое. Он писал: «Настоящее писательское дело — одинокое дело... Писатель работает один... именно потому, что у нас в прошлом было столько великих творцов, современному писателю приходится идти далеко за те границы, за которыми уже никто не может ему помочь». И с ним вместе уходили в далекое одиночество его герои. Быть может, потому он и пустил себе пулю в лоб? Очень тяжело долго сражаться в одиночку, амортизация души должна быть огромной, усталость тоже.

Я прочитал страниц двадцать и уснул, очень какой-то просветленный от хороших предчувствий.

И вполне естественно, что мне приснился Хемингуэй.

Я был у него в гостях. Я сидел на диване, а он на стуле. И вокруг было очень много вещей. Он был добр

со мной, ласков и жаловался на старость. Потом он встал и ходил по комнате, глядя на меня, говоря какие-то точные слова, разделенные длинными, медленными паузами.

А я знал, что он мертв, хотя и ходит по комнате, говорит со мной, И, как всегда, когда видишь во сне покойников, было странно и чуть жутко — и в то же время преувеличенно спокойно. Он чем-то напоминал мне отца.

Он ушел в другую комнату, легко занимаясь своими делами в моем присутствии, не тяготясь мною. А я стал смотреть на картину. Она висела передо мной. Голые ивы, изогнутые от долгих ветров, черные их стволы. И во сне, ожидая его возвращения, я думал о том, как хорошо бы попасть в такой ивовый лес с ним вместе. И как вкусно он приготовил бы колбасу в огне костра. Как он не торопился бы ее есть не поджарив. А я всегда тороплюсь и ем что попало и как попало. А он бы ее хорошо приготовил.

Я все ждал, когда он вернется, но тут пришел матрос Рабов и заорал в дверь: «Вам на вахту!»

Я вскочил и сразу ощутил обиду и сожаление о том, что не досмотрел сон, не дождался Хемингуэя, не попрощался с ним. Был один час пятьдесят минут 24 августа. Я видел очень отчетливый сон, такой реальный, какие я редко вижу. И мне все время было обидно, пока я натягивал сапоги, ватник и фуражку. Потом я зашел в галльюн, думая о том, как не боялся писать о таких вещах, как галльюн, Хемингуэй, и поднялся в рубку.

Шторм перестал.

Воздух прояснел за то время, что я спал. И в нем очень ясно горели огни судов сзади и справа. И огни казались уже ненужными, потому что рассветало.

От горизонта до зенита полосы туч и полосы чистого неба чередовались. Темно-фиолетовые тучи лежали на самом горизонте. Над ними светилась ярко-оранжевая полоса рассветающего неба. Потом шел слой узких и четких, как стрелы, туч. Над ними — желтая полоса, блистающая холодным атласом. Еще выше — густой слой растрепанных, сизых, беспорядочных облаков, в просветах между которыми нежно светилась голубизна.

По медленно качающейся воде бежали к судну желтые и голубые блики, но эти блики не могли сделать воду светлой. Она была по-ночному густой и темной.

Блики только скользили по ней, не просвечивая в глубину.

— По правому борту виден остров Матвеева,— сказал мне Малышев.

— Мигает? — спросил я про маяк на этом острове. Мы вторые сутки не имели определений.

— Нет. Просто торчит. Рикки-тикки-тави.

— С чего ты?

— Мы вспоминали сейчас, как звали эту мангусту, и я наконец вспомнил... Возьми пеленга на оконечности Матвеева или сделай крьюйс-пеленг по маяку.

— Есть,— сказал я. Мне хотелось, чтобы он меньше говорил и скорее ушел из рубки, оставил меня одного, чтобы дольше не рассеивалось то ощущение, которое оставил во мне сон, встреча с Хемингуэем.

— Флагман опять не выходил на связь,— сказал он.

От пронзительного северного рассвета в рубке было холодно.

— Сходи вниз, там чай есть и каша, а я журнал запишу,— сказал Малышев. Как настоящий моряк, он никогда не торопился уходить с вахты, хотя время его и закончилось. Не следует показывать свою усталость и желание залезть в тепло койки.

Я спустился в кают-компанию, попил чаю и поел каши «сечка», все продолжая тревожно и радостно вспоминать свой сон. И вспомнил еще одну деталь — Хемингуэй угощал меня коньяком. Пожалуй, я первый раз пил спиртное во сне.

Было приятно сидеть за столом, который больше не качался. От качки, как ни привыкай к ней, все-таки устаешь.

Потом я принял вахту, взял пеленга на оконечности Матвеева и проложил их на карте.

Возле острова были отмечены шесть затонувших судов. Я представил, как они в тумане натыкались на скалы и гибли. Или наоборот, как они спешили к этому клочку суши, имея в трюмах пробоины. Как они успевали добежать к острову, и люди спускали вельботы, а корабли опускались на дно возле скал. Наверное, большинство судов погибло здесь во время войны. Я всегда думаю о погибших кораблях, когда вижу на карте значки, обозначающие их. Эти корабли кто-то когда-то победил. Или их победило море, или другие люди.

Раньше люди мало занимались философией побеж-

денных. А теперь Экзюпери с его: «Побежденные должны молчать. Как семена». И Брехт с его: «Самое главное — научить людей правильно мыслить... Побежденные должны помнить, что и после поражения растут и множатся противоречия, грозящие сегодняшнему победителю». Хемингуэй, тот всю жизнь только и занимался философией тех, кто побежден, но все равно победил. Сегодня все больше становится ясно, что нет побежденных и победителей в мире.

Море вокруг было такое же старое, темное и тяжелое, как герой моего сна. И волны были жилисты, как бицепсы старых боксеров. Но их удары были слабы, как удары старых боксеров. И можно было не лазить в трюм, чтобы проверять крепление груза.

ВАЙГАЧ

В девять часов утра 24 августа 1964 года наши суда втянулись в бухту Варнека на острове Вайгач и стали на якорь кабельтовых в трех от берега.

Стоянка обещала быть короткой. Флагман торопился изо всех сил. И моряки каравана спешили побывать на берегу, купить или выменять у ненцев из поселка медвежьей и оленьей шкуры, вяленого омуля или оленину.

В бухту Варнека редко заходят суда. Транспортам здесь нечего делать, они следуют мимо в пролив Югорский Шар или в Карские Ворота. Изредка забредет в бухту ледокол, подремлет на якоре в ожидании очередного каравана. Ведь за островом Вайгач начинается Арктика. Льды Карского моря зачастую закупоривают проливы. И вот ледоколы ждут караваны у порога Арктики.

Уже много веков тому назад вдоль берегов Вайгача пролегалла дорога в Карское море русских и иностранных купцов. Особенно здесь было оживленно после основания в 1601 году на реке Таза в Обской губе укрепленного города Мангазея. Из Мангазеи возили шкурки соболя, лисы, белки. А в Мангазею — иностранные товары. Особенно отличалась Англия. Тобольские воеводы всполошились, стали писать жалобы и доносы, ибо терпели от иностранных хороших товаров убытки. Воево-

ды требовали запретить Северный морской путь для всех судов вообще. Мудрым указом царя Михаила Федоровича этот путь закрыли. В те времена указом, вероятно, можно было закрыть и Америку. Ослушникам грозило наказание батогами. А на Вайгаче поселили стражу из пятидесяти человек.

Эти пятьдесят человек были геройскими парнями. Они умудрились так хорошо нести свою службу, что уже через несколько лет Мангазея, где раньше собиралось до двух тысяч купцов в навигацию, пришла в полный упадок и даже исчезла с карт. Как эти ребята ловили корабли, следующие вдаль от Вайгача, среди подвижных льдов, в штормы и туманы, мне непонятно. Как они без радиолокатора обнаруживали эти ладьи, как добирались до них и каким оружием задерживали, мне тоже совершенно непонятно. Одно мне ясно — это были отчаянные ребята.

С какой тоской глядели они на пустынные, мертвые берега острова, когда плыли в первый раз по мертвому морю. Как сложили они для себя избы-станки, как болели цингой, какие красные были у них глаза от огня и дыма ворваньего светильника. Как выла пурга за стенами изб. И как в эту пургу шатались они по мысам и выглядывали в море корабли-нарушители. И как, прыгая со льдины на льдину, выбрасывая из глоток клубы пара и фонтаны ругани, потрясая пищалками и алебардами, спотыкаясь и падая в полыньи, подбирались они к иностранной ладье и совали в нос кормщику царев указ. Крепкие это были солдатушки. Мир праху их! И сейчас-то жить на Вайгаче тяжело. И зимовщикам здесь платят столько же, сколько тем, кто зимует в Центральном полярном бассейне.

Мы пришли на Вайгач в разгар лета.

Был солнечный, со слабым ветерком день. В бухте Варнека вода лежала в зеркальной неподвижности. И черные скалы берегов отражались в ней. За скалами виднелась блеклая зелень тундры. И домишки ненецкого поселка, который так и называется — Бухта Варнека.

Я много раз бывал здесь, но матросы не были и просили меня пойти с ними на берег. Капитан разрешил, и я приказал спустить шлюпку.

Со мной пошли боцман, второй механик Калинин и старпом соседнего судна Ваня, длинный, худощавый,

юмористический мужчина, очень похожий на артиста Филиппова. Легкая шлюпка бесшумно скользила по спокойной воде. Вода была прозрачна и холодна. Видны были валуны и осколки скал на грунте.

Мы завели шлюпку в укромную бухточку, вытащили ее далеко на гальку, боясь прилива, и поднялись на ближний тундровый горб. Про те холмы, которые есть в тундре, всегда почему-то трудно сказать именно «холм». Холм слово среднерусское или даже южнорусское. А здесь — горбы, плавные, переходящие один в другой невдалеке от берегов моря. Затем сливающийся в ровную, как стол, тундру. И в этой тундре много озер. Когда видишь тундру с самолета, кажется, что ее беспорядочно бомбили тысячи самолетов. И воронки залила вода. И если есть солнце, то они все блестят под его низкими лучами.

На возвышенности, куда мы поднялись, чавкая сапогами по болоту, ветер был сильнее и холоднее. Он посвистывал в камнях и редких травах. И посвист ветра только подчеркивал вечную тишину и пустынную этих мест. И сразу же мы увидели могилы.

Боже мой, куда ни занесет тебя судьба на Север, везде встречаешь могилы. И это не потому, что здесь умерло или погибло больше людей, чем в остальных краях земли. Нет, на русских полях и в горах Кавказа погибло людей в тысячи раз больше. Но там могилы не так заметны и не вызывают такого щемящего и сильного впечатления, как на Севере. Там взгляд останавливается на деревьях, домах и дорогах, там могилы прячутся в тени кладбищ. А здесь могилы видно издалека, и всегда тянет подойти к ним, узнать о прошлых людях, узнать их имена.

И брэнность жизни и вечность ее окружают северные могилы и бьют по сердцам.

В одинокой могиле, которая вознесена высоко над морем, есть величие человеческого мужества. На Севере, в ледяных пространствах, человек сильнее всего доказал, что он может победить даже одиночество.

Маленькое кладбище в бухте Варнека обнесено слабой загородкой. В центре его высится самодельный памятник двум летчикам, которые разбились здесь. Их имен нет на цементе памятника. Только подлинный самолетный винт чуть качается за оградой кладбища, молча рассказывая об аварии. И только по старости метал-

ла можно определить, что погибли летчики много лет назад. Сам памятник сделан людьми для того, чтобы быть памятником, а винт и лыжи — истинные участники трагедии, потому они действуют сильнее памятника.

Высохшие стебли цветов лежат на могиле летчиков, прижатые от ветра голышом.

Дальше могила, в которую забит здоровенный кол, и на этом колу висит спасательный круг. Краска с круга слезла, снег, дожди, ветер растрепали парусину обшивки, пробка высыпается из дыр. Пожалуй, не следует вешать спасательные круги на могилы моряков. Спасательный круг, который не спас, выглядит насмешкой.

Надпись:

При выполнении боевого задания
в проливе Ю. Шар
10 октября 1946 г.
скончался матрос
Л Ь В О В
Алексей Васильевич.
Спи, дорогой товарищ.
1927—1946 гг.

Ему было бы сегодня тридцать семь лет, этому дорогому товарищу Леше Львову.

И еще одна могила — стальная труба, воткнутая в землю, металлическая дощечка с выбитой точками — зубилом — надписью:

Л Е Д Н Е В
Александр Иванович
17 30
19 $\frac{10}{10}$ 06 19 $\frac{7}{7}$ 41
Ст. пом. кап-на
п/х «Правда»

Я вытащил записную книжку и записал эти имена. Пускай их вспомнят люди.

Кроме посвиста ветра слышался еще голодный лай собак у окраины поселка. Псы сидели на цепях и бесились от тоски в ожидании, когда выпадет первый снег и их запрягут в нарты. Псы вертелись вокруг кольев, к которым были прикреплены их цепи, и тянулись друг к другу, чтобы покусаться, подраться, но цепи были рассчитаны точно, и дотянуться друг до друга псам было невозможно.

Мы постояли у могил, сняв шапки, слушая ветер и лай псов. Мы видели отсюда далеко. Ниже нас рассти-



лалась вся бухта Варнека. И корабли нашего каравана казались отсюда маленькими и слабыми. Видны были и противоположные берега бухты.

Огромное северное пространство окружало нас.

И Ваня все-таки не удержался, по русской богохульной привычке сказал, оглядываясь вокруг, тыча пальцем в кладбище:

— Мест еще много, и вид отсюда хороший.

Мы спустились вниз, и псы совсем с ума посходили от желания сорваться с цепей и познакомиться с нами.

И только один пес — вожак — сидел совершенно неподвижно, повернувшись к нам спиной и презирая нас из всех собачьих способностей, и ни разу даже не повернул к нам башки, не говоря уже о том, что молчал как рыба.

Мы прошли мимо и возле первого домика встретились с ребятенком лет шести-семи. Мальчик это или девочка — понять было невозможно: ребяенок был одет в малицу. Он смотрел на нас безбоязненно, но немножко разыгрывая испуг и удивление. Он спрятался за ящик и как бы прикрывал этот ящик своим маленьким телом. Но ему было очень любопытно, и он все выглядывал из-за ящика, когда мы шли мимо. И раскосая рожица ребяенка была очень смешной, хотя болячки покрывали его губы и веки. Он был грязен, и ему было холодно в одной только малице, надетой прямо на голое тело.

И здесь я пожалел, что не взял у нашей буфетчицы Зои Степановны конфет. Я знал, что у нее есть конфеты, но не подумал о детишках на берегу.

— Эй,— сказал Ваня,— ты чего там прячешь?

И мы заглянули в ящик, который слабо оборонял от нас маленький ненец. В ящике были аккуратно расставлены пустые водочные бутылки, а среди этих бутылок сидел большущий — на полметра в высоту — полярный орел. Орел тихо шипел и гнутым страшным клювом рвал голубые оленьи внутренности и глотал их. Злобные глаза орла косили на нас желтыми зрачками.

Ребяенок испугался, что мы отнимем орла, схватил его, прижал к себе обеими руками и поволок от нас прямо в тундру. Орел был такого же роста, что и ребяенок, орел не доел свою еду и заорал гортанным злобным и жалобным клекотом, шелкая гнутым страшным клювом возле самых глаз ребяенка. Почему он не бил его клювом по голове, по лицу — непонятно. Орел жалобно клекотал и шелкал клювом, а маленький ненец волок его по тундре, мимо навсегда завязшего в мокрой почве трактора, мимо кучи ржавых консервных банок, мимо трупа собаки и деревянных жидких мостков.

Из дома вышел древний старик, весь высохший и потрескавшийся так, как трескается оленья шкура, если долго висит близко от огня.

— Здравствуй, отец,— сказал я.

— Здравствуй, здравствуй,— отвечал старик, щуря глаза на солнце.

Он стоял и смотрел мимо нас, в бухту, на суда каравана.

Второй механик открыл фотоаппарат, навел на старика. Старик сложил руки на груди и стал спокойно позировать.

— Как тебя звать, отец? — спросил я. — Мы тебе карточку пришлем.

— Гурий Павлович, — четко ответил старик.

— Я тебе, Гурий Павлович, обязательно карточку пришлю! — сказал наш второй механик. Он был добрый и искренний парень, и он искренне думал, что пришлет старику карточку из Ленинграда.

— Нет, не пришлешь, — сказал старик и ушел в дом.

А мы пошли фотографировать оленей. Олени стояли запряженные в нарты, четыре в ряд, и никого возле них не было, и они не были привязаны, наверно, они так стояли со вчерашнего дня, когда их хозяева приехали в поселок на свадьбу. Это были добрые и теплые звери. Когда я хотел погладить одного по морде, он мотнул головой в сторону, и его рога ударились о рога соседа, а сосед ударил соседа, и тот сосед ударил рогами по рогам следующего соседа. И рога тихо, костяно звякнули. А олени смотрели на нас большими грустными глазами, покорные и безропотные.

Мне всегда бывает жалко северных оленей. Они как будто с самого рождения знают о том, что им рано или поздно перережут глотку, сварят и съедят. Коровы не знают, овцы тоже не знают, и бараны не знают, а северные олени, кажется, всегда помнят об этом. И как бы заранее не возражают против такого конца — из уважения к людям.

Возле следующего дома стоял маленький олененок в цветастом ошейнике, привязанный к бревну. Рога олененка недавно спилили, кочерыжки замазали краской, из-под краски выступила и запеклась кровь. По молодости лет олененку дали мешок с травкой, и он жевал ее, когда я подошел к нему. Он сразу сунулся головой мне в руки. У него, наверно, саднили обпиленные рога, и они чесались, заживая. Я осторожно почесал между рогами, ему стало больно, и он отклонился, очень деликатно. И сразу опять посунулся головой мне в руки, когда я собрался уходить.

А людей на улице поселка не было. Два ряда домов

казались неживыми, пустынными. Очевидно, после свадьбы все еще спали.

Дерево домов, столбов и мостков, как везде на Севере, было бело-серое, альбиносное. Цвет из дерева выбит стремительными ударами бесчисленных снежинок, дождями, ветром. И небо здесь к осени тоже выцветает. И солнце бывает белесым даже на закате и восходе. И дерево — под стать ему. Это не оранжевый и лиловый цвет сосновых стволов, и не зеленоватый цвет ольховых бревен, и не желтые еловые доски. Здесь дерево цвета серой промокательной бумаги. На него грустно смотреть. Его привезли сюда из-за тридцати земель, и оно тоскует по родине, все эти бревна, доски и столбы, которые где-то и когда-то кудрявились листвой и шелестели под ветром в лесах...

Я зашел в один из домов. Мне хотелось посмотреть, как живут там ненцы, привыкшие к чумам и кочевью.

В комнате прямо на стуле лежала недавно освеженная оленья туша. Возле туши стоял белый эмалированный таз с оленьей кровью. Кровь была совсем свежая, она еще пузырилась. На стене висела акварельная копия шишкинской «Сосны». На подоконнике лежал толстый и растрепанный роман «Абай». И больше в первой комнате никого и ничего не было. А во второй комнате на полу постелены были шкуры. Под шкурами спала пожилая женщина и человек пять детишек. Дышалось здесь тяжело. Я тихо вышел.

Спутники мои куда-то пропали. Стая молоденьких щенков бросилась мне под ноги. Я переворачивал их вверх ногами и трепал по брюху. Не надо было этого мне делать. Щенки оказались так непривычны к людской ласке, что уже не отставали от меня. Они носились вокруг, переворачивались пузом вверх, лаяли, скулили и требовали ласки. Им ужасно хотелось игры. Они пришли в такой ажиотаж, что стали кусать друг друга за уши. А я не мог погладить и потискать всех.

У одного из щенков к ошейнику был привязан бубенчик. И по тому, что у него были ошейник и бубенчик, я понял, что когда-нибудь он будет вожаком. Честное слово, я сам понял это, когда сзади кто-то сказал:

— Вожак будет.

Это сказала мне женщина, одетая по-европейски. Она была даже в туфлях, хотя по мокрому болоту ходить можно только в сапогах.

А этот щен с бубенчиком был очень мускулистый, гладкий, довольный своей молодостью. И он знал, что сильнее и красивее других, но покамест не использовал по молодой глупости свои преимущества. Он еще был демократом в коллективе других щенков.

Если говорить честно, я хотел этого щенка украсть. У меня давно есть мечта — завести себе настоящую сибирскую лайку. Чтобы она жила со мной в Ленинграде, чтобы ей было жарко летом, чтобы она любила меня, была злой, но для меня доброй, чтобы она выла и плакала, если я умру вперед нее или куда-нибудь уеду от нее. И чтобы я так любил ее, что, если она умрет вперед меня, я тоже бы плакал. Это глупо все, но я на самом деле давно так мечтаю.

— Вожаком будет,— повторила женщина. И я понял, что не смогу украсть этого щенка с бубенчиком. Не хватит совести.

— Вы невеста? — спросил я.

— Нет,— засмеялась она.— Я только в гости приехала.

— Почему из бани дым идет? — спросил я.

— Вы здесь уже бывали? — спросила она меня в ответ.

— Да,— сказал я.

— По-моему, я вас уже видела.

— Вряд ли. Я здесь давно последний раз был. И вы здорово младше меня.

— Когда? — спросила она.

— В пятьдесят пятом я здесь отстаивался.

— С караваном?

— Да. Только я тогда на рыболовных судах шел.

— А все-таки я вас помню. Я вас где-то видела. Я в Хабарове интернат кончала. Я теперь учителем в Амдерме работать буду. Я вас точно помню. Вы мне какао пить давали.

— Какао? — переспросил я, чтобы выиграть время.

— Ага.

— Чертовщина,— сказал я, польщенный в то же время тем, что здесь, на краю земли, кто-то меня знает.

Мне пришлось когда-то идти отсюда, из бухты Варнека, в пролив Югорский Шар, в становище Хабарово, вообще без карты. Приказали мне идти на сейнере на полярную станцию, потому что считалось, что я лучше других капитанов в караване знаю эти места, Арктику.

И я дошел нормально, но потом, как моряки говорят, обсох там, в Хабарове.

Я очень смутно помнил то свое приключение. Помнил только, что какой-то человек крутился на турнике возле полярной станции. И еще помнил двух девушек-медсестер из красного чума. Они пришли к нам на судно в гости, когда мы не могли сойти с обсушки, а нам било в корму тяжелым накатом. И я все пытался связаться по радиации с флагманом каравана, но высокие каменные мысы не пропускали радиоволн, и никто мне не отвечал. И растерянность была ужасная — я тогда первый раз в жизни шел капитаном.

Я помнил, что девушки-медсестры были удивительно скромные, хорошие, настоящие подвижницы. Они поехали из родных своих вологодских и новгородских мест на Крайний Север, чтобы привить ненцам культуру и основы сегодняшней медицинской науки.

А когда они оказались у меня на судне, они прижимали свои длинные платья к коленкам, сидели, распаренные котлетами, и пили какао, и им очень не хотелось уходить.

И еще один гость у меня тогда был на борту — мальчишка-ненец лет десяти. Он с нами вместе возился в прибое, когда мы заводили с кормы швартов на валун, чтобы судно не развернуло бортом к накату.

И вот оказалось, что тот мальчишка и стоящая теперь передо мною женщина — одно и то же существо.

— Вы мне какао давали, а я непривычная к нему была, не хотела. Мне больше чай нравился, — объяснила женщина. — Я вас хорошо запомнила. Вы мне книгу подарили. Рассказы Рабиндраната Тагора.

— Очень приятно теперь вас встретить, — сказал я. — Шкур оленьих у вас тут ни у кого нет?

— Есть, но невыделанные все, протухнут сразу. У нас-то здесь холодно, а вы их домой не довезете.

Я увидел своих ребят, они возвращались к шлюпке.

— Ну, прощайте, будьте счастливы, — сказал я. — Может, и еще судьба сведет.

— Спокойного плавания! — пожелала она мне.

Матросы уже скрылись за береговым обрывом, и я шел по тундре совсем один. И вдруг увидел, как много вокруг цветов. И колокольчики, и пушица, и незабудки, и желтенькие какие-то. Очень нежные, прозрачные цветы в холодном воздухе, на холодной, мокрой земле.

Громко кричали над бухтой чайки.

Жизнь была вокруг, много жизни.

Я шел мимо кучи оленьих костей и ржавых консервных банок и думал о грязных здешних ребятишках. Они грязны, но в этом то презрение к собственному телу, без которого не заставишь себя шагнуть навстречу смраду, вырывающемуся из медвежьей пасти. Им наплевать на лишай. Пускай мальчишка мал ростом и грязен, но кто может сегодня похвастать тем, что его сын рос в обнимку с орлом, таскал орла по топкой тундре, прижав к груди, сердцем в сердце, слушал с рождения гортанный злобный и жалобный орлиный клекот?

Я только что видел старые могилы и все еще слышал собачий лай и посвист ветра в выветренном камне. И почему-то думалось о том, что нет на свете отдельно жизни и отдельно смерти, а есть что-то безнадежно перепутавшееся между собой, и что нет нужды и смысла разбираться во всем этом. А надо жить проще и не бояться смерти, как не боятся ее северные олени и ненцы.

Матросы уже спустили шлюпку, они замерзли и сильно навалились на весла.

Вода стала еще прозрачнее. И глубоко внизу видны были плавно извивающиеся водоросли.

ЛАБЫТНАНГИ — ЛЕНИНГРАД

1

Через две недели мы играли в преферанс в мрачном общем вагоне поезда, идущего от станции Лабытнанги в Сейду по тундре.

Нам не хотелось играть в карты и пить водку, потому что мы здорово устали, сдавая в Салехарде суда речникам. Всегда, когда сдаешь судно, что-нибудь в нем оказывается не в порядке и всегда чего-нибудь не хватает из имущества. У меня не хватило пары кирзовых сапог, которые стибрил коротышка-боцман (за что его побили матросы), двух весел к спасательной шлюпке, ключей от трюмов и еще двадцати — тридцати наименований.

И вот пишешь акты и проклинаешь приемщиков и

какого-нибудь Ероху, у которого сам принимал с недостаточей, а потом отмечаешь с приемщиками, стараешься по-всякому надуть их, и они в конце концов рвут акты, машут безнадежно рукой, и вы расстаетесь с ними без раздражения, но и без желания опять встретиться. И так торопишься после этого скорее уйти с борта, что даже забываешь попрощаться с судном.

А когда ты болтался в море и вышагивал по рубке свою вахту, то был близок к судну и думал о том, как тяжело будет с ним расставаться. Твое судно переваливало очередную волну, крихтя всеми своими сочленениями, ты любил его, невольно плечом подпирал стенку в рубке, помогая ему перевалить волну, и даже говорил с ним. И без всякой сентиментальности при этом. И иногда казалось, что судно оборачивает к тебе свою длинную морду и косит на тебя взглядом так, как делает это добрая лошадь, когда ждет похвалы от всадника за искреннее усердие.

А когда акты уже подписаны, ты торопишься скорее уйти, чтобы приемщики, чего доброго, не обнаружили, что яйца, которые ты сдал в количестве двухсот штук, возможно, уже протухли. И еще ты торопишься на катер, или машину, или на поезд, чтобы лишние сутки не валяться в залах ожидания на станции Лабытнанги, чтобы опередить других своих товарищей, перегонщиков, и первым достать билеты.

Ты хватаешь свой чемодан, дергаешь ящики в каютном столе, видишь в них только старые журналы, старую зубную щетку и старые, не нужные больше накладные. Ты вроде бы ничего не забыл. Но тут вдруг бросает на тебя с каютной переборки взгляд женщина, которая плыла с тобою рядом от самого Ленинграда, какая-нибудь Мерлин Монро. Ты торопливо отковыриваешь кнопки, суешь карточку в карман пальто и драпаешь к трапу.

Идет дождь. На душе погано. Ибо ты оставил каюту с мусором, неприбранную, и совестно еще и от этого. Трап стоит отвесно, очень скользко, рука занята чемоданом, ветер пронзает насквозь.

Всегда, когда летом уплываешь на Север, не верится, что там будет холодно, хотя ты уже двадцать раз испытал это на своей шкуре. И ты слезаешь по отвесному трапу на мокрую глину, чертыхаясь от холода. И уходишь, даже не оглянувшись на свое судно.

За пазухой у тебя много денег, впереди возвращение в отчий дом и период беззаботности. И хотя ты отлично знаешь, что деньги улетучатся очень скоро, а дома ждут тебя только неприятности, но удивительно легко забываешь об этом.

Только после сдачи судна можно так легко, без напряжения, забывать о плохом. Именно этим период после сдачи судна так обаятелен, я даже сказал бы — великолепен.

И еще он прекрасен тем, что ты долго не видел женщин, а на земле их вокруг навалом, и тревожное ожидание необыкновенной встречи переполняет тебя до самых ушей. И опять-таки отлично знаешь, что в купе окажется твоей попутчицей лейтенантская жена, бывшая официантка из полковой столовой, с тремя детьми, но все равно ты весь полон ожиданием прекрасной встречи.

И вот, когда мы сели в общий вагон в Лабытнангах, чтобы доехать до Сейды (это шесть часов), а в Сейде пересесть на поезд Воркута — Москва, доехать до Вологды и в Вологде пересесть на поезд до Ленинграда, — мы встретили прекрасную женщину.

Общий вагон есть общий вагон. В нем полутемно и душно. А когда за окном вагона тянется мокрая тундра, то встретить прекрасную женщину можно только во сне. Но это случилось наяву.

Она проверяла у нас билеты.

Она глядела на нас темными, огромными глазами и ждала с протянутой рукой. А мы тянули резину с этими билетами, чтобы она ушла не сразу, чтобы она подольше смотрела на нас своими глазищами, чтобы она сердилась и еще больше темнела от этого своими глазищами; и мы спрашивали у нее всякую чепуху: давно ли она ездит, есть ли у нее муж, как она выбрала себе профессию. А я, например, от острого недостатка воображения, спросил, что означают звездочки на рукавах ее форменного железнодорожного кителя. У нее было по две маленькие, симпатичные звездочки на каждом рукаве.

— То, что я главный ревизор, — сказала она, надменно и холодно глядя мне прямо в глаза.

— А если одна звездочка?

— Это начальник поезда,— сказала она с тем же выражением надменного терпения.

— Значит, вы старше начальника поезда?

— Да.

— Наш старпом — писатель,— сказал моторист Сергей Сергеевич.

— Напьются, а потом отвечай за вас,— сказала она и сделала дырки в наших билетах.

Ей-богу, я никогда не видел такого интересного лица. Таких загадочных, темных глаз, таких строгих, четких бровей, таких живых, вздрагивающих губ и такого тонкого, чистого овала всего лица.

Есть женщины красивые, но так сразу и ясно, что они дуры, или грубы, или развратны. А в этой была таинственность. И хотелось верить ей себя навсегда и чтобы она поверила тебе себя. И сказала тебе когда-нибудь несколько ласковых слов, перестав быть официальным и главным ревизором поезда Лабытнанги — Сейда. И как ее занесло сюда, такую южную женщину?

— Вы очень красивая,— сказал я, принимая у нее обратно билеты.

Она ответила что-то вроде: «Не ваше дело»,— и ушла.

И сразу, конечно, стало нам пусто и скучно. Никто даже не сказал ничего пошлого. Поговорили только о том, что нам выходить через три часа.

Скоро совсем стемнело, и за окном бежали по тундре ровные квадраты отблесков из вагонных окон. И даже столбов и проводов не было видно. Большинство наших заснуло. Покачивалась в бутылках недопитая водка, качали копчеными хвостами жирные муксуны — закуска. А я почему-то думал о том же, о чем думал весь рейс от Ленинграда до самого Салехарда. О том, что в моей башке совершенно не появляются какие-нибудь умные, новые мысли.

Я вытащил из чемодана книгу Т. А. Шумовского «Арабы и море»,— книгу, полную мыслей и полную поэзии мысли. И читал старинные стихи под стук колес. Эти стихи написал поэт очень далеко от моей северной страны, на испанском языке. Он написал:

«Люблю тебя!» — она сказала.

«Ты лгунья!» — ей ответил я.—

Кого слепая страсть связала,

Того обманет ложь твоя.

Велит мне ум седой и строгий
Не верить слову твоему:
Отшельник дряхлый и убогий
Уже не нужен никому.

Мне показалось — ты сказала
Пустым признанием твоим:
«Свободный ветер я связала,
И он остался недвижим.

Огонь несет с собою холод,
Пылая, движется вода».
Для шуток я уже немолод,
Я отшутился навсегда».

Я все повторял про себя последние строчки и смотрел в темень за окном. Поезд шел сквозь тундру, сквозь тундру. Где-то в этой холодной тьме провел многие годы Шумовский. Возможно, он укладывал на промерзший грунт те шпалы и рельсы, по которым сейчас шел наш поезд.

Раскидавшись, храпели на полках мои друзья.

Возможно, здесь Шумовский твердил про себя эти же строчки: «Огонь несет с собою холод, пылая, движется вода». И видел лицо лукавой женщины, которая способна сказать такие слова. И, быть может, его мечта о такой женщине помогла ему выжить, а потом написать хорошие, умные книги.

Старинные стихи естественно и точно входят в его текст, в дебри арабистики. И автор так любит их, что сам переводит, не доверяя поэтам-переводчикам. И потому там попадаются слабые строки.

Я не ложился спать, потому что надеялся увидеть нашего ревизора. Ведь может же она пройти по вагонам еще раз. Я ждал ее и думал о том, как глупо все получается в моей жизни; что я одинок из-за того, что я однолюб; что небо, вероятно, никогда больше не пошлет мне любви. Я раскисал от тоски, и мне хотелось даже выдавить слезу, но она не выдавливалась. И тут, чтобы добить себя, я стал думать о том, что так никогда и не смогу стать профессиональным, настоящим писателем. Что я не умею читать хорошие книги и учиться по ним писать. Что я могу читать только как самый обыкновенный читатель и мне совершенно наплевать на то, кто и как развивает сюжет и строит композицию. Меня слишком увлекает хорошая книга, даже если я читаю ее в сотый раз. И вообще я никогда не был так счастлив в

жизни, как бываю счастлив, открыв хорошую книгу или смотря прекрасную живопись. Такой полноты мироощущения, такого полного исчезания вопроса «Зачем живешь?» ничто другое не дает мне. И черт его знает, может, в этом и есть главный смысл искусства? Оно приобщает к самым глубоким тайнам мировой гармонии, снимает тоску бесцельности, которая с такой тупой силой иногда мешает жить.

И тут пришла она.

— Кто старший морской команды? — спросила она устало.

Вагон сильно качало. Всегда качает, когда шпалы кладут на вечную мерзлоту.

— Будем считать, что я.

— Сколько вас, морских, едет?

— Присядьте — качает сильно. Хотите выпить?

— Заткнитесь, — попросила она без злости, даже доверительно. Ей было лет двадцать пять, не больше. Она казалась такой хрупкой среди узлов, чемоданов и спящих матросов.

— На Азию смотрит Европа, — сказал я, потому что уже здорово окосел.

— Я спрашиваю: сколько человек в команде?

— Тринадцать.

— Сколько едет в Ленинград?

— Девять.

— В Москву?

— Три, и один в Архангельск.

— В Сейде идите в кассу со служебного входа. Я там буду ждать. Приказано прокомпостировать вам билеты без очереди.

По тому, как она крутила на пальце свои хитрые железнодорожные ключи, мне ясно было, что только служебный долг помогает ей разговаривать со мной спокойно.

— Спасибо. И не сердитесь. Ей-богу, мы хорошие ребята, — сказал я и посмотрел на своих ребят вокруг.

На соседней койке, положив седую голову на пакет с невыделанными оленьими шкурами, тяжело спал моторист Сергей Сергеевич, отставной лейтенант, разведчик, побывавший в Бухенвальде, — человек огромной порядочности, скромности, спокойствия.

Я вдруг обозлился. Иногда бывает полезно искренне обозлиться, чтобы привлечь к себе внимание женщины.

— Слушайте, Лена, Ольга, Инна или Аграфена,— сказал я.— Вы давайте-ка осторожнее на поворотах. Какое вам дело до того, что... На ваши деньги мы пьем? Вы, что ли, болтались с нами вместе от Архангельска до Салехарда?

И этот избитый прием сработал. Она почувствовала себя неудобно, сказала тихо:

— Меня Аня зовут, а не Аграфена,— и ушла.

А я все еще продолжал искренне на нее злиться. Я смотрел на Сергея Сергеевича и видел за морщинами его чисто промытого лица все то, что видели закрытые сейчас глаза нашего моториста. Сколько и чего они видели! Я все хотел точно вспомнить его рассказ о последней разведке, коротком бое и плене. Но я многое забыл. И я ругал себя за свою обычную и безграничную лень. Терпеть не могу что-нибудь записывать, а память начала, очевидно, слабеть. Раньше у меня была совершенно отчаянная память. И никогда я ничего не записывал. А теперь пришла пора записывать, но привычка полагаться на память осталась.

Я смотрел на спящего Сергея Сергеевича и уважал его седины, его морщины, его тяжелые рабочие руки, покойно лежащие на деревянной вагонной полке.

Когда я вижу, как в ночном трамвае дремлет рабочий человек, сложив на ватных штанах усталые, грязные руки, мне всегда совестно бывает, что мои руки не такие. И мне всегда очень дорого бывает, если люди с такими руками относятся ко мне уважительно, и не считают меня чужим, и выполняют мой приказ без раздражения. А что поделаешь, если, в силу того что государство дало мне образование, пришлось много командовать. Я с двадцати трех лет принялся командовать. И должен сказать, что не зря за командирство платят деньги.

Я смотрел на Сергея Сергеевича и вспоминал, как в тяжелых, метровых снегах его взвод выходил из разведки. Как прижали их к реке, еще не замерзшей, черной, дымящейся паром. И Сергей Сергеевич приказал идти и плыть через реку, и приказал снять сапоги, и первый снял их.

Они перешли реку по броду, босые. И он приказал в лощинке развести костер, чтобы обсушиться,— мороз был двадцать градусов. И он знал, что немцы остались за рекой.

Они разложили костер и сунули в огонь свои черные ноги, когда с тыла пошли на них цепью немецкие автоматчики. И Сергей Сергеевич приказал бросать в огонь личные знаки и документы, а потом они еще постреляли немного в автоматчиков, но патроны у них кончились.

Потом их продержали в холодном сарае, без сапог, два дня и вывели, чтобы расстрелять. Построили и чего-то долго ждали.

— О чем вы тогда думали, Сергей Сергеевич? — спросил его я по идиотской писательской привычке.

Он курил, гладил себя по шее. У него не было воображения и была внутренняя честность. Он не мог сокрушить и придумать, а в то же время точно не помнил того, о чем он тогда думал. Но он вспомнил. Он сказал, тихо обрадовавшись тому, что вспомнил точно:

— Я думал, скорее бы, Виктор Викторович. Ноги ужасно болели. Уже никакого сознания от такой боли и не оставалось. Скорее бы, думаю, скорее стреляйте...

И тут прикатил какой-то русский — эсэсовец. Долго смотрел на пленных и приказал не стрелять, а отправить в лагерь. Так Сергей Сергеевич остался жить. Из плена он бежал.

В тяжелых, затяжных, оборонительных боях и в истерике лобовой атаки Сергей Сергеевич показал свое мужество и чистоту своей души. Его уже никто — до самой смерти — не упрекнет в трусости.

А что делать тем, у кого нет такого оправдания?

Быть может, именно потому сегодняшняя молодежь дерзит больше, чем это следует? Дерзить — не самое легкое дело на этом свете. За дерзость кое-чем приходится рисковать...

Я все чаще вспоминаю офицеров, которые преподавали нам в училище. Какой чистой совести были эти люди.

Я помню капитана третьего ранга Хватова. Он преподавал управление артиллерийским огнем. Безжалостно уничтожал он наши надежды на субботнее увольнение в город «гусями», то есть двойками.

Черный, худощавый, желчный и очень талантливый. В прекрасно сидевшей на нем форме; с теми скупыми, точными и пластическими движениями рук, которые принято называть «аристократическими», хотя Хватов был так же далек от любой аристократии, как всплески наших залпов от цели; тяжело больной язвой желудка;

прошедший от Сталинграда до Берлина на бронекатерах речных флотилий, штурмовавший Пинск, севший на мель под Пинском в пятидесяти метрах от немецких «тигров»; прыгавший через отмели на полных ходах вперед, когда сразу после «полного вперед» дается «полный назад» и волна, которую тянет за собой корабль, догоняет его и перекидывает через перекат, а иногда... не перекидывает...

Или преподаватель минного оружия, капитан второго ранга, фамилии которого не помню, весь дергающийся, девять раз подрывавшийся на минах и оставшийся жить, очень злой, часто несправедливый, мелочно-придирчиво требовательный. И его: «В минном деле, как нигде, вся загвоздка — в щеколде». Потом, когда уже на флоте мне пришлось столкнуться с минами, взрывпакетами и прочими штуками, я понял, как его придирчивость воспитывала в нас элементарную верность жизни.

И прекрасно помню нашего комиссара по фамилии Комиссаров и политработника майора Ломакина. Это были настоящие комиссары, которые теперь знакомы молодежи только по книгам. Большевики, гуманисты, вникатели чужих судеб, отцы матросов, больные и израненные, спокойные и опытные.

Я опять отвлекся, но не корю себя. Если кто-нибудь ждал от этих записок сюжетных рассказов, он давно уже обманулся в своих ожиданиях.

Мой рейс закончился. Следовало подводить итоги. Но дорога еще продолжалась.

Не помню, кто из великих мира сего сказал, что Зевса создал народ, а Фидий всего лишь воплотил Зевса в мраморе.

Я смотрел на спящих вокруг товарищей. И знал, что у одного из них возьму те смешные слова и присказки, которые прямо вываливаются из него. Другой подарит мне свою биографию. А третий не даст врать чересчур, потому что я буду совеститься перед ним. И все то, что я напишу в конце концов, отдали мне те люди, с которыми судьба сводила меня.

До Сейды оставалось полтора часа, и спать не было смысла. И я опять листал книгу Шумовского, выискивая кусочки стихов. По-моему, нельзя читать стихи в большом количестве. Я люблю отдельные, самые хоро-

шие строчки, которые попадают в виде цитат среди книг прозы. Они укладываются в мозг и в душе навсегда.

Я читал:

Пусть там дерутся слепые
Цари за кусочки земли,
Мы наших владений границей
Безбрежность морей обвели!

2

От поезда Воркута — Москва уже сильно пахнет цивилизацией. Здесь есть купированные вагоны и ресторан. И в отблесках света за окном уже видны стали березки. Но нам было не до них — мы рухнули в чистые простыни и уснули.

...Аня сидела у меня в ногах и трясла за плечо, когда я наконец проснулся. Шел третий час ночи. И первое, что я подумал, было — не набедокурили ли матросы?

— Вы ко мне хорошо относитесь? — спросила она, убедившись, что я проснулся. Она была вся синяя от ночного света, берет держала в руках, волосы ее растрепались.

— Что надо делать?

— Вставайте и возьмите кого-нибудь из друзей. Мনে тут не справиться одной... Такая история! Пожалуйста! Я поднял Бориса Комптова, и мы оделись. Она ждала в коридоре. Борису я сказал:

— Похоже, пахнет уголовиной. Нужны понятые.

Он не стал ничего уточнять. Мы закурили и вышли из купе.

— Надо обыскать состав, — сказала Аня.

— Откуда начнем? — спросил Борис так, как будто он с самого детства занимался такими делами, и зевнул в кулак.

— Объясните все-таки, что происходит? — спросил я.

Поезд гремел во тьме между Воркутой и Котласом. Казалось, поезд все время летит под уклон. Так мы куда-то торопились.

— Пропали бригадир и проводница из четвертого вагона.

— Начнем с хвоста,— почему-то решил Борис. Было видно, что он совершенно невыносимо хочет спать.

— А куда мог пропасть бригадир? — спросил я.

— Он скрывается от меня.

— Минуточку! — сказал Борис, нырнул в купе и вынырнул с яблоком.— Подкрепитесь, главный ревизор.

Она машинально взяла яблоко и пошла по вагону.

Качаясь на переходных площадках, оглушенный гулом колес, ветром и хлопаньем дверей, я орал в ее маленькое ухо деловые вопросы:

— Почему он скрывается?

— Он... спал с проводницей. Я их накрыла.

— Это... очень большое преступление?

— В служебное время! — воскликнула она.— И это еще не все!

Я пожал плечами. Черт его знает. Если штурман на вахте будет развлекаться с поварихой, судно далеко не уплывет. Только очень уж не женское дело заниматься такими расследованиями.

Мы миновали общий вагон, ныряя под голые сонные пятки, торчащие с полка, и оказались в хвостовом вагоне. Здесь я взял ее за локоть и попросил объяснить суть до конца.

— Он был с одной, а, когда я акт составляла, сказал мне фамилию другой... Я же их всех в лицо знать не могу... И я в акт вписала другую фамилию, невинную... Акт в Москву придет, эту другую вызовут, позорить начнут, а она женщина больная, порядочная... Вот он какой подлец, понимаете? Он прячется; мне в Котласе сходить, а без него акт переписать нельзя... И девушка прячется — та, настоящая... Молоденькая, студентка, кажется, подрабатывает на практике проводницей... А он старый, два раза женатый, трем детям алименты платит... Поймать его надо до остановки, а то сойдет, отстанет и потом скорым в Вологде догонит, а меня уже не будет... — Ей-богу, Аня чуть не плакала.

И мы пошли обратно по вагонам, опрашивая проводниц и проводников, но все говорили, что вообще не видели бригадира. И когда мы проходили наш вагон, то Борис исчез. Детектив не увлек его.

Двери вагона-ресторана на стук не открывали очень долго. Наконец появился парень лет двадцати в белой куртке. Он с большой неохотой и наглой неторопливостью отпер двери, и мы прошли в ресторан.

На сдвинутых стульях, посередине салона, спал пьяный пожилой мужчина.

Качались шторы, позвякивали бутылки в ящиках. Замусоренный пол и грязные скатерти были беспощадно освещены ярким электрическим светом.

Еще один парень в белой куртке и с перебитым носом появился откуда-то. Аня приказала ему открыть кухню.

— Покажите ваш спецдопуск,— ласково попросил парень.

Аня энергично отпихнула кривоносого и открыла дверь в кухню своим ключом. Парни поглядели на меня и отошли в сторону. Я поблагодарил бога за то, что не надел флотской фуражки. Сейчас они принимали меня за оперуполномоченного. Я курил и делал непроницаемый, зловещий, профессиональный вид. Пока это помогало.

— Ага! — сказала Аня.— Хорошенькое дело! На кухне! Ночь! Посторонние! А потом людей заразой кормят!.. Вылезай.

На кухне за баком-кипятильником пряталась бледная девушка в красном пальто и красной фетровой шапочке с бантиком и брошкой. Она не подняла глаз на нас, стояла, прижавшись к стене спиной, и глядела под ноги.

— Вылезай! — опять приказала Аня. Совсем она была сейчас беспощадная. А мне почему-то было неудобно и стыдно.

— Не выйду,— одними губами сказала девушка и сунула руки в карманы красного пальто.

— Еще как выйдешь, голубушка! — сказала Аня.

И девушка двинулась из кухни вызывающей женской походкой, виляя бедрами и не вынимая рук из карманов.

— Со стариком спала — не стыдно было, а теперь глаза тупишь,— сказала Аня, этими словами как бы стараясь поддержать в себе необходимую беспощадность.

Я открыл дверь из ресторана перед девушкой.

— Я с бригадиром не спала, я только рядом лежала,— медленно и угрюмо и как-то задумчиво сказала обвиняемая, проходя мимо.

— То-то они полчаса купе не открывали,— сказала Аня уже для меня.

— Я одетая была, вы сами видели,— сказала девушка и остановилась в тамбуре, оглянулась в еще не захлопнувшиеся двери ресторана. И я заметил, что парни и она успели обменяться каким-то значительным взглядом. «Не здесь ли и бригадир?» — подумалось мне.

— Я вас попрошу с ней побыть,— сказала Аня.— А я за милиционером схожу. Он на этом перегоне подсесть должен. Теперь еще и с рестораном разбираться придется.

— Хорошо,— сказал я.— Побуду,— мне все-таки хотелось узнать, чем все это кончится.

Аня ушла; я остался с девушкой в красном пальто среди шума вагонного тамбура.

Она опять прислонилась спиной к стене и все не вынимала рук из карманов. И в этой ее позе было презрение и презрительное терпение. Она молчала непроницаемо и, по-моему, без большого напряжения.

Поезд сбавил ход, мелькнули и пропали за окном двери огоньки стрелок, громыкнули колеса на стыках. И опять увлекающе загудел паровоз, наращивая свой бег в глухой северной ночи.

Минута тянулась за минутой, я не выдержал паузы, спросил:

— Где бригадир?

— Не знаю.

— Знаете?

— Докажите,— сказала она лениво и нахально.

Она также принимала меня за определенного сотрудника. И она, кажется, уже имела опыт разговора с ними. Имеющие такой опыт не торопятся отвечать. И еще было в ней что-то такое, что тревожило меня. «Чего я-то ввязался? — думал я.— На кой черт это нужно? Воюю пока что с двадцатилетней девчонкой...»

Бывают такие странные девицы, они годами поступают в жизни совершенно импульсивно и, когда вдруг грянет гром, с огромным изумлением оглядываются вокруг. Где они? Куда занесла их судьба? И как теперь отсюда выйти? И ужас залезает им в души, ибо ранее инстинкт до такой степени превосходил в них разум, что и жили-то они, как бы совершенно не осознавая окружающего. И вдруг проснулись в кровати старика и к вечеру, проглотив пакетик люминала, спят уже в больнице, а к следующему утру лежат в морге. Такие обычно плохо учатся, и подруг у них мало, и они до смерти

любят сладкое, рано физически зреют и производят впечатление очень спокойных, устойчивых в психическом смысле девушек. Они могут совершить героический подвиг — спасти из пожара ребенка, например. И не заметить этого подвига. Удивленно глядеть на тех, кто хвалит за него. И вдруг понять совершенное ими же недавно в огне, заново пережить страх и заболеть от него. Я стал думать, что эта девушка такая, что ее обманул бригадир, посулил интересное путешествие, развлечение, посадил на ступеньку вагона, и она поехала, даже не позвонив в свое общежитие по телефону...

Вернулась наконец Аня с милиционером — добродушным, огромным украинцем. И все мы прошли в служебное купе. Было четыре часа двадцать минут ночи по местному времени.

Девушку усадили к окну, и милиционер задал ей несколько вопросов: из какого она вагона, давно ли ездит с бригадой, откуда сама?

Она молчала и глядела в потолок.

Милиционер совсем не сердился. Он-то знал, что все на свете суeta суeta и все, что надо, девушка рано или поздно скажет.

Тут ворвалась в купе старая, страшная неврастеничка проводница. Она кошкой метнулась к девушке и успела вцепиться той в волосы. Мы с милиционером ухватили проводницу за руки, но разжали их не сразу.

По изможденному лицу проводницы текли слезы злобы. Она вырывалась, кусалась и причитала. Именно ее бригадир выдал за свою ночную спутницу, и ей грозил срам и позор по прибытии в Москву. Я не мог не подумать о том, что исчезнувший бригадир не лишен юмора. Он мог легко доказать невозможность своего грехопадения с проводницей, фамилию которой он вписал в акт, — она была невинна уже много лет, и это не вызывало сомнений. Тяжелая одинокая жизнь перепахла ее лицо, и тело, и душу. Типичный представитель коммунальной квартиры, из-за которого десятки людей не живут, а тонут в трясине истерик, провокаций, злобной мстительности, зависти и всех других человеческих пороков. Но если заглянуть в нутро такой женщине, которая работает тридцать лет проводником в общем вагоне поезда Воркута — Москва, если посчитать ее беды и горести, и погибших ее родных, и так далее, то простишь ей почти все.

Она затихла в наших руках, схватилась за сердце, сникла, сказала:

— Доктора на соседнюю станцию вызывайте, доктора!.. Укол!..

Мы уложили ее. Незаслуженно брошенное подозрение в распутстве могло привести ее на тот свет. И это было уже не смешно. Но что тут будешь делать?

— Ах ты дрянь! Низкая ты девчонка! Из-за тебя человек помрет! — кричала Аня на девушку в красном пальто.

— А я при чем? — наконец открыла та рот.

— Твой хахаль ее фамилию вместо твоей вписал! Ты что, не слышала? Теперь скажешь, что не знаешь? Ничего! Ничего! Ты еще стыдом по уши умоешься! Еще на открытом собрании тебя из студентов исключать будут! Тебя спрашивают! Где бригадир? С какого сама вагона?

— Я не проводница, — сказала девушка и расстегнула пальто. — Я так еду, обыкновенно...

— Где вещи? — сразу заинтересовался милиционер и перестал поливать проводницу водой из графина.

— В ресторане, у рабочих с кухни, — прошептала девушка.

— Где села? — быстро спросил опять милиционер.

— В Воркуте.

— В какой кассе билет брала? Ну, тебя спрашивают! В правой или левой?

— Не помню...

— Ага, — сказал милиционер. — На улице касса или в вокзале?

— Не помню... Я не сама билет брала. Мне брали.

— А почему проводницы тебя запомнили, когда еще из Москвы ехали?

— Я из Москвы этим же поездом ехала.

— И сразу назад? День побыла, за тридевять земель съездила, и назад сразу?

— У меня там деньги украли.

— Зачем ездила?

— В отпуск.

— Какие вещи в ресторане, как они выглядят? — спросил и я, вспомнив, что отец был следователем.

— Чемодан черный.

— Сходите с ней за вещами, — сказал мне милицио-

нер.— А я до машиниста доберусь. Как бы старуха дуба не врезала.

— Идемте! — сказал я девушке.

— Я их боюсь,— сказала она, опять став флегматичной и теряя интерес к происходящему.

— Надо,— сказал я. И мы пошли.— Вы на самом деле студентка? — спросил я.

— Да.

— А где билет?

— Нет билета, вру я все,— сказала она.— Меня ссадят?

— Похоже на то,— согласился я.

Дверь вагона-ресторана оказалась опять закрытой. Я постучал сильно и властно. Открыл тип с перебитым носом.

— Только работать мешаете,— пробормотал он.

— Черный чемодан — живо! — сказал я.

— Какой чемодан? — спросил он.

— Мой,— тихо сказала девушка.

Он фыркнул и вынес чемодан, поставил его и ушел на кухню. Девушка глянула на чемодан и начала бледнеть. Она глядела на открытый замок. Один замок был закрыт, а другой отскочил. Она взяла чемодан за ручку и приподняла его. Господи, какой страх, какое отчаяние отразилось на ее лице.

— Там совсем пусто,— пролепетала она.

— Скажите, что там было?

— Туфли были, кофточка, юбка шелковая...— перечисляла она, бросаясь возле чемодана на колени, открывая его, копошась в тряпках.— Поверьте! Господи! Какие мерзавцы! Какие мерзавцы! И сапожек нет!

— Здешние парни? — спросил я, трясая ее за плечо, потому что она уже ни на что, кроме своего чемодана, не обращала внимания.— Здешние?

— Никто другой не мог!

— А бригадир где?

— Не знаю! — теперь она не врал.

— Тащи за мной чемодан,— сказал я и вошел в салон ресторана. Уходить отсюда было нельзя. Надо было следить за этой шпаной. Но кто им мешал давно переправить вещи в другой вагон? И кто им мешал в крайнем случае выкинуть их в окно, если бы они серьезно опасались обыска? Но они знали, что девушка сама задержанная, ей не поверят и вряд ли будут тратить время

на розыски ее шмуток. Они все это знали точно. И этим были еще омерзительнее.

Я попытался разбудить спящего на стульях мужчину. Это оказалось безнадежным делом.

Тогда я сказал парням, что сейчас в поезд сядет опергруппа. И что, если они хотят кончить дело в тишине, пускай вернут вещи.

— Вы ее больше слушайте! — сказал парень с перебитым носом. — Разве таким верить можно?

И он говорил правду. Никто, кроме, пожалуй, меня, ей ни в чем бы не поверил теперь. Теперь следовало не верить, а проверять, тщательно и длинно.

— Какие мерзавцы! Какие вы мерзавцы! — все повторяла она. Пожалуй, еще раньше они получили с нее что-то вроде платы за укрытие.

Я взял ее чемодан и повел в служебное купе. Теперь она не совала руки в карманы и не виляла бедрами. И в первом же тамбуре разрыдалась судорожно и безнадежно.

— Отец есть? — спросил я, чтобы отвлечь ее.

— Нет, — рыдала она. — Нет, нет, нет...

— Не реви, — пробовал утешить я. — Вещи найдутся обязательно. За этим я прослежу...

— В тюрьму бы лучше, чем это! — сказала она, кивнув на двери вагона, в котором помещалось служебное купе.

— Зачем ты ездила в Воркуту? — спросил я. Я знал, что только без свидетелей она может выдавить из себя хоть миллиграмм правды.

— К отцу, — сказала она.

— Ты только что сказала, что его нет.

— Я ездила искать его... Он где-то там... И у меня украли деньги, честное слово!

— Тебе хватило бы на билет, если продать шмутки... И зачем тебе было нужно так много вещей? И зачем тебе надо было путаться с бригадиром?

— Я с ним не путалась. Он хотел, но я нет. Лучше в тюрьму, чем это.

Больше она не говорила. Правда, ее больше ни о чем и не спрашивали. Ее ссадили на первой остановке и занялись пломбированием ресторана, а я пошел спать. Но мне мучительно было на душе и потому не спалось. Черт его знает, что я должен был сделать, кому помогать, кому верить и за кого вступаться. И я думал о том, как

все быстро и безнадежно зашутывается, если даже один человек один раз сойдет другим людям. Какая тут начинается феерическая неразбериха!

Уже светало, когда заглянула Аня. Она стала неинтересной мне, но я шепотом, чтобы не разбудить Бориса и других моих попутчиков, спросил о девушке и предложил Ане чай.

Вещи оказались выброшенными из поезда, их подбирали обходчики. Улик против парней из ресторана не было. Бригадир ждало возмездие. Директора ресторана тоже. И Аня была довольна. Она выполнила свой долг главного ревизора. А в чем был мой долг?

— Чего ради вы меня-то впутали в эту историю? — спросил я.

— Вы же писатель, — сказала она. — Мне моряки точно объяснили, что вы писатель. Мне ваша песенка из «Пути к причалу» нравится.

— Я к этой песенке не имею никакого отношения, — сказал я. — И при чем здесь то, что я писатель?

— Вам бы мне отказать стыдно было. Не каждого ночью из постели вытащишь.

— Что сделают с девушкой? — спросил я.

— Вернут вещи, сообщат на работу или в техникум и отправят на все четыре стороны... Мало ее наказывали в детстве. У нас строже, — сказала Аня.

— Где у вас?

— В Осетии. У нас много еще осталось старого. У нас и пережитки есть. Меня первый муж украл, похитил. В горы увез. Прямо с экзаменов в десятом классе. Только через три года я от него удрать смогла... А здесь уже восьмой год живу. Муж у меня военный летчик. И сыну восемь. Хотите, карточку покажу? — И она показала мне карточку доброго круглолицего русского парня в военной форме. И карточку сынишки.

Мне уже хватало впечатлений.

Я рад был, когда показались пригороды Котласа и Аня ушла.

Пожалуй, я впервые почувствовал, что здорово устал за рейс. Дороги требуют напряжения, даже когда не попадаешь в большие шторма.

На верхней койке поселился капитан с нашего каравана Ижов, очень обходительный, сильно пожилой

человек, начавший плавать чем-то ниже юнги еще в середине двадцатых годов. Он проснулся, когда хлопнула дверь за Аней, протер глаза, свесился с полки, глотнул пива из горлышка, сказал:

— Доброе утро, Виктор Викторович! Как спали?

— Хорошо,— сказал я.

— А мне сейчас бабушка снилась,— сказал капитан Ижов.— У моей бабушки было имение недалеко от лермонтовских Тархан. И однажды великий князь приехал,— бабушка хотела имение продать. Так вот, князь посмотрел и покупать отказался. Сказал, что такого имения нет у самого царя и ему, великому князю, оно тоже потому не пристало. И сейчас мне бабушка приснилась.

— Трогательно,— сказал я.

— Бабушка умерла в Швейцарии,— сказал Ижов.

— Еще несколько лет назад о таких вещах молчали в тряпочку,— сказал я.

— Я тоже молчал,— согласился Ижов.— Я прожил трудовую жизнь от кия и до клотика. И хотя мог ударить к бабушке тысячу раз, даже не думал об этом никогда... А теперь жаль стало старушку — одиноко ей помирать было... Внизу есть еще пиво?

Я подал ему бутылку.

— А знаете, какое мое первое поручение было, когда я первый раз на судно пришел? — спросил он, пускаясь в воспоминания.— Гуся капитан приказал отнести его любовнице. Это же в голодные годы было. И вот я марширую по Питеру с гусем, а гусь возле Казанского собора от меня драпанул...

Но это я слышал уже сквозь сон. Сложности российской жизни сморили меня окончательно.

3

Была тьма и осенняя слякоть в Ленинграде, когда мы вышли из вокзала к стоянке такси, отягченные авоськами с копченым муксуном. Муксун ехал к нашим домашним. Он провисел всю дорогу за окнами вагонов и прокоптился еще больше паровозным дымом.

Разбираясь с машинами и выясняя, кто куда едет, мы как-то даже и не попрощались толком, хотя здорово привыкли друг к другу за перегон.

У меня было паршивое настроение. Не люблю я появляться домой под утро. И недавняя история с девушкой в красном пальто все не отпускала меня. Я думал о том, что мои попытки вмешательства в жизнь всегда бессмысленны и незаконченны, как и эта. Хорошо, что я хоть теперь понимаю это, признался в этом.

Я ехал по пустынному ночному Ленинграду, курил, сидя на заднем сиденье машины, и не мог отделаться от строчек Маяковского, которые бесконечно повторялись в голове: «Море уходит вспять... море уходит спать... море уходит вспять... море уходит спать...» Неужели все люди страдают от таких идиотских штук?..

На пустынном Невском слабо блестели лужи. Моя дорога заканчивалась. Позади остался обычный, спокойный — без происшествий и приключений — перегонный рейс. Наш СТ-760 сейчас торопился за целинным хлебом по огромной реке к Алтаю, туда, где Бия и Катунь, сливаясь, дают начало Оби, а может быть, наш СТ-760 свернет в Иртыш, воды которого катятся к Карскому морю от самой китайской границы. СТ-760 видит Новосибирск и Омск, Томск и Тюмень, Тобольск и Барнаул. Мы привели его в привольные места. И сделали это хорошо, без аварий и лишних затрат. Приятно, когда работа сделана хорошо. В этом есть утешительное.

Такси выехало к Неве, и у поворота к площади Труда я увидел свою родную набережную. Она пряталась в ранних утренних сумерках за мостом Лейтенанта Шмидта.

Вот круг и замкнулся. Привет тебе, набережная Лейтенанта Шмидта! Рано или поздно, по воде или по суше — я возвращаюсь к тебе. И хорошо бы сейчас выпить с тобой, но мама не любит, когда от меня попадает при возвращении.

Я видел возле набережной низкие силуэты спящих судов. Это были такие же, как и наши, самоходки. Они стояли в несколько рядов, носом к мостам. И ждали, когда их поведут в Салехард, на Енисей, Колыму или на Лену.

В здании ЮНЕСКО в Париже есть фреска Пикассо. На фреске есть знаменитая фигура человека, летящего вниз головой. Я спросил Пикассо, что это означает.

— Искусствоведы исписали тонны бумаги, объясняя символику этой фигуры. Одни говорят, что это падение Икара. Другие — низвержение Люцифера с небес.

Пикассо наклонился и вполголоса закончил:

— Только между нами, Кусто: я просто хотел изобразить ныряльщика.

Жак-Ив Кусто, «Живое море»

Первый и последний раз я изображал низвержение Люцифера в трехболтовом скафандре на Кольском заливе. Офицеры плавсостава спасательной службы должны были нырнуть метров на двенадцать, найти на грунте белую эмалированную кружку и вынырнуть.

Я рвался за борт со всем пылом двадцати двух лет, хотя водолазное белье было липким от подводного трудового пота, шерстяная шапочка пришлась бы впору Сократу, а ватные брюки доставали до подмышек.

Мороз стоял возле двадцати, а вода минус один. Туман и слабый снег. Отливное течение и мелкие льдины.

Здоровенные водолазы-костюмеры встряхнули меня в скафандр, который прозаически называется «рубашкой». Я скользнул в рубашу юркой килькой, остря на пропалую, и заметил запах гроба. Резиновый, с отделениями для рук и ног, но гроб.

Потом были надеты свинцовые ботинки и свинцовые грузы, отлитые в форме сердца мамонта. Потом было неэстетично: толстые веревки пропускают между ног и обтягивают веревками грузы — в шесть рук, упираясь тебе в зад коленками. Несмотря на шерстяное белье, ватные брюки и резину рубахи, кажется, веревки разрезают тебя пополам. И подозреваешь: ребята стараются специально, чтобы поучить новичка. Но это ерунда — так нужно: под водой воздух будет раздувать скафандр, веревки ослабнут, и грузы могут сместиться.

Потом на плечи был возложен шлем, отскрипели свое болты и лицевой иллюминатор, зашипел воздух, шевельнулась чешуя резины, и было предложено шагать к трапу. На пути меня ласково поддержали, а у кормы развернули спиной к воде.

Сто килограммов свинца и меди гнули хребет в дугу.

За борт полетела кружка — с камнем, чтобы очень далеко отнесло течением. И — бах! — руководитель спуска гаечным ключом стукнул по меди шлема — пошел, лейтенант!

Тяжесть исчезла, как только я погрузился до шлема. Я обрадовался и бодро завертел головой, раздуваясь, как лягушка.

— Травите воздух! Так вас и так! — заорали мне в телефон.

Тут я сконфузился, потому что вспомнил: следует не плавать в черной воде и не разглядывать снежинки, прилипающие к стеклу иллюминатора, а тонуть.

С поспешностью надавил затылком клапан и — уть! — утюгом провалился в холодную жижу. Уши схватило болью. И я порвал бы себе перепонки, если бы меня не задержали страховочным концом. Перед самыми глазами оказался винт родного корабля, и я уставился на него с удивлением и тревогой. А вдруг он возьмет и повернется? Нелепая, козья мысль, но...

— На грунте? Кружку видите?

— Хочу немного повисеть, — сказал я. — Уши.

— Время идет! — напомнили мне.

— Течение, — сказал я.

— А грунт хотя бы видите?

Я почему-то боялся смотреть вниз. И боль в ушах слепила глаза.

Бах! Вокруг взметнулось и закружилось зелено-мутное, смерчеобразное.

— Ай! — сказал я, обнаружив себя стоящим на дне. Облако мути удалялось по течению мрачным привидением. Вокруг валялись бутылки. И где только их нет!

— А кружки нет, — сказал я. — Только стеклянная посуда.

— Ищите!

Где искать — впереди, позади, справа, слева?

Я задрал голову и посмотрел наверх. Это было единственное прекрасное мгновение. Я был космонавтом, покинувшим космический корабль на Венере. Корабль па-

рил надо мной, маленький, далекий, мутный, странный. Гайдропом с него свисала якорная цепь.

Я наконец сообразил, где нос, где корма, откуда выбросили кружку, и шагов через двадцать увидел — белым зайчиком мерцала кружка среди старых тросов. Мне было известно, что нагибаться нельзя — всплывешь на поверхность вверх ногами.

Воздух радостно булькал, вырываясь из скафандра. Я по всем правилам наклонно опускался.

Холод стружкой пробежал по спине, впился в поясницу, повел судорогой ногу.

— В посту! — крикнул я.

— Есть в посту! Что у вас?

— Меня, кажется, заливает! Очень холодно!

— Стравливаете много воздуха. Вода обжимает резину и холодит через нее. Выполняйте задание!

И я продолжал выполнять. Холод подошел к соскам и сжал мокрой ледяной лапой сердце.

Но я уже видел эту чертову кружку перед самым носом. Протянул руку — и схватил пустоту. До нее было еще метра полтора.

От холода я забыл, что иллюминатор увеличивает и приближает предметы. Ползком добрался к кружке и прекратил стравливать воздух. Холод стал отступать, но с сердцем творилось что-то неладное. Шапочка сползла на глаза, из носа полило, слабость до тошноты и нарастающая опять боль в ушах.

Подняться по трапу я не смог. Водолазы вытащили, как говорится на их языке, «за уши». Я плюхнулся на ближайший кнехт. Когда круглая гробовая крышка иллюминатора отпала, из шлема ударил пар, как из паровоза.

Скафандр был полон воды...

Водолазы встревожились и потащили меня в пост на руках.

Оказалось, что в аварийном клапане потекла прокладка. Когда я перетравил воздух на грунте, вода затопила мой гроб до самого шлема. Температура воды была минус один, и сердцу это не понравилось. И вообще только два-три сантиметра — расстояние от подбородка до рта и носа — отделяло меня от того света, от того, чтобы стать мокрым Икаром и убедить искусствоведов в том, что они не всегда ошибаются, истолковывая фрески Пикассо.

В ноябре шестьдесят пятого года возле набережной Лейтенанта Шмидта ошвартовался старый буксир. Неученые моряки передавали его ученым-океанографам из лаборатории глубоководных исследований Гидрометеорологического института. Меня приглашали на буксир старшим помощником. Но при одном условии: изучать акваланг, подводную связь и ходить на тренировки в бассейн. Условие было омерзительное, ибо будило дурные воспоминания, но делать было нечего. Я как раз переживал очередной творческий кризис. Как теперь понимаю, во мне начинался бой между образным и необразным мышлением. Я все чаще ловил себя на неискренности. И подумал, что, быть может, путь к искренности лежит через науку.

Тем более много раз в жизни мне приходили гениальные необразные мысли. Они даже потрясали меня, я не спал ночей от восторга открытий.

Некоторая трагедия моих необразных мыслей заключалась только в том, что, читая потом книги, написанные иногда тысячи лет назад, я с раздражением и разочарованием обнаруживал у своих открытий бороду. Даже если это не борода, а щетина — обидно. Вот пример. Одно время я занимался проблемой скорости света. Меня бесила цифра 300 000 километров в секунду. Для света это предел и для меня предел, но почему нечто не способно двигаться быстрее?

Мне сразу надо было вбить заявочный столб, а я промедлил. И пожалуйста: уже другим теоретически предсказаны тахионы — частицы со скоростью больше световой.

Конечно, испытываешь некоторое сомнение, когда занимаешься вопросами теоретической физики, не зная, что такое «эрг». И старомодные люди не занимаются. Но мне шел семнадцатый, когда бабахнула атомная бомба. Римский папа издал нечто вроде указа о конце мира, и по планете потекли слухи, что цепная реакция продолжается. Япония разложилась на протоны и электроны, и через недельку все это перевалит Урал.

Мы сидели в казарме и надеялись, что в связи с близким концом света всех уволят домой до понедельника и строевые занятия не состоятся. Так я впервые узнал о теории относительности.

Видите; о сложнейшей теории я узнал строгим классическим путем — из практики. Потому, вероятно, мне

ничего не стоит цитировать Эйнштейна или Планка, хотя я давно забыл, что такое «эрг».

О теории относительности я читал раз пятьдесят. Тайна физической картины мироздания тянет, как край бездны. И когда ныне я читаю Планка или Эйнштейна, мне кажется, что я уже кое-что понимаю. И я даже испытываю наслаждение, и оно иногда пронзительнее, таинственнее и шире, чем от знакомства с прекрасным в искусстве и в жизни.

Парадокс в том, что стоит закрыть книгу, как наслаждение исчезает и я уже не способен объяснить понятое мною другому человеку. Понятое выскальзывает из головы со скоростью света или даже тахионов.

Надеясь на бабушкины предания, я укладывал Эйнштейна на ночь под подушку. Черт знает, думал я, быть может, бабушки не так глупы. Вдруг буквы шрифта испускают некие лучи, и мозг к утру впитает мудрость напечатанных слов. Не помогло.

И вот я решил пожить и поплавать с людьми науки, узнать, каким образом профессионалы закрепляют знания. И согласился обучаться нырянию с аквалангом, практике декомпрессии, языку немых на пальцах. «Все хорошо!» — бублик из указательного и большого. «Плохо внутри!» — кулак. «Плохо снаружи!» — растопыренные пальцы и т. д.

Правда, не только общение с учеными привлекало меня на буксир, который носил гордое имя сына Океана и Земли — «Нерей».

Летом намечалась экспедиция в Средиземное море, в Монако — в гости к знаменитому изобретателю акваланга капитану Кусто.

И еще мне было предложено написать сценарий фильма «Человек и море».

«Нерей» вмерз в лед у ржавого понтона возле набережной Лейтенанта Шмидта и заснул до весны.

На понтоне построили деревянную будку, обернули ее брезентами и завалили снегом. В будке стал жить пес Анчар. Его хозяевами были сотрудники лаборатории подводных исследований. Анчар много раз путешествовал с ними на Каспий и Черное море, охранял хозяйство аквалангистов и кусал чужих без разбора и молча. Иногда кусал и своих. Никогда не кусал одного — Володю Бурнашева. Бурнашев сконструировал псу специальную

маску и выучил нырять с аквалангом. Еще Бурнашев отличался от других тем, что не ел рыбу и не пил чай. Рыб он считал братьями нашими меньшими, а чай не пил, потому что происходил с Волги, из Нижнего Новгорода, и считал, что его предки уже выпили все отпущенное роду количество чая.

Вот Володя и привел Анчара на понтон возле «Неirea», посадил на цепь.

Зима выпала суровая, а пес был стар. Ему было холодно и не хватало хорошей еды. После сложных разговоров с директором ресторана речного пассажирского теплохода «Александр Попов», который зимовал выше нас по Неве, Анчар начал получать из ресторана объедки.

Объедки носили молодые океанографы, которые служили до весны на судне простыми матросами. В ночные вахты они сидели в кают-компании, готовились к аспирантурам и диссертациям. Когда Анчар начинал грохотать простуженным басом, ребята вылезали к трапу.

Анчар был очень большой собакой, имел вид устрашающий. Его седая морда казалась перекошенной, потому что левый край верхней губы низко свисал.

Я радовался, что быстро подружился с Анчаром. Все мы любим, чтобы животные относились к нам хорошо, любим хвастаться этим. Я несколько раз поделился с ним домашним завтраком, а потом набрался смелости и подошел прямо к будке — у Анчара запуталась цепь. Я раскрутил ее. Пес рычал, но не кусал меня. И потом уже не лаял, когда я появлялся у трапа.

Океанографы были смешными матросами, хоть старательными и честными в службе. Им, например, не приходило в голову, что если ты подменился на вахте и ушел на танцы, то об этом надо сообщить старшему помощнику.

Однажды я выбрался проверить вахтенного и увидел незнакомого юношу в очках.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я Лесман, — ответил он, заикаясь.

— А что такое «Лесман»?

— Это я...

— Идите от борта к чертовой матери в таком случае, — сказал я.

— Я н-не могу: я вахтенный матрос, — сказал он. — Я друг Бурнашева.

Эта зима вообще была странная. Я впервые зимовал возле родной набережной Лейтенанта Шмидта.

Знакомые приходили, чтобы скрасить длинные суточные вахты. Сухопутным знакомым нравилось сидеть в каюте на судне, видеть толстый слой изморози на иллюминаторе, слышать слабое биение сердца впавшего в летаргию корабля,— работал только котелок на мазуте и какой-то насос.

По корме летучими голландцами маячили обросшие инеем парусники. Анархист «Кропоткин» чуть не упирался бушпритом нам в кормовой кранец. Огни парусников светили, окруженные ореолом в морозном тумане. Близкий город исчезал совершенно.

И гостям хорошо было пить чай из термоса, слушать разговоры о легендарной «Калипсо», капитане Кусто, клетках-убежищах от акул, споры о том, кусаются акулы или все это выдумки, и уверенные мечтания о том, что летом «Нерей» снимется в далекое плавание.

Солнце Лазурного Берега уже слепило нам глаза, отражаясь от величественных стен Океанографического музея в Монако. Над лазурным Лигурийским морем, крепко ухватив каменный штурвал, в зюйдвестке и каменном плаще стоял принц Альберт — моряк, ученый, защитник морской фауны... Вечнозеленые кустарники, пальмы, аллеи мандариновых деревьев с оранжевыми шариками плодов... Яхты миллионеров у причала Королевского яхт-клуба... Казино... Рулетка...

Гости «Нерея» от таких видений и разговоров приходили в возбуждение, читали стихи, на которые вдохновил поэта лейтенант Шмидт:

Придается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет...

Хорошо было в ту зиму ожидать весны, хотя морозы были сильные, приходилось повышать давление пара в магистралях отопления и подпольно ставить электрорелки.

Буксир был запущенным судном, магистрали лопа-лись, то и дело затапливало радиорубку или каюты. Нужно было наводить бандажи и цементировать дыры.

И надрывал мне душу Анчар своим кашлем, когда вылезал из будки и смотрел на меня сквозь морозный туман.

«Вот, ты в тепле сидишь, только нос и высовываешь. Домой на такси едешь, а я тут сижу,— говорил он мне.— А я стар и одинок, и не видеть мне больше радости, потому что жизнь моя позади».

И я вспоминал строчки из ледяной, метельной книги Дугласа Маусона «Родина снежных бурь»: «Заболевший пес Джонсон лежал привязанный на санях поверх груза». Эта строка запомнилась, потому что пса Джонсона на следующий день путешественники съели.

На вахту тридцать первого декабря заступили я и Володя Бурнашев. Лучше быть самому на судне в новогоднюю ночь, если ты старпом, а магистрали парят, изоляция плохая и случаются короткие замыкания. Да и идти особенно было некуда.

Володе, кажется, тоже некуда было идти. А может быть, ему хотелось встретить Новый год на судне, потому что он был романтик. Он читал жизнеописание Леонардо да Винчи Мережковского. И опасался, что такое разбрасывание помешает ему в углублении знаний главной профессии — подводника-океанографа.

Я знал, что помешать может. А может и не помешать. Мне такое помешало. Но есть люди и посильнее меня. И так как я давно дал зарок ничего не советовать людям, то только передал Володе слова Планка: «В действительности существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу». При этом я не скрыл от Володи и других слов старого деликатно-ядовитого Планка: «Некоторые люди с богатыми духовными запросами ощущают потребность в продуктивной деятельности, ищут спасительного выхода из пустоты и обыденной жизни в занятии общетеоретическими и философскими проблемами. К сожалению, при этом получают результаты только в очень редких случаях».

Последние слова каким-то неприятным образом касались меня, хотя я никогда бы не признался в этом вслух.

Конечно, правы те, кто предупреждает об опасности дилетантства. Но самый средний писатель — уже философ-дилетант. И это раньше времени привело на тот свет многих. Нельзя философствовать эмоционально. Гибель Экзюпери — такое же самоубийство, как смерть Хемингуэя и Есенина.

Я спросил Володю, знает ли он случаи самоубийства среди физиков, химиков или биологов. Эти люди стоят сейчас над самой бездной времени, пространства, тайны жизни.

Он таких случаев не знал. Он знал только, что Эйнштейн уже в юности не боялся смерти, а Толстой думал о ней всегда. При этом Володя заметил, что не согласен с Планком. Дело не в результатах занятий общетеоретическими или философскими проблемами, а в том, чтобы заниматься ими. Важен путь, а не результат.

Так мы беседовали, охраняя сонливый покой «Неря», ожидая Нового, 1966 года, укрепив на столе в кают-компании маленькую елку и засунув в шлем бронзовой статуэтки-водолаза свечку.

Нам было, конечно, немного одиноко и грустно так встречать Новый год, вести философские разговоры в одиночестве. И потом, время перед наступлением чего-нибудь особенного всегда тягостно.

Я вспомнил Анчара и решил пригласить его на праздник.

Володя привел пса, который дрожал крупной дрожью.

Анчар весь заиндевел на морозе, сразу лег под паровую грелку и зажмурился, не веря своему счастью.

— Начальство хочет списать пса, — сказал Володя, теребя собачьи уши. — Только они это через мой труп сделают. Вы бы видели, какой он смешной, когда с аквалангом под водой ходит! Шерсть за ним, как флаги расщевивания, полощется, и хвостом рулит...

Я спросил Бурнашева, что ему кажется самым жутким под водой.

— Что-нибудь большое. Померещится подводная лодка, например. Подлодка, которая из мути бесшумно прет куда-то. Не обязательно на тебя даже... Вообще,

что-то громадное пугает... Я однажды стенки дока напугался, хотя знал, что должен ее увидеть.

— А что самое хорошее?

Он ответил не сразу, обдумывая, а пока сам задал мне несколько вопросов из подводного сигналопроизводства: «Дернуть, потрясти, дернуть»? «Дернуть, потянуть, дернуть»?

Он был инструктором-водолазом, а я путал «потрясти» и «потянуть». Вот он и тренировал меня в разговорах.

В школах он читал детишкам лекции о необходимости соединения акваланга с океанографической наукой. Особенно убедительным примером пользы такого соединения был рассказ о неизвестных существах, которые хотят узнать нечто о людях и спускают на Невский проспект из космоса сеть. Прохожие видят сеть над головой, разбегаются, прячутся, бросают по дороге галоши и окурки. И вот только эти-то галоши и окурки попадают в сеть неизвестных существ. И неизвестные существа ничего о нашей жизни узнать не могут. Вот если бы они сами спустились на дно воздушного океана, на дно земной атмосферы, то другое было бы дело. Отсюда: если человек хочет узнать море, он должен в него спуститься и пожить в нем.

— Ну, а что кроме пользы науке влечет в воду? — допытывался я.

Он объяснил, что в воде все особенное. Вода даже плохое превращает в хорошее. Он, оказалось, ругается сам часто, но не любит слышать ругань других.

И был такой случай.

Они ставили на глубине мачту для приборов. Под Бурнашевым работали двое ребят, им тяжело доставалось, они ругались. И мимо него поднимались из глубины матерные слова вместе с пузырьками воздуха. А он мат и не слышал, замечал только чудесный хрустальный звон от пузырьков.

Я поинтересовался: как могло случиться, что он слышал только хрустальный звон, но знает, что ребята ругались?

Он согласился, что здесь есть некоторое противоречие.

Тогда я рассказал, что давно размышляю о длинноте нашего языка, о неизбежности сокращения сложных слов и оборотов. Слова уже делаются путами на ногах

мыслей, приходят в противоречие с сегодняшними скоростями. И появляется необходимость в профессиональных кодах.

Послушайте звукозапись старых, военного времени радиопереговоров в танковом бою или схватке истребителей в воздухе. Здесь лишнее слово подобно смерти в прямом смысле. И непосвященному кажется, что беспрерывный мят в шлемофонах — лишние, рожденные волнением, напряжением, страхом слова. Но это не так. Матерная ругань для тренированного уха — тончайший код. От простой перестановки предлога до богатейших интонационных возможностей — все здесь используется для передачи информации. В информацию входит даже эмоциональное и психическое состояние того, кто ее передает.

Я заверил Бурнашева, что не собираюсь смаковать сквернословие, оно омерзительно, если идет от распушенности. Но если пилоту не дали короткого кода, он выработает его сам, потому что от скорости передачи и приема информации зависит его жизнь. Матерная ругань коротка, хлестка, образна, эмоциональна и недоступна быстрой расшифровке противником. Лекцию о пользе российского мата я подкрепил ссылкой на Пушкина, который «желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность» и говорил: «Не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали».

Потом мы обсудили будущий подводный фильм. Мы оба считали, что фильм должен быть философским. Но Бурнашев определял суть философии в покое и чистом созерцании йогов. Он считал, что глубина океанов воздействует на человеческую душу в этом направлении. Я возражал, ссылаясь на Блока и на то, что покой нам только снится.

— Это надоело, как прибой на экране в морских фильмах, — сказал мой собеседник. — Как танцы голых девиц под водой, — нашли место для кабаке и стриптиза!

Я утверждал, что только движение в пространстве связано с движением духа. Во всех религиях бог не сидел на месте. Он шел. Или витал. Или летал. Христос, если прикинуть по карте и по Евангелию и если учесть, что в его времена было мало ослов, прошел пешком

многие тысячи километров. И Магомет, если горы не шли к нему, шагал к ним.

Володя считал, что Христос и Магомет не сами боги, а только пропагандисты-агитаторы, и это меняет дело.

Здесь он, наверное, был прав, но мы поспорили, ибо уже привыкли спорить во время многочисленных подобных разговоров.

За полчаса до Нового года поднялся из машинного отделения вахтенный моторист Сергей Сергеевич — тот, с которым мы гоняли самоходки на Салехард. После переезда он болел и сильно сник. В море ему больше не светило. А на зимовку мы его взяли мотористом — много ли сил надо следить за отопительным котелком.

У Сергея Сергеевича происходила обычная для пожилых людей аберрация памяти. Плен и концлагерное прошлое делались у него навязчивым воспоминанием, а близкое прошлое моментально выветривалось. Я как-то спросил его о девушке в красном пальто из поезда Воркута — Москва. Он ее не вспомнил.

Сергей Сергеевич сел на корточки у двери и в торжественный момент под Новый год вдруг рассказал, как после освобождения их везли на родину. И в Польше эшелон обстреляли недобитые бендеровцы. Охрана эшелона оказалась на высоте. Бандитов казнили.

— Слушайте, Сергеич! — взмолился я. — Если веселее не вспомните, я использую начальственное положение и отправлю вас вниз, в машину.

Потом взял ракетный пистолет, ракеты, и мы вышли на палубу.

По близкой набережной и мелким торосам вдоль Невы, к заливу струилась поземка. Потрескивал от свирепого мороза лед. Напротив неподалеку чернела полынья, из нее густо парило, морозный туман смешивался с поземкой, скользил по льду.

И Горный институт, и адмирал Крузенштерн, и Академия художеств. Пушистые шары вокруг стояночных огней на парусниках. Тишина. Пустыньность. Нарастающий звон ночного трамвая, цепочка его желтых замерзших окон над парапетом набережной.

Неудачник-вожатый в пустом вагоне тормозит у Тринадцатой линии, возле «Нерея».

Мы были сейчас друзьями с вагоновожатым, нас связывали те славные узы, о которых просто и удивительно писал французский летчик.

— Анчара забыли! — вспомнил Володя Бурнашев. — Подождите палить!

Шипел пар за бортом «Нерея», бесшумно падал иней и снег с антенн, с мачты, со шлюпбалок. Миллионы людей сидели вокруг в каменных домах. А город был пуст и замер.

Володя приволок упирающегося всеми лапами Анчара.

Теперь нас было четверо. Вернее, пятеро: трамвай не двигался — вагоновожатый хотел встретить шестьдесят шестой год на остановке.

Странный это был Новый год.

Ударили куранты, и я выстрелил зеленой ракетой, стараясь, чтобы она низко пошла над льдом Невы. Пиротехника запрещена на территории Ленинградского торгового порта.

Бурнашев, конечно, не смог удержать руки — его ракета пошла в зенит.

Сергей Сергеевич стрелять отказался — он давно уже настроился досыта.

Тени от ракет метнулись по крышам, куполам и судам. Где-то недисциплинированные моряки поддержали почин: с десятков ракет поднялось и затухло над самым городом.

Трамвай весело звякнул, нарушил тишину и унесся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. А мы спустились в кают-компанию и всей вахтой еще раз нарушили законы и постановления — выпили водки при исполнении служебных обязанностей. Анчару досталась половина чудесных закусок.

Потом пес был отправлен обратно на цепь.

К утру Анчар исчез. Он всю жизнь провел в сторожевом охранении. Ему нельзя было и на несколько часов менять суровую жизнь на тепло и предновогодний уют.

Стремясь обратно к нам, он оборвал цепь, долго бегал по судну — на палубе в снегу остались следы, — но двери были стальные, на заглушках, он не смог их открыть и, вероятно, подался в город, погиб под машиной или трамваем, ибо не имел к ним никакой привычки. В милицию он не попадал — мы справлялись. Чужим людям такой старый пес, конечно, не был нужен...

К весне, ни разу не нырнув, перессорившись с ученым начальством, в котором не нашлось потребного мне количества философии, ушел с «Нерея» и я.

Начало охлаждению между мною и ученым начальством положил Анчар. Начальству старого пса не было жалко, оно было даже довольно его бесхлопотным исчезновением. А если человеку не жалко собаку, то, быть может, он и ученый, но не философ.

ФРАНЦИСКА

Покинув «Нерей», я отправился в первую заграничную поездку. Наиболее запомнилось мне от этой поездки то, что я ничего не запомнил. Вероятно, от волнения.

Ну, ел зайца... Курил сигареты с каким-то стрихнином... Шалел от разговоров о ценах на мебель у них и у нас... Спал в Театре абсурда... Разбил лоб о стеклянные двери с фотоэлементом в шикарном отеле — автоматика на меня не прореагировала, а я дверей не заметил... Ну, выпил двести чашек кофе... Выставил ботинки в коридор, а их надо было уложить в специальный ящик возле порога, — еще удивился, что мои ботинки одни стоят в коридоре... Древний замок. Дыбы. Дырки, через которые капала вода на плечи узников. Клещи для ногтей. Напугался там до смерти, потому что отстал от экскурсии, а вокруг стояли колья для преступников и лежали венки от потомков — тут испугаешься... Чуть не подавился костью от зайца, когда узнал, что человек, закуривающий первую сигарету ровно в одиннадцать десять утра, — поэт... Еще раз убедился в том, что боюсь продавцов и продавщиц... Ощущал постоянные сомнения в своем внешнем виде... Терзался неумением покупать подарки родственникам... Не любил спутников и немедленно начинал тосковать без них... Ну, временами впадал в возбуждение от коротких юбок, голеньких дам на обложках журналов, кофе, виски, вина... Всегда хотел спать... Внимательно выслушивал разную ерунду. Однажды начал почему-то вдруг декламировать: «Не спят усачи гренадеры!..» и забыл, как дальше: «В долине, где...» В какой долине? Понял, что пора возвращаться. Залез в самолет и улетел.

Вывод: надо уметь летать за границу. Здесь, как и везде, нужна тренировка. И надо еще исполнять заветы классиков. Ведь на сто процентов прав был Лев Николаевич Толстой, когда, при встрече с первым русским авиатором Уточкиным, заявил со свойственным графу патриархально-крестьянским консерватизмом, что лучше бы люди учились хорошо жить на земле, чем плохо летать в воздухе.

Поэтому следующий раз я отправился за рубеж на автомашине. И уже смог запомнить одну заграничную встречу.

...Позволено сказать про девушку, которая понравилась, которая пробудила нежное и тревожное любопытство, что она голенастая девушка? Или слово «голенастая» несовместимо с нежным и тревожным любопытством, с обликом девушки, которая может нравиться с первого взгляда?

На ней было синее форменное платье, белый передничек с кружевами и белая косынка. Платье было коротким, открывало колени. И вот из-за этих коленок и худощавых икр я и говорю, что она была голенастая. Как будто ей было не двадцать, а пятнадцать лет. Она и вся была худенькая. И когда несла два пластиковых ведра с водой, то было ее жалко, хотелось помочь. Но это только в первый момент. Потом ясно становилось, что она пронесет эти ведра дольше тебя. Такая гибкость была в ее теле, так высоко держала она голову, так безмятежно неподвижна была вода в ведрах. И улыбалась еще пленительно — сверкнет зубами, глянет прямо в глаза и потупится. И за эту короткую секунду промелькнет перед тобой десяток разных девушек — этакая всезнающая завлекательница, соскучившаяся по танцам и поцелуям резвушка, стыдливая кокетка и смиренная монашка. И гадай на кофейной гуще — что там на самом деле?

— Как тебя зовут? — спросил я.

Она пожалала плечами. Она не понимала. Стояла передо мной и теребила фартучек.

С веранды отеля смотрели на нас портье и молодой парень-швейцар. «Быть может, им запрещено все такое?.. — подумал я. — Быть может, я ее подвожу?..» Взгляды портье и швейцара были равнодушными, про-

фессиональными, тренированными. Боже, как я не люблю швейцаров!

— Как тебя зовут? — спросил я по-английски.

Она пожала плечами, поправила волосы и улыбнулась виновато. Но не уходила и не сердилась.

Я ткнул себя пальцем в грудную клетку и сказал:

— Виктор.

— О! — обрадовалась она. — Франциска! — и прижала ладони к своей маленькой груди, показывая, что она и есть Франциска.

Никогда не думал, что есть живые женщины с таким именем. Я только читал о женщинах с такими именами.

И мы пошли с ней по дорожке. Я не знал, куда ей надо сворачивать — направо, налево. Прямо-то ей не надо было идти — там был другой отель, еще более модерный и роскошный, там за стеклом стоял мертвый волк и скалил зубы на проживающих, там продавали иллюстрированные журналы всех стран мира и играл дорогой оркестр.

Как много значит имя женщины. По имени, сам не замечая этого, сочиняешь ее для себя и потом десятилетиями веришь в легенду, сотканную тысячами ассоциаций, возникших из дебрей памяти, существующих в тебе еще с детства: «Франциска».

У наших женщин есть чудесные имена — Мария, Анна, — но они пришли с запада. Злата — чудесно, но не существует сегодня. Удивительные по нежности и женственности имена у англичанок — Мэйв, Клайв... Кэтрин...

Мы прошли мимо десятка американских, итальянских, немецких машин. Они низко припадали к асфальту стояночной площадки своими стремительными, как у гончих собак, мускулистыми и блестящими телами. Наша «Волга» выглядела среди них провинциально, но крепко.

— Ленинград! — сказал я с иностранным акцентом и ткнул в «Волгу».

— О! — сказала Франциска и кивнула головкой на тропинку, которая вела к шоссе.

И я не понял: она одобрила то, что я из Ленинграда, или показала, что ей надо сворачивать? Как мне не хотелось с ней расставаться! Как мне хотелось просто так, тихо и молча пройти с ней рядом по остывающей вечерней земле, над озерами, цвет воды которых мне так и

не удалось определить, мимо столбиков, отражатели которых вспыхивают от фар приближающихся машин.

Быть может, мне надо было просто-напросто ее обнять за плечи, когда мы свернули на тропинку. Засвистеть какой-нибудь твист, обнять ее за плечи, и пошелесть деньгами в кармане, и пригласить в кабачок. Денег у меня была куча — четверть миллиона динаров, и я знать не знал, куда их спустить, потому что через неделю должен был быть уже в Будапеште. Красивая жизнь...

До чего эта жизнь влечет нас, пока мы не выигрываем лотерейный билет и не попадем в нее сами. И тогда оказывается, что все это ерунда. И уже через десять заграничных дней тебя тянет назад. Даже если свободно едешь по прекрасной южной земле на машине.

Я, конечно, не обнял ее за плечи и не стал насвистывать твист. Мы шли по узкой дорожке среди кустов, ромашки белели в вечернем сумраке по краям тропинки, из ресторанов отелей уже слышалась музыка. И Франциска, конечно, ждала от меня чего-то. Но я не мог обнять ее за плечи. Она казалась мне чем-то таким же нежным, как и ее имя.

— Где — будешь — сегодня? Где — тебя — встретить? — спросил я по-русски, по-английски и по-немецки. Я вообще выяснил, что вдруг могу говорить иностранные слова и даже, если нахожусь в особенном состоянии, то и понимать ответ.

Она остановилась и говорила быстро, много, и трогала пальцем мой галстук, завязку галстука. Она говорила по-хорватски, но я уже нечто понимал, улавливал, интуиция сконцентрировалась и превратилась в переводную электронную машину, которая сведет все языки к одному штампу. Она говорила о том, что хочет меня видеть сегодня, но есть нечто препятствующее этому, но она попробует обойти это препятствие. И что она будет весь вечер в харчевне, вот огни этой харчевни, за деревьями, но если у меня есть товарищ, то пускай я прихожу с ним, а не один. Там собираются не туристы, а те, кто работает здесь.

Мне надо было взять ее за уши и поцеловать. Но вместо этого я кивал своей пустой башкой, потом повернулся и пошел в отель: время ужина уже заканчивалось. Ужин был нужен мне, как прошлогодний снег. Но почему-то я давно привык вести себя не так, как хо-

чется, как естественно вести себя, а наоборот. Меня ждал ужин в ресторане, и я пошел его жевать...

- Я думал о Франциске и слышал разговор:
- Можно посмотреть в ваши темные очки?
 - Пожалуйста, а я посмотрю в ваши...
 - Вы зимой носите очки?
 - Я не люблю зеркальные стекла.
 - Зеленоватый цвет лучше.
 - Как вам сказать...

Не знаю, чего я ждал от нашей встречи с Франциской. Но по дурной привычке мозг анализировал мои эмоции и издевался над ними. «Чего это она тебе так понравилась? — спрашивал мозг. — Или тем, что она не капризничает? Но это-то и плохо. Каприз — единственный способ для женщины утвердить свою самостоятельность в такой ситуации. Очевидно, твоя Франциска не самостоятельное существо...»

- Нужно, чтобы с боков все было закрыто.
- Нет, для меня это необязательно.
- Ваши тяжеловаты...
- Я не привыкла к пластмассам.
- Я тоже не привыкла, но роговая оправка...
- Какая же это «роговая»? Это пластик.
- Какой же это пластик? Все помешались на химии!
- Вы хотите сказать, что это рог?
- Я хочу сказать только то, что я сказала...

Я подумал о том, как уйду отсюда, пройду метров пятьсот по шоссе, потом поднимусь по склону кювета, увижу милый маленький кабачок. Очевидно, меня могут ждать там неприятности. Какой-нибудь парень, который любит Франциску уже длительное время, который имеет на нее все права. Или еще что-нибудь такое нехорошее.

- А я обхожусь без очков. Мода. Наши бабушки отлично без них обходились.
- У меня западногерманские, уже четвертый год...
- Поляки тоже делают хорошие...

- Нет, у французов самые элегантные.
- Меня они успокаивают.
- А меня не всегда...

Черт те знает, подумал я, обсасывая куриную кость. Еще действительно в драку попадешь. Как бы чего не вышло... А как теперь не пойти? Чепуха какая... Конечно, пойду. Ерунда все это, но как бы чего не вышло...

— Надо требовать у администрации вино! Видите: американцам подали вино, а нам только воду...

— Действительно, в Венгрии дают вино, а здесь только воду.

— У меня от этой воды живот болит.

— Джем я возьму с собой — такая аккуратная коробочка! Просто прелесть... Это будет как сувенир...

— Вы любите световые эффекты в ресторанах? Они, конечно, для молодых, но иногда...

Световые эффекты действительно начались. Свет то притухал, как в бомбежку, то опять нормально разгорался... А зачем она сказала, чтобы я приходил с товарищем? И где я его возьму? Серый волк мне товарищ...

— У нас не умеют делать красивую упаковку.

— Кто с вами будет спорить?

— Масло горчит, но упаковка на высшем уровне.

— У них очень дешевый шоколад...

Здесь световые эффекты кончились. В том смысле, что свет потух окончательно. Официанты неслышно пошли по залу, прося у господ и панов прощения. Официанты зажигали свечи на столах.

Я вышел из ресторана и увидел южную темноту. Глаз выколи — вот что я увидел. Ни одного фонарика. Электричество погасло везде вокруг — не только в ресторане.

Какое там шоссе, кювет, кабачок... Где я найду до-

рогу в этой крошечной тьме? Тут бы до логова добраться. Вероятно, если идти все время только по асфальту, то свой отель я найду, а с Франциской свидание не состоится. И я тут ни при чем. Виноваты электрики и господь бог. И слава электрикам и господу богу. Теперь ничего не выйдет.

Я знал, что она ждала. Между нами нечто случилось, когда я вызвал ее в номер, нажав кнопку на дощечке под силуэтом девушки в фартучке. Надо было погладить брюки. И пришла Франциска.

Чтобы показать горничной необходимость погладить штаны, берешь их в руки, скорбно смотришь на них, качаешь головой, вздыхаешь, затем ослепительно улыбаешься — и разговор окончен. Она улыбается, берет штаны, делает книксен у дверей и исчезает. Через полчаса тепло-твердые брюки приятно ломаются на твоих коленях, когда опускаешься в кресло. И, кстати говоря, только в эти короткие минуты ты не забываешь поддерживать их, садясь.

Так вот, когда она вошла, нечто произошло. Наша интуиция ошибается редко. Она угадывает так властно, что побеждает врожденную робость и застенчивость.

Франциска погладила брюки и принесла их. И я понял, что она чего-то ждет от меня.

Но свет погас, и совесть моя была светла. Где бы я Франциску нашел? Во тьме, в чужом месте? Без языка?

В номере горела на столе свеча, штора была откинута, окно выходило на стоянку машин, подоконник был очень низким.

Я посидел у окна, глядя на черные ночные деревья, на номер итальянского «фиата» со словом «ROMA». «Фиат» ночевал под моим окном и был слабо освещен свечкой. Здоровый смех туристов доносился из ночи, здоровый смех сквозь здоровые зубы. Наверное, кто-нибудь рассказывал о стриптизе в Дубровниках. А я, очевидно, человек старомодный. Мне не нравится стриптиз. Мне жалко женщин, хотя я знаю, что они исполняют обряд раздевания не без удовольствия. Но мне жалко их. Мне нужна добрая улыбка горничной, хотя никогда не знаешь, почему она улыбается? Или ждет чаевых, или уже в благодарность за них... Именно эти-

ми мыслями я утешал себя. Я ведь не мог забыть, что подумал: «как бы чего не вышло». Но это «как бы чего не вышло» плотно сидело во мне. Плотнее, нежели я хотел бы.

Я задул свечу и лег спать.

Да, утром, когда я встал и пошел купаться на горные озера, мне хорошо было оттого, что ничего такого не вышло. Это вечером можешь делать глупости. А утром ты уже другой.

Я сиганул в озеро с разбега.

Столетние дубы еще спали надо мной, тень их была холодна. И вода была холодна. И, согреваясь быстрым брассом, я опять подумал о том, как великолепно, что свет потух и ничего не вышло. Это все-таки главное — чтобы ничего такого не вышло.

Я, конечно, боялся увидеть Франциску. Но когда я уже зашелкивал саквояж, она постучала и вошла в номер.

Я показал ей на лампочку и развел руками.

Она кивнула.

Я взял саквояж и протянул Франциске руку.

Она покачала головой, стояла у двери и теребила фартучек. Потом сказала: «Здравствуй». И убежала.

Ну что ж, подумал я. Вот так все и бывает. Вот так все и бывает. Когда хорошее уже рядом, попадаешь за стол, ужинаешь, слушаешь разговоры о темных очках. Потом гаснет свет.

Машина шла хорошо, дорога была пустынна, раннее солнце просвечивало зелень деревьев. Первая сигарета дурманила голову. И хотелось не забывать грусть расставания с Франциской. Но скорость затягивала в привычную игру с дорогой, со встречными машинами, указателями и неизбежной опасностью, потому что всегда, когда сидишь за рулем, ощущаешь настороженность, и она особенным образом будоражит.

Тело хранило свежесть утреннего купания, изумрудная вода горных озер еще не выветрилась из пор и отдавала озон, которым напиталась, падая с каменных круч.

Прекрасна была природа Хорватии вокруг. Август

лениво развалился среди гор, лесов и лугов. Август беззаботно шурился на раннее солнце. Он и думать не хотел о том, что рано или поздно придет сентябрь, и октябрь, и январь. Август валялся среди цветущего клевера, ромашек и глазел на строгость горных вершин вокруг долины. Ему не было никакого дела до меня. Глубокий мир лесов.

Вираз. Еще один вираз. Жжжж! — мостик через ручей. Роща. Тень и свет на ветровом стекле. Вжжжж! — встречная машина. Опять вираз. Стадо баранов, бредущее вдоль правой обочины. Дисциплинированные бараны второй половины двадцатого века. Можно не бояться, что какой-нибудь молодой баран метнется на шоссе.

Девчонка лет пятнадцати позади стада с длинным бичом в руках.

Бич взлетает над ее головой и косо падает поперек шоссе, под колеса машины.

Близко проносится озорное лицо. Она хохочет. Ей весело кидать бич под колеса встречных машин. Еще несколько секунд в зеркальце видно стадо баранов и девчонку. Она машет рукой.

Прощай, Франциска. Дорожные встречи чаще бывают грустными. Но дорога сама потом вылечивает грусть — до обидного быстро. И все-таки как грустно, что я хотел, чтобы ничего не вышло. Как это грустно, как это грустно...

КАК Я НЕ НАПИСАЛ СТАТЬЮ ОБ АРКТИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

После возвращения домой я отправился в командировку. Маршрут: Архангельск — Соловки — Дудинка — Игарка — Мурманск. Отправитель: «Литературная газета». Аванс: восемьдесят пять рублей. Цель командировки: принять участие в первом арктическом туристском рейсе теплохода «Вацлав Воровский» и описать виденное, как всегда, правдиво и талантливо.

Шестого сентября прибыл в Архангельск с пишущей машинкой «Эрика» в чемодане.

Когда чемодан вышвырнули из самолета на бетон аэропорта, молнии лопнули.

Я давно знаю, что на Севере с вещами случаются неожиданные. Четырнадцать лет назад я был молодым,

блестящим, проворным флотским лейтенантом, но мой чемодан в Мурманске переехал маневровый паровоз. В чемодане был кортик. Он числится за ВМС до сих пор, потому что я еще не знал, что по любому поводу нашей жизни следует составить акт при двух свидетелях. Теперь я об этом знаю, однако амортизация сердца и души уже велика — акт на лопнувший чемодан я не составил. Перевязал чемодан брючным ремнем и поехал в местную газету отмечать командировку.

Известно, что интеллигентный человек, оставшись без брючного ремня или подтяжек, сразу превращается в гопника. Потому эти вещи в милиции отбирают первыми.

Я чувствовал себя неловко в редакции газеты. А там еще сидел столичного, лощеного вида мужчина и орал по телефону в Москву:

— Белоснежный! Понимаете, бе-ло-снеж-ный! Да-да! Как чайка! Птица такая, птица! Белоснежный, как чайка, лайнер «Вацлав Воровский» застыл у причала... Повторите!..

Я представился, придерживая брюки.

— Еще один корреспондент! — всплеснула руками секретарша.

— А что, нас уже много?

— Журнал «Турист», «Вечерняя Москва», «Неделя»...

Я не собирался показывать, что «Литературка» способна бояться конкурентов. А на деле совсем скис, потому что выступал в роли спецкора второй раз в жизни. Кроме того, никакой я не газетчик. Я боюсь людям вопросы задавать. Слишком я деликатен, скромнен и не уверен в себе, чтобы лезть в души людей выпрашиваниями. Я обычно на тонком лиризме выезжаю, на самоанализе и пейзажах.

Мы познакомились со столичным коллегой, и он повел меня на причал. По дороге рассказал, что приехал вчера, в море никогда раньше не был, но уже начал работать над подвалом «Спасите наши души».

— Чур, не воровать! — сказал коллега. — Это расшифровка сигнала бедствия!

Я был зол на расползающийся чемодан и сказал, что «SOS» есть «SOS», никаких там душ нет, все это выдумки и ерунда; пусть коллега лучше поможет мне тащить вещи. И он помог, и я ему был благодарен. Но по-

том, уже в рейсе, он так надоел мне куриными темами подвалов и глупыми вопросами, что разок пришлось выгнать его из каюты.

На белоснежном лайнере я прошел к чифу, то есть старшему помощнику капитана, и представился. От чифа на судне зависит все. Капитаны витают слишком высоко над грешной землей и святым морем, чтобы от них была реальная помощь в судовом быту. Это я пишу для всех спецкоров «Литературки», делюсь опытом.

Естественно, что я получил в полное распоряжение двухместную каюту, а коллеги остались в таких каютах по двое. И это вызвало ко мне нездоровый интерес. Но когда коллеги узнали, что я на командировку получил восемьдесят пять рублей, то утешились.

Я распаковал чемодан. «Эрика» оказалась разбитой вдребезги.

Это был удар ниже пояса. Если настоящий, хороший писатель привыкает создавать образы на машинке, у него вырабатывается отвращение к перу и карандашу.

Туристы весело шумели за окном каюты, собирались к Ломоносову. За оградой причала я видел Петра Первого. Вокруг Петра мальчишки играли в войну, лупили друг друга вырванными с корнем подсолнухами. Булькала Северная Двина.

— Надо, надо было составить акт! — твердил я. — Когда ты научишься, дубина, жить по-человечески?

Седьмого сентября стали на якорь у Соловков.

Было объявлено, что для доставки туристов на острове еще позавчера из Кандалакши вышел специальный катер. Это мне не понравилось. Знаю я эти катера из Кандалакш, Пинег и т. д. Здесь работает невозмутимый народ — поморы. Они никогда никуда не торопятся. И я отправился к старпому на разведку.

Чиф сидел грустный. Перед ним грустно стоял боцман. Боцмана звали «дракон». Это был самый здоровенный из всех боцманов-драконов, каких я видел.

— Придет катер-то? — спросил я чифа.

— Исчез без вести, — сказал чиф и слабо ругнулся, глядя в окно на зеркально штилевое море.

Дракон тяжело вздохнул. Ему, очевидно, предстояло возиться со спуском на воду судовых плавсредств и самому переправлять туристов в монастырь.

— Подождем до обеда? — спросил дракон с надеждой.

— Подождем, паренек, — обреченно согласился старпом.

На каждом судне бытует особо любимое обращение друг к другу в нестрогое время. На «Вацлаве Воровском» таким словом было «паренек».

Помню, на «Вытегре» все звали друг друга «организм». Боцман являлся ко мне и говорил: «На покраску корпуса надо пять организмов». Я отвечал: «Больше трех организмов дать не могу». На одном рыболовном траулере главным обращением было «сундук с клопами». Штурман кричал с мостика: «Когда этот сундук с клопами флаг спустит?» Сундук с клопами, то есть подвахтенный матрос, бежал куда следовало и спускал флаг.

Часто употребляется слово «волосан». Раньше оно имело оскорбительное значение. Рыбаки плавали на угле, мылись соленой водой, не стриглись весь рейс и возвращались в родной порт обросшие волосами, грязные и дикие. Отсюда и «волосан». Теперь рыбаки возвращаются чистые, наглаженные, оскорбительный оттенок обращения забыт.

«Волосан» употребляется с различными прилагательными. Например: «тропический волосан», «шестигранный волосан», «лошадиный волосан», «восьмиугольный волосан» и т. д.

Туристы, которые с раннего утра торчали на палубе, обвешанные фотоаппаратами, в сапогах и меховых шапках, часикам к одиннадцати стали возвращаться в каюты. Катера из Кандалакши не было.

И здесь, взамен Соловецких островов, было объявлено другое мероприятие: демонстрация кинокомедии «Тридцать три».

Я вздрогнул от гордости, ибо принадлежал к авторам этой комедии.

Я очень хороший писатель, поэтому никогда не вижу своих книг в руках трамвайных пассажиров. Очевидно, меня читают в интимной, домашней обстановке, чтобы как следует сосредоточиться. Вообще-то я еще не встречал человека, который бы слышал мою фамилию. Это потому, что вокруг меня много завистников.

И я занялся кинематографом. Бессмертный звериноморской фильм «Полосатый рейс» — моя работа, хотя, как и всегда, соавторы мешали мне раскрутить талант на полную катушку. Единственная современная трагедия, поахивающая Шекспиром, — «Путь к причалу» — испорчена композитором Андреем Петровым и поэтом Поженяном. Они сочинили популярную песню с художественным свистом. Чтобы заставить человека вспомнить трагедию, мне приходится говорить: «Помните, там есть песня: «...друг мой — третье мое плечо — будет со мной всегда...» — «А! — говорит зритель. — Как же! Помню!»

Действительно, попробуй такое забыть — третье плечо! Из какого места оно произрастает?

После демонстрации на «Воровском» фильма с голым Евгением Леоновым в главной роли я кое-что предпринял для того, чтоб туристы узнали, что я есть я. Через денек ко мне прибыла делегация и умаслила душу просьбой выступить в цикле «Интересные люди среди нас».

Один интересный молодой человек — кандидат математических наук — уже выступал в цикле. Я присутствовал. И узнал, что Вселенная расширяется, но молодой кандидат еще не знает, откуда, куда и зачем она это делает. Встречались мы и с дамой, которая ездит по Европе и собирает коллекцию чемоданных наклеек.

Я уже говорил, что страдаю застенчивостью, деликатностью и т. д. Но тоже выступил, рассказал несколько баек о якобы случившемся при съемках.

Кино настолько таинственная вещь, что даже умные люди верят, например, мне, когда я вру, что у дрессировщицы тигров Маргариты Назаровой был огромный удав и он вылез из клетки, а дело было в поезде. И вот удав переполз из своего вагона в вагон-ресторан, по дороге замерз и в ресторане, чтобы согреться, обвился вокруг титана с кипятком, раздавил бак, обварился какао и поднял нездоровую возню и гам. Поезд остановили стоп-краном. Маргарита вбежала в ресторан, размотала удава с бака и т. д.

Ну скажите, как может змея открыть четыре двери на переходных площадках вагонов? А ведь никто не сомневается, никто никогда не дал мне затрещины, слушают с таким напряжением, что стыдно потом из бюро пропаганды деньги получать... Кино — самый массовый психоз из всех.

«Это правда, что Алла Ларионова ушла к Иву Монтану, а Николай Рыбников и Симона Синьоре повесились?»

Отвечаешь и на такой вопрос, потому что наш зритель лучший в мире и его надо любить и уважать.

Но самые ужасные вопросы — это когда ты уже пальто надел, а тебя в дверях хоп — с боков под локотки — и в теорию киноискусства. Это зрители-киноведы, серьезные знатоки, им на личную жизнь Клаудиа Кардинале и на твою наплевать.

Среди туристов оказалось двое таких. Фамилия одного была Лисица, другого — Щегл.

Они поймали меня в баре и сели по бокам, представились, потом Лисица сказал:

— Любая фантастика, уважаемый автор, научная или там ненаучная, абстрагируясь в ирреальное, индизнаказательное, полезна, очевидно, тем, что позволяет четче прояснить суть процессов реальной действительности. Вы согласны?

— Это вы о «Тридцати трех» или о «Полосатом рейсе?» — спросил я и вспотел.

— Да, — сказал Щегл многозначительно. — О «Тридцати трех».

Тогда я объяснил, что не являюсь профессиональным физиком-теоретиком, и прошу перевести вопрос на русский, обыкновенный язык.

— Мы хотим спросить о положительном нравственном кредо, — перевел Лисица. — Должно быть в художественном произведении положительное нравственное кредо?

Я сказал, что если они признают произведение художественным, то в нем, следовательно, уже есть положительное кредо. И вспотел еще сильнее, потому что не люблю таких слов, как «кредо».

— Вам не кажется, что разрушительный пафос сатирического осмеяния потенциально должен быть наполнен пафосом утверждения? — спросил Щегл, холодно и проницательно глядя мне в лоб. Он не мог перейти от физических понятий — «потенциал», например, — к русскому языку.

Я смутился и пробормотал что-то о необходимости Щедриных.

— Они необходимы, — согласился Лисица. — Но не

кажется ли вам, что, заноса гневный бич сатиры, нужно тридцать три раза отмерить?

Я с детства знал от бабушки, что отмерять надо семь раз. Так гласит народная мудрость. Но Лисица и Щегл хотели отмерять почти в пять раз больше, нежели русский народ.

И я чего-то испугался, ощутил почему-то дрожь в коленях. И по привычке свалил все грехи на соавторов, благо те были далеко. Я сказал, что мерил тридцать три раза, а вот соавторы совершенно разболтались, распустились, потеряли самоконтроль, дисциплину. И один — лауреат Ленинской премии — отмерил всего пять раз. А другой — заслуженный деятель искусств — вообще докатился до того, что отмерил четыре с половиной раза.

— Нам не было смешно, когда мы смотрели фильм, — сказал Щегл.

Я сказал, что юмор прикрывает непонимание чего-либо. Когда соединяют контрасты в единое целое — ставят толстого Санчо рядом с тощим и длинным Дон-Кихотом, — нам почему-то делается смешно. Нерешенные противоречия, объединенные под одной крышей, комичны. Маркс сказал, что человечество, смеясь, прощается со своим прошлым, в котором оно совершало ошибки, путалось в противоречиях, делало глупости. Юмор — здоровое предчувствие скорого решения противоречий. Кинокомедию нельзя сделать без юмора. Если у нас мало смешных комедий, значит, у нас мало юмора. Если у нас мало юмора, значит, нам все ясно, противоречия разрешены, глупости исчезли. И этому следует только радоваться. Когда люди чему-либо радуются, они почему-то тоже смеются. Так смейтесь, граждане! На кой черт вам комедии вообще?

Лисица и Щегл смеяться не стали.

Но в волнах разрастающейся вокруг меня кинославы этот разговор скоро забылся.

Коллеги-журналисты передавали в эфир статьи, очерки и подвалы о подъеме специального туристского флага, о свинцовых волнах Баренцева моря, о льдах Карского. А я все общался с любителями кино и отвечал на вопросы, терял скромность, забывая величайшее изречение творца теории относительности: «Юмор и скромность создают равновесие».

Знаете вы, что такое слава? Нет, вы не знаете. Это знает только Евтушенко и я, хотя моя слава распро-

странялась на сто двадцать метров в длину и на двадцать в ширину — таковы размеры теплохода «Воровский». Уйти в тень от славы, сжаться в маленький, незаметный, серенький комочек, уехать куда-нибудь в глушь, в Саратов, как постоянно делает это наш знаменитый поэт, я не мог, потому что, как моряки говорят: «Судно по суку не обойдешь и на лошади не объедешь».

Слава возбуждает. Чтобы погасить возбуждение, я пил коньяк. Но когда выпьешь, уже не до писания статей.

Короче говоря, очнулся я, когда «Воровский» швартовался в Диксоне. Судовые динамики дружно ревели: «Четвертый день пурга качается над Диксоном...»

Шел дождь.

Отсюда диктор Всесоюзного радио когда-то начинал перечислять температуру нашей великой страны. Должен сообщить, что купцу Оскару Диксону такая честь никогда не снилась. Он тихо, мирно жил в Швеции и здесь даже близко не был, но давал деньги Норденшельду. А Норденшельд назвал бухту именем благодетеля.

Я вылез на палубу и увидел знакомые низкие сопки, тусклые низкие тучи, штабеля угля в порту, тяжелые силуэты ледоколов «Капитан Мелехов» и «Капитан Белоусов» на рейде, главный причал, возле которого мы ошвартовались, краны и маленький заливчик за причалом.

Тринадцать лет назад я пытался укрыть судно в этом заливчике. Шторм сатанел тогда над Диксоном. Шторм в засос, как говаривал Пастернак.

Я плохо выбрал место стоянки, и судно сорвало с якорей. И я было завел его в заливчик, но портовой диспетчер выгнал оттуда. Разворачиваясь против ветра, я дал машине самый полный ход, чтобы побольше швырнуть стремительной воды на руль и вывернуться. Но врезал в причал. Как я был несчастен тогда, как устал, как был одинок...

Стоя на застекленной пассажирской палубе лайнера — спецкор «Литературки», — я думал о своем прошлом с завистью. Грусть несбывшихся мечтаний была во мне. Портальный кран вытаскивал из носового трюма белоснежного лайнера ящики с пивом. И грузчики дрожали крупной дрожью, ожидая, когда бутылки окажутся в их заскорузлых руках. О, пиво в Арктике! Ка-

кая это радость и удовольствие, какое духовное приобщение к цивилизации!

Туристы альпинистской цепочкой удалялись в поселок, добросовестно месили тундру, мокрую угольную пыль, грязь сапожками, ботинками, галошами, ботами и ботиками.

Я глядел на туристов и думал о том, что наименования женской милой непромокаемой обуви и судна, положившего начало российскому флоту — «Ботик Петра Великого», — одинаковы. Вот как тесно увязаны в нашей истории женщины, флот и русская грязь. А еще я поймал себя на мысли, что с каждым посещением Диксона удаляюсь от причала все на меньшие расстояния. Году в пятьдесят третьем я весело шагал через весь поселок в барак-клуб танцевать падекатр с рыбачками — ловцами белух. Других танцев тогда не танцевали. Потом навещал только столовую: рядом со столовой была щель, в щели канистры спирта и две бочки воды — из одной разбавляли спирт, в другой полоскали кружки. Над бочками висел плакат: «Не пей сырой воды!» Потом ввели сухой закон, и я стал ходить только до почты. Потом — до могилы Тессема. Тессема я навещаю и теперь.

Норвежские матросы Тессем и Кнудсен были отправлены Амундсеном с Таймыра на Диксон с почтой. Им предстояло пройти девятьсот километров. Через два года на мысе Стерлегова обнаружили остатки костра, в костре — консервные банки, сломанный нож, гильзы, обуглившийся человеческий труп. Останки принадлежали Кнудсену.

Тессем не дошел до полярной станции Диксона четыре километра. Почту он бросил всего в восьмидесяти километрах — два пакета по двадцать фунтов каждый. Документы были в непромокаемой обертке и сохранились.

От ворот порта до могилы Тессема метров четыреста.

К гранитной глыбе прислонен якорь, вокруг якорные цепи.

И я навещаю Тессема. Я знаю, что он видел огни зимовья, когда оступился, сорвался в неглубокую расщелину и не смог уже подняться. Кем считать его, думаю я, глядя на льдины, севшие на камни под береговым откосом за могилой, — победителем или побежденным?

И в этот раз я навестил норвежского матроса, рассказал, что скоро его капитан Амундсен, исчезнувший

без следа в океане, воскреснет на экранах в фильме о спасении Нобиле. И что фильм будет правдивый, хороший, потому что сценарий написал старый полярник Юрий Нагибин, а снимает фильм отчаянный воздухоплаватель Калатозов, который одинаково хорошо знает и Кубу, и Северный полюс...

Навестив Тессема, я было зарулил обратно на лайнер, но вспомнил о восьмидесяти пяти рублях. Сознание долга — главное мое человеческое качество. Рубли надо было отрабатывать, собирать материал, делать обобщения. И я побрел по главной улице Диксона... и вдребезги простыл.

Гриппозное состояние характерно тем, что все видишь в черном свете. Простой насморк стоил Наполеону в конечном счете головы.

Валяясь в каюте и чихая, я придумал тему для статьи. Я решил написать о глубочайшем нашем неуважении к самим себе, которое проникло к нам в кровь и плоть.

На теплоходе звучала музыка, девушки-туристки играли в волейбол привязанным мячом, танцевали, участвовали в викторинах; мои коллеги тоже пользовались жизнью, выясняли у стариков туристов подробности их героических биографий. А во мне бушевали вирусы, и я на все смотрел сквозь черные очки.

В музыкальном салоне устраивали выставки фотографий, напечатанных уже на судне, восхищались видами Соловецких островов, награждали автора — это оказался кандидат наук — премией. А я... я потерял правильную точку зрения и залез на обыкновенную кочку.

Я вдруг вспоминал Соловецкий монастырь, и объявление у входа на берег: «За отпуск собак в лес — штраф!», и двух пьяных. Пьяные лазали по крепостным стенам, материли туристов, гоготали и выламывали доски загородки. Бледная девица-экскурсовод смотрела на них с ужасом. Никто из туристов не дал им в морду; все делали вид, что ничего не видят. Экскурсовод сказала, что у заповедника нет денег на сторожа. И я подумал, как жутко ей жить здесь длинную зиму, среди руин, среди святых камней, среди тысяч неизвестных могил.

Знакомый моряк, который служил на Соловках в войну, как-то рассказывал в кают-компании веселую историю. Рыли в горе гараж и наткнулись на склеп. В склепе лежал старец. Он был похоронен двести лет назад, но отлично сохранился, даже платье порвать оказалось трудно. Старец был при бороде, золотом кресте и бляхе. Золото содрали, а труп вытащили и посадили возле дороги на пенек, подперли лопатой, в рот сунули самокрутку. Шла по дороге женщина, кликнула старца, присмотрелась и ахнула в обморок...

Боже мой, как хохотала кают-компания! Как хохотал рассказчик, как хохотал я сам...

Соловки — это не акварельные краски моря, зеленых холмов и не монастырь — «как постройка сказочных богатырей». Соловки — это запах тления и разрушения.

Вот такие мысли начали вдруг приходить мне в голову и складываться в статью. В уме я резал такую правду-матку, что сам вздрагивал. Я совершенно утерять потенциал пафоса утверждения и резал, ни разу не отмеряя...

— Какой простор! — восклицал кто-нибудь, глядя на Енисей. — Вся мощь нашей страны олицетворяется этой рекой!

И вероятно, Енисей действительно был прекрасен, могуч, добр. Но я видел только ржавую полосу вдоль берегов, полосу в десятки сотен километров. Это были сплавные бревна, упущенные из плотов. Тысячи кубометров сибирской древесины, гниющие леса, трупы лесов. Через несколько лет океан вынесет их к ледникам Гренландии. Они могли жить, птицы могли щебетать в их ветвях. Они могли дать нам миллионы долларов... Я вспоминал шведские плавучие лесозаводы у горла Белого моря. Заводы работают на древесине, которую вытаскивают из моря у наших берегов. С каким презрением владельцы плавучих заводов смотрят вслед нашим лесовозам.

— Какой орнамент! — восхищались туристы, когда якуты привозили на судно тапочки из шкуры нерпы. — Как талант народа отражается даже в малом! А медвежьей шкуры можно купить?

Нет, купить их было нельзя. Их можно было только выменять.

И вот плыл по Арктике лайнер с туристами, которые в Европе собирали чемоданные наклейки, рассуждали

о расширяющейся Вселенной и о пафосе утверждения, с умилением фотографировали собак в ненецком поселке, но в дома не заходили и сушили на шлюпочной палубе медвежьи шкуры, выменянные на коньяк...

Ныне мода на старину пошла. Модерные торшеры выкидывают, из комиссионных магазинов выуживают кровати мореного дуба с бархатными пологам. Иконами обзавелись. Причмокивают на Св. Троицу, рассуждают о похожести святых на обычные крестьянские лица, восхищаются отсутствием святости в богородице и наличием в ней материнства. Уже и окать модно стало. Считается, что ежели окаешь, то в России и грибах толк понимаешь, а ежели чисто говоришь, то уже в некотором роде мухомор с опенком спутаешь. Есть писатели, которые и в идиотизм старой крестьянской жизни влюблены. Горюют, что в селе жизнь меняется, что ворот колодца не скрипит и лучины не горят. Скорбят по моральной устойчивости, которую город расшатал. Но скорбят такие почему-то на Аэропортовских улицах в Москве. И окают напропалую.

...Глухой ночью, когда мы пересекали Карское море, вдруг щелкнул динамик принудительной трансляции. Железный флотский голос объявил: «Товарищи пассажиры! Справа по борту на курсовом сорок — белый медведь! Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу!»

По теплоходу пронесся единый восторженный вздох.

Сотня полуголых туристов прыгнула из коек и помчалась на палубу. И мужчины и женщины совершенно не стеснялись друг друга, обнимали друг друга, отпихивали друг друга и вообще вели себя, как в финской бане.

А я чертыхнулся и перевернулся на другой бок.

Я был уверен, что вахтенному штурману медведь померещился: луч прожектора ткнулся в причудливую льдину, тени и блики дрогнули и побежали — вот тебе и весь белый бесплатный медведь.

В южной части Карского моря в сентябре на слабеньких льдинках медведя теперь не найдешь днем с огнем. И еще я подозревал, что вахтенный штурман — паренек живой, остроумный. Ему надоела монотонная вахта, и он теперь покатывается в рубке.

Но даже если мое подозрение соответствует дейст-

вительности, обижаться на штурмана не следует. Сам того не ведая, он сделал доброе дело. Хотя никто из туристов медведя не видел, но никто в этом не сознался. Утром выяснилось даже, что было три медведя и еще медведица с медвежонком — целый табун медведей...

И что интересно: пройдет несколько лет, и туристы будут в самом деле убеждены, что видели медвежье стадо в Карском море. И будут рассказывать об этом внукам. И попробуй тогда штурман признаться — они ему не поверят! Они скорее разорвут сами себя в клочья.

Так устроен человек — самое мудрое существо в мире.

Человек отличается от других существ тем, что умеет себя обманывать, умеет искренне верить в собственную ложь.

Мои коллеги, настоящие газетчики, тоже выстрелили на палубу, и каждый по-своему описал стадо. Один это сделал так:

«Экзотику подсветили прожектором, и двое мишек, неуклюже подбрасывая толстые задние ноги, скрылись в темноте.

Кто-то заметил:

— Ушли в сторону полюса.

Его со вздохом поддержали:

— И там им покоя не будет. Наткнутся на очередную СП...»

Чувствуете, сколько здесь пафоса утверждения человеческого всемогущества?

А я-то всего-навсего перевернулся с боку на бок!

Из этого наглядно следует, что знание окружающей действительности мешает пишущему человеку. Давно известно, что материал должен сопротивляться, не поддаваться, упорствовать. Надо материал преодолевать, осваивать, плохо его знать, тогда и только тогда получится хороший рассказ. А мне материал преодолевать было не нужно, я его, подлеца, знал не первый год.

Вывод: меня надо посылать не на Север, а туда, где материал окружающей действительности будет мне как следует сопротивляться, — например в Монте-Карло.

Вместо Монте-Карло судьба опять занесла меня на остров Вайгач в бухту Варнека.

Ночью вошли мы в пролив Югорский Шар, ночью пересекли границу между Европой и Азией.

Не знаю точно, где проходит эта условная линия,

продолжая Уральские горы под водой. Про Уральские горы капитан удачно заметил, разглядывая берега в бинокль, что у гор «завалены уголки».

Так вот, когда делили планету на географические части света, то тоже изрядно завалили уголки.

Если страны света разделены океанами, как, например, Африка от Австралии, то тут все ясно и понятно даже слепому. Но Европе с Азией не повезло, и крупнее всех не повезло России. Почему, скажем, жители Омска или Иркутска — азиаты, а, например, туляки — европейцы?

Тут сам черт ногу сломит. А ведь, как ни странно, эта путаница имеет большое значение. Сколько веков уже мир ломает голову над тем, что же такое русский характер. Смотрите, что пишет образованный европеец Киплинг:

«Постараемся понять, что русский — очаровательный человек, пока он остается в своей рубашке. Как представитель Востока, он обаятелен. Но когда он настаивает на том, чтобы на него смотрели как на представителя самого восточного из западных народов, а не как на представителя самого западного из восточных,— он является этнической аномалией, с которой чрезвычайно трудно иметь дело. Хозяин никогда не знает, с какой природой гостя он имеет дело в данную минуту».

Представляете, какой ребус получился для европейских мозгов из-за того, что древние старцы провели границу между Европой и Азией по Уральскому хребту? Бедняге Киплингу приходится иметь дело уже не с русскими людьми, а с «этническими аномалиями».

Посмотрим, к чему приходит автор нашей любимой детской книжки «Маугли» дальше. Итак, он считает нас азиатами и пишет:

«В Азии слишком много Азии, она слишком стара. Вы не можете исправить женщину, у которой было много любовников, а Азия была ненасытна в своих флиртах с незапамятных времен. Она никогда не будет увлекаться воскресной школой и не научится голосованию иначе, как с мечом в руках».

Голосовать без мечей мы давно научились.

Воскресная школа, действительно, у нас не привилась и является, по моему глубокому убеждению, символом скуки и ханжества. Но при чем здесь женщина,

у которой много любовников, я, хоть тресни, понять не могу.

Ах, не надо, не надо было отделять Азию от Европы условной линией! Так неприятно читать глупости у хорошего писателя.

Однако не следует упускать из виду, что и азиаты совсем не торопятся признавать нас своими. Таким образом, мы повисаем в середине. Сидим, в некотором роде, между двух стульев.

Ну и что? Что тут плохого?

Славянофилы и западники крушили друг друга несколько десятков лет, — царствие им небесное и вечный покой, избави их, господи, от вечных мук! А что от этого взаимного сокрушительства стало яснее?

Ну, не европейцы мы и не азиаты. Признаем себя осью симметрии. Это не так уж плохо. Симметрия — самый незабываемый закон Мира. Симметрична обеденная ложка, кристалл, человек, собака, акула и вся Вселенная, так как выяснилось, что у Мира есть Антимир.

Конечно, быть осью симметрии дело сложное, и потому мы стали такими сложными, что сами себя не всегда понимаем, но тут уж, как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить...

Вот о чем я размышлял, когда наш белоснежный лайнер входил в бухту Варнека на острове Вайгач.

Что новенького я узнал об острове за те два года, что не был здесь?

Что ненцы называют Вайгач — Хаюдейя. Это означает «Святая земля». А называют его так потому, что на Болванском Носу было у ненцев главное божество, главный идол — Весак. Весак означает «старик». Весак представлял из себя деревянный столб, очень высокий, трехгранный, с семи лицами. Вокруг толпилось еще несколько сот маленьких столбиков. До 1828 года ненцы кормили своих богов — мазали им губы оленьей кровью. А в 1828 году ненцев всех разом перекрестили в христиан. Правда, никто не подумал о том, как же они будут соблюдать посты, ежели питаются они сплошь мясом. Вышла неувязка, которую никто никогда развязать не пробовал. Известно только, что в свое время бежали на Новую Землю христиане-староверы и что все они чрезвычайно быстро померли от цинги, ибо посты соблюдали со староверской свирепостью...

Утром, обзревая бухту Варнека, я убедился в том, что очередная эпопея по перегону речных судов в реки Сибири в самом разгаре. На рейде обоймами, как сигареты в портсигаре, лежали на якорях очередные СТ и рефрижераторы. Они ждали ледоколов. Наверное, там были и мои товарищи, с которыми мы гнали эти СТ в шестьдесят четвертом году. Но не было возможности к ним добраться.

А на берег я съехал с группой туристов. И ощутил ту странность, прекрасность литературской судьбы, которая перемешана в то же время с искусственностью и театральностью.

На знакомом кладбище все так же посвистывал ветер в выветренном камне. И так же привольно и далеко виделось отсюда. И лаяли внизу псы, и чавкала под ногами ржавая тундра. И я увидел новую могилу, городскую, цивилизованную, — граненая, аккуратная каменная плита и знакомая надпись: «Леднев Александр Иванович. Старший помощник п/х «Правда».

Два года назад в холмик могилы Леднева была воткнута металлическая труба и на металлической дощечке была выбита зубилом надпись. Так его похоронили когда-то матросы — лучше они не могли.

Зимой я получил письмо: «Мой брат — Александр Иванович Леднев — похоронен на острове Вайгач, но я считала, что его могила не сохранилась. Сейчас, когда я прочитала Ваши очерки в журнале «Знамя», я узнала, что могила до сих пор уцелела. И я хочу осуществить свою мечту — посетить брата и обновить его могилу...»

Конечно, я поехал к Евдокии Ивановне и попробовал отговорить ее от этой затеи. Не так-то безопасно отправиться пожилому человеку на край света.

И вот судьба опять занесла меня сюда, и я увидел могилу, которую устроила здесь сестра своему брату. Все это было странно, трогательно, и немного жаль было дощечки со следами матросского зубила.

Мы спустились в поселок. И маленький ненец встретил нас у крайнего домика. Маленький ненец, как и положено, был привязан сыромятным ремнем к колу — чтобы он не мог удрать в тундру, загулять и заблудиться там. Его отчий дом был пуст. Вероятно, родители ушли на рыбалку или на охоту.

Мы немного постреляли из карабинов в пустые консервные банки, промочили ноги и вернулись на судно.

Круиз заканчивался: до Мурманска оставалось только одно-единственное море — море Баренца.

В Мурманске я задержался на теплоходе, ремонтируя чемодан.

Пришел капитан. О нем коллеги писали: «Молод, держится просто, по-настоящему интеллигентен, серьезно начитан, и есть в нем обаяние подлинной морской косточки. Никто никогда не видел капитана поднимающимся по трапу с рукой на поручнях».

Коллегам, конечно, невдомек, что за трап на судне надо держаться обязательно. Дело не в твоей собственной шее. Ее, если хочешь, можешь ломать; но, падая, ты угробишь другого, который шею ломать не хочет. И еще интересно: чем подлинная морская косточка отличается от липовой?

— Слушай, паренек, брось дурить, не уезжай,— сказал капитан.— Что тебе делать дома? Совсем ты разложился — из койки не вылезает! Пора тебе встряхнуться... Диплом штурманский с тобой?

— А что ты, паренек, предлагаешь? — спросил я. Капитан был на год меня моложе. Мы еще были тезки.— Надо ехать, отчет писать для «Литературки». Я им восемьдесят пять рублей должен. У них главбух такой волосан, что душу вывернет.

— Мы через недельку снимаемся к самому Нью-Йорку, на Джорджес-банку. Рыбаков повезем, подменные экипажи на траулеры,— сказал капитан и скривился: у него болел гастритный живот.— Четвертый штурман в отгул выходных дней идет. Сдавай техминимум, проходи медкомиссию. Визы не надо — без заходов идем... Никакой главбух тебя в океане не поймает...

— Рано или поздно возвращаться надо... — сопротивлялся я.— Коллеги уже материалы сдали и гонорар получили...

— Плюнь ты на материалы. Смотри! — и он показал мне известную газету, где была заметка о нашем путешествии и фотография теплохода. На борту явственно виднелась надпись: «Вацлав Воровский».

— Наш это теплоход или нет, а, паренек? — спросил капитан.

Я разглядывал долго, чувствуя подвох, но сказал:

— Да.

— Нет,— грустно сказал капитан.— Это однотипное судно, здесь ты прав. Только не «Воровский». Видишь носовой штаг?

— Ну?

— А у «Воровского» штага нет. Я как приехал в ГДР судно принимать, так сразу штаг срубил — вид портит... Туфта эта фотография,— и капитан вздохнул, потер живот. Ему почему-то хотелось видеть в газете именно свое, настоящее судно.

На душе было пасмурно, ибо статья не получилась. Да и может ли получиться статья о неуважении к самому себе?

И я сказал:

— Есть, товарищ капитан! Мне только надо повторить «Правила по предупреждению столкновения судов в море».

МОРСКОЙ ЭКЗАМЕН

1

Белоснежный лайнер «Воровский» стоял у пассажирского причала порта Мурманск, нацелив свой острый нос прямо в двери ресторана «Морской вокзал». В ресторане досиживали отчаянные рыбаки. Они отправлялись к берегам Северной Америки на четыре месяца.

Окно моей каюты было открыто. За окном шел отлив и мокрый снег. Пахло морской гнилью. Далеко и близко гудели паровозы, пароходы, теплоходы и электровазы.

Передо мной на столе лежали отходные документы, пачки паспортов и «Распоряжения о подготовке к отправке подменных команд для больших морозильных траулеров в район Джорджес-банка»...

Одиннадцатого октября 1966 года собрать личный состав траулеров для проведения инструктажа... Личному составу сдать паспорта и санитарные книжки четвертым помощникам капитанов... Капитанам траулеров проверить и подписать судовые роли... 12 октября в 23.00 закончить досмотр теплохода «Воровский» пограничными властями... Теплоход должен выйти в рейс 13 октября 1966 года в 01.00...

На все предотходные сутки меня, конечно, засунули

вахтенным помощником. Потому я и сидел в каюте, нюхая запахи отлива, подставляя волосы под мокрые снежинки, залетающие в окно, слушая гудки и разные судовые звуки. Остальные штурмана удрали в город Мурманск, чтобы попрощаться с женами или другими подружками.

На причале шумели моторы грузовиков и директор нашего ресторана Жора: пришло приказание сдать с теплохода весь запас спиртного, который остался от арктического туристского рейса. Весь коньяк и «столичную», не выпитые любознательными туристами, директор ресторана Жора выгружал в автофургоны вместе с некоторой частью своего сердца, ибо спиртное, как известно, наиболее способствует выполнению ресторанных планов.

Наше плавание к берегам Северной Америки начальство считало нужным сделать «сухим». Начальство считало правильно: рыбаки — не дети, особенно когда им будет нечего делать в пути и их триста человек, а в перспективе четыре месяца работы в океане без единого захода в порт.

Моя дорога много раз в жизни пересекалась с рыбаками, хотя я никогда не видел их в работе; никогда не видел изнутри траулера, живущего обыкновенной жизнью, ловящего рыбу.

Я видел, как рыбаки тонут, когда служил на спасательном корабле. Я дважды провел на Дальний Восток рыболовные суда Северным морским путем и сдавал их на Камчатке и во Владивостоке рыбакам. Теперь у меня был шанс посмотреть на то, как рыбаки ловят рыбу у берегов Америки, как делается рыбий жир.

Большинство детишек не любит рыбий жир. Я просто ненавидел. И вот в блокаду мать нашла среди склянок домашней аптечки пузырек с остатками этого жира. Пузырек был прополоскан кипятком, и кипяток превратился в благоухающую уху. Какое счастье — уха среди замерзшего города и смерти!

Ученые говорят, что войны играют решающую роль в сохранении рыбных запасов. В период проведения боевых действий ловить рыбу и добывать рыбий жир, естественно, опасно, ее вылов сокращается, и она успевает за время войны опять размножиться. Так было в первую мировую войну и во вторую.

Но если раньше рыбам было выгодно, когда люди дрались, то от третьей мировой войны им лучше не ста-

нет — радиоактивность для всех существ на свете есть радиоактивность...

Витамины рыбьего жира вытаскиваются из моря планктонными существами диатомеями. Другие планктонные существа, названий которых я не знаю, съедают диатомей. Мойва съедает их, а мойву больше всего любит треска. Из печени трески вытапливается рыбий жир. Треску ловят те парни, которые допивают сейчас в ресторане Морского вокзала и наивно думают, что на борту лайнера «Вацлав Воровский» они смогут опохмелиться.

Уже неделю я был не спецкором «Литературки», а четвертым помощником капитана, но отрешиться от литературы полностью еще не мог. Готовясь к рейсу, я листал лоции Северной Атлантики и книгу Гуревича «Походы викингов». Было интересно сравнивать современные лоции с маршрутами древних норманнов. Кроме того, как-то удивительно вовремя я услышал по радио «Песнь о вещем Олеге» в очень хорошем исполнении. И вот древние норманны, вещей Олег, Пушкин, скорый уход в море, старые записи в записной книжке — все это смешалось в нечто общее, в такую смесь, которую следовало зафиксировать.

Я знал, что в плавании уже не будет возможности заниматься литературой. И теперь, за несколько часов до отхода, строчил:

«Пушкин никогда не был за границей — царь боялся его выпустить, дать ему визу. Еще бы! Достаточно одного «Годунова»!

Уверены ль мы в бедной жизни нашей!
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там в глуши голодна смерть иль петля.

Каково царю было читать этот шедевр! Главная ставка умного царя — на короткую людскую память. Цари не любят, когда подданные начинают копаться в истории. Пушкин копался в ней всю жизнь...

Он резвился. Он называл Иисуса Христа «умеренным демократом»: «Я... написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа». Он озорничал

с обаянием неповторимым: «В довершение всех бед и неприятностей только что скончался мой бедный дядюшка Василий Львович. Надо признаться, никогда еще ни один дядюшка не умирал так некстати». Это Александру Сергеевичу пришлось отложить долгожданную свадьбу на полтора месяца.

Он взял эпиграфом к первой книге: «В раннем возрасте воспевается любовь, а в позднейшем — смятение». Ныне, по мнению многих, наш мир вступает в зрелость. Посмотрим, хватит ли миру сил разрешить себе смятение.

Пушкину ничего не стоило начертать пером на бумаге «дернуть к тебе» — в смысле «уехать к тебе». И это — в океане вельможного-французской речи!

«Ах! Ах! — вздыхаем мы. — Удел талантов — мучиться творческими поисками и сомнениями!»

Я что-то не слышал, чтобы Чехов или Пушкин мучились творческими сомнениями и поисками. Пушкин даже кричал после «Годунова»: «Ай да я!» Он мучился не творческими сомнениями, а тем, что жена слишком кокетничает и царь подслушивает. Любовь и честь его мучили и домучили. Гении мучаются чаще самою жизнью, а не творчеством.

Почему-то чужая исповедь необходима миллионам других, она почему-то укрепляет их души. Но только гении обладают той степенью бесстрашия, которая необходима в исповеди. Остальные боятся того, что называется «общество», подлаживаются под него, сами зачастую не замечая, думая, что они воюют с ним.

Литература у меня в школе преподавалась из рук вон плохо. Двадцать четыре года потребовалось «Вещему Олегу», чтобы из мертвеца превратиться — в моей голове и душе — в удивительную картину древней русской жизни, в поэму мудрости и величия, в вещь Олега, и его коня, и его дружину. И все потому, что «Вещего Олега» заставляют учить в школе наизусть.

Вот какие свежие истины формулировал я, когда появилась уборщица Валя. У нее не было передних зубов и верхняя губа западала по-старушечьи, хотя сама Валя была совсем молоденькой. Она властно прервала мои литературные занятия.

— Стучать надо, красавица, — сказал я. — И ты не очень вовремя.

— А вы должны койку как следует заправлять, а не

просто одеялом прикидывать,— огрызнулась она беззубым ртом.

— Ты когда родилась?

— В сорок пятом, а что?

— А я в двадцать девятом. И за что тебе зубы выбили?

— Мне не выбили, мне гланды вырезали, а зубы мешали.

Я даже восхитился такой явной ложью.

— Ты их давай-ка вставь, а то неудобно как-то.

— Меня и так любят.

— Кто тебя любит? Ты замужем?

— Разведенная.

— А дети?

— Ой, таракан! — завизжала она и отшвырнула кишку пылесоса.— Я их боюсь.

Она, очевидно, так кокетничала.

— Ты не забывай окна мыть,— сказал я.— Видишь, сколько на них соли.

— У меня дочка есть,— сообщила она, подняла кишку и поймала в нее таракана.

Таракан исчез в пылесосе. И я, конечно, представил, как ему темно и безнадежно стало. Обычно я обнаруживал тараканов в графине с питьевой водой — у графина не было пробки, а насекомые хотели пить. Я выливал их в умывальник и открывал кран. Тараканы стойко боролись, но струя смывала их. И мне было как-то совестно за то, что выпускаю тараканов в одиночное плавание. Но я ничего не мог поделать. Очевидно, до меня в каюте жил штурман, который держал здесь еду. На судах нельзя держать еду в шкафу или ящике стола — сразу заведутся тараканы.

— Сколько классов?

— Десять.

— Чего дальше не училась?

— Я курсы на кондитера кончила.

— А зачем плавать пошла?

— Романтика! — опять огрызнулась она.

Я давно заметил, что наши уборщицы не любят, когда во время уборки на них смотришь. Они испытывают раздражение от своей работы, они не любят ее.

Вещий Олег был родственником Рюрика. Норманнское происхождение первого русского князя чрезвычайно раздражает наших историков. Потому некоторые считают его литовцем, а некоторые чистокровным русаком...

Гуревич пишет, что викингов привела в Исландию, затем в Гренландию, затем на Ньюфаундленд цепочка родственных убийств. (Что все-таки ведет к Ньюфаундленду меня?..)

Дочь Эйрика Рыжего не захотела отстать от отца и брата. Она тоже совершила плавание из Гренландии в Америку. Ее звали Фрейдис. И командовала она двумя кораблями.

Как и прежние попытки колонизации Ньюфаундленда, попытка Фрейдис не удалась по одной простой причине — колонизаторы (уже на земле) ссорились, дрались и царапались из-за немногих женщин. Фрейдис это надоело. Она вспомнила своих убийц-предков и навела порядок: убила двоих главных помощников. Но это не помогло. Тогда Фрейдис убила немногочисленных женщин.

Порядок настал, но настала и скука.

Колонисты сели на корабль и уплыли обратно — в Гренландию...

Тут я, конечно, художественно представил древних викингов-переселенцев, как они приплыли к незнакомой земле...

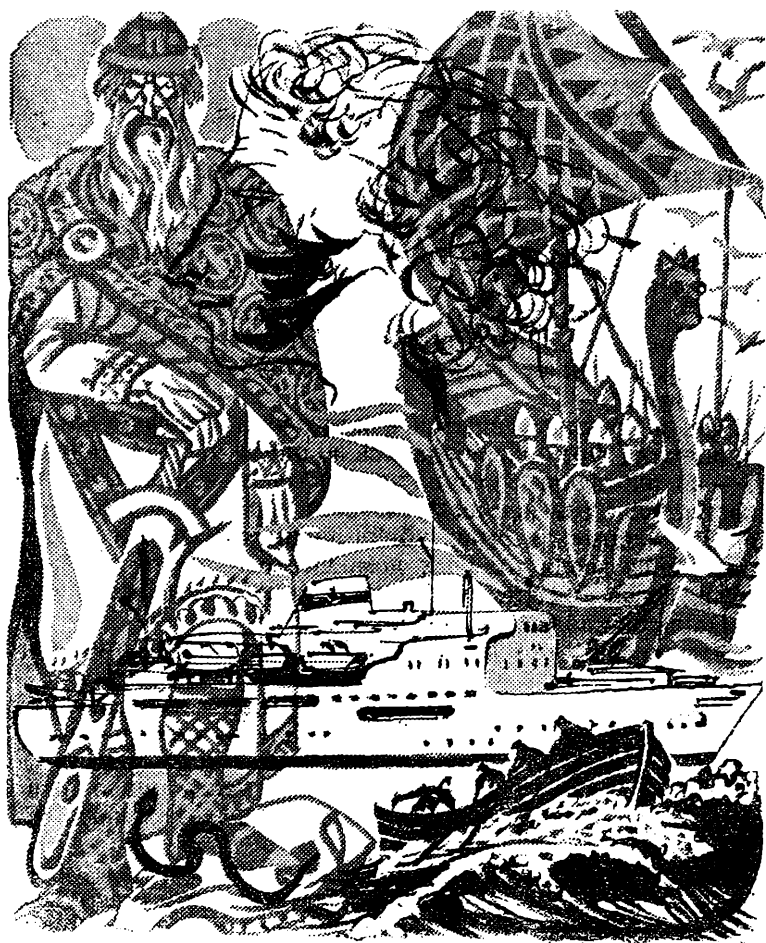
Белые вершины гор, глубокие и узкие ущелья, в которых белели водопады, и равнины, зеленеющие травой...

Они все плыли и плыли вдоль берегов, испытывая сложные чувства раздвоенности, растроенности или даже расчетверенности. Им все казалось, что за следующим мысом земля будет прекраснее.

Киты пускали фонтаны, резвились дельфины. Торжественно мерцали обломки айсбергов.

И наконец кормчий велел бросить за борт деревянный обрубок с изображением их дикого языческого божества.

Божество закачалось на волнах, медленно двигаясь к неведомым берегам. И кормчий приказал спустить парус. Мягкие складки синей шерсти накрыли гребцов с головой. Гребцы выбрали и уложили парус внутрь корабля, потом разобрали весла. Щиты, укрепленные за



бортами, стучались друг о друга, и звенели, и блестели на незаходящем солнце отраженным светом, как луны.

И все люди смотрели вслед качающемуся на зыби обрубку дерева. Заржали, почуяв землю, кони, привязанные веревками к мачте. И заревел бык, и замычали коровы, уставшие от моря. И женщины, прижимая к груди детей, запели молитву деревянному богу. Они молили указать лучший кусок земли, потому что отныне эта земля станет родной навеки.

Обрубок вертелся в прибойной воде, среди пены и брызг, потом море вышвырнуло его на камни.

Кормчий вытащил из ножен огонь битвы — меч — и указал на камни: «Здесь!»

Никто не вышел встречать их, никто еще не жил на этой земле, она была пустынна, загадочна, но тверда и зеленела травой. И значит, здесь витали чужие духи. Их не следовало злить и тревожить. Потому кормчий велел срубить с носа корабля изображение их родного бога и спрятать его под синий парус.

Они отделили голову своего бога от штевня, и, кряхтя от натуги, звеня кольчугами, уложили его на дно корабля, и укрыли парусом.

Потом навалились на весла и выкинули корабль на берег.

Первыми вылезли женщины и вынесли детей. Они стояли на земле и качались, отвыкшие от тверди под ногами. Ветер дул с гор, приносил запах льда. Журчал ручей, и слабый звук его журчания пробивался сквозь шум морского прибоя.

Кони били копытами и рвались.

Коней вывели, впрягли их в корабль, и кони вытащили корабль далеко на берег — за дальний след штормового наката.

И, чуть отдохнув, переселенцы пошли делить новую землю.

Каждому мужчине было положено столько, сколько обойдет за день с факелом в руке, поджигая на границах своей земли костры. Каждой женщине было положено столько, сколько обойдет за день, ведя в поводу корову...

Мой творческий процесс прервал директор ресторана Жора.

Он был красен и зол. И сообщил, что у него не хватает шести «кадров» — поваров, корневищ, официанток.

— Куда они делись?

— Зарезали их, Викторич! — сказал Жора и схватился за голову.

— Где? — некоторой тревогой спросил я, потому что все-таки был вахтенным помощником капитана.

— В санинспекции!

Это меня не касалось. Если бы их зарезали на борту, то это было бы уже другое дело.

— Как-нибудь обойдешься,— утешил я Жору.— В первый раз, что ли?

— И кладовщица на аборт легла! Утром еще молчала! — сказал Жора.

— Как придет старпом, я ему доложу,— сказал я и засмеялся.

— Чего тут смешного? — взорвался Жора.

Я коротко рассказал ему о Фрейдис, о переселенцах, норманнах, о том, как они ссорились из-за женщин и даже убивали их, чтобы жить спокойно на море и возле моря.

— Значит, уже тысячу лет женщины приносят неожиданности морякам,— пора привыкнуть, паренек,— заключил я.

— Пошел ты к чертовой матери! — заорал Жора и сам куда-то ушел.

А я продолжал заниматься древними викингami, выписывал из книги Гуревича занятные цитаты и сопровождал их своими собственными глубокомысленными рассуждениями.

Если правда то, что мысль становится материальной силой, овладевая массами, то слово, вероятно, становится материальной силой, овладевая человеком.

Именно это упустил вещий Олег из виду, когда пихнул ногой череп своего коня. Он презрел веру предков в магию слов, в правдивость и мудрость народа,— ведь волхвы вещали от имени самого народа.

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен...

Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье...
И вскрикнул внезапно ужаленный князь...

Интересно, что стихи называются «Песнь о вещем Олеге», но и еще один раз употребляет Пушкин слово «вещий»: «Правдив и свободен их вещий язык».

Здесь я решил поставить точку, потому что услышал два судорожных звонка — вахтенный у трапа вызывал меня на палубу.

Я надел форменную фуражку, одолженную у капитана,— в нее легко помещались и оба моих уха, приосанился и пошел на зов.

Вахтенный матрос доложил, что слышит сильный запах дыма. Я тоже услышал запах дыма. «Не хватало еще пожара»,— подумал я. И отправился по застекленной пассажирской палубе, шмыгая носом.

Горели всего-навсего окурки в мусорной урне. Я послал матроса за кружкой воды.

Снег кружил у фонарей на причале. Со старика «Репина», который стоял напротив, выгружали мокрые тюки. Привычно хлюпала между бортами вода. Левее «Репина» мерцали сквозь снег городские огни. И вдруг я подумал, что уже отрешился от берега. Мне уже не хотелось сойти с трапа, отправиться в город. Это особенное чувство — отрешиться от берега, его забот и соблазнов, потерять к земле и всему земному интерес. Не на словах потерять интерес, а на деле. С таким ощущением, должно быть, закрывали за собой монастырские двери настоящие, истинные монахи. Это какое-то цельное, хорошее, чистое ощущение, но с примесью грусти, конечно,— ощущение близкого ухода в море.

Я уже знал, что пойду к берегам Америки не раз и не два. Я решил поплавать дольше — до весны.

Поднялся по трапу занесенный снегом человек, велел убрать с причала разбитые ящики — тару.

— Вы-то уйдете, а мне с ними что делать?

Он был прав — разбитые ящики были наши. Я вызвал боцмана-дракона, и мы с ним в четыре руки перекидали ящики на борт, чтобы в море пустить их плавать по волнам.

3

Я передал привет Норвегии от ее верных матросов Тесема и Кнудсена, спящих под камнями далекого Диксона, когда мы огибали мыс Нордкап. Его зеленоватое таинственное отображение мерцало на экране радиолокатора. Я брал на мыс пеленг и мерил до него расстояние, прижавшись лицом к резиновому наморднику выносного индикатора.

С боков в намордник проникал дневной свет. В линзе экрана я видел свое лицо увеличенным раза в два. Каждую пору, и каждую морщину, и прыщик на щеке. Что

поделаешь, если вдруг замечаешь свое старение, и дряблость своей кожи, и следы прощальной выпивки — и все это в двойном масштабе.

Весь рейс, склоняясь к экрану радара, я невольно думал о том, что я уже не тот, кем был. Крути не крути. А иду четвертым помощником капитана. И продуктовый отчет — на моей шее. И заявки на питание экипажа, и книга приказов... А впереди огромный простор Атлантического океана, в котором я никогда не плавал и который изучал только по логиям.

Не знаю, кто и что виновато в том, что я не плавал в Атлантическом океане. Но не могу винить себя в этом. Уж я бы не отказался, предложи мне кто-нибудь такое развлечение. Мне удалось поглядеть на Тихий океан — остальные остались за кадром. Ледовитый океан — понятие относительное. Северный морской путь проходит по его морям. Сам Ледовитый океан реальность только для моряков атомных подводных лодок и зимовщиков на СП.

Океан и море — разные вещи. Недаром эти слова разного рода. Океан — мужчина. Море — не мужчина и не женщина. Оно именно «оно». Море принадлежит к океану и является частью его, хотя обязательно имеет свой нрав, характер и свои каверзы.

В море моряк мыслит понятиями портов, проливов и мысов. В океане моряк мыслит понятиями континентов и государств: «Сейчас ляжем на Исландию, оставим Англию по левому борту и повернем на Канаду». Только летчики и главы государств еще могут так свободно обращаться с континентами. Но государственные деятели — это, конечно, не то. Они не знают, чем пахнет дорога между континентами. Такое знают только те, чьи руки лежат на штурвалах.

Недавно один большой политик — премьер Австралии — решил сам понюхать, чем пахнут дороги между континентами, — нырнул в океан с аквалангом. И не вынырнул. Интересно, что думали акулы, когда жевали премьера, и какой у него был вкус?..

Такие низкие и высокие мысли бродили в моей голове, когда я уже окончательно забросил литературу и стоял первую ходовую вахту, а белоснежный лайнер «Вацлав Воровский» огибал Скандинавский полуостров, чтобы вскоре «заложить дугу» от Фарер на Сент-Джонс.

Я, конечно, думал и о тех вещах, о которых следует

думать штурману на вахте. И еще испытывал радость. Это так приятно — плыть по волнам не пассажиром! Это так приятно, когда руки лежат на штурвале! Хотя это и не твои руки непосредственно лежат на штурвале, а рулевого матроса, но они как бы твои собственные. Правда, и штурвала никакого нет. Есть две гладкие, приятные на ощупь кнопки или маленький полукруглый кусочек ба-ранки...

— Вы ко мне зайдите после вахты, — сказал капитан-наставник, разрушая высокий настрой моих мыслей и чувств. — Побеседуем об Уставе и других интересных вещах... Вы ведь давненько уже самостоятельно не плавали...

— Есть, — сказал я.

И скис, как тогда, когда узнал, что в арктический туристский рейс отправляется куча профессиональных газетчиков.

У капитана-наставника было отвратительное настроение. Он узнал, что идет в длинное, утомительное и скучное плавание к Джорджес-банке за час до того, как мы отдали концы. Он даже не успел попрощаться с женой, а жена должна была через неделю отмечать день рождения.

Должность капитана-наставника — странная должность. Делать ему толком на судне нечего, потому что существует основной, штатный капитан. А капитан-наставник должен помочь штатному капитану, ежели произойдут какие-нибудь особенные обстоятельства. В Уставе, кстати говоря, о такой должности не сказано ни слова. Так как безделье томит даже ленивых людей, капитан-наставник начинает придумывать для всех на судне экзамены, играть тревоги и записывать неизбежные грехи и промахи в книжечку-конduit. От скуки капитаны-наставники любят путать штурманов хитрыми, каверзными вопросами. Они, например, могут спросить: «Охотник вышел из своей хижины на охоту и прошел на зюйд десять и три четверти мили, потом он повернул к весту и прошел еще десять и три четверти мили. Здесь охотник увидел медведя и стрелял в него. Медведь побежал на чистый норд и упал мертвым возле хижины охотника. Как зовут этого медведя и где находится хижина охотника?»

Восьмиклассник сразу ответит, что медведя зовут Белый, а хижина находится на Северном полюсе. Но

штурман на то и штурман, чтобы серьезно задуматься над этой историей. В голову лезут квазикоординаты, ортодромии, гномонические проекции и черт те знает что.

И ляпнешь такую чушь, что потом не спишь две ночи от стыда.

Все может спросить капитан-наставник. Он может поинтересоваться тем, каковы обязанности вахтенного штурмана, если впереди по курсу разорвалась в дистанции тридцать миль атомная бомба на глубине пятидесяти метров. Ты, конечно, можешь ответить популярным анекдотом, что надо переодеться в чистое белье и медленно ползти на кладбище. Но он спросит: «А почему именно медленно ползти?» И если ты не знаешь, что ползти надо медленно, чтобы не вызывать лишней паники, то получишь двойку по спецподготовке и тебя не пустят в рейс. Вот что такое капитан-наставник, и вот какие он может задавать вопросы.

Я спустился в каюту и еще раз полистал Устав. Как всегда, бесчисленные пункты «обязан» смешались в кучу.

«Устав плавания на судах советского морского флота» — прекрасная вещь. В нем опыт аварий и недосмотров, которые случались и чуть было не случились с десятками поколений моряков. Именно поэтому никто запомнить Устав не может. Устав можно помнить и стараться исполнять исходя из главных сутей. Но когда надо сдать экзамен по Уставу, ты становишься в тупик. Или, как моряки говорят, упираешь рога в переборку. Ты, например, забудешь упомянуть, что при стоянке на якоре надо следить за якорем. Это не значит, что когда ты в самом деле стоишь на якоре, то тебе на это наплевать. Но на экзамене это пропустишь. Или не доложишь, что в случае опасности ты обязан принимать против этой опасности меры. Хотя только кретин не принимает мер против опасности, которая ему грозит. Или ты перечислишь все виды информации, которые следует получить у сдающего тебе вахту штурмана: о берегу, своих огнях, встречных судах, погоде, видимости, прогнозах, предупреждениях, приказах капитана, но не скажешь о «распоряжениях по вахте», то есть о том, что повара надо пихнуть под ребро в шесть ноль-ноль по Гринвичу. И ты опять спекся.

Недаром Петр Первый велел:

Читай Устав на сон грядущий!
И поутру, от сна восстав,
Читай усиленно Устав!

Однако российский народ коротко ответил царю пословицей: «Жить по уставам тяжело суставам».

Без энтузиазма я переступил порог шикарной каюты-люкс, в которой жил капитан-наставник.

Приемный холл каюты выходил окнами на корму и оба борта променад-дека. За синими, вечерними стеклами окон виднелся, белел наш кильватерный след. В спальном отделении каюты стояли две широкие, роскошные кровати. Вероятно, лишняя кровать неприятно действовала на капитана-наставника, напоминая ему о дне рождения супруги.

Сам наставник сидел у стола и барабанил пальцами по Уставу. Звали наставника Борис Константинович Булкин. Он был, конечно, не молод, но и далеко не стар, сух, подтянут, имел губы тонкие, насмешливые; имел еще лысину, довольно уже порядочную.

— Итак,— сказал он,— вы, четвертый помощник,— писатель? Садитесь, пожалуйста.

Я сел и ощутил сухость во рту.

— Это имеет какое-нибудь отношение к будущей экзекуции? — спросил я. Я уже давно заметил, что звание «писатель» означает в глазах нормальных людей нечто совершенно несовместимое с серьезным знанием чего-нибудь конкретного на свете.

— Да,— сказал наставник.— Имеет. Если вы писатель, то на кой черт вас несет в этот рейс?

— Иногда полезно проветрить мозги,— сказал я. У меня зрел план. Я хотел попытаться завлечь наставника в «травлю». Мало на свете моряков, которых нельзя «затравить».

— Чего вы тут проветрите? В таком рейсе мухи сдохнут от скуки.

— Ну что вы! — сказал я.— Ведь это опасный рейс! Поздняя осень. Атлантика... Я недавно читал, что в пятьдесят девятом возле Гренландии погиб «Ганс Гедтофт», датское судно, ультрасовременное, построенное специально для плавания в высоких широтах зимой, с двойным дном, с ледовой обшивкой, со знаменитым полярным капитаном Расмуссенем во главе. Они трагически исчезли в океане, успев дать одну радиограмму: «Ганс Гедтофт» в шторм столкнулся с айсбергом»... Вы слышали об этой истории? Уже через час на месте гибели спасатели ничего не обнаружили... Может быть, вы знаете какие-нибудь подробности?

— Слава богу! — немедленно оживившись, сказал Борис Константинович. — Я шел тогда из Монреаля на Кубу. С этим «Гансом» погибли тринадцать ящиков национального архива, направленные в Данию на вечное хранение. Документики с 1760 года и до наших дней... И между прочим, со всеми пассажирами и командой погиб один умный член датского парламента от Гренландии. Он всегда восставал против использования пассажирских судов в гренландских водах в январе, феврале и марте. Его, естественно, считали ретроградом... Н-да, но сейчас октябрь, и мы пойдем южнее, много южнее... Так почему вас понесло в этот рейс?

Я чувствовал, что какая-то брешь пробита. Я верхним чутьем чуял, что можно попытаться увлечь наставника в сторону от Устава.

— Если совсем честно, то мне на время надо было уйти в кусты, смыться, — сказал я.

— Вот уж чего бы я никогда не сделал, если б был писателем, так это не отправился бы в такие кусты, как этот рейс, — с космическим упорством сказал наставник. — В чем все-таки причина?

Смешно было объяснять ему, что я не написал статью об арктическом туризме. «Где моя фантазия? — подумал я. — Беллетрист я или...» И вдруг вспомнил лопнувший чемодан и ощущение мужчины без ремня на брюках.

— Понимаете, — услышал я свой голос как-то со стороны. — Если честно, то... Я, Борис Константинович, убил человека... Вернее, он из-за меня погиб...

— Так бы сразу и говорили, — с удовлетворением сказал наставник. — Подробности помните?

— Конечно, — вздохнул я. — Он писал научно-фантастические романы. И печатался под псевдонимом Бессмертный. Он умер в подмосковном Доме творчества писателей. Вернее, я его там и убил. Понимаете, Борис Константинович, я не умею покупать себе вещи... Бессмертный погиб из-за моих подтяжек... Я купил их на Белорусском вокзале, когда ехал в Дом творчества писать рассказ о море. Я не знал, что подтяжки бывают и для детей. Мне всегда казалось, что подтяжки необходимы только таким мужчинам, как я, у которых брюки куплены без примерки и оказались здорово длиннее, или толстобрюхим мужчинам. Однако дети тоже могут нуждаться в подтяжках. На этом я, вернее Бессмертный, и погорел. Надо было завести детей, узнать тайны их одежек. Тогда

он жил бы и до сих пор. И творил о бесконечном могуществе человеческого разума. А он трагически погиб, как «Ганс Гедтофт», и похоронен вдали от родины...

— Откуда он родом? — сурово спросил капитан-наставник.

— Из Душанбе, — ляпнул я и не моргнул глазом.

— Продолжайте, — сказал наставник и опять забарабанил пальцами по Уставу.

— Ну вот, приехал я в Дом творчества, пристегнул подтяжки и потянул их на плечи. Но ничего не получилось...

— Брюки резали в паху?

— Так точно. И тут прочитал на упаковке: «Детские». Я начал морскую службу с шестнадцати лет, — мимоходом ввернул я, — и знаю, что любую снасть можно удлинить или укоротить. Намочил подтяжки горячей водой в умывальнике и натянул на батарею парового отопления: пропустил тросик через грудные и спинные петельки, уперся в батарею коленом — как упираются в бок лошади, чтобы затянуть подпругу, — и деформировал резину, насколько позволяли мои силы...

— Не надо было упираться, — резко сказал наставник.

— Возможно, — послушный, как ягненок, согласился я. — Несколько раз я вспоминал о подтяжках и выбирал образующуюся от постоянного натяжения слабинку... Ну а потом так увлекся творчеством, что мне стало наплевать на брюки, на то, что они висят, как траурный флаг. Я забыл о растянутых до напряжения луковой тетивы детских подтяжках. И уехал из Дома творчества. И вот узнал, что Бессмертный погиб. Он, понимаете ли, занял мой номер...

— Что говорят свидетели?

— Три свидетеля утверждают, что в момент смерти Бессмертного слышали выстрел. «Около часа ночи я услышала над головой сильный звук, который напомнил мне взрыв японской мины образца пятого года», — показывала следователю писательница Константинопольская. Она занимала комнату под Бессмертным, страдала бессонницей и писала мемуары об обороне Порт-Артура; о том, как она еще молоденькой, гибкой девушкой щипала корпию в госпитале. К моменту гибели Бессмертного ей как раз исполнялось восемьдесят три года. Всю свою длинную жизнь не покладая рук трудилась в детской литературе...

— Мужские свидетели были?

— Писатель Выгибин, живший в номере правее Бессмертного, утверждал, что около часа ночи ему в стенку выстрелили из обоих стволов охотничьего ружья жаками. Выгибин как раз писал очередной рассказ про медвежью охоту для «Огонька»... Левый сосед покойного был критиком. Он ничего той ночью не писал — просто спал. Но сквозь сон явственно слышал выстрел из «какого-то огнестрельного оружия с тупым дулом» — так он выразился... Верхний сосед Бессмертного оказался молодым поэтом. Поэт заявил, что видел за окном фосфоресцирующий след и слышал характерный для праздничных салютов звук...

— Что дал осмотр трупа?

— При внешнем осмотре трупа никаких следов ранений огнестрельным или холодным оружием найдено не было. Бессмертного увезли в соответствующее место и сделали вскрытие. Патологоанатом установил, что фантаст погиб от испуга. Но следователь еще раньше установил, что комната потерпевшего была закрыта изнутри. Следов пуль, оружия и так далее тоже не было обнаружено. Следствие зашло в тупик. Там оно и стоит.

— И будет стоять еще долго, как я считаю,— сказал наставник.

— Только Агата Кристи и я могут внести сюда ясность и вывести следствие из тупика, Борис Константинович. Дело в том, что на полу номера были найдены куски детских подтяжек. Батарея была позади писательского кресла. Когда я жил в номере, было еще тепло и пар не давали. Потом похолодало, и в батарее дали пар. Представьте себе Бессмертного. Как он выпил вечерний кефир, поднялся в номер, закрылся на ключ. И уединился за столом, слушая слабое шебуршание кефира в желудке. И замечтался о будущем, когда его роман о могуществе человеческого разума будет закончен: небось фантасту представилось, как он едет на такси в издательство сдавать книгу — три папки, шестьдесят листов.

— Как вам платят? — перебил меня наставник.

Я чуть не выругался, потому что увлекся рассказом, а весь эффект концовки теперь пропал. Я, черт возьми, должен был знать, что нет такого читателя, которому не была бы самым интересным в рассказе о писателе сумма гонорара.

— Триста за авторский лист и потиражные,— сказал

я.— И вот вокруг фантаста сгущалась ночная тишина, за окном падали снежинки, в батареях пробулькивал пар...

— А что такое «авторский лист»? — спросил наставник.

Господи, какой же читатель не спросит у живого писателя об авторском листе? И какой писатель (живой писатель) знает толком, что это такое? Это знает кто-то там, в издательских и типографских шхерах...

— Двадцать четыре страницы на машинке, — сказал я.— И вот вокруг сгущалась ночная тишина, за окном падали снежинки, в батареях пробулькивал пар... И тут в затылок ему выстрелили мои подтяжки: резина не выдержала теплового перепада — лопнула... Не каждый человек герой. И когда тебе стреляют в затылок ночью, то сердце может не выдержать...

Наступила томительная пауза. Кто знает состояние рассказчика, у которого не получился рассказ или не прозвучал анекдот, тот меня поймет. Нет омерзительнее состояния.

За ночными, черными стеклами каюты смутно белел кильватерный след. Мерно качалось судно, мерно били копытами тысячи лошадиных сил. Мы мчались по восемнадцать миль в час.

— Ну-с, — сказал наставник и побарабанил пальцами по Уставу, — и кто виноват?

— Не знаю, — уныло сказал я.— Давайте переходить к делу... Итак, «обязанности вахтенного штурмана на ходу»? Или «звуковой сигнал парусного лоцманского судна в тумане»?

— Виноваты женщины! — твердо, без тени улыбки, сказал наставник.— Это они вас, очевидно, не любят. Потому вы не женаты, не знаете тайн детских одежек. И сами покупаете подтяжки. Виноваты женщины. И нечего вам было пугаться и драпать за океан. У вас какое образование?

— Высшее военно-морское штурманское.

— Будь оно неладно, это высшее образование! — сказал наставник, устраиваясь в кресле поудобнее и закуривая. Минуту назад он дал понять, что попытки увести его в сторону от дела обнаружены, разоблачены. Но он не собирался меня наказывать. Наоборот, начиная собственную «травлю», он приобщал меня к океану, который все шире разваливался, распространялся вокруг. Плевать он хотел на параграфы Устава. Его смутно беспокоило при-

существование на судне штурмана-писателя. Теперь этот штурман-писатель был поставлен на свое место. Теперь можно было заняться «травлей» от души, по настроению, со вкусом. Ибо хорошо иногда иметь собеседника, который умеет слушать.

— Будь оно неладно, это высшее образование! Недавно пошла на него мода. И вот вызывают в пароходство морских волков — ветеранов флота, тех капитанов, на которых кит стоит, и намекают: пора вам, парнишки, подучиться. А парнишки сидят седые, войну отвоевавшие, все моря обнюхали. Я самым молодым оказался. Образование, конечно, у каждого есть, но, понимаете ли, среднее техническое. Считалось, у моряка главное не фундамент из высшей математики и химии, а — опыт. Каждый дурак понимает, что чем выше образование, тем оно и лучше, но тут многое зависит от путей и методов. А нас единым чохом подвели под категорию пацанов, которые после десятого класса поступают в институт или, предположим, в университет. То есть должны мы сдавать вступительные экзамены по программе аттестата зрелости. Ну, народ подобрался, конечно, мужественный и к приказам привыкший: «Надо — значит, надо!» Все спокойно согласились на эти экзамены, потому что никто знать не знал, что они из себя представляют. Никогда не забуду, как мы на первое занятие подготовительных курсов сошлись и сели. Шуточки, думаем. Сейчас нам по тригонометрии пару вопросов, по Эвклидовой геометрии, по морской астрономии. Ждем, войдет в аудиторию наш коллега, моряк, которому больше нас повезло и он уже высшее образование получил, ну, и поучит нас уму-разуму. Н-да, только входит девица лет двадцати двух и говорит:

— Прошу всех сесть за отдельные столы.

Мы рассаживаемся, хихикаем, оцениваем девицу, кто уже ей комплимент, кто-то на «Великолепную семерку» приглашает.

— Итак, товарищи аборигены, — говорит она, — прошу вас написать сочинение: «Образ Татьяны Лариной». Времени у нас с вами полтора академических часа.

Мы помолчали минут пять.

— У меня буфетчица есть Ларина, — говорит капитан дальнего плавания Згуридзе (между прочим, Герой Советского Союза).

— Не понимаю ваших шуток, — режет девица. — Начинайте, время идет!

Вы бы видели наши рожи! Как в тропический ураган попали, в «глазок бури».

Но кто-то еще дух не уронил, шутит дальше:

— Вот пускай Згуридзе и пишет про Ларину, если у него такая буфетчица есть, а у нас нет! Нам чего-нибудь ближе к суровым будням нашей действительности.

— Где и как вы учились? — спрашивает девица Згуридзе.

— По системе Дальтона.

— Не знаю такой системы, — говорит девица.

Тут все мы со смеху покатались, ибо половина по этой самой системе и училась, то есть один кто-нибудь, самый башковитый, за группу сдавал экзамен, за бригаду.

— Прекратите смех, — командует девица. — Мне парходство за вас деньги платит, за то, что я вас учить буду, и каждая минута на счету. Прошу писать о Лариной.

Пóтом запахло, как в предбаинике, когда туда роту саперов загоняют сразу после учения. Народ мы, конечно, культурный, «Евгения Онегина», гм, читали, но... писать о Татьяне Лариной! И смех и грех! Первые признаки гипертонии у меня тогда появились — пульсация в висках... И знаете, что интересно... как вас — Виктор Викторович?

— Да, — сказал я, — Виктор Викторович.

— Про эту девицу мы потом узнали, что ее из детской школы выгнали. Не могла она с восьмиклассниками справиться. Безобразничали пацаны на ее уроках. Вот она и уволилась. С капитанами ей проще оказалось. Так нас скрутила! Чуть что — звонит начальнику парходства. Или забудется и кричит: «Товарищ Булкин! Без родителей на следующее занятие не приходите!» А я, между прочим, родителей еще до войны похоронил. Дневники заставила нас завести. А у вас дневник есть? Я про настоящий говорю, про писательский...

— Нет. Так только, записная книжка, сюжеты там, наброски...

Теперь мы разговаривали с ним как два человека обыкновенных. Не было четвертого штурмана и капитана-наставника. Он, вероятно, почувствовал, что работать в рейсе я буду честно, без ожидания скидок на писательскую принадлежность. А я знал, что не получу этих скидок, и был рад этому, ибо нет ничего омерзительнее творческой командировки, даже если она не оформлена бу-

мажкой, а просто существует в некоем ореоле вокруг тебя.

Наставник встал с кресла, прошел круг по холлу каюты, опуская шторы на окнах. На кормовой палубе шаталось несколько рыбаков-пассажиров, глазели на нас. Потом открыл холодильник, вытащил чешское пиво.

— Знаете, Борис Константинович, — сказал я. — Писательство — не мужское дело. Чего-то не хватает. Когда-нибудь я попробую написать об этой недостаточности. Я не о том, что мужчина должен рисковать жизнью, витать в космосе, плавать, воевать, рубить уголь под землей или делать себе прививку чумы... Я о том, что в писательстве есть какая-то ограниченность, оно ведет к гибели, хотя приходишь к нему, спасаясь от нее...

— Это уж слишком сложно для меня, — сказал наставник. — Пейте пиво. И... вы про этого фантаста наврали?

— Конечно, — сказал я.

— Все-все наврали?

Читатель есть читатель. Человек есть человек. Борис Константинович не мог поверить в то, что нечто можно выдумать от начала и до конца. Великая способность людей! Что бы без этой способности делали писатели?

— Нет. Частично, — сказал я. — Надо дольше быть мальчишкой, пацаном. Мальчишки часто врут. Но только когда врут без веры в свою ложь — это плохо.

— Наверное, наверное, — согласился Борис Константинович. — Когда мы еще гнили на подготовительных курсах к аттестату зрелости, так самое счастье было, если преподаватель заболит и не придет. Точно как пацаны, это вы наблюдательно заметили. Сидим, седые олухи, и томительно ждем — вдруг все-таки придет преподаватель историю нам объяснить. И вот если окончательно не приходит, так мы сразу начинаем в фантики играть. Или в морской бой. Или в денежку. Афанасий Петрович — царствие ему небесное и вечный покой! — нас всех обыгрывал, а был самый старый — под семьдесят уже. Мы на деньги в фантики играли... И вот ни у кого даже на пиво не остается. А старик непреклонный был — на автобус пятак еще даст, а на пиво — ни-ни!

Капитан-наставник умолк с какой-то юной и чистой улыбкой на несентиментальном лице. И я даже подумал, что это хорошо придумали начальники — заставить старых капитанов сочинение про Ларину писать, про ее чи-

стоту и непорочность. И вот сидят старые капитаны, замирают от стука каблучков в коридоре — вдруг это все-таки преподавательница запоздавшая идет? И в фантики играют. И старик их всех обыграл. Прелесть да и только...

— Плохо все это с Афанасием Петровичем закончилось, — вдруг сказал капитан-наставник и вздохнул. — Ясное дело, пока мы штаны в училище протирали, то от моря отвыкли. Вышел он первым рейсом уже с высшим инженерным образованием и посадил пароход у Териберки на камни. Нервы не выдержали — он и помер, наш чемпион по фантикам... Конечно, после зауми, химии разной — ну скажите, зачем химия? — нас к мостику и близко подпускать нельзя было... Сколько лет потеряли! Сколько средств!

Тут в дверь постучали, и вошел штатный капитан — мой тезка. Он глянул на меня с тревогой и беспокойством. Экзамен, оказывается, продолжался уже второй час. И кэп пришел меня спасать из лап наставника. Но виду, что пришел меня спасать, конечно, не показал.

— Неприятности, — сказал тезка. — Посоветоваться надо, Борис Константинович.

— Что такое?

— Большой объявился. Эпилептик.

— Сейчас разберемся, — сказал наставник, но отворачиваясь от наболевшей темы, от того, как он высшее образование получал, сразу не смог. И продолжал: — Когда мы приехали уже в Ленинград и сдавали там вступительные экзамены, то дочек и сыновей заставили агентурную разведку производить, чтобы заранее тему сочинения узнать. И они выяснили, что будет свободная тема про революцию и «Во весь голос». Мы, ясное дело, к свободной теме склонились — сколько политзанятий позади, сколько раз «Краткий курс» изучали... И знаете, какая сверхъестественная вещь случилась?

— Ну? — сказал я. И взглянул на тезку, тот мигнул мне: мол, как ты, штурман? Он тебя экзаменами замучил? Держись, паренек! Сейчас мы это дело на эпилептика переведем и твою хилую душу на покаяние отправим, на отдых...

— Дали одну и обязательную тему: «Образ Татьяны Лариной в бессмертном произведении «Евгений Онегин»! — Наставник засмеялся нервным смехом и продолжал: — Нас пятнадцать капитанов тогда из сорока оста-

лось. Из этих пятнадцати четверо встали, замычали и пошли из аудитории прямо, простите меня, в кабак!.. И что там с больным?

— Медики докладывают: один из рыбаков, утилизатор, молодой парень, впал в эпилептический припадок. Надо в Москву радировать и на Берген заворачивать. Куда ему на промысел, на четыре месяца!

— Ну, Берген или любой другой иностранный порт вы только в бинокль увидите,— сказал наставник.— Для того я тут и гребу с вами. Сообщите в Москву, пусть дают встречных судов координаты — передадим на них больно-го, и все дело. Дуба-то он не врежет?

— Черт его знает,— сказал штатный капитан. Ему хотелось зайти в Берген. Это было спокойнее, нежели отправлять больного на вельботе,— еще какая погода будет там, где встретим мы идущее на Мурманск судно. Вокруг-то уже готова была закипеть штормом осенняя Атлантика.

— Прикажите медикам клизму собрать. И вашего доктора, и с траулеров,— приказал наставник.

На морском языке «клизма» обозначает консилиум.

Экзамен был мною сдан.

Через восемнадцать часов Москва навела нас на большой морозильный траулер, возвращавшийся от Ньюфаундленда на Мурманск. Мы легли в дрейф и стали готовиться к переправе больного на БМРТ. Я ничего не знал о припадочном. Только то, что он фельдшер, но пошел в море утилизатором — на самую тяжелую, вонючую и грязную работу,— чтобы заработать денег. Очень ему, очевидно, нужно было их заработать.

Утилизатор — человек, который работает в цехе кормовой муки. Муку мелют машины из рыбьих отбросов и той рыбы, которую технология траулера не позволяет обрабатывать на борту. Утилизатор разравнивает горячую муку по трюму катком. В любую погоду, при любой качке. Он зарабатывает на всем готовом до 450 рублей, это капитанский заработок.

Когда надеваешь спасательный жилет, делается стыдно и неудобно. Как будто идешь в кальсонах по улицам. Не в нашем стиле — страховаться от маловероятной опасности. Но старинный морской устав — все обязаны перед посадкой в шлюпку надеть жилеты. И это правильный устав. Но хоть бы тогда жилеты у нас были не такие

уродливые, мешающие каждому движению, тяжелые и жесткие.

И вот мы нацепили жилеты и собрались у вельбота, который уже покачивался на таях вровень со шлюпочной палубой. И старпом сунул мне за пазуху еще тяжеленную ракетницу. И тут я окончательно стал похож на беременного бегемота в своем оранжевом жилете.

Конечно, мотор вельбота был прогрет, опробован и готов к действию. Конечно, бдительные глаза капитана-наставника и моего тезки следили за каждой командой и каждым нашим движением. И матросы уже шагнули через черную бездну между бортом теплохода и хлипким бортом вельбота. А мы — среднее начальство — ждали больного на палубе и курили.

И делать больше было нечего, хотелось, чтобы больной появился скорее, чтобы скорее освободиться от всего этого. Как-то все грустнее и грустнее становилось на душе. Чужая беда заползала нам в душу. Не очень-то веселая ждала нашего больного судьба. Теперь уж моря ему не видать как своих ушей.

Был поздний вечер. Океан храпел и посапывал.

Больной все не шел. Выяснилось, что он, оправившись и отославшись после припадка, смотрел кино «Солдат Иван Бровкин». Он не знал, что его решено отправить обратно, медики не сказали ему об этом заранее, не хотели слышать его просьб и приставаний. Он тихо-мирно сидел в кино, а его вдруг вызвали, приказали собрать чемодан, объяснили, что его ждет встречное судно, и вельбот уже приспущен, и чтобы он не рассусоливал. Больной сперва возмутился, потом заплакал, потом стал собирать шмутки, — куда ему было деваться?

Через полчаса он показался — с чемоданом, с кожаной сумкой через плечо — здоровый на вид молодой грузин. Несколько рыбаков сопровождали утилизатора. И доктор. И женщина — наш пассажирский помощник.

— Лишние отойдите. Здесь не цирк, — сказал капитан, мой тезка. И это прозвучало жестко, хотя было правильно.

Рыбаки, провожавшие товарища, оттеснились. И он остался один в центре освещенного люстрой пространства. И отчужденность, замкнутость в своем горе была в нем. Никто ему не мог помочь. Ему не повезло. И нам было стыдно за то, что мы ничем не можем ему помочь.

Но при этом он раздражал нас — и своей долгой задержкой, и своим здоровым видом.

— Давай чемодан, — сказал старпом.

— Сам, — сказал больной и ступил к бездне между бортами судна и вельбота.

Тут боцман взял его вместе с чемоданом и сумкой и перекинул в вельбот. Наш боцман, как я уже говорил, был очень большой и сильный человек.

Мы прыгнули тоже.

— Майна помалу! — скомандовал капитан.

И мы поехали вниз, вдоль борта, мимо иллюминаторов, и ржавых потеков, и рядов заклепок, и сварочных швов. Как на лифте. Потом вельбот глухо хлюпнул днищем о волну, первый раз рванулся, качнулся, короче говоря, проснулся после долгого сна в привычных и уютных объятиях шлюпбалок.

Мотор загрохотал, мы выложили тали и рванулись в океан.

Очень красив был наш теплоход со стороны, залитый огнями. И слышалась музыка из кают первого класса. А длинная зыбь покорно ложилась под днище вельбота, мотор работал устойчиво. И мы знали, что скоро неприятное закончится, мы вернемся и выпьем пива, его оставалось еще бутылок десять.

Чужое судно приближалось к нам. Теперь мы смотрели только на него. И вечное любопытство моряков к другому судну пробуждалось в нас. И люди на чужом судне испытывали такое же любопытство к нам и к больному, которого мы везли. Вдоль борта и в иллюминаторах торчали головы.

Чужое судно возвращалось с долгого промысла. Его борта были обмяты от швартовок в океане к плавбазам и темны от ржавчины. И вообще оно было мрачным и темным после нашего теплохода, после множества палубных огней.

Штурмтрап висел неудачно — возле шпигата, из которого хлестала грязная вода. Всегда почему-то рыбаки вывешивают штурмтрап возле самых шпигатов.

Мы подвалили к трапу и приняли порцию вонючей воды в вельбот. Это спутало нам карты.

Мы раньше договорились, что пустать припадочного больного, да еще находящегося в состоянии обиды и раздражения, по штурмтрапу без страховочного конца опасно. И что мы выполним все требования техники безопас-

ности на судах советского морского флота, то есть привяжем его бросательным концом вместе с чемоданом, а потом уже выпустим с вельбота. Но эпилептик с ходу прыгнул на штормтрап и полез на восьмиметровую высоту. Да еще эта проклятая сумка болталась у него через плечо. И тут мы поторопились отойти, чтобы если он шлепнется вниз, то в воду, а не нам на головы и не на жесткие борта вельбота.

Больной добрался нормально. Мы видели, как чужие руки протянулись к нему через фальшборт и приняли его на свои заботы. Но что-то уже нарушилось в ритме всей операции. И океан, и море терпеть не могут, когда все идет строго по плану. Они обожают неожиданности.

Короче говоря, мотор заглох.

Тут не было ничего особенного, потому что моторы спасательных вельботов для того и существуют, чтобы отлично заводиться, пока вельбот лежит в объятиях шлюпбалок, и обязательно глохнуть, когда вельбот просыпается на волне.

Боцман отпихнул моториста и сам крутил заводную ручку. Моторист говорил, что раньше предупреждал о неполадках в охлаждении. Старпом кричал боцману, чтобы тот не так старался: «Мотор с фундамента оторвешь!»

А тем временем вельбот несло под корму нашего теплохода. Нет моряка, который на океанской зыби хочет посмотреть с вельбота на корму своего судна в непосредственной от нее близости, то есть попасть «под подзор».

Старпом приказал разбирать весла. Но весла, как это и положено, были туго укутаны шкертами от уключин. Пока весла освобождали, прошло минуты три.

— Пронесет или не пронесет? — задумчиво спрашивал у небес старпом.

Наконец весла разобрали — оказались исправными только четыре. Очень мало для тяжеленного спасательного вельбота. Боцман-дракон прыгнул на банку и сел за гребным. На первом же гребке он поднатужился и поломал уключину у самого корня.

С грехом пополам мы добрались под тали. И это приключение выбило из нас воспоминания о больном. А когда Борис Константинович сделал вид, что ничего не заметил, то настроение окончательно вошло в норму. Все-таки наставник был настоящий моряк: он знал, что такое мотор на спасательном вельботе и как надо принимать экзамен по Уставу.

О ЧЕМ ДУМАЕТСЯ В СПОКОЙНЫЕ ПРЕДУТРЕННИЕ ВАХТЫ

Кто над морем не философствовал?

В. Маяковский

Мы ослеплены заманчивым зрелищем подводных сокровищ, но главное богатство океана — не материальные ресурсы, а вдохновение и радость, которые можно черпать из него бесконечно.

Капитан Кусто

Как и все охотники, рыбаки — хочешь не хочешь — убийцы. И это накладывает на них неуловимый отпечаток. И мне хочется послать рыбам сигнал: «Берегитесь, хек и палтус!» Но это невозможно сделать.

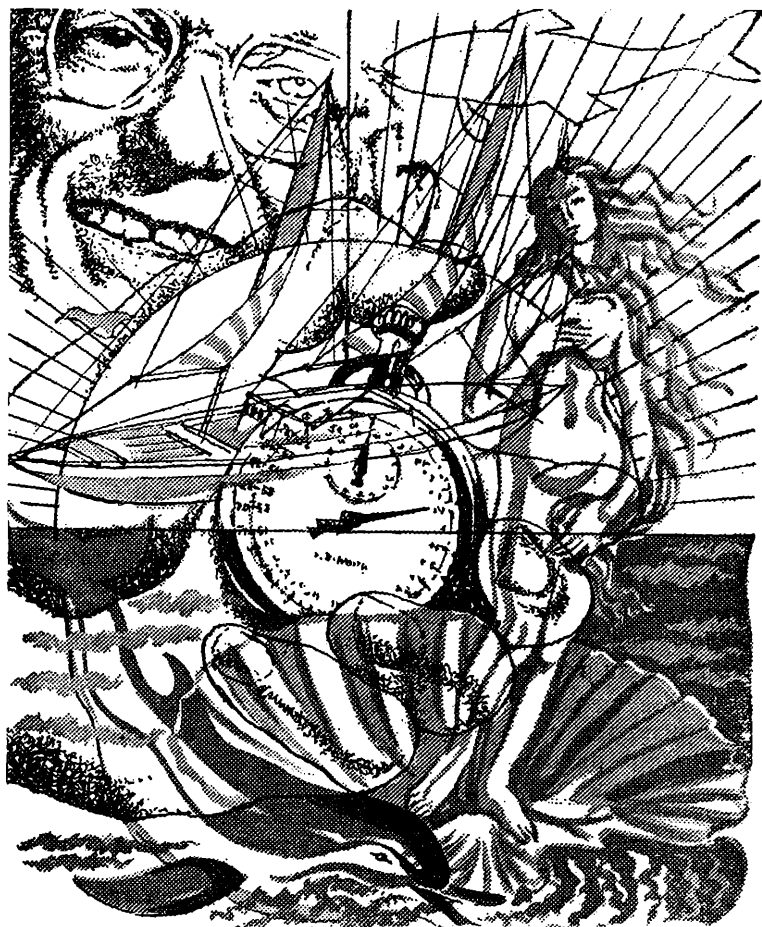
И потом, мне нравятся ребята, которые уходят на четыре месяца в океан, чтобы ловить и убивать рыб.

Я знаю их капитанов — большинство сидит к тридцати годам от перенапряжения. Не они виноваты в том, что банку Джорджес уже дограбливают. Что берут из моря плохую рыбу — серебристого хека, а ценные породы — зубатку и палтуса — швыряют в машину и делают из нее кормовую муку, ту самую, от которой куриные яйца иногда пахнут рыбой. Все это не их вина, они — винтики в той машине, которая разоряет океан. И черта с два докопаться до того, кто обманывает рыб, природу и, в конце концов, самого себя. Особенно противно думать об аппаратуре, которая посылает в воду рыбы сигналы, и рыбы доверчиво бегут в сети, потому что акустическая машинка рассказывает на их языке о хорошем корме и тихой погоде. Черт знает, но есть здесь подлость, унижающая человечество.

Правда, промысловики всегда поступали так. Они, например, ловили маленького моржонка и били его палками по носу. Моржонок орал. И тогда взрослые моржи бежали на зов детеныша под дубины и ружья охотников.

Моржи, как и все порядочные твари, любят своих детенышей больше самих себя. Промысловики об этом знали.

Сами животные — и рыбы в их числе — тоже бывают хороши. Есть такая глубоководная рыба-удильщик, у которой в пасти горит огонек, фонарик. Удильщик лежит на



дне, открыв пасть, и ждет, когда любопытная рыбешка приплывет на огонек. Тогда он пасть закрывает.

Но, если вдуматься, нет на свете никого беззащитнее рыб.

Я где-то читал, что, по старинному норвежскому поверью, сардины умирают даже от одного человеческого взгляда.

И если у рыб есть души, то это они соединяются в легкие, мерцающие облачка над морем, когда сотни траулеров набрасываются на косяк и миллионы рыб умирают

в сетях, как умирали — беззвучно и покорно — первые христиане на арене Колизея.

Я помню из прочитанной в детстве книжки «Камо грядеши?», что символом ранних христиан была рыба. Ее силуэт чертит на песке Лигия.

Правда, рыбам — миногам — бросали на съедение этих древних христиан, если не было львов. И рыбы исправно съедали христиан. А христиане, если почитать Евангелие, закусывали рыбами: «И взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу».

Все корабли плавают в густом и жирном супе, ибо только в Атлантическом океане имеется органического вещества в двадцать раз больше мирового урожая пшеницы за год.

Нынче я принадлежу к тем, кого рыбы должны бояться. Я вожу рыбаков из Мурманска к берегам Северной Америки.

В тот вечер перед сном я долго читал воспоминания Чуковского о Блоке, любил их обоих, завидовал тем писателям, которые попали в «Чукоккалу», и почему-то вспоминал девочку — свою детскую любовь. Стихи Блока входили в меня и жили во мне:

«Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою... И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели... И только высоко, у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок — о том, что никто не придет назад».

А за окном каюты на ботдеке повизгивали уборщицы и проводницы, милоясь с рыбаками, нашими пассажирами. Распяленная ветром занавеска трепетала над окном, как рыбий хвост. Свободные от вахт командиры били козла в кают-компаниях, радисты играли в «шишбеш».

Под нами, на глубине четырех километров, в безнадежной и торжественной тишине проплывали горы и ущелья, холмы и равнины дна Атлантического океана. Тайны чужой планеты роились под нами в крошечном мраке.

«Приснись мне та, которую я любил, приснись веселая березовая роща или старый Павловский парк, безмятежные пруды и чугунные мостики со львами. И пу-

скай я навсегда забуду о несчастной девушке в красном пальто из поезда Воркута — Москва».

Так книжно я думал, прочитав воспоминания Чуковского о Блоке. В море часто думаешь книжно, если специально не следишь за собой.

А нужно ли следить за собой и бояться книжных мыслей?

Приснились плечи обпиленных перед весной молодых лип в глубоком колодце двора. И броуново движенье снежинок, завихренных сквозняком среди доходных домов Петроградской стороны в Ленинграде.

В три сорок пять меня поднял матрос. Я помылся, причем вода в кране взрывалась и фыркала — насос работал дурно; потом пожевал заплесневелый лимон, сунул в рот первую сигарету и отправился принимать вахту.

Я шел длинным коридором. Впереди мерцало зеркало, и я видел себя — далекого и незнакомого человека. Стены коридора в зеркале изламывались от качки. Незнакомый карикатурный человек цеплялся за поручни и дверные ручки.

Тишина ночного судна звенела в углах и закоулках. Бессмысленно горели в безлюдье плафоны. Была середина ночи — самый сон.

В штурманской рубке на подставке меня ожидал графин с приторно сладким какао и кусок хлеба с сарделькой, а дверь из рубки на мостик была закрыта, чтобы свет не мешал вахтенным пялить глаза в ночную тьму. Близко вздыхал и ворочался океан, гудели репиторы компаса, безмолвно тянулись цифры на счетчике лага, маленькими скачками бежала секундная стрелка часов.

До вахты оставалось время, и я поколдовал над картой, прикидывая, когда мы подойдем к Английскому каналу.

На юг от нас — в Хихоне, Бильбао, Сан-Себастьяне, в разных Байонне, Педерналес, Сантанья — спали испанцы со своими испанками. На востоке — в Бордо, Ла-Рошели, Рошфоре и Нанте — спали француженки со своими французами. Прямо по курсу спали англичане.

А мне пришла пора четыре часа плыть в океане чужого сна. Мои сны теперь были уже наяву.

Зашел радист, без слов сунул радиogramму навигационных предупреждений, длинную, на двух страницах.

Радистов бесила необходимость принимать «Навип» — навигационные предупреждения — для всех морей и океанов. Если ты плывешь в Бискайском заливе, неважно, что происходит у берегов Японии. И если в Токийской бухте погас маяк, то и черт с ним, — так считали радисты.

Сэр Фрэнсис Чичестер обогнул мыс Горн.

Дай тебе господь удачи, старик!..

У западного побережья Португалии проводятся артиллерийские стрельбы. На подходах к Бостону дрейфуют бочки с сильно взрывчатым веществом. Севернее Багамских островов дрейфует перевернутый оранжевый буй. К востоку от Шетландских островов обнаружен неизвестный предмет размером до десяти метров, представляющий опасность для мореплавателей. У западного берега Индии проводятся учения боевых кораблей. Артиллерийские и ракетные залпы гремят по всей планете — в Саргассовом море, у Кубы, южнее Тайваня...

Когда учатся стрелять на земле, это делается без огласки. О стрельбе в открытом море приходится оповещать...

Либерийский танкер, вспоровший себе брюхо о скалы возле берегов южной Англии, выпускал из кишок сырую нефть. Суспензию нефти и соленой пены ветер гнал к берегам Франции. Владельцы устричных отмелей метались вокруг телефонов, не зная, чем и как уничтожается нефтяная суспензия. Работяги грузили устриц на автомашины и везли в далекие края, чтобы спасти. В Лондоне, в типографии «Морнинг стар», рисовали клише: боевой корабль с надписью «Английский флот». Два офицера на палубе: «Кажется, мы впервые столкнулись с нефтяной проблемой у себя дома, а не к востоку от Суэца...»

Либерийский танкер вез американскую нефть. Было на чем заварить очередную политическую заваруху. Суспензия дрейфовала и к английским берегам. Под угрозой приморские курорты. Кто из туристов полезет в морские волны, украшенные радугой нефти? Танкер бомбят, суспензию пытаются жечь напалмом. Оказывается, на воде напалм быстро теряет температуру, градусов не хватает для того, чтоб поджечь сырую нефть. Выясняется, что сырые люди от напалма сгорают более послушно. А древний сок древней жизни планеты — нефть — от напалма не загорается...

Бедный капитан танкера. Не хотел бы я быть в его шкуре. При спасательных работах погиб матрос. Сколько впереди допросов, объяснительных записок...

Второй штурман Глеб появился в рубке, жмурясь на свет настольной лампы.

— Приветствую вас, сэр! — сказал он. — Слушайте, чертовщина была. Часов около двух. Тьма кромешная, и вдруг — зеленая ракета, низко над морем, параллельно воде и поперек нашего курса. А радар — ничего! Пустое море вокруг. Я растерялся и даже мастеру звякнул.

— А он чего?

— «Продолжайте следовать прежним курсом и скоростью».

Вероятно, это была подводная лодка, которая хотела обратить на себя внимание. Быть может, она выпустила ракету из-под воды, предупреждая о всплытии.

— Спокойной ночи, Глеб.

— Спокойной вахты, Викторыч.

«...И всем казалось, что радость будет... Что в тихой заводи все корабли...»

Луна крутилась над океаном среди туч справа по борту.

Ночные тучи хотели Луну съесть. Они вечно на нее охотятся, крадутся за ней, хитрые и тихие, как шахматы. Их силуэты, чем ближе к Луне, делаются все более хищными, превращаются то в акулу, то в дракона, то в пасть тигра. Наконец выдержка изменяет тучам, узкая длинная стрела вырывается из них, вливается в Луну. Но иногда они подбираются тихой-тихой сапой, превращаются в стадо добреньких барашков. И бредут по небесам вроде бы без цели. А потом набрасываются на Луну и проглатывают ее. В желудке туч Луна бледнеет, тончает, нервничает. И мне бывает ее жалко.

Луна может одарить удивительными впечатлениями, если взять бинокль и уставиться на нее. Незаметно исчезнет вибрация от машин, пропадут все звуки. Странное, дымящееся тело крутится в небе. И вдруг вечное дыхание космоса коснется души. И подумаешь, что космонавты должны быть ребятами с крепкими нервами. Правда, человечество уже не раз доказывало, что ребята с крепкими нервами оказываются в наличии, когда наступает для них время и дело.

«Как идти, не зная куда; как терять, не видя приоб-

ретений! — писал Герцен.— Если б Колумб так рассуждал, он никогда не снял бы якоря. Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги,— по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой — вопрос. Этим сумасшествием Колумб открыл новый мир».

Герцен много раз говорит, что сумасшедшие первыми дерзают вступать в неизведанное.

Непреодолимо трудно понять психическое состояние человека, открывшего нечто противоположное привычному человеческому опыту. Какая болезненная сила фантазии была у человека, впервые понявшего, что Земля — круглая. Как замер он, пораженный смелостью и могуществом своего мозга и души. Как вздрогнул от кошмарности представления, пытался гнать его, гнать наваждение. Но восторг истины, восторг познания все ширился в его душе, как будто все музыканты мира играли в честь его торжественную музыку. И он бродил ночи напролет, оглушенный, и все смотрел на небеса; новые и новые доказательства истинности догадки роились в нем. И сумасшедшей силой его мысли, фантазии Земля из плоской превратилась в круглую.

А тот, кто первый понял, что Земля — не центр мира, а всего-навсего жалкая планетка? В каком гнетущем одиночестве оказывается человеческий мозг, опередивший человечество. Он оказывается в космическом одиночестве. Его может поддержать только могучий дух. Великая мысль может родиться только у того, кто имеет могучую душу.

Мне нравится, как ученые разных хитрых наук пытаются воздействовать на тупые мозги обывателей. Например, если ученый изучает льды, то на первой странице своей научно-популярной книги сообщит, что если растащить весь лед Антарктиды и других ледников по планете, то лед покроет ее слоем в сто двадцать метров. А тот, кто изучает воду, на первой странице сообщит о том, что соль морей, будучи вытоплена, покроет земной шар слоем в девяносто метров. Тот, кто занимается сложнейшими вопросами физики Солнца, не сможет удержаться от того, чтобы не сообщить, сколько раз Земля уложится внутри светила, и т. д. и т. п. Каждый ученый с наивностью ребенка хочет пробить застойные мозги читателя при помощи поразительных цифр и тем привлечь его внимание именно к своей науке. Я говорю

о милой наивности. Самые глубокие, самые серьезные ученые — самые дети, потому что любят облака, инфузорий, лягушек, солнце, море, снежинки. Без любви к инфузориям долбить гранит наук не хватит воли и сил.

Любовь к морю тоже детское чувство. Она не мешает ненавидеть купанье. И в этом большой смысл. Нас тянет в огромные пространства вод не потому, что мы водолюбивые существа. Мы можем утонуть даже в бочке дождевой воды. Мы любим не воду, а ощущение свободы, которое дарят моря. Наш плененный дух всегда мечтает о свободе, хотя мы редко даем себе в этом отчет.

Мало кто задумывался и над тем, что море, вода подарили людям понятие волны. Волна, накатывающаяся век за веком на берега, колеблющая корабли, натолкнула на одну из основных идей сегодняшней физики — о волновой теории света, волновой сущности вещества.

Волна подарила и ритм. В основе музыки лежит ритм волн и ритм движения светил по небесам. Потому музыка и проникает в глубины мировой гармонии дальше других искусств. Сам звук тоже имеет волновую природу. Медленный накат волны на отмель, вальс и ритм биевания человеческого сердца чрезвычайно близки. Потому вальс невредимым пройдет сквозь джазы.

Конечно, тому, кто страдает морской болезнью, лучше не читать этот гимн волнам.

Древние персидские владыки наказывали прибой, разрушавший берега их владений. Они секли море цепями.

Когда плавание затягивается и я уже устаю от безбрежности океана и уже мечтаю о возвращении, то иногда во сне начинает мерещиться шум берегового прибоя. Как будто я живу в домике среди дюн. И в окна доносится длинный и мерный гул наката, смешанный с шорохом сосен и песчинок на склонах дюн.

Иногда очень хочется услышать в море береговой прибой. Когда волны сутки за сутками разбиваются за бортом, за иллюминатором каюты — это другое. И грохот шторма в открытом океане — другое. Ничто не может заменить шум берегового наката. Там, где море встречается с землей, — все особенно. И люди, живущие на берегах, — особенные люди. Они первыми увидели, как из пены морской волны, вкатившейся на гальку, из смеси утреннего воздуха и влаги родилась самая красивая, нежная, женственная женщина, самый пленительный об-

раз человеческой мечты — Афродита. И самую красивую планету назвали ее именем. Богиня любви и красоты, покровительница брака, она вышла к нам из пены безмятежно нагая, и капли морской воды блистали на ее коже. И так же искрится, блистает по утрам и вечерам Венера. Древние греки называли ее еще «Успокаивающая море». Потому что древние греки верили: красота смиряет разгул стихий.

Как обеднело бы человечество без легенды об Афродите. Лучшие художники ваяли и писали Афродиту, она дарила им самое таинственное на свете — вдохновение.

Волны бегут через океаны посланцами материков.

Волны, поднятые штормом у мыса Горн, за десять суток достигают берегов Англии и улавливаются сейсмической станцией Лондона. Почва Европы ощущает порывы штормового ветра другой стороны планеты. Как тут не подумать о связи всего на свете.

Никто еще не подсчитал энергию, которую тратит ветер, чтобы создавать волны в океанах и морях. Какая часть его мощности исчезает в колебаниях частиц воды на огромных пространствах между материками? Что стало бы с нами, если бы океаны не укрощали ветер? Быть может, сплошной ураган неся бы над планетой. Ни деревца, ни травинки... Будьте благословенны, волны!

Древние арабы считали, что прилив возникает тогда, когда ангел, которому поручено заведование морем, опускает где-то за Китаем в воду пятаку. И волна от пятки бежит по свету. Некоторые считали, что ангелу достаточно опустить в море один палец правой ноги. Древние арабы были близки к истине.

Демосфен говорил речи на пустынном берегу моря. Вид ветреного моря напоминал ему толпу, которую следовало убедить и победить речью. Это не всегда получалось. И, говорят, Демосфен здорово злился. Ну, о том, что морская галька поставила Демосфену язык на место, знают все.

На Вселенском соборе папа Павел VI попытался определить основное стремление сегодняшнего человека. Он думает, что сегодняшний человек хочет выявления своей неповторимости. Самым типичным признаком времени папа считает желание человека быть личностью.

Многие считают главным знаменем времени осозна-

ние человечеством своего малознания. Каждое новое фундаментальное научное открытие лишь яснее показывает, что человек еще ничтожно мало знает о себе и природе вокруг.

Может быть, эти точки зрения несовместимы, но мне лично они нравятся обе.

Я долго не мог понять, почему не сбываются морские приметы, добрые, старые морские приметы, знакомые еще с детства. Например: «Солнце село в тучу — жди, моряк, бучу!»

Недавно понял. Уже за несколько часов современное судно уходит из того района моря, где примета, быть может, и окажется справедливой. Скорость убила древнюю мудрость, она остается далеко за кормой.

Точнее всего можно угадать погоду по облакам. Если облака напоминают зубцы старинных башен и соединены общим основанием, они предвещают грозу. Такие облака относятся к альтокумулюсам. Облака, образующие густой серый покров, через который просвечивают солнце и луна, обычно предсказывают резкое ухудшение погоды. Они называются альтостратусы.

Мне нравятся латинские названия облаков, хотя на экзамене по метеорологии их обязательно перепутаешь. Латинские слова тяжелы и могучи. Они звенят доспехами римских легионеров. И потому совершенно не подходят для названий облаков.

Перисто-слоистые облачка, в том числе молочная бледная вуаль, называются цирростратусы. Звенят доспехами римских легионеров и пахнут ночной аптекой. Это оскорбительно для облаков.

Смотрите, какие ласковые и чистые слова нашли для них в северных губерниях России.

В Архангельской облака называются «небесья». Темная синева на горизонте перед восходом или заходом солнца — «бусова». Темь от нависших туч — «бухмарь». Когда небо заволакивается облаками, оно «бухмарится». Передовые серебристые и округлые тучки перед грозой зовутся «быками». А есть и «ветряная свинка» — темненькое, как бы в клочки разорванное облачко. Если солнце начинает скрываться за чистыми, белыми облаками, то говорят, что солнце «ушло в замолодь».

И есть еще одно чудесное слово — «лють» — это блестя, искра иней, летающая в воздухе в сильный мороз в солнечный день...

Вот какие мысли приходят в ночную, спокойную вахту.

Один раз в час запишешь в черновик журнала отсчет лага и сличишь компасы. Когда луна скроется в тучах, включишь на прогрев локатор. Если позволяет расстояние до берегов, возьмешь пеленга радиомаяков. Вот и все дела. Остальное время меришь шагами рубку и смолишь сигареты.

Пожалуй, на вахте второго штурмана зеленую ракету выпустила английская подлодка, потому что на рассвете прилетел военный британский самолет и четыре раза низко прошел над нами, рассматривая нарушителя спокойствия и фотографируя. Самолет разнообразил вахту.

Я смотрел на самолет, думал, как пилоты через считанные минуты уже вернутся на землю. И думал о ночной подводной лодке. Соотечественник пилотов и подводников, океанограф Джордж Эдвард Рейвен Дикон часто жалуется на косность общественного сознания, на скаредность в затратах на изучение Океана. Дикон даже решил, что «нужна катастрофа, поражающая воображение, чтобы показать нам, насколько мы к ней не подготовлены». Он грозит человечеству новым всемирным потопом. Он требует, чтобы люди к потопу готовились, чтобы они повернулись лицом к Океану. И люди, общество, уже начали этот поворот. Но судорожное наращивание темпов исследований Океана, которое захватило многие страны, рождено не угрозой всемирного потопа, а традиционной угрозой новой войны.

И вот сотни океанографических судов бороздят океанские просторы. А еще несколько лет назад государства с крайней неохотой тратились на исследования морей.

Опять война подталкивает вперед науку. От всего на свете — от атома до космоса, от облаков до морских глубин — несет войной. Я люблю и уважаю капитана Кусто, но не следует забывать, что и он в прошлом — офицер военного флота.

Британский самолет в четвертый раз прошел над нами.

— Джон, брось жвачку! — крикнул ему вслед рулевой матрос. Под «жвачкой» матрос подразумевал жевательную резинку.

Всходило солнце.

Настоящий акушер волнуется при каждом родах.

Так и моряки волнуются, когда из пустыни рождается Солнце. Конечно, это не то волнение, когда заламывают руки или бухаются на колени. Восход при мягкой погоде вызывает желание молиться на красоту мира про себя, тихо.

Солнце задолго предупреждает о приходе. Облака трубят алые и розовые сигналы. Тучи подбирают полы грязных халатов и бегут из палаты роженицы, как обыкновенные уборщицы. Ветерок причесывает волны, выравнивает гребешки по ранжиру. А штурманы на всех судах мира — если это порядочные штурманы — суют в карман секундомер, открывают дверь рубки, поеживаясь от утреннего холода, выходят на крыло мостика, стирают росу со стекла репитора компаса и наводят пеленгатор на то место, где вот-вот пробрезжит первый луч. И ждут.

Конечно, вылезешь на крыло раньше времени. И рассветный ветер прощквозит насквозь — лень надевать теплое. Но какая чистота вокруг! И как чисто твое судно, промытое волнами, дождями, снегами. Ржавчина не идет в счет. В такие утренние минуты она чиста, как дыхание здорового ребенка.

И вот стоишь, щелкаешь от нечего делать секундомером, глядишь, не испортился ли он. Стрелка бежит ровно и безмятежно, отсчитывая секунды твоей жизни. Но мысли о быстротекущем времени не тревожат. Наоборот, секундомер сейчас слуга и раб. Он послушно поможет узнать, правильно ли работает компас. Солнце и Время выводят моряков к правильному направлению, к истинному курсу.

— Ну, давай, давай, дорогое! — говоришь Солнцу. — Пора. Я замерз уже!

И оно наконец выныривает из-за круглого бока планеты. И ты ловишь его в окуляр пеленгатора. Иногда оно пепельное, иногда оранжевое, иногда режет глаза пульсирующей кровью, — это зависит еще от светофильтра.

Когда следишь за светилом в момент восхода — от первого луча, только тогда понимаешь, с какой скоростью вертится в пространстве Земля. Солнце вытекает из окуляра слева направо, и ты ведешь за ним пеленгатор, как зенитчики ведут орудие за низко летящим самолетом.

Потом, бормоча про себя отсчеты пеленгов и держа

в руках воробья-секундомер, вернешься в ходовую рубку, прикажешь выключать навигационные огни и: «Смотреть тут без меня в оба!» А сам уйдешь в штурманскую, чтобы рассчитать поправку компаса. Ты считаешь ее быстро, но, когда вернешься и глянешь на солнце, оно будет уже много выше горизонта. Оно уже побледнеет, повзрослеет, и почетные сигналы облаков стихнут.

Таинство восхода закончилось. Начался день.

Солнце — доброе, Океан — мудр, но они дикие существа и безмятежно принимают любые жертвы. И сейчас истерически взвизгивает морзянка знаменитый «SOS», и исчезают в зыбях корабли. Но другие продолжают плыть дальше, быстро забывая неудачников. Так быстро забывает женщина о тяготах родов, чтобы не боиться рожать еще и еще.

Иногда только постучит в рубку озябший рыбак-пассажир, бессонный палубный бродяга, скажет:

— Прошу разрешения... Извините... Не спится третью ночь... Можно побыть здесь?

— Давай, постой,— ответишь снисходительно, ощущая почему-то превосходство над пассажиром, хотя он, скорее всего, плавал больше тебя.

И вот он конфузливо станет в уголке, упрется лбом в стекло окна и думает думы, глядя на брызги от форштевня. И о чем они, рыбацкие думы?.. Потом очнется, спросит обычное:

— По сколько идем?.. Встречных не было?

А ты спросишь:

— Ну как, план выполнили?

— Выполнили...

Ветерок раздавливает на стеклах брызги, и они превращаются в серебристых пауков. Но море спокойно, нежная фиолетовость сквозит меж облаков. И кажется, что плывешь внутри огромной перламутровой раковины.

— Вот, понимаешь, уходил на промысел старпомом, а возвращаюсь вторым помощником,— скажет рыбак, вздохнет и выругается, прикрывая руганью тоску.

— За что?

И он расскажет, что утопил моряка,— смыло матроса, а была ночь и туман, и ни хрена не видно, и мороз. Блоки шлюпочных талей прихватило льдом, вельбот завис. А время шло, паренек в зыбях слабел, и когда кинули ему конец и подтянули уже к борту, то паренек вдруг

махнул рукой, отпустил конец и исчез. А отвечать, ясное дело, ему — старпому...

И как будто заглянет в рубку, в ходовое окно тот неудачливый паренек, оставшийся среди айсбергов у скал Ньюфаундленда, мелькнут его выпученные глаза и безнадежно отмахивающаяся рука...

Однако рулевому матросу ничего такого не мерещится. И когда разжалованный рыбак уйдет, матрос дернет плечом и сострит:

— Шатаются здесь такие, а потом галоши пропадают...

И ты улыбнешься, потому что, ясное дело, плакать в такой ситуации еще глупее. Тем более галош у нас нет, и пропадать они, естественно, не могут. Наши пассажиры воруют на сувениры только плафончики от коечных лампочек в каютах первого класса...

Семь часов ноль-ноль минут.

Радиотехник включил трансляцию. Чтобы рыбакам было веселее просыпаться, по всем палубам гремит песня:

У рыбака — своя звезда!
Кто с детства с морем обручен...

Мы третий раз подряд делаем рейс Мурманск — район острова Нантакет, Джорджес-банка, Сент-Джонс и обратно в Мурманск. И каждый день начинается с этой песни. Мы устали от нее. По-моему, рыбакам она тоже поперек глотки, но никто не жалуется.

До сдачи вахты остается час.

Сквозь щели в густеющих облаках впереди по курсу пробиваются отдельные косые солнечные лучи, и там, где они упираются в море, гребешки волн снежно взблескивают. А вблизи судна волны уже ровно серы. Далекие, просвеченные солнцем гребешки кажутся дружными стадами дельфинов или косаток.

Прибегите к нам на минутку, дельфины! Так хочется, чтобы рассказы о вашем уме и человечности оправдались.

Редкий моряк раньше вылез бы на палубу под дождь, ветер, снег, если бы увидел стадо дельфинов. Нынче выскакивают многие, свешивают головы за борт.

Веселые, живые торпеды несут в себе жизнерадостность, спортивное настроение, лукавое любопытство и необъяснимую скорость движений.

Вот мне в детстве казалось, что если, отходя от зеркала, быстро оглянуться, то увидишь в зеркале свой затылок. Дельфинам такое удалось бы запросто. Легкость их скорости заколдовывает, как музыка. Они взлетают над волной, скашивают на тебя хитрый и веселый глаз. Крутой изгиб изящного тела, неподвижные, как крылья чайки, плавники. Без всплеска уходят в воду, несутся в ней, видишь их отлично с высоты мостика. И возникает какое-то восторженное чувство и радость. Как на мировом чемпионате по гимнастике. А они затевают опасную игру — режут нос судну или несутся прямо в борт. Как мальчишки, которые перебегают взад-вперед перед паровозом. И в последнюю секунду, тем движением, которым пловцы переворачиваются у стенки бассейна, они отшатываются от борта. И боязно, что они не рассчитают, ударятся в сталь, сорвутся под винт,— как страшно за сорванцов, перебегающих рельсы под фарами паровоза.

Дай бог, чтобы мы когда-нибудь нашли общий язык с этими существами. Они знают секрет, как жить весело и дружно. И они поделятся с нами этим секретом, обязательно поделятся.

Прибегите к нам на минутку, дельфины! Порезвитесь у борта, покажите над серыми волнами веселые и лукавые, улыбающиеся рожи; украсьте стремительным движением последние минуты нашей спокойной вахты...

Дельфинов нет, над морем распяты чайки.

Слова, написанные полвека назад, тихо живут:

...И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребенок —
О том, что никто не придет назад.

Мы придем еще много раз. Но причастный тайнам ребенок оплакивает наш последний. Он плачет красиво, значит, он прав.

Однако не будем забывать о мгновениях счастья. Они еще встретятся на пути.

В наш век все люди стали путешественниками, все куда-то летят, плывут, едут, все волей-неволей стали туристами и забыли, в чем польза географии.

В Риме, в конце царствования Тиберия, помер древний грек Страбон. Он написал семнадцать томов «Географии». Он сказал: «Польза географии в том, что она предполагает философский ум у того, кто изучает искусство жизни, то есть счастье».

СТРАННЫЕ КАПИТАНЫ

Капитан — это голова корабля, парохода или теплохода. Таким образом, у капитана два туловища — одно его собственное, а второе — это корабль, пароход или теплоход. Каждому понятно, что такое положение с годами вызывает в психике капитанов некоторые сдвиги и странности. На морском языке такие сдвиги и странности определяются словом «бзик». Ни у Даля, ни у Ожегова такого слова нет.

Раньше бзики капитанов были величественными и на многие годы сохраняли имена капитанов в памяти потомков.

Например, капитан брига «Баути» Блай плавал в южных морях 179 лет тому назад. Блай имел бзик, заключавшийся в непомерно почтительном отношении ко Времени. Время, конечно, важная вещь. Особенно в море. Чтобы определить долготу судна с точностью до одной мили, надо знать время с точностью до одной секунды. Но капитан Блай хотел превратить своих матросов в живые, бегающие по вантам секундомеры. А когда помощник капитана не сдул пыль с крышки хронометра, то Блай так вздул помощника, что возмутился весь экипаж. Капитана высадили на шлюпке в открытом море. Так, на шлюпке, он и въехал в бессмертие.

Нынче бзики измельчали.

На Дальнем Востоке я знал капитана рыболовного траулера, который в свободное от судовых занятий время шил тапочки для покойников. Он уверял, что такое хобби успокаивает нервы. Он отдавал готовые тапочки в соответствующее заведение бесплатно. Но вы бы видели, как ему не хотелось с ними расставаться! Он даже украшал их чукотским орнаментом.

Заготовки для тапочек лежали у него по всей каюте. Он один снабжал всех покойников Камчатки.

Его любимой фразой-присказкой была такая: «А вы знаете, что Пугачева четвертовали в возрасте всего-навсего тридцати двух лет?» Ему нравилось, что Пугачев потрясал Российским государством в нестаром еще возрасте.

Мой первый голова корабля, капитан третьего ранга Гашев, Зосима Петрович, органически не мог видеть в руках у подчиненных постороннюю книгу.

Гашев невзлюбил меня с первой встречи. Виноваты оказались: байковые теплые кальсоны, выданные мне после окончания училища бесплатно, собственный мой подстаканник, на ручке которого изображен был малаец, но больше всего — книги.

Я был назначен командиром боевой части «один» и «четыре» на аварийно-спасательное судно Северного флота.

Семь лет меня учили воевать, то есть ставить мины, стрелять торпедами, швырять глубинные бомбы, управлять артиллерийским огнем. И естественно, я знать не знал, как надо спасать. В эту нехорошую ситуацию меня, как водится, завел длинный язык.

Был одна тысяча девятьсот пятьдесят второй год.

Когда я нашел свой корабль, командира на борту не оказалось, и представиться ему я не смог. Вахтенный офицер показал мою каюту. Бортовая стенка каюты заросла инеем. Судно строили в Америке, и оно не было приспособлено для работы в высоких широтах. Горячий воздух поступал в каюту из раструба отопления в подволоке. Известно, что горячий воздух легче холодного, поэтому он вниз не опускался. Если ты стоял, то дышать было нечем. Если садился, вокруг блистал иней.

Я распаковал чемодан, вытащил казенные кальсоны, вддел одну штанину в другую, пояс кальсон обвязал вокруг раструба отопления, а к нижним тесемкам привязал тяжелую настольную лампу.

Теперь теплomu воздуху некуда было деваться, он мчался сквозь кальсоны почти до пола и только после этого поднимался вверх.

Я был очень доволен собой, своей молниеносной находчивостью, так необходимой настоящему моряку. Я смотрел на пульсирующие под давлением в три атмосферы кальсоны. Они шипели и трещали по швам, но иней послушно таял.

Когда человек начинает первый день самостоятельной морской жизни, он, конечно, испытывает страх перед неизвестностью, растерянность и острое желание увидеть маму, залезть к ней под фартук. Так как мама далеко, то следует заменить ее каким-либо собственным волевым действием. Утвердить себя в себе. Я это сделал при помощи казенных кальсон. И занялся дальнейшей разборкой чемодана, рассматриванием

разных вещичек и книг, которые насовали родственники и друзья на память.

Я выставил на стол серебряную трехвершковую Венеру Миросскую — подарок жены брата. Подстаканник с малайской физиономией — подарок тети. «Атлас офицера», весом в пять килограммов и абсолютно бессмысленный, ибо кроме схем обороны Царицына там ничего не было, — подарок баскетболистки, которую я было хотел полюбить, но она полюбила другого. Когда другой ее бросил (за дело), я ее утешал. И она при расставании всучила мне пять килограммов меловой бумаги и схемы обороны Царицына.

К оттаявшей стенке каюты над столом я прикрепил фотографию Любы Войшниц — популярной в те времена балерины Мариинского театра в роли Тао Хоа из «Красного мака». Войшниц подарила мне мама. Она еще дала мне иконку Николы Морского и велела никогда с Николой не расставаться.

Я сидел, раскисал от воспоминаний, от тепла, от желания победить в себе страх перед завтрашним неизвестным днем, когда, быть может, мне надо будет вести корабль в море на спасение гибнущих людей, а я ровным счетом ничего еще не умею и не знаю.

Уже за полночь дверь каюты раскрылась, без стука, конечно, и вошел мой первый капитан. Он оказался очень маленького роста, очень некрасив, в фуражке, хотя все уже давно носили шапки, в канадской куртке с разорванным капюшоном, в меховых перчатках, причем эти перчатки были такие большие, что казалось, он может использовать их как непромокаемые сапоги. Ему было за пятьдесят, лицо его было круглое, густо, асимметрично покрытое морщинами.

— Чего это вы здесь делаете, лейтенант? — спросил он меня и ткнул пальцем в пульсирующие кальсоны. Я представился и объяснил, что при помощи кальсон равномерно обогреваю каюту.

— Убрать! — сказал он.

Я, как и положено, сказал: «Есть!» — и, обрывая завязки, демонтировал отопительное сооружение.

— А это что такое? — спросил он, показывая на подстаканник.

— Подстаканник, — ответил я.

— Первый раз вижу человека, который идет слушать, имея собственный подстаканник, — сказал он.

— Подарок друзей,— объяснил я, не решившись сказать слово «тетя».

— А я вас не спрашиваю, чей это подарок,— ответил он и ткнул пальцем в книги.— А это что?

Книг было много. Я надрывался, когда тащил чемодан по Мурманску к Каботажной пристани.

— Книги,— сказал я.

— Так ты что — приехал книги читать или служить? — спросил он меня.

Я пробормотал, что надеюсь делать и то и другое.

— То, на что ты надеешься, меня мало интересует,— сказал он.— Я могу дать гарантию, что ты будешь делать что-либо одно.

— Есть! — сказал я.

— За какие грехи ты сюда попал? — спросил он.

А я и сам еще не знал, за какие грехи попал на корабль аварийно-спасательной службы Северного флота. Это было довольно мрачное место в те времена. На спасательные корабли списывали хулиганистых матросов и самых нерадивых офицеров с боевых кораблей. Служить на спасателе означало, что следующим этапом, возможно, будет тюрьма или демобилизация.

— Ну вот,— сказал Гашев,— все знают, за что они сюда попадают, а ты не знаешь, хотя книжки читаешь.

И мне почудилось, что он уже кое-что выяснил про меня, что он уже прочитал мое личное дело и теперь знает обо мне даже больше, чем я сам.

— А моря вы боитесь? — спросил он, переходя на «вы».

Я сказал, что еще не мог проверить себя и не могу заявить ничего определенного.

— Ну, спи,— сказал он и ушел.

А я остался сидеть за столом и глядел, как растаявшая было изморозь на переборке опять начинает выступать на металле.

Я понял тогда, что служить будет тяжело; правда, я и раньше догадывался об этом.

Зосима Петрович был одним из лучших командиров аварийно-спасательных кораблей; с детства на море, человек трудной судьбы, одинокий и злой. Ему пришлось восемь раз в период военных действий тонуть. Его корабли подрывались на минах, их топили подводные лод-

ки или штурмовики. Никакой вины за это на Гашеве не было и не осталось, ему просто не везло.

Но, будучи суеверными, моряки, получая назначение на судно, которое Гашев должен был вести в море, боялись и по-всякому отлынивали.

Роковая невезучесть может испортить характер любого человека.

Быть может, Гашев после войны стал спасателем именно потому, что ему много раз пришлось бороться за живучесть тех кораблей, которыми он командовал.

У него было сугубо личное отношение к морю. Они еще не сквитали долг друг другу.

Превратившись в профессионала-спасателя, он каждым спасенным судном доказывал морю свою силу и заставлял море уважать себя.

А может, я все это выдумываю или преувеличиваю.

Гашев был плохим воспитателем, так как забыл времена, когда знал профессию недостаточно хорошо, когда, как любой молодой моряк, сам допускал ошибки в сложные моменты. Он не считал нужным забираться в психологию подчиненных и просто требовал от них на том уровне, на котором требовал от самого себя. Его раздражало, когда молодые спрашивали объяснение того или другого маневра, того или другого поступка.

Про него говорили, что это человек, который может пройти под своим собственным буксиром. Представьте, что по морю идут два судна. Первое тащит на тросе другое. Так вот, про Гашева говорили, что если он командует первым, то может развернуться и пройти под тросом, то есть под своим собственным буксиром.

Когда так говорят о моряке, это значит, что ему отдается высокая почесть.

Главное, что я понял, наблюдая своего первого капитана, его правило: «Конечно, люди всегда помогут, но, если ты пошел в море, знай, что ты должен уметь надеяться только на самого себя. Ты должен знать свое дело и принимать на себя любую ответственность. И когда ты принимаешь на себя ответственность, забудь о том, что кто-то может тебе помочь».

Моим вторым капитаном был Василий Александрович Трофацов, старый помор, практик, без специального образования.

Василия Александровича в приказном порядке назначили почетным членом Мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы. Природу Василий Александрович никогда не обижал и назначение исполнял даже с гордостью, обязательно участвовал во всех сессиях, но у него был один бзик. Когда Василий Александрович выпивал, то делался болезненно подозрительным и страдал даже какой-то манией отмщения.

Однажды, когда члены Общества после сессии торопились к последнему автобусу, кто-то, по ошибке конечно, надел его галоши. Василий Александрович прибыл на судно в грязи и с белыми от злости глазами.

— Природу охраняют! — орал он. — Галоши украли! Слуги народа!

Я пытался его успокоить, а мой капитан рыскал по каюте и нюхал воздух. Дело в том, что весь спирт-ректификат получал я, так как командовал наиболее деликатной аппаратурой — электро-навигационной и радиосвязи. На чистку аппаратуры положен спирт. Я прятал его за паровой горелкой.

Я любил Трофанова, как пепутевого отца. Он был прекрасный человек и моряк.

В сплошном тумане он нашел мачту затонувшего австралийского транспорта. По чутью. Это было еще на сильнейшем приливном течении. Это было колдовством. Но это было.

Правда, когда мы шли однажды на спасение по Кольскому заливу, он спутал правый берег с левым. До этого он выпил две бутылки лимонного ликера. Мы с ним немного поспорили, когда он, внешне нормальный и спокойный, поднялся на мостик и приказал положить руль на борт. Ему казалось: мы идем не в море на спасение, а из моря; и это нехорошо: нельзя бросать в море гибнущих людей на произвол стихии.

Я доложил ему, что мы идем полным ходом на спасение.

Но лимонный ликер бушевал в его голове. И он опять сказал, что это плохо — нас ждут в море гибнущие рыбаки, а мы идем домой. Это, сказал он, нам никогда не простится.

Я еще раз доложил, что мы идем в море. Он кротко перестал спорить и попросил принести на мостик пряник. Ликеры он закусывал пряниками.

Он был прекрасный, добрый и чистый человек, но

не мог забыть, что его коллеги по охране природы украли у него галоши. Я в шутку сказал ему:

— Василий Александрович, чего вы мучаетесь? Возьмите на следующую сессию рюкзак. Спуститесь из зала вниз до закрытия сессии, сложите все их галоши в мешок — и дело в шляпе.

Надо знать грязь, которая покрывала мурманскую землю в те времена, чтобы понять роль галош в жизни мурманчанина.

Он что-то хмыкнул мне в ответ. Мы как раз были в сложных отношениях. Я, будучи молодым и прогрессивным, установил на судне радиолокатор. А Василий Александрович вообще не знал, что за таким словом скрывается. Он знал только, что агрегат шумит под палубой ходовой рубки и раздражает.

Забегая вперед, скажу, что в наш спор ввязалась собака.

Мы ползли как-то Кильдинской салмой в крошечном тумане. И я включил радар. Агрегат завибрировал под ногами Василия Александровича. Конечно, мой второй капитан приказал немедленно все выключить, потому что ему не нравилось вибрирование палубы под ногами. Перед тем как выключить агрегат, я заметил впереди по курсу цель и сказал Василию Александровичу, что надо сбавить ход. Он надменно засмеялся.

Через минуту рулевой матрос доложил, что слышит лай. Окно в ходовой рубке было, как и положено при тумане, опущено.

— Какой лай? — спросил мой второй капитан и почетный член Общества охраны природы.

— Собачий! — доложил матрос, и прямо перед форштевнем возник круглый и могучий борт ледокола «Ермак». Если бы мы врезали в него тогда, то вы не читали бы этих заметок.

С ледокола, который стоял на якоре в самом неподходящем месте, лаяла на нас собака. Мы успели отвернуть.

Василий Александрович спросил:

— Итак, кто нужнее на борту: радар или собака?

Но после утреннего чая вызвал меня и, преодолевая самолюбие, сказал:

— Это хорошая вещь — радиолокация. Я старый уже. Мне трудно с техникой. Ты это на себя возьми.

Так поморская тайна, интуиция, дыхание человека

в такт с волной сменялось техникой. И хотя я считаюсь еще не старым человеком, но это происходило на моих глазах. И ведь если говорить серьезно, я сейчас пишу воспоминания. И это в тридцать восемь лет.

Но вернемся к Василию Александровичу. Он смог понять необходимость радиолокатора, но пропавшие галоши забыть не мог.

Однажды, когда мы стояли в Росте в ремонте, он прибыл на судно с рюкзаком за плечами. Вахтенный у трапа скомандовал: «Смирно!»

И Василий Александрович, торжествующий и сияющий, взошел на борт, имея через плечо рюкзак галош, которые принадлежали остальным членам Общества. Он отомстил.

Мой второй капитан давно умер. И пусть земля ему будет пухом.

Плавал я и с таким чудаком, который не выносил шума, даже гула машин собственного судна. Все моряки вокруг капитана ходили на цыпочках или в валенках. А уши он затыкал ватными тампонами. Кончил он в психиатрической больнице, потому что однажды приказал боцману отдать якорь, но сделать это бесшумно. Боцман от безысходности попытался повеситься, шум поднялся уже в пароходстве и...

Мой близкий приятель, которого я уважаю и люблю, недавно утвержден капитаном на большое новое судно. Когда я пришел к нему, он сидел в каюте и декламировал на магнитофон «От двух до пяти» Чуковского, мяукая при этом детским голосом. Весь вечер он уверял меня, что ошибся в выборе профессии и что ему надо было стать Риной Зеленой. Чем он кончит, я еще не знаю.

Один старый капитан-наставник допытывался у меня, почему у него болит затылок, когда он пересекает параллель порта Берген. Причем совершенно неважно, на каком меридиане это происходит. Даже если Берген находится на одной стороне планеты, а капитан-наставник на другой, у капитана появляется острая боль в затылке. Он бежит на мостик, сует нос в карту и видит, что его судно пересекает эту проклятую, телепатическую, дьявольскую широту. Я ничего не смог ему объяснить.

Есть у меня знакомый капитан шикарного пассажирского лайнера. Он спит только в ванне, наполненной забортовой соленой водой. Он утверждает, что такой способ отдыха чрезвычайно полезен, ибо тело капитана пребывает в состоянии невесомости, и ему хватает всего четырех часов сна в сутки. Я подумал о том, что рано или поздно он проснется утопленником, и сказал ему о своих опасениях. Он объяснил, что берет с собой в ванну спасательный круг. Он еще утверждает, что тот, кому суждено быть повешенным, никогда не утонет.

Особенно интересно получилось с ним однажды ночью в Скагерраке. Вахтенный штурман попросил капитана на мостик: к лайнеру на огромной скорости приближался какой-то сумасшедший корабль. Мокрый капитан — прямо из соленой купели — выскочил на мостик и впился взглядом в кромешную ненастную тьму. Там ничего не было видно, но на экране радиолокатора явно отмечалась цель, упрямо несущаяся на лайнер. Мокрый капитан застопорил машины и положил руль на борт, но неизвестный пароход продолжал целиться в правый борт лайнера. А надо сказать, что судно, получившее удар в правый борт, считается виновным в столкновении, так как должно уступать дорогу. Мокрый капитан дал полный назад, и в этот момент мимо окон рубки засвистели стремительные крылья и закурлыкали гуси. Огромная стая птиц пересекала пролив и мчалась на огни лайнера в ненастной ночи. Я не знаю, чего было в рубке больше — ругани или смеха, когда уже обсохший капитан, кутаясь в халат, отправился досыпать обратно в ванну.

Я мог бы перечислять до бесконечности чудачества капитанов, но боюсь наскучить. Тем более здесь нет ничего смешного. Все это защитная реакция на специфическую сложность капитанской работы, на вечное одиночество в момент принятия решения.

Про моего последнего капитана, Михаила Гансовича, который сменил на «Воровском» моего тезку и одногодка, рулевой матрос однажды выразился: «Наш кэп — тихий, как катафалк». И это точно. Я сделал с Михаилом Гансовичем четыре рейса через Атлантический океан, и он ни разу не взволновался и не повысил голоса. Ни тогда, когда нас чуть было не навалило на айсберг в тумане. Ни тогда, когда треснули от удара штормовой волны три шпангоута в носу. Во все эти мо-

менты Михаил Гансович был спокоен, как катафалк. Он был спокоен, как катафалк, даже тогда, когда у нас посередине океана кончился запас соли.

Его главный бзик заключался в английском языке.

С нами отправили в рейс преподавательницу. Четыре часа утром она прибирала каюты в первом классе, а потом учила нас английскому. А у Михаила Гансовича был некоторый порок речи. Когда он быстро говорил по-русски, то понять его без длительной тренировки и привычки было невозможно. То ли корни уходили в эстонское прошлое капитана, то ли в давнюю картавость. И вот наш капитан перестал изъясняться по-русски и перешел на английский. Пока он, войдя утром в рубку, говорил по-английски: «Хау ду ю ду!» — все было терпимо. Но когда он, лежа у себя в каюте, старательно подбирал по словарю и продумывал, например, такую фразу: «Штурман, прикажите в машину. Пускай сбавят десять оборотов!» — и орал ее по телефону, то ты ничего понять не мог, но по врожденной штурманской привычке отвечал: «Иес, кэптейн!» — и чесал затылок.

Мы путали команды, и это могло привести к плохому. Мы все волновались, и только Михаил Гансович был тих и спокоен, как катафалк.

Пришлось регулярно ходить на урски рыжей девицы. А она стала запросто шататься по мостику, ибо чувствовала себя в некотором роде капитаншей. Она чувствовала себя капитаншей, пока кто-то из рыбаков не тиснул у нее припасенную к 8 Марта бутылку шампанского. И правильно сделал — преподаватель должен сидеть в каюте и готовиться к занятиям, а не шататься по штурманской рубке и мешать штурманам вести сквозь шторма теплоход.

Итак, Михаил Гансович перестал говорить по-русски. И только в День Победы, на торжественном заседании, когда мы бултыхались где-то у Лофотенских островов, он вынужден был сказать речь на обыкновенном языке. Сперва большую речь держал помполит. Потом выступило несколько участников войны, которые, как выяснилось, в ней непосредственно не участвовали. И я еще подумал о том, что действительно те, кто воевал, уже перестают плавать. И что даже мое поколение — не воевавших, но хлебнувших — уже потихоньку начинает покидать корабли и суда. И плавают юные совсем люди,

которым еще далеко до тридцати... Как быстро проходят вдоль бортов Азорские острова!

После всех выступлений экипаж попросил Михаила Гансовича рассказать о боевом прошлом. Он не стал ломаться и сказал: «Всю войну я был рядовым солдатом. Девятое мая для меня праздник еще потому, что в этот день впервые за войну мне выдали сапоги, и я стал ефрейтором. Сэнк'ю», — закончил Михаил Гансович уже по-английски. Конечно, на него обрушился шквал аплодисментов. Потому что быть живым человеком — самое трудное, и моряки это отлично понимают.

От нашего бурного «английского» периода у штурманов осталось навсегда одно британское слово: «эбаут», что означает «около». Спрашиваешь у сдающего вахту штурмана: «Где мы, паренек?» А он отвечает: «Эбаут Америка». И все хохочут, ибо действительно нет определений, и где мы — сам черт не знает.

Пускай только эти строчки не попадают на глаза строгим товарищам из служб мореплавания. Но я надеюсь, что у них все-таки сохранилось чувство юмора и они не забыли те времена, когда сами глухой ночью сдавали и принимали вахту и травили морские байки так, как в этой главе делаю я. А для тех, кто в море не был и не знает особенностей морской «травли», придется сказать несколько серьезных слов о капитанах.

Послушайте голос из давних веков. Говорит лоцман Васко да Гамы, мудрый араб Ахмад Ибн Маджид. Его голос вызвал к жизни ленинградский ученый Теодор Адамович Шумовский.

«Наставнику надлежит распознавать терпеливость от медлительности и отличать поспешность от подвижности, будучи сведущим — знающим в вещах, полным решимости и отваги, мягким в слове, справедливым, не притесняющим одного ради другого, выполняющим послушание своему господину, боящимся Бога, — да возысится Он! Много терпеливым, деятельным, выносливым, приятным среди людей, не добивающимся того, что ему не годится, просвещенным, разумным. Иначе он не правильный наставник».

Вот сколько человеческих качеств должно быть у правильного капитана. Он в наше время является еще доверенным лицом государства, лицом, которому полностью вверена жизнь людей и поручено единоличное управление. Так что простим капитанам их чужачества.

В ШТОРМ И ШТИЛЬ

«Комиссия в составе старшего штурмана, первого помощника капитана, подшкипера составила настоящий акт в том, что картина «Девятый вал» художника Айвазовского стоимостью 132 р. 39 к., входящая в основной фонд теплохода «Вацлав Воровский», была подарена подшефной школе № 14 г. Мурманска. Картина должна быть списана с баланса судна.

Подписи»

Ветер свистнул, и океан передернул мокрой кожей, как передергивает лошадь от удара кнутом.

Далеко на севере, возле Земли Франца-Иосифа, смещался к югу центр области пониженного давления. Окружавший нас воздух рванулся туда, к Земле Франца-Иосифа. Родился ветер. Но он не успевал нацелиться на центр низкого давления, потому что планета быстро проворачивалась под ним. Сцепление воздуха с водой было слабым. И ветер отклонялся в сторону от направления, которое по логике вещей ему было нужно. Ветер злился, свирепел и уходил к норду.

Мы только что миновали Фарерские острова.

В настоящий шторм, в жестокий шторм высота волн настолько велика, что суда временами скрываются из вида. Края волновых гребней повсюду разбиваются в пыль и брызги. Море все покрыто полосами пены. Ветер, срывая гребни, несет пену и брызги, наполняющие воздух и значительно уменьшающие видимость. Грохот волн становится подобен грохоту ракеты. Солнце и небо делаются солеными. Корабельная сталь делается мягкой, и шангоуты гнутся, а штормовые облака гремят железом. Обыкновенная бумага вдруг начинает пахнуть ржавой селедкой, а стекло рубочного окна — свежестью и электричеством.

Даже если судно по всем правилам морской науки меняет курс и уменьшает ход, удар волны может быть смертельно силен.

Невозможно оценить истинную энергию волны, когда следишь за ее приближением с высоты двенадцати метров, защищенный конструкцией ходовой рубки. Энергия

волны кажется меньше, потому что за многие годы в тебе окрепло ощущение безопасности. Кроме того, волна, которая несется навстречу, и столкновение ее с судном вызывают любопытство, неосознанное желание того, чтобы столкновение оказалось возможно более сильным, чтобы брызги взлетели в самые небеса, чтобы случилось нечто неожиданное. Это противоречит чувству самосохранения, но край пропасти манит; манит увеличить ход и столкнуться с волной грудь в грудь.

В тяжелом гейзере брызг, родившемся от столкновения судна и волны, в глубоком крене, в хаосе воды и ветра есть нечто завораживающее, затягивающее. Песня сирен не выдумка древних греков. Сирены поют морякам и сегодня. Нельзя поддаваться им, поддаваться неосознанному любопытству, забывать страх.

Завлекающее величие штормовой волны исчезает, как только судно перевалит гребень. Вода на палубе, заплутавшись среди выгородок, кнехтов, вентиляторов, ведет себя растерянно: никак не находит лазейки, чтобы скатиться за борт, соединиться с морем. Остаток волны на палубе топорщится судорожными брызгами, как на смерть перепуганный зверек.

Ветер порывами приближался к одиннадцати баллам, когда я отправился в рубку принимать очередную вахту и вступил в конфликт с Айвазовским.

Огромная копия «Девятого вала» стояла в коридоре жилой надстройки. Огромная копия в тяжелой золотой раме. Выписать картину выписали и получить получили, но найти ей подходящее место на судне не удалось. И Айвазовский стоял лицом к переборке в коридоре. И я тихо этому радовался, потому что никогда Айвазовского не любил по причине отсутствия у него каких бы то ни было мыслей. Живописец этот носил звание художника Главного морского штаба с правом ношения мундира Морского министерства.

«Девятый вал» я особенно не люблю. Когда-то на военной службе, чтобы увильнуть от шагистики — подготовки к очередному параду, я объявил начальству, что учился рисованию, и был отправлен в клуб, в распоряжение главстаршины — штатного украшателя казарм. Главстаршина прочитал направление и выдал мне открытку «Девятого вала», разлинованную в мелкую клеточку. «Сделаешь копию два на три метра», — приказал главстаршина. Конечно, я запорол холст и был

изгнан из украшательной мастерской на асфальт строевого плаца. С тех пор я знаю, что стать Айвазовским не просто, что художник Главного морского штаба имел в кармане мундира секрет, при помощи которого умел делать на полотне воду мокрой. Но сути морей, штормов и штилей Айвазовский не знал. Хотя бы потому, что никаких девятых валов никогда не было, нет и не будет. Иногда идут волны значительно больше сестер, но при чем здесь цифра «девять»? Бред этот «Девятый вал». Недаром он копитися папиросным дымом в забегах.

В шторм наш «Девятый вал» завалился поперек коридора и перегородил мне дорогу. И мы вступили в борьбу, в рукопашный бой. Как только мне удавалось приподнять картину, так судно валилось на борт, грохот водопада заглушал мою ругань, 132 рубля 39 копеек валились на меня, и я чудом из-под этой махины выворачивался, в упор видя турок на мачте, и зеленый девятый вал, и яичницу-глазунью — штормовое солнце. Так повторилось несколько раз. Наконец я ободрал руку о гвоздь в раме, плюнул на «Девятый вал» в полном смысле этого слова и, не замочив ног, как Иисус Христос, перелез через бушующий океан, оставив его елозить на кренах по коридору жилой надстройки. Потом принял вахту и заклинился возле окна ходовой рубки, между радаром и переборкой.

Передо мной дымился одиннадцатым баллом настоящей океан.

О-го-го, как он ревел! Он глядел на меня в упор злыми серыми глазами обиженного неудачей старика спортсмена. Есть старики, которые бегают марафон на приз газеты «Вечерний Ленинград». Они чуточку сумасшедшие и потому часто дают очко вперед молодым спортсменам. И вот океан смотрел на меня и на рулевого матроса злыми стариковскими глазами. Наверное, он обиделся на объявление судовой трансляции: «В столовой команды состоится профсоюзное собрание. Явка свободным от вахты обязательна!» В таком объявлении не было уважения к мокрым и соленым сединам Нептуна.

Мы шли открытым океаном, встречных судов не было видно, делать на вахте было нечего. Следовало только держаться на ногах и смотреть вперед.

У меня было отличное настроение, так как собрание

пришлось на мою вахту, я его избегал, а любой нормальный человек собрание терпеть не может.

Я сосал царапину на руке и думал о том, что цвет штормовой волны в бессолнечную погоду невозможно определить. Пожалуй, если хоть немного солнечных лучей пробивается сквозь тучи, то цвет этот напоминает старое, давно не чищенное серебро. Или цвет штормовой волны такой, как папиросный пепел, когда стряхнешь его в мокрую пепельницу. Иногда цвет волны даже наводит на мысли о грязной портянке. Но как прекрасен штормовой океан! И в шторм хочется петь, орать отчаянное, ругаться озорно. Простор и ветер молодят душу. Брызги втыкаются в стекло окна, и освещение делается вдруг странным, как в солнечное затмение. Густые струи воды несутся мимо глаз, но вот они схлынули, светлеет, порыв ветра протирает стекла. Мгновенно бушующий океан виден четко и ясно — от ближней волны до вспученного, дымного горизонта.

Пустыня вздыбленных вод.

Даже чайки пропали.

И почему-то ударит в сердце восторг. И пронзит богохульная мысль, даже не мысль, а ощущение: о-го-го! Здесь моя родина! Здесь хочу и умереть! Не березки и топольки моя родина! И не старый дом на старом ленинградском канале... Простор моя родина!

И заорешь: «В Кейптаунском порту, с какао на борту, «Жанетта» исправляла такелаж!..»

Все вокруг гремит так, что никто тебя не услышит, можешь орать хоть арию из «Садко»: «Мы в море родились — умрем на море!»

В детстве я увлекался рисованием, мечтал стать художником и даже книг о морских приключениях не читал. Помню только слова отца: «Если будет война, просись на флот. Там погибать, так в чистоте. А в окопах — вшей кормить будешь, в грязи помрешь». Это почему-то запомнилось.

Отец был санитаром в первую мировую войну.

К рисованию еще в раннем детстве приохотила мать. Когда-то ей пришлось подрабатывать рисунками для вышивки подушек.

Обычно люди вспоминают детство с нежностью. А я не люблю своего. Хорошее в нем только рисование.

Дворец пионеров на углу Невского и Фонтанки, снег на капителях колонн, запах пластилина и скипидара, раннее честолюбие, радость от смирения и буйства красок. Я уходил в рисование от арифметики, грамматики, неудов и школьного одиночества. Даже в блокаду я утешался мыслью о том, что не надо идти в школу. И рисовал в бомбоубежище. Причем рисунки мои были далеки от войны — цветы и летние пейзажи.

Потом, в эвакуации, я продолжал бояться школы и учился плохо. Годовые двойки и перезкзаменовки преследовали меня. И всегда я убегал от школьной каторги в рисование. Оно в конечном счете и привело на флот. Если бы не было возможности убежать от жизни в рисование, мне волей-неволей пришлось бы заняться учебой всерьез, и все в жизни сложилось бы по-другому.

Вернувшись в Ленинград зимой сорок четвертого, я попал в образцовую школу, которая находилась напротив Никольского собора и его колокольни, прославленной акварелями Бенуа. Здесь, в густом переплетении каналов, гранитных речек, мостов, среди старых тополей, недалеко от купеческих лабазов Никольского рынка и плоских тылов Мариинского театра, процветает и сейчас моя последняя в жизни школа.

Я прибыл в разгар учебного года и сразу убедился в том, что не знаю даже букв, из которых составляются физические формулы. А ребята оказались замкнутыми и очень старательными. Это объяснялось тем, что в школе была столовая, обеды из которой можно было брать в кастрюльки и уносить домой. Кроме этого выдавались завтраки без карточек. Не знаю, по какому благу меня удалось впихнуть в эту райскую школу, да еще после начала занятий.

Итак, первым углом преткновения оказалась физика. В эвакуации я влюбился в молоденькую физичку. Она кокетничала со мной — так мне казалось. Теперь я понимаю, что она просто была крива на один глаз. Но тогда мне казалось, что она косит этим глазом специально для меня, в мою сторону. И мне даже казалось, что у нас с ней негласный контакт и что физичка только и ждет каких-то доказательств моей любви к ней. На уроках физики я мучительно размышлял о том, как и каким образом доказать свою любовь. Естественно, что на экзамене вместо плавного рассказа о диффузии газов я млея, нес чепуху и получил двойку. Это была

двойка самая неожиданная и тягостная — я впервые узнал, какую боль мужчине может принести женское коварство.

Только в страшных рассказах Амброза Бирса можно найти тот безысходный, тупой ужас, который я испытывал каждое утро, отправляясь с кастрюльками в образцовую школу. Талон на завтрак и обед был могучим, решающим подспорьем. Я знал, что мать помрет, если меня из школы выгонят, лишат образцовой столовой. Но я ничего не понимал на уроках физики, химии, немецкого, русского.

Я спасался от Бирса в вечернем классе Художественного училища на Таврической улице. Рисовал засохшие осенние листья в громоздких вазах. Чайники и чашки на фоне пестрых тряпок. Восковые помидоры и яблоки. Золотые купола Никольского собора, окруженные густой и терпкой синевой небес. Таврический сад, оттепель, отражение темно-фиолетовых стволов в наснежных лужах...

Два раза в неделю я шагал в училище, переполненный ожиданием счастья, забвения горестей и неудач. И счастье должно было быть обязательно. Оно никуда не могло от меня скрыться, потому что жило во мне. И как только я садился за мольберт и окунал кисточки в краску, время останавливалось, как на том теле, которое летит со скоростью света.

Большинство учеников Художественного училища были демобилизованными солдатами, ранеными, контужеными, «без седьмого класса». И я врал, что тоже был солдатом, воспитанником части. Было легко врать — никто не пробовал проверять. Я донашивал галифе и гимнастерки отца. И курил уже давно, и ругался не хуже солдата.

А война шла к концу, в воздухе пахло победой. И я был весь как-то перевозбужден в ту зиму. Белый лист ватмана на мольберте бросал меня в пот от волнения и предчувствия счастья. Нутро мое дрожало и рвалось куда-то. Вероятно, из отрока я превращался в юношу. Настала пора кружить по улицам вокруг дома, в который зашла девушка моей мечты. И я считал себя взрослым. И потому так омерзительно было ощущать свое ничтожество на фоне старательного восьмого «А» класса. Я понимал, что оступел за войну и отстал в науках слишком далеко. Дружные ряды восьмого «А» скрылись

за горизонтом. И даже если б я целый месяц бежал галопом, я бы их не догнал. Но, как ни странно, учителя на что-то надеялись. Я, очевидно, талантливо их обманывал, прикрывал себя дымовой завесой нищей жизни, материнскими болезнями и скромным поведением. Учителя терпели, дай им господь всего хорошего. Но от тоски перед неизбежным крахом я начал прогуливать занятия. Я шлялся по набережным, выжидал, когда уйдет на работу мать, возвращался домой и рисовал. Или рисовал на улицах.

Однажды я решил запечатлеть мост и березу возле судостроительного завода. Дворники меня чуть не избили, приняв за шпиона. Милиционер отвел в отделение милиции, наставив в мою хилую спину тяжелый ТТ. Я никогда не забуду чувства неудобности и стыда, которые испытываешь, когда тебя ведут по улицам под дулом пистолета и все на тебя оглядываются.

Из милиции звонили в школу и на Таврическую, выпустили поздней ночью, уничтожив этюд березы в милицейской печке.

Так я прославился, и директор нашей образцовой школы решил со мной познакомиться. Я был первым шпионом из среды его воспитанников.

Помню, я пытался растолковать директору, что дворники и милиционеры — дураки. Какой шпион будет рисовать среди бела дня обыкновенный судостроительный завод, если наши уже в Германии? И зачем завод рисовать, если его можно сфотографировать? Уж фотоаппарат-то у шпиона найдется, и т. д. и т. п. Директор, не будь дурак, все возвращал меня к моим двойкам и указывал на рисование в часы школьных занятий, а я все отвлекал его в сторону шпионажа и милиционерской тупости. И этим довел до истерики.

Короче говоря, меня выгнали, но проморгали открепить от образцовой столовой. И еще месяц я тихо ползал в школу и таскал оттуда судок с супом. Вы бы видели лицо директора, когда мы столкнулись с ним нос к носу возле столового окна!

С тех пор я не был в школе напротив колокольни, прославленной акварелями Бенуа.

Никто никогда не приглашал меня на вечера встреч старых школьных друзей. Судьба лишила меня этой радости. Школы, в которых я мучился, или разбомбили, или там теперь другие учреждения, или из них меня

выгнали. А тех, кого выгнали, не приглашают на вечера встреч, потому что вычеркнули из списков. Самое смешное, что мне грустно от этого.

В зрелом возрасте умные люди не любят вспоминать о том, что были в школе отличниками, если они ими были. Есть в полном подчинении школе нечто ограниченное, ибо в основе школы обязательно лежит давно отстоявшаяся догма. Юность не должна принимать ее. И взрослые люди хвастаются школьными шалостями и двойками, а не пятерками за поведение. И все-таки жаль, что меня не приглашают на встречи выпускников.

К весне сорок пятого года я оказался на полной свободе. Нужно было устраиваться в ремесленное. Мне скоро исполнялось шестнадцать лет, а занятия в вечерних классах Художественного училища видом на жительство и для получения карточек служить не могли.

Хоть убей не помню, как я познакомился с этим Петровым. Мы работали с ним на сортировочной — перегружали дрова из железнодорожных вагонов на трамвайные платформы.

Дровяной запах, весенняя ночь, спящий город. И мы лежим на бревнах, трамвай едет куда-то, искры из-под дуги, зябко после недавней азартной работы, потная одежда не греет. И мы тесно прижимаемся друг к другу, бревна под нами ерзают.

Приезжаем в район порта. Нева уже вскрылась, туман, дымная мгла, пакгаузы, баржи, ранний рассвет. И костер у места выгрузки. Мы сидим вокруг костра, передаем друг другу «бычки». Биографии всех похожи: или такие пацаны, как я, или отвоевавшие солдаты. Ощущение товарищества, общей работы, огонь костра, тихий плеск Невы и гудки паровозов, далекий и гулкий лязг буферов. И мой сосед Петров — бледный юноша, интеллигентный, наверное из старинной петербургской семьи.

— Олег, давай «Жанетту»! — просят его ребята.

Кто-то уже достал трофейную губную гармошку. И все притихают, ждут, и ясно, что все это уже не в первый раз. По бледной физиономии Олега прыгают розовые блики от костра. Он улыбается вдруг отчаянной, озорной улыбкой. И — «В Кейптуанском порту, с какао на борту, «Жанетта» исправляла такелаж!..»

И сегодня меня волнуют мальчишеские морские песни: «Идут, качаются, вливаясь в улицы, и клеши но-

вые полощет бриз... Туда, где нет забот, где море не придет... Где все повенчаны с вином и с женщиной, где каждый сам себе свой господин!..»

Как этот Олег Петров пел! Всю нашу тоску по необыкновенной, красивой жизни вывернул он наизнанку. Все наше голодное отрочество, горящие эшелоны, бомбовые воронки вдоль железнодорожного полотна, ручные пулеметы, нелепо строчащие в гудящие небеса, скелеты блокадных трупов, вспученные животы, дизентерия, вши, слезы, ненависть, бессилие — все это списанное в расход отрочество теперь красиво отходило от нас. Голос Олега Петрова утверждал: «Она впереди, удивительная жизнь. Вы ее увидите, ребята! Вы увидите еще весь мир, штормовой и отчаянный!»

«Они стояли на корабле у борта. Он перед ней с надеждой и мольбой. На ней был плащ, на нем бушлат потертый. Он перед ней с протянутой рукой. А море грозное шумело и стонало... Он ей сказал: «Туда взгляните, леди, где в вышине летает альбатрос. Моя любовь вас приведет к победе, хоть знатны, леди, вы, а я простой матрос...»

Глаза у нас были полным-полны слез, когда леди отказала матросу и тот кинул ее в бушующий простор, а потом, в приморском кабаке, «моряк рыдал, тянул он горький ром в кругу друзей-матросов и в тишине кого-то тихо-тихо звал»...

Вот этот романтик моря Олег Петров и подбил меня идти не в ремесленное училище, а в военно-морское подготовительное. Сам он потом куда-то исчез, не приняли его в военно-морское по близорукости. А за мной на семь лет закрылись двери казармы. Но сегодня я не хочу жалеть о прошлом. Так уж устроил меня бог, что хочется соединить реализм с романтизмом любого толка. Куда же мне деваться, если я Шульженко люблю, а в Филармонии был раза два за жизнь. Пожалуй, поздно перестраиваться.

Песня о старом капитане и девушке в серенькой юбке оказывается иногда важнее оперной арии. Другое дело, что песни эти не наши, не русские. Я пытался выяснить, откуда они появились, переводные они или стилизация, но ничего не выяснил. Однако неизвестность их происхождения не мешает орать в грохоте атлантического шторма про девушку в серенькой юбке, про

матроса и леди, про «Жанетту», которая исправляла та-келаж в Кейптауне.

Ветер все дальше отходил на норд и усиливался, когда я уже готовился сдавать вахту, когда все песни были уже спеты и голова начала туманиться от резкой качки и бесчисленных сигарет.

Появился в рубке доктор, потерял на пороге тапочку, и мы вместе ловили ее.

— Что случилось, док? — крикнул я ему в розовое, доброе докторское ухо.

— Объявите по трансляции, чтобы все шли противогриппозные прививки делать! — крикнул в ответ доктор Лева. — Я уже сыворотку раскупорил! Она больше двух часов в открытом виде не может! Свойства теряет!

— Нашел время прививки делать! Тут вверх ногами переворачивает!

— Это и хорошо! Матросы сморкаются! А вверх ногами перевернет — и сыворотка до печенок провалится.

— Есть! Ясно! — понял я и объявил по принудительной трансляции: «Всему экипажу пройти в медпункт на противогриппозные прививки!..»

Но как бы ни был прекрасен штормовой океан, самое хорошее то, что рано или поздно он стихнет. Штормовая погода изнуряет и привычных людей. Зато после жестокого шторма утренняя природа может одарить тем, чего нам так не хватает, — нежностью. Пожалуй, утреннее штилевое море при ясном небе нежнее всего на свете. И целомудреннее.

Когда на слабых, едва заметных волнах дрожит рассвет; когда попутчики-альбатросы то исчезают, растворившись мерцанием крыльев с черными концами в мерцании рассвета, на слабых волнах, то вновь появляются внезапно, близко; когда воистину ждешь, что сейчас вырвется из небес зеленый луч счастья, а тихое слово «штиль» легкой тенью легких облаков скользит над морем, — тогда в душу нисходит благолепие от мира, простора и покоя. Нечто выразимое только старинными словами, но без языческой яркости чувств и без религиозной строгости наших предков.

И вспомнишь рассветную землю. Плеск воды в шлюзе деревенской мельницы. Последожье. Еще сонный

шелест мокрых трав и тяжелых от дождевых капель кустарников за обочиной дороги. Комариный затаенный гул. Васильки, рожь. Безлюдье деревни — еще и дымов нет, печи не затоплены. На задах деревни кособочатся баньки. Дрожит тополь у заколоченного амбара. Пахнет крапивой. Жуют и вздыхают в конюшне лошади, оглядываются на ворота, обмахиваются хвостами...

В штилевом море на рассвете думаешь о деревенской земле, мечтаешь о простой жизни. Штормовая романтика уже кажется картинной и пустой, как «Девятый вал» Айвазовского. И опять не знаешь, где же правда — в штормах или штилях?

ТЕЛЕВИЗОР У БЕРЕГОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

«В лето тысяча шестьсот девяностое несколько человек стояли на высоком холме Нантакета и смотрели, как киты резвятся и пускают фонтаны; и один человек сказал, указывая рукой в морскую даль: там лежит зеленое поле, куда дети наших внуков отправятся добывать свой хлеб».

Это записал Овид Мэйси в «Истории Нантакета». Человек из 1690 года как в воду глядел.

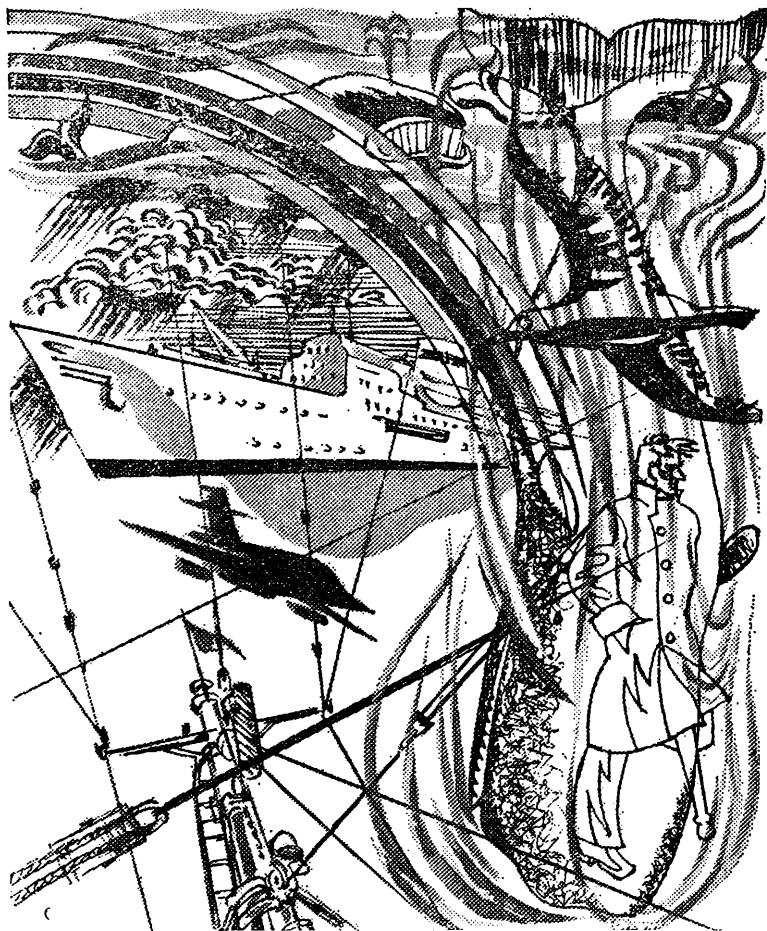
Мы приплываем сюда, чтобы ловить в зеленом поле свой серебристый хлеб.

Если солнце низко и позади, то возле корабельного носа иногда возникает легкая радуга и несется вместе с судном, весело, без напряжения — как трехцветная птица. Радуга с того борта, который под ветром.

А на подходе к Нантакету мы увидели другую радугу. Огромная арка через все небо трепетала, переливалась и ожидала нас. И мы шпарили под своды этой арки, как будто заработали право на почет и триумфальное возвращение. Прекрасная триумфальная радуга встречала «Вацлава Воровского» у берегов Америки. Выше такой никто никогда не построит. И чудеснее — тоже.

Мы легли в дрейф к северо-востоку от Нантакета.

Зеленые волны вокруг нас когда-то слышали знаменитую песню:



слабейший!.. И горе тому, кто отступится от истины, даже если во лжи — спасение!»

Какая песня ненависти к благополучию мещанства звучит здесь!

Мелвилл кажется мне старшим братом Экзюпери, хотя они совсем разные.

Герои Мелвилла и Экзюпери сражаются со стихией и роком, но не с природой.

Летчик Экзюпери и воздух вокруг его самолета — это нечто единое, изотропное.

Так и океан Мелвилла.

Невозможно бороться против того, частицей чего являешься сам.

Оба они были философами. Один стал философом, качаясь на волнах воздушного океана, среди грозových туч и молний. Другой — на мокрых волнах. Непрофессиональный философ обладает одним счастливым качеством: он не боится, он свободен от страха ошибок и неточностей, потому что не знает правил.

Мелвиллу ничего не стоило объявить кита «как вид бессмертный, сколь уязвим бы он ни был как отдельная особь. Он плавал по морям задолго до того, как материнки прорезались над водою; он плавал когда-то там, где теперь находятся Тюильри, Виндзорский замок и Кремль. Во времена Потопа он презрел Ноев ковчег, и, если когда-нибудь мир, словно Нидерланды, снова зальет вода, чтобы переморить в нем всех крыс, вечный кит все равно уцелеет и, взгромоздившись на самый высокий гребень экваториальной волны, выбросит свой пенящийся вызов прямо к небесам».

Так возвышенно и неоглядно писал отчаянный китобой. Когда он писал про Ахава, преследующего во круг всего света, по всем морям и океанам, Белого кита, то он писал о себе самом, но это не помешало ему создать легенду, которая живет в веках.

«Сородич Моби Дика», — читаю я в «Комсомольской правде». О-го-го! — радуюсь я. Прав старик Мелвилл! Моби Дик не мог исчезнуть. Не мог исчезнуть из океанов такой могучий и свободный зверь. Потомки Моби Дика скользят в глубинах у берегов Антарктиды и Командорских островов, кормят детишек сладким молоком...

«Промысловиками китобойной флотилии «Дальний Восток» добыт абсолютно белый кит, — читаю я дальше в газете, которая воспитывает нашу смену. — Старший научный сотрудник ТИНРО, молодой ученый В. Латышев, находившийся в этом рейсе на флотилии, рассказал: «Встреча с легендарным китом произошла в Тихом океане. Под вечер на горизонте китобои заметили скопление китов. Среди темно-серых плыл белый кит. Точный выстрел гарпунной пушки — и белая громада на лине. Наконец лебедки втянули на слип белоснежную тушу. Лишь кое-где тело его кровоточило от присосок огромных кальмаров... На земном шаре животные-

альбиносы хотя и встречаются, но довольно редко,— читаю я дальше рассказ молодого научного работника В. Латышева, и сердце мое закипает бессильной ненавистью к нему.— Это белые вороны, воробьи, якутские соболи, камчатские лисицы. Среди десятков разнообразных по окраске китов — серого, темно-коричневого и черного цвета — лишь у усатых иногда встречаются белые пятна в области брюха и хвоста».

За этими бездарными, мертвыми газетными строчками я вижу, как в океан опускается солнце. Низкие лучи золотят зыбь. Волны темно-сини, густы. Над океаном пахнет рыбьей, странной жизнью. Стадо китов провожает светило на ночной покой. Среди стада плывет красавец. Один на десятки тысяч. Быть может, последний в мире герой легенд — Белый кит, внук Моби Дика.

Гарпунер идет к пушке, ему убить Белого кита — раз плюнуть: море спокойно, а мерцающую белую цель видно и под водой. Вокруг десятки других китов, целое скопление — перевыполняй план. «Белого! Белого!» — орет Латышев. Хлопает выстрел. Внука Моби Дика надувают воздухом, и вот туша уже на слипе, а на туше стоит Латышев, и со всех сторон щелкают фотоаппараты.

Зачем Латышев убил Белого кита? Он только объяснил, что «на земном шаре животные-альбиносы хотя встречаются, но довольно редко». Но мы и сами знаем, что белые вороны — редкость.

Быть может, ученым интересно узнать состав пигмента в коже белого кита. Быть может, состав пигмента — важная вещь. Но легендарность чего бы то ни было или кого бы то ни было — великая ценность, ибо легенда — одухотворенность многих поколений людей, их любви, ненависти, талантов, почтения к миру. И если ты убиваешь легендарное животное, но не можешь объяснить зачем, то ты уже не ученый, не интеллигент — ты мещанин.

Легенда, миф — аккумулярованный опыт наших лучших предков.

Когда Латышев полез фотографироваться на «белоснежную тушу», он топтал ногами своих предков, их фантазию и мужество.

Когда люди еще могли создавать легенды и мифы, они шли на Моби Дика с гарпуном в руках.

Если латышевым хочется убивать белых китов, пускай поедут туда, где и сегодня люди бьют кита с вельбота,— к чукчам и эскимосам Уэллена. Пускай живут там и выслеживают Белого кита, как выслеживал его Ахав. Тогда я поверю, что Латышев ученый, а не мещанин, что ему необходима истина, скрытая под белой кожей внука Моби Дика.

Медикам для научных целей не всегда хватает безхозных трупов в моргах. Ученым, изучающим китов, сейчас полное раздолье—десятки тысяч китов втягивают по слипам на плавбазы наших флотилий: изучай не хочу!

Я понимаю глупое любопытство матросов, когда они хотят убить белого кита. Это от молодости, душевной серости, от скуки длинного рейса, от непонимания того, что и зачем делают. И здесь-то Латышев, если он ученый, интеллигент, должен был толкнуть гарпунера под локоть и обругать капитана за бездумность. И охранять белого кита от дураков, и дать внуку Моби Дика уплыть дальше в легенды. А «Комсомольская правда» напечатала бы прекрасную статью о благородстве ученого и красоте жизни вокруг нас.

«Киты-самоубийцы»,— читаю я в другой газете. «Стардо китов приблизилось к побережью Калифорнии. И вдруг один кит за другим стали бросаться на скалы и отмели. Острые камни разрывают тела животных, многие из них, быстро теряя силы, остаются на песчаных отмелях и погибают. Мало помогли и специально созданные службы спасения китов. Но некоторых животных все же удалось отогнать от берега в открытое море и тем спасти от смерти. Это далеко не первый случай массового самоубийства китов. Что заставляет их «сознательно» идти на верную гибель? Ученые пока ничего не могут ответить на этот вопрос».

Я отлично знаю, что существуют конвенции по охране китов, что промысел их регулируется законом. Но кто думает о том, что среди китов шныряют атомные подлодки, ползут бесчисленные тралы, рвутся учебные ракеты, торпеды, мины, снаряды, глубинные бомбы; что в моря ссыпают тысячи и тысячи тонн устаревшего и невзорвавшегося боезапаса, что в моря спускают отходы атомного производства, в моря падают самолеты с водородными бомбами, в моря сбрасывают отравлен-

ные воды химических заводов, в морях танкеры промывают танки...

И кроме всего этого по китам палят из пушек ученые типа Латышева, которые не знают, почему киты кончают самоубийством.

Пусть это звучит смешно, но я могу допустить, что самоубийства китов—это нечто вроде самосожжения буддистов. У них нет иного языка, чтобы обратить на себя внимание.

Погода баловала в районе промысла. И мы торопились с обменом пассажиров.

Вокруг была зеленая зыбь, простор океана, трепыхающиеся поля чаек над рыбным косяком, рыже-черные корпуса траулеров, ветерок, и солнце, и далекие полосы тумана, пустые бутылки на зыби за бортом, размокшие куски хлеба, камбузный мусор, на который избалованные чайки не обращали внимания.

И первое, что мы услышали на промысле в пятидесяти милях от Нью-Йорка по радиотелефону, было: — «Достоевский!» «Достоевский!» «Добролюбов» говорит! Отвечайте для связи!

— Ну, я «Достоевский»,— отвечал старческий, брюзгливый голос.— Чего авралите?

— Спички пошли, сплошные спички идут! — заорал молодым басом «Добролюбов».

— Что такое «спички»? — спросил я капитана.

— Черт его знает. Кажется, рыба маленькая, такая, что в ячеи проскальзывает, непромысловая рыба.

«Достоевский» долго и хмуро молчал. Наконец пробурчал, нечто преодолевая в себе:

— Идите сюда...— и дал координаты.

«Здравствуйте, Федор Михайлович!— подумал я.— Вот уж кого не ожидал встретить в заливе Мэн, так это вас!»

Из динамиков ревели:

Соленые волны, соленые льды,

А в небе горит, горит, горит звезда рыбака...

Трещали моторы вельботов, битком набитых сменными рыбаками.

Я смотрел на них с крыла мостика, на их задранные головы, кепки, шапки, шляпы, фуражки, платочки морячек. На пригвожденных к фанерным листам алых

громадных омаров — сувениры, которые, говорят, приносят несчастье; чемоданы, сундучки, гитары, пакеты с копченой рыбой. Звенела в ушах крепкая ругань из крепких глоток, беззлая ругань — от радости, от сознания, что четыре месяца вонючей и опасной работы, качки, бессонных ночей, тоски, ссор, невыполненных и невыполнимых планов, грохота транспортеров в разделочных цехах — все это уже позади. А впереди отгул выходных или отпуск, и много денег, и пиво, свобода, жены, дети, морозная твердая земля...

Многие почему-то в белых нитяных перчатках. А вот и девчонка с веткой кораллов, в узкой юбочке, видишь ли! Для нее наш «Воровский» был уже вершиной цивилизации, но ей не задрать коленку на площадку трапа.

«Хоп!» — девчонку выдернули из вельбота и с рук на руки швырнули вверх по трапу.

— Эй! Больше десяти на трапе не скапливаться! — заорал я для порядка. — Делай цепочку! Вещи по цепочке! Веселей! Веселей!

Синий выхлоп работающего на холостых оборотах мотора ветер заносил на мостик.

А в небесах невидимый самолет оставлял белый след выхлопа.

Самолет пересек Атлантику и пошел снижаться на Нью-Йорк.

Там стройные струнки-стюардессы уже попросили пассажиров пристегнуться и «ноу смокинг!».

Там, над нами, в шикарных креслах — буржуи с сигарами во рту, и кинозвезды, и хладнокровные дипломаты. Привет, Клаудиа Кардинале!.. Эй, там! Кто на лебедке! Паренек! Подвирай трап!..

Вельбот наполнился теми, кто остается здесь на четыре месяца убивать серебристого хека и жирную рыбку баттерфиш.

Белый след самолета растаял. Попутного ветра, мистер Георгий Данелия! Возможно, и вы там сидите, среди буржуев и кинозвезд. Нам, конечно дело, завидно, мистер Данелия, но мы это переживем. Наша пластинка все вертится: «Соленые волны, соленые льды, а в небе горит, горит, горит звезда рыбака...»

— Эй, на вельботе! Отваливай! Хватит прощаться!

Вельбот послушно отваливает, и сразу — руль на борт — по зеленой воде за кормой серп пенного кильватерного следа.

Убежал вельбот, бочком переваливаясь на волнах, долго машут пареньки, прощаются. А с нашего бело-снежного в кровавых пятнах сурика лайнера кто-то запустил в уходящих яблоком.

Хороших уловов, ребята! Убивайте серебристого хека, жирную рыбку баттерфиш и угрюмого палтуса. Пускай время бежит сквозь вас так же быстро, как бежит сейчас вельбот. Пускай вы и не заметите этих четырех месяцев... Хотя чего ж тут хорошего — не замечать времени?

Пусть простит нас Америка. Мы не платим взносов телекомпаниям, но регулярно смотрим передачи. Смотрим на Америку со стороны, с океана, сквозь туманы, снега, и дожди, и штормовые ветры. Только антенну телевизора приходится все время крутить, потому что судно рыскает на волнах.

В тот раз Бостон показывал «Ролинг дерби».

Многие, конечно, бывали в милиции и участвовали в ресторанных драках, но «Ролинг дерби» несравненно занятнее и острее. Хотя бы потому, что в потасовке участвуют девушки, хорошенькие, в коротеньких спортивных юбочках, длинноногие, — короче говоря, прелесть, а не девушки.

В кольцо наклонного трека выпускают две команды девушек — по двадцать в каждой. Все на роликах и в хоккейных касках. Они несутся по наклонному кольцу трека и кусаются, подставляют друг другу ножки. Если одна упадет, противница падает на нее, норовя попасть коленями в живот и ухватить за волосы.

В забаве участвует публика: она дерется — сосед с соседом на трибунах.

Участвуют и судьи: они, сцепившись, катаются по ровной площадке в центре трека и бьют друг друга головой об пол. Для того чтобы не допустить смертоубийства, существуют специальные вышибалы — огромные дядьки, килограммов по двести. Поэтому особенно интересно, когда и они включаются в игру. Сперва они пытаются растащить сцепившихся девушек, но это дело безнадежное, как вы понимаете. Поэтому, бросив сцепившихся, извивающихся, лягающих друг друга роликами девиц, вышибалы сцепляются сами. Если один вышибала споткнется и повиснет головой вниз с перил

трека, то коллега помогает ему сорваться окончательно, и тогда неудачник втыкается рогами в каменный пол с высоты трех метров.

Седые, пожилые, в белых костюмах джентльмены — тренеры команд — тоже участвуют в игре. Они ведут короткие бои в стиле классического английского бокса. На фоне остального отчетливо заметно, как уже старомоден бокс.

Конечно, «Ролинг дерби» смотрел весь экипаж. В кают-компании негде было упасть сливе.

В разгар событий вахтенный штурман доложил о появлении американского военного фрегата. Фрегат мигал прожектором отрывисто и властно.

Спокойный, как катафалк, Михаил Гансович и возбужденные зрелищем командиры вынуждены были подняться в ходовую рубку. Оттуда мы честно старались понять, что американец мигает и чего от нас хочет, но ничего не поняли.

Капитан приказал расчехлить прожектор и дать американцу наши позывные. Матрос, которому это было приказано, так ошалел от «Ролинг дерби», что забыл, где прожектор. Ему напомнили. Он полез на верхний мостик и минут десять распутывал с прожектора брезент и троса.

Тем временем американский фрегат стал проявлять признаки нетерпения. Военные любят, чтобы им отвечали в тот же миг, как они что-нибудь спросят. Американец мигал нам уже двумя прожекторами.

Начальник рации самолично влез на верхний мостик и попытался просигналить американцу наши позывные, но сигнальные жалюзи так закипели ржавчиной, что повернуть их оказалось невозможным.

Американец врубил третий прожектор.

Наконец наши жалюзи повернулись, но тут выяснилось, что на прожектор не подается электропитание. Был оторван от зрелища «Ролинг дерби» электромеханик Сансаньч, который прибыл на мостик в воинственном настроении и заявил, что прожектор относится к палубным механизмам, входит в заведование старпома и что питание не подается потому, что старпом зачехляет прожектор только в дальних рейсах, а в каботаже прожектор гниет без чехла.

Старпом не смог с ним спорить, так как к трапу

подвалил очередной вельбот с веселыми рыбаками — нашими будущими пассажирами, а траповую лебедку заело. Рыбаки болтались под бортом на зыби и слезно умоляли принять их немедленно, так как у вельбота барахлит мотор и их унесет к соответственной матери. Старпом занялся приемом вельбота с рыбаками и только погрозил Сансанычу кулаком.

Американский фрегат носился вокруг нас так, как будто его командира подмазали скипидаром, и мигал четырьмя прожекторами сразу.

Электромеханик осмотрел прожектор и заявил, что все в порядке, питание подается нормально и просто надо знать, где оно включается. После этого позвонил в машину и вызвал к телефону вахтенного электрика, но того в машине не оказалось. Ясное дело, что электрик в какую-то щель смотрел «Ролинг дерби». По общесудовой принудительной трансляции было объявлено о розыске вахтенного электрика.

К этому времени американец мигал нам четырьмя прожекторами, клотиком и ручным сигнальным фонарем.

Я боялся, что у командира фрегата будет инсульт. Я-то десять лет был военным и знаю, как тяжело командиры переживают подобные ситуации. Но Михаил Гансович всю войну прошел рядовым солдатом. Михаил Гансович никогда не стоял на мостике военного корабля, поэтому все происходящее ему просто-напросто надоело. И он, спокойный, как катафалк, сказал:

— Зачехлить прожектор. Пошел этот вояка... Мы не в территориальных водах.— И отправился досматривать «Ролинг дерби».

Прожектор был зачехлен под аккомпанемент воплей Сансаныча, которому как раз удалось подать на него питание.

Мне было интересно, что будет предпринимать американский фрегат, и я не пошел вниз досматривать «Ролинг дерби». Но ничего интересного не произошло. Фрегат вырубил иллюминацию, лег на курс к Нью-Лондону и исчез навсегда, что ясно говорило о том, что никаких серьезных вопросов к нам у него не было, а тем более не было каких бы то ни было претензий. Мы были ему любопытны. Вот и все.

Сегодня Америке любопытна Россия. И России любопытна Америка.

Из радиотелефона слышались далекие голоса. «Достоевский» интересовался подробностями несчастного случая на каком-то среднем рыболовном траулере.

— Как фамилия, повторите! — просил «Достоевский».

— Второй механик Пенчак, — слабым голосом объяснял траулер. — Даю по буквам: Петя, Елена, Надежда, че, че! Тьфу, черт, ну человек! Пенчак!

— И как его угораздило? — брюзжал Федор Михайлович.

— Спустился в румпельное отделение и не предупредил... Они с тралом шли, сгоняли руль на борт, его и зажало между сектором и ограничителем... Он присел еще, дурак... Как раз голову и раздробило, челюсти... Вертолет ждут... Американцы его в Нью-Йорк повезут...

— А что рулевой?

— Рулевой доложил, что руль на борт не доходит...

— Повезло Пенчаку — на вертолете покатается, — прокомментировал «Достоевский» с обычным в такие моменты юмором висельника.

Я пошел спать.

Вокруг было битком набито писателей. Вся русская литература снялась с якорей. Немного севернее шел в Монреаль флагман пассажирского флота «Александр Пушкин». Всю жизнь Пушкин мечтал удрать за границу, повидать мир. Царь так и не дал ему визу. Теперь Александр Сергеевич плыл в Канаду на Всемирную выставку. Совсем рядом таскали по грунту тралы «Достоевский», «Добролюбов», «Островский», «Писарев», «Иван Тургенев», «Чернышевский»... Сам я плыл внутри «Воровского», которого раньше не читал, а тут пришлось почитать.

И вполне естественно было увидеть писательский сон, когда вокруг качалось на волнах Атлантического океана столько знаменитых писателей.

...Я живу на даче, много брожу по лесам, дачный покой во мне, ощущение устоявшейся, семейной жизни: общий вечерний чай за столом с керосиновой лампой, мелькание ночных мотыльков, простые цветы в широком ведре, ранние рассветные просыпания... И близко, тоже на даче, — Достоевский. И мне жутко от его близкого присутствия, потому что я редактирую его рукопись,

чиркаю, переставляю главы, рву страницы — непоправимо все порчу, но не могу остановиться...

И вот он вызывает меня. Вхожу на веранду, он целоко берет меня за плечи и начинает говорить, быстро, возбужденно. Брызги слюны летят мне в лицо. Он доказывает необходимость подлинных фактов в основе романов. «Газета! Газета! — вот с чего начинать литератору!» Он рассказывает, как сотни километров прошел в поисках документов пешком, когда владелец документов умер. «Какое счастье! Он умер, умер! — громко шепчет мне Достоевский в лицо, и я чувствую даже укол волос его бороды. — И теперь есть прекрасное для романа! И бог простит мне радость от чужой смерти!» Он наконец отпускает мои плечи, вытаскивает из-за пазухи документ, холит, гладит его, отрывает клочок, сворачивает папироску, обильно зализывает. И я понимаю, что документ так любим им, что ему надо даже осязать его языком.

Я ухожу, уже ночь, ужас надвигающегося кошмара во мне. Я один у себя в комнате. Горит свеча-ночник. В слабом свете я листаю рукопись Достоевского, читаю прекрасные, гениальные фразы, картины, созданные в рукописи словами. И вдруг спиной чувствую присутствие кого-то. Оборачиваюсь — через двор быстро идет к дверям темный человек. Душа цепенеет во мне, хочу кричать — не могу. Понимаю, надо броситься на человека, задержать в сенях, не допустить к рукописи и светильнику. Великим усилием вырываюсь из оцепенения страха, прыгаю страшному человеку навстречу. Но его уже нет в сенях. Оборачиваюсь — он позади меня, уже в комнате, у стола, тянет руку к светильнику...

Проснулся я весь в поту, долго таращил глаза на полку с навигационными пособиями, на открытый иллюминатор. Хлюпала вода за бортом. И ужас еще жил в душе. Потом наступила обычная радость оттого, что все это только сон, что мы лежим в дрейфе в заливе Мэн... Но дурной осадок остался. Вспоминая сон, я понимал, что страшный человек погасил светильник. То есть во сне-то он не погасил, но за кадром сна — погасил. И жуткое ощущение того, как он миновал меня, оказался в комнате, у рукописи.

Утешался я только тем, что все-таки преодолел страх и прыгнул ему навстречу. Быть трусом во сне еще омерзительнее, чем в жизни.

Записывать сны—тоже неприятно. Атавизм живет в глубине нас; ищешь намек, находишь символ, вспоминаешь Фрейда и думаешь — не пора ли обратиться к психиатру?

Но я все-таки записал сон и спустился в кают-компанию.

Было около четырех. «Вацлав Воровский» спал.

В кают-компании мерцал забытый телевизор. Я налил стакан чая, закурил и посмотрел фильм о собаке, акуле и дельфине.

Хорошо сидеть перед вахтой в уютной кают-компании одному, со стаканом чая и сигаретой, и смотреть на шотландскую овчарку. Псине не повезло, он упал с борта шикарной шхуны, и никто этого не заметил. Пес плывет к далекому берегу, а подлые акулы окружают его. Акул замечают дельфины, они решают спасти собаку. Дельфины несутся в атаку на акулу. Как снята эта гонка в толще воды! Оператору-подводнику надо при жизни памятник ставить!.. Акула возле самого пса. Тот прижал уши, глаза полны ужаса, изо всех сил гребет к берегу... Автомобиль. Дама в купальнике поднимается на крышу машины. Автомобиль трогается с места, волосы дамы развеваются... «Лучшие в мире амортизаторы «Меркурий»!»... Акула переворачивается на спину, чтобы удобнее схватить пса. Дельфин с налета вспарывает ей живот. Стрелой пронесится еще один дельфин, вырывает из акулы кусок. Но пес выбился из сил, тонет... Толпа марсианских дикарей окружила космонавта. Сейчас его будут жарить. Костер уже горит. Один дикарь — самый страшный — потрошит карманы космонавта. Из кармана в костер падает пакетик. Клубы зловещего дыма. Дикари разбегаются, зажимая носы. Космонавт спасен. «Покупайте порошок от домашних насекомых фирмы...»

Конечно, каждый привыкает к своей стране, к ее обычаям. У кого-то из хороших американских писателей, кажется у Колдуэлла, я читал трогательные признания о привычке американцев к рекламе. Как на фронте, в Европе, ему мечталось возвращение домой и снились родные рекламы Бродвея. Правда, другой писатель — Хемингуэй — недоуменно спросил: «Как можно жить в Нью-Йорке, если существует Венеция и Париж?..»

Когда дельфины спасли шотландскую овчарку, я выключил телевизор и вышел на палубу.

В ночи близко ворочалась и дышала Америка. Чудовищно огромная страна, сотни миллионов людей.

Странно думать, что нация может появиться из ничего за несколько десятков лет, что нация может существовать, не имея за плечами тысячелетней истории. Приплыли разные люди, вылезли на берег, побили индейцев, послали к черту своего короля, оставшегося на далеком острове,— и появились на свете американцы. Теперь есть и австралийцы, и канадцы... Это на русском языке называется «смазь всеобщая».

Французы в Канаде тянут в одну, англичане в другую, а украинцы в третью сторону. И отсутствие лица у Канады видно даже на экране телевизора.

У Америки лицо есть. Американцы действительно нация, но эта нация имеет короткие корни. Духовность накапливается в душе народа тысячелетиями. Если духовности не хватает, порошок от насекомых сыплют в человеческие мозги вместе с судьбой симпатичной шотландской овчарки и дельфинами.

Есть в Америке для меня нечто жуткое, хотя никакая другая нация не родила столько великих людей, близких русскому сердцу. Пожалуй, даже Франция уступит в количестве таких людей Америке.

В мокром тумане крикали и взвизгивали чайки. Слабая зыбь плюхала за бортом. Трап был высоко приподнят.

Накануне к этому трапу прибыл с очередным вельботом пьяный вдребезги рыбак. Чемодан он где-то забыл, но в каждой руке сжимал по десятикилограммовой гантели.

Вельбот мотало на зыби под трапом, и голова рыбака находилась в явной опасности.

Он развалился на корме вельбота в позе Степана Разина и, конечно, злил нас, но он был великолепен — огромный мужчина, занявший всю корму вельбота, с гантелями в лапах, с хитрой улыбкой на добрейшей роже. Он, наверное, много помог друзьям во время работы в океане и знал своим пьяным подсознанием, что его любят друзья. И потому ушкуйничал, орал, что не хочет возвращаться домой — его дом здесь! Друзья «су-

нули ему под микитки чем-то тяжелым и обмотали тросом, а мы подцепили Степана Разина гаком кормового крана и вздернули на борт, нарушая все правила техники безопасности. Мы бы не стали затруднять себя, если б кран не понадобился нам самим,— боцман получил в подарок немного мороженой рыбы. Вот вместе с этой подарочной рыбой Степан и вознесся на палубу лайнера, тараша подбитые друзьями очи на все вокруг. Казалось, он искал княжну, которую следовало швырнуть в набегающую волну, но княжны не было... Он был прекрасен, потому что не имел в душе никакой злобы. Во всем его безобразном поведении была только отчаянная широта рыбацкой натуры. Потом, уже на обратном пути, он оказался самым стеснительным и тихим пассажиром, как и следовало ожидать...

Я обошел судно по пустынной палубе. За кормой маячил темный силуэт танкера-водолея. Трос и шланг связывали нас с ним. В цистерны «Воровского» лилась пресная водичка. Она плескалась раньше в Великих озерах. Потом ее обменяли на доллары, и теперь она булькала в толстенном шланге водолея «Пирятин».

Возле шланга сидел вахтенный матрос и вытачивал из деревяшки пробку. Пустая водочная бутылка стояла возле матроса. Бутылка предназначалась для расписки за принятую воду.

Бутылка привязывается к шлангу, и «Пирятин» вытаскивает ее на борт. Способ связи начала прошлого века.

Была тихая, туманная, штилевая ночь...

В штурманской рубке сидел старпом и читал сонными глазами «Замок Броди».

— Чего встал? — спросил старпом. — Я велел тебя не будить.

— Сам встал. Иди поспи, — сказал я в свою очередь. — В дрейфе я тут до утра справлюсь.

— Ерунда какая-то с водой, — сказал старпом. — Не перетекает из форпика. «Пирятин» злится, что мы так долго принимаем, а она не лезет. Воздушная подушка где-то образовалась. Мы с водолея женщину будем брать. Беременная, в декрет идет. Фамилию ее узнай и все данные.

— Откуда они воду возят?

— С Галифакса. Дешевле вода в Канаде. Вот они и берут с Галифакса, а не с Бостона.

— Нравится тебе «Замок Броуди»?

— Если начал, так закончу.

Ему здорово хотелось спать, но приемка воды — старпомовское дело, и он не собирался перепоручать его мне. Черт его знает, читают американские моряки романы Кронина в четыре часа ночи?

— А ты не первый писатель, с которым я плаваю, — вдруг сказал Володя Самодергин. — Я еще с Юханом Смуулом плавал. Мы на Шпицберген его возили. Он еще неизвестный был.

— Он, наверное, хороший человек, — сказал я. — А как тебе показалось?

— Очень хороший, — сказал Володя. — Пришли мы на Шпиц, и мне приказали показать ему колонию. Пошли мы, рудник посмотрели, потом в столовую пошли. Я его попросил внизу подождать, а сам к директору поднялся, чтобы предупредить, что писатель тут и чтобы приготовили... Ну, сам понимаешь. Поговорил с директором, спускаюсь, а его нет нигде. Туда, сюда... Смотрю, он уже у самого подножья сопки, драпает к пароходу изо всех сил. Он, оказывается, понял, зачем я к директору пошел... ну и убежал. Он и в кают-компани все в уголок жался, стеснялся и молчал. Очень стеснительный писатель... Давай-ка попробуем по радиопеленгам определиться, пока солнце далеко...

— Так я пойду к радистам, предупрежу, — сказал я.

— Давай.

И я пошел к радистам, потому что, когда включаешь радиопеленгатор, нужно отключить антенны.

Ночная радиорубка была полна тайн и сугубой обыденности. Радиооператор лениво тыкал пальцем в пишущую машинку. Кто-то где-то бормотал на неизвестных языках, кто-то где-то развешивал в эфире цепочки морзянки. Пачки радиogramм лежали на полочках и трепетали от легкого сквозняка. Старые «Огоньки» украшали диван яркими обложками. Обнаженная девица соблазняла радистов из-под стекла на столе.

А за столом, сдвинув наушники на виски, сидела немолодая женщина — наш пекарь.

Она много лет назад была радисткой и теперь пыталась вернуть забытую специальность, потому что за нее

больше платят. Волосы пекаря были намотаны на бигуди, по щекам текли слезы, она всхлипывала.

— Ох, зверство какое, Виктор Викторович! — сказала она, не стыдясь слез. — Он раненый был, обожженный летчик, а немцы его к хвосту лошади привязали...

— С чего вы?

Пекарь сунула мне «Огонек» и опять запричитала:

— Ох, зверство какое! Ироды!

— Будешь ты работать? — цыкнул на нее радист. — Или тренируйся, или выгоню к чертовой матери! Здесь не изба-читальня!

— Ох, зверство какое! Он осетин был — летчик... Осетины добрые-добрые люди, я жила с ними, они родственникам не дают покойников хоронить. Считают, родственникам и так горя хватает. Все заботы друзья берут... Вы почитайте...

— После вахты почитаю, — сказал я. — Мы пленговаться будем. Минут пять нам надо.

— Есть, — сказал радист.

— Старпом не спит? — спросила пекарь, утирая козыжкой щеки.

— Ну?

— Вы ему передайте, что электропечь перегорела. С утра ремонтировать надо. Без хлеба останемся.

Старпом брал пленга, а я прокладывал их на карте «От порта Нью-Йорк до порта Галифакс».

В глазах рябило от красной туши корректорских надписей и значков. «Путь следования подводных лодок «Эхо». «Путь следования подводных лодок в подводном положении «Чарли», «Зулу», «Янки», «Фокстрот», «Экс-Рой», «Уилки»... Районы артстрельб, зенитных стрельб, бомбометания, противолодочных учений, неразорвавшихся глубинных снарядов, невзорвавшихся мин, свалки взрывчатых веществ... И везде: «Мореплавателям надлежит соблюдать осторожность!» От карты пахло чертом, его матерью и даже бабушкой. Сколько усилий, талантов, средств. И самое смешное — все это направлено против меня. Я враг номер один для Америки. И ведь они так думают всерьез. Или нет? Вот они тут, рядом, на острове Нантакет, в курортном местечке Сайасконсет, где торчат небоскребы и водонапорная башня; спят себе. Быть может, тут спят и внуки Мелвилла, и внуки Торо,

и генерал Лесли Гровс, который сказал: «Мне часто приходилось наблюдать, что символы власти и ранги действуют на ученых сильнее, чем на военных». Лесли знал, что говорил, — он был главным администратором работ по созданию атомной бомбы. Первую бомбу он назвал симпатичным словом «Малыш», вторую симпатичным и смешным словом «Толстяк».

Когда самолет с атомной бомбой вылетел на Хиросиму, у Лесли выдалось свободное время — от вылета до атаки должно было пройти несколько часов. Он пишет черным по белому: «Донесения запаздывали, и я решил пойти поиграть в теннис». На корте, где играл в теннис Лесли, был установлен телефон, возле телефона дежурил офицер. Потом Лесли пообедал с женой и дочерью. Когда доели десерт, ему сообщили, что бомба взорвалась.

Двадцать третьего — двадцать седьмого апреля 1945 года французские войска вели тяжелые бои в пригородах Хайгерлока. Город входил во французскую зону оккупации. Спецотряды американцев с помощью английских ученых демонтировали атомный немецкий реактор, нашли и вывезли самолетами запасы тяжелой воды и металлического урана, реактор и знаменитого физика Гана.

Французы дрались на подступах к городу, американцы возились с реактором.

Тогда же с нейтральной территории между нами и американцами в районе города Штасфурт было вывезено тысяча сто тонн урановой руды.

Этими операциями командовал Лесли Гровс.

Я хочу быть объективным. Я знаю, что спасение человечества, нашей планеты — в объективности.

Я мог бы понять генерала во всем. Даже в том, что он швырнул атомные бомбы на вражескую страну. Война есть война, и на войне как на войне. Генералы получили новое оружие и применили его.

Я могу понять все, кроме того, что генерал Лесли играл в теннис, обедал, кушал десерт. Я даже мог бы понять его, если бы генерал Лесли после вылета самолета ушел в церковь и молился. Но он не молился,

— «Воровский»! Я «Пирятин»! Прошу на связи!
— Я «Воровский», слушаю вас.

— Дайте «малый вперед». Шланги провисают. Дайте «малый вперед», и все будет тип-топ!

— Хорошо, дадим,— сказал я, как всегда испытывая некоторую неловкость оттого, что голос мой коробит эфир.— А пока скажите, в честь кого названо ваше судно?

Я услышал, как «Пирятин» вздохнул в тумане.

— Вроде есть на Украине такой провинциальный городишко. Так дайте «малый вперед», и все будет тип-топ.

— Как зовут беременную? Фамилия, год рождения, должность?

Он сказал данные нашей будущей пассажирки. Я записал их и спросил:

— Вы бывали на берегу в Нантакете?

— Ну?

— Чего-нибудь интересное есть?

— Холмы, церковь, башня, скука.

— Спасибо. До связи.

— До связи.

На свою беду, забрел в рубку электромеханик Сансаныч. Он болел гриппом и выспался еще днем.

— Сансаныч,— сказал старпом.— Перегорела секция электропечи. Надо ее в строй вводить. Без хлеба останемся.

— Ха! — взорвался электромеханик. Всякие упоминания о неполадках в электрическом хозяйстве вызывали у него возмущение и оскорбляли до глубины души.— Директор ресторана и вся его компания жарят в хлебных печах цыплят-табака! А теперь: «секция перегорела»! Конечно, перегорит, если в ней цыплят-табака жарить! Это не «Арагви». Пускай сырую муку жуют! Или надо в Канаду зайти и там печь ремонтировать. Я своими силами не могу!

Мы немного посмеялись, потому что ночью не очень смеется.

Утром закончили смену пассажиров, снялись с дрейфа и пошли домой.

Я жевал селедку с картошкой и пересмеивался с буфетчицей Тамарой, которая мыла пол в кают-компании и ругала меня за опоздание на завтрак.

Америка оставалась уже далеко за кормой, но я все-таки включил телевизор.

Так просто включил, почти без надежды еще раз увидеть Америку. Но экран замерцал. Появилась авторучка, суперэкстракласса авторучка. Мужчина с волевым подбородком улыбнулся и взял винтовку. У винтовки был оптический прицел. Мужчина засунул в винтовку авторучку и прицелился. Пиф-паф! Авторучка поразила мишень в яблочко. Мужчина с волевым подбородком вытащил ручку из мишени и написал ею несколько слов. Очевидно: «Покупайте наши авторучки — они крепче пули, ими можно стрелять из винтореза!»

Я ел селедку с картошкой и смотрел на Америку.

Пять мужчин с волевыми подбородками выстроились в линию у входа в гигантский магазин. На спинах мужчин были номера. Перед каждым стояла тележка. Судья поднял стартовый пистолет. Пиф-паф! Пять мужчин сорвались с места и рванули в гастроном, толкая перед собой тачки. Мужчины неслись в проходах между грудями продуктов, хватали пакеты, швыряли их в тачки и мчались дальше. Мужчины сталкивались друг с другом, тачки переворачивались. Мужчины подбирали пакеты и мчались дальше по лабиринту гастрономических проходов.

Тот, кто первый наберет заданный ассортимент товаров и на заданную сумму, — тот победитель. И вот победитель выносится из дверей гастронома. Аплодисменты. Пять герлс танцуют в его честь. Он вытирает пот с мужественного лица. Судья поднимает его руку...

Изображение бледнело, — мы были уже далеко от Америки. Она махала нам вслед соблазнительными длинными ножками стандартных девиц.

«Прощай, Америка! До новых встреч, Мелвилл!» — подумал я и чуть не подавился селедкой. Грохот, вой и стон потрясли судно. Тарелки подпрыгнули на столе.

Реактивный четырехмоторный самолет-разведчик прошел над «Воровским». Я видел, как мелькнули размалеванные жуткими стрелами его плоскости. Через минуту он промчался опять, обрушив на судно чудовищный грохот. Он шел так низко, что я заметил голову штурмана в нижнем фонаре кабины.

Если сравнить историю Америки и нашу за последнее столетие и задаться вопросом: кто больше накопил народного духовного общественного опыта? — то ответ будет в нашу пользу. Страдания нашего народа, неповторимость пережитых исторических периодов, бесконеч-

ное разнообразие общественных коллизий — больших и малых — все это не пройдет бесследно для нации. Все это пусть дорогой ценой, но укрепит нашу будущую историю, напитает ее способностью преодолевать неожиданные и крутые повороты.

Быть может, многие нации распадутся, растерявшись в хаосе и сложностях современности. России не грозит это.

За столетие мы углубили себя страданиями. А что произошло за это время в Америке? Конечно, она продолжала копить богатства и делала это много успешнее нас. А еще? Я не хочу сказать, что Америка ничем не помогала миру, что она не обогащала его теми или иными идеями. Я про другое. Про будущее. И здесь мне кажется, что мы подходим к перевалу, а Соединенные Штаты еще только у подножия горы.

БЕЗ СОЛИ

1

Иногда бывает ощущение, что все мы на планете — гости. Как в детстве, когда привезли тебя на елку в солидный дом и ты чужой всем.

И такое я в очередной раз пережил, когда впервые увидел айсберг.

Уже за два дня американский ледовый патруль сообщил о появлении айсбергов у нас по курсу. И мы нанесли их координаты на карту. И я боялся, что вдруг айсберги унесет течением.

Мы попросили механиков чаще замерять температуру воды за бортом. Никто из штурманов и капитан с айсбергами еще не встречались. Туманы там густые, часты снежные заряды. И мы не знали, как радар обнаруживает эти айсберги. И, конечно, пошли разговоры о «Титанике» и «Гансе Гедтофте».

Первый айсберг показался часа за два до заката. На экране радара он казался сперва судном. Но потом очертания отметки увеличились и размылись. Капитан подвернул, и мы пошли на сближение, чтобы познакомиться с айсбергами.

Они плыли сюда от берегов Гренландии два года. Два года они раздавливали волны и обыкновенные льды.

Они презирали ветра и подчинялись только глубинным течениям, потому что сидели в воде на триста метров.

Они плыли сюда два года, храня в себе тайны ледникового периода. В них жило эхо голосов пещерного человека. И они слышали последний, предсмертный вопль замерзающего мамонта.

И вот они приплыли сюда, чтобы встретиться со мной и потом исчезнуть без следа в волнах океана.

И я тоже шел к ним длинным и сложным путем.

Торжественная тишина стояла в рубке.

Мы вплывали в храм.

Его куполом были небеса. Айсберг был алтарем.

Мы измерили его высоту секстаном и радаром — по вертикальному углу и дистанции. Получилось семьдесят метров.

Мы были жалкими гостями мироздания, блохами, водяными блохами.

Айсберг имел две вершины, с ущельем между ними. Заходящее солнце уперло в вершины свои лучи. Неизъяснимые краски мерцали в гранях и поверхностях льда. Глубинный шум покорно смиряющихся волн окружал айсберг. Зелено-белый кильватерный след оставался за ним.

Мы перестали замечать время. Судно лежало в дрейфе и тоже благоговейно слушало шум двигающегося сквозь храм алтаря.

Намного ниже его вершин летал альбатрос.

А позади было еще два маленьких айсберга, очевидно соединенных с ним под водой общей подошвой.

И я все думал о тщетности усилий человечества достичь величия и о том, что мы гости здесь, что планета и мироздание только терпят нас — и больше ничего...

— А что это красное? Белого медведя убили, что ли?

И мы все заметили странные кровавые подтеки на огромной высоте, у самых вершин.

— Братцы, так это же номер! — заорал кто-то. — Номер восемнадцать!

Айсберги оказались пронумерованными. Ледовый патруль метил их из ракетных пистолетов, как метят овец. На айсберге был номер, как инвентарная бирка на канцелярском столе. Чтобы не путать их друг с другом, чтобы они не разбежались, не ушли в кусты от пастуха.

Благоговейная тишина рухнула. Капитан приказал давать ход и чертыхнулся, потому что мы потеряли на

знакомство с айсбергами не меньше часа. В рубке спорили о том, как называются маленькие айсберги — «айсбержата»? — от жеребят? Или еще как, по-иному? Все изощрялись в остротах и веселились. Всем как-то легко стало. Величие перестало давить души, и мы бессознательно обрадовались этому.

Так с наслаждением разрушали храмы солдаты и дикари во все века.

2

Если выпарить всю соль океана, она покроет планету слоем в девяносто метров.

Почему вода в морях соленая, не знает никто. Идут жаркие научные споры.

У нас исчез запас соли в двух сутках от Ла-Манша. Нам было мало дела до научных споров: откуда берется соль в океане — из пресных рек выщелачиванием твердых пород земной коры или она разом выпала из атмосферы, когда миллиард лет назад Земля стала остывать.

Нам морская соль вообще не годилась, ибо от нее слабит. Нас интересовало, как исчезла наша поваренная соль. Ответчик — директор ресторана Жора — утверждал, что соль была уничтожена рассолом. По его теории, бочка с солеными огурцами не выдержала шторма, раскололась. Рассол проник в ящики с солью, растворил ее, унес в шпигат кладовки, а затем в Атлантический океан. Таким образом, директор ресторана Жора внес свой вклад в девяностометровый солевой слой планеты.

На борту больше четырехсот человек. Чтобы их кормить, надо пятнадцать килограммов соли в сутки. И вдруг оказалось, что без соли так же невозможно жить, как без пресной воды.

Радисты застучали ключами. Радиоволны понесли над планетой необычный SOS. Пароходство метало громы и молнии. Нам давали координаты ближайших судов, и мы вертелись в океане, чтобы сблизиться с ними. Умора была сидеть в радиорубке и слушать разговоры с коллегами.

— Теплоход «Невалес»! Я «Воровский»! Сообщите ваши запасы соли.

— «Воровский»! Я «Невалес»! Имею на борту две

тысячи тонн глауберовой соли, следую Геную, что вам нужно?

— Срочно нуждаемся поваренной соли.

— Повторите!

— Срочно нуждаемся столовой соли!

— Какой у вас груз?

— Имеем на борту триста двадцать пассажиров.

— Протухли они у вас, что ли?

— Почему протухли?

— Зачем вы собираетесь их солить?

— В штормовых условиях потеряли запас своей соли.

Сообщите, сколько можете дать?

Откуда на обыкновенном грузовом судне может быть лишняя соль? Там экипаж максимум тридцать — сорок человек.

Наши пассажиры привыкли питаться хорошо, и даже слабые попытки перевести их на сухой паек закончились скандалом.

И мы начали благословлять директора Жору, — в сложившейся ситуации пароходство должно было разрешить заход в Англию или Францию.

Мы уже шесть раз пересекли Атлантический океан и имели моральное право передохнуть денек в симпатичном заграничном порту.

Неуверенная мечта о таком заходе давно жила в экипаже. И к осуществлению мечты прилагались даже усилия. Например, в прошлом рейсе было отмечено, что вода, которую мы брали на промысле — канадская или американская вода, — имеет не наш вкус и цвет. Были высказаны предположения, что водяные танки водолея недостаточно чисты. Если бы нам удалось доказать дурное качество воды, заход в симпатичный заграничный порт стал бы неизбежной реальностью. Поэтому авторитетная комиссия в составе старпома, доктора и предсудкома нацедила воды в бутылку из-под рома, опечатала, составила акт и вручила бутылку капитану.

Михаил Гансович принял от комиссии бутылку с водой и торжественно поставил ее в свой холодильник, чтобы в Мурманске сдать воду на анализ.

Дней через пять старпома осенило.

Мы играли в козла спокойным вечером, когда он вдруг схватился за голову и застонал:

— Пареньки, что мы сделали!

— Что?!

— Нельзя было в холодильник! Теперь от холода микробы сдохли!

И все мы вспомнили, что питательный бульон для микробов специально подогревают, чтобы микробы лучше размножались.

Спокойный, как катафалк, Михаил Гансович отправился в каюту, вытащил бутылку из холодильника и поставил ее за грелку отопления.

Михаил Гансович был удивительно добрый и покладистый человек. Вот уж кто никогда не трепал нервы экипажу без нужды, так это он. За исключением английских команд, конечно. А получить разрешение на заход в загранпорт ему было важно, чтобы поупражняться в произношении с настоящими англичанами.

Но, очевидно, было поздно. Очевидно, эти подлые микробы оказались нежизнестойкими и сдохли в холодильнике, потому что анализ ничего для нас положительного не дал.

Теперь наш малосольный, многострадальный теплоход получил шанс передохнуть денек в Плимуте или Гавре.

Встречный «Ржев», который мог дать нам приличное количество соли, попал в туман на подходах к Зунду и застрял у Борнхольма.

Оставался «Северодвинск». Он шел в Кильский канал впереди. Капитан «Северодвинска» оказался ворчливым и непокладистым. Он сообщил, что может дать любое количество соленой воды, но ему скоро направо, а нам налево, и ждать он не будет, потому что торопится в Ригу на ремонт. Ясно было, что в Риге капитан собирается удрать в отпуск и ему важен каждый час. Но пароходство велело ворчливому капитану ждать нас у Булони.

Была глухая ночь, кромешно черная. И глаза так привыкли к темноте, что слепил огонек сигареты. И слепил даже слабый отблеск палубных огней на пене волн, отброшенной носом судна. И слепили вспышки маяков на морском проспекте Па-де-Кале.

В небе метались между Францией и Англией маленькие самолетчики, неся на крыльях красные огоньки. И чего им не спалось? По-моему, это были частные самолетчики и летали они из закрывшихся английских ресто-

ранов в ночные французские. Летали пареньки, как у нас говорят, «добавить».

А по проспекту плыли бессонные трудяги корабли, цугом, как лошади в обозе.

И Михаил Гансович не уходил спать, белел рубашкой у окна рубки.

За восемнадцать миль Булонь появилась на экране радиолокатора сигналом, отраженным каменными молами.

С запада в Булонь следуют створом городского собора и форта на горе Ламбер. Почти посередине этого прохода лежит затонувшее судно с опасной глубиной пять метров. Над судном горит вечный огонь, то есть оградительный буй. Называется буй «Офелия». Набережная в городе носит имя Гамбетты. Возле набережной толкуются борт к борту рыболовные суденышки.

К востоку от Булони есть город с самым коротким названием — Э. К городу ведет канал Э. Дарю эти сведения составителям кроссвордов. В городе Э, конечно, есть церковь и замок, видные с моря.

Боже мой, сколько построили люди церквей, соборов, часовен, кирх, костелов, мечетей, минаретов, колоколен! Неимоверное количество. И моряки это знают лучше других, потому что все эти церкви и соборы нанесены на карты и тянутся шпильями и крестами в небеса. Мне кажется, церкви в определенном смысле заменяли прежним людям кино. Они давали какое-то развлечение в средневековом вкусе. Правда, кинотеатры не тянутся в небеса, и я еще ни разу не видел кинотеатра на штурманской карте. А церкви и соборы до сих пор помогают водить вдоль берегов корабли.

Но об этом не написано в лоциях, все это я сам придумал. А в лоции прочитал название местных, булонских ветров: «сюэ», «биз», «вандуэз», «нароэ». Сюэ, конечно, теплый ветер, а нароэ — холодный. Это ощущается в их звучании.

Я вышел на крыло мостика, в ночь. Дул сюэ. Вперед видно уже было зарево огней Булони. Зарево мерцало, как теплое северное сияние. Сюэ тянул с берега, и казалось, я слышу запах Бретани — запах цемента, автомобилей, фруктов, овощей и вина. Берег не был виден. Там, за дюнами, спали в своих домишках французские крестьяне, среди весенних рощ и лугов, чередующихся мелкими возделанными участками земли. Такой

пейзаж на полуострове Бретань называется «бокаж».

И близок был Париж, праздник, который всегда с тобой,— часа два на автомобиле по пустынному ночному шоссе.

Из открытой двери ходовой рубки доносился голос старпома, он пилил доктора Леву.

— Не мог найти какой-нибудь аппендикс? — сетовал старпом.— Вот я чешусь весь рейс. Может, это опасное мозговое заболевание. Доложил бы Щуке (Щука — фамилия начальника санинспекции), что Самодергин чешется и ты ничего не можешь своими силами... Викторыч, ты куда пропал?

— Здесь я, Алексеич.

— Пойдешь на вельботе?

— Пойду.

— Печать не забудь тогда. На накладной печать поставить надо будет. Эти волосаны с «Северодвинска» без печати прошлогоднего снега не дадут.

— Есть, понял.

Он вышел на крыло и стал рядом со мной.

Зарево Булони было уже близко, но зыбко, и на фоне его видны были огни «Северодвинска», который ожидал нас на якоре.

— И не надоело тебе быть писателем? — спросил Алексеич.

— Надоело.

Мне действительно надоело. Столько сил уходит, чтобы заставить людей позабыть, что ты их вдруг возьмешь да и опишешь. Будь оно неладно.

— «Северодвинск», я «Воровский», это вы стоите?

— «Воровский», я «Северодвинск», это вы идете?

— Да, это мы подходим.

— Понятно, это мы стоим.

— Добрый вечер. Как слышите меня?

— Доброй ночи. Отлично слышу. Кто у рации?

— Старший помощник.

— Капитана попросите.

Тихий, как катафалк, Михаил Гансович взял микрофон и прокашлялся. Он не мог вспомнить имя и отчество своего коллеги с «Северодвинска». Они были какие-то очень заковыристые, особенно отчество, вроде «Святополковича».

— Гм, кх, капитан у аппарата. «Воровский» говорит.

— Михаил Гансович, доброй ночи, откуда идете?

— Гм, кх, м-м-м-м... доброй ночи, Свет... Митич, от Америки идем, от самого Нью-Йорка.

— А как вас сюда занесло, Михаил Гансович? Чего южнее Англии идете?

— Гм, кх, Фед... Митич, погоды, говорю, штормовые, три шангоута треснули... Треснули, говорю, три шангоута... Тут еще просьба. Директор ресторана просит семь палочек дрожжей, кроме, гм, кх, соли... Как у вас с дрожжами?

— Да я, Михаил Гансович, дрожжами как-то не занимаюсь сам. Сейчас выясним... У вас радиооператор Тютюлькин есть?

— Есть у нас Тютюлькин? — спокойно спросил Михаил Гансович окружающую темноту и попутно приказал: — Слоу хид!

— Есть Тютюлькин, — доложил я. — Первый рейс идет, из демобилизованных.

— Гм, кх, Вов... Митич, есть Тютюлькин.

— А у меня невеста его плавает буфетчицей. Вот она тут стоит, просит, чтобы Тютюлькина на вельбот взяли, когда к нам пойдете, целоваться хочет.

— Это можно, гм, кх, можно. Пойдет Тютюлькин, поцелует.

— Будут дрожжи, Михаил Гансович. Есть дрожжи. Как поняли?

— Понятно, понятно. Спасибо. Ну, я в дрейф ложусь, вельбот будем спускать.

Несколько секунд из микрофона слышался далекий английский разговор, потом эфир щелкнул и сочный бас спросил:

— Это кто тут по-русски заливается?

— А вы кто такой? — спросил «Северодвинск».

— «Тижма», идем с Конакри на Ленинград.

— Банановоз, что ли? — поинтересовался «Северодвинск».

— А вы кто?

— Я «Северодвинск», даю соль и перец теплоходу «Вацлав Воровский».

Сочный бас засмеялся и поправил, потому что, очевидно, уже давно подслушивал:

— Соль и дрожжи, а про перец не было. Ну, спасибо вам!

И проплыл где-то там в темноте, в обозе других судов по морскому проспекту Па-де-Кале.

К рассвету дело было сделано, вельбот вернулся в привычные объятия шлюпбалок; Тютюлькин, нацеловавшись, спал; повара сыпали в котлы соль; пекариха-радистка радовалась свежим дрожжам, и все мы скользили по зеленой воде мимо Дувра, мимо мыса Дайджес. А потом, когда поисковые нефтяные вышки, похожие на марсианские сооружения, остались за кормой и берега Англии исчезли в легкой дымке, мы легли на чистый норд, увозя с собой голубя, голубку и маленького воробья.

Голуби держались вместе. Они перелетали с носа на корму и садились где-нибудь под ветром, тесно прижавшись плечом к плечу. Голуби были розовато-голубые, очень чистые и изящные. Они не подпускали близко, взлетали, делали полукруг и опять садились. Они поехали с нами путешествовать из Франции в Норвегию бесплатно, как туристы с «автостопом». Было приятно видеть этих молодых, путешествующих бесплатно влюбленных. У молодых влюбленных часто нет денег на билет.

А француз-воробей был мал да удал. Он чихать хотел на семейную жизнь и ехал в одиночку. Шатался по теплоходу, совал нос даже в окно рулевой рубки, доклевывал остатки пшена, которое мы сыпали голубям, и чувствовал себя отлично. Очевидно, это был уже старый морской бродяга.

Они переплыли с нами Северное море и высадились в Норвегии, чтобы посмотреть фиорды и горные водопады и потом вернуться во Францию на другом попутном судне.

3

Я долго не мог понять, почему на ненастном небе, в дожде и тумане, появились звезды. И почему очертания созвездий так незнакомы мне. И почему созвездия устали, не могут хранить своих законных мест во Вселенной.

Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. Освещенный мощными огнями теплоход.

А в ходовой рубке, как всегда, было темно. Светились только указатель положения руля, тахометры и красные лампочки пожарной сигнализации. И чуть заметным, зыбким, кладбищенским светом светились перед окнами рубки мириады частиц воды — туман и дождь. И в этом

туманном мире возникли усталые созвездия. Они трепетали и ярко иногда взблескивали. И неслись вместе с нами.

Я вышел из рубки на крыло мостика. Ветер, дождь и ночь сразу стали громкими. Глаза слезились. Я подставил ветру затылок и поднял к глазам бинокль. В стеклах заколыхались белые надстройки, спасательные вельботы, темные от дождя чехлы и птицы — распущенные ветром мокрые комочки. Они металась между антеннами и пытались прятаться от ветра за трубой, за вельботами, на палубе.

Это действительно были усталые созвездия. И подвахтенный матрос уже бежал ко мне с птицами в обеих руках.

— Скворцы, — сказал он. — Мы пробовали их кормить, но они не едят.

Так ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. Конечно, вспомнился Саврасов, весна, еще лежит снег, а деревья проснулись. И все вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи и скворцы. Этого не опишешь. Это возвращает в детство. И это связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким ощущением родины, России.

И пускай ругают наших русских художников за старомодность и литературность сюжетов. За именами — Саврасов, Левитан, Серов, Коровин, Кустодиев — скрывается не только вечная в искусстве радость жизни. Скрывается именно русская радость, со всей ее нежностью, скромностью и глубиной. И как проста русская песня, так проста живопись.

И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость сложнейших анализов психики отдельного человека и сложнейших анализов жизни общества, — в наш век тем более не следует забывать художникам об одной простой функции искусства — будить и освещать в соплеменнике чувство родины.

Пускай наших пейзажистов не знает за граница. Чтобы не проходить мимо Серова, надо быть русским. Искусство тогда искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолетного, но счастья. А мы устроены так, что самое пронзительное счастье возни-

кает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России.

Я не знаю, есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и ощущением родины.

Итак, мы спешили на северо-восток, домой, к причалу Мурманска. И вдруг прилетели скворцы, забились в разные укромные места передохнуть. И так как мы уже соскучились по дому, то и подумалось о России и тихом пьянице Саврасове. И потом, когда увидишь над морем маленькую сухопутную птичку, то как-то раскисаешь душой. Ведь с детства читал о маяках, на свет которых летят и разбиваются птицы. И помнишь картинки в учебнике. Правда, знаешь уже и то, что перелет через океан — это экзамен на право называться птицей. И тот, кто не сдаст экзамен, погибнет и не даст слабого потомства. И знаешь, что ничего особенного в длительных перелетах для птиц, вообще-то говоря, нет. За обыкновенный летний день стриж налетывает тысячу километров, чтобы накормить семейство. Тренировка. Уже известно, что птицы ориентируются по магнитным силовым линиям Земли. В полете они пересекают их под разными углами, а ток, индуктируемый в проводнике при движении проводника в магнитном поле, зависит от угла. И птички могут чем-то замерять силы тока, а по ним угол движения относительно магнитных полюсов земли.

Есть птицы, которые вечно живут при свете солнца, то есть никогда не живут в ночи. Они летят по планете с таким расчетом, что солнце всегда светит им. Всегда они живут среди дня, света и радости. И они погибают, если ночь хотя бы раз догонит их.

О многом уже узнал, но когда видишь птичку, борющуюся с ветром, кувыркающуюся над волнами, так и защемит сердце от нежности к ней.

Морские птицы — другое дело. Они вызывают восхищение и зависть своим совершенством. Очень редко увидишь в океане, чтобы чайка махала крылами. Это на речках и вблизи берегов они машут сколько душе угодно, как какие-нибудь площадные голуби. А в океане можешь смотреть на чайку десятки минут, и она все будет нестись над волнами перед носом судна — по шестнадцати миль в час — и не трепыхнет крылом. Ее полет — вечное падение, вечное планирование.

Когда штормит, чайки несутся в ложбинах между

валов. Там, в водяных ущельях, между водяными горами и холмами, они укрываются от ветра.

Появился старпом Володя Самодергин, деликатно, незаметно проверил, все ли у меня на вахте нормально, пощупал море радаром, сказал, конечно, то самое, о чем я только что думал:

— Птичек жалко, правда, Викторыч?

— А ты знаешь, что древние норманны возили с собой по морям вместо компаса ворон? — спросил я, дабы похвастаться эрудицией. Но похвастаться не пришлось.

— Знаю,— сказал Володя.— Они птиц выпускали, чтобы направление на сушу, на ближний берег определить. Так даже Ной делал. Только у него голубь был, да?.. На концерт пойдем?

В последние сутки рейса стараниями помполита и многих активистов создавалась концертная самодеятельная программа. И всегда это было интересно, талантливо и смешно, хотя и немного наивно.

Мы в четыре руки подготовили вахту к сдаче. Он снимал координаты, показания приборов — я записывал в журнал. Я звонил в машину и давал сводку за вахту, а он еще и еще щупал ненастное море радаром. Мы хорошо научились с ним работать в четыре руки. И он неоднократно ловил меня на ошибках, а я за все совместные плавания не смог ни разу поймать его ни на чем. У него было удивительное, птичье чутье, интуиция. Он включал радар именно тогда, когда на экране появлялась отметка. В спокойном дрейфе он приказывал готовить машины за десять минут до того, как айсберг подваливал нам под корму. Причем такой айсберг, который был в воде почти весь, которого не брал радар и которого не было видно в тумане.

Его смешная фамилия происходит от деда-крестьянина, который всю жизнь дергал сам себя за бороду.

Мы сдали вахту, поужинали и спустились в музыкальный салон. Полированное дерево стен салона благородно отблескивало люстрами дневного света. Инкрустации древних каравелл мерцали в древесных стенах. Каравеллы плыли и плыли, раздув пузатые паруса.

Салон был битком набит. Наши места пустовали, ожидая нас в центре. Наконец прибыл наш капитан, капитаны траулеров, экипажи которых мы везли от берегов Америки, и их помполиты.

И начался вечер перед расставанием. Через сутки

мы станем к Пассажирскому причалу Мурманского порта. Рыбаки сойдут по трапу. И быть может, мы никогда больше не встретимся. А может, и встретимся, но никто этого не знает.

Наши девушки, взволнованные и хорошенькие от волнения, в ослепительно белых блузках и черных юбочках, стучали каблучками от нетерпения. Но вечер уверенно взял в свои руки радиотехник Семен. Это был профессиональный конферансье. Он вышел к микрофону развязной походкой, проверил натяжение веревок, которыми привязаны были музыкальные инструменты, и сказал:

— Дорогие товарищи рыбаки! Сейчас я прочитаю стихотворение Симонова о неверной жене. Это стихотворение относится к войне, но вы рыбаки, и вам такая тема знакома, так как вы долго бываете в отрыве от семей!

И в гробовой тишине, завывая и делая жесты, прочитал «Открытое письмо»: «...Мы ваше не к добру прочли, теперь нас втайне горечь мучит: а вдруг не вы одна смогли, вдруг кто-нибудь еще получит?..» И так далее, и тому подобное. Я было подумал, что рыбаки, в ответ на деликатность и чуткость, подкинут Семену банок, но все обошлось. Наоборот, ему шумно аплодировали. И я еще раз понял, что ничего не понимаю в психологии сегодняшних людей.

Вообще, мелодрама оказалась в центре программы. Тряхнула стариной и наша пекарь-радистка, которая когда-то плакала в радиорубке. Она вышла на авансцену, шагая широко и решительно, как Маяковский. Она была в черных чулках и с красными пятнами на щеках.

— «Боцман Бакута»! Быль! — Пекариха сложила на груди тяжелые, натруженные тестом руки и повела рассказ: — Однажды наше судно зашло в Неаполь. Боцман Бакута отправился на берег. Возле шикарного отеля он увидел десятилетнюю нищенку необыкновенной красоты. Никто из буржуев не подавал чудесной итальянке. Боцман Бакута увел девочку на судно и с душевным волнением прослушал ее песни. Потом боцман собрал деньги с экипажа и отвез девочку-нищенку в магазин. Он одел крошку, как принцессу, и устроил к знаменитому профессору пения. Потом мы снялись из Неаполя,

унося в сердце образ Джанины — так звали девочку. Прошло десять лет. Судно, на котором плавал боцман Бакута, пришло в Марсель. Город был заклеен афишами знаменитой итальянской певицы. Боцман узнал Джанину. Он сгорал от нетерпения ее увидеть. На последние деньги он купил билет и пошел в театр со скромным букетом весенних цветов. После представления он проник к Джанине и подал ей букет. «Кто вы? — пренебрежительно спросила она и швырнула букет ему обратно. — Я не принимаю таких цветов!» Боцман Бакута вернулся на судно и написал Джанине письмо: «Я помню ангеласиротку на улицах Неаполя... неужели богатая жизнь так испортила ее?»

Когда судно уже отдавало концы, на причал влетела огромная машина. Из нее выскочила Джанина. Она была в черной вуали и застыла у края причала, как статуя. Но было поздно — Марсель растаял в дымке... И вот недавно мы слышали по радио необыкновенной красоты песни. Потом диктор объявил: «Пела Джанина Бакута!»

Хотите — верьте, хотите — нет, но у меня навернулись на глаза слезы. И рыбаки, убившие миллионы рыб и выдавшие черт те знает какие виды, тоже старались не поворачивать друг к другу головы, чтобы не выдать волнения, недостойного мужчины. И я подумал о том, что самый беспрюирышный сюжет — это «Дама с камелиями». Мелодрама преодолевает века и границы и без промаха поражает самые разные сердца.

Затем вышли наши девушки, обнялись, зарделись, переступили каблучками по медленно качающейся палубе и спели: «Стоят девчонки». В этой песне рассказывается о том, что девчонки стоят возле стенок в клубе и не танцуют, потому что на десять девчонок только девять ребят. Пели с настроением и грустью, но получилось смешно, так как на каждую из них у нас было по четыре десятка ребят, и уж на это они не могли прониновенно жаловаться.

Потому зал откровенно заржал.

И выход на сцену черного кавказского человека с неизбежными черными усиками и джигитскими повадками оказался кстати.

Он рассказал о старике кабардинце, который всю жизнь носил жену в корзине за спиной, чтобы она не могла ему изменить.

Щелкая пальцами, вращая глазами, он показывал, как пыхтел старик, когда ему надо было подниматься в гору. И как он на вершине горы открыл корзину и увидел в ней свою старуху вместе с соседом-стариком.

Зал покатывался и от восторга иногда взрывался руганью.

Конечно, такой вольный сюжет следовало уравновесить. И это уравнивание было заложено в программу.

Вышла поваренок-корневщица и прочитала пронзительные стихи известного поэта-современника: «Пусть любовь начнется, но с души — не с тела!» И страсть пусть тоже будет, однако «страсть, но — не собаки и не кошки!» Читала поваренок по бумажке, часто сбивалась, но ей тоже похлопали. А я с гордостью подумал о наших поэтах. Эти паренки могут написать все, что угодно. Для них нет милиции. Это паренки отчаянной смелости. Им можно только завидовать.

Затем начались танцы и игра в «почту».

В Мурманске мы взяли в рейс четырех музыкантов из ресторана «Арктика». Сперва они, конечно, укачались и несколько дней лежали облеваннные, и их не поднять было, чтобы они прибрали каюту.

Потом отошли.

Замысел был такой: профессиональные музыканты поднимут уровень нашей самодеятельности. Кроме того, они должны были играть на вечерах танцев. Все знают, что танцевать под живую музыку интереснее, нежели под магнитофон.

Музыканты сперва приходили играть в белых рубашках и при галстуках.

Потом обнаглели.

Трубоч-солист сидел в глубоком кресле, свесив распущенное брюхо между колен, босые пальцы торчали из рваных тапочек.

Его звали Гарри. Вся ресторанный пошлятина густо умащивала его одутловатое, забывшее солнечный свет лицо.

Ударник, в пуловере, надетом прямо на голое тело, и тоже в тапочках, женоподобный, пухлый, моложавый, румяный, с кудряшками на висках, часто закрывал гла-

за и закидывал голову, привычно выражая музыкальный экстаз.

Контрабасист блестел набриолиненными слабыми волосами и был смертельно удручен своей глупостью. Эти пареньки, конечно, не знали в момент найма, что ресторана здесь не будет, чаевых — тоже. Что предстоит им качаться в океане два месяца за обыкновенную зарплату. Их официальное звание было — «музыработник».

Наиболее порядочное впечатление производил пианист. У него был значок Киевской консерватории. Он сидел спиной к залу, широко — от качки — раскорячив ноги. Он, вероятно, был талантлив и презирал как себя, так и своих друзей-лабухов, и рыбаков; и всех вообще.

Танцующие пары шатались на кренящемся полу музыкального салона, спотыкаясь на складках и дырах старого ковра. Ковер разодрали ножками кресел, когда в шторм смотрели здесь кино.

Рыбаки стильно оттопыривали упитанные зады, обтянутые — по моде — туго ушитыми штанами. Из закатанных рукавов рубашек могуче высывались мускулистые лапы. Нетанцующие, как и положено, сидели под переборками, жадными глазами жевали девиц и перекидывались о них соответствующими замечаниями.

Вдруг Гарри встал с кресла и предложил желающим друзьям-рыбакам самим сыграть на барабанах или спеть.

Желающих не нашлось. Тогда Гарри решил спеть сам.

«..Ночь холодна, и туман, и темно кругом.
Мальчик маленький не спит, мечтает о былом.
Он стоит, дождем объятый
И на вид чуть-чуть горбатый,
И поет на языке родном:
«Друзья, купите папиросы!
Подходи, пехота и матросы,
Подходите, не робейте,
Сироту меня согрейте,
Посмотрите: ноги мои босы...
Друзья, ведь я совсем не вижу;
Милостынькой вас я не обижу,—
Так купите ради боже
Папиросы, спички тоже —
Этим вы спасете сироту!..»

Судно качало, бухали под бортом волны, качались в коридоре заплеванные, забитые окурками урны. Топтались и слушали вокруг рыбаки, строго и грустно слу-

шал из золотой рамы Вацлав Воровский. И пора было идти спать. Но я дослушал песню. Странное тягостное впечатление создавала она.

«Я мальчишка, я сиротка, мне шестнадцать лет.
Помогите ради боже, дайте мне совет,
Где бы мог я помолиться, где бы мог я приютиться,
Мне теперь не мил уж белый свет...
Мой отец в бою жестоком
Смертью храбрых пал.
Немец в гетто с пистолета
Маму расстрелял,
А сестра моя в неволе,
Сам я ранен в чистом поле,
Отчего я зренье потерял...
Друзья, купите папиросы!
Подходи, пехота и матросы...»

Хриплый безголосый Гарри отлично передавал интонацию вагонного певца-слепца. Понесло вдруг вагонным запахом — обмотками, голодом и военной махоркой. И все это было чем-то связано с некрасивым топаньем по рваному ковру молодых, изголодавшихся по женщинам мужчин и со строгим лицом Вацлава Воровского.

Я почему-то думал о том, что сентиментальность концерта самодеятельности и то, что произойдет завтра на причале Мурманска, как-то не вяжутся.

Никогда так буднично я не возвращался из моря и так буднично не уходил в него, как в эти рейсы на Джорджес-банку с рыбаками.

Есть моряки, капитаны, которые трижды тянут привод гудка при расставании с другим судном или портом, но делают это потому, что так положено. И есть моряки, которые плавают всю жизнь ради этих трех гудков, ради того волнения, которое возникает в человеке при словах благодарности, прощания или встречи.

Трижды мы швартовались в Мурманске, и причал был почти пуст. Маленькая горсточка людей встречала рыбаков, отвоевавших с океаном четыре месяца.

Нельзя передать словами, как давит молчание и тишина причала, когда подходишь к нему. Как хочется оживления, махания рук, женских счастливых лиц, поднятых на руки детишек.

Вероятно, Мурманск суровый город. Тишиной и малолюдьем встречает он рыбаков, если они не совершили чего-нибудь сверхчудесного, сверхпланового.

А быть может, именно так и должно быть.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРОЗА ВИКТОРА КОНЕЦКОГО

Странный это писатель — Виктор Конецкий. Ладить с ним трудно. Он чуть ли не каждой страницей будет вызывать на спор, поддразнивать хитрыми байками, хлестать острословием, с рискованной смелостью дилетанта по-своему истолковывать научные теории и факты, включая их в игру фантазии, примеривая к какой-то своей постоянной мысли, которая ищет точной формулы и серьезного обоснования. И бесстрастные научные сведения вдруг обернутся нравственной стороной, внутренней человеческой проблемой.

Вдоволь потешившись над собеседником, он с еще большей яростью бросится иронизировать над собой, над своими рассказами, над нелепыми происшествиями и разговорами, где сам он не раз оказывался в дурацком положении, над своими путевыми впечатлениями и записками.

Он как будто прямо раскроет свой умысел: «Читатель больше полюбит тебя, если ты чаще будешь демонстрировать свои мелкие слабости». Свой принцип — «соединить вещи несовместимые». Свои увертки: «где ты ненароком задел действительно сложные вопросы современности... переходи на юмористическую интонацию».

Но тут же и откажется признать эти вольные или невольные хитрости конечной целью: «...я в первую очередь издеваюсь над самим собой. И делаю это от страха и слабости. Ведь издевательство над самим собой есть один из видов самоутверждения, а мне необходимо утвердиться, ибо впереди большая работа и дальняя, совсем незнакомая дорога». То есть все эти игры попутны, они — форма, средство. А цель?

Цель — правда. «Звезды, мигая нам из Вселенной, говорят, что рано или поздно нам всегда придется говорить только правду. Иначе мы погибнем».

А свою последнюю книгу «Вчерашние заботы» он закончит притчей о человеке, рисующем акварелью на морозе. Краски мигом застывают, и картина выходит необыкновенно свежей. Но когда перенесешь ее в тепло, «лед растает, краски превратятся в бурду, а бумага раскиснет»,

«Утешаюсь тем,— пишет Конецкий,— что когда писал на морозе, то хотел передать правду и только правду. И в конце концов, то, каким ты себя и мир придумал, тоже имеет право на существование: ведь это плод именно твоего опыта, восторга, воображения и неизбежной печали о прошлом».

Правда, которую ищет и обретает Конецкий, неоднородна. Это и пронзительная свежесть мгновения, ситуации, схваченной страницей дневника, и правда фантазии, воображения, домысливания. Правда переживаемого сейчас и правда памяти. Наконец, есть неоспоримая правда в том, чтобы зло называть злом, показывать его грубую и тупую силу. «Но природа заложила в нормальных людей еще и бессознательную тончайшую хитрость: бороться со злом добром». Это — тоже правда, но не голый ее факт, а вектор правды, направление.

В этом смысле Конецкий писатель изначально российской литературной традиции. Той литературы, которая искала не натуралистической точности изображения, но прежде всего трудноуловимый путь добра, путь к торжеству доброй правды.

Оттого так и сложны отношения Конецкого с его героями и с самим собой.

Действительно, возможно ли в каждую минуту до самой глубины сказать все, что ты думаешь и чувствуешь? Сам про себя и о других. Такая натуралистическая откровенность способна превратить жизнь в сущий ад, в непрерывную склоку, в непристойное разделение.

«Но надо пытаться множить юмор на утопию». То есть надо искать приемлемую форму этой правды, в которую входило бы не только сиюминутное состояние, но и идеальная мысль. Не отказываясь от частностей, обнимала бы целое. И при всем том — оставалась полной и неурезанной правдой.

Проза Конецкого, как и ее интонации, герой, проблемы, неоднородны, многоплановы и в то же время — инвариантны, то есть достаточно постоянны в главном своем направлении. Она не рассчитана на спокойное перелистывание, на взаимное благодушие читателя и писателя, на умирительное чувство... Но при всей остроте, обнаженности, временами грубоватости в ней есть пафос, благородство, надежда, увлекающие ум и сердце в сторону добра. Понуждающие так или иначе определить отношение к правому и неправому поступку.

Конецкий родился в Ленинграде 6 июня 1929 года. В интеллигентной семье с добрыми культурными и нравственными традициями. Его «историческая» биография определилась рано, как и у всех мальчишек, детство которых, можно сказать, кончилось с началом войны: блокада, эвакуация, скудные послевоенные годы. В нее мощ-

но вторглась проза жизни: заботы о хлебе и тепле, о миске супа и крыше над головой. А мечтой была победа. Романтикой — военная шинель и боевой подвиг.

В детстве Конецкий много рисовал, хотел стать художником. Но в 1945 году стал воспитанником Военно-Морского Флота. И сыграла тут роль не только юношеская романтика, но и самая жесткая проза — после тяжелых лет скитаний и бескормицы он был наконец надежно пристроен, сыт и одет.

Дальше все шло своим чередом. В 1952 году Конецкий окончил Высшее военно-морское училище. Плавал штурманом на аварийно-спасательных судах. Позже в должности капитана участвовал в перегоне судов на Дальний Восток Северным морским путем. Впрочем, об этом и многочисленных других рейсах он подробно рассказывал в своих книгах.

Дело в другом: он все-таки сделался художником, хотя и не в прямом смысле слова. Он начал писать. Первые его рассказы появились в 1956 году. И одна вслед за другой — книги: «Сквозняк» (1957), «Заиндевелые провода» (1957), «Камни под водой» (1959), «Если позовет товарищ...» (1961), «Завтрашние заботы» (1961), «Луна днем» (1963), «Огни на мерзлых скалах» (1964), «Над белым перекрестком» (1966), «Кто смотрит на облака» (1967)... Короче говоря, чуть ли не каждый год он выпускает новую книгу. И наберется их сейчас уже около двух десятков. Конецкий нашел свою тему, своего читателя, завоевал его внимание и уважение.

Впрочем, таким, каким мы знаем его сегодня, Конецкий стал не сразу. Он пришел в литературу со своим опытом и своим героем, но опыт его от книги к книге пополнялся, а с героем происходили метаморфозы, которые требовали все более серьезных и сложных объяснений.

Первые свои шаги Конецкий делал, как ему казалось, с полным пониманием того, что должен найти. Он искал деятельного героя. Он хотел видеть чувства воплощенными в поступок. Иными словами, внутренняя жизнь героев ему представлялась донельзя очевидной, материально оформленной, немедленно отливающейся в крепкую цепь отношений к другим людям и действий.

Судите сами, вот Шаталов, главный герой ранней повести Конецкого «Если позовет товарищ...». Оказался он в положении крайне неопределенном и тревожном. Был он когда-то военным моряком. Но за «неоправданное лихачество» и по болезни его при первой же возможности демобилизовали. Потом Шаталов спокойно работал в Управлении гидрографии. Однако опять позвало море. «Его специальность — водить суда». Устроился на рыболовный траулер третьим помощником. Но сказался застоялый ревмокардит. «Не смог. Не справился».

Снова — распутье. Вернулся он в Ленинград, в выстуженную и отсыревшую комнату. В дурном расположении духа, абсолютно одинокий. Тут, казалось, не избежать самоанализа, некоего внутреннего уяснения своей жизни, своего незавидного положения.

Но сюжет повести поворачивает совсем в другую сторону.

Шаталова ждет телеграмма от Мани, старого товарища еще по морскому училищу. Без объяснения причин Маня зовет: «Прилетай немедленно».

«Что с Маней? Болезнь? Неприятность по службе? Любовная неурядица?» — только и успевает Шаталов задать себе вопрос, тут же срываясь с места. И не куда-нибудь в Архангельск или в Петрозаводск, а на Дальний Восток. Несмотря на повышенную температуру, несмотря на то, что Маня даже обратный адрес не удосужился указать!

Шаталов вспоминает о юношеской дружбе, которую он начал забывать, о годах, проведенных в мореходке, о товариществе, которое всегда выражалось не абстрактным сочувствием и взаимопониманием, а поступком.

Ольга, неразделенная любовь Мани, говорит: «Маня — человек примитивно простых целей... Он ограничен. Он добр, но духовно ограничен. «Надо уметь хорошо стрелять», «Нельзя жениться на женщине, если она не любит тебя до сумасшествия» — все это правильно, но сегодняшний мир сложен и запутан...»

Такой же, по сути, и Шаталов. Слова Ольги только усиливают в нем желание лететь немедленно.

Когда Шаталов, добравшись наконец до Мани, спрашивает, в чем же дело, Маня отвечает: «Ах вот ты о чем?! Тебе причины нужны! А просто так, без причин, ты бы ко мне не прилетел?»

Но причины все же были. Маня со своей подводной лодкой попал в аварию и три дня пролежал на грунте. У него наконец нашлось «время подумать обо всем». О старой дружбе, об уходящих годах, о смерти...

Но Маня, как и Шаталов, не может пережить лишь в самом себе это неожиданно свалившееся чувство зреющих перемен. Он жаждет их материального выражения. Он зовет товарища, и товарищ летит за тридевять земель, чтобы доказать и себе, и ему реальность этих чувств.

Эта повесть — не одинока у Конечного. Все герои в его ранней прозе, и самые нерассуждающие, как Росомаха или Алафеев, и самые задумчивые, как радист Камушкин, будут добиваться материализации своих чувств. Будут действовать — кто лихо, напролом, кто со сдержанной — под Хемингуэя — мужской суровостью.

Была в этом по-своему закругленная жизненная философия. Философия романтического противостояния миру, где главное — ис-

питание воли, преодоление пространства, господство над смутой интимных чувств во имя цельного мужского начала, действующего характера, устремленного жизненного поведения.

Конецкий строил модель характера, властительно распоряжающегося самим собой и жизнью, безжалостно отбрасывающего все лишнее, намертво берущего главное, презиращего выпрение разговоры и не поддающиеся точному определению чувства.

Но даже Шаталов не может не осознавать некоторой прямолинейности такого характера, некоторого его несоответствия действительному положению вещей. Конецкий не стал бы художником в собственном смысле слова, если бы насильно загонял все характеры в эту схему, если бы жестко сводил концы с концами по умозрительному требованию.

Сами противоречия тут, может быть, не менее выразительны, чем логически выверенная и завершенная схема.

Именно поэтому терпит поражение герой повести «Завтрашние заботы» Глеб Вольнов. Не потому, что он «робкий мужчина», как считает его мать, не оттого, что он недостаточно целеустремлен и деятелен, как полагала критика. Глеб Вольнов в неутвердившейся еще любви как раз не заметил того пока что зыбкого духовного, того нравственного начала, которое готово было возникнуть. Быструю и кажущуюся ему беспорной победу над Агнией он принимает за факт. Но то, что она, так легко уступая ему, искала освобождения от пут неудавшегося замужества, что она ждала понимания,— для него химера. Он глух к этой «нематериальной» стороне чувств, и его победа оборачивается поражением.

Глеб не хочет видеть этого, он «ни о чем» не хочет думать. Он полагается на свою морскую профессию, на упорство в решении задачек «из учебника четвертого класса» о перемещении судов «из пункта А в пункт Б». «Сегодняшний век требует в первую очередь поступков. Только через них можно познать мир»,— философствует Глеб. Но что бывают поступки в нравственной сфере, что душевная, например, черствость или отзывчивость — тоже своего рода поступки, ему невдомек.

Не совсем понимает это, точнее, может быть, не хочет замечать и молодой Конецкий. Он пестует героя, который мог бы, как шофер Бояриков, сделать внеочередной рейс через пургу («По сибирской дороге») или, как лейтенант Антоненко, спуститься под тонущую баржу в ледяное море («Под водой»). И сделать это не рассуждая, потому что надо. Преодолевая усталость, напрягаясь сверх сил, приводя все свои чувства и ощущения в сосредоточенное состояние для этой работы. Главное — уметь, мочь, сметь...

Но именно в отчаянных героях, которые все могут, Конецкий вдруг начал замечать некоторую недостаточность. Не в тех, которые были близки ему по возрасту и положению, как Глеб Вольнов, а в

других — тех, что успели многое повидать, вдоволь натешившись своей силой, бесшабашным житьем, приключениями.

Боцман Зосима из повести «Путь к причалу» «не любил задумываться над будущим, смеялся над настоящим и брал из этого настоящего все, что мог взять сегодня, что могли удержать его здоровенные, плоские, как лапы росомахи, руки. Но себя он никогда не берег и гордился этим. С мятежным озорством Росомаха мог начать драку один против десятерых. Мог, вися на руках, перебраться с мачты на мачту по штагкорнаку. Мог — и не раз делал это — метнуться за борт на помощь какому-нибудь неудачнику».

Но шло время. Росла летопись его походов. А удовольствия от них Росомаха получал все меньше и меньше. Не тянуло его больше в компании. Реже хотелось шуметь и скандалить. Мучило незнакомое прежде ощущение одиночества: «скопилась в нем усталость от бесцельной жизни». И, может быть, Росомаха так ничего в себе и не понял бы, если б на него не свалилось неожиданное чувство, которому не знал он названия и объяснения.

Ему стало известно, что есть у него взрослый уже сын, прижитый им когда-то в бесшабашных приключениях, выросший без отца, самоотверженно поднятый трудом одинокой женщины, мимо которой он прошел так легко и беззаботно.

Росомаха даже не подозревал о такой возможности. Он ищет встречи с сыном с каким-то неизвестным ему прежде чувством робости. Задумывается над своей жизнью и начинает видеть ее иначе. Одинокая и неприкаянная, приобретает она для него ценность и смысл. Ценность в каком-то другом, глубоком, нравственном смысле.

И тут безупречный морской волк, отчаянная голова, Росомаха чуть не сделал ошибку. Неумолимые морские законы ставят его в гибельную ситуацию. Раньше он не задумываясь пошел бы на смертельный риск, чтобы спасти людей с тонущего судна. Теперь он колеблется. Он боится умереть, не повидав сына. Ему дорога уже опустылевшая было жизнь, потому что он мечтает распорядиться ее остатком разумно и бережно. Росомаха вправе отказаться от риска. Нет такого закона, который осудил бы его за это, кроме закона внутренней совести.

Тогда-то и совершает Росомаха свой последний подвиг. Но это уже не просто безрассудство удали, риск ради риска. Росомаха, поиному почувствовавший ценность жизни, понимает, что сын никогда не простил бы его, окажись он трусом. Ему бы не было оправдания, если б из-за его нерешительности погибли матросы тонущего судна. Оправдания прежде всего перед самим собой.

Росомаха не раз в своей жизни совершал такого рода подвиги. Но, пожалуй, впервые он совершил его сознательно, впервые подвиг вытекает из нравственного закона. Одерживают победу не столько

физическая выносливость и сила, не столько его удаль — Росомаха, по всей вероятности, должен погибнуть, — тут побеждает прежде всего осознанное чувство чести и то, что мы называем совестью.

Так Конецкий открывает в своих героях, причем героях, казалось бы, дальше всего отстоящих от всякого рода интеллектуальных вопросов, эту внутреннюю потребность в осознании своих поступков. В нравственной их оценке. В развитии пока трудноуловимой и мало понятной для них сферы жизни, которая связана с проявлением чувства, самоанализом и самопознанием.

С этого вроде бы и не такого уж значительного открытия проза Конецкого начинает быстро меняться. «Повесть о радисте Камушкине» в этом смысле переходная. Камушкин, как и все ранние герои Конецкого, человек четких поступков, человек дела. Но его жизнь осложнена тем, что он очень болен. Камушкин живет с осколком в голове. Всякое неосторожное движение, перенапряжение, встряска могут оказаться смертельными.

Все это заставляет Камушкина чувствовать прошедшее и происходящее с особой остротой, память — работать с повышенным напряжением. В его сознании оживают лица и события, требующие обдумывания. Он ищет объяснения непонятных ему прежде поступков, вспоминает, мысленно спорит.

Но его большое сознание дает нам скорее материал, нежели оригинальное мироощущение или восприятие. Мысли Камушкина часто взвинчены и похожи на декламации.

Сам он как личность по-прежнему стремится реализовать себя в деятельности, которая, в сущности, ему уже недоступна. Камушкин с риском для жизни разбирает завалившуюся стену. Ночью в полубоморочном состоянии принимает и записывает сигналы только что запущенного спутника. «Всю жизнь он занимается тем, что дает людям связь». Это он умеет. И, пожалуй, это единственное, в чем он находит себе оправдание, к чему привык и без чего жить не может. А то, что теперь даже каждый любительский сеанс дается с таким трудом и сопряжен с риском, — его драма. Драма человека, вынужденного отказаться от любимого дела. Не способного переключиться на другой ритм жизни, на другие цели.

В «Повести о радисте Камушкине» Конецкий не нашел оригинального решения мучительного для него вопроса. И поставлен он здесь еще декларативно.

В иной — острейшей драматической, даже парадоксальной ситуации — возникает он в рассказе «Еще о войне». Муж медицинской сестры Марии Степановны Володя на фронте. Она в течение трех труднейших лет свято хранит ему верность. «Никогда мужчины не пробовали влюбляться в нее, приставать, потому что чувствовали

в ней ту недоступность, которой не требуется даже никаких внешних проявлений, чтобы заявить о себе».

Но, переболевшая тифом, смертельно уставшая, Мария Степановна вдруг ощутила «страх от сознания проходящей молодости». Она поняла, что должна как-то встряхнуться, ради него, Володи, чтобы сохранить уходящую женственность. Мария Степановна на минуту позволила себе легкий флирт с выздоравливающим майором. Неожиданно вернувшийся муж застал ее в один из моментов этой, в сущности, невинной игры. И все было разрушено: «возмездие оказалось больше сознания допущенной ею вины». Незначительный поступок вызвал внутреннюю катастрофу, сокрушил годами оберегаемые чувства.

В этом рассказе Конецкий встал на защиту как раз тех неуловимых и хрупких ценностей, которые часто куда важнее поступка. Впрочем, поступок по отношению к этим ценностям тоже не безразличен. Более того, он в силу своей материальной наглядности может заслонить то, что ценно само по себе, однако не только не очевидно, но и трудноизъяснимо.

В книге «Кто смотрит на облака» Конецкий уже последовательно утверждает те нравственные ценности, которые в ранних повестях и рассказах не были для него сколь-нибудь существенны. Герои этой книги по-прежнему действующие герои. Они участвуют в событиях — переживают тяжелейшие дни блокады, воюют, водят суда, выполняют опасную работу, разбиваются на мотогонках... Одним словом, все время так или иначе выражают себя в поступках.

Но сверх дел и событий, крупных и мелких, полных исторического смысла и каждодневной суеты, перед этими героями Конецкого открывается еще некое свободное пространство, без которого их жизнь была бы невыносимой. «...Главное — почаще глядеть на облака. В старых книгах сказано, что тот, кто смотрит на облака, не жнет. То есть не думает о хлебе, не сеет и не жнет. Но люди, которые смотрят в землю, кормят его. Такой человек почему-то нужен другим, хотя он только и делает, что тарашит глаза на облака».

Мир для героев этой повести Конецкого осветился не только дальним светом бегущих облаков, но и обрел иной объем. Они начали чувствовать и осознавать внутреннее пространство личности. Смотреть на облака — значит жить высшими интересами. Совершать поступки не только ради самих поступков.

Поверх деятельности героев наслаиваются размышления. Для пятнадцатилетней Тамары Яременко, потерявшей в бомбежке мать и оказавшейся в блокадном Ленинграде, важно не только выжить, но и не быть в тягость другим, помочь тем, кто совсем лишился сил. Петр Басаргин стремится не только хорошо воевать, но и понять исторический смысл войны, Старик Басаргин, теряя силы, замерзая в

выстуженной ленинградской квартире, читает «Пир» Платона. Тело его страдает, но дух живет высокой жизнью.

В этой книге самая интересная и — я бы даже сказал — принципиально важная фигура Алафеева. Характером и драматической судьбой он напоминает Росомаху. Но вырос он в других условиях. Тут много схожего с судьбой Глеба, Маньки, Шаталова — ровесников самого Конецкого. В войну Алафеев был эвакуирован из Ленинграда. Отец погиб на фронте. Мать умерла у него на глазах в далеком сибирском селе. Потом детдом, ремесленное, кочевая работа строителя, армия...

У него общее для всех почти героев Конецкого отношение к работе: «Ему нравилась каждая, какую он только ни работал в жизни. Он успел уже пошоферить и поводить трактор, бульдозер, скрепер. Он работал на кране и перевозчиком на бурной таежной реке, и даже лесным пожарным пришлось ему быть».

Теперь он в шахте взрывником. Работа несложная, но опасная. Впервые мы встречаемся с Алафеевым в очень острый момент. Он отчасти по оплошности, а больше из-за каприза и самолюбия попадает в зону взрыва. Все обошлось, но Василий, пережив страх смерти, опустошен, недоволен собой. Он вспоминает недавнюю гибель товарища: «Но тот подорвался с толком, по нужде, для дела. А про себя Василий понимал, что его риск был голым, бесполезным».

Эта бесполезность как раз больше всего и смущает Василия. Как явствует из его истории, он десятки, а может быть, и сотни раз шел на риск, вся жизнь его, в сущности, состояла из подобных же критических моментов. Охотник до драки, человек решительный и страшный в гневе, он мог заставить бояться себя, мог заслужить восхищение товарищей своей отчаянностью. Но что толку? Десятки раз доказавший себе и другим свою смелость, он ощущает пустоту и неудовлетворенность.

Василий решает изменить свою жизнь. Но как и чем ее наполнить, он не знает. Изменить для него, как обычно, означает сняться с места, уехать, поступить на новую работу.

Но раньше, чем он осуществил свое намерение, пришлось ему пережить еще одно потрясение и сделать еще одно открытие.

У Алафеева есть тень — Степан Синюшкин, почти во всех отношениях человек ему противоположный. В детстве перенесший травму, забитый и робкий, Степан находится в добровольном подчинении у Василия. Когда-то еще в армии Василий защитил его от издевательства. С тех пор Степан следует за ним по пятам. Василий его в грош не ставит. Относится с барской снисходительностью и пренебрежением. Защищенный от посягательств других, у Василия он находится в рабстве. И единственная его мечта стать вровень, доказать Василию, что и с ним надо считаться.

Даже и напоминать не стоит, что Василий Алафеев по первому разряду относится к типу деятельных героев Конецкого. Вся его неумная энергия, неприкаянность, трудолюбие — тому свидетельство.

Но примечательно, что и Степан при его болезненной робости, птица из того же гнезда. Он такое же перекаати-поле. От Василия в работе не отстает. Только работает он «жилами», на износ. «Несмотря на хлипкое сложение, была у него в работе хватка... Но хватка, не бросающаяся в глаза, не азартная. Никто и не замечал, что последним с места работы уходит Синюшкин, что он собирает за всю бригаду инструмент, чистит, прячет его». Только разрыв между поступком и мыслью у него, пожалуй, еще больше, чем у Василия: он «привык сразу начинать поступок, если приказано поступать, а потом уже, на ходу, уяснять — что и зачем приказано».

Василий больше не хочет брать Степана в свои скитания. Потрясенный предстоящей разлукой, в порыве пьяной ярости, Степан наносит Василию опасную ножевую рану.

Этот неожиданный поступок заставляет Василия присмотреться к нему внимательно, вообще переоценить свое отношение к людям.

Степан добился равенства. С этого момента Василий думает о нем с непривычной заботой и даже нежностью. Пытается спасти от тюрьмы, показывая, что Степан ранил его при самообороне. А когда все-таки осуждают Степана, посылает ему деньги и передачи.

Казалось бы, несмотря на драматические события, все устраивается самым удовлетворительным образом. Степан преодолел свой страх, так что «его даже урки до поноса боялись». Сердце Василия открылось трогательной и равноправной дружбе, пониманию другого человека. Он задумался о смысле своей жизни. Захотел наполнить ее серьезным содержанием. Но Конецкий не останавливается на этом. Он продолжает исследовать характер Василия.

И получается вот какой парадокс. Чем дальше думает Василий о своей жизни, тем меньше она ему нравится, тем большего он требует от себя. А между тем «всю жизнь он гонялся сам за собой и сам от себя». Это стало привычкой, второй натурой. Время, кажется Василию, безнадежно упущено. И он ведет жизнь еще более рискованную, пока не разбивается на отборочных мотогонках.

Он о многом догадался, многое почувствовал. Многое умел делать смело и азартно, но так и не успел до конца постичь внутренний смысл работы. Он воспринимает ее красоту слишком внешне, делит работу на красивую, то есть эффектную, и некрасивую.

Василий трагически исчерпал возможности риска, ненаправленного действия, неуправляемой силы характера. Отчасти понял это. Но изменить себя не смог. В минуты озарений его посещает мудрость, которой он не может воспользоваться. Инерция движения, энергический силовой напор, к которым привык Василий, не дают ему

сосредоточиться и привязаться к единственному и главному делу жизни.

Казалось бы, что же тут примечательного: ну, метался, маялся, лихачествовал, хотел повернуть свою жизнь и не смог?

Но открытия, которые сделал для себя Василий, куда более значительнее выводов Глеба Вольнова из «Завтрашних забот», решившего делать дело и ни о чем не думать. И то, что эти открытия сделаны таким человеком, как Василий, увеличивает их общественный потенциал.

Все, абсолютно все в этой книге «смотрят на облака». Правда, при этом они делают свое дело, не отвлечены от ежедневности, но жизнь их уже немыслима без осознания событий, без понимания своей роли в них.

Книга «Кто смотрит на облака» — не роман, но и не сборник рассказов. Каждая ее глава имеет своего центрального героя. Все герои книги, кроме семьи Басаргиных, не связаны между собой. Но хоть однажды в жизни их пути перекрещиваются. Одна жизнь проходит сквозь другую, оставляя след в сердце, в характере, в судьбе.

Павел Басаргин так и не узнает, что его зять Ниточкин в детстве столкнулся с братом Петром Басаргиным и волей случая сыграл роковую роль в его биографии. Тот же Павел Басаргин совершенно случайно встретит веселого майора и выслушает его коронный рассказ, как он бомбил Маннергейма, что когда-то слышал и его погибший брат, но тоже не узнает об этом. Совершенно самостоятельную линию образует история Алафеева и Синюшкина, однако и они соприкасаются с жизнью Ниточкина и Веточки.

В этой странной композиции, когда герои, в сущности не встречаясь, даже не зная друг друга, все же оказываются связанными внутренне, образуют некое единое поле, есть свой смысл. Конечкий отказался от сюжетной схемы, от сцепления поступков, от жесткой последовательности причин и следствий ради этой скрытой общности, ради той нравственной идеи, которая выдвигается на передний план и организует книгу как целое. Жизнь впервые вошла в его книгу не отдельным сюжетом, а мощным потоком.

Пожалуй, именно этой книгой начинается писательская самость Конечкого. Впервые он открыл для себя внутреннюю энергию, которая способна соединить, казалось бы, несоединимое. Вне традиционного сюжета создавать сильное течение, захватывающее разные биографии, временные оценки, события, картины и двигать их в нужном направлении, сцепляя по смыслу, окрашивая своим отношением.

Следующим шагом была путевая проза Конечкого.

Путевые книги сейчас пишут многие. Путешествовать — даже на край света — стало просто. Через семь часов в Иркутске, а там —

«славное море, священный Байкал»; два часа на когда-то нелегкое «путешествие из Петербурга в Москву» без единой остановки.

Но попробуйте написать об этом интересную книгу!

Путешествовать стало легче, а писать труднее. Общеизвестное — с помощью средств информации — слишком известно. А неизвестное лежит глубоко, и добыть его непросто.

Жанр путевых заметок претерпевает кризис. Пишут все кому не лень. Переписывают путеводители, справочники, энциклопедии, а то и плохо понятые сообщения экскурсоводов. Все перемешано: Лувр, цены на тряпки, лондонский туман, парижские каштаны...

Конецкий написал четыре книги про свои путешествия: «Соленый лед» (1969), «Среди мифов и рифов» (1972), «Морские сны» (1975), объединенные недавно в «роман-путешествие» «За доброй надеждой» (1978), и «Вчерашние заботы» (1979) — заключительную книгу этого цикла. Не много ли? Так можно и наскучить! Сколько же уникальной информации необходимо для такого объема. Наконец, путевые книги — это литература. А литература, как известно, — учебник жизни, нравственный пример, запечатленный поиск жизненного пути. Чтобы писать книгу за книгой путевые очерки, надо иметь смелость.

Путевые книги Конецкого великолепно читаются. Они не только поучительны, но и в художественном смысле особенны, потому что Конецкий путешественник не совсем обычный.

Тот, кто пишет туристские записки, как бы изощрен ни был, все равно остается туристом. Пусть он приедет в чужую страну во всем блеске ума, с большими душевными запасами — он еще раз докажет свое остроумие или восприимчивость, наблюдательность или чувствительность, но модель особого жизненного поведения едва ли сможет создать. Это все равно не более как штрих биографии, еще одна отметка в заграничном паспорте.*

Для Конецкого путешествия — профессия. Профессия же, как ни говори, жизнь. Прежде чем стать писателем, Конецкий стал моряком. А став писателем, морскую профессию не бросил. Известный писатель, он не бывший моряк. Он — вечный моряк, из тех, кто в море тоскует по берегу, а на берегу — по морю. Постоянный образ его книг — жизнь в чреве кита, то есть скитание по морю в замкнутом пространстве корабля. Это — своеобразный символ его профессии, его человеческой судьбы.

Именно от этой внутренней необходимости путешествовать — влекущая сила его книг. К Конецкому неприменима банальность «романтик моря». Я бы сказал, неприменимо и другое, более справедливое определение — «труженик моря». Море для него и профессия, и признание, и любовь, и работа, и проклятие. Он не однажды напишет о скуке морских вахт, о тоске по берегу, Тут же

рядом — об удивительной красоте моря. О смешном и печальном, величественном и мелком. А сверх того о жизни вообще — в истории, в нашем времени и предвидимом будущем.

Для моряков, посещающих чужие края, жизнь экзотических стран предстает прежде всего с изнанки. Лоцманы, таможня, портовые рабочие, грузчики, прибрежные кварталы... Раньше, чем добраться до ослепительной роскоши улиц с универмагами, ресторанами, кафе, до «поэзии», рассчитанной на состоятельного туриста, надо пройти через эту «прозу». Тут свои профессиональные секреты, своя жизнь и нравы.

О море, о своих странствиях Конецкий пишет как профессионал. И поэтому его информация уникальна. Он знает, что плохо и что хорошо, с точки зрения мореплавателя, доставляющего груз или участвующего в научной экспедиции. У него есть свой взгляд на погоду и экзотику, портовые заботы и географию моря, на взаимоотношения в команде и подготовленность к тому или иному рейсу.

Однако всего этого было бы недостаточно даже для одной книги, не будь Конецкий в то же время и писателем. О нуждах морской службы, вероятно, можно сделать немало деловых очерков, поставить множество острых и важных проблем. Конецкий идет дальше. Его путевые книги — это попытка ориентироваться не в морском пространстве, а среди людей, определиться во времени.

Для летчика Сент-Экзюпери наша планета была «Земля людей». В этом же смысле для Конецкого море — стихия, помогающая смотреть на звезды в прямом и переносном смысле. Экспедиция на «Невеле», обеспечивающая космическую связь, заставляет почувствовать себя в родстве со всем миром и историей, имеющей на каждый морской «случай» свой миф, свою фантастическую легенду. Море дает возможность сосредоточиться, чтобы заглянуть и в будущее, эмоционально коснуться незримой нити, связывающей шепот волн с шепотом звезд, к которым так чутко обращены антенны экспедиционного судна.

Свободная постройка путевых записок Конецкого позволила ему ввести в них самый разнообразный материал. Рассказ о каждодневной работе перемежать воспоминаниями, скучные вахтенные часы заполнять размышлениями о прочитанном. К конкретному случаю добавить несколько аналогичных — из своего и чужого опыта. В результате «география» путешествий Конецкого оказалась очень широкой и во времени: они не укладываются лишь в основные рейсы — по разным поводам приводятся даже давние курсантские воспоминания. Во многих отношениях это еще и путешествие в свое прошлое.

В какой-то момент кажется, что писать «роман-путешествие» легко. В принципе в воспоминания и размышления путешественника

можно включить любую зарисовку, любой фантастический вымысел, впечатление, байку, остроту, цитату... Но так путешествие теряет цель и смысл. Не только отменяется оно как роман, но и как очерк может оказаться несостоятельным.

Что же все-таки держит путевую прозу Конецкого в берегах, дает обоснование воспринимать ее как книгу?

Колючая это проза, нервная, даже в самом беззаботном юморе ее выскочит раздражительная фраза, похожая на упрек, на призыв задуматься, оглянуться, понять... И вдруг видишь: серьезно все это. Серьезен Петр Ниточкин со своей морской «травлей», серьезен Конецкий, с ухмылкой описывающий свои фантастические сны. Даже сама легкость, с которой он переходит от одной темы к другой — совершенно отличной от прежней, — вовсе не так легка и беззаботна, как может показаться. Тема меняется, но остается та побудительная сила, которая заставляет его перемалывать все новые впечатления и события, чтобы снова вернуться к началу и продолжать неоконченный диалог, неоконченный спор.

По внешним признакам Конецкий — писатель-собеседник, полемист, спорщик. Я бы даже рискнул сказать — развлекатель. Как он острит, подначивает, подмигивает! Как он напрашивается на ответ, на отзыв, на реакцию! Нужна ему эта воображаемая сцена, мнимая трибуна. Но, кажется, прежде всего как повод драматизировать свой внутренний монолог, как прорыв из одиночества к тем, кто еще вернет его к главной внутренней задаче.

Оценивая свои публицистические пассажи вокруг ученых попыток моделировать механизм совести, он заметит: «Я отдавал себе отчет в том, что подменяю краснобайством проницательность и риску вызвать злобное недовольство просвещенного читателя. Но ничто так не стимулирует размышление собеседника, ничто так не бьется в нем быка-интеллект, как красная тряпка черного невежества. Я готов окрасить тряпку своей кровью».

Проза Конецкого диалогична. В диалоге он видит момент действия. Действия литературы, вторгшейся со своими наивными вопросами в отвлеченные рационалистические выкладки, чтобы поставить хитроумные умозаключения и прогнозы перед лицом таких понятий, как честь, совесть, доброта, человеческое достоинство, правда...

Но окончательно решить их каждый человек может лишь сам — внутри самого себя. В том нескончаемом монологе, который должно вести, непрерывно внедряясь в самый корень сущего.

«Только бы стимулировать ваши размышления!» — обращается Конецкий к своим оппонентам. Но это относится и к нему самому. Тот нервный диалог, который он все время затевает, вливается в главную мысль автора, обнимается ею, чтобы служить единствен-

ной, целостной, глубоко и всесторонне исследованной, лично добытой истине.

Конецкий хотел бы стоять на двух противоположных полюсах одновременно. Вести диалог с собеседником и молча вынашивать свою философию. Он так и делает — совмещает несовместимое. Для художника это на первый взгляд бесплодное занятие необыкновенно перспективно. Трудноразрешимое противоречие создает напряженность и драматизм, побуждающие читателя принимать самостоятельное решение.

Нильс Бор считал, что искусство может обогатить науку потому, что способно «напоминать нам о гармониях, недостижимых для систематического анализа». В этом смысле теория относительности раньше интуитивно была предсказана искусством.

Не потому ли проза Конецкого так неоднородна, так контрастна, можно сказать — капризна?

У него — писателя очень живого, темпераментного, некнижного — легко найти сотни ссылок на прочитанное, имена знаменитых писателей, путешественников, живописцев, пространные цитаты и острые афоризмы, исторические анекдоты и редкостные факты.

Он будет настойчиво толкать своих героев к действию, утверждать поступок и, оглядываясь на огромный и целостный мир нравственных и культурных ценностей, замедленно рефлексировать. Ловить — с дотошностью и точностью вахтенного журнала — сиюминутное настроение, пейзаж, выражение лица, прибегать к дневниковой записи и документу, фиксирующему время и место, состав и последовательность событий, — и тут же задавать самые общие вопросы о смысле жизни, о поведении человека в критических ситуациях, о знании и мудрости, рассудке и чувствах...

Напишет яркие страницы о морской романтике, поманит экзотикой и поэзией далеких стран и — без всякого перехода — охладит их самыми прозаическими буднями. Испытает тяжелой работой, однообразием действий, скукой.

Внутренние монологи с тонкими оттенками настроения и глубокими мыслями сменит грубоватым острословием, балагурством и даже ёрничаемием незаменимого в таких случаях Петра Ниточкина.

В объеме строки и страницы Конецкий будет стремиться к точности формулировок, четкости вопросов и ответов, к слову острому и запоминающемуся, и из этих-то ярких отрывков, эпизодов, историй, воспоминаний, читательских впечатлений начнет лепить книгу или серию книг — без берегов, «роман-путешествие», которому нет конца и края...

Этим полярным устремлениям нет предела. Их невозможно даже приблизительно перечислить. Они во всем: в языке, грубом и поэтичном одновременно, в образности, где чуть ли не нахальная мета-

фора соседствует с обнаженной информацией, в расстановке героев.

У Конецкого можно найти романтический пейзаж; с нежной иронией поданную экзотику; грубоватый быт, то зло, то весело осмеянный; массу интересных цитат и целую коллекцию занимательных фактов; популярные научные сведения, окрашенные резвой фантазией автора... Одним словом, у него все есть: миф, подлинное событие, документ, чистый вымысел и осторожный домысел, серьезность, ухмылка, патетика...

Но нельзя сказать, что все это набросано без порядка и смысла. Любое из этих качеств можно проследить в книгах Конецкого как непрерывную линию, ее нетрудно выделить и даже предпочесть другим как главную или тебе наиболее созвучную. Но она тут же зацепит и повлечет все остальные, потому что накрепко с ними переплетена, входит в некую цельность столь необычайного и неоднозначного характера.

В этот том включены две книги из обширного «романа-путешествия»: «Соленый лед» и «Вчерашние заботы». К ним целиком относится то, что говорилось о путевой прозе Конецкого вообще. Но это — самостоятельные книги, которые можно читать порознь. Если же внимательно всмотреться, нетрудно заметить, что это по-разному задуманные и написанные книги. Даже повторяя свои маршруты, Конецкий избегает повторять себя, потому что путешествия его не географические описания, а познание людей и самопознание.

Книга «Соленый лед» была первым его опытом путевой прозы. Она создана в лирическом ключе. В ней нет сквозного сюжета. По сути, это собрание зарисовок и очерков, связанных, так сказать, единством авторского отношения, или, точнее, — авторской личности, потому что отношение его к разным сюжетам изменчиво. Несколько преувеличивая, можно сказать, что это книга лирических отступлений, книга исповедальной прозы, где мотив странствий, вообще дороги был как бы поводом задуматься, углубиться в себя, понять мир.

Во второй и третьей книгах — «Среди мифов и рифов», «Морские сны» — крепло профессиональное самоопределение автора, моряцкого и писательское. Серьезнее и глубже выявлялся конкретный жизненный материал.

И наконец, «Вчерашние заботы» — совсем уже особенная книга: «Повесть-странствие». Повесть здесь срослась с дневником, с документом, с конкретным маршрутом. В какой-то момент в самом дневнике Конецкий начинает фантазировать, домысливать, дорисовывать образ, и тогда рядом с точной отметкой вахтенного журнала возникают обобщенные типы, лица, созданные художественным воображением, — капитан Фома Фомич Фомичев, старпом Арнольд Тимо-

феевич, он же Спиро Хетович, он же Степан Разин, буфетчица тетя Аня, матрос Андрей Рублев...

Эти лица помещены в путевой дневник, но они не из дневника, а из повести, в которой отразился весь опыт писателя, знание людей, морской профессии, его нынешнее умонастроение. Это уже не документ, но нельзя сказать, что и полностью вымысел. Их биографиями нельзя пользоваться для составления анкет или служебных характеристик на определенные лица. Но и неправильно сказать, что они никогда и нигде не существовали. Кто-то может узнать в них себя, и, вероятно, не один кто-то, а многие, потому что все их странности содержат задачу их социальной психологии, которую сознательно ставит писатель. Задачу, надо заметить, сложную, настоятельно требующую ответа, потому что Фома Фомич в век НТР — анахронизм, и в то же время именно системность энтезевских принципов позволяет ему безопасно болтаться в хвосте, мешая окончательно завалить дело.

Такова эта книга. Дневник, ставший острой социальной повестью. Художественное произведение, удостоверенное дневником. Хроника со сквозным сюжетом. Человеческие типы, вписанные в документальное повествование.

Иными словами, проза Конецкого — это проза Конецкого. В ней есть свое силовое поле. Она притягивает необходимое и отталкивает чуждое. Она без утайки и дипломатических церемоний окрашивает авторским отношением любое событие, научную идею, поступок, так что разнообразные факты, даже самая их несовместимость подчиняются определенной системе. Безбрежная и неорганизованная проза Конецкого имеет свой характер. Даже я бы сказал — патетическую ноту. Постоянным мельканием контрастов патетика у Конецкого не снимается окончательно. А в соседстве быта и патетики, расчета и риска, черновой работы и космических мечтаний и ощущений есть своя проблема. Есть конкретное требование к человеку — к его душевной организации, умению делать свое дело, совершенству и безотказности тех малых средств, которые влияют на решение самых больших задач.

И то кажущееся легкомыслие, постоянный юмор, порою даже натужное усилие шутить, когда вовсе не до шуток, совсем не превращают записки Конецкого в собрание веселых морских баек. Это не попытка осмеять серьезные дела, а жажда совершенства, требовательное желание, чтобы все делалось хорошо, добротнo, по высшим законам профессии и человеческой нравственности.

Адольф УРБАН.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ	5
СОЛЕННЫЙ ЛЕД	405
ПРОЗА ВИКТОРА КОНЕЦКОГО. <i>Послесловие</i> А. Урбана . .	636

Виктор КОНЕЦКИЙ
ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ
СОЛЕННЫЙ ЛЕД

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1980, 656 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **М. Серебряникова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректоры **Т. Авдеева, Н. Милосердова**



А02931. Сдано в набор 15/XII-80 г. Подписано в печать 3/VI-80 г.
Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага печ. № 1. Гарнитура «Литературная».
Печать высокая. Печ. л. 20,5. Усл. печ. л. 34,44. Уч.-изд. л. 36,02.
Зак. 1089. Тираж 228.000 экз.

·Цена 2 руб. 60 коп.



Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского
производственного объединения «Полиграфкига» Госкомиздата
УССР, Киев, ул. Воровского, 24,

**В 1980 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

- В. Белов** — Повести и рассказы.
- Г. Гегешидзе** — Расплата. Романы, Повести, Рассказы, Перевод с грузинского.
- Г. Гулиа** — Фараон Эхнатон. Роман. Рассказы.
- С. Дангулов** — Кузнецкий мост. Роман. Книга 3-я.
- Ц. Жимбиев** — Год огненной змеи. Романы, Перевод с бурятского.
- Д. Икрами** — Поверженный. Роман, Перевод с таджикского.
- В. Канивец** — Ульяновы. Роман, Перевод с украинского.
- Т. Касымбеков** — Сломанный меч. Роман, Перевод с киргизского.
- В. Конецкий** — Вчерашние заботы. Солёный лёд.
- Е. Носов** — В чистом поле... Повести, Рассказы.
- Е. Пермяк** — Очарование темноты. Романы.
- Литовские повести.**
- Ю. Рыхэу** — Айвангу. Роман. Повесть.
- Ю. Семенов** — Семнадцать мгновений весны. Роман.
- М. Траат** — Сад Поммера. Романы, Перевод с эстонского.

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Юрий Калешук
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Борис Панкин
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Петр Серебряков
Юрий Суровцев
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Камиль Яшен**

